Библиотека Казахской Литературы

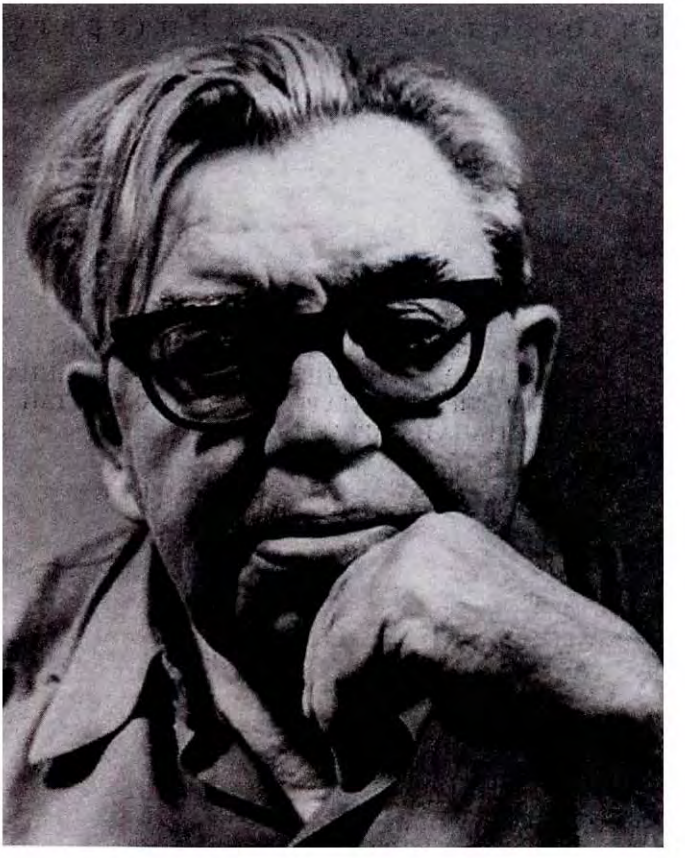
Иван ШУХОВ

Горькая линия

Библиотека Казахской Литературы

МӘДЕНИ МҰРА

СЕРИИ КНИГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" ИЗДАЮТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА



Иван ШУХОВ

Горькая линия

Роман
повести и рассказы

Аудармаа
Бостосы

УДК 821 (574)
ББК 84(5Каз-Рус)-5
Ш 98

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Редакционная коллегия:

533859

Каскабасов С.А. (*председатель*), Кул-Мухаммед М.А., Кирабаев С.С., Елеукенов Ш.Р., Исмагулов Ж.И., Нургалиев Р.Н., Абдрахманов С.А., Исмакова А.С., Бейсенгалиев З.Г., Абдезулы К., Майтанов Б.К., Болтанова Ж.К.

Иван Шухов
Ш98 Горькая линия. *Роман, повести, рассказы.*
Астана: Аударма, 2009. – 768 стр.

Список книг серии "Библиотека Казахской Литературы" утвержден Ученым советом Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова (протокол №9 от 26 июня 2009 г.).

В оформлении суперобложки использованы фрагменты из картины художника А. Школьного.

ISBN 9965-18-277-9

К $\frac{4702250101}{00(05)-09}$

УДК 821(574)
ББК 84(5Каз-Рус)-5

© Издательство "Аударма", 2009
© Иллюстр. "Государственный музей им. А. Кастеева"

Сер. ISBN 9965-18-277-9
ISBN 9965-18-277-9
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА
г. Петропавловск

Предисловие

И.П. Шухов является представителем талантливейшей части народа, разбуженного эпохой перемен к осмысленной и творческой жизни. Он родился в 1906 году в семье казака, а первым литературным источником явилась для него неграмотная мать, хранившая в памяти несметное количество произведений устного народного творчества.

Писать И. Шухов начал очень рано, потому что родители осознали неординарные способности своего ребенка и дали возможность ему учиться. Эту неуемную жажду творить и неустанное умение учиться Шухов пронесет через всю свою жизнь. Весь пыл молодости был отдан газетной работе и кропотливому созданию одного из лучших произведений писателя – романа «Горькая линия».

Для Шухова нехарактерно ученичество, его не помнят начинающим писателем, в 28 лет он был известным прозаиком. Как Л. Мартынов, как П. Васильев, как М. Шолохов – он явился как-то сразу; со своей темой, своими героями, своим складом речи.

Вышедший в свет в 1929 году роман «Горькая линия» ознаменован событием не только русской литературы. Нелегкая судьба казачества созвучна шолоховским открытиям, и если М. Шолохов живописал поиски истины Григорием Мелеховым в огне гражданской войны, то И. Шухов показал не только трагические метания казачества между белыми, красными, бандитами, но и впервые в русской литературе художественно отразил непростые взаимоотношения казаков с исконными жителями степей – казахами. Своеобразие шуховского героя Алексея Стрепетова состоит в том, что осознавая себя казаком, он не кичится верностью царю и сословию, а пытается понять и осознать социальное расслоение сословия, неправоту бряцающего оружием казачества перед русскими мужиками-хлеборами и казахами-скотоводами.

Военное сословие – казаки – долго приручалось самодержавием, в сознании казачества внедрялась мысль об их особом положении в среде русских и инородцев. Ко времени революционных потрясений казаки уверовали, что именно они являются хранителями православия, царя и отечества. Тем сложнее и трагичнее было для

казачества выживать в условиях ненависти, неприязни, что отразилось в судьбе семьи Бушуевых.

Герои Шухова не только умеют страдать, бороться, но они умеют прощать и понимать. Они сумели стать выше трагических обстоятельств, сумели понять, что «родительница - степь» – родина казахов и их родина тоже. Надо быть влюбленным в степные просторы, чтобы спеть о них так, как сделал Шухов.

«Пресновские страницы» писались вдумчиво, медленно. Это мемуарно-биографическое произведение, включившее в себя без малого пятьдесят лет борьбы, скитаний, исканий и находок беспокойного человека – Ивана Шухова.

Всю жизнь он дружил со своими замечательными современниками – С. Мукановым, Г. Мусреповым, М. Ауэзовым, переводил на русский язык их произведения, внимательно следил за взлетом нового поколения писателей, тогда еще молодых – А. Алимжанова, О. Сулейменова, С. Сапбаева.

Будучи редактором журнала «Простор» И. Шухов открыл целую плеяду талантливых писателей-казахстанцев: Г. Черноголовину, Ю. Герта, Н. Ровенского, П. Косенко, В.Бердешникова.

Он сделал провинциальный журнал вполне значимым, где печатались произведения, которыми зачитывались любители и ценители русской прозы и поэзии. Так, стихи О. Мандельштама стали известны автору этих строк в студенческие 1970-е годы именно в публикациях журнала «Простор».

Казахстанский читатель знал еще в 1970-е годы, тогда как искушенный московский книгочей получил эту возможность через 20 лет.

Тихое неустанное литературное подвижничество Ивана Шухова не осталось втуне. Его литературную деятельность оценивали не только читатели, но и критики А. Устинов, К. Курова, М. Шаталин и другие. Его творчество знали и ценили выдающиеся мастера русской литературы XX века. Имя Ивана Шухова созвучно степным просторам Казахстана, которым он поклонялся и воспевал.

В жизни независимого Казахстана роль таких писателей как Иван Петрович Шухов, знавших и любивших землю, душу, искусство казахов, понимавших сложную судьбу русского казачества и умевших критически ее осознавать – была и будет чрезвычайно важна.

Высокая миссия писателя – быть мостом между народами и временами – вполне удалась И. Шухову.

Кульпаш БЕЙБЫТОВА,
доктор филологических наук,
профессор

ГОРЬКАЯ ЛИНИЯ

РОМАН

1

Поздней осенью 1913 года возвращались из Семиречья в станицы Западной Сибири эшелоны четырех казачьих полков. Это были казаки, отслужившие пятилетний срок действительной службы на юго-восточной границе России с Китаем. Им повезло. Сторожевая служба на пограничных кордонах была довольно вольготной и мирной. Призванные в строй после русско-японской войны, они не испытали тех невзгод и лишений, какие выпали на долю старшего поколения Сибирского казачьего войска во времена Маньчжурского похода в 1904 году. Однако за пять лет службы, отбытой на чужбине, они вдоволь насытились непривычно праздной бивачно-казарменной жизнью на глухих пограничных кордонах и теперь готовы были лететь на крыльях к неблизким родным местам.

Полки возвращались на родину в полном боевом порядке, при холодном оружии, с карабинами за плечами, в конном строю. Переправившись вброд через мутные воды Или, эшелоны двигались замедленным маршем через Голодную степь. Они шли через пески и камышовые джунгли Балхашского побережья, мимо грифельных скал Джезказгана и кремнистых сопок необжитого Коунрада, мимо редких аулов кочевников и одиноких пастушеских юрт, раскиданных в пустынных пространствах азиатских степей от верховий Черного Иртыша до Каркаралинска.

Марш был нелегким. Туговато приходилось местами с подножным кормом для лошадей и с фуражировкой.

Далеко не везде на пути сохранились нанесенные на маршрутную карту войсковые колодцы. Несмотря на глубокую осеннюю пору, в Прибалхашье держалась еще сорокаградусная жара. И у путников от горячих ветров пылали глотки, трескались спекшиеся губы, темнело в глазах. А строевые кони порой шатались под всадниками, точно после призовых скачек с многоверстной дистанцией.

На сорок первый день марша казаки, миновав Голодную степь, вышли на широкий скотопрогонный тракт, пролегавший из Западного Китая к землям Сибирского казачьего войска. Подтянув эшелоны к крутым берегам живописного горного озера вблизи Каркаралинска, есаул Алексей Алексеевич Стрепетов сказал перед строем:

– Поздравляю, братцы. Пустыни – за нами. Теперь и до дому – рукой подать. Ура! – прозвучал его грудной взволнованный голос.

Казаки, привстав на стременах, огласили окрестные сопки торжествующим перекатным гулом:

– Ура-аа!

Даже строевые кони, взметнув мечами ушей при этом отлично знакомом им боевом кличе всадников, словно почуяли близость дома. Закусив удила, напружинив сухие точеные ноги, они возбужденно посверкивали агатовыми зрачками и готовы были взмыть на дыбы.

Трубачи протрубили привал на дневку. Всадники, спешившись, занялись расседловкой. Задымили походные кухни. Запылали костры. На берегу озера быстро раскинулись штабные шатры и казачьи палатки. И не успели еще дневальные сбить в косяки расседланных лошадей, а уж некоторые досужие сослуживцы предались привычным забавам. Одни резались в подкидного дурака, другие – всяк в свои козыри, а кое-кто из неробких ребят перебрасывался втихомолку и в двадцать одно. Сотенный шорник и гармонист Сенька

Сукманов, примостившись на дышле обозной брички, лихо отрывал на новенькой однорядке «Метелицу», щеголяя неслыханными разбойничьими вариациями. И кто-то, видать, из самых отпетых полковых плясунов, размахивая связкой уздечек, не утерпев, успел раза два-три пройтись вокруг гармониста вприсядку...

Ко всему на свете, казалось, равнодушные на марше, неразговорчивые, хмурые и нелюдимые с виду казаки совсем другими выглядели на привале. Со стороны присмотреться к ним в эту пору – ахнешь: не те ребята! Спешились – все! Смотришь, и усталость как рукой сразу сняло. И языки мало-помалу, как в легком хмелю, развязались. И прибаскам и присказкам – нет числа... Немногого требовали служивые от скупой на забавы и радости походной жизни. Брезентовая палатка над головой. Жаркий костер в ночи. Братский ужин из артельного котелка. Цигарка из казенной махорки. Песня, спетая ввечеру на неполные голоса. Вот и хватит. Вот, пожалуй, уже и счастливы. А чем порадует завтрашний день, поживем – увидим!

Так было всегда.

Но в сегодняшний вечер лагерь выглядел особенно шумным и оживленным. Казалось, ярче обычного горят костры. Веселее и громче смеются казаки, озорнее звенят в припевках медные голоса шорниковской гармошки, белее выглядят четырехгранные штабные шатры с полковыми штандартами на флагштоках и выстроившиеся в линейку походные казачьи палатки. И даже глухое, негромкое ржание пасущихся строевых лошадей окрыляло, томило и радовало казачьи сердца, как призывный звук далекой полковой трубы.

Все были возбуждены и взволнованы необыкновенно в этот погожий вечер. И понятно. Суровый маршрут по горячим пескам и бесплодным равнинам Голодной степи уже позади. Впереди простирались овеянные полумглистою зыбкой дымкой, обжитые

зверем и птицей степи. И потянувший к вечеру северный ветерок доносил уже знакомые с детства запахи родной стороны – горьковатый аромат мелкой степной полыни, шалфея и донника.

2

Через час с четвертью после привала есаул Стрепетов, отужинав в кругу полковых офицеров и выпив при этом законную чарку рому, покинул штабной шатер. Хотелось побыть в одиночестве, побродить перед сном по окрестной степи, размять затекшие от стремян ноги. Чтобы не смущать казаков, непринужденно и шумно забавлявшихся после ужина, Стрепетов обошел бивак стороной и углубился в степь.

Вечерело.

В порозовевших от заката водах озера отражались гигантские облачные башни и пирамидальные вершины кремнистых скал, окружавших берег.

На биваке играл духовой оркестр. Замедлив шаг, Алексей Алексеевич прислушался. В бесхитростной, то мятежной и бурной, то тревожно-печальной мелодии было столько большой человеческой скорби по чему-то заветному, неповторимому, дорогому, что у Стрепетова в комок сжалось, на мгновение как бы даже остановилось сердце. Играли вальс «Воспоминание о Пржевальском».

Присев на первый попавшийся валун, не мигая, смотрел есаул в зыбкую полумглу степи, слушал знакомый с юности вальс и припоминал одинокую могилу великого путешественника на берегу пустынного горного озера Иссык-Куль. На месте последнего привала знаменитого исследователя высился суровый, строгий обелиск, затерянный среди горных вершин Тянь-Шаня. Алексей Алексеевич снял фуражку и мысленно преклонил колено перед нравственной силой, душевным благородством и мужеством этого

русского человека. С юных лет, со времени пребывания в Омском кадетском корпусе, не переставала волновать Алексея Стрепетова и завидная скитальческая судьба, и подвижническая смерть Пржевальского вдали от родной земли, отдавшего все – и даже свою могилу – пустыне. Зачитываясь в юные годы блестящими записками Пржевальского о трех маршрутных походах, совершенных им в глубь Центральной Азии и Тибета, Алексей Стрепетов тоже мечтал о каком-то необыкновенном подвиге во славу России, который, ему казалось, он всегда готов был совершить...

Но все выходило у него не так, как мечталось. Призванный в чине хорунжего в действующую армию в 1904 году, Алексей Стрепетов получил в свое распоряжение Пятую сотню перворазрядников в четвертом Сибирском казачьем полку. Этот полк, входивший в куропаткинский конный корпус, не раз прославил свое боевое Георгиевское знамя в рукопашных схватках с противником в гаолянах Маньчжурии на русско-японском театре войны. На особом счету в полку была и лихая стрепетовская сотня, пленившая в деле под Ляояном командира японской кавалерийской бригады генерала Уехара, а в боях на Тымынлинском перевале отбившая знамя японского стрелкового полка. За руководство боевыми операциями этой сотни хорунжий Стрепетов был произведен в подъесаулы, награжден золотым холодным оружием и орденом Станислава с мечами. Но затем тяжело раненный в ногу при конной атаке под Вафангоу Алексей Стрепетов вынужден был покинуть действующую армию. Эвакуированный в тыл, он по выздоровлении принял командование над запасной сотней казаков, стоящей в резерве в Омске. Здесь ему не повезло. За уклонение от личного участия в разгоне революционной демонстрации рабочих омских железнодорожных мастерских 19 октября 1905

года и за пассивные действия при этом стрепетовской сотни молодой подъесаул едва ушел тогда от военно-полевого суда. Спасло его заступничество начальника войскового госпиталя, престарелого доктора Андрея Викентьевича Путинцева. Связанный в прошлом узами многолетней и тесной дружбы с отцом подъесаула – кавалерийским полковником Алексеем Ильичом Стрепетовым, старик ловко выручил из беды офицера, положив его в день демонстрации девятнадцатого октября в свой госпиталь на длительное излечение...

Но, уйдя от военно-полевого суда, Алексей Стрепетов не ушел от опалы. В числе прочих боевых офицеров Сибирского войска – ветеранов русско-японской войны – он готовился к поступлению в Петербургскую военную академию. И вдруг все пошло прахом. Вместо блестящего Петербурга он очутился к осени 1906 года в захудалом семиреченском городке Верном, а вместо академии генерального штаба – командиром сотни в пограничном Сибирском казачьем полку. Он понимал, что это, в сущности, была ссылка. Войсковой атаман и наместник Степного края генерал Сухомлинов не забыл, разумеется, при определении дальнейшей судьбы Стрепетова о незнатном происхождении подъесаула – выходца из рядовой и притом небогатой казачьей семьи. Атаману было известно, что Алексей Стрепетов был зачислен в кадетский корпус только благодаря боевым заслугам своего отца – ветерана Туркестанского и Маньчжурского походов, выбившегося к концу своей жизни из нижних чинов в полковники. Знал войсковой атаман кое-что и о косвенных связях бывшего кадета Алексея Стрепетова с революционным кружком политических ссыльных студентов, раскрытым в канун русско-японской войны омской полицией. В итоге все это давало основание осторожному наместнику не очень-то либеральничать с заподозренным в полити-

ческой неблагонадежности молодым офицером и отправить его от греха подальше в верненское захолустье.

Прибыв к месту новой своей службы, подъесаул принял сотню молодых, только что ставших в строй казаков. Наступила пора невеселой гарнизонной жизни в безликом и пыльном городишке, где можно было спиться со скуки, а в Офицерском собрании и перестреляться с отчаяния за зеленым столом. И Алексей Алексеевич на первых порах приуныл. Казалось, все было кончено. Приходилось поставить крест на мечтах об отважных походах и странствиях с винчестером за плечом. А о Петербурге, об академии, о карьере блестящего генштабиста навсегда позабыть...

Но, оглядевшись, освоившись мало-помалу на новом месте, опальный подъесаул взял себя в руки. Далеко не все офицеры гарнизона оказались дуэлянтами, пьяницами и картежниками, как представлял себе Стрепетов по прибытии в полк. Позднее, сблизившись с некоторыми из старших командиров, он нашел среди них немало самобытных и одаренных натур, связав себя с ними за годы службы прочной и тесной дружбой. Сжился Алексей Алексеевич и со своими подчиненными. Горячо принявшись с первых же дней за строевые учения и боевую подготовку своей сотни, он проявил немалую заботу и о духовной стороне жизни казачьего гарнизона. На гроши, собранные по подписному листу среди офицеров и нижних чинов, он завел полковую библиотеку, что, по тем временам, было делом новым в войске. Много и жадно читая сам, он пристрастил к чтению не только молодых людей офицерского круга, но и кое-кого из нижних чинов.

Так вот и прошло пять лет. Срок действительной службы для казаков стрепетовской сотни истек. Для четырех Сибирских полков, сослуживцев одного наряда, призванных в строй осенью 1908 года, настала

пора отпуска по домам. И тут Алексею Алексеевичу повезло. Произведенный к этому времени в есаулы, он был назначен приказом по войску проводником и начальником эшелона демобилизованных казаков. Алексей Алексеевич с радостью принял это назначение. Трехтысячеверстный марш с целой дивизией всадников через труднопроходимые и малоизученные пустыни и степи Азии был уже не совсем обычным военным походом.

Стрепетов, сформировав в Верном свои эшелоны, повел казаков. Есаул поторапливался закончить марш к Покрову – престольному празднику в линейных станицах. Но самому ему, в сущности, незачем было торопиться. Никто не ждал его на родине. Не было там у него теперь ни отчего крова, ни родных, ни близких. Отец, командовавший в русско-японскую войну 6-м Сибирским казачьим полком при конном корпусе Куропаткина, пал в бою под Мукденом. Матери, умершей лет двадцать тому назад, Алексей Алексеевич почти не помнил. Старый родительский дом с мезонинчиком, украшавший когда-то площадь станицы Усть-Уйской, перешел за какие-то отцовские долги в собственность войскового казначейства и за ветхостью был продан на слом. Из близких родичей была у него лишь двоюродная, по матери, девятнадцатилетняя сестра Верочка, с которой изредка переписывался есаул, посылая ей на рождественские и пасхальные праздники поздравительные цветные открытки. Но Верочка Стрепетова, окончившая год назад омскую женскую гимназию, учительствовала теперь где-то на Алтае в одном из глухих кержацких сел. И, судя по последним подозрительно-бестолковым и не в меру восторженным письмам, она, видимо, влюбилась в какого-то ссыльного студента Гриневича и не очень-то, должно быть, тяготилась разлукой с братом...

Нет, ничто уже не связывало теперь есаула с теми местами, где прошло его детство, и куда вел он теперь

своих казаков. Однако, как и все его спутники по этому маршу, он не мог без горячего и светлого душевного трепета думать, о близком конце похода. И сейчас, на подступах к ковыльному царству Западно-Сибирской равнины, он волновался так же, как любой из его казаков, не видавших родной земли в течение пяти долгих лет, проведенных на чужбине.

Но вот смолк вдали полковой оркестр, и Алексей Алексеевич, как бы очнувшись, машинально взглянул на карманные часы. Они показывали половину девятого. Пора было подумать о сне. И есаул тем же неторопливым и мерным шагом повернул к лагерю. Заложив за спину руки, он шел по степи, заглядевшись на жарко мерцавшие в полумгле золотые зыбкие цепи бивачных костров. А навстречу ему доносились из лагеря приглушенные, похожие на всплески задумчивых волн, хоровые звуки казачьей песни.

3

Добравшись до лагеря, Алексей Алексеевич остановился возле казаков, собравшихся в кружок у неяркого догорающего костра. Они пели на неполные голоса, и было похоже, будто рассказывали нараспев полубыль-полусказку, дремотно прищурив позолотевшие от огня глаза:

Прослужил казак три года,
Стал коня своего ласкать:
– Конь мой милый, конь ретивый,
Нет мне лучшего коня.
На родимую сторонку
Скоро ль ты домчишь меня?
По дороженьке знакомой
Мчался всадник молодой,
Повстречался он с казачкой,
Что ходила за водой.

И сказала та казачка
Молодому казаку,
Что напрасно он стремится
В хутор близкий, за реку:
Ждет его там не отрада –
На беду легла беда –
От родительского сада
Не осталось и следа.
Двор зарос глухой травою,
Опустел родимый дом,
И поник казак главою –
Сирота в краю родном!

Дослушав песню, Алексей Алексеевич, преисполненный того светлого грустного волнения, какое вызвала в нем отзвучавшая печальная песня, вернулся в свою палатку. Бивак засыпал. Полковые песельники, умолкнув, разбрелись по палаткам. И только кое-где еще мирно судачили вполголоса о своем житье-бытье некоторые засидевшиеся возле полупогасших костров казаки, да где-то в другом конце лагеря лепетали чуть слышно, словно спросонок, бедовые лады шорниковской гармошки. Стрепетов, не раздеваясь, прилег на узкую складную кровать и, накрывшись шинелью, тотчас же уснул замертво, как всегда засыпал после дневного марша в походе. Проснулся он от осторожного прикосновения чьей-то руки. Взбросив глаза, есаул не сразу узнал дежурного по лагерю вахмистра Гусихина, стоявшего навытяжку в скупо освещенной свечным огарком палатке.

– В чем дело? – почувствовав что-то неладное в неурочном визите вахмистра, спросил Стрепетов.

– Беда, смею доложить, ваше высокоблагородие. Происшествие в лагере. Казак Седельников утонул, – не переводя дыхания, скороговоркой отрапортовал вахмистр.

– Что? То есть как утонул? Где? – почему-то полушепотом спросил есаул, вскакивая с постели.

533359

– В Чертовом озере. При полной амуниции ко дну пошел, ваше высокоблагородие.

– Каким же это образом?

– Он в ночном наряде с тремя казаками второй сотни при полковом табуну находился. Известно, ночной наряд в такую пору при табуну – хлопот не ахти: ни гнусу сейчасный период, ни оводу. Строевые кони тебенюют себе на подножном корму. Ну, а дневальным што делать? Одна забота – табак у костра палить. Посиживают себе обоюдно – тары да бары. А он, видать, давно обдумал себя кругом на рупь двадцать. Выждал удобный секунд, и бац – с крутого яру в воду. А ведь глыбь то, ваше высокоблагородие, под яром какая – не прохлебнешь. Ну, один темп, и поминай как звали.

– Позволь, позволь, вахмистр. Так что же это – самоубийство?

– Выходит, так точно, ваше высокоблагородие. Хорошо ишо, что ребята подобрались уралистые – ухо с глазом! Один – бить тревогу. Двое – на выручку сослуживца, вниз головой в озеро. А темь – глаза выколи. И ветер, как на грех, разыгрался – на озере вал в аршин. Ну да ведь казаки – хваты. Не оробели. Нахлебаться-то они нахлебались. А все-таки изловчились, зацепили каким-то манером дружка за портупей и выбились с ним на берег...

– Выбились? А проку в том что? – сказал есаул.

– Прок тут, ваше высокоблагородие, известный. Тело, по крайней мере, земле предать можно, – резонно ответил вахмистр. – Битый час казаки на попонах его откачивали, – продолжал вахмистр. – Край как охота было всем отстоять казака... И околодок полковых фершалов был тут весь налицо – тоже отваживались согласно медицинской науке. Но не фарт. Каюк. Отказаковал парень.

– Погоди, погоди, вахмистр. Ты мне главного не докладываешь. Причина известна? – раздраженный многословием вахмистра, перебил его есаул.

– Никак нет, ваше высокоблагородие. Толку не дашь, какой грех его попутал. Одни – руками разводят, другие – воды в рот набрали, помалкивают. Темное дело, словом... Никак не похоже было, штобы он при спуске к дому руки на себя наложил. А вот вышла ж такая притча.

– Притча так притча! – многозначительно подтвердил есаул, вздыхая. И он, неожиданно приняв строго официальный тон, сказал: – Хорошо, вахмистр. Можешь идти...

4

Оставшись один, Алексей Алексеевич долго стоял в раздумье над догорающей свечкой, словно выжидая, пока она догорит и погаснет сама собой. Он никак не мог представить себе уже неживым того самого Седельникова, с которым только вчера еще мимоходом перебрасывался на марше шуткой. Дико и странно было думать, что стройная и гибкая фигура Седельникова неподвижно лежит теперь, прикрытая попоной, на пустынном и неуютном берегу озера.

И странный, почти фатальный смысл обретал в сознании Стрепетова мимолетный разговор во время вчерашнего марша, которому он не придал, разумеется, тогда никакого значения.

Настигнув на марше передовую колонну полковых песельников, есаул, улыбаясь, спросил задумавшегося Седельникова, ехавшего на вороном строевике впереди колонны:

– Ну как, отказаковал свое, запевала? Теперь домой – и на боковую?

– Так точно, ваше высокоблагородие. Открасовался,– как всегда непринужденно и бойко отвечал тот.

– А ведь тебе, братец ты мой, все казаки завидуют. Раз ты, как запевала, впереди эшелона идешь, то тебе, выходит, вперед всех и дома быть,– продолжал подшучивать есаул.

– И это так точно, ваше высокоблагородие. Кому как. А мне приходится поторапливаться...

– Невеста небось заждалась?

– Ишо бы! Из терпленья выходит...

– Тогда – уговор. Первым в эшелоне идешь, первому и жениться.

– Слушаюсь, ваше высокоблагородие. За этим дело не станет.

– На свадьбу, надеюсь, пригласить не забудешь?

– Помилуйте, как забыть! Всех однополчан призову, а уж ваше высокоблагородие – в первую очередь, ежели уважите.

– Всех однополчан? Ого. Веселую свадьбу задумал, жаркую.

– Не свадьба – пожар, ваше высокоблагородие.

– Дорогая, видать, у тебя невеста, Седельников...

– Невеста – это так точно – не из дешевых...

– Верная?

– Как клинок!

– Завидую.

– А вот это зря, ваше высокоблагородие.

– Отчего же зря?

– Грешно на чужое счастье зариться,– не поймешь как, в шутку или всерьез, отвечал есаулу Седельников, и лицо его стало серьезным и задумчивым.

– Что же делать, братец, когда своим не похвалишься!– заключил есаул в тон собеседнику, тоже как бы полушутя-полусерьезно.

На этом их короткий разговор и закончился. Разговор как разговор. Ничего особенного, кажется, не было сказано ни тем, ни другим. Однако те несложные летучие фразы, которыми отшучивался Седельников с присущей ему беспечностью в канун близкой своей гибели, звучали теперь для Стрепетова совсем по-иному, хотя решительно ничего и не объясняли ему. «А еще болтаем среди господ офицеров, будто за пять лет службы мы досконально изучаем и знаем,

мол, как пять собственных пальцев всех нижних чинов в полку. Нечего сказать, хорошо изучил я Седельникова»,– раздраженно думал Алексей Алексеевич.

5

Коротко обсудив с полковыми офицерами случившееся, Стрепетов вызвал дежурного вахмистра Гусихина и, глядя на карманные золотые часы, раскрытые на ладони, распорядился:

– Тело покойного казака Седельникова предать земле на территории лагеря с соблюдением всех воинских почестей, положенных по артикулу для нижних чинов, павших на поле боя. В траурном марше принять участие всему личному составу полка в конном строю, при боевом оружии и парадной форме. При погребении погибшего строевому составу полка произвести троекратный салют боевыми из карабинов. И последнее: побудку играть трубачам в шесть ноль-ноль. Седловку – в шесть тридцать. Построение резервных конных колонн по сотням – в шесть сорок пять. Все!– закончил есаул.– Можете идти, вахмистр.

В ожидании рассвета Алексей Алексеевич решил побродить по лагерю, присмотреться со стороны к тому, как ведут себя поднятые тревогой казаки, прислушаться краем уха – не объяснят ли они в разговоре между собою причину гибели сослуживца.

Было около шести часов утра.

Чуть брезжило. Неласковым выглядел поздний осенний рассвет над биваком. Моросил словно сеянный сквозь частое сито дождь. Лихо посвистывал в пустынном поле бесприютный северный ветер. Угрюмо и глухо шумели вдали волны. Тревожно ржал чей-то конь в полковом табуне. Горько перекликались в заоблачной выси казарки, отбившиеся от птичьего косяка. И казалось, что лежавший сейчас на берегу под жесткой походной попоной казак Седельников тоже

чувствовал неуютный, серый этот рассвет и жалел, что расквитался с жизнью в такую минуту...

Лагерь не спал.

Кругом горели костры, хотя и не так жарко и весело, как накануне. Казаки, набросив на плечи шинели, жались к огню. Лица – серые, хмурые. Сидели тесным кружком у костра, сгорбившись под частым косым дождем. Вздыхали. Поеживались. Жгли напропалую табак. По-азиатски поплевывали сквозь зубы в золу. Помалкивали. Стрепетов чувствовал, что притихшие казаки все же знают нечто такое, о чем не знают их командиры. Чуялось, что гибель Седельникова не является для них такой неожиданной, загадочной и таинственной, какой явилась для полкового начальства.

И в этом Стрепетов не ошибся. Вскоре он наткнулся на группу казаков, сидевших у костра, хозяйственно защищенных с наветренной стороны попоной, натянутой на клинки, воткнутые в землю. От огня им не было видно есаула. Облокотясь на борт стоявшей неподалеку обозной брички, он решил попристальней присмотреться к этим подозрительно оживленным ребятам и прислушаться к их беседе.

Казаков было пятеро. Есаул знал их всех поименно. В кругу защищенных от ветра и пригретых костром сослуживцев сидел смахивающий на подгулявшего ярмарочного цыгана полковой трубач Спирька Полубоярцев. Против трубача сидя ерзал невеликий ростом, но озорной и щеголеватый казачишка Евсей Сударушкин. Он только что заложил в обе ноздри по щепотке перетертого в золе табаку и теперь, собираясь расчихаться, вертел носом и страдальчески морщился. Тут же красовался своей гвардейской статью и выправкой полковой кантенармус Михей Струнников – видный собой детина, с картинным чубом подвитых плойкой волос. Брезгливо оттопырив толстые губы, он презрительно косился прищуренным

глазом на вдруг расчихавшегося Сударушкина. А коренастый крепыш в чине приказного, Матвей Наковальников, наоборот, смотрел на прослезившегося от чиханий соседа с таким блаженно-умиленным выражением лица, словно сам испытывал при этом не меньшее удовольствие, чем трепыхавшийся, как подбитая птица, Сударушкин. Пятый из сослуживцев – подхорунжий Яков Бушуев – полулежал у костра, опершись на локоть, и, покручивая вороненый ус, меланхолически поглядывал на огонь узкими немигающими глазами.

Все казаки были однополчанами. Все – земляки из первоотдельских станиц, лежавших по берегам горько-соленых озер между Иртышом и седым Жайыком.

Присмотревшись к однополчанам, есаул смекнул – эти выпили! И как только перестал чихать красный как маков цвет Сударушкин, тотчас же возник между ними и разговор, прерванный, видимо, на минуту.

– Нет, это вы бросьте, братцы. Я топиться не стану,– проговорил таким тоном трубач, точно его кто-то настойчиво убеждал непременно сделать это.

– А зачем топиться, когда горячая оружия палицо? Пуля – куды вернее. Бацкнул в правую темю, вот тебе и сыграл в орла!– сказал с трезвой рассудительностью Сударушкин.

– Это так точно. От пули, по крайней мере, сразу каюк – прямое сообщение,– живо откликнулся приказный.

– Куды там иньо прямей. Царапнул, к примеру, под самую ложечку – ни печали, ни воздыхания,– поднел тепорком Сударушкин.

– Не врите-ка вы, братцы, дурничку, на ночь глядя. Для меня што ваша пуля, то и вода – одна сатана. Нет, шабаш. Я, язви те мать, не такой дурак, как Мишка Седельников, руки сдуру на себя подымать!– возразил трубач все с той же ожесточенной горячностью.

– Ну, ты говори, да не заговаривайся. Покойников не срамят, трубач,– строго заметил ему подхорунжий Бушуев.

– Извиняй, подхорунжий. Я – к слову...

– Слово неподходящее.

– Так точно, господин подхорунжий. Живой усопшему не судья... Тут одно сказать можно: худо с судьбой играть, когда на руках ни козырей, ни масти,– молвил со вздохом Сударушкин.

– Ну, карты-то у нас, допустим, с ним одинаковые – не позавидуешь...– не сдавался трубач.

– Фарт, стало быть, разный.

– Дело не в фарте, Сударушкин.

– А ишо в чем же, служба?

– В становой жиле. Вот в чем.

– А ты погодил бы хвастаться становой жилой до поры до времени, Спиря. В строю-то все мы пока двужильные – орлы орлами. А вот по домам из полка разбредемся – птица из нас с тобой будет уже не та. Понял ты меня али тупо?– многозначительно кивнув трубачу, проговорил с горьковатой усмешкой приказный.

– Досказывай, что за птица.

– Незавидные птахи, словом. Вроде кукушек.

– Здравствуйте, я вас не узнал! Домололись. Тоже сравнил мне ястреба с пустельгой,– презрительно сощурив зеленоватые кошачьи глаза, процедил сквозь зубы каптенармус.

– Помилуй, господин каптенармус, не о тебе пока идет речь.

– Удивительно, Марья Митревна. Ты што же, за казака меня не считаешь?

– Упаси бог. Наоборот. Уж кто там кто, а ты-то из ястребиной породы. Это так точно. Не нам чета... Ить тебе – што. Ты и в полку жил по первой статье, и домой воротишься – все козыри в руки. А вот нам с трубачом на родной стороне крылышки-то прижать придется.

– Чем же это мы с тобой хуже других казаков?– спросил с прежней заносчивостью трубач приказного.

– Тем самым, о чем я тебе долблю.

– Не знаю, приказный. Меня за пять лет службы в полку ни один ишо командир не охаял. А ты одну лычку на погон нацепил, а буровишь, как генерал от инфантерии.

– Снова за рыбу деньги! Заладила сорока Якова одно про всякого! «В полку! В полку!» О чем и речь, што в полку-то все мы, как говорится, нижни чины вроде как на равной ноге. А вот дома кое-какие из нашего брата начнут прихрамывать. Нет уж, как ты там ни верти, а в домашнем житье-бытье казак казаку не ровня.

– Интересно, што это ишо тако значит?– ни на кого не глядя, спросил, как бы думая вслух, тусклым голосом каптенармус.

– А вот то, к примеру, и значит, што твоя пристяжная только для виду скачет, а мой коренник карету везет. Понял?– вызывающе заглянув в плоское, засиженное веснушками лицо каптенармуса, бойко откликнулся на его вопрос приказный.

– Ну ты эти присказки брось, Наковальников!– повысил голос и каптенармус, подняв на приказного полусонные глаза.

– Ага. Не по ндраву?

– Што-то уж больно понятливый ты у нас стал под конец службы.

– Не спорую. Это так точно...

– Запретных книжек подначитался!

– А это уж дело хозяйское – каки мне книжки читать...

– Известно каки – крамольные сочинения.

– Насчет крамольных – не знаю. Не читывал... Греха на душу не приму. А ты, стало быть, видел такие?

– Не приведи бог! Я пока ишо не враг государь-императору – у разных смутьянов ума занимать... А вот от покойного тяти, царство ему небесное, слыхивал,

как они со своими сослуживцами по лейб-гвардии в городе Петербурге не один раз, понимаешь, сочинителей этих самых книжечек публично на Невском пришпекте плетями драли. Вот тоже было потехи, сказывал тятя. Сочинители эти все, как один, сухопарые. При двойных очках. Чесноком за версту попират. Шароваришки навыпуск. Не поймешь, в чем душа только держится. Раз, два, говорит, огрей его, подлеца, вдоль спины плетью, он и заревет на весь Петербург, как заяц. С виду в нем живности ни на грош, а бунтарские книжечки сочинять и народ смущать – первый мастер. На этом они, видать, не одного черного кобеля втайне съели. Какого варнака, говорит, за ошкур ни тряхни, из того и крамольные бумажки градом. За како место его ни хвать, там и политика...

– Откудова же было твоему покойному тяте знать, што это были за бумажки и книжечки? Ить он у тебя, слава богу, и помер неграмотным,– заметил приказный.

– Оттудова, што стары люди не грамотой – своим умом жили.

– Хороша, язви те, житуха – расписаться при нужде сами за себя не умели!

– Невелика беда. Они, брат, не бумажке – слову верили. На бумаге-то хоть как у язву набарахли, она все вытерпит... Ты вот при своей грамоте дочитался, видать, у этого варначья до того, што тоже теперь тень на плетень наводишь. Казаков норовишь друг против друга стравить. Только смотри, Наковальников, играть – играй, да перебору не делай. Как бы тебе за эти прибаски язык не подрезали – картавить станешь!

– Бог не выдаст, свинья не съест... Я – не ты. Люблю словечко вприкуску...

– Язык зудится – мели, да с оглядочкой.

– В душе накипит – язык зачешется. А часто оглядываться начнешь, вперед далеко не увидишь...

– Ну, ну!

– А ты не понукай, каптенармус. Верхом пока не сидишь!– приняв вдруг сторону Наковальникова, прикрикнул трубач.

– Верхом на тебе?! Нету пока охоты...– криво усмехнувшись в крученый ус, отозвался на окрик трубача с притворным спокойствием каптенармус.

– Оседлал бы. Да не на того напоролся – не дамся.

– Ловко ты, вижу, гужи рвешь, трубач. И в годах уж как будто, а с норовом.

– Так точно. Есть такой грех. Не таюсь. Подвернешься под горячую руку – не пикнешь... Я тебе не Мишка Седельников. Первым в омут вниз башкой сдуру нырять не стану. А припрет, как его, покойника, скорей всего такую барабанную шкуру, как ты, вперед себя утоплю.

– Ого. Да ты у нас, оказывается, не парень – урал!– воскликнул с наигранным испугом и изумлением каптенармус.

– А ты думал! С ним не шути. Таких ведь ребят бабы наши только в девках родят – не взамужем,– заглядывая с придурковатым любопытством в потемневшие от гнева глаза трубача, скороговоркой ввернул Сударушкин.

Все рассмеялись. Невольно улыбнулся, тряхнув табачным чубом, и не умевший обижаться на шутки трубач. И только плоское лицо каптенармуса Струнникова по-прежнему было похоже на восковую маску, слегка искаженную сейчас полупрезрительной, полузлобной гримасой.

Сударушкин, воспользовавшись заминкой, расторопно выхватил откуда-то из-за пазухи обшитую шинельным суконышком алюминиевую баклажку с джином – контрабандной китайской водкой из риса – и еще расторопнее, расплескав недопитое заморское зелье по кружкам, столь же поспешно и бойко рассовал чарки по рукам сидевших вокруг однополчан. Потом,

подмигнув Наковальникову, Сударушкин первый, с видимым удовольствием, лихо, почти со стоном, выхлебнул свою порцию и, звонко прищелкнув языком – закусывать было нечем, – снова заерзал, потирая простертые над костром маленькие и розовые, как у красной девицы, руки.

Вслед за Сударушкиным молча выпили свою долю и остальные казаки. Не стал пить на этот раз один только каптенармус. Отставив в сторону свою кружку, он выждал, пока выпил трубач, и, не сводя с него полусмеженных кошачьих глаз, проговорил с неприкрытой злобой:

– Нет, худо тебя, Полубоярцев, в полку за пять лет объездили – удила закусываешь. Правильно, пожалуй, говорил приказный. Домой воротимся – присмиреешь.

– Уж не ты ли смирять меня там собрался?

– Зачем я? Нужда прижмет, сам в хомут залезешь.

– Только не в твой.

– А это уж воля твоя – выбрать сбрую по корпусу...

– Ага, съел!– ткнув локтем в бок трубача, торжествующе воскликнул приказный.– Слышал такие речи? Была бы, дескать, шея у вас, варнаков, потолще, а за хомутами дело не станет. Вот и весь тебе сказ без прикрас.

– Все равно я не покорюсь,– с ожесточением сплюнув в золу, пробасил трубач сорвавшимся голосом.

– А куда ты, дружок, подашься?

– Лучше к кыргызскому баю в степь али к богатому хохлу на отруба в работники уйду, чем в своей же станице на этих шкур чертомелить стану.

– Конечно, кому работа не по нутру, у того одна припевка – пенять на бедность, – все с той же кривой усмешечкой в холеный ус сказал куда-то в пространство передернувший плечами каптенармус.

Вспыхнув как порох, Наковальников хотел было что-то возразить на ехидное замечание Струнникова. Но приказного опередил встрепенувшийся, как

раненый беркут, трубач. Рывком придвинувшись вплотную к отпрянувшему назад каптенармусу, он мертвой хваткой вцепился левой рукой в его вздувшуюся на груди гимнастерку и глухим, сорвавшимся на полушепот голосом спросил:

– А ты, сук-кин сын, много н-наробил?!

Помедлив с секунду, как бы соображая, что ему ответить на это, Струнников, вдруг изловчившись, стремительно-коротким ударом локтя отбросил от себя трубача и, тотчас же вскочив на ноги, прошипел, судорожно одергивая сбившуюся под ремнем гимнастерку:

– Нужны вы мне, хором лазаря с вами тянуть! На мой век и родительского добра, слава богу, хватит.

– Погоди. Погоди...– запальчиво пробормотал и вскочивший на ноги Наковальников, отстраняя властным движением руки ринувшегося к Струнникову тяжело и грозно дышавшего трубача. Глядя в упор бешено округлившимися, невидящими глазами в кошачьи зрачки каптенармуса, приказный негромко проговорил:– Ты бы лучше признался тут, Струнников, кто твоему родителю это добро нажил.

– Уж не вы ли с трубачом?

– Не мы. Отцы наши.

– Вот не знал! Спасибо, што сказали.

– Пусти меня, Мотя, я с им, язви те в душу мать, за всех и вся в один темп расквитаюсь!– хрипел через голову Матвея Наковальникова, дорываясь до каптенармуса, осатаневший трубач. От хмельной обиды, ударившей в голову, у него потемнело в глазах, и, подвернись ему в эту минуту под руку шашка, он наверняка разделался бы в два счета со Струнниковым. Но шашки при нем не было, а пустить в дело кулаки было ему не с руки – мешал Наковальников. Отлично зная характер крутого на расправу своего дружка, могучий в плечах и неробкий в драках приказный заслонял собой то с той, то с другой стороны

стоявшего перед ним кантонармуса и продолжал жаркую, как беглый огонь, словесную перепалку.

– Твой тятя – покойна дыра – не одну казачью семью до сумы в станице довел, не одну трудовую копейку у нашего брата проглотил – не подавился... А не вы ли с ним перед нашим уходом в полк последнюю коровешку у матери Мишки Седельникова со двора увели?! Не ваших рук это дело?! А?!– с недоброй вибрацией в глухом басовитом голоске допекал Струпникова приказный.

– Так точно. Мы. Было, значит, за што увести. Долг-то, говорят, платежом красен...– встревожено зыркая по сторонам глазами, вызывающе бубнил кантонармус.

– Посторонись, Мотька, я его, подлеца, разукрашу!– рычал трубач, норовя-таки дорваться до кантонармуса.

Теперь по всему уже было видно, что драки не миновать. Однако подхорунжий Яков Бушуев продолжал, как ни в чем не бывало, по-прежнему лежать у костра все в той же картинной позе и молча поглядывать на распалившихся однополчан ленивыми, отсутствующими глазами.

Евсей Сударушкин, отскочив в сторонку, имел, как всегда, щеголеватый и бравый вид. Опрятно одернув под ремнем диагоналевую, точно влитую, гимнастерочку и лихо заломив набекрень новенькую касторовую фуражку, он стоял подбоченясь и весело посверкивал озорными быстрыми, как у подростка, глазами. Сейчас он просто светился весь от удовольствия, уверенный в неизбежной потасовке между казаками.

– Еська, шашку!– скомандовал трубач, ринувшись вдруг к оторопевшему Евсею Сударушкину.

– А ты ослеп разя, Спиря? Вон ить клинки-то,– с живостью отозвался Сударушкин, кивая на воткнутые в землю клинки, поддерживавшие натянутую на них попону.

И трубач, вырвав один из клинков и зловеще поигрывая им, двинулся на продолжавшего словесную перебранку с приказным каптенармуса.

6

Тут уж и Алексей Алексеевич всполошился не на шутку. Не хватало еще только, чтобы трое пьяных дураков сгоряча перерубили друг друга! Волей-неволей, а есаул вынужден был теперь выдать себя, вмешавшись в междоусобицу.

– Здорово бывали, братцы,– приветствовал есаул вытянувшихся в струнку однополчан мирным, будничным тоном.

– Здравия желаем, ваше высокоблагородие!– хотя и вразнобой, но молодцевато и бойко гаркнули казаки.

Трое из них – трубач с каптенармусом и приказный – стояли как ни в чем не бывало, в одной шеренге, ухитрившись в мгновение ока выстроиться перед есаулом даже по ранжиру. Подхорунжий Бушуев с Евсеем Сударушкиным замерли в стороне. Все, опустив руки по швам, ели глазами есаула, норовя разгадать, чем пахнет для них это внезапное его появление.

– Вольно... Вольно,– сухо произнес есаул, закуривая.

Казаки, несколько обмякнув, неловко запереминались. Один чуть слышно крякнул. Другой украдкой вздохнул. Третий, сбив набекрень фуражку, принял более непринужденную позу. И только Евсей Сударушкин продолжал по-прежнему стоять навытяжку, как в строю.

Было уже совсем светло. Дождь прошел. Костры на биваке погасли. В хмуром утреннем небе стремительно мчались над степью пепельные облака, раскиданные ночным ветром. Но солнце еще не вставало. Может быть, его просто не было видно из-за траурного крепа сгустившихся туч, закрывших восточную сторону небосклона. По-прежнему чуть слышно и горько перекликались, бог весть на какой высоте, странст-

вующие казарки. Опять нет-нет да и возникало где-то вдали короткое трубное ржание все одного и того же коня, пасущегося в отгоне.

И странная, близкая к душевному смятению тревога вдруг овладела всем существом Алексея Алексеевича при виде трех присмиревших перед ним казаков, еще минуту тому назад готовых перерубить друг друга. Но еще более странным было ощущение столь же внезапного и совсем будто беспричинного озлобления против каптенармуса Струнникова, отвисшей его губы и подвитого плойкой чуба. «Самодовольная морда. Злые глаза. И вообще подлец, конечно, отпетый...»– подумал Алексей Алексеевич, бросив косой взгляд на каптенармуса. Стрепетов мало знал и почти не замечал прежде Струнникова. Но сейчас в этом нестроевом интенданте есаула бесило все: тупой подбородок и нафиксатуаренные усы, гвардейский рост и безупречная выправка. С трудом подавив в себе вспышку против выдобревшего на ворованных армейских харчах полкового каптенармуса, Алексей Алексеевич только вздохнул и глубоко затянулся на полный захват асмоловской папиросой.

– Тут, кажется, выпивкой припахивает, если не ошибаюсь?– сказал есаул, пристально всматриваясь в открытое лицо приказного.

– Никак нет. Не занимаемся, ваше высокоблагородие,– поспешно выпалил вместо приказного каптенармус.

– Так точно. Был такой грех. Выпили, ваше высокоблагородие,– твердо отрапортовал приказный.

– Молодцом, Наковальников. Благодарю за честное признание,– столь же твердо проговорил есаул.

– Рады стараться, ваше высокоблагородье!

– Чувствую. Чувствую, приказный... Одного не пойму: с каких, это радостей запировали вы в такую минуту?

– Помилуйте, каки могут быть у нас радости?! Наоборот...– молвил, вздохнув, приказный.

– Вот и я то же самое, что – наоборот.

И с ожесточением швырнув наотмашь при этих словах в догоравший костер недокуренную папиросу, есаул, сложив руки за спину, молча прошелся раза три взад-вперед вдоль шеренги вновь подтянувшихся казаков. Жестко сжав рот и полусмежив набрякшие веки, он резко остановился перед казаками и глухо проговорил:

– В эшелоне чрезвычайное происшествие. Несчастье. Одного из лучших в полку строевых казаков потеряли... А вы – пить. Да к тому же еще ворованную каптенармусом резервную водку.

– Виноват. Осмелюсь...– заикнулся было побледневший Струшников, вылупив на есаула округлившиеся, тусклые глаза.

– Молчать!– оборвал его есаул. И, уже обратясь теперь к подхорунжему Бушуеву, приказал коротким и властным движением руки, указав на Струшникова:

– Поставить на два часа под ружье. С полной армейской выкладкой. На марше – три перехода пешим порядком впереди полкового обоза с седлом, привьюченным на спине. Ясно?

– Так точно. Будет исполнено, ваше высокоблагородие!– лихо вытянулся подхорунжий Бушуев, скосив глаза на каптенармуса.

Козырнув казакам, Стрепетов тотчас же отошел от них прочь своей стремительной походкой.

7

Схоронили нижнего чина Михаила Седельникова на вершине степного кургана, вокруг которого был разбит накануне походный бивак.

Когда стройное тело покойного, завернутое в попону, было бережно опущено казаками на чумбурах в могилу, есаул Стрепетов, спешившись, первым бросил горсть сухой и жесткой земли на прах своего подчиненного. То же самое сделали следом за командиром и пешие почетный караул казаки.

Полк, развернутый вокруг кургана в конном строю, обнажив клинки, взял на караул и стоял, не шелохнувшись, в глубоком молчании. Рослый вороной строевик покойного под седлом и с завьюченной в торока седельниковской шинелью присмирел рядом с правофланговым всадником, коротко державшим его за повод. Высоко взметнув в тревожном порыве красивую, будто вылитую из бронзы, голову, конь сверкал агатовыми зрачками, точно прислушиваясь к чему-то.

Но тихо было вокруг.

Только резкий северный ветер глухо гудел и посвистывал в стволах висевших за плечами у всадников карабинов да где-то далеко-далеко кричал, должно быть, подраненный гусь. Над степью слегка порошила похожая на жемчужную россыпь крупа. Молча, без обычного сторожевого курлыканья, низко проносились над головами всадников, видать, последние стаи гусей. Не спеша, с неохотой брело запоздалое хмурое утро по неуютной в такую пору степи. Тускло и холодно поблескивала тавреная сталь обнаженных сабель. И колыхалось, словно вздыхая от ветра, приспущенное знаменосцем боевое Георгиевское знамя полка...

Гулко прогрохотал, перекликаясь с эхом прибрежных гранитных сопок и скал, троекратный оружейный салют. Просвистели свинцовые пули. И все было кончено.

Полк, развернувшись для марша, принял равнение направо и молча проследовал с приспущенными штандартами и саблями наголо мимо одинокой могилы. Торжественно-скорбное безмолвие всадников со взятыми на караул клинками нарушалось лишь чуть внятным ритмичным поскрипыванием переметных сум и седельных подушек, звяканьем закусываемых строевиками стальных удил да глухим и дробным рокотом гудевшей, как бубен, земли под тяжелыми коваными копытами.

Оседланного седельниковского коня вел в поводу полковой трубач впереди эшелона. Неспокойно держался без седока на этом марше строевик Михаила Седельникова. Давно почуяв неладное, шел он неровным, приплясывающим шагом. Злобно грызя мундштуки, он то норовил рвануться со всех ног вперед, то вдруг тормозил на ходу, засекаясь на заднем копыте.

Эшелон уходил на север.

Все дальше и дальше уплывал в нелюдимую глубь осенней степи оставшийся позади невысокий курган с большим, грубо отесанным деревянным крестом, водруженным на свежей могиле. И казаки, шедшие в конной колонне, замыкающей эшелон, повернувшись в седлах вполоборота, долго не сводили глаз с похожего на распятье креста, маячившего в зыбкой мгле.

Когда эшелон был уже в полуверсте от кургана, многие из всадников видели, как над местом покинутого ими ночного бивака показался вдруг спустившийся из заоблачной высоты степной орел. Описав два широких и плавных круга над похожим на евангельскую Голгофу курганом, он медленно опустился затем на вершину креста, сначала широко расправив над ним, а потом мягко подобрав свои огромные крылья.

Как всегда, и на этом марше песельники, построившись в развернутую колонну, шли во главе эшелона. И хотя вместо выбывшего из строя Михаила Седельникова красовался теперь на саврасом строевичке впереди полковых запевал другой, такой же бедовый и лихой запевала Евсей Сударушкин, – казаки угрюмо молчали.

Не пелось.

Для обеспечения колонизации на Западно-Сибирской окраине русскому правительству в XVIII веке пришлось отгородиться от кочевников искусственно укрепленными линиями. Одна из этих линий легла от Жайыка до Иртыша и была названа Горькой.

1

К югу от линейных станиц, за жемчужной цепью озер и канвой березовых перелесков лежит великая древняя степь.

Степь.

Родимые, не знавшие ни конца ни края просторы. Одинокие ветряки близ пыльных дорог. Неясный, грустно синеющий вдали росчерк березовых перелесков. Горький запах обмытой предрассветным дождем земли. Азиатский ветер, пропитанный дымом кизячных костров. Трубный клич лебедей на рассвете и печальный крик затерявшегося в вечерней мгле чибиса. О, как далеко-далеко слышна там в предзакатный час заблудившаяся в ковыльных просторах проголосная девичья песня!

До боли в глазах сверкают там в знойную летнюю пору ковыли и озера, а зимой – белые, сахарные снега. Гулко гудит на рассвете под некованым конским копытом широкий тракт. Неподвижным и тусклым становится ночью шафранный зрачок зверя, притаившегося в придорожном бурьяне. Бесшумно, медлительными дремотными кругами опускается в предзакатный час на одинокий степной курган орел. Равнодушный и безучастный к великому окрестному

безмолвию и покою, он садится на вершину намогильника и долго точит потом об осколки гранитной гробницы свой стальной, окантованный траурной прошвой клюв.

Джигитует в родимых просторах ветер, пропитанный солью степных озер и дыханием далекой пустыни. И плывут, плывут безучастные к жизни и смерти, кочуют из края в край над этой землей легкие, как паруса, облака.

Загрубела обильно политая кровью племен, утрамбованная копытами коней земля. Потому-то, словно бубен, звенит она на рассвете под ногами злого как черт иноходца. Потому и бушуют здесь в летнюю пору диковинно пышные травы и пылают, как пламя в дыму, яркие степные цветы. А в конце февраля от чудовищного грохота и гула буранов не находит себе места в камышовых джунглях напуганный зверь. И горе тебе, человек, попавший в такую пору в эти первобытные степные просторы!

Может быть, вот так же тысячу лет назад красовались в этих местах такие же диковинные цветы и бушевали под ветром густые сочные травы. Жестокие предания, легенды и песни хранит в себе эта степь. Суровые гребни курганов и проросшие ковылем и бессмертником камни древних гробниц напоминают о битвах и сечах воинственных предков, о кровавых маршах диких племен и орд, прошедших с огнем и мечом по этим равнинам.

Вдосталь показаковала, поатаманила некогда в этом краю и пришлая из Прикаспийских пустынь, с Дона, Волги и Жайыка казачья вольница. И по полузабытым лихим и тревожным песням ее можно судить о том, как, бывало, отгораживались на Горькой линии частоколом, водой и рвами линейные казаки от немирных своих соседей, как закладывали они лет двести тому назад в этих местах и поныне существующие земляные крепости, маяки и редуты.

Хаживали эти хмельные от вольности ребята на легкий, рисковый промысел в глубинную степь. Сторожили они на древних дорогах и трактах заморских купцов и миловали кистенем и пищалью иноземных предводителей караванов. Не гнушались лихие станичники ни индийским серебром, ни китайской парчой, ни персидскими коврами, ни полоненными дикарками со смуглыми лицами. Потому-то и течет до сих пор в жилах сибирского линейного казачьего войска глухая, властно зовущая в кочевые дали кровь. Потому-то не редки еще и теперь среди линейных станичников диковато-шустрые на взгляд и облик казаки и темноликие казачки.

Но все прошло, поросло ковылем-травою. И остались от предков в наследство линейным станицам одни изрытые ядрами старинные крепостные земляные валы да полувыровненные временем рвы.

...Станица Пресновская, как и все другие станицы на Горькой линии, стояла в степи в окружении земляных городищ и ветряных мельниц. Ее прямые, широкие улицы утопали в пыли и в чахлой зелени палисадников. А на крышах пятистенных и крестовых домов красовались жестяные петухи. Делилась станица на два непримиримых края – Ермаковский и Соколинский. Славились обитатели Ермаковского края гвардейским ростом, крестами и грамотами, а жители Соколинского края – лихими чубами, нуждой да песнями. Повелся здесь с далеких времен обычай такой: оседали в Соколинском краю иногородние пришельцы из разного люда, принятые обществом в казачье сословие за бочку вина или браги, выставленную на станичную площадь. Получали эти приписные казаки из войскового надела по пятнадцати десятин земли на служилую душу. А спустя года два отдавали они эту землю за грошовую аренду богатевшим из года в год ермаковцам, а сами, проводив сына в полк, зачастую шли в батраки и не вылезали затем из нужды и долгов до конца своей незавидной жизни...

2

В один жаркий воскресный день, в канун сенокоса, когда слегка подвыпившие казаки, собравшись на крепостном редуте, томились от зноя, от лени, от праздности, а главное, от нехватки распитой по случаю распродажи общественных сенокосов казенной водки – в эту самую пору предстал перед затуманившимися очами станичников тоже чуть подгулявший где-то приблудный хохол Денис Поединок.

Казаки лежали близ редута вразвалку, мрачные, неразговорчивые. Они поджидали снаряженных в кабак за дополнительной четвертью водки братьев-близнецов – Кирьку и Оську Карауловых. Беспокоило станичников и еще одно весьма важное для них обстоятельство: удастся ли им сбыть владельцу станичной мельницы Венедикту Павловичу Хлызову-Мальцеву за выгодную цену один сенокосный участок. Вся закавыка была в том, что участок этот был не казачий, а принадлежал казахам соседнего аула. Но, по молчаливому согласию между собой, казаки решили продать этот сенокос, выдав его за войсковой надел, а с истинными владельцами его – казахами – поладить потом, как бог приведет.

Все было хорошо. Но тут совсем некстати принесла нелегкая невесть откуда взявшегося Поединка. И старики насторожились. Они почуяли в подвыпившем украинце большую помеху в предстоящем нечистом деле. И станичники не ошиблись. В тот момент, когда на крепостном валу словно вырос из-под земли озорной и вихрастый Денис, появился на площади в сопровождении станичного атамана Муганцева и сам владелец станичной мельницы – Венедикт Павлович Хлызов-Мальцев. Увидав этого холеного барина, казаки поспешно поднялись с земли и приветствовали его почтительным поклоном.

– Слышал, слышал, господа станичники, о вашем запросе. Дороговато вы с меня за это урочище

ломите...– проговорил Венедикт Павлович таким тоном, словно продолжал давно начатый разговор.

Старики, окружив Венедикта Павловича, все враз загалдели:

– Что вы, бог с вами, барин!

– Такой траве цены нет.

– Шелк – не трава в Узун-Кульском урочище.

– Почище овса трава!

– Сплошной визель, господа парни. Золото!

– Сам бы ел, да деньги надо...

– Все это я понимаю. Понимаю, господа станичники,– прижимая руку к сердцу и ласково улыбаясь, говорил елейным голосом Венедикт Павлович.– Но сами посудите, бочка вина за такую траву – цена неслыханная.

– Да вы уж уважьте нас, стариков,– заискивающе улыбаясь в свою очередь Венедикту Павловичу, упрашивал его Никодим Пикушкин, по прозвищу «фон-барон».

– Исделайте такую милость.

– Ради праздничка не поскупитесь для общества, ваше степенство.

– Только для вас такую траву по сходной цене уступаем,– перебивая друг друга, кричали станичники.

Поломавшись еще для блезиру минут пять, Венедикт Павлович махнул с веселым отчаянием рукой и сказал:

– Ну хорошо. Так и быть. Ставлю бочку. И то – ради дружбы. Нет нужды у меня жить в разладе с вами, господа старики. – И он тут же отсчитал из бумажника несколько мелких кредитных билетов, вручив их под восторженные возгласы стариков станичному десятнику Мише Буре. Затем, приветливо помахав повеселевшим станичникам своей мягкой фетровой шляпой, Венедикт Павлович покинул площадь.

И пока расторопный десятник Буря бегал с группой молодых казаков к целовальнику, возбужденные от

предвкушения выпивки станичники завели разговор с появившимся среди них Поединком.

– Ого, господа станичники, в нашем войске прибыло. Ишо один будущий казак появился!– крикнул фон-барон Пикушкин, указывая на картинно стоявшего на крепостном валу Поединка.

– Ура!– недружно гаркнуло несколько зычных глоток.

Поединок, выждав, пока затихли явно насмешливые выкрики казаков, вызывающе подбоченясь, сказал:

– Ось повремените, трошки, господа станичники. Ось повремените. А тамо побачимо, який казак, мабуть, з мене зробится!

– Из тебя, слышь, казак, как из моего подживотника тяж!– насмешливо крикнул Поединку школьный попечитель Ефрем Вашутин.

– Эге, заело?!– злорадно откликнулся Поединок.– Ну що ж, потягаемся зараз с твоими сынами, дед! Там побачимо, кто из нас наикрашче: они – твои сыны, природны казаки, или же я – хохол.

– Да ты, сукин сын, клинка из ножен по команде не вытащишь!– крикнул Поединку один из двух престарелых станичных георгиевских кавалеров дед Арефий.

– Шо? Сабли не вытащу, говоришь?– запальчиво крикнул Поединок. – Эге, бывайте, господин георгиевский кавалер, здоровеньки. Ось, погоди, дед, дай только мне заручиться шашкой, побачишь тогда на гарну мою работу. Я тогда все перши приза по зрубке лозы на плацу у ваших сынов возьму. О, я какой!

Дерзкий во хмелю, хвастливый и самоуверенный Денис Поединок быстро довел обидчивых и запальчивых, как малые дети, станичников до белого каления. И они, разгневанные его речами, вразнобой завопили:

– Круто, варнак, берешь – пупок сорвать можешь!

– Корпусом, господин хохол, в казаки не вышел.

– Морда не натуральна для тому подобного званья!

Между тем появившиеся на площади с четвертью водки братья Кирька и Оська Карауловы подлили масла в огонь. Чувствуя, какой крутой оборот приняла словесная перепалка между Поединком и станичниками, эти любители праздничных потасовок, первые организаторы всех междоусобных драк и станичных мирских побоищ, начали уже на ходу засучивать рукава своих сатинетовых рубах. Не зная еще толком, чью принять сторону – одинокого ли Поединка или станичников, Кирька, вооружившись подвернувшейся под руку жердью, предложил деловым, мирским тоном:

– А ну, заведем, воспода станичники, драку. День сегодня праздничный. Водки у нас с избытком...

Однако станичники, увлеченные дележом водки, пропустили мимо ушей предложение Кирьки и на время забыли о Поединке.

А Кирька стоял с жердью в руках на крепостном валу, готовый в любую секунду ринуться в драку. Это был немолодой уже казак, лет под сорок, а может быть, даже и с гаком. Ростом был Кирька не меньше Поединка – без малого три аршина. На действительную службу он не ходил – донимала его смолоду грыжа. В нем поражала присущая ему и в стати, и в облике странная несоразмерность. Так, руки у него казались не в меру короткими по сравнению с тощим и длинным телом. Не совсем правильно были приставлены и глаза его шалфейного цвета. К тому же был у Кирьки такой неожиданно звонкий, по-бабьи визгливый голос, что он ухитрялся перекрикивать на станичных сходках самых отпетых горлопанов. И даже в одежде у Кирьки все было не так, как у добрых людей: на одной ноге, скажем, пим, на другой – опорок. То у него, смотришь, штанина одна короче другой, то, глядишь, ворот у малиновой рубахи небесного цвета.

Кирька был жителем Соколинского края, полухозяином-полубатраком. Пил он мало, но, выпив,

тотчас же впадал в тоску, становился неразговорчивым, мрачным. И пока народ, бывало, колготился вокруг дарового угощения, входил в хмель и шумел, Кирька сидел где-нибудь на отлете, погруженный в мрачные свои думы. Потом, когда хватившие лишку ермаковские горлопаны начинали мало-помалу пробу своих прочищенных водкой глоток, Кирька вдруг настораживался. У него начинали чесаться руки. И он, вскочив на ноги, вытянувшись во весь свой трехаршинный рост, кричал, как бы отдавая команду:

– Смирно, воспода станичники! Зря хайлать нечего. Спором дела все равно не решишь. Давайте лучше драться...

Так же вот случилось и теперь, в этот знойный воскресный день, когда станичники опоражнивали трехведерный бочонок водки, выторгованный у владельца мельницы за траву.

Впрочем, все, может быть, кончилось бы мирно, не подзуди захмелевших станичников Поединок.

– Лихо, вижу, пируете вы, господа станичники, за чужое добро!– крикнул казакам Денис Поединок.

– Это как так – за чужое?– прозвучал изумленный фальцет фон-барона.

– Очень просто. Траву-то вы продали Хлызову не свою, а киргизскую,– ответил ему Поединок.

– Што?! Што ты сказал, варнак?!– вырываясь вперед из толпы казаков, закричал не своим голосом на Поединка пышнобородый казак Соколинского края Егор Павлович Бушуев. Задыхаясь от хмеля и гнева, старик бросился было на спокойно стоявшего Поединка с кулаками. Но его удержал его сын Федор.

– Тихо, тятя. Не реви. Урочище-то ведь и в самом деле кыргыцкое.

Обернувшись к сыну, старик на мгновенье задержал на нем дикий от гнева взгляд и прикрикнул:

– Не твое дело. Молод ишо разбираться, чью траву пропиваем – нашу али кыргыцкую... Понял?

– Не дело затеяли вы во хмелю,– глухо проговорил Федор.

Ничего не ответив сыну, Егор Павлович, бросившись в объятья к фон-барону Пикушкину, слезно начал жаловаться:

– Видал, восподин фон-барон, чем меня мой молокосос начал корить? Слыхал, что он толкует? Урочище-то, говорит, кыргыцкое пропили... Хе!

– А мы пропивали и пропивать будем,– с философским спокойствием ответил ему на это фон-барон. И старики, неожиданно проникнувшись нежностью друг к другу, обнялись и довольно стройно запели:

В степи широкой под Иканом
Нас окружил кокандец злой.
И трое суток с басурманом
У нас кипел кровавый бой.
Мы залегли. Свистали пули.
А ядра рвали нас в куски.
Мы даже глазом не моргнули,
Лежали храбры казаки.

Двое престарелых георгиевских кавалеров – дед Конотоп и дед Арефий, осоловев после перепавшей им чарки даровой водки, тоже прониклись друг к другу невысказанной любовью. Уютно примостившись на одном из крепостных холмов, деды мирно ворковали между собой, не обращая внимания на гомон и шум рядом. Один из кавалеров – Конотоп – недослышал. И дед Арефий кричал ему в самое ухо:

– Ты в Кокандском походе, братец, бывал?

– Чего это... А, бывал, бывал. Мы под Ферганой стена стеной стояли...

– Я про город Коканд говорю.

– Чего это?.. Ага, жаркое дело было, братец, когда мы Ферганскую крепость с покойным их высокопревосходительством енералом Скобелевым брали,– не обращая на речь собеседника никакого внимания,

продолжал долбить свое Копотоп. – Вот был енерал, царство ему небесное! Его ни картечь, ни пуля не брала. Он на глазах у супостатов под пулями умывался.

– Это кто умывался! Скобелев-то!– насмешливо крикнул ввязавшийся в мирную беседу двух кавалеров станичный десятник Буря.

– Так точно. Об их высокопревосходительстве речь ведем...– откликнулся по-военному кавалер Арефий.

– Знаем, знаем такого героя. Помним, как он во время японской войны в касторовы шаровары наклал,– сказал Буря.

– Цыц, варнак! Креста на тебе нет, покойного енерала марашь... – угрожающе потрясая старчески немощными кулаками, гневно прикрикнул на него дед Арефий.

А в это самое время толпа очумевших от хмеля и все возрастающего озлобления станичников Ермаковского края, замкнув в глухое кольцо стоявшего на крепостном валу Поединка, надрывалась от крика:

– А ну, повтори, сукин сын, што ты сказал?!

– Чью, говоришь, траву мы пропили?!

– Отвечай нам словесно...

– Отвечай, или дух из тебя вон на глазах у общества?

Было ясно – у станичников зачесались руки. Водка была допита. Теперь оставалось одно – подраться.

Минутное замешательство. Нечленораздельные вопли. Свист. Улюлюканье. И поколебленные ряды ермаковцев ринулись наутек, ломая на бегу огородные колья. Толпа с ревом, со свистом и гиканьем катилась стремительным ураганом вдоль улицы. Преследуемые Денисом Поединком и Кирькой Карауловым, вооруженными жердями, ермаковцы, мгновенно трезвея, мчались сломя голову по станичной улице. Потеряв свой опорок, длинный, бледный, взлохмаченный и страшный в своей решимости, гнался Кирька за одностаничниками. А пожилые, дородные ермаковцы едва уносили ноги от прытких и долговязых соко-

линцев. Впереди всех улепетывал в своем настежь распахнутом полковом мундире, гремя медалями и регалиями, фон-барон Пикушкин. Рядом с ним мчался с не свойственной его возрасту резвостью школьный попечитель Ефрем Вашутин. Нелегко было престарелым станичникам перепрыгивать на ходу через огородные плетни и брать другие препятствия. Слава богу, люди все в годах. У них и дух на бегу захватывало, и слеза в очи била, и грыжа в паху давала при прыжках о себе знать, и ноженьки подкашивались.

Одурев от хмеля и страха, ермаковцы, петляя по улицам и переулкам, плохо соображали, куда бегут. Соколинцы загнали эту толпу в глухой переулочный тупик, где им перегородила дорогу невесть откуда взявшаяся пожарная машина.

– Братцы!– только и мог в отчаянии крикнуть, всплеснув ладонями, станичный десятник Буря. Его пронял озноб и начала бить лихорадка при виде пожарной машины.

– Смирно, туды вашу мать! Туши костер!– заревел не своим голосом пожарный брандмейстер Спирька Саргаулов.

И тотчас же дюжина здоровенных пожарников, остервенело бросившись к машине, принялась стремительно разматывать шланг. Завизжали насосы.

Напрасно пытались попавшие в ловушку станичники вымолить Христом богом пощады у станичного брандмейстера. Побросав к ногам колья и жерди, смиренно воздев к небу руки, ермаковцы кричали теперь то с мольбой, то с явной угрозой в голосе:

– Смилуйся... Пощади, восподин брандмейстер!

– Не вели своим дуракам зазря воду тратить...

– Мы тебе водки на успенье пресвятой богородицы ведро поставим...

А иные, наиболее храбрые и непримиримые, орали, грозя Спирьке:

– Ну погоди ж, варнак, будет и на нашей улице праздник!..

– Причастим и тебя, восподин пожарник...

– Как пить дать – усоборуем!

– Предадим твой прах земле по первому разряду – с выносом...

– Все равно, рано али поздно, утопим,– категорически заявил Спирьке Саргаулову фон-барон Пикушкин.

– Ну это ишо посмотрим!– зловеще крикнул брандмейстер станичникам. – Не ваши ли там утопшие плавают?! А я, согласно указу станичного атамана, обязан всякую драку смирять водой, как стихийное бедствие...

И, на секунду умолкнув, брандмейстер отдал команду:

– Пли!

Ослепительно сверкнув на солнце каскадами алмазных искр, со свистом ударила из брандспойта упругая, звонкая струя воды. И через минуту в бушующем водяном смерче людей уже не было видно.

3

На другой день, чуть свет, заложили ермаковцы своих откормленных и злых лошадей в легонькие пролетки и брички и двинулись шумным поездом в степную сторону на дележку сенокоса. Головы с перепою у всех трещали. Тяготило неприятное воспоминание о вчерашней драке, закончившейся позорным купаньем под брандспойтом. Но причина дурного расположения духа у большинства станичников крылась, пожалуй, даже не в этом. Угнетало другое. Никто не знал, как они будут объясняться с кочевниками соседнего аула Мулалы, сенокосные угодья которых пропиты были обществом владельцу станичной мельницы Венедикту Павловичу Хлызову.

Пятнадцать верст, отделявшие сенокосные владенья аула от линейной станицы, промчались

ермаковцы на своих резвых, откормленных лошадях незаметно. В числе прочих одностаничников, выехавших на раздел сенокосных угодий, был и Егор Павлович Бушуев. Хотя Егор Бушуев жил в Соколинском краю, но по достатку в хозяйстве он уже мог потягаться кое с кем из Ермаковского края. Правда, было время, не выходили его сыновья из работников, да и сам он в молодости не один год батрачил на чужих людей. Но вот сыновья подросли, возмужали, и рачительный, толковый хозяин Егор Бушуев стал на старости лет мало-помалу выбиваться в люди. Он и дом пятистенный поставил такой – любого знатного гостя принять не грех. И скотом обзавелся – до пятка дойных коров. И лошади у него были не последние в станице, а жеребец такой, хоть впору на призовые скачки выводи. Конечно, раповато было ему называться вполне состоятельным казаком. Многого не хватало для этого. Любой из станичников Ермаковского края сеял не меньше двадцати десятин, а Егор Павлович – пока только десять. Любой из жителей Ермаковского края держал круглый год по паре наемных рук, не беря в расчет дюжины прихваченных в страдную пору поденщиков. А Егор Павлович обходился в своем хозяйстве пока что семейной силой. Но, несмотря на все это, старик правдой и неправдой тянулся за ермаковцами. Денно и нощно мечтал он о том, как бы и ему завоевать почет в Ермаковском крае...

И состоятельные одностаничники, уважая Егора Бушуева за хозяйственную смекалку и изворотливость, не чурались его, благосклонно отводя ему должное место в своем обществе. Он был участником всех станичных сходок. Вместе с ермаковцами пивал не раз магарыч за проданные разночинцам войсковые наделы. Он всячески старался уважить тем состоятельным людям станицы, в руках которых испокон веку таилась власть и сила. Вот почему и вчера не отстал он от воротил Ермаковского края в продаже владельцу

станичной мельницы казахских сенокосных угодий. Да, дело было нечистое. В душе старик это отлично понимал.

Предчувствуя, что дело это может кончиться худо, старик не рискнул поехать один. Он захватил с собой старшего из сыновей – Якова. Человек женатый и рассудительный, Яков, в отличие от младшего своего братеника Федора, во всем поддерживал старика. Он ни словом не возразил, узнав о цели поездки в степную сторону.

Ехали молча. Разговор не клеился. Несмотря на раннее утро, солнце уже припекало изрядно, и овод начинал донимать лошадей. День снова обещал быть безветренным, душным и жарким. Клонило ко сну. И Яков задремал. Он не сразу сообразил, что заставило его очнуться – легкий ли толчок подпрыгнувшей на ухабе брички или какой-то неясный, отдаленный шум, донесшийся до его слуха. Оглядевшись вокруг, Яков увидел с увала лежавшее внизу травяное урочище и понял, что поезд станичных бричек был уже на границе владений кочевников.

Ехавший впереди всех в легкой пролетке Венедикт Павлович Хлызов внезапно осадил своего рысака, задержались и все станичники. Казаки, приподнявшись в бричках, увидели, как со стороны озера двигалась в сторону урочища большая толпа людей. Глухо звучала в степном отдалении беспокойная, гортанная казахская речь. Людская толпа двигалась по степи неровным, сбивчивым шагом. Над плечами мужчин и женщин сверкали косы. Было ясно: казахи шли на сенокос. И станичники поняли, что аул, прослышав, видимо, о вчерашнем торге, вовсе не собирался уступать своих сенокосных угодий.

«Да. Заварили мы кашу, должно быть, крутую – не прохлебаешь!»– подумал Егор Бушуев.

Об этом же, вероятно, подумали и остальные станичники, тревожно переглянувшись.

Когда же поезд станичных бричек медленно приблизился к зеленой кромке богатого травостоем урочища, навстречу станичникам вышли казахи.

Они стали перед ними плотной стеной. Скуластые, бронзовые от векового загара лица были темны и суровы. Несколько мгновений и казаки, и казахи стояли молча. Затем, не дав вымолвить станичникам ни слова, кочевники, протестующе замахав руками, огласили окрестную степь гневными криками:

– Не дадим вам своей травы!

– Узун-Куль – наш сенокос!

– Наша земля...

– Наша трава...

Почувствовав, что дело принимает крутой оборот, Венедикт Павлович попробовал отшутиться. Вежливо улыбаясь, он начал почтительно раскланиваться перед стоящими впереди казахской толпы аксакалами, белобородыми старцами.

– Аман, аман, тамыры! Мое почтение, дорогие друзья...– забормотал елейным и сладким голосом Венедикт Павлович.

Но аксакалы молчали, не отвечая на его приветствие. А за их спиной продолжали раздаваться все те же крики:

– Ой-бай! Наш Узун-Куль...

– Наша трава...

– Наша земля...

– Наше сено...

– Вот азиаты! «Наша да наша!»– раздраженно крикнул Егор Павлович Бушуев.– Мы не на ярмарке – рядиться с ними. Давайте веревку, господа станичники, да и за дележку...

– Правильно, кум. Нечего с ними тут рассусоливать,– откликнулся фон-барон Пикушкин.

– Позвольте, позвольте, господа станичники... Позвольте, я им все сейчас объясню,– забормотал Венедикт Павлович, суетливо и нервно крутясь между казахами и станичниками.

– А што им, собакам, объяснять. Тут и так все ясно. Гнать их отсюда в три шеи!– крикнул Ефрем Вашутин.

И тут, как по команде, дали волю своим охрипшим с похмелья глоткам станичные горлопаны.

– Дать им по скулам – и в расчете!

– Подумаешь, хозяева тоже нашлись...

Задыхаясь от крика, станичники распалялись все больше и больше. А казахи продолжали стоять перед ними как вкопанные. И по всему было видно, что они готовы защищать свою землю от незваных пришельцев.

Наконец один моложавый, рослый и гибкий казах порывисто шагнул вперед из толпы и, глядя в упор на побледневшего Венедикта Павловича, сказал по-русски:

– Уходи, капитан, с нашей земли подобру-поздорову...

– Што?! Што он, подлец, орет?!– заносчиво выкрикнул Егор Павлович Бушуев и призывно махнул рукой, как бы отдавая команду:– Скрутим эту орду, господа станичники,– и бабки с копу!

– Правильно, кум, ревешь...

– Правильно. Бей конокрадов!

– Крути в бараний рог Азию!

– Жюр – пошел, собака, отсюда!– прошипел фон-барон Пикушкин и, уцепившись могучей волосатой пятерней за ворот полотняной рубахи высокого и гибкого джигита, рывком притянул его к себе, точно хотел присмотреться к нему поближе.

Бронзовое скуластое лицо кочевника, на мгновенье как бы потемнев еще больше, обрело вдруг холодное, бесстрастное выражение, и только его темные глаза сверкнули.

– Пусти, атаман!– угрожающе глухо проговорил джигит.

– Дай ему в морду, господин станичник,– прозвучал в наступающей тишине деловой и спокойный голос Ефрема Вашутина.

Мгновение – и джигит с такой силой оттолкнул от себя наседавшего на него фон-барона, что тот, не сохранив равновесия, споткнулся о кочку и рухнул навзничь в осоку.

– Братцы! Наших бьют! Братцы!..– завопил бабьим голосом рябой, маленький ростом казачишка Пашка Сучок. И он первым из пришедших в минутное замешательство одностаничников ринулся со шкворнем в руках на толпу попятившихся назад казахов.

– Ура, господа станичники!

– С нами бог, казаки!

– Бей азиатов!

И толпа станичников ринулась с ревом, визгом и улюлюканьем на заметавшихся по урочищу казахов. Замелькали в воздухе железные тросы, кнуты, палки и шкворни, которыми предусмотрительно вооружились казаки.

Четверо из ермаковцев, окружив высокого и гибкого джигита, наседали на него, угрожающе размахивая кнутами и шкворнями. Закусив тонкие бескровные губы, джигит ожесточенно размахивал косой, не подпуская к себе казаков. Бледный и потный Яков Бушуев, изловчившись, ударил пятифунтовой железной тростью джигита по плечу. Джигит покачнулся, но устоял на ногах. Продолжая защищаться, казах, взмахнув косой, вонзил ее тонкое лезвие в бедро подвернувшегося Якова Бушуева.

Выронив из рук тяжелую железную трость, Яков присел, судорожно схватился обеими руками за бок, повалился в густую осоку и прохрипел:

– Братцы, убили!

Но слабый крик его потонул в сонме диких, нечеловеческих воплей.

Маленький, но верткий Пашка Сучок, подпрыгнув на добрый аршин от земли, ударил шкворнем по виску джигита. Джигит выронил косу, взмахнул руками,

точно стараясь удержаться за воздух, и грохнулся наземь. И тут Пашка Сучок и его сподручные поняли, что все кончено. Из размозженного бритого черепа джигита била фонтаном густая кровь. На коричневом лбу его выступила предсмертная испарина.

– Подыхает. Собаке – собачья смерть. Пошли по коням, господа станичники...– с притворным спокойствием заключил Пашка Сучок.

Пока четверо станичников возились с раненым Яковом, укладывая его в бричку, остальные продолжали гоняться за разбежавшимися по степи кочевниками. Настигая в густой траве казахов, разошедшиеся станичники сбивали их с ног и полосовали плетьми и кнутами. Но, узнав об убийстве джигита и о ранении старшего сына Егора Бушуева – Якова, казаки сразу утратили воинственный пыл. Притихшие, подавленные, неразговорчивые, вернулись они к своим лошадям и, забыв про раздел сенокосных угодий, погнали карьером в крепость.

4

Не убийство степного джигита, а ранение Якова Бушуева – вот что вызвало переполох в станице. Узнав о случившемся, станичный атаман Архип Муганцев призвал к себе церковного звонаря Моську Шевелева и приказал ему бить в набат.

Станичники сбежались на тревожный зов колокола. Одни прискакали на крепостную площадь верхами, другие явились пешими. Одни были в полной форме, другие – в опорках на босу ногу и полосатых нательных подштанниках,– видать, были подняты набатом с постели. Ходуном заходила и, точно озеро в бурю, загудела большая площадь.

Рослый седобородый атаман, взойдя на церковную паперть, постучав булавой, призвал собравшихся к тишине и порядку.

Казаки замерли, как в строю. И атаман, выдержав паузу, глухим и торжественным голосом произнес:

– Господа станишники и госпожи бабы! Случилось неслыханное. Азиаты напали на казаков и ранили старшего сына Егора Бушуева – потомственного казака линейного Сибирского войска. Что вы скажете на это мне, братцы?! А я лично думаю так, что пробил наш час. Настала пора проучить нам как следует эту степную сволочь. Правильно, господа станишники и госпожи бабы?

Атаман умолк. И казаки гаркнули хором, что было мочи:

– Правильно судите, восподин атаман!

– Правильно. Пробил час!

– Давно пора рассчитаться нам с киргизией звонкой монетой.

– Дай только команду, восподин станичный... Мы в один секунд всех служилых сынов на стремена поставим...

– Не впервой нам соборовать степных конокрадов...

Когда наконец на площади установилась относительная тишина, атаман, снова постучав булавой, сказал:

– Я сегодня же в ночь снесусь с атаманом второго военного отдела их высокоблагородием полковником Саранским и доложу ему о случившемся. А пока мой приказ таков: всем казакам, подлежащим отправке в полк привести себя и своих строевых коней в полную готовность. Я уверен, господа станичники, что атаман отдела разрешит нам выслать в степь для усмирения бунтовщиков вооруженную конную сотню.

– Это уж как пить дать – разрешит!– крикнул Егор Павлович Бушуев.

– Правильно. Их высокоблагородие понимают, што с киргизами делать...

– Известно што. Мы пороть азиатов плетями ишо, слава богу, не разучились...

– Так точно. Постоять за честь линейного войска сумеем...

– Тут одной конной сотней не отыграешься. Полк выставить надо против азиатов, господа старики!– крикнул фон-барон Пикушкин.

– Слишком много чести для дикой орды – полком выступать. Полагаю, господа станичники, хватит для них и одной лихой сотни,– возразил атаман под одобрительный рев большинства станичников.

Распорядившись привести в боевую готовность сотню молодых казаков, атаман приказал станичникам разойтись. И площадь вскоре опустела.

Притихший народ разбрелся по домам. Над окутанной мглою крепостью нависла гнетущая тишина. Не слышно было в этот вечер ни девичьих песен, ни лихих переборов двухрядной гармоники Трошки Ханаева, ни озорного ребячьего пересвиста. Станица затихла, насторожилась, точно прислушиваясь к таинственному тревожному безмолвию окрестной степи.

Тихо было в этот темный, душный вечер и в доме Бушуевых. Перевязанный станичным фельдшером Яков лежал неподвижно на широкой старинной софе и тупо смотрел в потолок. А рядом с ним так же неподвижно и молча сидела жена его Варвара, смуглолицая и не по-бабьи тонкая станом.

Егор Павлович Бушуев пил в кухне чай, исподлобья поглядывая на сидевшего против него Федора. Тут же за столом сидела, разливая чай, молчаливая и строгая лицом старуха Егора Павловича Агафьевна. Чаепитие проходило при тягостном безмолвии. Наконец, опорожнив пятую чашку густого и крепкого, как смола, чаю, Егор Павлович тщательно вытер багровое, потное лицо полотенцем и, не глядя ни на кого, сказал:

– Не иначе – завтра в поход отправляться придется...

– Это кому же?– глухо спросил Федор.

– Полагаю, не нам, старикам... Найдутся в станице усмирители бунтовщиков и помоложе нашего брата.

– Это каких же бунтовщиков?– спросил Федор, впервые за вечер подняв на отца глаза.

С удивлением взглянув на сына, старик ответил ему вопросом:

– А ты што же, сынок, не знаешь?

– Не пойму, тятя.

– Вот как?!– продолжал старик. – С каких это пор стал ты у нас такой непонятливый? Слава богу, в полк нынче идешь. Пора бы иметь тебе кое-какие понятия.

– Я не пойму, при чем тут бунтовщики?– сказал, тяжело вздохнув, Федор.

– Здравствуйте, я вас не узнал!– насмешливо воскликнул старик.– А братеника твоего кто на тот свет чуть было не отправил? Не бунтовщики? Не кыргызы?!

– Сами же затеяли, кого же винить тут?..

– Слава богу, договорились. Азиаты среди белого дня казаков вырезать начали, а он виноватого потерял!– воскликнула, всплеснув руками, молчавшая до сего Агафьевна.

– Ну, это ишо не резня – пошшушки...

– А ты что же, хочешь, чтобы они, подлецы, поголовно все наше войско вырезали?!– сорвавшимся голосом проговорил Егор Павлович.

– Я к тому говорю, что рана-то у брата шутейная. А вот джигита-то Пашка Сучок с одного маху шкворнем ухайдакал. За что убил человека – не знаю.

– А я знаю!– крикнул, стремительно поднявшись из-за стола, старик.

– За что же?– спросил Федор, посмотрев в упор на отца.

– За то самое... Туда этому кыргызу и дорога... И не тебе об этом судить, как да за что,– отрезал поперхнувшимся от злобы голосом Егор Павлович. Вплотную приблизившись к сыну, он добавил:–Ты вот что, придержи язык за зубами. Рановато начал в этих делах

лишнее кумекать. Не забывай, тебе в полк уходить. Приказ станичного атамана слышал?

– Не глухой. Слышал.

– А коли слышал, то смотри у меня в оба. Я страмиться из-за тебя перед обществом не хочу. Сегодня же в ночь приведи из табуна жеребца и приготовь полную амуницию к походу.

– Хорош поход – с пастухами сражаться! – криво усмехнулся Федор.

Но старик или не расслышал язвительных слов сына, или сделал вид, что не слышал. И, давая понять Федору, что разговор окончен, он поспешно вышел из кухни, хлопнув дверью так, что заговорили на столе чайные чашки и тонко и жалобно задребезжало в оконных рамах стекло.

Оставшись наедине с сыном, Агафьевна долго скорбно вздыхала и вдруг, прослезившись, вполголоса начала уговаривать Федора:

– Опомнись, сынок. Подумай, што ты говоришь... Не наводи, ради Христа, на грех старика. Богом прошу. Не куражься. Али забыл ты, кто ты такой? Али ты не казак? Али ты не станишник?!

Федор сидел поникнув, не отвечая на увещевательные речи матери. Нехорошо у него было на душе: тревожно, пусто и холодно. Но ласковый и проникновенный голос матери тронул его, и он, ощутив в себе прилив нежности и жалости к матери, порывисто обнял ее хрупкие старческие плечи и поцеловал заиндевевший сединой висок.

Появившийся в это время в дверях сынишка Якова Тараска, возбужденно блестя глазами, спросил:

– Дядя Федя, а ты клинок точить будешь?

– Это зачем?

– Как зачем?– удивился Тараска.– Скоро поход. Все казаки клинки точат. Твой наряд дядя Митя Неклюдов, который в полк с тобой вместе пойдет, и клинок

наточил, и стремена кирпичом начистил. Я сам видел. Красота посмотреть, какие стремена, – как зеркало!

– Ну, если Митя Неклюдов стремена начистил, то и нам с тобой, Тараска, придется за это дело взяться,– проговорил притворно озабоченным тоном Федор. Взяв за руку племянника, он привлек его к себе и нежно погладил рукой по светлым и мягким, как пух, волосам.

Тараска, прижавшись горячим и хрупким телом к большой плотной фигуре Федора, шепнул ему на ухо:

– Возьми меня с собой, дядя Федя...

– Это куда же?

– В поход.

– Ну нет, погодишь. Рановато тебе думать о таких походах,– сказал, тяжело вздохнув, Федор.– А вот стремена надо почистить. Тут ты мне первый помощник... Тащи-ка сюда каленый кирпич, и давай приниматься задело...

– А клинки тоже будем точить?

– Клинок? Нет, клинка мы точить, пожалуй, пока не будем...– многозначительно улыбнувшись, сказал Федор.

5

Варвара, несмотря на уверения фельдшера, что ранение у Якова не опасно, двое суток просидела возле него. Она не оставляла мужа ни на минуту, беспрестанно заботливо укрывала его, поправляла подушки, поила яблочным взваром. И уговоры Агафьевны прилечь на часок-другой вздремнуть только сердили ее. Варваре казалось, что, стоит ей отлучиться ненадолго от Якова, с ним случится какая-либо новая непоправимая беда.

...Варвара росла в станице круглой сиротой. И единственный человек, к кому она прикипела всей душой, был Яков, да теперь дети. Она была незаконнорожденной дочерью бывшего войскового стар-

шины хорунжего Брандта и вывезенной им из Фирюзы наложницы, имени которой в станице никто не знал.

Говорили, что Брандт без ума был от этой маленькой, хрупкой, как подросток, ни слова не говорившей по-русски, пугливой и необычайно красивой женщины. Около трех лет прожила она затворницей на войсковой квартире Брандта, в старом особняке, за наглухо закрытыми на железные болты с уличной стороны ставнями. Она избегала попадаться на глаза станичному люду не только из-за болезненной ревности Брандта, но и из страха перед старыми казаками, не раз открыто угрожавшими Брандту расправиться с его иноверкой, которую считали они виновницей всех бед в станице.

Знойное, суховейное лето 1891 года; страшный пожар, уничтоживший в том же году добрую половину старинной крепости и оставивший без крова сотни душ; небывалый мор на рогатый скот и, наконец, голод, охвативший всю степную полосу Западно-Сибирского края, – все эти лишения и бедствия многие из станичных старожилов приписывали грехопадению хорунжего Брандта, а больше всего – колдовским наваждениям его дикарки.

Но не миновал в тот памятный год роковой беды и наглухо закрытый от станичных старожилов, похожий на крепость дом Брандта. Внезапно скончалась от горячки совсем уже, казалось, оправившаяся после трудных родов любимая им иноземка, оставив на руках потрясенного вдовца беспомощное, крошечное существо, нареченное ими – без крещения в церковной купели – Варварой.

А неделю спустя после похорон внезаконной супруги покончил с собой и хорунжий Брандт, застрелившись из старого карабина на могиле любимой своей иноверки.

По приговору станичного общества над маленькой Варварой решено было учредить опеку. Так как львиная доля средств, вырученных от распродажи с молотка движимого и недвижимого брандтовского имущества, поступала в полное распоряжение опекуна – а средства были немалые, – то и охотников взять на себя воспитание ребенка было хоть отбавляй. Однако верх на опекунских выборах взял состоявший в родстве с попом и станичным атаманом самый жадный до чужого добра, самый смиренный и благообразный на вид старик в станице, школьный попечитель Анемподист Никоныч Иконников. На его-то попечение и была передана маленькая Варвара, которую он торжественно обещал на миру вспоить и вскормить до совершеннолетнего возраста.

Варвара росла замкнутым, необщительным, дичившимся и взрослых, и своих сверстников ребенком. С малых лет она тянулась к уединению, чуралась тех игрищ и забав, которые свойственны были детям казачьей станицы. Знойные летние дни любила она проводить в степи, вдали от чужих глаз.

Шли годы. Варвара выравнивалась в высокую, гибкую станом, не по-здешнему стремительную в движениях, легкую на поступь девушку. Тогда на диковато-яркую, бросающуюся всем в глаза красоту ее стали заглядываться молодые казаки, и, чувствуя это, она нередко доводила их одной своей сверкнувшей на смуглом лице улыбкой до несвойственной им застенчивости и робости.

Не было в Варваре присущего всем девушкам ее возраста обычного пристрастия к нарядам. Однако одета она была и в будни, и в праздники всегда одинаково чисто, опрятно, к лицу.

И только однажды напала на нее вдруг страсть к дутым стеклянным бусам. Было это во время летней Ильинской ярмарки в станице. Бесцельно бродя в яркий праздничный день по базару, увидела она в

палатке ирбитского татарина целый ворох жарко играющих на солнце разноцветными огоньками стекляшек. Варвара неожиданно до того прельстилась бусами, что накупила себе целую дюжину связок. А потом, уединившись в горнице, она долго прихорашивалась у зеркала. Обнажив тонкую смуглую шею, Варвара примеряла то одни, то другие яркие бусы и жадно любовалась собой. Цветные стекляшки, окольцевавшие шею и плечи Варвары, тускло отсвечивали в скупом сумеречном свете порозовевшей от вечерней зари горницы. И, присмотревшись к своему отражению в зеркале, Варвара решила, что она и на самом деле хороша собой. А когда надела она вместе с самыми яркими бусами любимое свое расшитое бисером на груди, и на буфах кубовое платье, то тут вдруг охватило ее такое непривычное волнение, такой беспричинный трепет, что впервые за всю свою девическую юность потянуло ее выйти в таком убранстве на народ, на улицу, к сверстницам и вместе с ними в песнях, в игрищах и забавах провести короткую летнюю ночь вне этой душной, пропахшей кожей и воском, давно опостылевшей ей иконниковской горницы. Впервые захотелось ей вихрем ворваться в хоровод и закружиться среди веселого девичьего гульбища под высоким звездным небом.

6

Сияющая и нарядная вышла Варвара за ворота и вступила в девичий хоровод так легко, непринужденно и просто, словно появлялась в нем не в первый раз. Разомкнув собою цветную хороводную цепь, встала она между высоким смуглолицым казаком Яковом Бушуевым и маленькой, пухлой казачкой, соседкой своей по дому, сверстницей Варей Румянцевой. Разъединив эту нареченную в народе пару – жениха с невестой, Варвара молча и властно взяла их обоих за

руки и, не нарушая медлительного хороводного ритма, легко и плавно пошла по его течению, тотчас же запев со всеми высоким голосом:

Плыла лебедь,
Плыла лебедь.
Плыла лебедь с лебедятами...

Неожиданное появление нарядной, возбужденной и необычайно веселой Варвары в кругу молодых казаков и казачек до того поразило всех, что вокруг хоровода скоро собралась толпа станичников, стариков, подростков и пожилых казачек. Все они с изумлением смотрели на внезапно разгулявшуюся затворницу, теряясь в догадках, что произошло с этой нелюдимой девушкой.

А Варвара, словно не замечая глазевших на нее зевак, не обращая внимания на присмиревших от удивления и зависти сверстниц, продолжала кружиться с хороводом по станичной площади. Опередив запевавшую ранее в хоре Варю Румянцеву, она сама уже выводила высоким, страстным голосом эту взволновавшую ее девичью песню:

Отколь ни взялся,
Отколь ни взялся,
Отколь ни взялся млад сиз-орел.
Прилетел – ушиб,
Налетел – зашиб,
Он зашиб – убил крылом лебедь белую,
Легок пух пустил,
Белы перышки распустил,
Распустил пух по поднебесью,
Белы перышки – по синю морю...

Нет, никогда еще так не трогала душу, никогда еще так не волновала эта печальная песня Варвару. И странное чувство овладело девушкой: вместе с грустью, навеянной скорбным напевом о гибели белой

лебеди, ощутила она прилив бурной радости, и сердце, переполнившееся этой радостью и невыразимой нежностью к кому-то, готово было разорваться на части. Чуть приоткинув назад гордую голову, уронив с нее на плечи бирюзовый кашемировый платок, точно в каком-то забытьи двигалась Варвара по кругу следом за умолкшей вдруг Варей Румянцевой, двигалась и вела за собой уже не сводившего с нее глаз молодого казака Якова Бушуева.

Ей было стыдно и радостно ощущать в своей маленькой горячей ладони тяжелую, сильную мужскую руку, стыдно потому, что одно прикосновение к этой руке казалось Варваре началом заговорщически тайного сближения с чужим, но отчего-то встревожившим ее человеком. А между тем ей было приятно и лестно знать, что рядом с ней был именно этот, а не какой-то другой казак, хотя она никогда в жизни не думала о нем, не искала с ним встречи и очутилась бок о бок с ним совершенно случайно.

Нет, все это было каким-то сплошным наваждением! И чисто женским чутьем Варвара знала уже, что даром это ей не пройдет, что случилось нечто такое, что перевернет всю ее былую жизнь. Но что это такое – она не знала. Однако, несмотря на испытываемое ею волнение, мысль ее была предельно проста и ясна: нет, теперь она уже не сможет больше оставаться одна, как прежде, без подруг, без хороводов, без песен, а может быть – и без этой сильной мужской руки, крепко стиснувшей ее пылающую маленькую ладонь.

А тут еще, как на грех, в хоровод вошел знаменитый гармонист, красивый собой и всегда как будто слегка хмельной казак Трошка Хапаев. Вишневый корпус расцвеченной по бортам перламутром, дорогой стобасовой гармони его утопал в пышных, как завитки майской сирени, бантах. Атласные ленты заменяли ему наплечные ремни.

Это был тот самый Трошка, который так исполнял марш «Переход Суворова через Альпы», что вгонял в

слезы старейших в станице георгиевских кавалеров. А однажды на благотворительном балу в доме атамана военного отдела полковника Шайтанова Трошка до того очаровал своей игрой гимназистку Таню Саранскую, что она у всех на глазах приколола к его гармони пышный маркизетовый бант от собственного бального платья.

Но Трошка знал себе цену. Не очень-то был он податлив на обольстительные девичьи приманки и речи и часто, захмелев, среди молодых казаков говаривал, что полюбит только такую писаную красавицу, ради которой не жалко станет ему при встрече грохнуть оземь свою гармонь.

Многие признавали, что так он при случае и поступит. Однако, как ни старались станичные девчата, а прельстить гармониста ни красотой, ни нарядами, ни подарками не могли. Оттого-то и входил он в девичий круг их рассеянный и задумчивый, что не трогали его ни восторженные девичьи улыбки, ни устремленные на него сияющие глаза.

Неожиданно очутившись с гармонью в руках в самом центре замедленно вращавшегося, ярко пестревшего цветными девичьими нарядами круга, Трошка повел скучным, равнодушным прищуренным взглядом, лукаво подмигнул вскользь Машке Байджигит – самой бойкой и восторженной из девчат. И стоило ему только чуть дотронуться пальцами до отзывчивых, звонко процебетавших ладов, как грустная хоровая песня мгновенно оборвалась на полуслове. Затем стало так тихо, что все услышали вздох рывком зажатых Трошкой оранжевых мехов гармони и скрип начищенного до блеска Трошкиного сапога.

– Здравствуйте, я вас не узнал!– насмешливо сказал Трошка, кивая по сторонам.– С праздничком, девушки. С веселым днем вас, красотки!

– И вас также, Трофим Ананьич,– хором ответили девки.

– А и скушные, послышу я, песни што-то у вас сегодня, барышни! Или загрустили за кем?

– А за кем нам грустить, как не за вами, Трофим Ананьич?– полушутя-полусерьезно сказала со вздохом Машка Байджигит.

– Но-о!– деланно изумился Трошка.– Неужто и в самом деле за мной так наскучились?

– Ишо бы не заскучать! Сколько лет, сколько зим, можно сказать, не видались – смерть, как натосковались...– призналась, не оробев, Даша Шебанова.

– Ох, сумлеваюсь я што-то за чудные ваши речи барышни! Плохо я верую вам, извиняйте меня на этом красотки...– явно напрашиваясь на любезности, продолжал все в том же насмешливом тоне балагурить с девками небрежно перебиравший перламутровые лады Трошка.

– А вы уж поверуйте...

– Исделайте нам такую милость.

– Не сумлевайтесь в нас, Трофим Ананьич!– заглушая лады гармони, защебетали вокруг Трошки девки.

– Прелестно, сударыни. Однако поете вы сегодня определенно не согласно моему вкусу.

– С нашими кавалерами не то ишо запоешь!– опять, перебивая друг друга, защебетали девки.

– Без музыки-то у нас што-то и песня не поется, и голосок не тянется...

– Хоть бы вы развеселили нас ради праздничка, восподин музыкант.

– Не оставьте без уважения просьбы.

– Фунт маннасье «Ландрин» вскладчину на ярмарке для вас купим...

– Коробочку папирос «Зефир»... Наивысший сорт... С духами... Четвертак десяток... Ароматические!

– Бухарской халвой попотчуем.

– Шадринскими пряниками. С изюмом!.. На чистой патоке!..

– Только сыграйте нам на все шесть фигур кадрель. Уважьте.

– Лучше бы казачка!

– Польку «Бабочку». Польку! Польку!– послышались со всех сторон требовательные заказы.

Но Трошка уже плохо слушал, о чем шумели девки. Увидав в хороводе Варвару, он почувствовал, как у него онемели с разбега остановившиеся на клавишах пальцы.

При первом же взгляде на эту высокую, диковатую на облик девушку мгновенно забыл он обо всем на свете: о хороводе, о горячих девичьих просьбах и даже о тяжко повисшей у него на груди стобасовой гармони. И гармонист долго не сводил с Варвары изумленно раскрывшихся, потемневших глаз.

Наконец, словно придя в себя от непривычной для него растерянности и замешательства, он лихо тряхнул своим пышным пепельным чубом и, решительно шагнув в сторону Варвары, с такой страстью и удалью рванул гармонь, что могучий, густой рокот ста ее басов уподобился торжественным и грозным звукам целого духового оркестра. И грянула подхваченная вслед за гармонью всем вновь пришедшим в движение хороводом, подняла на цыпочки всех старых и малых зевак просторная, переполненная тревогой и радостью песня:

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицей мой миленький идет.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Медлительный в движении и яркий, как карусель, хоровод плыл, кружился в глазах Варвары, и сердце ее при звуках этой новой песни билось так сильно, что она уже не только не могла петь, но ей даже трудно было дышать. Она почувствовала, как Яков Бушуев, перехватив тонкую ее руку в запястье, крепче сжал ее в своей широкой, жесткой ладони, и Варваре казалось, что только благодаря этой сильной, надежной руке

казака и удерживалась она еще в хороводе и кружилась вместе со всеми по этому заколдованному кругу.

А Тронка шел уже с Варварой совсем рядом, плечом к плечу, и целый ураган восторженных и в то же время призывных, грустных звуков бушевал в утробе его гармони. С удивительной четкостью и проникновением выговаривали под стремительными пальцами гармониста перламутровые лады:

На твою ли на приятну красоту,
На твое ли столь на белое лицо...

Варвара понимала, что это ее требовательно уговаривал с помощью гармони и всего поющего хоровода обворожительный гармонист:

Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Тем временем Яков Бушуев, не выпуская Варвариного запястья, следовал за ней молча. Он, считавшийся в станице одним из лучших песельников, никогда бы не утерпел прежде, чтобы не подхватить дружной песни, и потому безмолвием своим на этот раз немало удивил всех казаков и девок. Между тем Варваре казалось, что это о его стремлении вдоволь наглядеться на нее говорилось в песне и именно за него так горячо и взволнованна уверял ее гармонист:

Красота твоя ль с ума меня свела,
Иссушила ль добра молодца меня...

...Но что случилось?

Почему вдруг оборвалась на полуслове разбушевавшаяся, как пожар, хоровая песня? Смолкла, поперхнувшись отчаянным воплем, гармонь. Взвизгнули пронзительно девки. И опять на мгновенье стало так тихо, что слышен был шелест кашемировых оборок на чьем-то подоле да короткий, стремительный свист промелькнувших над головой птичьих крыл.

Варвара видела, как девки, разомкнув хороводную цепь, сбились в кучу, а некоторые из них испуганно шмыгнули за спины своих кавалеров. На месте остались только парни – рослые, в ухарски заломленных набекрень форменных казачьих фуражках, с буйными чубами, заслонявшими черные лакированные козырьки.

Многие из присутствующих на площади видели, как Трошка с ревущей в руках гармонью долго выкруживал около девушки, норовя обольстить Варвару собственной внешностью, громовым рокотом всех ста басов гармони и хоровой песней. Однако, заметив, что девушка, погруженная в свои думы, даже ни разу не подняла на него глаз, Трошка, приблизившись к ней вплотную, попытался было тогда на ходу втереться в хоровод между ней и Яковом. Но Варвара, инстинктивно прислонившись плечом к Якову, вынудила податься назад гармониста.

Трошкину неудачу заметили в толпе, и Трошка скорее почувствовал, чем услышал ехидное улюлюканье и озорные свистки пришедших по этому случаю в неописуемый восторг станичных зевак, в особенности близнецов Карауловых.

Однако Трошка был парень не из робких и теряться в таких случаях не привык. Поэтому, притворившись равнодушным к свисткам и улюлюканью, он решил, что ему, однако, ничего не осталось больше делать теперь, как только идти напролом, разъединить у всех на глазах эту пару и хотя, может быть, и силой, и пусть даже не навсегда, а девушкой сию минуту и во что бы то ни стало завладеть. И, приняв такое решение, он, с невиданным остервенением и выкрутасами варьируя на басах «Метелицу», снова приблизился к Варваре и вдруг с таким расчетом рванул левой рукой гармонь, чтобы вышибить одним как бы нечаянным ударом локтя из хороводной цепи Якова. Но Яков, заранее, видимо, угадав коварное намерение гармониста, был настороже:

еще крепче стиснув Варварину руку, он и на сей раз сумел защитить девушку от пылкого кавалера.

Вслед за этой второй неудачной попыткой Трошки в толпе зевак раздался громкий взрыв хохота. Казаки, столпившиеся за цепью хоровода, предвкушая уже неминуемое побоище, для затравки азартно кричали Трошке:

– Трусишь, господин музыкант. Трусишь!

– Робеешь, подлец! Робеешь!

– Это тебе не на гармошке тинь-тилили тиликать!

А некоторые, приняв сторону Трошки, подогревали его с другого боку так:

– Не уступай ему крали, Трошка! Не уступай!

– Эх, за свою барышню, варнак, при случае постоять не умеешь!

– Не позорь ты, ради бога, своей музыкальной нации!

– А там девка-то, девка-то, воспода станишники,– прямо персидская княжна чисто!

– Кровь с молоком!

– Патрет!

Казаки не скупились на масло, расточительно выплескивая его на огонь, и он бушевал в Трошке, перекаляя бешенством расширившиеся его зрачки, напрягая до дрожи каждый нерв его, каждый мускул.

Он вдруг остановился, как ошарашенный ударом бык, и так свирепо, с размаху захлопнул растянутую на все мехи гармонь, что она дико рявкнула и дала некоторый перекос в палисандровом своем корпусе.

Хоровая песня оборвалась на полуслове. Наступила та страшная тишина, при которой услышала Варвара шелест кашемировых оборок и короткий свист птичьих крыл.

На секунду задержав помутневший, невидящий взгляд на слегка побледневшей и от этого еще более похорошевшей Варваре, Трошка весь напружинился, высоко занес над головой поднятую обеими руками, как глыбу, гармонь и ринулся на Якова.

Вскрикнув, Варвара вырвалась из рук Якова и бросилась бежать по направлению к своему дому, точно за нею гнались.

Яков же, ловко ускользнув от удара Трошки, так хватил взбешенного гармониста, что тот грохнулся наземь вместе с простонавшей в его руках гармонью.

Когда Трошка с большим трудом поднялся на ноги, Якова на площади уже не было. Покинутая своим нареченным, Варя Румянцева стояла в стороне от подруг и, испуганно глядя на побитого гармониста, пыталась улыбнуться ему, но лицо ее было растерянно и жалко.

Так закончился первый выход Варвары на уличное девичье гульбище, и первая же попытка ее войти в круг своих сверстниц наделала больших бед.

Мало того, что из-за нее впервые в жизни так недостойно осрамился на глазах у всех прославленный гармонист, он еще и надолго лишился сдуру изуродованной им роскошной гармони.

Постигла беда также и Варю Румянцеву.

7

На другой день после рокового появления Варвары в хороводе и публичного столкновения из-за нее Якова с Трошкой Ханаевым станицу молнией облетела весть о том, что Яков Бушуев наотрез отрекся от высватанной за него невесты. Большего позора и бесчестия для просватанной и уже приготовившейся к венцу девицы, разумеется, нельзя было придумать. И событие это до того поразило станицу, что многие из казаков и казачек долго не хотели поверить в скандальную правдивость такой новости, о которой только и было разговору на всех перекрестках и у всех ворот.

Да и трудно было поверить этому.

Невеста была далеко не дурна собой, девушка работящая, приветливая, а главное – с достатком. И,

наоборот, когда прошел слух о храбром сватовстве Бушуевых к единственной румянцевской дочке, то большинство из станичных жителей были убеждены, что Варю за Якова, конечно, не отдадут.

Отец Вари, Никанор Романыч Румянцев, занимавший пост станичного атамана в прошлом, был человеком более состоятельным, чем отец Якова. По сравнению с Румянцевыми Бушуевы были бедняками: двенадцать десятин посева, пять рабочих лошадей да столько же дойных коров, имевшихся в хозяйстве, – это для сибирского казака еще не ахти какое богатство.

У Румянцевых же ходило по осени около полутора тысяч шленских овец, не считая стада рогатого скота и сравнительно обширных посевов. Кроме того, они являлись совладельцами новой паровой мельницы, построенной в станице на паях с династией скотопромышленников Боярских.

О выдаче единственной своей дочери за Якова Бушуева отец Вари на первых порах даже слышать не хотел и сватов, засланных бушуевским домом, принял, говорят, недостойно, молча указав властным перстом сначала на грузный от бронзы и золота киот, потом – на порог.

Но Варя, связанная с Яковом давней близостью, слезами и угрозами в случае отцовской немилости наложить на себя руки уломала-таки смолоду слабого на женские слезы старика и добилась от него родительского благословения.

После длительного торга с Румянцевым сваты, вдоволь поломавшись друг перед другом при определении суммы запроса, ценой в конце концов сошлись, и в доме Румянцевых состоялось рукобитье.

А цену набил Никанор Романыч Румянцев своей дочке немалую. И согласно обоюдно принятому сторонами условию Яков обязался справить невесте: модный сак, с отделкой из темной шелковой тесьмы, шубу на кенгуровом меху под темно-синим сукном или

мягким плюшем, остроносые гамбургские ботинки со шнурком и парой глубоких калош, семь аршин кашемиру и пять бирюзы для подвенечного и воскресного платьев, фату и сто двадцать пять рублей наличными деньгами.

Узнав о таком запросе, Егор Павлович Бушуев со своей старухой ахнули в один голос – вот это заедет сношка в копеечку! Батюшки-светы, да слыханное ли это дело – такая дороговизна! Нет, такой цены на девок в станице еще не набивали. И не по карману был такой запрос для Бушуевых, не по достатку...

Однако невестынька приходилась бушуевским старикам по душе. А кроме того – и это главное – уж очень лестно было им породниться с таким состоятельным и почетным станичником, каким был у всех на счету Никанор Романыч Румянцев. К тому же и приданого за будущей снохой, по слухам, было немало. Помимо всего прочего, Егор Павлович со своей Агафьевной втайне надеялись, что как там ни скуп был и ни прижимист старик Румянцев, а уж на брачном-то вечере авось ради единственной дочки расщедрится и благословит, глядишь, молодым с сотняшку овец или выложит некоторый капиталец наличными деньгами. Ну, а тогда и Якову можно будет самостоятельно встать на ноги, и родительское хозяйство нетрудно будет поправить...

Словом, пораздумав да пораскинув умом-разумом, старики решили, что Варя такого запроса стоит, и выбором сына остались они премного довольны.

Две недели, недоедая и недосыпая, метался Егор Павлович, загоняв всех своих лошадей, между городом, станицей и станцией. Как угорелый мыкался он вдвоем со старухой по городским базарам, по степным ярмаркам, по купцам, по магазинам, но все до нитки, что было выговорено Румянцевым при запросе, как одну копейку,– все вручил Егор Павлович своему дорогому сватушке точно в обусловленный срок.

Изрядно выпив по этому случаю, сваты, обнимаясь, лобызали друг друга, хвастались каждый своим дитем, крикливо и вызывающе пели всю ночь напролет полузабытые войсковые казачьи песни и, упав на колени перед позолоченным румянцевским киотом, прослезившись от восторга, клялись во взаимной любви и преданности до гробовой доски.

А поутру – бах!

Совсем породнившихся сватушек хватил такой удар, от которого они после ночного шумного пиршества и бдения протрезвели оба разом. Узнав об отречении Якова от Вари, сваты почувствовали себя так, словно их при всем честном народе окатили с головы до ног из-за угла ушатом ледяных помоев.

Не ушла от позорища и Варвара.

Спустя несколько дней после того, как весть о расстроившейся свадьбе Якова с Варей облетела всю станицу, в одну из непогожих, грозовых ночей были облиты смолой новые, только что выкрашенные в канареечный цвет тяжелые резные ворота иконниковского дома.

И если Варвара до своего рокового появления в кругу сверстниц имела в станице только недоброжелателей и завистниц, то после этого случая она нажила себе прямых и непримиримых врагов.

И Варвара поняла, что все пути к девичьим радостям, к ярким уличным гульбищам и шумным забавам для нее заказаны навсегда.

8

Нет, ни сплетни досужих сверстниц, ни грозные, пророческие вопли кликушествовавших старух, ни упреки ее опекуна – не это, а совсем другое волновало и тревожило теперь Варвару. На смену беспричинной тоске и неопределенным желаниям, прежде часто тяготившим ее, пришла к ней тоска по человеческой

близости, тоска по чьему-то заботливому участию и ласке.

Варвара не понимала, что происходит с ней. И только одним обостренным наитием, свойственным каждой женщине, она ощущала все нарастающее тревожное чувство ожидания.

Может быть, она тогда еще не хотела признаться самой себе, или, может быть, она еще не знала, а только лишь чувствовала, что ждала не кого иного, а одного, странно близкого и в то же время совсем чужого для нее человека. А человеком этим был Яков.

Потому и не могла Варвара по ночам сомкнуть воспаленных от бессонницы глаз. Потому и прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку.

Но не те шаги раздавались вблизи палисадника. Не тот желанный голос звучал вдалеке. Не тот окрыляющий душу смех раздавался в сонном ночном переулке...

Между тем Яков как в воду канул. После столкновения с Трошкой Ханаевым и разрыва с Варей Румянцевой он, как и Варвара, перестал показываться на людях, совсем скрылся с глаз, исчез. Стороной Варвара слышала, что разгневанный решительным отказом сына от нареченной невесты Егор Бушуев сгоряча выгнал его из дому вон. Говорили, что Яков, опасаясь отцовской немилости, пропадал недели три в степной стороне, в одном из аулов гостеприимных кочевников. А затем, выждав, пока немного отошло горячее родительское сердце, он вернулся в дом и тут же вскоре ушел со своим полком в лагеря на полуторамесячные строевые конные учения. Но вот минули и эти два долгих месяца. С походными песнями возвратился в станицу отгрубивший на лагерном сборе казачий полк. Завершилось шумное пиршество по этому случаю среди казаков и казачек. А Варвара попрежнему не могла дождаться, дозваться, докликаться сердцем Якова, хотя и не переставала ждать его по

ночам у окна, не переставала гадать на бубнового короля и еще болезненней и ревнивей прислушиваться к каждому неясному шороху, к каждому звуку.

Наконец однажды – это было уже поздней осенью – снова случайно свела их судьба лицом к лицу. Но в этот раз встретились они без свидетелей, один на один.

Как-то в сумерках привела Варвара на водопой к озеру выездного иконниковского коня.

Стоял один из тех погожих, необычайно прозрачных и уже прохладных вечеров, какие бывают в конце октября. Это был один из тех вечеров, когда в канун первых заморозков и близкого снегопада наступает в природе великая, умиротворяюще-торжественная тишина, и мир, безмолвный от бесстрастия и покоя, заставляет тревожней биться молодое, не знавшее еще равнодушия и усталости человеческое сердце.

Обнажен, дик и пустынен был в эту пору озерный берег. Только одинокая белая, как лебедь, гусыня, не то отставшая от стаи, не то подраненная каким-то охотником, сиротливо сидела неподалеку от мостков на песке и, дремотно охорашиваясь, часто перебирала пощелкивающим клювом свои жемчужно лоснящиеся на оттопыренном крыле перья.

На большой высоте проходил над озером в этот час подгоняемый заоблачными ветрами месяц.

Варвара стояла в самом конце далеко уходящих в озеро, зыбко колеблющихся под ногами мостков и, придерживая за повод по колено забредшего в воду коня, зачарованно смотрела на отраженный озером лунный осколок. Противоположного берега, затерявшегося в полумгле, не было видно. И Варваре казалось, что ее, окруженную бездной воды и неба, понемногу относило в глубь озера все дальше и дальше. И точно не мостик, не жердочки колыхались у нее под ногами, а дно утлой лодки, незаметно отчалившей от берега и медленно уносимой в этот студеный, таинственно

поблескивающий водяной простор. Это было совсем необычное для нее, полухмельное, до головокружения приятное и в то же время немного жуткое, тревожное ощущение. Оно передалось, должно быть, и коню, потому что и он, чуть касаясь воды бархатистыми губами, только притворялся пьющим, а на самом деле, навострив уши, косил алмазным зрачком и что-то слушал.

Может быть, от этого непривычного ощущения, а может быть, и от внезапно возникшего предчувствия не то близкого счастья, не то беды у Варвары заныло сердце и уже по-настоящему закружилась голова. Закусив губы, прикрыв глаза, она едва удержалась на ногах. И не удержалась бы, пожалуй, не подоспей к ней в эту самую минуту Яков.

Варвара не слышала его приближения. Но она узнала его по одному прикосновению рук, властно взявших ее сзади за локти. Неожиданное появление Якова нисколько не напугало, не встревожило и даже ничуть не удивило ее, точно они заранее условились об этой встрече на таких неверных, предательски колеблющихся под ногами мостках.

Варвара не сразу открыла глаза. Странная слабость вдруг овладела ею. Она ощущала только одно – горячее дыхание Якова над пылающим своим виском, жесткий, прохладный его подбородок, касавшийся ее щеки. И ничего, ничего больше не чувствовала, не понимала, не видела и не слышала в эту минуту Варвара, бессильно повиснув на надежных руках Якова...

А в конце ноября в одну из первых вьюжных ночей подлетела к воротам иконниковского дома глухо позвякивающая бубенцами шальная тройка. И не успел сидевший на козлах за кучера молодцеватый собой и бравый на вид казак Корней Шебанов осадить очумевших от восторга и вьюги лошадей, как из распахнутой в эту минуту калитки стремительно бросилась навстречу тройке высокая, закутанная в

оренбургскую шаль женская фигура. Едва не попав под копыта привставших на дыбы лошадей, женщина по-птичьи легко и проворно впорхнула в темный зев наглухо крытой степной ямщицкой кибитки. Затем раздался ухарский гик кучера. И тотчас снежный вихрь, объявший кибитку, мгновенно слизал следы сгинувшей в воющем мраке неуловимой, как привидение, бешеной тройки.

В ту же самую ночь в маленькой церковке, что стояла в степи на отшибе от недавно осевшего верстах в тридцати от станицы переселенческого хутора, затеплились под утро немощные огоньки дешевых восковых свечей. И степной путник, застигнутый непогодью в дороге, заметив эти похожие на волчьи зрачки далекие огоньки, никак не мог подумать о том, что там, в холодной и сумрачной церкви, стояла в этот глухой, непогожий час под венцом беглая чета новобрачных. Нет, никому никогда и в голову не пришли бы такие мысли. До венчания ли в такую погоду!

9

Кружатся, кружатся безмолвные птицы с ржавыми перьями над выжженными солончаками. Дрожит крыльями пустельга. Весело пляшут на дальних караванных дорогах смерчи. Тонко и грустно посвистывают в знойный день суслики, привставшие у своих нор на дыбки. Облако, похожее на беркута, проплывает над головой одинокого всадника, дремлющего в седле. Медленно перебирает ногами под всадником его неказистая поджарая лошадь. И звучит в окрестной степи протяжный и одинокий гортанный напев:

Где у белого света край?
Где степным дорогам конец?
Мне не скажет об этом орел,
Не ответит на это мудрец,

Не шумит в озерах вода.
Я тоски своей не таю.
Сам не знаю – еду куда,
Сам не знаю – о чем пою!

Собака, рыжая, как закат, бежит по краю дороги. На минутку умолкнув, всадник смотрит на степь, на собаку и вновь запевает свою бесконечную песню.

Бежит за мной моя собака,
Запылилась ее белая нога.
Хорошо в степи одному,
Если нет у тебя врага.
А враги у казаха есть,
А врагов у джатака – не счесть,
Враг у джатаков – джут и пурга,
Если нет страшнее врага.
Но страшнее лютой пурги
Есть у нас еще враги.
Кто они – это знаем мы –
Дети горя, нужды и сумы!

Вечер.

Угасают вдали багровые, колеблющиеся мечи заката. Ветер напевает негромкие песни в сухой полыни. Глухо гукает в камышах незримая выпь. Где-то далеко-далеко трубят над озером лебеди. И пастух Сеимбет, прислушиваясь к лебединому крику, говорит пастуху Сыздыку:

– Ты слышишь, Сыздык, как кричат над озерами лебеди?

– Я слышу все, что делается в нашей степи, Сеимбет,– говорит Сыздык.– Я слышу, как кричат лебеди. Я слышу, как вздыхают коровы. Я даже слышу, бывает, как растет трава...

– Значит, ты степной человек, значит, ты настоящий пастух, Сыздык,– говорит Сеимбет.

И пастухи сидят некоторое время молча, зорко наблюдая с пригорка за огромным табуном байского

скота, мирно пасущимся в привольном степном просторе. Затем, немного помолчав, Сеимбет вполголоса говорит:

– Я слышу, как кричат над озерами лебеди. И я хочу рассказать тебе, Сыздык, одну интересную историю. Нет, это не история, это – песня. Я слышал ее в детстве, и значит, это было давно. Это было в год мыши. Мне тогда минуло двенадцать лет, но я уже был неплохим пастухом и хорошим джигитом. В тот год мы гоняли с отцом большие гурты баранов бая Итбая на ярмарку в Куянды. Уйбаяй, как давно это было, Сыздык, если я был тогда мальчишкой! Но у меня ведь хорошая память – ты знаешь об этом... А сейчас я услышал крик лебедей и вспомнил про песню, которую пел нам однажды бродячий акын. Я запомнил, как мы ночевали с гуртом баранов в урочище Кучумбай, и как мы сидели с пастухами у ночного костра на берегу Черного озера – Кара-Су, и как мы слушали тогда эту песню. Ее пел нам в ту ночь великий певец степи. Он был родом с далеких гор, которыми кончаются наши степи...

– Что ты говоришь, Сеимбет?!

– Так вот, слушай меня, Сыздык,– продолжал все тем же негромким, проникновенным голосом Сеимбет.– Это было в год мыши на берегу Черного озера – Кара-Су, у ночного костра над далекими Куяндами. Как сейчас, вижу я этот вечер. Как сейчас чувствую я запах кизячного дыма. Как сейчас, слышу, я глухие звуки домбры и серебряный голос великого акына. Он пел песню о нашем народе. Это была такая песня, что мне кажется, будто слышал ее я не в детстве, а только вчера.

Была темная ночь. Мы сидели вокруг костра. И мы были голодны. Но, слушая песню акына, мы даже забыли про скудную пищу пастухов – сухой творог, лежавший у наших ног. Все затихло и замерло внутри нас. Молчала душа, не трепетало сердце. А бродячий певец степей пел нам в ту ночь о том, как ограбил нас русский царь, отняв у нас самое дорогое – наше имя.

– Погоди, погоди, Сеимбет. Не пойму, о чем говоришь,– поспешно схватив его за руку, сказал Сыздык.

– А ты слушай меня. Ты будь терпелив, Сыздык к слову певца, как к слову гостя и друга. Так нас учит древний обычай степи. Я расскажу тебе все по порядку, как в песне акына. Я расскажу тебе его песню своими словами.

– Слушаю, слушаю тебя, Сеимбет.

– Это было давно,– продолжал взволнованным голосом Сеимбет,– это было в те отдаленные от нас времена, когда степь наша была свободной и вольной, как ветер. И ветер вольный, как степь, распевал веселые свои песни и кочевал в великих степных просторах из края в край, как кочуют под небом птицы. И никому непокорные беркуты, и степные орлы гордо парили тогда над травами, и никем не устрашаемые звери резвились в лесах, не тронутых топором, и в камышах, не выжигаемых человеком. И рыжие лисы мышковали в ковылях, и ковыли были, как майский кумыс, густы и ароматны. И вот однажды – это было раннею весной – умирал в час заката на берегу Балхаша человек, по имени Колчан Кадыр. Это был великий батыр степей и храбрейший воин. Он умирал, смертельно израненный стрелами. Это был последний, единственный из всех наших предков, оставшийся в живых после кровопролитной битвы с врагами. Несметные полчища иноземных пришельцев нахлынули тогда в нашу степь. Подобно грозовым тучам, двинулись они на владения нашего народа из какого-то отдаленного, немирного и жестокого нравами царства. Подобно страшному джуту, опустошали они аулы, истребляли скот и умерщвляли людей. Все это было ранней весной, в год, которому даже нет названия...

Рассказчик умолк, переждал, пока уляжется в нем все возраставшее внутреннее волнение. Он перекусил горький стебель бессмертника, вздохнул и продолжал:

– ...После битвы, которую принял бесстрашный народ наш вблизи Балхаша, умирал Колчан Кадыр – храбрый воин предков нашей степи и неустрашимый их предводитель. Семь вражеских стрел торчали в могучем теле его. Но умирал он не столько от тяжелых ран, сколько от смертельной жажды. У пронзенных стрелами ног его, говорливые, тихо плескались о берег голубые балхашские воды, но умирающий воин не в силах был протянуть ослабевшей руки к воде и смочить горькой влагой свои спекшиеся от страдания и жажды губы. Напрасно пытался взывать он о помощи. Никого не мог потревожить немощный крик его. Ибо батыры храброго войска Кадыра все были перебиты, а коварный враг, устрашившись покрытого трупами бранного поля, поспешно покинул непокорную нашу степь. Великое запустение воцарилось в степной стране, и знойные ветры подули из-под облаков, и превратились цветущие степи в пустыни. Стали сохнуть и вянуть степные травы и умирать, задыхаясь в огне и дыму, потерявшие запах цветы. Даже птицы и звери стали покидать страну запустения, скорби и смерти. И умирающий воин понял, что час его пробил. Великая печаль затмила его лицо. Он закрыл веки, обугленные от скорби. Горько было встречать ему смертный час в одиночестве на песке пустынного берега. Так умирал предводитель храбрых воинов, бесстрашно сражавшийся с врагами за свой народ, так умирал воспетый в сказаниях и песнях акынов человек по имени Колчан Кадыр.

– Печальная песня,– сказал Сыздык.

Пастухи помолчали. Они присмотрелись своими постепному зоркими глазами к привольно пасущимся окрест табунам. И затем Сеимбет продолжил рассказ:

– И вот, когда пришел его час, и губы, спекшиеся от жажды, разомкнулись для последнего вздоха, он услышал над собой шум птичьих крыльев. Он напряг последнюю волю и открыл глаза. И сердце его запело

от радости, потому что он увидел живое существо – белую, как лебедь, гусыню. Тихо покружившись над умирающим воином, птица неслышно опустилась к нему на грудь и напоила его из клюва водой, прохладной, как утренняя роса, и ароматной, как кумыс в майскую пору. И батыр, утоливший из птичьего клюва смертельную жажду, ослабел, как слабеет после дальнего странствия путник от чаши крепкого кумыса, а ослабев, он забылся глубоким сном. Никто не знает, какое число часов, дней и ночей проспал он на горячем прибрежном песке. Но вот, проснувшись однажды с рассветом, он почувствовал себя исцеленным от ран. Он не испытывал больше жажды. Он поднялся, огляделся вокруг, и сердце его затрепетало от радости. Он увидел в эту минуту рядом с собой девушку неземной красоты. Его ослепило лунное сияние ее лица и блеск глаз ее, звездам подобный. И спросил тогда батыр девушку:

– Послушай, красавица, а не видела ли ты гусыни, белой, как лебедь, и если видела, то в какую сторону улетела она? И не слыхала ли ты ее крика?

И, смеясь, девушка ответила воину:

– Храбрый мой батыр, а не так ли светла я лицом своим, как светлы были перья белой гусыни, и не похожи ли руки мои на два гибких и легких ее крыла?

Тогда воин снова спросил девушку:

– Как же мне звать тебя? И откуда ты? И какой твой род? И далеко ли аул твой отсюда, красавица?

И ответила девушка воину:

– Если светла я лицом моим, как светлы перья белой гусыни, если руки мои похожи на два гибких ее крыла – то и зови меня, батыр, отныне по имени этой птицы – Каз-Ак!

И понял тогда храбрый Колчан Кадыр, что это сама судьба плененного врагами его народа вернулась к нему в образе белой гусыни Каз-Ак. Она напоила его из клюва живой ключевой водой, исцелила его от смертельных

ран. Она, превратившись в красивую девушку, стала его женой, для того чтобы продолжить павший в неравной битве с врагами свой род...

На минуту снова умолкнув, рассказчик перевел дыхание и затем опять продолжал:

– Прошло много лет. И великое числом потомства оставили после себя Колчан Кадыр с прекрасной Каз-Ак после самого долговечного и счастливейшего на земле их брака... А в честь этой белой, как лебедь, красавицы Каз-Ак и было потом дано их потомству имя – казахи.

– Значит, имя наше – казахи?– спросил взволнованным полушепотом Сыздык.

– Значит, так. Значит,– казахи, а не киргизы,– сказал Сеимбет.

– И обо всем этом пел тебе акын?

– Да, от него я услышал впервые настоящее имя нашего народа... Я рассказал тебе песню великого акына, как умел. Но я сберег в своем сердце и в памяти несколько слов из этой песни. И хоть нет у меня под руками домбры, я спою тебе эти слова. Ты ведь знаешь меня. Голос мой неплохой, а вторить мне будет вот этот тихий вечерний ветер.

И Сеимбет, дремотно раскачиваясь из стороны в сторону, негромко запел:

Много ханов ты знала, степь моя!
Был хан Аблай. Как голодный шакал.
Он по аулам добычу искал.
Баям с Аблаем привольно жилось.
Много их в наших степях развелось...
А тем, чьи плечи давила сума,
Хан был как злая степная зима.
Все туже на шее народной петля
Баев и русского злого царя...
Как волки, зубами степь они рвут,
Пастбища наши и скот наш берут,
Лучшие выпасы наши забрали,

Лучших коней у нас увели.
И нет нам приюта у нашей земли...
Взамен нам остались пустыни, пески,
Раздолье да горе, простор для тоски.
Страшно народу на степи смотреть.
И горько акыну про все это петь.

10

Весна.

Припекает жаркое солнышко. Желтый пушок ветродуек усыпал увалы. Глядя на них издали, можно подумать, что это желтеют не ранние полевые цветы, а только что вылупившиеся и разбежавшиеся по траве гусята. Степные курганы покрылись кремовыми коврами подснежников. Пахнет подвяленной на припеке прошлогодней полынкой и горьковатым ароматом еще не успевшей просохнуть дымящейся земли. В низинах стоят озера полой воды. Над степью повис полог зыбких, мерцающих марев.

Заливаются, купаясь в волнах тепла и света, жаворонки. Бьют в набат на закате перепела. Трубят в часы рассвета розовые от зари лебеди. И днем и ночью идут над великим степным простором – крыло к крылу, косяк к косяку – косые станицы диких гусей и казарок. Кривой, разорванной цепью тянутся с немилого юга к родному северу журавли, и на журчанье прозрачных весенних ручьев походят их гортанные переклики. Стонет степь от птичьих гимнов благотворному степному теплу и голубому небесному свету. А проснувшиеся от зимней спячки сурки наперебой приветствуют раннюю дружную весну озорным свистом.

Весна.

Поднимается над степью страстное лошадиное ржание. Раздается ленивый верблюжий рев. Звучат гортанные крики одетых в цветные халаты джигитов. Бесконечная вереница арб, груженных коврами и войлоком.

Праздничным, ярким и красочным выглядит караван кочевников, тронувшихся с зимовок в глубинную степь с табунами скота и домашним скарбом.

А из ветхих, почерневших от времени юрт в этот час выглядывают полуголые казашата, одетые в лохмотья женщины и пробковые от векового загара скуластые лица джатаков. Люди эти молча смотрят вслед богатому красками байскому каравану, уходящему в далекую степь, золотую от яркого весеннего солнца.

– Хабар бар ма?– спрашивает молодой джигит в голубом нарядном бешмете старого пастуха-джатака.

– Жок,– отвечает джатак, поникнув.– Хабар жок. У джатака нет новостей. Новость ушла вместе с богатыми в степь. Новость ушла по следам гордых белых байских верблюдов.

– Хабар бар ма?– снова спрашивает джигит встречного старца, слепого Чиграя.

– Хабар бар,– отвечает слепой Чиграй.– Хабар бар. Сильные и богатые люди нашей степи ушли на джайляу и угнали свои табуны на летние пастбища. А джатаки остались здесь, около байских зимовок. Джатаки будут стеречь здесь добро богатых.

Замирали над степью далекие крики гарцующих на злых и горячих конях джигитов. Уходил караван в далекую степь. А джатаки продолжали стоять в молчании около жалких своих кибиток, с тоской, гневом и завистью глядя вслед уходящим в степную даль. Это были те бесправные и обездоленные, кому было сказано на родовом совете так:

– Если нет у тебя выносливого верблюда, если нет у тебя коня и десятка овец – оставайся на месте и не ходи за богатыми.

– Ие,– соглашались джатаки.

– Каждый джатак может тоже стать богатым, если он хорошо поработает в летнюю пору на бая,– говорили аксакалы джатакам.

– Жарайды, жарайды,– отвечали джатаки.

Терпеливо и молча выслушивая своих аксакалов, джатаки думали о невеселой, скупой на радости, горькой своей судьбе. Они знали – придет жаркая пора сенокоса и поднимутся тучи гнуса, от которого будут судорожно биться тощие лошади и плакать, как дети, козлята. Они знали – высохнет вымя единственной кобылицы и не будет у них в турсуках кумыса. Не будет у них ни пресной лепешки, ни крошки бараньего сыра, и нечем им будет кормить в знойное лето своих детей.

– Ах, какой ты казах, если юрту твою изрешетило время, если встречного путника – гостя аула – ты не можешь напоить кумысом и угостить баурсаками! Ах, какой ты казах, если жена твоя не имеет масла для того, чтобы вылить его на очаг отцовской кибитки в честь новорожденного, как этого требует обычай степей! Нет, ты не казах. Ты – бишара, освистанная богатым и осмеянная сильным.

И джатаки, слушая аксакалов, знали – минует жаркое лето, проведенное ими в труде, в нужде и в поту. А баи, вернувшись под осень с джайляу к своим зимовкам, скажут им на своем родовом совете:

– Вы хорошо поработали летом. Вы сохранили наши зимовки, вы накосили нам сена, и скот наш не будет страдать от бескормицы. Все это – хорошо. И за все это каждый из вас может теперь рассчитывать на приют в наших жилищах, на чашку айрана и на кость баранины.

Так скажут осенью баи джатакам. Но они умолчат об обещанной пригоршне серебра и о пяти золотых монетах. Они умолчат о жеребенке с белой звездой на лбу, о трех тайнчах, о двух нетелях и пяти баранах, обещанных джатакам в награду.

И джатаки, выслушав баев, скажут, поникнув:

– Жарайды. Жарайды, аксакалы...

Вечер.

Пахнет дымом кизячных костров, овечьим пометом и шерстью. Угасает вдали над озерами пышный закат.

Тихо звенит в ковылях бесприютный, засыпающий ветер. Медленно кружится над курганом коршун. Все вокруг полно дремотного, предвечернего покоя и тишины.

Старейший из рода джатаков, слепой Чиграй, сидит в своей дырявой юрте возле угасающего очага и прислушивается к чему-то. Невольно прислушиваются и все остальные, сидящие вокруг очага.

– Я слышу топот конских копыт. Из степи в наш аул скачет всадник,– говорит Чиграй.

– С доброй ли вестью?– спрашивает слепца такой же древний, седобородый старик Юсуп, сидящий с ним рядом.

И не успел ответить Чиграй, как в юрту вихрем ворвался спешившийся на полном скаку джигит Садвакас. Он был бледен, и губы его дрожали.

– Хабар бар ма?– хором спросили его насторожившиеся джатаки.

– Хабар бар,– ответил джигит прерывающимся голосом.

– С доброй ли вестью ты, джигит?– спросил Садвакаса Чиграй, подняв на него свои давно потухшие глаза, равнодушные к солнцу и свету.

– Нет, я пришел к вам с недоброй вестью,– ответил джигит.– Двадцать верст я скакал сюда, чтобы сообщить вам черную новость степи. Слушайте и мужайтесь. Там, на урочище Узун-Куль, лежит наш Бектурган.

– Что ты сказал?! Опомнись, джигит!

– Что там случилось?

– Отвечай скорее...– зазвучали тревожные голоса джатаков.

И Садвакас, переведя дух, сказал:

– Русские из крепости Капитан-Кала продали наше урочище барину, имени которого я не знаю. Мы не хотели отдать им своей травы. И нет у нас теперь нашего Бектургана.

Вопли матери Бектургана, Айманкуль, заглушили последние слова Садвакаса. Разрывая руками свой ветхий джаулык, задыхалась старая женщина от нечленораздельных криков, полных невыразимой тоски и отчаяния. Вместе со старой Айманкуль надрывались от крика и плача и все остальные женщины, в смятении заметавшиеся по ветхой юрте.

Но старый Чиграй, поднявшись, властно протянул вперед руки и глухо сказал:

– Остановитесь! Пусть скажет свое последнее слово джигит, прискакавший к нам с урочища Узун-Куль с черной вестью.

– Мое последнее слово будет клятвой,– сказал Садвакас.– Я клянусь твоей ветхой священной юртой, старый Чиграй. Я клянусь именем нашего рода отомстить за убитого Бектургана!

– Один ли ты готов к этому?– спросил Чиграй.

– Нет, не один, аксакал. Со мной поклялись над прахом убитого все джатаки аула,– сказал Садвакас, и голос его вновь заглушили душераздирающие рыдания старой Айманкуль и окружавших ее женщин.

...Всю следующую ночь пылали в ауле джатаков яростные костры. Всю ночь стекались в аул из окрестной степи конные и пешие джатаки. Всю ночь оплакивали женщины мертвого Бектургана и раздавались гневные клятвенные крики толпившихся возле костра джигитов. А на рассвете, когда плоское тело покойника вынесли на руках из юрты и положили в степь, чтобы мертвец в последний раз взглянул незакрытыми глазами в сторону священной Мекки, старый Чиграй спросил притихший народ:

– Был ли безгрешен джигит Бектурган?

– Да. Он был безгрешен, наш Бектурган.

– Был ли он храбрым и сильным джигитом?– снова спросил Чиграй.

– Да. Он был храбрым и сильным джигитом,– вновь хором ответили люди.

– Любил ли он степь и родной народ?– опять помолчав, тихо спросил толпу джатаков Чиграй.

– Да. Он любил свою степь и любил народ,– ответили в один голос джатаки.

– Бектурган был джатаком. Джатаки и мы,– сказал Садвакас.– У нас даже нет охрет – одежды конца света, чтобы завернуть тело покойного, провожая его в последний путь. Мы хороним его в старом войлоке. И за это нас никто не осудит.

– Никто,– сказали джатаки.

– Все ли джигиты нашего рода готовы будут вместе со мной отомстить убийцам из крепости Капитан-Кала за смерть Бектургана?– спросил Садвакас.

– Клянемся именем нашего рода, что готовы вместе с тобой, Садвакас, отомстить за смерть Бектургана,– ответили в один голос джигиты.

И когда запылало над степью гневное зарево заката, воротились джатаки в скорбном молчании в аул, оставив в степи погребенное тело джигита.

Погасли последние блики жаркого, как степной пожар, заката. Погасли в ауле джатаков костры. Померкли в вечерней мгле далекие и близкие озера. Глухо и тихо было в безлунной, беззвездной ночи. И только где-то далеко-далеко звучала чуть слышно протяжная, печальная пастушья песня:

Много на небе звезд,
Много дорог в степи,
Машет саблей казак,
Хочет джатака бить.
Месяц зайца пройдет,
Малый зверь станет большим.
Вернется с джайляу бай,
Станет джатака бить.
Слушай, пастух, не спи:
Волчьи глаза горят.
Скоро заря загорится,
Козлята запросят пить.

11

Не великой, но и не малой была в прошлом семья у Егора Павловича Бушуева. Четверых сыновей – молодец к молодцу, да троих дочерей – не последних в станице песенниц и красавиц, вспоил и вскормил он в союзе с Агафьевной на своем веку. И нечего было зря бога гневить старикам: ни на сынов, ни на дочерей жаловаться не приходилось. Не беспутными мотами и отпетыми варнаками росли бушуевские ребята, и не вольными ветрянками слыли дочери в девках. Причиной тому была известная строгость родителя, умевшего в оба смотреть за детьми и не баловать их с малого возраста вредной потачкой. И как бы там туго ни бывало на первых порах кормить их и нянчить, а всю эту ораву родители сберегли и, несмотря на былую нужду, урону в ребятишках не знали. С годами взявшие силу ребята были поставлены на ноги. Вывели в люди Бушуевы и двух своих старших дочерей, вовремя выдав их замуж в надежные и порядочные дома.

Всех своих чад сберегли и взрастили под отчей кровлей Бушуевы, но не всех их вольны они были уберечь от лиха позднее, когда развеялись старшие дети по далекой чужой стороне. В первый же год русско-японской войны сложили буйные свои головы в боях под Мукденом первенцы Егора Бушуева – Ефим и Андрей. Гибель сыновей подсекла железные силы Егора Павловича и сразу же, за год, состарила нерослую и хрупкую на вид Агафьевну. Материнская скорбь по погибшим сынам обрядила ее голову в седину и навсегда запечатлела в страдальческих прищурах глаз невыплаканную горечь утраты.

Но со временем притерпелись к этому горю старики Бушуевы, оставшиеся теперь при троих детях. Стариков не покидал пока отслуживший положенный срок в полку и обзаведшийся своей семьей старший из оставшихся сынов – Яков. Красовалась еще в роди-

тельском доме, как запоздалая астра в осеннем саду, последняя из дочерей – восемнадцатилетняя Настя. Кроме того, росли теперь на поглядку старым Бушуевым и двое малых внучат, дарованных старикам Яковом и снохой Варварой. Старшему из внуков – Тараске – шел девятый год, младшему – Силке – минуло недавно только четыре.

Старики души не чаяли в своих внуках, и не было меры и границ дедовской нежности к этим малым ребятам.

Редкие семьи на Горькой линии живали в таком ладу и согласии, как жили Бушуевы. Егор Павлович строго соблюдал под крышей родного дома все обычаи и порядки прадедовской старины и сумел привить такую же любовь ко всему этому вековому укладу и всем своим детям. Только с одним из них – Федором – не всегда ладил старик. Такой же нетерпеливый и вспыльчивый, как и родитель, Федор часто ввязывался в пустячные споры со стариком. И сплошь и рядом какое-нибудь мимолетное возражение Федора на занозистое слово батюшки завершалось между ними ожесточенным словесным боем. Старик сердился на Федора, но спорил с ним охотно и нередко втайне даже скучал по тем перепалкам, которые возникали меж ними обычно в часы семейной трапезы.

В канун Троицы – за месяц до убийства станичниками джигита в урочище Узун-Куль – съехались домой из степи все бушуевские дети. Первым нагрянул Федор. Черный от пыли и копоти, подвижной, беспричинно улыбающийся, он похож был на цыгана, подгулявшего на ярмарочных магарычах. За ним точно с неба свалилась и закружилась по дому и по двору, как заводной, звонко жужжащий волчок, вся золотистая и пшеничная от загара Настя. И совсем уже удивил Егора Павловича не без форсу подкативший к воротам отцовского дома на строевом рысаке, запряженном в пролетку, похожий на бравого гвардейского офицера

Яков вместе со своей супругой, гибкой и волоокой Варварой.

– В бане, папаша, попариться всем семейством решили,– встретив недоуменный взгляд свекра, весело сказала Варвара, объясняя неожиданный их приезд. И она, подоткнув выше колен свою старенькую кубовую юбку, тотчас же загромыхала ведрами у домашнего колодца, вырытого в глубине двора.

– В баню – это дело хорошее. Милости просим,– приветливо отозвался Егор Павлович, невольно любуясь расторопной и бойкой снохой. Ему по душе была эта строгая деловитость Варвары.

«Нет, детушки, дело тут, должно быть, не только в бане!»– подозрительно насторожился старик. В этом дружном и раннем даже для предпраздничного дня появлении в доме всего семейства предугадывал Егор Павлович некий скрытый от него сговор и замысел. И это обидело старика. Он хотел было тут же придраться к Федору, но сдержался, смолчал. «Потерплю,– решил Егор Павлович,– все равно Настя выболтает, что они задумали стороной от меня!»

Между тем, пока Варвара с помощью Насти и непоседливой Агафьевной хлопотала с баней, Яков с Федором, вооружившись роскошными метлами, подмели всю широкую улицу перед домом и весь просторный и без них, положим, опрятный при стариковском догляде двор. Затем братья так же легко и проворно, словно играючи, накололи звонких березовых дров. Потом, торопливо перекурив в сторонке и на ходу перешепнувшись о чем-то, принялись за ремонт завозни. Они в момент заменили две подгнившие стойки и без всякой видимой надсады забросили на них десятиаршинный переклад. И все это делалось ими как будто между прочим, с веселой усмешкой и присказкой, с озорными прибасками, шутя.

Егор Павлович, сам трудолюбивый и непоседливый в другое время, на этот раз уклонился от вмеша-

тельства в ловкую суету ребят. Набросив на плечи поношенный миткалевый бешмет и барственно заложив за спину руки, долго сновал он с безучастным видом туда и сюда по двору и молча искоса поглядывал на сыновей. Хоть и сердил старика нынче Федька, заподозренный в каком-то тайном сговоре с братом, сестрой и снохой, но прилежная возня братьев в родном поместье смиряла стариковское сердце. Ему было приятно подумать о том, что Федор даже в канун отправки на пятилетнюю службу в полк проявляет в устройстве родного гнезда такое ревностное хозяйственное участие. Хмуря свинцовые от седин брови, старик ревниво поглядывал за каждым движением жадных до труда сыновей, радуясь их прилежности и завидуя их здоровью, силе, молодости и ловкости,– словом, всему тому, чем когда-то богат был и он, Егор Павлович Бушуев, и что с такой поразительной ясностью повторялось теперь в каждом из его сыновей.

Вечерело. Через настежь распахнутую калитку ввалилось во двор большое стадо гусей. Белый, как лебедь, гусак, презрительно полусмежив веки, замыкал неторопливое, торжественное шествие обильного своего потомства. Важно, высокомерно выступая за длинной цепью гусят, шел он, надменный и неприступный предводитель своего племени. Гуси, столпившись у корытца, полного свежей воды, блаженно упивались ключевой колодезной влагой и наперебой болтали между собой о чем-то неразборчивыми, дремотными голосами. Огромный черный цепной кобель Бисмарк сидел на перевернутой кверху дном бочке и наблюдал за движением во дворе.

Тихо было в этот час в станице. Ароматный теплый июньский вечер неслышно крался по улицам, и все живое прислушивалось в эти мгновения к неземной, заколдованной тишине. Прислушивалась неподвижно сидевшая на бочке собака. Прислушивался гусак,

вытянув упругую шею и забыв подобрать опущенное крыло.

Прислушивался не то к окрестной умиротворяющей тишине, не то к самому себе и Егор Павлович. Озадаченно став посредине двора, смотрел старик на присмиревших гусят, на Бисмарка, на выбегавших во двор внучат – и удивительно хорошо, светло и покойно было у него на душе. Да ему и в самом деле незачем и не из-за чего было волноваться. И не так уж плохо, оказывается, сложилась у него жизнь на старости лет. Вот и родному углу веку не будет – такой пятистенник добрую сотню лет простоит. Вот и деревья под окнами так возмужали, что никаким ураганам они не подвластны. Вот и сыны, как дубы: любую бурю примут на грудь – не пошатнутся. Да и внучата растут под надежной опекой деда и бабушки не какими-нибудь вертопрахами. Нет, дай бог всякому такую покойную старость, какую заслужил у нещедрой в прошлом к нему на дары и милости жизни он, Егор Бушуев.

12

После бани ужинали в этот вечер Бушуевы поздно – около полуночи. Огня не вздували. Огонь в летнюю пору в дому – головня в хлеву. И старики, свято веруя в эту издревле бытующую среди степных хлеборобов примету, не дозволяли зажигать даже восковой свечи.

Впрочем, и нужды-то большой в огне не было. По вечерам чаевничали под открытым небом, во дворе, куда выставлялся из сенок стол. А здесь, как бы там ни запаздывала семья с ужином, можно было свободно управиться с едой и без лампы. Молока из чашки хлебать – не шитьем заниматься: мимо рта ложки не пронесешь. Благо не дружат с аспидной мглой короткие летние ночи на Горькой линии. Подолгу здесь пышут и тлеют жаркие весенние зори, и ночь не в силах погасить их златоокий, немеркнущий свет. Не

успеет в такую пору поблекнуть обручальная позолота заката, как ложится на степи неяркий отблеск трепетно порозовевшей у кромки неба утренней зари.

Не темно было за столом и теперь. Высоко стоял над станицей новорожденный месяц, и приблудное облако бездумно жалось к нему.

Федор больше глазел на месяц, чем занимался едой. Есть ему не хотелось, но и вылезать из-за стола до тех пор, пока не перекрестится, отложив в сторону ложку, сам Егор Павлович, тоже было нельзя. К тому же у Федора предстоял такой рискованный разговор с родителем, при мысли о котором у не привыкшего робеть в других случаях Федора застревал теперь в горле комом каждый кусок пшеничного калача. Федору и в голову не приходило, что можно так оробеть при разговоре с отцом о таком деле и что разговор этот потребует столько душевной стойкости, храбрости и самообладания.

«А што, в самом деле, я перед ним тушуюсь? Парнишка я ему, что ли? Слава богу, осенью в полк ухожу. Объявлю ему с ходу, что женюсь, и баста. Поздравляй меня, тятя, с законным браком – и вся коротка!»– храбрился мысленно Федор. Но легко было об этом думать, да труднее – сказать. И Федор, лениво захлебывая молоком плохо прожеванный кусок хлеба, все томился, все набирался духу, ждал подходящего момента.

Поглядывая на месяц, Федор с тревогой и нежностью думал в эту минуту о семнадцатилетней казачке – Даше, которая должна была стать его женой. Жена! Никогда не задумывался о ней Федор прежде. Никогда не искал он ее среди станичных девчат, в паре с которыми лихо отплясывал «казачка» и все двенадцать фигур кадрили. Все до этого было бездумно и просто в его отношениях с подружками. Он воровски обнимался по закоулкам с ними в темные ночи. Он целовался с ними на вечерках или уединившись где-

нибудь за войсковыми амбарами станицы. Девки дарили ему роскошные с кружевами кисеты или расшитые шелком фантики. Принимая эти дары, Федор так же легко и просто растеривал их потом, как, впрочем, легко и просто забывал он назавтра о тех, кто вчера еще без ума и без памяти не скупился для него на столь обольстительные подарки... Он не обманывал их, давая им клятвы в любви и с обожанием заглядывая в зеркальные их очи. Он не умел и не мог говорить неправды, потому что сердце его не было лживым и холодным; рассудочных слов не знал покорный сердцу его язык. И девки, чуя это наитием, с такой же бесхитростной простотой и легкостью прощали своему кавалеру его ветреность и непостоянство...

Нет, ни в одной из станичных девчат, с которыми сводила его судьба, не искал Федор прежде ни жены, ни невесты. Но как статься могло, что семнадцатилетняя Даша теперь его невеста, он не понимал этого и сам. Он запомнил только, как однажды, при неожиданной встрече с Дашей в степи, у него вдруг точно оборвалось что-то в сердце, и он, нечаянно заглянув в большие, полные тепла и света глаза девушки, чуть не ахнул – до того они были прекрасны.

Все это случилось весенним вечером, после шумного и теплого ливня, после первой веселой и жуткой весенней грозы. Федор возвращался пешком с пашни в станицу. Даша шла по той же дороге из хутора в крепость. Случайно встретившись, они пошли вместе. По пятам за ними катился, погрохатывая в глуби степей, черный, как вороново крыло, гигантский вал грозовой тучи. И Даша, смертельно боявшаяся грозы, все беспокойнее, все чаще и чаще оглядывалась и при каждом новом ударе грома доверчиво жалась к Федору.

Пройдут годы, отбушует на вольном ветру молодость. Невесомая, как августовская паутина, неслышно

осядет в волосы седина, и в тумане прошлого исчезнут неверные очертания былого. Но никогда не забудет Федор озорной грозы в мае и ливня, загнавшего их с Дашей в придорожный стог. Навеки запечатлеется в памяти озаренное голубой вспышкой молнии перепуганное, влажное от дождевых капель ее лицо.

Все он помнил. Помнил, как при взгляде в серые глаза ее, на мгновение замирая, буйно затем колотилось его сердце, как шли они потом, после дождя и грозы, по размытой ливнем, розовой от заката дороге. Помнил, как шумно и весело шлепала Даша босыми ногами по встречным ручьям и лужам, по-детски жмурясь и вздрагивая от наслаждения, какое доставляла ей эта прогулка по умытой дождем степи. Помнил, как, смеясь и сияя посиневшими глазами, выжимала Даша полурасплетенные косы, и дождевые капли стекали с ее лица на грудь, скатываясь за вырез измокшей до нитки светленькой батистовой кофточки. Помнил Федор маленькие, обнаженные по локоть, пробковые от загара руки, от которых пахло и солнцем, и ветром, и какой-то горьковатой степной травой – золотые, упругие девичьи руки, без ума заласканные и без памяти зацелованные им. Все он помнил в этой необыкновенной встрече. Но какие дивные и необыкновенные, какие неповторимые и восторженные слова говорил он в эти мгновенья Даше,– об этом Федор не помнил.

Не охотник был Федор Бушуев болтать кому бы то ни было о своих отношениях с девушками. Тем более долго не говорил он никому ни слова о Даше. Редкие свои верховые набеги на казачий хутор, где жила Даша, он совершал по ночам. И свои встречи с девушкой он ревниво оберегал от огласки, суеверно страшась недоброго ока завистливых на чужое счастье людей. Даже Насте, с которой привык он делить сокровенные тайны с детства, от острого глаза, от чутья и сердца которой вообще не умел он и не мог ничего скрывать,

даже ей не говорил он до вчерашнего дня про свои воровские свидания с Дашей и про ту душевную тревогу, которую впервые в жизни испытал он от счастья, от близости к этой девушке, без раздумья и оговорок доверившейся ему.

Федор понимал, что обо всем этом легче и проще было рассказать Якову или Варваре, Насте или даже матери. Но он положительно не знал, как заговорить об этом с отцом. А между тем, оставшись наконец с Егором Павловичем наедине, Федор с неожиданной для самого себя простотой и непринужденностью сказал:

– А я ведь жениться надумал, тятя.

Ко всему был готов старик, оставаясь с глазу на глаз со своим нескупым на выдумки сыном, но такого трезвого и решительного заявления он от него, конечно, не ожидал. Ибо ни рассудительные родительские советы, ни шутливые намеки, к которым не раз уже прибегали в прошлом старики Бушуевы, норовя образумить парня и принудить его подумать перед уходом в полк о женитьбе – старикам нужны были в хозяйстве лишние рабочие руки, – ничто это ни к чему путному не приводило. То злым, не терпящим возражения отказом, то оскорбительной для старых людей насмешкой, то безобидной или легкомысленной шуткой отвечал Федор на все намеки и речи о его женитьбе. И старики совсем было уже решили – пусть, мол, сходит в полк и отслужится, а потом уж волей-неволей и сам подумает о женитьбе. А тут – на тебе!– Федор вдруг ни с того с ни сего заговорил с отцом об этом. И Егор Павлович, посмотрев изумленно и недоверчиво на сына с заминкой ответил:

– Жениться?! Ну что же... В добрый час.

– Вот так... Решено, тятя,– сказал Федор.

– Решено – слава богу...– глухо проговорил старик, все еще плохо веря своим ушам.

– Стало быть, дело теперь только за сватами и свахами, тятя,– сказал, немного помешкав, Федор.– Время сейчас самое свадебное. Сеять мы кончили. До сенокоса ишо далеко. А до похода в полк – ишо дальше.

– Так-то оно так, сынок. Время, конешно, для такого дела самое подходящее. За сватами дело не станет. Только свадьба-то што-то у тебя больно скоропостижная,– подозрительно покосившись на сына, сказал старик.

– Так уж пришлось. Из терпления вышел...– сказал Федор без всякой улыбки.

Помолчали. Затем, распалив погасшую за разговором трубку, Егор Павлович сказал:

– Ну ладно. Супорствовать не хочу, ежели уж так тебе, сынок, приспичило... Хорошее дело, благословясь, начать можно. Только смотри, маху не дай сгоряча. Повострее присмотреться к невесте бы не мешало.

– А я присмотрелся. На это времени у меня хватило.

– Ты-то, может, и присмотрелся, не спорую. Да ведь и нам, старикам, показать бы нареченную перед сватовством не грех.

– Покажу. Таиться не стану, если обличьем она вам ишо не знакома...

– С обличья не воду пить,– сказал старик.– По обличью-то я всех наших станишных невест знаю,– сказал Егор Павлович, все еще не решаясь спросить сына о том, на кого же в конце концов пал его долгий выбор.

Но Федор и тут ушел от прямого ответа. Теперь ему просто было приятно поиграть на любопытстве терявшегося в догадках отца, и потому, неясно улыбнувшись родителю, сын неопределенно ответил:

– Ну, эта не нашинска.

– Вот как! Королева из иноземного царства?!– не зло пошутил старик, и в прищуренных глазах его мелькнула озорная, странно помолодившая на мгновенье его лицо улыбка.

– Королева. Настоящая королева!– сказал Федор не поймешь как, шутя или серьезно.

Они опять помолчали. Наконец Федор решил раскрыть тайну.

– Тятя,– сказал он с редким для него в разговоре с отцом душевным проникновением.– Я хочу посвататься за Дашу Немирову.

И старик, невольно отпрянув при этих словах сына назад, присмотрелся к нему сурово и испытующе – не шутит ли парень?! Нет. Не шутит. И вот, выдержав отвечающую моменту паузу, Егор Павлович проговорил, поднимаясь из-за стола, тихим, чуть дрогнувшим от волнения голосом:

– Ну что же, благословляю, сынок. Дай вам бог счастья. Дай бог. Благословляю...

Тронутый теплотой и сердечностью, с какой прозвучало в ночной тишине родительское благословение, Федор быстро встал вслед за отцом со скамьи и замер, точно в строю, слегка опустив перед стариком покорную свою голову.

С минуту или, может быть, только несколько недолгих мгновений стояли они друг против друга молча. Было так тихо, что Федору казалось, будто слышал он частый бой своего сердца. Скупо светил месяц, подернувшийся легкой облачной фатой. Где-то далеко-далеко зазвучали дремотные звуки гитары, и чистый девичий голос запел:

Окрасился месяц багрянцем,
Где море шумело у скал.
Поедем, красотка, кататься –
Давно я тебя ожидал.

Великая тишина и покой этой мирной июньской ночи, смирение покорно принимающего родительское благословение сына, и эти знакомые с далекой молодости слова, и напев звучавшей в ночи старинной песни – все это так растрогало Егора Павловича, что

на глазах выступили слезы, и старое сердце его забилось рывками, вскачь.

А девичий голос все звенел в ночи под серебряный переклик гитарного перебора:

Спасибо, я еду охотно,
Я волны морские люблю,
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю!

Все тусклей и скупее светил клонившийся к горизонту месяц. И все дальше уходила в ночную мглу девичья песня:

Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам,
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам!

Долго еще звучала в ночи эта песня. Но вот, подобно последней вспышке далекого ночного костра в степной стороне, неярко блеснул на прощанье и бесследно погас вдали девичий голос. И Федор сказал отцу:

– Спасибо, тятя. За родительское благословение и доброе слово твое спасибо,– и, замявшись немного, добавил:– А сейчас мне надо отлучиться по одному неотложному делу...

Минут пять спустя, ловко махнув в новое свое полковое седло, пулей вылетел Федор на гнедом резвом метисе за ворота и, как привидение, тотчас же исчез в призрачной полумгле.

Егор Павлович догадывался, куда держит путь Федор, и от всего сердца пожелал ему счастливой встречи с невестой. Взволнованный всем случившимся, растроганный до глубины души старик долго стоял у ворот. Мирно спала утонувшая в лунной дымке станица. Ни звука, ни шороха не слышно было более на пустынных улицах. Жемчужными зернами блестела

под месяцем роса на уличном конотопе. Высокое, почти по-дневному ясное, безоблачное небо покоилось над мирной землей. И только там, за мерцающими степными озерами, вставала с запада траурно-черная грозовая туча. Распластав гигантские, косо усеченные, с белым подбоем крылья, она тяжело подымалась из-за горизонта, и алмазные звезды меркли и гасли в ее кромешной мгле. Внезапно раздался глухой и далекий, зловеще замирающий на перекатах троекратный грозовой удар. Удивленно взбросив глаза, старик увидел громаду словно спрессованных и обуглившихся глыб. И что-то похожее на недобрую дрожь и оторопь на мгновение сковало его. Но тотчас же, откинув беспричинно возникший суеверный страх, Егор Павлович размашисто осенил себя крестным знамением и поспешил в дом, поведать радостную весть жене.

13

Сватовство прибывших на первый день Троицы в немировский дом расторопных, надменных и пылких бушуевских свах прошло в строгих рамках неписаных правил и благополучно завершилось в одиннадцатом часу до полудня согласием родителей и невесты.

А во второй половине дня прибыли на хутор Подснежный на тройке белых как кипень выездных полукровок разодетые в пух и прах, важные и сумрачные с виду родители жениха. Несмотря на знойную духоту, Егор Павлович Бушуев обрядился в наглухо застегнутый на крючки однобортный бешмет из тонкого синего сукна, а на пропитанных ворванью опойковых сапогах старика красовались во всем своем блеске глубокие резиновые калоши. Маленькую же Агафьевну куда солиднее делала накинутая на плечи тяжелая ковровая шаль.

Вместе с родителями жениха прибыли на хутор Подснежный в немировское поместье и остальные

приглашенные на рукобитие гости. Очумевшие от звона бубенчиков и залихватского гиканья подвыпивших кучеров тройки и пары взмыленных лошадей пролетели по хутору на полном карьере и, только лихо развернувшись в другом конце улицы, подошли затем на рысях к гостеприимно распахнутым немировским воротам.

Сам жених с еще большим шиком лихо подлетел к дому тестя верхом на строевом коне. Спешившись против немировского дома, Федор походкой завоевателя прошел сквозь шпалеры праздных зевак к высокому, как трон, устланному гарусными коврами крыльцу.

И вот с утра еще тихий и мирный немировский дом загудел теперь, заходил ходуном.

Дорогих гостей Немировы принимали в горнице. В превеликой тесноте разместились сородичи жениха вперемежку с родными невесты. Гости сидели почти впритирку вокруг составленных, до отказа заваленных разной снедью столов. Над штабелями кремовых вафель поднимались вороха воздушного хворста. Золотые туши гусей и бронзовые окорока, лоснясь от жира, лежали на расписных блюдах. И дымились набитые серебряными карасями, уснащенные лавровым листом, перцем и рисом горячие пироги. Остро пахло укропом, хреном, уксусом и анисом. Туеса извлеченных из погреба соленых груздей стояли, как башни. И над всей этой прополосканной в масле снедью и перетертой в меду и сахаре сластью возвышались жерла запотевших на погребу четвертных бутылей водки, настоек и вин. С гулом, созвучным ружейной пальбе, вылетали из жбанов с пивом тугие, залитые варом пробки. И белая накипь хмеля клокотала в фарфоровых чашах, тяжко колеблющихся в шатких руках дружек и свах.

– Сватушки! Гостенечки вы наши нежданны-негаданны!– все с руладами, все нараспев заливалась

сладкозвучной степной птахой суетливо хлопотавшая у стола не старая с виду, но седая головушкой Якимовна – мать невесты.– Потчуйтесь. Кушайте. Да уж извиняйте вы нас, ради истинного Христа, на нашем угощении. Не побрезгуйте наших кушаньев и вареньев. Не обессудьте нас, грешных...– как по нотам, выводила Якимовна.

– Ой, да господи, сватьюшка! Да што же это, милая ты моя, так убиваешься!– молитвенно всплескивая в ладоши, смиренно клоня при этом к плечу голову, восклицала в тон ей Агафьевна.– Да куда же нам ишо этих ваших кушаньев-то! И так неча бога гневить. Ведь живой воды у вас на столах не видать, а остальное чисто все налицо имеется.

– Ох ты, разлюбезная моя сватьюшка!– с разбегу присев на краешке стула рядом с Агафьевной, продолжала на высокой ноте свою песню Якимовна.– Ну ни сном ведь, ни духом не знали мы и не ведали такого дела. А знатье – так уж так ли бы мы припаслись, так ли бы мы приготовились!

– Да годнее некуда приготовленья, милая сватьюшка...– стойко отстаивала честь стола Агафьевна.

– Нет, не говори, сватья. Правда, не в укор восподу богу живем. Што напраслину говорить. И хлебец в сусеках есть. И скотинка, и птица на нашем дворе пока водится. Не стану, сватьюшка, хвастать. Ну, дорогих гостей не бесчестим. Знаем, как приветить и чем попотчевать.

– Што ты, разлюбезная моя сватьюшка!– восклицала утомленная застольным шумом и духотой Агафьевна.– Што ты, голубушка! Да ведь самостоятельных-то людей за версту видно. А тут, погляжу я, от одной солонины столы ломятся...

– Ох, уж извиняйте меня, любезная моя гостюшка, ежели чем по первинке не угодила я тебе али не уважила.

– Ах, уж чисто всем я довольна. Так довольна, так довольна, что и сказать не умею, и словесно выразить

не могу. Покорнейше благодарствуем вас, сватушки, за все ваши хлопоты да угощения...

– Пирога-то бы рыбьего, сватья, отведала.

– Успем ишо. Отведам. Да я не шибко промялась, сватьюшка...

– Ватрушечек покушайте. Крупичатые. С ванилью.

– Благодарствую вас. Так и быть, одну скушаю...

– Да возьми, сват, хоть парочку.

– Уволь, сватья. Дорога не дальняя, не шибко проголодался...

– А ты бы, сватьюшка, вареньица помакала,– снова переметнувшись от Егора Павловича к Агафьевне, завела нараспев Якимовна свою обедню:– Отведай, любезная, клубничного. Попробуй и костяничного. Это ведь доченькино изготовленье. Чисто все ее белыми рученьками припасено и к столу подано. Уж извиняйте, не засидится она у вас без делов. Не таковска. Не загуляется... А уж как она, сватьюшка, на все мастерица-то, так ведь таких поискать только на всей Горькой линии. Ну за што ни возьмется, то у нее в руках огнем и горит. И попрясть, и связать, и любой тебе узор гарусом выложить... А уж такая там чистотка да обиходка, так уж и лишных слов пущать не приходится – сама, придет время, сватья, увидишь.

– Ой, да, сватья, да ведь обиходного-то человека сразу насквозь видно. Ишо бы – от такой родительницы да доченьке нечистоткой слыть! Слава богу, в казачьей семье росла. А уж наш ли брат, линейные казачки, не чистотки да не обиходки,– рассудительно разводя руками, заключила Агафьевна.

– Ну да, тоже мне, сватья, и у нас не в каждом доме и не в каждой семье,– возразила Якимовна.

– Она и тут чистая твоя правда, сватья. И тут я с тобой согласна...

– Сама посуди, сватьюшка, времена-то пошли ныне какие,– продолжала, не унимаясь, Якимовна петь свою песню.– Не успеют другие детушки на ноги встать, а

уж, гляди, и волюшку в руки взяли – ни сговору с ними, ни сладу. А уж моя-то ведь доченька така послухмянна, така послухмянна – всему хутору на диво. Ну не радошно ли тако дитятко материнскому сердцу, не болько ли?

– Ишо бы не болько, ишо бы не радошно!– чуть не всхлипывая от умиления, растроганно откликалась Агафьевна.– Вот и я, сватья, опять же про своего Федю теперь тебе доложу. Уж такой он у нас обходительный из себя да такой приветливый, што, скажи, ни старого, ни малого не обойдет – с каждым душевно поговорить во всяко время сможет.

– И опять же я тебе, сватьюшка, скажу,– плохо слушая Агафьевну, продолжала самозабвенную песню свою о дочери захмелевшая Якимовна.– Хоть и не из кистей у меня Дашенька выпала, а ни умом, ни душевной приятностью нашу породу она не обидела.

– Про породу што зря говорить. Немировы спокон веку – казаки по всей Горькой линии на славе...

– То-то и оно, сватьюшка... А уж про приданое я и не говорю. Хвастать не стану, а сундуки-то не скоро подымешь,– проговорила почему-то полушепотом Якимовна, жарко дыхнув в ухо сватье. И, метнувшись с подносом в сторону, она снова залилась своим чистым и звонким голосом, обхаживая то одну, то другую, то третью сваху.

– Ах, уж чем же это ишо я попотчую вас, голубушка?! Чем вас, сударушка, ишо прибалую,– продолжала напевать Якимовна...

Молодые, как и было положено, занимали за столом центральное место – в простенке, под украшенным утиными перьями и дешевыми дутыми бусами старинным зеркалом. Выпив по первой рюмке огненной, настоянной на вишне водки, Федор и Даша продолжали теперь каждый раз чокаться со всеми гостями. Чокнувшись, но не пригубив своих рюмок, молодые деликатно отставляли их в сторонку и сидели,

потупив взоры, строго и молча. В первые минуты пиршества, до тех пор пока еще хмель не развязал языков даже самым словоохотливым, по сию минуту надменно поджавшим губы свахам, пока полутрезвые гости увлечены были опробованием соблазнительных блюд, Федор и Даша чувствовали себя несколько стесненными, неловкими и даже как бы подавленными. А тут еще черт принес под самые окна целый букет разряженных в кашемир и шелка хуторских девок. Забравшись в немировский палисадник, девки бесцеременно пялились в створные окошки, глазели на станичного жениха. Они без особого стеснения, довольно оживленно, хотя и вполголоса, обсуждали между собой все достоинства и недостатки Федора.

– Женишок-то, девоньки, как аршин проглотил,– не ворохнется!

– Ой, да и на обличье-то он – кыргыз кыргызом.

– На цыгана тоже смахиват...

– Ну нет. Русское, девки, обличье.

– Правильно, русское. Только нос подгулял маленько: на семерых рос, а одному достался...

– Зато чуб табашный – из кольца в колечко!

– Дура. Да это он его плойкой подвил...

– Не барахлите, ветрянки. Кудри природные.

– Батюшки-светы, да он при часах!

– А станишные кавалеры без карманных часов не ходят.

– Может, это не часы, а цепочка для красы.

– Милый мой, часы при вас? Расскажи, который час!

– А ну-ка, подвиньтесь. Встанут, язви их, как коровы. А другим чисто ничо не видать,– сказала басом, протискиваясь к окну, рослая и толстая девка.

– А ты тут кого не видала?!– окрысилась на нее шестнадцатилетняя модница с подкрашенными сурьмой бровями.

– Не на тебя же, бубнову кралю, пришла смотреть.

– Ну ладно. Не ломись, Физа. Ослепла – местов больше нет у окошка.

– Замри, Капа. Дай я на станишного казачка полюбуюсь,– сказала примиряющим басом толстая девка.

– На чужих-то женихов нечего зенки пялить. Своего пора бы тебе, Физа, заиметь годов тому назад с десяток,– не унималась модница с подрисованными бровями.

– А у меня был свой, да весь вышел. А нового для меня завели, да што-то долго, подлец, киснет...– басила, отшучиваясь и упорно пробиваясь к окошку, толстая девка.

Федор сначала злился на зубоскаливших за его спиной девок. Отлично слыша их издевательские насмешки и зная, что все это слышит и Даша, он сатанел с каждой минутой и сидел теперь как на иголках. Наконец, улучив удобный момент, он высунулся в створки и прицыкнул на чертовых просмешниц, пустив даже сквозь зубы по матушке. Но это нисколько не смутило линейных красавиц, а наоборот, только подзадорило их. И они, снова валом прихлынув к окошкам, принялись донимать разгневанного жениха такими на этот раз прибасками, от которых даже у Федора глухо горели темные щеки и ныло где-то в коренном зубу, как это случалось с ним только в минуту великого ожесточения.

В самый разгар пира в горницу ввалился знаменитый не только в станице, но и на всей Горькой линии гармонист Трошка Ханаев в сопровождении Дениса Поединка. Как правило, Трошка никогда не ходил по пирам и беседам без своего закадычного друга. Федор, завидев в дверях приятелей, просветлел, забыв о зубоскаливших под окошком девках.

В пояс откланявшись молодым и поздравив родителей жениха и невесты «с начатым делом», Трошка с Денисом выпили по стакану поднесенной им на подносе водки. И Трошка, не закусывая и не морщась при этом, рывком развернул на ходу канареечные мехи гармони. Затем, важно опустившись на услужливо

подсунутую чьими-то руками табуретку, он прогулялся всеми пальцами сверху вниз по басам и потревожил слегка лады для пробы.

На мгновенье в горнице стало тихо. Одна из свах – это была двоюродная сестра жениха, бойкая, востроглазая бабенка Павочка Ситникова, – открыв набитый капустой рот, с изумлением посмотрела на гармониста. Подмигнув разомлевшей от жары и хмеля бойкой бабенке, Трошка крякнул и, сбочив голову, уронил ее, как отрубленную, на лакированный корпус гармони.

Рявкнули басы. И вдруг такая пулеметная очередь дьявольских вариаций вырвалась из-под промелькнувших над клавишами Трошкиных пальцев, что свах, словно вихрем, сорвало с места.

А минуту спустя ничего уже нельзя было распознать в этом калейдоскопе всеобщей пляски. В радужном сиянии стремительно кружащейся перед глазами красочной карусели порхали белые фантики и пунцовые, как пламя, бабьи подолы. Все слилось и смешалось в бешеном ритме пляски: кашемировые подшалки, кружевные передники, ситец, бисер и чесуча. Бесстыже скаля в медовой улыбке сахарно-белые зубы, свахи, беснуясь и взвизгивая, наседали на крутящихся заводными волчками танцоров. Все в поту, в чаду духоты и в хмельном дурмане, чудом выкручивались лобастые сибиряки из-за бушующего пламени бабьих подолов. И было похоже, что вконец осатаневшие от хмеля и пляски свахи так и норовили смести напрочь с круга своими разбушевавшимися подолами этих уже близких к обмороку плясунов.

И только в центре этого наглухо замкнувшегося в бесовском верчении круга, совсем будто чуждые всей этой неистовой праздничной кутерьме, плавали павами друг против друга помолодевшие и сияющие, как божий майский день, сватьи. Не теряя общего ритма пляски, смиренно сбочив увенчанные кружев-

ными наколками седые свои головушки, сватьи с великим и близким к райскому блаженству умилением смотрели друг дружке в лицо и бойко приговаривали, ударяя в ладони:

– Уж ты,
хмелюшко-хмелек,
Что не развивался?
Где казак почевал,
Что не разувался?!
Где,
варнак, пировал,
У какой сударки?
С кем ты зорю зоревал,
За каки подарки?
– Не за перстень-талисман,
Не за злат сережки
Открывала молода
Ночью мне окошки.

Ходуном ходил древний немировский дом, растревоженный ревом стобасовой гармони, озорными припевками свах и буйной пляской. Стонали под коваными подборами плясунов вековые, в полуаршинную ширину, половые плахи. В скороговорку, наперебой переговаривались между собой тарелки на столе и оконные рамы. Порожние рюмки, озоруя, приплясывали на подносе. Под столом, не поделив жирного окуня, дико ревели дымчатые коты.

14

Во дворе, под крышей прохладного в этот час немировского сарая, уже назревало нечто вроде кулачного боя. Двое полуобнявшихся или полувцепившихся – не поймешь – друг в дружку пожилых казаков тупо топтались вокруг здоровенной стойки. Один из них – Кирька Караулов, другой – бывший

гвардеец, не уступавший ростом Кирьке, Феоктист Суржиков – дядя невесты. Кирька Караулов, взявшись всей пятерней за ворот сатинетовой рубахи Феоктиста Суржикова, рычал что-то нечленораздельное. А Феоктист, пытаясь вырваться из крепких Кирькиных рук, говорил ему почти со слезой, умоляюще:

– Освободи без греха мои руки, сват. Дай хоть раз я те наотмашь вякну. Уважь. Богом тебя, варнака, прошу: исделай ты мне такую милость!

– Нет! Не могу я, сват, в этом тебе уважить...

– Ага. Не можешь?!

– Никак нет, сват. Отрицаю.

– Отрицаешь? А пошто?

– А по то, сват, не за што бы тебе в такой час личность мою соборовать.

– Хе! Ишо как усоборую. За один удар все грехи тебе оптом отпущу.

– Не кощунствуй, сват. Ты же не поп меня исповедовать!

– Хоть не поп, а в звонарях состою – кайся.

– В чем же мне каяться, сват? Чем я перед тобой грешен?

– Ага. Стало быть, все скрозь отрицаешь?

– Отрицаю, сват.

– Так. А то, што я при одном ухе двадцать с гаком лет состою, это ты тоже отрицаешь?

– При одном ухе – это так точно, сват. Это факт налицо. Не спорую.

– Ага. Ну вот за этот факт я сейчас тебя и брякну.

– Што ты, опомнись, сват!

– А я не больше четверти выпил – в своей пока памяти. Богом прошу, давай, ради Христа, подеремся, пока я сознанья не потерял. А напьюсь – мне тебя тогда не осилить...

– Драться я всегда, сват, с полным моим удовольствием. Ты меня знаешь. Не в том дело. Ты мне скажи, за што ты меня губить на свадьбе собрался?

– Как так за што?! Вот тебе на. А кто мне левое ухо перед полковым походом напрочь железной тростью отсек? Не ты, сват?

– Ну мало ли что там бывало у нас по холостяцкому делу...

– Нет, ты не виляй. Говори мне кратко, как на словесности, ты лишил меня уха? Твоя работа?

– Ну, был грех... Не спорую, сват. Дело прошлое. Правильно. Благословил я как-то раз тебя на фоминой неделе тростью. Каюсь.

– Ага! Каешься?! Ну вот, за это-то раскаянье я те сейчас и лупану...

– Одумайся, сват,- почти рыдая, увещевал Феоктиста Суржикова Кирька Караулов.– Опомнись, я тебе говорю. Ведь мы теперь вроде родни с тобой после сегодняшней свадьбы. Нам бы только пить-пировать, а ты грех заводишь.

– А пошто ты мне не коришься, сват?

– Я корюсь, сват.

– А коришься, ослободи мои руки.

– Ну как же я тебе их ослобожу, сват? Ведь ты же меня в один момент можешь изувечить.

– Вполне могу. Определенно, сват, изувечу.

– Што ты, бог с тобой, сват. Опомнись.

– Знать ничего не знаю. Все равно я обязан тебя ударить.

– Смирись, сватушка. Четверть поставлю.

– Ага, боишься?!

– Не боюсь, сват. Дело родственное. Грешить не хочу.

– Врешь, подлец. Ты моего удару, а не греха боишься. Сам знашь, кака рука у меня тяжелая. Али забыл, как я японцев клинком соборовал?!

– Бранное дело не забывается, сват...

– Ага. Стало быть, признаешь во мне силу?

– Не отрицаю, сват.

– Хвали меня, Киря. Я люблю, когда меня хвалят.

– Одно скажу – настоящий ты сибирский казак, сват. А выше этой похвалы у нас на Горькой линии не было и нет.

– Правильно, Киря. Ты знаешь, наш брат-сибиряк не чета донскому казаку. Верно я говорю?

– Што про них, про донских, говорить. У их войска – одни чубы, похвальба да песни.

– Во, во, во! На это они мастера. А в песнях тоже пусть извинят нас, сибирских казаков. Грозней наших песен ни в одном войске нету. Што пожар али бури степные, то и песни сибирские – степой ходят! Если грянет наш полк: «Проявился в Сибири славный русский казак»,– у донских горлохватов и чубы завянут...

– Так точно, сватушка. В песнях нам тоже ни перед каким войском робеть не приходится.

– Сват! Сослуживец!– вдруг воскликнул высоким, рыдающим голосом встрепенувшийся Феоктист Суржиков.– Давай, сват, я тебя публично облобызаю. Давай, станишник, по-братски. В уста. Помнишь, как под Мукденом на позициях перед рукопашным боем лобзались...

И, тотчас бросившись при этих словах друг к другу в объятия, замерли казаки в долгом поцелуе.

Затем, так и не разняв переплетенных рук, казаки побрели в дом, гудевший от песен. Там они скрепили свою давнюю боевую дружбу еще одним стаканом остуженной на погребу водки, а потом, помогли осоловевшим от духоты, хмеля и пляски свахам вывести на простор никак не ладившуюся у них проголосную песню.

15

Во дворе, в сторонке от кутерьмы и веселой сумятицы пированья, мирно посиживали под навесом уединившиеся в тени сваты – отцы жениха и невесты. Перед ними прямо на земле, среди щепок и древесного мусора, стоял уже наполовину опорожненный ими

бирюзовый лафитник с вишневой настойкой. На коленях у Петра Петровича лежал кусок рыбного пирога, луковка и половинка груздя, поочередно надкусываемого стариками при закуске.

Одетые в одинаковые по покрою и цвету бешметы, с дымчатой проседью в окладистых бородах, старики походили один на другого. Оба выглядели сейчас несколько моложе своих лет. Лихо сдвинув на макушки подзаношенные казачьи фуражки, обнажив завьюженные сединой чубы, сидели сваты друг против друга верхом на дровосеке, молодцевато подбоченившись, как приучены были смолоду сидеть в походном седле. Оба они деликатно придерживали меж пальцев бочкообразные рюмочки и, то и дело осторожно чокаясь ими, забывали меж тем выпить и продолжали говорить.

– Нет, сват,– говорил Егор Павлович,– я своего хвалить не стану – варнак. Ты скажи, и воли как будто я ему с малых лет не давал, а вырос – сладу иной раз нету. И все бы еще туды-сюды, сват. Ну уж больно споровать он со мной, сукин сын, лют. Ни в одном слове тебе не уважит. Лучше не связывайся – забьет.

– Это насчет чего же, сват?

– А вот хотя бы насчет той же, скажем, рыбалки. Вспомнишь другой раз к слову, дескать, крупный окунь в станичных озерах в прежние времена водился, а нынче и мелюзги в другом водоеме не найдешь. Ну не дай бог, если он, варнак, такое воспоминание услышит, непременно встрянет. Привяжется. На смех тебя подымет. Над стариной казачьей начнет изъезжаться. И зимы лютей нонешних были. И жарища, мол, в летнюю пору в степи, как в бане, стояла – не продыхнешь. И дожди, говорит, у вас в былую пору, по вашим словам, как из ведра лили – с нонешними не сравнишь. Прихвастнуть, дескать, любите вы, старые казаки, на склонности лет своей жизни... Ну, я – на него. А ты, подлец, видел, што и как было прежде? Ты окуней-

то десятиперстных едал? Ты в прежние морозы-то по извозам в город Атбасар али на Куендинскую ярмарку хаживал? Тебя, сукина сына, под сугробами, как твоего родителя, заживо в буран хоронило? У тебя, варнака, ливнем последнюю десятину смывало?! Нет?! Ну, прижмешь его таким манером к стене. Другой бы тут и с ответу сбился, а этот и ухом не поведет. Стоит и над тобой же, бывалым родителем, зубы точит. И ни одному слову твоему не верует. И всего тебя вскрозь под сумление берет. Ну, не беда ли с таким спорным дитем, сват?

– А беды в этом, сватушка, я большой не вижу. Молодо-зелено. Все по молодости такие,– философски отвечал свату Петр Петрович Немиров.

– Не, не все, сватушка. Мой – особенный...

– Не скажи, сват. Не во всем, я думаю, он тебе и перечит.

– Да это понятно, не походя... Одна беда – горячи мы с ним оба. Но родительской власти я пока над ним не теряю. Потому и радошно, сват, што и свататься-то за твое дите он без моего благословения не поехал.

– Вот то-то и дорого, сват... И бог их благословит. А за совет да любовь наших детушек не грех нам с тобой и еще по чарочке выпить,– заключил Петр Петрович мир-беседу со сватом. И старики, деликатно чокнувшись, выпили свои рюмки.

Пир был в разгаре.

Валом вывалив из душной горницы на просторный двор, гости снова ожили и повеселели. Снова гулко загрохотали грозовые октавы ханаевской гармони. И, как пожар, занялась и пошла гулять над пирующим немировским домом старинная русская песня:

У церкви стояли кареты –
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
Невеста всех краше цвела!

Совсем потеряли от приступа буйной веселости, от хмеля и бражных песен бедовые свои головы сватьи и сваты. Утратили дар речи безмолвно лобызавшиеся между собой сватовья. И теперь уже пирующему по колено во хмелю и в песнях рукобитью было не до молодых. У каждого из гостей были пригоршни собственных прелестей и полные горсти забав.

И только Федору с Дашей не очень весело было среди ликовавших вокруг гостей. И молодые, покинув в разгар гульбища это шумное, красочное, как карусель, торжество, незаметно убрели по берегу озера в глухую и жаркую от полдневного солнца степь. Там, на гребне закрытого ковылями увала, стоял шестикрылый ветряк. Высокий, слегка осевший набок бревенчатый его корпус молитвенно простертыми к знойному небу крыльями безмолвно маячил над млеющей в зыбком мареве степью и горько волновал своим видом каждого путника, привлекая к себе проходящих мимо людей. Всех привечала и всем давала приют эта древняя мельница: и пыльному путнику, и влюбленным, и малым ребятам, и дряхлым казакам, любившим уединиться в тени крылатого стража степной тишины в часы бренных и трезвых своих раздумий...

Сюда же пришли и Федор с Дашей.

Шли они, скрестив свои руки, медленно, молча. А вокруг было столько света, тепла и радости, и небо над их головами было такое чистое и синее, а на душе у них было так спокойно и хорошо, что не только разговаривать, но и думать-то даже ни о чем не хотелось. И шли они, ни о чем не думая, целиком отдав себя ощущению взаимной близости. Ни слова они не сказали друг другу и сидя на вросшем в ковыльную щетку жернове у подножия старой мельницы.

Удивительно хорошо было здесь в этот глухой час жаркого полдня. В неземном, безмятежном покое томилась окрестная степь. Неподвижным и плотным был воздух, пропитанный густым ароматом цветов и

трав. Голубым огнем пламенело над степью великое небо. И не тихо, а глухо было вокруг. Только где-то высоко-высоко плавал, то замирая, то вновь возникая, неясный и сонный звон насекомых. На тысячу ладов прославляли они своим дремотным жужжанием невыразимую прелесть и благодать милосердного лета. Ожесточенно работали в травах кузнечики. Тройка огненно-бархатных мотыльков трепетала над венчиком дикой ромашки. И в несложном однообразии их мелькающих крыльев, казалось, звучала все та же едва уловимая музыка животворящей радости жизни.

А там вдали, над сверкающими под жарким солнцем железными крышами хутора, продолжала по-прежнему бушевать приглушенная пространством и зноем песня:

На ней было белое платье,
Цветок был приколот из роз.
Она на святое распятье
Тоскливо взирала сквозь слез.

И Федор, невольно прислушиваясь к словам этой песни, ощутил в себе новый прилив такой любви и нежности к Даше, что, казалось, вот-вот выпорхнет наружу крылатое его сердце. Решительно все бесконечно близко и дорого было ему в эту минуту. И милая, присмиревшая рядом Даша. И старая мельница. И эта томящаяся в дыму полуденных марев навеки благословенная степь с ее седыми курганами, пыльными трактами и проходящими стороной веселыми смерчами. Все принимал, все любил теперь Федор в этом огромном сияющем мире той спокойной и чистой любовью, от которой так светло у него было сейчас на душе и так знойно в сумасшедшем от счастья сердце...

Молодые молчали. Они молчали, словно прислушиваясь к тишине, к дремотному шелесту согретых полуденным солнцем цветов и трав. И вдруг, оба

насторожившись, они услышали глухой и далекий, точно идущий из подземелья, стремительно нарастающий копытный стук. А через минуту, оглянувшись в сторону тракта, Федор и Даша увидели, как мчался к хутору недобрым галопом всадник с багровым флажком на пикообразном древке.

Не сказав ни слова один другому, Федор и Даша почти бегом бросились вслед за всадником к хутору. И спустя несколько минут, когда они, встревоженные, запыхавшиеся, пыльные, подбежали к немировскому дому, обоих их поразила тревожная тишина, повисшая над хутором. Толпа высыпавших из немировского дома гостей, замкнув в глухое кольцо верхового казака с алым флажком на пике, стояла вокруг неподвижно и молча.

– Што случилось?!– спросил почти вполголоса Федор, узнав во всаднике своего одногодка Митьку Неклюдова.

– Беда. Кыргызы бунтуют. Табун отгульных коней угнали. Казачьи сена в займище подожгли. В редуте Кабаньем поселкового атамана чуть не убили... От станичного приказ – сформировать сотню молодых казаков и быть начеку для усмирения кыргызов. Давай падай на вершную, Федя, и поскачем в станицу.

– А ну вас к черту. Обойдетесь и без меня,– отмахнулся Федор.

Вечером, когда после разъезда гостей опустел и притих весь немировский дом, притихла и Даша, оставшаяся одна в горнице. Наведя былой порядок в доме, она села у настежь распахнутых створок, где еще в полдень сидели они рядом с Федором, и прислушалась к далекой девичьей песне, доносившейся с другого конца хутора.

Приезжал казак на хутор –
Всадник бравый, молодой;
Я встречала его часто,
Как ходила за водой.

Попросил воды напиться,
Я дала ему воды.
Что-то бьется мое сердце –
Кабы не было беды!
Мать увидит – будет худо.
Что мне делать, молодой?
Лучше б я сидела дома,
Не ходила за водой!..

Полный, литой из чистого золота месяц стоял высоко над хутором. И Даша, заглядевшись на этот месяц, вдруг ощутила такую беспричинную боль и тревогу в сердце при мысли о Федоре, что у нее на мгновение потемнело в глазах. Боже мой, как далеко еще было до венца, до свадьбы – целая неделя! И Даша уже не знала, не понимала теперь, как это жила она до сих пор без Федора одна. Она совсем не задумывалась сию минуту, как будет жить без мужа, когда проводит его по осени в полк. Ей казалось, что до этого так же далеко, как до той неяркой звезды, что рано зажглась в зеленоватом от лунного света вечернем небе...

16

Атаман второго военного отдела линейного казачьего войска полковник Скуратов зиму и лето жил в своем небольшом имении. Усадьба Скуратова была расположена на границе казачьих земель с киргиз-кайсацкими степными владениями Средней орды. За какие-то особые заслуги при штурме Коканда полковник Скуратов был пожалован землей в двести пятьдесят десятин из земельных фондов кабинета его величества. Спустя два года после окончания русско-японской войны Скуратов, получив назначение на должность атамана отдела, выстроил на пожалованном ему участке дом и поселился там на постоянное жительство.

Усадьба Скуратовых стояла в стороне от большого скотопрогонного тракта. К северу от имения лежали

тучные земли линейного казачества, а к югу – простиралась бескрайняя, издревле обжитая кочевьями Средней орды, не тронутая ни косой, ни лемехом степь. Край богат был ветрами, озерами, солью, рыбой и птицей. Можно было вволю жить здесь и радоваться тому, кто умел дружить с владетельными степными князьями, с феодалами киргиз-кайсацких кочевий, кто умел не чураться ни заезжих в эту глухую сторону российских купцов, ни грабителей ярмарочных караванов. Покойно и тихо было в усадьбе Скуратовых под надежной защитой вековых деревьев в зимние и летние дни. Небольшой, в шесть комнат, но уютный белый каменный дом с мезонином стоял над самым обрывом высокого, живописного озерного берега. С трех сторон окружала этот одинокий скуратовский особняк заповедная роща. Огромные, в два обхвата, березы заслоняли усадьбу от страшных степных буранов и вьюг.

Уединившись в своей усадьбе, старый полковник умело совмещал высокую должность атамана отдела с бойкой торговлей лошадьми. Он вошел в какие-то, по слухам, не совсем чистые взаимоотношения с окрестными казахскими феодалами и не гнушался в своих торговых делах общением ни с известными степными конокрадами, ни с бродячими цыганами, ни с ярмарочными маклерами и жуликами. Благодаря этим связям полковник вскоре присвоил себе монопольное право на поставку строевых лошадей для молодых казаков, отправляющихся каждую осень в конном строю на действительную службу в Джаркент и Верный. Возглавляя войсковые смотровые комиссии, атаман без зазрения совести браковал коней, купленных казаками на стороне. И народу волей-неволей приходилось платить втридорога за коней, часто худших, чем те, которые были забракованы, но купленных в одном из многочисленных конских косяков, принадлежащих полковнику.

Отношения между линейными станицами и усадьбой Скуратова портились с каждым годом все больше и больше. Полковнику было отлично известно, что некоторые станичники не раз подавали прошения наказному атаману войска, жалуясь на беззаконные действия атамана отдела. И хотя все эти жалобы, как правило, оставались без последствий, тем не менее Скуратов мало-помалу стал остерегаться подчиненных ему казаков и со многими из них избегал лишней встречи. Вот почему последние годы атаман проводил почти безвыездно в своей усадьбе, а на окрестных ярмарках и в линейных станицах не рисковал теперь появляться, как прежде, один, без верного драбанта – старшего урядника Авдеича – и без шестизарядного кольта в кармане.

Дружбу поддерживал полковник Скуратов со станичным начальством. В его усадьбе нередкими гостями были станичный атаман Архип Муганцев, благочинный отец Виссарион, пристав Касторов и мировой судья Лиходзеев. В летнее время в усадьбу Скуратова съезжалась учащаяся молодежь – сын Скуратова Аркадий, бывший воспитанник омского кадетского корпуса, и дочь – гимназистка Наташа. Здесь же нередко гащивал в юные годы племянник Скуратова – есаул Алексей Алексеевич Стрепетов, рано осиротевший, взятый на воспитание дядей и с грехом пополам окончивший омский кадетский корпус на скудные казенные средства войска. Весной 1914 года есаул Стрепетов был назначен начальником эшелона молодых казаков, призываемых в этом году на действительную службу. Есаулу было поручено провести в конном строю полк молодых казаков от сибирских линейных станиц до города Верного. Путь предстоял казакам нелегкий. Маршрут проходил через голодные степи, через мертвые просторы Бетпак-Далы, через шафранные пески и горячие смерчи пустыни, через быстрые реки, темные леса и крутые

горы. Тертый, каленный на всех четырех ветрах требовался в таких походах молодым казакам вожак-командир. Знала станичная молодежь, по рассказам своих отцов и дедов, что не страшны ей будут в пути никакие невзгоды, если пойдет впереди эшелона такой командир, какой был воспет в старинных походных казачьих песнях.

Есаула Стрепетова знали на Горькой линии как отличного армейского офицера. И казаки, прослышав о его назначении начальником нового эшелона служивых, призванных в полк, даже прокричали на сходке трижды «ура» в честь есаула.

Между тем до похода было еще далеко – целых три месяца. И есаул, бегло ознакомившись в линейных станицах с личным составом своего полка, решил воспользоваться близостью скуратовской усадьбы и отдохнуть там перед походом.

Алексей Алексеевич недолюбливал дядюшку, а еще больше – тетушку, дородную, ленивую полковницу Милицу Васильевну Скуратову. Но тем не менее, уединившись в усадьбе Скуратовых, Стрепетов наслаждался степной тишиной и одинокими, бесцельными прогулками по приусадебной роще.

Алексею Алексеевичу приятно было думать, что вот угодно было судьбе свести его с похорошевшей восемнадцатилетней Наташей Скуратовой. Снова был он тут, где когда-то провели они вместе столько светлых, тихих дней юности. Было это давно... Очень давно. И теперь, когда есаул, бесцельно слоняясь по роще, пытался воскресить в памяти те далекие дни, то ему сделать этого не удавалось. Он не мог представить себя ни кадетом, ни вдохновенным сочинителем пылких сонетов, которыми заполнял он когда-то голубой альбом Наташи.

«Да и было ли это когда-нибудь?!»– спрашивал себя Алексей Алексеевич.

Все прошло. Но остался только по-прежнему нетленный пряный запах лесной травы, горький запах

березовой коры и листьев. Остался и этот нежно тревожный и смутный на исходе дня шум высоких древесных вершин. И не потому ли вновь привлекала его теперь к себе Наташа Скуратова, что была она самым реальным, самым чистым и ярким отражением его собственной юности? И не потому ли в часы своих одиноких блужданий в окрестностях этой степной усадьбы думал он, в сущности, только о ней и, сам того, быть может, не замечая, искал везде и всюду только ее?

За обедом, когда старый полковник особенно нудно и много говорил о своих лошадях, а полковница деловито и горячо поддакивала во всем мужу, Наташа сидела молча напротив Стрепетова. И Алексею Алексеевичу казалось, что Наташа совсем не слышит, о чем барабанит, с трудом пережевывая свое вегетарианское блюдо, болтливый ее отец. Но в то же время Наташа, держалась за столом легко, просто, непринужденно. И есаулу в такие минуты думалось, что девушка чутьем, свойственным женщине, угадывает его мысли. Не дай бог, если она догадается, что он в нее влюблен! Это, разумеется, рассмешит ее. Впрочем, ее уже смешит, кажется, совсем неприличная для армейского офицера робость Стрепетова. Смешит, наверное, и чудовищная непоследовательность есаула в суждениях о коневодстве во время застольной беседы с ее отцом. Да и не может не смешить девушку та странная, почти ребяческая неловкость, которую стал с некоторых пор испытывать в ее присутствии есаул.

Как правило, Наташа появлялась в столовой в белом ситцевом платьице, сияя свежестью, легкостью, чистотой. Яркое полуденное солнце жарко горело в короне золотистых ее волос, дробилось и вспыхивало в прозрачных мочках маленьких ее ушей. И, как всегда, она пахла степными горькими травами, солнцем. Она поднимала на есаула свои большие, насмешливые,

притворно холодноватые глаза, и он видел, как мелко трепетали темные ее ресницы, будто никогда не затихал в них полевой вольный и легкий ветер.

Всем, решительно всем смущала его эта девушка: и неяркой своей красотой, и острым умом, и молодостью, непосредственностью, и тем, что была она удивительно не похожа на своих родителей. Глядя на нее, было странно думать о том, что могла она вырасти здесь такой чужой и далекой от всего, что окружало ее в быту и нравах отцовского дома.

17

Месяц спустя после появления есаула Стрепетова в усадьбе Скуратовых сюда же прибыл сын Скуратова – сотник Аркадий Скуратов. Аркадий Скуратов был назначен помощником начальника эшелона молодых казаков, призванных на действительную службу, то есть оказался теперь в прямом подчинении у своего родственника, есаула Стрепетова.

На второй день Троицы старый Скуратов устроил в честь сына и племянника большой прием, на который съехались из соседних станиц все высокопоставленные знатные гости, в числе которых из станицы Пресновской были атаман Архип Муганцев, благочинный отец Виссарион, мировой судья Селиверст Лиходзеев и пристав Касторов.

За хлебосола старый полковник не слыл: мешала скупость, и гостей принимал он у себя редко. Но закусить и выпить в компании был не дурак. Однако, встретившись после долгой разлуки с единственным сыном и с племянником, старик вдруг раскошелился и поразил неслыханной расточительностью всех присутствующих. Стол ломился от различных закусок, шампанского и доброй дюжины бутылок редких коллекционных вин.

За столом становилось все шумней и оживленней. Разговор между мужчинами мало-помалу стал при-

обретать тот подчеркнуто серьезный и, несмотря на кажущуюся логичность, беспорядочный характер, который сопутствует первой стадии опьянения.

Побагровевший от подбородка до выбритой головы Аркадий вдруг начал умолять Наташу позволить ему рассказать вслух какой-то несколько вольный армейский анекдот.

– Ну позволь, сестрица. Честное слово, ничего особенного. Казарменный фольклор. Ребенок ты, что ли? Слава богу, невеста!– говорил Наташе Аркадий.

– Оставь, Аркадий. Не желаю слушать анекдотов, требующих женской цензуры. Слышишь, я рассержусь...– обрывала Наташа брата...

– Эх, сентиментальное воспитание! Вот что значит степное имение. Киргизы. Азия. Провинциальная гимназия...– брезгливо морщась, иронизировал с упрямством пьяного человека Аркадий.

– Ну хватит. Не надо. Брось, Аркадий!– пробовал остановить его Алексей Алексеевич.

– Нет. Извиняюсь. Я расскажу. Обязан рассказать. Да-с. Обязан...– упрямо твердил Аркадий, тупо глядя на сестру.

– Отлично. Рассказывай. Только я буду вынуждена в таком случае оставить вас, господа,– сказала Наташа. И она резко поднялась из-за стола.

Аркадий схватил ее за руку.

– Ну, не сердись же, Наташенька. Не надо. Не буду. Ей-богу, молчу. Молчу. Молчу, сестра,– выпалил скороговоркой Аркадий, прикрывая ладонью собственный рот.

– Не уходите...– тихо попросил Наташу Алексей Алексеевич.

Наташа подняла на Стрепетова свои холодные, странно потемневшие глаза и медленно, словно завороженная, вновь опустилась на стул.

Старый Скуратов, наполнив бокалы искрящимся коллекционным вином, предложил тост за армейских офицеров.

И неведомое вино соблазнило даже Наташу. Она охотно приняла из рук отца наполненный бокал из дымчатого хрусталя и впервые в жизни, поочередно чокнувшись со всеми гостями, пригубила его, пристально посмотрев при этом на Стрепетова. Вино Наташе на вкус не понравилось: густое, как сусло, вяжущее рот, терпкое. И едва пригубив вино, Наташа поспешно отставила бокал в сторону. Но она с удовольствием смотрела, как кипели в массивном хрустальном сосуде каскады золотисто-огненных искр, как играли, дробясь в нем, неправдоподобно яркие краски и отблески...

Иное дело – шампанское! Наташа пила его с передышками, небольшими глотками. Пила и чувствовала, как приятный озноб овладевал телом. Потом понемногу стали неметь, точно примороженные, кончики пальцев и страшно тяжелели, становясь совсем чужими, руки и ноги, а к пылающим вискам будто кто-то прикладывал холодные льдинки. Но, выпив незаметно для себя самой полбокала, Наташа вдруг ощутила, как вместе с ознобом разгорался внутри нее, буйно плясал, подступая к сердцу, веселый огонь. Уже ярко пылали щеки и точно сквозь марево смотрели на окружающих блестящие глаза.

Полковник в расстегнутом кителе, грузный, хмельной и потный, сидел на стуле верхом, как в седле, и, потрясая багровыми кулаками, горячо доказывал сыну:

– Как старый солдат, я утверждаю, что успех любого сражения решает только кавалерия. Да-с. Храбрый командир и эскадрон лихих кавалергардов – вот ключ к блестящим решениям любой операции. Все зависит от умелого маневрирования и стремительных кавалерийских маршей.

– Устарелое представление, папа,– покровительственно похлопывая отца по плечу, говорил Аркадий.

– Ну нет, извините. Я знаю. Знаю. Опять ваш брат начнет меня просвещать насчет этой самой вашей

техники и умелой организации тыла. Слышал. Старая песня. Да-с, милостивые государи... А вы читали блестящие мемуары Фердинанда Фожа? В чем усматривает он, скажем, причины поражения французской армии во время франко-прусской войны, которая закончилась миром, перекроившим карту Европы?.. В чем? Отвечаю, господа офицеры. В бездарном управлении войсками со стороны тогдашнего французского командования...

– Добавь, папа: и в отсутствии лишнего эскадрона кавалергардов...– ввернул в тон полковнику порядком захмелевший Аркадий.

– Правильно. Совершенно верно изволили заметить, господин сотник,– горячо подхватил старик.– Прошу не иронизировать. Да-с. Если хотите, то и в отсутствии лишнего кавалерийского эскадрона. Ибо известно, что очень часто этот самый лишний кавалерийский эскадрон может решить судьбу всей армии.

– Знаю, знаю, папа, почему ты так ратуешь за кавалерию,– сказал Аркадий, и тонкие губы его искривила улыбка. Он не любил своего отца за скупость, и теперь, захмелев, решил поиздеваться над стариком. Аркадий отлично понимал, о чем мечтал старый полковник, тревожась якобы за боеспособность русской армии, и потому посоветовал:

– А знаешь, папа, говорят, война нынче неизбежна. А при войне – все карты в твои руки. Почему бы тебе не снестись с военным министерством и не послать рапорт с рецептом на спасение России?

– А что же ты думал?! И снесусь. Я, господа, все девять казачьих полков на Горькой линии в кратчайший срок на стремена поставлю... Конечно, само собой разумеется, пусть мне спустят сначала из военного министерства сообразный с порученным делом кредит.

– Вот уж чего там другого, а кредита-то я тебе, папа, на месте военного министра не доверил бы,– сказал Аркадий.

– Вот как?! То есть... отчего бы это, сотник?– опешил старик.

– Очень просто. Боюсь – проворуешься, папа...

– Ого! Однако неважного же вы мнения насчет родительских способностей, сотник! Не ожидал. Не думал...

– Нет, отчего же неважного? Наоборот...

– Ошибаетесь, сударь. Ошибаетесь. Да-с. На сей счет в министерстве за меня могут быть абсолютно спокойны. Я шесть казачьих эшелонов на Горькой линии строевыми лошадьми снабдил. А в отчетах перед войсковой управой пока еще, бог миловал, не напутал.

– Ну еще бы! У тебя же всегда была тут, папа, чистая работа!– насмешливо воскликнул Аркадий.

– Так точно. Опыт, сотник. Опыт!

И когда разговор полковника с сыном начал обретать все более враждебный и взаимно издевательский характер, грозя под конец перейти в прямой скандал, на выручку пришла Милица Васильевна. С помощью драбанта Авдеича она выволокла на террасу граммофон и завела первую попавшуюся под руки пластинку. Из огромного оранжевого рупора грянули звуки печального и торжественного вальса:

Тихо вокруг. Ветер туман унес.
На сопках Маньчжурии воины спят
И русских не слышат слез.

Гости умолкли. Замолчали и оба Скуратовых – старый и молодой. Молчал, задумчиво покусывая мундштук, и Алексей Алексеевич Стрепетов. Притихла в кресле и Наташа. Утомленная, печальная и от этого еще более похорошевшая, она сидела, полусмежив веки, изредка поглядывая на Алексея Алексеевича. Непривычное возбуждение, охватившее ее в минуты первого опьянения, сменилось теперь усталостью, ощущением слабости и теплоты, приятно разливающейся по всему телу.

Пусть гаолян вам навевает сны!
Спите, защитники русской земли,
Отчизны родной сыны!..

Каждый из присутствующих по-своему воспринимал эти знакомые, горько волнующие слова и звуки печального вальса. В каждом воскресали свои воспоминания. Одному вспоминались пустынные сопки Маньчжурии. В глазах другого вставал знойный, ветреный день, пыльная степная дорога и далекий, стремительно уходящий в безлюдные просторы смерч. Старому Скуратову представился вдруг Петербург лета 1913 года, парад лейб-гвардии гусарского полка на Семеновском плацу, высокие чопорные кареты и белые кители императорской свиты.

И только у одной Наташи не вызвала эта музыка ничего, кроме странной тревоги и каких-то смутных, мучительно неясных желаний. Она не знала, что ей, собственно, хотелось. Может быть, надо было тотчас же вскочить с кресла и убежать от этих людей бог весть куда, а уединившись, дать простор беспричинным горячим девичьим слезам. А впрочем, может быть, было бы лучше подойти сейчас к Алексею Алексеевичу, посмотреть доверчиво, открыто и просто ему в глаза, а еще проще и лучше сказать приблизительно так: «Милый, милый Алексей Алексеевич! Разве вы не видите, разве вы не чувствуете, что я, кажется, люблю вас? Да. Я, кажется, люблю вас. Вы хороший и добрый. Вы совсем не похожи ни на моего отца, ни на моего брата. Вы – умница. У нас с вами, понимаете, совершенно одинаковые мысли. Какое это странное совпадение, не правда ли?.. Не смейтесь, я же ведь еще ничего не знаю. Я не знаю, можно ли мне любить вас. Я еще не понимаю, за что вас любить. Но я не хочу оставаться больше без вас в этой усадьбе. Я не хочу потому, что мне было всегда здесь плохо одной, без вас, и будет еще хуже теперь, когда вы снова уйдете со своим эшелоном. В тысячу

раз хуже. Не перебивайте меня. И не отговаривайте, если я убегу вслед за вами. Куда? Не все ли равно куда? Я убегу вслед за вашим эше-лоном. Я совсем неплохо держусь в седле. Однажды отец похвалил меня за посадку и подарил мне настоящее кабардинское седло. Если хотите, я пойду вместе с вами в строю. Нет, я сама не понимаю, зачем я все это вам говорю. Я ничего не понимаю, Алексей Алексеевич. И мне ничего не объяснить вам. Ничего».

Так готова была сказать и мысленно говорила уже в эту минуту Наташа Скуратова Алексею Стрепетову. Но, едва подняв на него глаза, она тотчас же устрашилась своей решимости. А минуту спустя, сославшись на головную боль, Наташа поспешно удалилась с террасы.

Между тем граммофон умолк. Перепивший Аркадий, откинувшись всем корпусом на спинку венского стула, задремал. И станичный атаман Муганцев решил воспользоваться этой минутой для делового разговора с атаманом отдела.

– Ваше высокоблагородие!– обратился к полковнику Муганцев, почтительно приподнявшись со стула.– Позвольте мне спросить вас о том, как вы изволите расценивать инцидент с убитым на днях киргизом?

– Какой инцидент? Какой киргиз?– точно очнувшись от забытья, спросил полковник, тупо глядя на багровое лицо станичного атамана.

– Позволю напомнить вашему высокоблагородию,– продолжал Муганцев,– что мною был подан на днях на ваше имя соответственный рапорт о происшествии на урочище Узун-Куль...

– Ах да, рапорт?.. Припоминаю... припоминаю... По-моему, господин атаман, не следует придавать значения этому обоюдному побоищу с киргизами.

– Убийство азиата, ваше высокоблагородие, может осложнить положение. По слухам, в аулах назревает волнение. Это тем более неприятно перед предстоящим визитом на Горькую линию наместника

Степного края, акмолинского генерал-губернатора Сухомлинова,– проговорил пониженным голосом станичный атаман, теперь уже вытянувшись перед полковником в струнку.

– Не знаю, станичный. Не думаю,– откликнулся полковник, зевая.

– Осмелюсь заверить вас, ваше высокоблагородие, что азиаты крайне возбуждены.

– Возбуждены?! А что казаки? Слава богу, мы не бедны с вами силой. А шашки, а плети – на што?! Командируйте, батенька, одну лихую сотню с плетями в аулы, и вот вам полный порядок. Совершенно не понимаю, чем вы так озабочены, господин станичный,– бодро крякнув, сказал полковник.

– А как же насчет убитого азиата, ваше высокоблагородие?– осведомился Муганцев.

– Што как? О чем разговор? Киргизы его, надо думать, предали земле. Стало быть, и вам волноваться нечего...

– Но они могут возбудить уголовное дело против станичников. Тем более что убийство-то произошло при не совсем благоприятных для наших станичников обстоятельствах...

– Бросьте, бросьте, господин станичный. И слушать не желаю. И думать об этих печенегах не хочу,– брезгливо отмахнувшись от станичного атамана, проговорил полковник. И он, поспешно наполнив бокалы какой-то огненной смесью, предложил Муганцеву тост за здоровье линейных казаков.

Они чокнулись. Но полковник, не успев пригубить своего бокала, ошарашенно вытаращил бесцветные маленькие глаза на появившегося в дверях крайне взволнованного драбанта.

– Ты што?!– с тревогой спросил его старый Скуратов, почувствовав неладное.

– Разрешите доложить, ваше высокоблагородие,– пробормотал запыхавшийся драбант.– Беда. Барым-

тачи напали на косяк ваших отгульных коней и угнали их в степь.

– Что? Что ты сказал?! Как – барымтачи?! Как – угнали! Ты в своем уме, старый дурак?– крикнул побледневший полковник.

– Так точно. Угнали косяк лошадей. И ишо хотели подпалить на нашей заимке скирд сена. Сейчас оттуда наш табунщик Касымка верхом прискакал. Лица на нем нету. Двух слов азиат с перепугу связать не может...– отрапортовал драбант.

– Где он?! Давай его сюда!– приказал полковник.

Через минуту в дверях террасы показался рослый немолодой казах в рваном бешмете, едва прикрывавшем его худое, бронзовое от векового, загара и грязи тело. Грубо толкнув казаха кулаком в спину, Авдеич встал позади него и свирепо шепнул ему:

– Докладывай по артикулу...

Но казах, выпрямившись, как в строю, неумело вытянув руки по швам, молчал, глядя своими черными глазами на полковника.

Очнувшийся в это мгновение Аркадий Скуратов, устремив дикий, хмельной взгляд на казаха, вдруг сказал:

– Ага. Вот кому с удовольствием я дам в морду!

– Что случилось на заимке? Что ты молчишь, дурак, отвечай!– прикрикнул на казаха полковник.

– Косяк лошадей угнали,– вымолвил наконец казах.

– Кто угнал?

– Не знаю. Барымтачи, полковник,– ответил казах.

– Ага. Барымтачи, говоришь. Твои тамыры? Твои сородичи? Правильно?– спросил притворно спокойным голосом Аркадий Скуратов. И он, стремительно поднявшись со стула, вдруг бросился на казаха и со всего размаха ударил его.

Глухо охнув, казах покачнулся, но устоял на ногах. Тогда Скуратов вновь размахнулся, норовя ударить его вторично. Но в это время вскочивший с кресла есаул

Стрепетов ловко перехватил на лету руку молодого Скуратова и властным жестом отстранил его от казаха.

Произошло минутное замешательство. Все притихли. Старый Скуратов судорожно передернул плечами. Он брезгливо отшвырнул наотмашь скомканную салфетку и застегнул китель на все пуговицы. Замерли, повскакав со стульев, и все гости. Оба офицера стояли теперь друг против друга в таких позах, точно они ждали чьей-то команды, чтобы броситься друг на друга. Спекшиеся, ребячески припухшие губы есаула Стрепетова были полуоткрыты и слегка искривлены гримасой не то страдания, не то негодования. Не спуская своих больших, чуть косивших от гневной решимости глаз с молодого Скуратова, Алексей Алексеевич негромко сказал:

– Вы это бросьте. Я не позволю этого!

Бледное, одутловатое лицо Аркадия Скуратова нервно перекосилось.

– Ах, вот как?! Надежный защитник, вижу, нашелся у степных номадов. Браво, браво, есаул!– сказал он с усмешкой.

– Я никогда не дам в обиду простых смертных людей, кем бы они там ни были – русские или киргизы,– с вызывающей твердостью проговорил Стрепетов.

– Подобная филантропия не делает чести армейскому офицеру.

– Стало быть, разные у нас с вами понятия об офицерской чести, сударь!

– Да-а... При таких разговорчиках я бы на месте высшего воинского начальства тебе, есаул, не только сотни, но и казачьего взвода не доверил.

– Зато мне мои казаки доверяют, и я горжусь этим,– с достоинством отпарировал Стрепетов.

– С нижними чинами заигрываешь?

– Не заигрываю – уважаю в рядовом казаке человека.

– Ясно. Отца-командира из себя корчишь!

– Я не балаганный актер. Не забывайтесь, сотник!

– Юпитер, ты сердишься?.. А между тем это ведь в твоей, кажется, сотне, коей ты командовал в Верном, пятеро казаков под полевой суд угодили?

– Так точно. Было такое. Но я и сейчас на своем стою. То были лучшие мои казаки. Вся их вина в том, что они научились думать...

– Горе будет Российской империи, есаул, если наше казачье войско научится думать!

– А я, впрочем, уверен, что дело к этому и идет, голубчик.

– То есть к чему? Договаривай.

– Я уже сказал, к чему...

Между тем полковник, быстро оценив обстановку, прикрикнул на драбанта:

– А ты что, старый дурак, глаза вылупил? Уведи этого подлеца отсюда вон. В завозню его. Под замок. А там – разберемся!..

И Авдеич, вытолкнув с террасы казаха, осторожно прикрыл за собою дверь.

Тогда, придя наконец в себя, старый Скуратов, деланно улыбаясь племяннику, проговорил:

– Ну, бросьте, бросьте, господа офицеры. Не хватало еще, чтобы вы у меня подрались здесь из-за этого печенега... Прошу, господа, к столу. Пир еще не закончен. И вообще все это пустяки. Никуда мои лошади от меня не уйдут. Угнали один табун, возвратят – два. Стоит ли из-за таких пустяков волноваться?– философски заключил старый полковник. И он широким и властным жестом пригласил растерянных гостей к столу.

Все присутствующие, покорно повинуясь жесту хозяина, снова заняли за столом свои места. Полковник налил трясущимися руками бокал вина, предложил тост за здоровье всех присутствующих и выпил свое вино с закрытыми глазами, как пьют отраву – жадными, порывистыми, злыми глотками.

Выпив вино, хозяин и гости сделали вид, что никто из них не заметил исчезновения есаула Стрепетова.

Но разговор за столом уже не клеился. Заведенный вновь граммофон охрип, и звуки бравурного марша, вырывавшиеся из оранжевой трубы, теперь уже никого не трогали и не волновали...

А глубокой ночью, когда порядком подвыпивший станичный атаман Архип Муганцев воротился на тройке саврасых в станицу, его встретил около правления школьный попечитель Корней Вашутин.

– Беда, восподин атаман!

– Што опять за новости?!– с тревогой спросил Муганцев, на мгновенье трезвея.

– Разбой, ваше благородие.

– Снова киргизы?

– Так точно. Сено жгут в степи. Одного их джигита, скрутили. В крепость доставили. Што прикажете делать с ним?

– Ага. Одного скрутили? Вот и отлично. Запереть подлеца в амбар. Да бить у меня с умом, чтобы никаких следов не оставить. Понятно?

– Так точно. Все ясно,– ответил атаману попечитель. И он, лихо козырнув Муганцеву, побежал выполнять наказ атамана.

18

Верстах в трех от станицы, на берегу большого горько-соленого озера, стояли, горбясь почерневшими крышами, корпуса салотопенного завода. Осенью 1913 года на станичном базаре скоропостижно скончался дряхлый хозяин завода – немец Альфред Гаутман. Скоро его доверенный, тучный и несловоохотливый Фриц Гарнер, бесследно скрылся со старшей дочерью покойного заводовладельца, уродливой, высокой и плоской Эльзой. А глухая вдова заводчика продала за баснословно дешевую цену полуразрушенное предприятие курганскому мещанину с двойной фамилией – Хлызов-Мальцев. Об этой

сделке в станице ходили самые разноречивые толки. Одни утверждали, что бежавшая с доверенным Эльза похитила тридцать тысяч отцовского капитала и на такую же приблизительно сумму ценных бумаг, а родного отца отравила эссенцией. Другие уверяли, что немцы занимались шпионажем, получили волчьи билеты, а полусумасшедшую старуху заставили подписать купчую под дулом револьвера. Новый владелец завода станицу не интересовал. Но скоро к нему привыкли, и станичники мало-помалу начали принимать на сходках Венедикта Павловича как станичного старожила. Новый хозяин полукустарного завода оказался более предприимчивым и деловым человеком, чем немец. Вскоре завод, не дававший больших прибылей, был перестроен Хлызовым-Мальцевым на большую вальцовую мельницу со слесарными мастерскими. Венедикт Павлович выписал откуда-то из Центральной России пятерых слесарей и механиков. Один из этих рабочих, резко отличавшийся от товарищей своей неуклюжей, медвежьей походкой, сразу же получил у станичников странное прозвище Салкын. В станице скоро узнали, что Салкын – мастер на все руки. И казаки валом валили к нему, испытывая большую нужду в ремонте сенокосилок, сеялок, самосбросов и другого сельскохозяйственного инвентаря.

Спустя некоторое время в станице прошел слух, что Салкын переоборудовал на мельнице топку, благодаря чему мощный мельничный двигатель будет теперь работать не на нефти, а на навозе.

В один из воскресных дней владелец мельницы Венедикт Павлович Хлызов-Мальцев, явившись на сходку в станицу, торжественно объявил:

– Господа станичники! Вы имеете полную возможность разбогатеть. Покупаю у вас навоз – по пятаку воз.

Казаки, удивленные и обрадованные легкой наживой, тут же, сбросившись по гривне, выпили на радостях ведро водки. Затем, окружив Венедикта Павловича, они долго качали его, кричали «ура» и лезли к нему спьяна целоваться.

Егор Павлович Бушуев, вернувшись с этой сходки домой подвыпившим, собрал всю свою семью и, прослезившись от умиления, объявил:

– Назьмом торговать, сынки, начинам. Вот до чего додумались умные люди. А все – Салкын. Голова! Золотые руки!

А на другой день, чуть свет, потянулись на мельницу из станицы вереницы телег и бричек, груженных навозом. Возили навоз и Бушуевы. Поправившийся от легкого ранения Яков работал с особым воодушевлением, за четверых, быстро нагружая навозом бричку за бричкой. С увлечением работал и Федор.

В сумерках, когда Федор привез на мельницу последнюю бричку навоза, к нему подошел Салкын и попросил подвезти его до станицы.

– С полнейшим удовольствием. Садись. В кой миг домчу,– весело сказал в ответ ему Федор.

И, усевшись рядком в бричку, они поехали в станицу. Федор и в самом деле хотел было припугнуть задремавших на ходу лошадей, но Салкын придержал его за руку и сказал:

– Не надо, станичник. Куда торопиться? Успеем доехать. Пусть лошади отдохнут. А мы с тобой перекурим да погутарим.

И Федор, придержав лошадей, ответил:

– Ну, а коли так, то потчуй меня папиросами...

– Пожалуйста, закуривай,– сказал Салкын, протягивая Федору тощую, как соломинка, папироску.

Закурили. Долго ехали молча. Вечер был тихий, светлый, месячный, располагающий к раздумью. Помолчав, Федор спросил наконец Салкына:

– Ты что же, сам дальний будешь?

– Как тебе сказать? Пожалуй, да. Дальний. Я из-под города Тулы,– ответил Салкын.

– Мастеровой, стало быть?

– Выходит, так...

– Добро мастеровому жить на свете...

– Это почему же?

– Ну как – почему? Не наше дело – в земле, как кротам, всю жись рыться.

– Не знаю, как кому. А казакам, по-моему, жить куда вольготнее.

– Тоже не всем и не каждому.

– Вот как?! Это почему же?

– Очень просто. Хорошо тому казаку, у которого скота полный двор и от хлеба амбары ломятся...

– Так, так...– задумчиво проговорил Салкын. – Стало быть, и средь вашего брата не все живут одинаково?

– Ну ишо бы все одинаково. Возьми меня. Я десять лет из работников не вылазил. Десять лет чертомелил на добрых людей. А теперь вот осенью в полк уходить и в долги залезать по уши...

– Как же так?

– А вот как. Коня строевого купить – двести рублей выкладывай. Оно можно было и подешевле лошадь найти, да атаман отдела Скуратов не дозволит. Не возьмешь коня в его табунах, все равно забракует. Ну, конь конем. А к коню-то ишо и седло, и шашка нужны, и вся протчая амуниция. А ведь это все в золотую копеечку въедет.

– Зато земли у вас много,– загадочно улыбаясь, сказал Салкын.

– А на кой мне эта земля? Мой надел родитель на пять лет в аренду отдал за гроши. Пока я служу в полку, из этой земли разночинцы все соки вытянут. Вернешься со службы, и сеять не на чем. Не на чем, да и не на ком. На одном строевике не много напашешь. Вот и выходит, што из полка да снова в работники...

– Да-а. Незавидная жизнь получается,– сказал со вздохом Салкын.

– Куда там – завидная! Слезы одни... А тут вот ишо с азиатами дружба наших станишников не берет.

– Это из-за чего же? Опять из-за земли, что ли?

– Какой из-за земли! Не в земле соль... Слыхал небось, как недавно ихнего джигита наши ухорезы уложили. А все, можно сказать, из-за твоего хозяина.

– Как же так – из-за моего? А мой хозяин при чем?

– А при том, что казачки ему киргизское урочище за три ведра казенки пропили.

– Не зевают, смотрю, господа станичники!– сказал с усмешкой Салкын.

– Правильно. Не зевают ермаковцы. Смелы они на разбой. А чуть что – прячутся за нашу спину.

– Это за чью же – вашу?

– А за нашего брата – за соколинца. За беднейшего казака.

Помолчав, Салкын многозначительно произнес:

– Да, дружок. Вижу я, парень ты с головой. Со своим умом. Со смыслом.

– Это ты к чему?– спросил, не уразумев последних речей Салкына, Федор.

– Да вот вижу, что ты всерьез думать о житье-бытье можешь. И это мне в тебе нравится.

– Ну, не знаю. Ничего особого я тебе как будто бы не сказал,– смущенно пробормотал Федор.

– Особого ничего. А интересного много...– все тем же многозначительным тоном произнес Салкын.

Они вновь замолчали, раскурив по новой папироске. За разговором путники не заметили, как въехали в станицу. И Салкын, на ходу выпрыгнув из брички, сказал Федору:

– А ты вот что, дружок, заглядывай как-нибудь ко мне вечерком на мельницу. Найдем, о чем погутарить.

– Благодарствую. Не обходи и наш дом – всегда гостем будешь,– откликнулся из темноты Федор.

Так, не сказав в этот вечер ничего как будто значительного друг другу, Федор с Салкыном расстались почти друзьями.

19

Проникновение первых русских людей в казахские степи относится к восьмидесятым годам шестнадцатого века. Это были боевые дружины ратников, коим доверено было, согласно царевой грамоте, окончательно «подвести непокорных кочевников под высокую царскую руку». Ермак, разгромив в прииртышской битве Кучума, не добил его. И некогда грозный татарский хан с остатками потрепанного своего войска, как свидетельствует об этом знаменитый сибирский летописец Михайло Ремезов, «утече тогда на калмыцкий рубеж Ишима, где и стал живяше сокрыто и омерзительно пакостите русским и ясачным людям зельне». Этим «калмыцким рубежом Ишима» и явились плодороднейшие степные просторы казачьих станиц, возникших позднее на Горькой линии.

В 1598 году боевые дружины русских казаков окончательно разгромили и покорили бывшее Кучумское царство. Сам Кучум, бежав в южную глубь ногайских степей, погиб. Но кровопролитные битвы за эту богатую рыбой, солью и зверем землю не затихали потом на протяжении почти двух столетий. Так, вскоре после бесславной гибели татарского хана русским воинам пришлось сражаться с ногайцами, у которых нашли себе приют сыновья грозного татарского властителя – Канай и Алей. Затем на завоеванные русскими дружинниками степные рубежи хлынули с юга несметные полчища диких джунгар. Они стали грабить ясачных татар и опустошать при набегах воеводские остроги русских людей, охранявших обширные, завоеванные ими владения. И только вспыхнувшие вскоре среди джунгарских орд междо-

усобицы помогли России удержаться в орбите покоренных владений. Когда же в долине Иртыша и Ишима был открыт принятый за слюду алебастр, сибирский генерал-губернатор князь Гагарин донес Петру I о необходимости воздвигнуть в завоеванном крае несколько военных укреплений. Царь незамедлительно откомандировал сюда для этой цели три тысячи конных и пеших войск под командованием бригадира Бухгольца, кои, прибыв на место, вскоре и заложили основание сначала Омской, затем Семипалатинской и Усть-Каменогорской крепостей.

В 1752 году генерал Киндерман построил на правом берегу Ишима крепость Петра и Павла – нынешний Петропавловск. В этом же году Киндерман воздвиг и целую цепь укреплений, земляных городищ, маяков и редутов, что пролегли близ горько-соленых озер от Жайыка до Иртыша. И линия этих военных укреплений была названа Горькой. К этому времени значительная часть кочевников Средней Орды уже признала над собой власть России, и русское правительство стало проявлять заботу об организации оседлого населения в воздвигнутых форпостах. С этой целью и было образовано в 1808 году линейное Сибирское казачье войско. Правительство наделило военных колонизаторов землей, жалованьем, фуражом и продовольствием. А спустя лет двенадцать казаки с Горькой линии захватили все окрестные степи от Петропавловска до Кокчетава, от Акмолинска до Каркаралов, завершив этим первый тур военной колонизации Россией бывшего Киргиз-кайсацкого края.

Первые военные колонизаторы края были и первыми его земледельцами. В 1753 году командир всех сибирских пограничных линий генерал Киндерман, желая удешевить продовольствие подчиненных войск, приказал ввести казенное хлебопашество. А через год после киндермановского приказа на Горькой линии

были уже организованы так называемые казенные пашни. Из шестисот линейных казаков, снабженных из казны земледельческими орудиями, каждый обязан был засевать ежегодно по три десятины ржи и по три десятины ярицы. Однако казенное или, как его называли позднее, «палочное» хлебопашество большой пользы не принесло. Вместо ожидаемого урожая в самодиннадцать – двенадцать, казаки получали только самтри. Затем дело пошло еще хуже. Почти ежегодно командиры линейных крепостей доносили Киндерману о том, что «во многих местах был великий недород за жарами и морозами, а в некоторых укреплениях и семена едва возвратились». Таким образом, казенный хлеб обходился, значительно дороже привозного. Этого хлеба не хватало не только для пропитания линейных войск, но и самих хлебопашцев. Только в 1770 году «палочное» хлебопашество на Горькой линии было отменено.

Спустя пятьдесят лет после отмены сенатом казенного хлебопашества прибывший в линейное укрепление генерал Капцевич ввел общественные войсковые пашни. От киндермановских казенных пашен общественные отличались тем, что казаки, засевая положенные по приказу сто двенадцать десятин ржи и овса, на эскадрон, стали пользоваться теперь известной нормой урожая.

Но время было на Горькой линии тревожное. Линейным земледельцам то и дело приходилось превращаться в воинов. Часто в полдень неожиданно грохотал над редутом выстрел ядерной пушки, и казаки, тотчас же побросав свои немудрые сошки в бороздах, в мгновение ока слетались под свои пробитые вражьими стрелами боевые знамена. И над крепостью гремела боевая походная песня:

Чу, не в нас ли палят?!
Не идет ли супостат?
Не в поход ли идти нас заставляют?!

Вдруг мелькнул белый флаг
У высоких палат
Удальца-молодца атамана.
Живо стройся в ряды –
Атаман едет сюды,–
Предстоит нам поход небывалый.

А спустя полчаса, сомкнувши свои боевые колонны, уходили казаки в конном строю от линейных редутов в глубинную степь на очередное усмирение немирных своих соседей.

...Лет семьдесят тому назад щеголеватый акмолинский почтмейстер Филарет Сухоруков заштемпелевал в присутствии губернаторского письмоводителя Аникея Сувалкина и отправил в далекий Петербург с фельдъегерем особо важное, строго секретное письмо за сургучной печатью губернаторской канцелярии. Это был увесистый казенный пакет, адресованный в личные руки императора. А месяц с лихвой спустя царь Александр III, вскрыв упомянутый пакет, нашел в нем всеподданнейший отчет на свое имя, подписанный великолепным, тонким, изящным росчерком степного генерал-губернатора Казнакова. Наместник Степного края писал царю:

«Положение степных областей требует особого внимания. Со времени принятия киргизами русского подданства успехи, сделанные оными в гражданственности, весьма ничтожны. Попытки же перехода инородцев к земледелию также не заслуживают внимания. Между тем доколе киргизы будут одиноко совершать в пустынных пространствах степей огромные орбиты своих кочевок, вдали от русского населения, они останутся верноподанными лишь по названию и будут числиться русскими только по переписям. Сопредельные же с ними по Горькой линии казаки по малочисленности своей не могут принести оному делу большой пользы, но сами поголовно обучились киргизскому наречию и переняли неко-

торые, впрочем безвредные, привычки кочевого народа».

Мысли эти были высказаны акмолинским генерал-губернатором царю Александру III в канун второго тура уже не военной, а крестьянской колонизации Киргиз-кайсацкого края. Отчет Казнаковым был послан в 1875 году, через пятнадцать лет после окончательного завершения военной колонизации. Россия к тому времени продвинула свои границы до Туркестана, и нужды в приумножении боевых сил линейного казачества здесь уже не ощущалось.

Тяжелые это были времена для казаков Горькой линии. Правда, правительство щедро наградило их землей – по тридцать десятин на служивую душу. А для того чтобы превратить былых воинов в примерных и мирных хлеборобов, оно шло на разные льготы для них и ссуды. К тому же под боком были даровые рабочие руки казахской бедноты, да и земля родила из года в год не-то что в старину – на славу. Но, невзирая на все эти явные блага, примерных земледельцев из линейных старожилов не выходило. Не помогали тут ни грозные губернаторские приказы, ни многословные проповеди гарнизонных попов. Казаки явно отлынивали от непривычной и тяжкой для них земледельческой работы. Издревле свыкшиеся с боевой, полной тревог и лишений, но зато вольной походной жизнью, они не в силах были изменить своему нутру и превратиться по высочайшему повелению из воинов в хлеборобов. Романтика былых сражений и навсегда ушедшая в прошлое полная увлекательных приключений пора – все это не давало покоя хмельным от вольности казачьим душам. Вот почему не сбылись, благие надежды правительства, и линейные воины не превратились, согласно приказам, в земледельцев.

Тогда генерал Казнаков и поднял перед императором, вопрос о втором туре гражданской

колонизации края, предложив Александру III открыть доступ в доселе запретные казахские степи для переселенцев из губерний Центральной России. Но, получив казнаковское донесение, Александр III не очень-то поспешил с ответом.

И только спустя четырнадцать лет, в июле 1889 года, Петербург откликнулся, наконец, на акмолинские предложения. В это время в России было обнародовано «высочайшее уведомление» о том, что отныне акмолинские степи объявляются открытыми для вольного крестьянского переселения. Был на исходе девятнадцатый век. Но Россия уже успела насчитать за это пока еще не полное столетие сорок голодных лет. Со страшной закономерностью каждые два-три года страна терпела неурожай, за которым следовал голод. Если в начале столетия в центральной полосе империи одновременно голодали по шесть и по восемь губерний, то в сороковых годах минувшего столетия их было уже восемнадцать, а в девяностых – шестьдесят.

Вот почему, прослышав о том, что Петербург открыл доселе замкнутые на двенадцать засовов ворота в далекую хлебородную степь, десятки тысяч изголодавшихся на родине, отчаявшихся мужиков тотчас снялись с родовых насиженных мест и тронулись в неведомые акмолинские степи. По тернистому, по каторжному пути шли в те годы переселенцы, колеся по градам и весям обширной Российской империи. История дореволюционного переселения российских мужиков в казахские степи – это целая поэма страшных, почти неправдоподобных бедствий, неисповедимого народного горя, вынести которое был способен только один русский мужик.

Особенно усиленный наплыв переселенцев в акмолинские степи начался с девяностых годов прошлого века и продолжался вплоть до первой мировой войны. Летом 1890 года на территории

Акмолинского края скопилось свыше семнадцати тысяч никуда не причисленных переселенцев. Тамбовские, курские, пензенские мужики наводнили все казачьи станицы. Они блуждали по Горькой линии в тщетных поисках пристанища. Уездные власти, не видя возможности как-нибудь устроить новоселов и опасаясь волнений и эпидемий, употребляли все силы, для того чтобы выдворить переселенцев за пределы степного генерал-губернаторства.

В грозную осень 1890 года только девятьсот пятнадцать семей из семнадцати тысяч переселенческих душ, мечтавших найти в казахских степях обетованную землю, были с грехом пополам определены на земельные участки. Поземельно-устроительные партии селили пришельцев где попало: то в безводной степи, то на непригодных для пашен солончаковых почвах. Переселенцы, не имевшие возможности «позолотить ручку» начальникам поземельно-устроительных партий, через год снова вынуждены были сниматься с отведенных для них участков и трогаться в поисках новых, более пригодных земель. Судьба же нигде не приписанных новоселов была еще ужаснее. Очутившись к зиме без крова, без куска хлеба, без расколотого гроша за душой, тысячи бесприютных семей кружились в окрестной степи, бродили по линейным казачьим станицам. Но казаки, видя в новоселах врагов, посягающих на священную линейную землю, и чувствуя в них опаснейших конкурентов в земледелии, не только не давали приюта обездоленным мужикам, но гнали их вон из станиц. Измотанные бесконечными скитаниями, отчаявшиеся и изголодавшиеся переселенцы вынуждены были искать защиты в пустынных степях, у затерянных в них редких зимовок кочевников. Однако казахи, сами вытесненные с прежних богатых угодий, не могли сочувственно относиться к русским новоселам. Аткаминеры, влиятельные степные князьки и баи натравливали

казахскую бедноту на блуждающих по степям бездомных русских крестьян.

Нет, негде было приклонить голову в этом просторном краю затравленным пензенским мужикам. На суровом чужестранном ветру, под проливными дождями ютились они в жалких своих шалашах и, простужаясь и голодая, равнодушно умирали здесь среди глухих дорог, цепляясь окостеневшими пальцами за жестокую, неласковую к ним землю.

20

По широкому пыльному скотопрогонному тракту тянулась бесконечная вереница прикрытых лохмотьями переселенческих повозок. Тощие, худые, как скелеты, лошаденки брели, едва-едва переступая ногами по жесткой, утрамбованной конскими копытами дороге, почти с человеческой тоской косясь на придорожные овсы и травы. Скрипели давно не мазанные колеса телег на деревянном ходу. Дымились загорающиеся еловые и сосновые оси. Тупо поникнув, брели за повозками оборванные, загорелые, пыльные мужики и бабы. Звучал над степью безысходный, глухой детский плач.

А встречные казаки, гарцующие на откормленных лошадях или важно восседающие в легких пролетках, не сворачивая с дороги, орали:

– Эй вы, Расея!

– Желторотые!

– Кацапы!

– Вороти в сторону. Ослеп, подлец, што казаки едут!

– Это тебе, дядя, не лапотная твоя Расея...

– Вот и именно. Не дома – в сибирском войске находитесь!

– Чего, варнак, зенки-то выпялил? Казаков не видал? Сворачивай в сторону, пока я из тебя твой чалдонский дух не вышиб!

– Вороти, вороти, сукин сын, с дороги, пока я по твоей спине плетью не съездил.

Дряхлый мужик в лаптях, с давно не чесанной, скатавшейся комом седой бородой, в пояс кланяясь встречным станичникам, тянул:

– Подайте, Христа ради, родимые. Девять ден во рту крохи не было. Смилуйтесь, господа хорошие...

– Бог подаст, дядя!

– Проезжай подальше в степь. Там, слышь, калачи пшеничные в ковылях растут.

– Пряники вяземские на березах вешаются.

– Там кисельные берега, молочные реки!..– кричали, издевательски похохатывая и размахивая руками, встречные господа станичники.

Спешившись с лошадей и пролеток, казаки окружали оробевшего новосела и, брезгливо хватая его за лохмотья, продолжали орать, как всегда, норовя перекричать друг друга:

– Эх вы, дармоеды, туды вашу мать!

– Путешественники– пупы набок!

– На даровые хлеба пришли...

– Казаки за эту степь своей кровью басурманам платили, а вы чем будете с нами расплачиваться – вшами да гашниками?

– Блинов, язви их, захотели!

– Мы накормим!

– Лихо станет!..

– Масло другим местом пойдет!...

– Чего на их смотреть, воспода станишники, всыпать им плетей – и в расчете!– кричал, свисая с седла, Пашка Сучок, воинственно размахивая плетью.

Вахмистр Максим Дробышев, схватив дряхлого мужика за грудки, закричал:

– Ты зачем, сукин сын, на Горькую линию прешь? Отвечай мне кратко. Зачем на чужую казачью землю хайло пялишь?

– Мы – не сами. Не по своей воле, господа казачки. Мы по выправленной бумаге суды пришли...– лепетал перепуганный насмерть мужик.

– Я тебе, желторотый чалдон, покажу бумагу. Я тебя проучу, как на чужое добро пасть разевать!– сатанея от злобы, кричал вахмистр Дробышев под одобрительные выкрики станичников.

А группа мужиков, встретившись на дороге со станичным атаманом Архипом Муганцевым, сорвав с голов драные, выцветшие картузы и шапки, упала перед ним на колени. Просительно вытянув вперед руки, новоселы все разом заговорили:

– Не дозвольте, вашескородие, души погубить...

– Ослобните нам мужика...

– Чего? Чего это они бормочут?– презрительно покосившись в сторону стоявших на коленях мужиков, спросил у фон-барона Пикушкина Архип Муганцев, точно и в самом деле не понимал русского языка новоселов.

– Не могу знать, восподин атаман. Видать, насчет какого-то своего желторотого буровят,– ответил ему фон-барон.

А мужики продолжали хором твердить:

– Смилуйтесь, вашескородие. Защитите. Не дайте в обиду...

– В чем дело? Говори кто-нибудь один толком,– сказал атаман.

– Докладывай вот ты, долговязый, все по порядку восподину станишному!– крикнул фон-барон, ткнув рукояткой плети в тощую, настежь распахнутую грудь моложавого на вид, но болезненного лицом новосела.

И мужик, не поднимаясь с колен, сказал, умоляюще глядя на гордого и недоступного станичного атамана:

– Казаки у нас старика плетьми отодрали.

– Ну и што ж тут такого? Отодрали, значит, за дело,– сказал атаман.

– Отодрали и в каталажку закрыли...– продолжал мужик.

– Ну и это, стало быть, заслужил,– спокойно отвечал атаман.

– Что вы, бог с вами, вашескородие! Старик совсем обоюдный. Безобидный старик. Он в дороге всю свою семейству потерял и последнего коня вчера лишился. Пала лошадь у старика. Куда деться? Вот и отправился он по станице попросить кусок хлебушка Христа ради. А казачкам не понравилось это. Ну и давай они его пороть...

– Знам мы, как вы ходите по нашим дворам и канючите Христа ради. Знам. Можешь не рассусоливать,– оборвал мужика Муганцев.

– Богом клянусь, вашескородие, старик ни в чем неповинен. Честный старик, ему чужого не надо,– клятвенно скрестив на груди руки, продолжал твердить новосел.

– Все вы честные, пока смотришь за вами в оба,– сказал атаман и, повернув своего коня, поскакал прочь.

В сумерках, возвращаясь на бричке с пашни, Егор Павлович Бушуев заметил вдали целый хоровод костров и сказал сидевшему позади него Якову:

– Смотри-ка, никак новоселы табор разбили.

– Видать, они...

– Давай подвернем. Не подыщем ли там работника по дешевке.

– И то дело, тятя. Подвернем, пожалуй.

И старик свернул с дороги к озеру, на берегу которого разбили табор переселенцы.

– Бог помощь!– сказал Егор Павлович, подъезжая к мужикам, сидевшим вокруг костра.

– Милости просим, господа казачки.

– Милости просим, ваше степенство,– прозвучало несколько голосов в ответ.

– Вижу, никак из Расеи?

– Оттудова.

– Дальние?

– А с разных концов. Всякие есть. Есть из-под Пензы, есть курские, есть из Рязани.

– Далеконько вы забрались...– проговорил, сочувственно вздохнув, Егор Павлович.

– Што говорить – на край света. Сами ничему не рады. Не успеешь разминуться с горем, а тут беда на пути. Вот так и крутимся по белому свету,– сказал один из новоселов, глядевший на пламя костра.

– Обманули нас. Вот какая притча,– пробасил здоровенный мужик, не совсем ласково посмотревший при этом на Егора Павловича.

– Как обманули, кто?– спросил Яков.

– А все те же самые господа начальники. Управа наша, растуды ее в пух и прах. Смутили народ, насулили, набрехали с три короба, а мы и сорвались сдуру, поплелись за тысячи верст за хорошей жизнью. Вот и приехали– хоть стой, хоть падай.

– Стало быть, много соблазну было?– спросил Егор.

– Соблазну – хоть отбавляй,– откликнулся все тот же здоровенный мужик. –И земля, говорили, в ваших краях, как масло, и травы, мол, по брюхо.

– Правильно говорили,– с живостью отозвался Егор Павлович.– Правильно. Земли в нашем краю невпроворот. Сплошной чернозем. Правильно. Не земля– масло. Пятьсот пудов одна десятина родит, ежели обработать ее руками да потом своим полить.

– Там чего другого, а поту-то у нас хватит,– прозвучал недобрый бас мужика.

И Егор Павлович, подозрительно покосившись на этого мужика, вдруг ощутил в себе приступ беспричинного озлобления к новоселу.

– А ты вот что, дядя,– сказал Егор Павлович.– Чем языком-то впустую молоть да бог знает на кого жаловаться, айда-ка лучше ко мне в работники.

Мужик не спеша повернувшись к Егору Павловичу, присмотрелся к нему и, помешкав, спросил:

– К тебе? В работники, говоришь?

– Ну да, в работники...

– А што у тебя за работа?

– Известно – што. Сенокос подходит. Страда не за горами. Словом дело найду.

– Да это мы понимаем. Без дела у тебя сидеть не будешь... А какая цена твоя будет?– спросил мужик, продолжая в упор смотреть на Егора Павловича

– Цена по работе. Обыкновенная цена. Харч мой. Одежда твоя. Проробишь до Покрова, три целкача накину. А может, ишо и опойковые сапоги пожертвую.

– Во как. Три целкача? Ну, порадовал ты, брат, меня казачок. Благодарствую,– ехидно усмехнувшись сказал мужик, презрительно повернувшись спиной к Егору Павловичу.

– Хе. А тебе што, мало?

– По моим рукам – да. Мало.

– Вот ты какой! Любопытствую, што у тебя за руки. Небось золотые?

– Золотые. Моим рукам цены нет,– вполне серьезно и веско сказал мужик.

– Это почему ж так?

– А потому, что этими руками я из такой жилы, как ты, в один бы момент дух выжал.

– Што? Што он сказал, чалдон?!– крикнул Егор Павлович, обращаясь при этом почему-то к присмиревшему за его спиной Якову. И, суетливо заработав вожжами, старик с таким остервенением хлестнул кнутом по своим лошадям, что перепуганные кони, рванувшись вперед, едва не сбили зазевавшегося на пути мужика и понеслись что есть мочи по степной целине в сторону станицы...

Выскочив на дорогу, Егор Павлович придержал лошадей и, оглянувшись на мерцавшие позади костры переселенческого табора, сказал не то Якову, не то самому себе:

– Ну, баста. Подальше надо держаться от таких работничков... Упаси бог...

И прикрикнув на лошадей, старик погнал в станицу. Теперь он уже не оглядывался назад и ни словом больше не обмолвился с сыном.

21

После приказа станичного атамана о приведении в боевую готовность казачьей сотни казаки свели своих строевых и полустроевых лошадей в общий табун и пустили их на выпас, неся поочередно наряды на пастбище. Дошла очередь дежурить по табуну и до Федора. И Федор, оседлав бойкого саврасого меринка, выехал во второй половине дня в степь.

Неторная, заросшая повиликой дорожка увела его от шумной станицы в глубь отгороженной цепью сторожевых курганов безмолвной и тихой степи. Сдерживая застоявшегося строптивого своего конька, ехал Федор не спеша, шажком. Поднявшись на гребень крутого увала, огляделся. Перед ним простиралось до самого горизонта безбрежное море ковылей, а вправо волновалось забуревшее поле ржи. Зыбкие опаловые волны катились по густым и рослым хлебам, бесследно, как в море, исчезая вдали. А на другом конце поля Федор заметил гарцевавший в хлебах конный косяк. Это были кобылицы, пущенные в отгул казаками станицы. Оставленные пастухами на попечение властного и жестокого диктатора – чистокровного производителя с ущербленным полумесяцем на вороном лбу,– кобылицы вольно и дико озоровли теперь во ржи.

Пришпорив коня, Федор ринулся на рысях к вольному табуну и долго потом не без удовольствия гонялся за кобылицами по степи, пока не сбил их в косяк. Кружась около табуна, Федор погнал его в глубь целинной степи, где паслись полковые кони.

Строго покрикивая на разбалованных, вздорных и легкомысленных кобылиц, Федор начал мало-помалу

входить в роль табунщика, подчиняя их своей воле. Это вскоре, кажется, начали понимать даже самые озорные и непокорные кобылицы, почувствовавшие по властным окрикам, и выразительным интонациям нового их табунщика, что с ними не шутят. А Федору и в самом деле было приятно гоняться за какой-нибудь капризной, одуревшей от воли маткой и ощущать свою нераздельную, деспотическую власть над табуном, похожим на вольную птичью стаю. Как закадычный друг его гармонист Трошка Ханаев был без ума от всех собак, так и Федор души не чаял в хорошей конской породе. Он любил этих полудиких, зачастую не знавших запряжки красавиц за обворожительную прелесть их молодого, сильного, прекрасного тела, за пленительную стройность их резвых, тонких, точеных ног, за блеск огненно-рыжей, золотисто-гнедой или карей масти. Нельзя было не залюбоваться и их черным, как вороново крыло, с белым чулком на задней ноге производителем. Этот необыкновенно сильный, упрямый, самонадеянный и обидчивый властелин табуна держал себя в окружении блестящих своих пленниц крайне независимо, нагло и вызывающе. Нервный, всегда настороженный и отзывчивый на малейший шорох и звук, он то и дело прислушивался к чему-то и прядал острыми, как мечи, ушами. Он вдвойне был хорош в минуты этой тревоги со своей великолепной, гордо поставленной головой и с похожими на горящие угли дьявольскими глазами.

Любуясь капризно пощипывающими на ходу траву лошадьми, Федор не заметил, как достиг берегов густо заросшего камышами озера, где паслись и строевые кони. Это было громадное займище – скопление больших и малых озер, покрытых дремучими, труднопроходимыми, а местами и совсем недоступными человеку зарослями гигантского тростника, чакана и черной осоки. Многочисленные, в беспорядке раскиданные по камышиным дебрям плесы и чистые

водоемы кишмя кишели рыбой, а тростниковые джунгли славились неслыханным изобилием гнездующей в этих местах птицы. По окраинам займища неслись на камышиных наносах тысячи нетребовательных к теплу и уюту гагар. А там, в глуби этих мрачно-зеленых джунглей, выводила своих серокрылых птенцов осторожная казара, хоронились в девственных камышах со своими несмышленными выводками чуткие гуси, и полоскались в зеркальных заводях лебеди.

Днем и ночью стоял над зеленым царством этих таинственных камышей тот сложный, торжественный и животворящий шум, какой могут поднимать в эту пору только одни прославляющие свое изобилие вольные птицы. Независимая и равнодушная к человеческим судьбам жизнь торжествовала в мире пернатых. И казалось, никакие социальные бури, мировые катастрофы и потрясения не вольны были властвовать над этой жизнью, столь же вечной, прекрасной и загадочной, как и весь окрестный мир...

Припекало солнце, поднявшееся в зенит. Покрикивали беспокойно кружившиеся над плесом чайки. Вкусно похрустывала прибрежная сочная травка на молодых зубах лошадей. И Федор, сидя в седле, щурясь от солнца, полудремал. Глядя прищуренными глазами на эту полную золотистого света, тепла и покоя окрестную степь, на зеленые джунгли займища, он продолжал сейчас думать о Даше. Сложное чувство глубокого душевного покоя и в то же время глухой, беспричинной грусти полонило его. Он ощущал физическую близость ее горячих, трепетных рук. Он слышал запах смутно золотящихся, плывущих из рук волос и видел перед собой ее большие, чуть-чуть трепещущие ресницы. Все его впечатления от близости с Дашей были теперь настолько свежи и остры, что он, оглушенный и сбитый с толку такой почти неправдоподобной полнотой счастья, теперь

даже тяготился им, что-то похожее на тоску тревожило и травило неспокойное его сердце...

«Зачем я женюсь на ней?»– впервые трезво подумал Федор. Он удивился, отчего такого вопроса не задал он себе раньше. Ведь через два месяца он должен будет расстаться с Дашей на целых пять лет полковой службы в далеком Верном. Что будет с Дашей? Как она будет жить без него одна среди чужой для нее семьи? Уживется ли она со сварливым, горячим на руку свекром? Как будут относиться к ней после его ухода в полк в его семье – мать, брат и сестра? И, размышляя об этом, Федор не находил на свои вопросы ответа. «Сдуру, сдуру, должно быть, погорячился я с нашей свадьбой!»– с горечью подумал Федор, ощутив при этом новый прилив беспредельной нежности к Даше. Но, вспомнив о первой их встрече в степи под дождем, о своих сумасбродных речах, о глазах девушки, полных тепла и света, Федор вновь просветлел и тотчас же позабыл о минутном горьком раздумье насчет дальнейшей своей судьбы.

Наконец, точно очнувшись от короткого забытья, Федор подтянул опущенные поводья и, привстав на стременах, огляделся вокруг в надежде заметить вблизи какие-либо признаки местонахождения табунщиков. Присмотревшись попристальнее к окрестности, он действительно увидел вдали шалаш, покрытый осокой. Подъехав к этому шалашу, Федор крикнул:

– Эй вы, орлы! Хватит дрыхнуть!

Но на его окрик никто не откликнулся. Федор хотел было спешиться и заглянуть в шалаш. Но в это время в шалаше раздался глухой старческий кашель. И через минуту, к великому своему удивлению, Федор увидел перед собой выглянувшего из шалаша деда Богдана.

– Здорово бывал, служивый,– сказал Богдан. И старик, с несвойственной его возрасту резвостью вынырнув из шалаша, выпрямился во весь рост перед Федором.

– Ах, это ты, Богдан?! Здравия желаю, здравия желаю...– смущенно забормотал Федор.– Я ведь думал, что здесь пастухи от солнца хоронятся. А тут, смотрю, на твой дворец напоролся.

– Милости прошу к нашему шалашу. Спешивайся. Чайком попотчую. Погутарим,– сказал Богдан и тотчас же начал хлопотать около погасшего костра, прилаживая к козлам закопченный чугунный чайник.

– Благодарствую, дед. Чайком, пожалуй, не худо побаловаться,– ответил Федор, спешившись.

Расседлав и оприколив коня, Федор прилег в теневой стороне шалаша и, полусмежив глаза, стал наблюдать за Богданом.

Высокий, гвардейского роста, кряжистый старик был в просторной холщовой рубахе, подпоясанной широким, украшенным медной оправой азиатским кушаком. Такие же просторные и тоже холщовые штаны на нем были заправлены в полосатые шерстяные чулки, а ноги обуты в кожаные, сработанные на степной манер башмаки. Сбоку на кушаке у него висел запрятанный в грубый сыромятный чехол большой, похожий на меч, кондратовский нож, какие носили только степные коновалы и ярмарочные торговцы съестным. На обнаженной голове старика покоилась корона похожих на мыльную пену уцелевших кудрей, а развернутая, как знамя, борода имела пепельно-серебристый оттенок. Лицо же все было покрыто будто налетом лебяжьего пуха,– так наглухо от бровей и до щек заросло оно чистой старческой сединой, украсившей в дни заката этого сильного на вид и прочно державшегося на родной земле человека.

Приглядываясь к Богдану и к окружающей обстановке, Федор не смог сдержать невольной улыбки при виде валявшегося вблизи шалаша старинного дробового ружья – «фузеи». Это было очень древнее по модели, непомерно огромное курковое ружье с чудовищно длинным и толстым стволом, покоив-

шимся на грубо обработанном из березового корня ложе. По размеру, по внешнему виду и весу это оружие было чуть ли не близко к мелкокалиберной пушке. И ни один из молодых казаков в станице не понимал, как можно было стрелять из такой оказии, если только за один заряд богдановская «фузея» пожирала около четверти фунта пороху и полные пригоршни крупной, как картечь, дроби. Молодые служивые казаки не раз подшучивали над Богданом, что пальба из такого дробовика немыслима, мол, без специально приставленного к нему расчета...

Так подшучивала над заветным стариковским оружием станичная молодежь. А вот он, обладатель этого удивительного ружья, приняв его в юности в дар от родителя, беспечно орудовал им всю долгую жизнь, успешно охотясь на птицу и зверя. Правда, охота эта даром ему не давалась. Почти что за каждый выстрел из прадедовской «фузеи», как правило, платился Богдан ушибами, контузией, увечьями и синяками. При каждом выстреле Богдана отбрасывала дьявольская сила отдачи на косую сажень от засады, и старик даже терял иногда сознание. Не один раз находили станичники его полумертвым вблизи охотничьих скрадков, раскинутых по берегам окрестных озер и займищ. А однажды – был и такой грех – сорвавшимся при выстреле курком деду снесло начисто правое ухо, а струей пороховых газов, ударившей через капсюльную щель, спалило половину роскошной дедовской бороды, которой по праву очень Богдан гордился.

Но, несмотря на опасность и риск, сопряженные с пальбой из этой ручной «пушки», невзирая на все пережитые физические страдания, контузии и даже увечья, расставаться с заветным дробовиком Богдан и не думал. Да и немыслимо было расстаться ему с таким ружьем, за один залп из которого он нередко собирал по озерным плесам до полусотни штук попавшей в зону его убийственного огня водоплавающей дичи! С

трудом отдышавшись и придя в память после выстрела, Богдан долго потом колесил по озеру, собирая бесчисленные трофеи. Какой только птицы не собирал он с одного такого удара! Тут были кряквы и черняди, кулики и чирушки, лысухи и красноглазки,– словом, все обильное разнообразие царства пернатых: от золотисто-сизого селезня до белолобой гагары. Богдан с неделю отлеживался потом в шалаше, давая должный отдых старым костям и в то же самое время готовясь к новому залпу.

В станице Богдана видели редко. С первых дней вешней оттепели и до поздних осенних заморозков пропадал он в открытой степи, скитаясь по окрестным займищам и озерам. Летом давали Богдану приют рыбачьи шалаши и любые кусты прибрежного ракитника. А зимовал он в собственной избе – тоже очень древнем деревянном сооружении.

Жил старик бобылем, не желая идти ни к одному из трех своих сыновей, обзаведшихся семьями и домами. Не имея в хозяйстве ни скотины, ни животины, Богдан промышлял заветным дробовиком. И нельзя было сказать, чтобы промыслом этим занимался старик из каких-то корыстных целей. Нет. Добычей своей Богдан никогда не торговал, бескорыстно раздавая подбитую птицу станичникам в дар налево и направо. Несмотря на преклонный возраст – ему подкатывало под семьдесят,– старик, продолжал дорожить своей свободой и независимостью.

Федор, любуясь суетившимся возле костра Богданом и его не по годам проворными движениями, с грустью думал: «Нет, нашему брату такой старости не видать. Не такие времена. Не такие мы люди!»

А спустя полчаса, балуясь горячим, густым, как смола, чайком, Федор и Богдан сидели у догорающего костра и мирно беседовали.

– Смотрю я на тебя, дед, и диву даюсь,– сказал Федор с чувством искреннего восхищения здоровьем и силой Богдана.

– Это как так?

– Ну как же? Доживаешь седьмой десяток, а двух молодых за пояс заткнешь.

– Ах, вот о чем речь!.. Ну нет, и мое время, служивый, чую, уходит.

– Дай бог нам так бы провековать, как ты векуешь.

– Вам нет. Вам, брат, до меня далеко. Не дотянете.

– Это пошто так?

– А по то, что жила не та...

– Не пойму.

– Вашему брату и понять трудно.

– А ты расскажи, Богдан. Научи, как жить.

– Наука простая...

– Видно, водкой смолоду не шибко баловался,– сказал Федор.

– Это кто, я-то водкой не баловался?– удивленно, почти с возмущением воскликнул Богдан.– Правильно. Я ей не баловался, а всурьез занимался. Я в твои годы по четверти зараз на спор без закуски выпивал. Это теперь мне больше бутылки в один присест не осилить. А было время – с четвертью делать нечего. Я на ярманке в Куяндах полторы четверти выпил. А потом полез сдуру бороться со знаменитым кыргызским богатырем Балуан-Шолаком. И што ты думаешь? Взял его в замок и брякнул на обе лопатки. Правда, каюсь, что это только спьяна. Трезвым бы я против него не полез... Словом, не в водке, выходит, дело.

– В чем же, дед?

– Не знаю. Не могу объяснить,– признался Богдан.

– А не скушно тебе торчать одному как перст в степи целое лето?

– Откуда ты взял, что я один?! Совсем не один. В степях миру много.

– Ну, какой же тут мир? Вот торчишь в своем шалаше целый божий день и ни слова, ни речей по неделе не слышишь.

– А птицы – это тебе не мир?! А звери – это тебе бездушные твари?! Нет, служивый. Ежели есть душа у тебя, то ты и среди травы сам стеблем будешь. Я так понимаю.

– Это, пожалуй, твоя правда, Богдан,– согласился Федор.

– То-то... А мне на людском миру иной час шшо потоскливей, чем в этом степу. Тут я – кум королю, брат – царевне. А в станицу другой раз придешь да послушаешь, что буровят на сходках воспода станишники,– жить становится неохота. А я жить люблю. Потому и помирать не собираюсь. Да разве мыслемо мне помереть и расстаться с такой красотой навеки?!– сказал Богдан, поведя вокруг рукой, обращая внимание Федора на окрестную степь.

– Красота-то тут, дед, не ахти. Говорят, есть места покрасивше наших,– возразил Федор.

– Ну нет. Такого раю ни в одном краю света нет. Тут-то со мной не спорь. Я тебя больше видел всяких мест. Слава богу, поколесил на своем веку по нашей империи, побродяжничал,– тоном, не терпящим возражения, почти сердито проговорил Богдан.

– Ну и што? Неужели в Семиречье хуже, чем на нашей Горькой линии? Да там, говорят, от одних фруктов земля стонет. Там – арбузы с конскую голову. Винограду – невпроворот. Ни зимы, ни буранов.

– Вот то-то и оно, что ни зимы, ни буранов. Не край – последнее дело, ежли снегу на святках не увидишь... А ты знаешь, што в твоих Семиреках ни травой, ни землей, ни деревом не пахнет? Вот уж где я бы помер давным-давно от тоски. Едва выстоял пять лет в полку. Чуть рук на себя по молодости сдуру не наложил. Чуть под полевой суд не попал – бежать собирался... Нет, ни в каких странах я тебе не жилец, ежли там нашей степью не пахнет. Ни рыбалки тебе в том краю, ни охоты. Вместо дичи – одни бульдуруки,– презрительно махнув рукой, сказал Богдан.

– Это што за бульдуруки?

– А так себе шибздики, вроде наших куличков – ни пуха, ни мяса. На што рыба, и та в их речках не водится. А как же жить тогда там мне, степному человеку?! Нет, благодарствую. Видывал я теплые эти края. Меня теперь туда твоим виноградом не заманишь,– почти с ожесточением проговорил Богдан.

– А вот я на крыльях бы в теплый край улетел,– закрыв глаза, мечтательно проговорил Федор.– Надоело мне все тут, Богдан. Глаза бы мои на наших станичников не смотрели.

– А ты не смотри,– благоразумно посоветовал Богдан.

– Никуда, дед, не денешься. Приходится...

– Это чем же тебе станишники насолили?

– Многим,– уклончиво ответил Федор.

Помолчав, Богдан задумчиво проговорил:

– Неспокойная у тебя душа, вижу, служивый. Неспокойная. А вот это и хорошо. Мне такие люди по сердцу. Сам смолоду был таким. Понимаю... Ничего, придет и твое время. Сходишь ты вот в один поход, потрубишь пять лет в полку на чужбине и сам кое-чего без меня уразумеешь. Так-то, служивый,– заключил Богдан, не расположенный к продолжению разговора.

Не расположен был к этому разговору и Федор.

– Ну, бывай здоров, дед. Спасибо за хлеб, за соль, за беседу. А мне пора к табуну,– сказал Федор.

– Пора и мне фузею свою заряжать да скрадок оборудовать. Облюбовал я себе хороший плес. Чернедей – тучи. Решился сегодня выстрелить,– сказал Богдан, любовно разглядывая взятую в руки «пушку».

Распрощавшись с Богданом, Федор долго кружился верхом на своем коне вокруг мирно пасущегося в прибрежной осоке конского косяка и, временами удаляясь от него далеко в сторону, ездил шажком по окрестной степи, любуясь дремучими джунглями займища.

А в сумерках, спешившись возле плеса для того чтобы напоить коня, Федор столкнулся лицом к лицу с точно вывернувшимся из-под земли Салкыном. За плечами Салкына покачивалась двустволка, сбоку – ягдташ, битком набитый птицей.

– О, Салкын?! Здоров бывал!

– Здорово, станичник.

– Ты што, домой?

– Нет. Не думаю. Хочу дождаться утра. Хороший перелет открыл. На заре еще бы пострелять надо.

– Правильно. Переночуем вместе. Котелок у пастухов найдется. Дичатиной меня угостишь. Пошли,– предложил Федор, дружески касаясь рукой локтя Салкына.

– С премногим удовольствием. Пошли. Я не только тебя дичатиной угощу, а еще кое-чем покрепче,– весело сказал Салкын.

– Брось баловать?!– удивленно воскликнул Федор.

– Всерьез говорю. Я без шкалика охотиться не хожу. Это, брат, не охота – без рюмки водки...

– Ишо бы!

А часа через два, распив у костра салкыновский шкалик и закусив вареной дичатиной, Федор с Салкыном лежали бок о бок около шалаша и, не спуская затуманившихся глаз со звездного неба, продолжали разговор, начатый еще за ужином.

– Чудак ты, Федор. Определенно чудак. Вот что я тебе скажу по-приятельски,– сказал Салкын.

– Это почему же – чудак?– спросил Федор.

– А потому, что норов, я вижу, в тебе не казачий.

– Здравствуйте, я вас не узнал. Договорились,– обиделся Федор.

– Факт – не казачий,– повторил Салкын.

– Ну, это ты брось,– проговорил с глухим раздражением Федор.– У меня дед, слава богу, полным георгиевским кавалером был. При полном банту.

Понял? Ему на полковом смотру все есаулы козыряли. И отец до старшего урядника дослужился...

– Согласен. Дед – кавалер. Отец – урядник. А тебе это, видно, не написано на роду. Не обижайся. Я тебе по-дружески сообщаю – не написано.

– Брось каркать. Мы – потомственные казаки.

– Не в этом честь, Федор...

– Вот как? Здорово ты толкуешь.

– Да, да. Не в этом, Федор.

– Больно грамотен ты, я посмотрю. Много шибко знаешь.

– Чего знаю, того не таю. И обижаться тебе на меня не за что,– сказал Салкын тепло и проникновенно.– Эх, Федор, Федор. Противоречивая, посмотрю я, твоя душа...Мечтаешь вот ты о Семиречье, о какой-то райской стране. А ведь дело-то в конце концов не в стране – в людях. И потом ты гордишься своим казачьим сословием... А зря гордишься. Казаки думают, что только они настоящие люди, а все остальные – трын-трава. Одного ты понять не хочешь, что губит ваше сословие страсть до генеральских подачек и всяких сомнительных милостей государя. Вас, как маленьких ребят, всякими побрякушками да лоскутками тешат, а вы готовы и лоб за эти побрякушки и лоскутки разбить. Да и сам ты мне говорил, что не все казаки одинаковы. У одних от хлеба амбары ломятся, а другие с рождества до нового урожая зубами чакают. У одних скота полный двор, у других – хоть шаром покати. Правильно?

– Ну, правильно. Против этого я не спорую.

– А посмотри, как стесняет ваше казачество тех же киргизов.

– А чего на орду нам глядеть?! Земля-то ведь наша!– с неожиданным ожесточением вступился за станичников Федор.

– Откуда же она ваша?

– Оттуда. Вам, расейским, этого не понять. Мы тут землю собственной кровью у басурманов покупали.

– Вы?

– Мы... Деды и прадеды наши.

– Знаю, знаю и это. Вольные ратные люди с Дона и с Жайыка поселились когда-то на вашей Горькой линии. Хорошо. Правильно. Но почему же они считают себя хозяевами всей степи? А куда деться теперь российским переселенцам и тем же кочевникам, скажем? Вам что, тесно здесь? Земли не хватает?

– Если так матушка-Расея к нам валом попрет, таки не хватит.

– Мало тебе твоих тридцати десятин?

– Мне што. Не обо мне речь...

– А о ком же? О фон-бароне Пикушкине? О станичном атамане Муганцеве? Вот этим-то, может, и мало земли. А таким, как ты, ее за глаза хватит.

Федор молчал.

– Ты подумай о переселенцах, Федор,– продолжал после некоторой паузы Салкын.– Ведь народ за тысячи верст тащился сюда не от сладкой жизни на родине. А как его встретили здесь казаки? Видел, что делается в станицах? Хорошо это, по-твоему?

– Этого я не хвалю,– глухо проговорил Федор.

– Я думаю, что не хвалишь. Сам ты все это видишь. Сам понимаешь не хуже меня. Это ведь ты только из упрямства не хочешь сейчас со мной согласиться. А вообще парень ты – хоть куда. Одна беда – с грамотой у тебя не ахти. Но это дело наживное. Захочешь – подучишься.

– Поздновато,– мрачно, но уже примирительно сказал Федор.

– И это бубнишь из упрямства. Отчего же поздно? Я пятнадцати лет начал по букварю читать.

– Это пошто же так?– заинтересованно спросил Федор.

– По очень простой причине. Капиталу у отца не хватило в школу меня отдать. А вот когда я сам поступил на Тульский оружейный завод да стал

зарабатывать себе на кусок хлеба, тогда и о грамоте пришлось подумать. И ничего. Не стыдился. Днем по двенадцать часов трубил на заводе. А ночью садился за букварь. И вот, как видишь, осилил не только один букварь... Я читаю теперь книжечки и потруднее. А если хочешь, то и тебе могу некоторые из этих книжечек показать. Хочешь?

– Не знаю... Почитал бы и я, ежели интересно. Читать-то я тоже могу. Зимой, бывало, целые ночи напролет старикам про Шерлок Холмса читал,– не без тщеславия заметил Федор.

– Ну, Шерлок Холмс – это чепуха,– сказал Салкын, улыбнувшись.

– А у тебя што, есть еще интереснее книжки?

– Кабы не было, не заводил бы с тобой речи об этом. Вот заходи ко мне как-нибудь на мельницу вечерком, мы с тобой почитаем. Я тебе кое-то расскажу. Не всем эти книжки читать можно...

– Во как?! Интересно!

– Да. Очень даже не всем...

– А мне, стало быть, можно?

– Тебе – да. Тебе можно. Хоть ты и упрямый казак, а тебе я доверюсь. И промаху тут, сдается, не сделаю...

– Ну, насчет этого будь спокоен. Я – могила. Ежли дело тут потайное – умру, ни слова никто от меня не узнает.

– Есть, приятель. Договорились,– сказал Салкын, и, нащупав в потемках руку рядом лежащего Федора, он крепко, по-дружески пожал ее.

А на рассвете, когда, очнувшись после недолгого забытья, Салкын вскочил на ноги и, боясь прозевать утренний перелет, стал торопливо собираться в дорогу, проснувшийся Федор сказал ему на прощанье:

– Ну ладно. Ни пуха тебе, ни пера... А насчет нашего уговора не забывай. Я к тебе вечерком как-нибудь на огонек заверну.

– Жду. Жду, товарищ,– ответил Салкын, как всегда тепло улыбнувшись при этом.

22

В связи с бродившими на Горькой линии слухами о предстоящем визите наместника Степного края, наказного атамана линейных войск генерал-губернатора Сухомлинова, в станицах началась лихорадочная подготовка к возможному инспекторскому смотру сформированного перед походом эшелона молодых казаков, призванных на действительную службу.

В канун Петрова дня открылась в степной стороне традиционная на Горькой линии конская ярмарка. Ежегодно в эти издревле облюбованные кочевыми народами места сгонялись из глуби окрестных степей тысячные конские косяки. И великая равнина глухо звенела от их некованых копыт. И от трубных звуков тревожного ржания полудиких, зачастую не знавших узды степных лошадей стонала земля, хоронились в камышовых джунглях окрестных займищ присмиревшие звери. На десятки долгих, как песни кочевников, чертом меренных верст простиралось это необозримое торжище. Пыль, поднятая на скотопрогонных дорогах и трактах, вставала косой стеной и, клубясь под конскими копытами, плыла, поднимаясь кругами в заоблачные высоты. Словно в сорок тысяч бубнов били окрест – такой гул, не умолкая с утра до заката, висел над степью. И земля, содрогаясь от этих ритмических ударов, будто плыла из-под ног, как плывет она у захмелевших всадников, возвращающихся под вечер домой с веселой ярмарочной карусели.

Кого только ни привлекало в пустынную степь это шумное и красочное торжище! Здесь ходили толпы крикливых и возбужденных, как дети, казахов. Метались, как угорелые, от коня к коню, от косяка к косяку, азартно пощелкивая кнутами, пыльные и шумные цыгане. По-лисьи шустро и хитро шныряли в толпе тертые ярмарочные барышники и конокрады.

И только одни линейные казаки прогуливались здесь не спеша, степенно и важно, как на параде. Держась на особи от прочего ярмарочного люда, они бродили группами, равными примерно взводу, и, как правило, всегда блюли строгий строевой порядок – впереди шли, лихо поблескивая сединой, старики. За стариками – подтянутые, готовые к далеким походам, надменно улыбающиеся встречным девчонкам молодые служаки.

Вели здесь себя линейные старожилы, как наказные атаманы на армейском смотре. Без непристойной и подозрительной суетни, без присущей всему ярмарочному миру горячности,– деловито, строго и почти торжественно осматривали они приглянувшихся лошадей. А приценившись, казаки отходили прочь, притворно равнодушные к окрикам барышников, прасолов и цыган. Торопиться станичникам было некуда, да и не к лицу. Ведь речь шла о выборе боевого друга молодому казаку.

А строевого коня купить – не девку высватать. Уж кто-кто, а господа станичники, вдоволь показаковавшие на своем веку, знали толк в конской науке и в лошадином характере разбирались не хуже цыган, барышников и конокрадов. По одному только беглому взгляду на круп, на щетки, на постав конской шеи и головы мог безошибочно определить старый казак: годен ли такой конь для великих испытаний походной и боевой жизни, способен ли он пронести сквозь огонь и воду всадника и сможет ли сказать про него потом казак так, как говорится об этом в песне:

Мой конь болезни не боится,
Всегда здоров и громко ржет.
Ему на месте не стоится –
Копытом грозно землю бьет!

Вот такого коня, бродя в этот день с одностаничниками по ярмарке, и искал для Федора Егор

Павлович Бушуев. Старики, сопровождавшие Егора Павловича, шли – как полагается – сомкнутым строем, и за ними следовали их сыновья, в числе которых был и Федор Бушуев. В отличие от цыган и конокрадов, станичники вооружены были крученными армейскими плетями, а молодые казаки – шашками. Этого требовали неписаные ярмарочные порядки. Мало ли что может случиться в минуту решающего торга за строевую лошадь: то цыган сдуру цену начнет набивать, то какой-нибудь барышник со своей клячей привяжется – не отстанет.

А в таких случаях верная плетка с обнаженным клинком в секунду любое дело решить могут. Тут уже зевать не приходится – дело ярмарочное.

Теплый и ветреный день был близок к закату. Уже не так резво и лихо плясали под цыганами с утра хватившие по шкалику водки, но протрезвевшие к вечеру их хваленые рысаки и вышколенные иноходцы. Теперь уж трудно было заставить такую лошадь крутиться под всадником на одном копыте, взвиваться свечой в кольце прослезившихся от азартного рева ярмарочных зевак или стлаться в безумном карьере над вбитыми в пыль ковылями. Ни черта уже не получалось под вечер ни у опохмелившихся всадников, ни у отрезвевших лошадей.

Вот в такой час и встретил Федор Бушуев знакомого ему цыгана Яшку Черного. Яшка тащился, заметно поблекший и поникший, навстречу казакам, с трудом волоча за собой на поводу еще недавно отбивавшую под ним трепака саврасую клячу.

– Эй, цыган! Ты пошто рановато нынче пары спустил? Али весь завод у твоей кобылы вышел?!– насмешливо крикнул Федор Бушуев Яшке.

– Так точно, господин казак. Весь завод кончился. Погорел я на шкалике водки сегодня,– признался цыган без обиды.

– Худо твое дело, Яшка.

– Худо, худо Федор. А почему худо – знаешь?

– Никак нет, Яша.

И цыган, приблизившись к Федору, горячо зашептал ему в самое ухо:

– Водку теперь подлецы хохлы в харчевнях водой разбавляют. Понял? Если бы ей, христовой лошадушке, выпоил я шкалик первого сорту, так ведь она бы подо мной целые сутки, как карусель, на одном копыте ходила. Не конь тогда – пламя под тобой, и сам ты такой – в момент сгореть можешь. Ты понимаешь, Федор, што значит водка с водой! Просто невозможно стало торговать из-за этих сволочей честному человеку!

– Подлецы, подлецы хохлы. Согласен с тобой, цыган,– сказал Федор, дружески хлопнув по плечу Яшку.

– Ну, куда же еще подлей. Сплошное нахальство,– с искренним возмущением сказал цыган.

Позубоскалив на ходу с Яшкой, Федор нагнал своих стариков и однослуживцев и, пристроившись к ним, снова тронулся с ними, приглядываясь на ходу к лошадям и крутившимся вокруг них барышникам.

Длительное скитание по ярмарке утомило Федора. И может быть, от усталости, а может быть, и от кружки залпом выпитой при магарыче водки,– бог ведает отчего, но овладело Федором тупое равнодушие ко всему на свете: и к великолепной вороной полукровке, на которой все время гарцевал у него перед глазами молодой сотник Скуратов; и ко всей этой беспорядочной ярмарочной суете, которую любил он до самозабвения в детстве.

И странное дело, даже к коню, которого разыскивали они с родителями целый божий день с таким рвением,– и к нему охладел Федор. Только об одном не мог он думать и сейчас без душевного волнения, без светлой волны нежности – о Даше.

Федор шел вслед за стариками в строю своих сверстников, все время поглядывая почему-то на то и

дело попадавшегося ему на глаза молодого сотника Аркадия Скуратова. Поглядывая на сотника, Федор вспоминал, как Скуратов ощупывал на смотру переметные сумы, как он проверял привычным и ловким движением холеных рук прочность подпруг и чумбуров. И, представив Федор вдруг ощутил наплыв глухой нарастающей в нем злобы против Скуратова, он чувствовал такую к нему неприязнь, словно были они исконными врагами. Но какая же могла возникнуть вражда между ним, нижним чином, и офицером, если офицер этот не только не оскорбил его, Федора, а даже похвалил перед строем? Так, к примеру, произошло на предыдущем полковом смотру, когда сотник Скуратов в присутствии начальника эшелона Стрепетова расхвалил Федора за превосходное армейское снаряжение и, больше того, даже поставил его в пример перед более зажиточными и состоятельными казаками Ермаковского края. Это обстоятельство так растрогало Егора Павловича Бушуева, что он, прослезившись, поклялся перед одностаничниками приобрести для Федора такого строевого коня, которому могли бы позавидовать даже господа офицеры.

Греха таить нечего, по сердцу пришлись офицерские речи и самому Федору. А теперь, может быть, просыпалась в сердце у Федора обида за своих оскорбленных Скуратовым одногодков, у которых было забраковано чуть ли не все снаряжение на первом смотру. Может быть, раздражала нижнего чина эта несколько по-барски певучая и манерная офицерская речь. А впрочем, Федору ли было размышлять в такую пору о том, что именно раздражала его в Скуратове? Не до этого было молодому казаку в дни, предшествующие походу, в дни недалекой разлуки с Дашей. И вообще, такое творилось у него на душе, в чем немыслимо было разобраться.

«Только бы скорее все это, к чертовой матери, кончилось!»– тоскливо думал Федор при мысли о

предстоящем инспекторском смотре в присутствии наказного атамана линейного войска генерал-губернатора Сухомлинова. Непривычное, томительное безделье за все эти суматошные дни после приказа станичного атамана о переводе сотни на боевое положение угнетало Федора. А прощальные пиршества и бесшабашные гульбища с молодыми однослуживцами тоже утратили для него прелесть, после того как судьба столкнула его с Дашей. И только горячие слезы украдкой плакавшей по ночам перед разлукой с сыном старой матери, только они причиняли такую боль, что он готов был покинуть родительский кров как можно скорее. Скорей бы настал день похода! Молодые казаки истомились в ожидании неизбежной разлуки с тем, что стало для каждого из них вдруг близким, неповторимым и дорогим, чего не замечали они в пору уже уходящей в прошлое своей юности...

23

Во второй половине дня большинство одностаничников, с которыми бродили Егор Павлович и Федор Бушуевы, лошадей для своих сынов уже приобрели. Купленные строевые кони были сданы на попечение специально приставленным к ним коневодам, а казаки, распив оговоренный магарыч, следовали всем скопом дальше на поиски новых строевиков.

Старики были уже навеселе и рядились теперь за облюбованного коня развязнее и рискованнее, чем утром, хотя присущего им разума, выдержки и природной осанки перед барышниками не теряли. Между тем довольные купленными строевиками старики, захмелев, так азартно расхваливали каждый своего, словно норовили перепродать их один другому.

И только Егор Павлович с Федором безучастны были к хвастливым спорам и возбуждению станич-

ников. Омраченный безрезультатными розысками заранее облюбованной в байских табунах аткаминера Кенжигараева строевой лошади, старый Бушуев совсем загоревал к вечеру и упал духом. Исколесив за день не один десяток верст, он так и не находил ни приглянувшейся ему лошади, ни именитого в степной стороне ее владельца. И крайне огорченный своей неудачей, старик, грешным делом, подумывал, что коня этого, видимо, перехватили у аткаминера подкарауливше его на дороге пронырливые барышники или, что еще хуже, маклеры старого Скуратова. И Егор Павлович совсем уже решил было, горестно махнув рукой, вернуться не солоно хлебавши в станицу. Но тут, где-то совсем рядом, в толпе казахов, новоселов и разночинцев прозвучал чей-то по-бабьи певучий изумленный голос:

– Ох, мать твою так! Вот это я понимаю – конь. Вот это – картина!

Насторожившись, Егор Павлович тотчас же увидел по правую руку от себя окруженного народом темного ликом знакомого всадника. Старик сразу же признал в нем аткаминера Кенжигараева и подал одностаничникам команду:

– За мной, воспода станишники! Окружай со всех сторон вершного восподина кыргыза! Не давай рта разинуть барышникам...

И станичники, встрепенувшись от командного окрика старика, ринулись за ним, как в атаку. На всякий случай трое из захмелевших молодых служак обнажили клинки, а старики подняли над головами плети.

– А ну, поберегись, воспода разночинцы и кыргызы. Дорогу казачеству!– прикрикнул Егор Павлович Бушуев.

И разноплеменная толпа пугливо шарахнулась в стороны, покорно расступилась перед казаками.

Окружив всадника, станичники с минуту неподвижно и молча любовались на тревожно пофыр-

кивающую под ним лошадь. Это был жеребец получистокровного склада, со всеми внешними признаками присущей ему горячности, природного, чисто степного одичания и унаследованного от прародителя благородства. Превосходный постав гибкой шеи и красивой, с белой прошвой на лбу, искусно обточенной головы; развитый мускулистый затылок, сухие и строгие формы ног со слегка изогнутым упругим путовым суставом и длинной бабкой – все это говорило о строевых качествах лошади, столь ценимых армией и служивыми казаками.

Если по силе порыва, по вспышкам энергий, по тонкости движений степной полукровный конь несколько уступает чистокровному, то зато он способен вынести такие боевые невзгоды и походные лишения, перед которыми никогда не устоят чистокровные экземпляры. Из истории Крымской кампании 1853-1856 годов было известно, что английская армия, имевшая в кавалерийском строю подавляющее большинство лошадей высококровной породы, потеряла их всех во время переходов и кровопролитных сражений на Крымском полуострове. И только немногие тяжеловесные лошади англичан, так называемые «першероны», продержались до конца кампании.

Казаки, разумеется, не подозревали о горьком опыте англичан, из которого впоследствии сделан был соответствующий вывод военными историками. Однако у станичников был свой, унаследованный от предков боевой опыт, и они смело руководствовались этим опытом при выборе строевых лошадей перед проводами своих сыновей в длительные походы.

Вопреки расчетам Егора Павловича Бушуева, строевик, облюбованный для Федора, с первого взгляда будто не нравился ему. Старик заметил, что Федор смотрел на коня несколько безучастными, равнодушными глазами. Но затем, приглядевшись к

нему попристальней, он заинтересовался мастью лошади: она была светло-гнедая, золотистая. И эта мягкая, приятная на глаз окраска коня увлекла Федора, он смотрел на лошадь, уже не сводя с нее слегка прищуренных глаз.

Наконец, ощутив притаившуюся в зрачках своих сверстников глухую зависть, с которой глазели они на строевую полукровку, Федор вдруг проникся решимостью овладеть конем ценой любых средств. Правда, в строевых достоинствах лошади сам он как следует еще не разбирался. Он еще не знал толком, как знавали старики, ни значения ширины и длины конского предплечья, ни соразмерности в соотношениях берцовой кости и бедра. Он не знал еще, что от совокупности всех этих внешних признаков зависит строевая годность коня. Зато Федор почувствовал, что конь дорог, скорее всего, не породой, не складом, а скрытыми в нем внутренними качествами. Вот почему, внимательно присмотревшись к коню, он немедля решил проверить его под седлом, в езде.

С трудом подавив в себе волнение, Федор решительно направился к всаднику. И аткаминер, без слов поняв намерение казака, услужливо спешился и, вручив ему крученный из конского волоса грубый чумбур, почтительно отступил в сторону.

Приблизившись вплотную к коню, Федор осторожно взял его под уздцы, затем коснулся ладонью упругой, трепетной его шеи, ласково похлопал ладонью по широкой груди, коснулся пальцами морды и гривы, и вдруг ощутил в себе такой прилив горячей любви и нежности к лошади, что едва сдержался от желания поцеловать ее теплые замшевые губы. Чуть дрогнув всем корпусом от прикосновения незнакомой руки, жеребец упруго перебрал передними ногами и, сбочив голову, строго и испытующе глянул на Федора блеснувшим под бархатными ресницами агатовым оком.

Тем временем старики, обступив жеребца, занялись обычным в таких случаях придирчивым осмотром не на глаз, а на ощупь. Поочередно берясь то за одну, то за другую тонкую конскую ногу и приподнимая ее на руке в полусогнутом положении, старики деловито заглядывали под раковину, под угол стрелки и словно пробовали на весу свинцовую тяжесть мглисто-голубоватого копыта.

Остерегаясь, как бы строптивый жеребец не ударил задом, соколинец Архип Кречетов осторожно приподнял пышный траурно-черный хвост коня и, бог весть зачем, осмысленно посмотрел даже под самую репицу. Затем, одобрительно кивнув улыбнувшемуся при этом Федору, Архип сказал:

– Конь несумнительный. При полном строевом артикуле. В форме. Так я его понимаю.

Станичный десятник Буря, подозрительно долго возившийся с осмотром горячих жеребячьих ноздрей, вдруг встрепенулся, как птица, и, с изумлением взглянув на стариков, почему-то вполголоса проговорил:

– Братцы, воспода станишники! Первый раз на роду подобну картину в конских ноздрях вижу. Дух у меня захватыват...

– Что за притча, восподин станишник?!– с тревогой и также вполголоса спросил его Егор Павлович.

– Тут не притча, а целое происшествие...– ответил Буря.

– Брось ты пужать нас, Буря.

– В чем дело?

– Докладывай кратко, коновал.

– Како тако опять там открытие Америки в конском храпу исделал?– тревожно зашумели вокруг станичники.

– А тако открытие, што у этого жеребца по четыре продуха на ноздрю, воспода станишники, падат!– объявил торжественным голосом Буря.

– Врешь, варнак!– крикнул Тропка Ханаев.

– Богом клянусь, о восьми продухах жеребец,– сказал Буря, запальчиво прекрестившись при этом.

И старики, хором ахнув, присели от удивления. Уж кто-кто, а они-то понимали, что это значит. Шутка сказать – по четыре продуха на ноздрю!

– Воспода станишники! Братцы! Да ведь такому коню ни в бою, ни в походе цены не будет!– восторженно закричал Архип Кречетов, почему-то зажмурясь.

– Так точно. На таком коне скачи сотни верст – ни одышки у него, ни поту,– подтвердил фон-барон Пикушкин.

Федор, ничего не понимая в этих открытиях Бури, спросил стоявшего рядом отца с усмешкой:

– Што это они про продухи буровят, тятя? Да он что, двужильный, што ли?

– Не двужильный, а вроде этого...– ответил старик сурово.– Там сотню не сотню, а пятьдесят верст карьером на таком коне пролетишь, на выстойку его ставить незачем. Ты знашь, у него весь жар из внутренней организмы скрозь эти самые продухи в ноздри выходит!

– Это же не конь, а паровик с клапанами!– крикнул, захлебываясь от восторга, довольный своей находкой Буря.

Между тем станичники до того были ошеломлены открытием Бури, что с минуту стояли как вкопанные. Затем, давя и опережая друг друга, они ринулись все разом к морде встревожившегося коня. Остервенело цепляясь в пылу горячки за поводья, хватая коня за нахрапник и под уздцы, старики поочередно принялись осматривать тревожно раздувающиеся, порозовевшие конские ноздри. Да. Так и есть, Буря не врал. Знатоки убедились в этом. Действительно, все восемь продухов были налицо. Кто на глаз, а кто ощупью, но все станичники лично убедились теперь в неожиданном открытии. И загоревшись небывалым азартом, старики навалились на Егора Павловича,

подбивая его на немедленную покупку редкостного коня.

– А ну, крой, Павлыч. Бей, благословясь, по рукам с господином кыргызом да станови магарыч.

– Крой ва-банк, ежли капитал позволит.

– Рискуй, станишник...

– Правильно, сослуживец. Отчаивайся. Тут недосуг мешкать.

– Куды там мешкать! Не дай бог, цыганы в ноздри заглянут – с руками ведь такого жеребца оторвут,– сказал полушепотом фон-барон Пикушкин.

– Што говорить! Они, варнаки, любу красну цену сразу перешибут. В момент оставят казака пешим...– также полушепотом прошипел над ухом Егора Павловича Буря.

– Ну насчет «перешибут»– бабушка надвое сказала. Были б денежки в кармане – будут девушки в долгу!– заносчиво отозвался на подзадоривающие голоса одностаничников Егор Павлович.

Но подзадоривать его уже, в сущности, было незачем, а тем более теперь, когда старик воочию убедился, с каким нескрываемым восторгом смотрел на строевого коня Федор. А этого уже было вполне достаточно для того, чтобы, мысленно сотворив краткую молитву в честь Николая-угодника, осенить себя крестным знамением, а затем открыть торг.

Так Егор Павлович и сделал.

Вопреки ярмарочным правилам, старик на сей раз пренебрег даже непременной в таких случаях пробой строевого коня под седлом и сразу же после осмотра жеребца на месте приступил к сложным переговорам с надменным аткаминером о цене.

Между тем аткаминер Кенжигараев, окруженный группой степных аксакалов, волостных управителей и баев, стоял все время несколько поодаль от занятых осмотром коня станичников. Он, видимо, был уверен, что его жеребец таким покупателям будет не по

карману, и потому не особенно тревожился за смотровый исход. Но теперь, заметив выступившего из казачьего круга покупателя, Кенжигараев тоже, в свою очередь, подался вперед и на вопрос Егора Павловича о цене ответил не сразу. С присущей степному человеку медлительностью этот именитый и важный владелец полукровного жеребца сначала не спеша почесал, приподняв тюбетейку, бритую голову. Затем искусно сплюнул сквозь зубы в сторону и только тогда сказал с деланным равнодушием:

– Цена без запросу. Два ста с четвертной.

– Ого, крепко завернуто,– не то испугавшись, не то восхищаясь, сказал Егор Павлович и оглянулся на стариков.

– Недешево. Понимаю. Но цена, как говорится у русских, по товару, а товар налицо...– ответил на великолепном русском языке именитый владелец лошади.

– Товар товаром. Про товар спорить не стану. Товар, можно сказать, подходящий... Но вера у нас, восподин кыргыз, с вами разная, а ведь бог-то один. Под одним господом всем миром ходим...– начал было издалека Егор Павлович, не зная, как подступить к делу. Но, тут же сбившись и не сумев закончить своей сложной дипломатической мысли, он отрезал:– Бога ты, видать, не шибко боишься, восподин бай. Надо же, таку цену заломил и не охнул!

– На бога надейся, а сам не плошай. Так ведь, кажется, говорится у русских.

– Ну ладно, ладно. Как у нас ни говорят – все наше... Только вот что скажу, восподин кыргыз, нам с тобой попусту-то калякать здесь нечего. Ты давай говори мне делом.

– Я же чистым русским языком сказал, кажется. Моя цена без запросу.

– Стало быть, две с четвертной?

– В обрез.

– Без уступу?
– Ни копейки.
– Не раскаешься?
– Погожу.
Они замолчали.

Насторожились за спиной старика Бушуева одностаничники. Притихли и баи с белобородыми степными патриархами, стоявшие позади аткаминера.

Станичникам было уже ясно, что ни на какие уступки аткаминер не пойдет, а у их покупателя таких бешеных денег, разумеется, не найдется. По карману ли такой конь Егору Бушуеву?! Если бы даже старик, поддавшись соблазну, и решился из присущего ему упрямства устоять перед этой неслыханной ценой и наградить полюбившимся конем сына, вряд ли он сумел бы расплатиться с аткаминером кредитными билетами на такую сумму. Наступила минута крайне напряженного и очень тягостного для всех безмолвия. Тертые ярмарочные завсегдатаи и зеваки, затаив дыхание, ждали с секунды на секунду провала скандального торга. Скандал, как всегда, возникал со словесной перепалки между покупателем и владельцем. Затем – что часто бывало на ярмарках – он переходил в бранный ураган между многочисленными сторонниками того и другого; и нередко все это завершалось грандиозным побоищем, в котором больше всего перепадало казахам, новоселам и цыганам.

Насторожившиеся станичники мысленно готовы были уже к такому всеярмарочному бою, а некоторые из них даже и желали его. Старики, окружившие Егора Бушуева, крепко, до хруста в суставах, сжали в руках витые из таволги черни армейских плетей. А молодые служаки еще крепче держали в ладонях рубчатые эфесы шашек.

Но к огромному разочарованию ярмарочных зевак все вышло на этот раз по-иному. В эту решающую минуту Егор Павлович, оглянувшись на одностаничников,

вдруг высоко занес над головой прямую, как меч, руку и, на полушаг приблизившись к аткаминеру, сказал:

– Ну, в добрый час. Рискую, тамыр.– И старик с такой яростью ударил своей пятерней по протянутой к нему ладони Кенжигараева, что именитый аткаминер пошатнулся. Удар двух ладоней, прозвучавший ружейным залпом, решил дело. И строевой конь Кенжигараева перешел в руки Егора Павловича Бушуева.

Под одобрительный гул и изумленные восклицания одностаничников принял Егор Павлович из рук Кенжигараева узаконенную на купленного коня расписку. Огласив во всеуслышание конский паспорт и сверив с конем обозначенные в расписке приметы, старик бережно свернул драгоценный документ и солидным жестом заложил его во внутренний карман потертого своего парадного мундира. Затем, не спеша, старик извлек из-за широкого опойкового голенища старательно завернутый в красный плат старенький, видавший виды бумажник и, поплевав на пальцы, принялся на глазах у всех отсчитывать кредитные билеты.

24

Федор, стоявший все время несколько поодаль от толпы, окружавшей его отца и аткаминера, занят был теперь обласкиванием строевика. Он уже скормил лошади половину пшеничного калача и кусок завалявшегося в кармане сахару. Конь с покорной доверчивостью тянулся умной мордой к новому хозяину. И Федору было приятно ощущать на ладони щекочущее прикосновение теплых, мягких, ласковых губ коня.

Забавляясь с конем и вполголоса наговаривая ему всякие ласковые слова, Федор насторожился, услышав позади себя знакомый, по-барски певучий голос сотника Скуратова.

– За мной, господа. За мной!– крикнул кому-то Аркадий Скуратов.

Обернувшись на этот оклик, Федор увидел сотника. В щегольской военной форме, гибкий и подтянутый, офицер не шел, скорее всего бежал, размахивая стеком, прямо на Федора. По пятам за Скуратовым следовало трое, по всем признакам, залетных городских людей в штатском.

«Что им от меня надо?»– с тревогой подумал Федор, машинально стиснув в руке волосяной чумбур. Затем он повернулся лицом к коню и сделал вид, что не заметил ни сотника, ни его спутников.

Между тем Скуратов тоже как будто не сразу заметил Федора. Явно взвинченный чем-то и необыкновенно возбужденный сотник еще более взволновался при виде коня, очаровавшего его и всех его спутников формой и мастью. Это обстоятельство, с одной стороны, и льстило Федору, но в то же самое время и встревожило его. Федору известно было, что Скуратов толк в лошадях знал и восхищаться конем зря, конечно, не стал бы.

– Нет, вы обратите внимание, господа, на удивительную гармонию форм и линий!– запальчиво проговорил Скуратов, скользя ладонью по атласному крупу коня и по подрагивающему его бедру.

– Да. Красиво, изящно...– неопределенно промычал один из трех его спутников, толстяк с потухшей сигарой во рту.

– Нет, нет, господа, я положительно влюблен в эту лошадь. Я положительно влюблен...– запальчиво твердил Скуратов.– А еще утверждают, что природа не терпит совершенства. Болтовня. А это разве не пример воплощения классической красоты и полнейшего совершенства?!

– Эта лошадь напоминает мне толстовскую Фру-Фру из «Анны Карениной»,– сказал тот же полусонный толстяк.

– Извините, у Льва Толстого – кобыла, а это – жеребец!– возразил толстяку один из спутников сотника.

– Вот именно...– с живостью подхватил Аркадий Скуратов, хотя он никогда не читал «Анны Карениной»и не имел никакого представления о Фру-Фру.

– Нет, господа, конь недурной. Определенно, недурной...– опять промычал толстяк, приподнимая свои сонные веки.

– Да. Да. Да. Превосходный экземпляр!– с восторгом воскликнул Скуратов.– Собственно, если хотите – даже не конь. Это сплошной звук, господа. Понимаете – музыкальное произведение! Конечно, такой жеребец не годится для рыцарских турниров под лонжирным седлом. Но я, армейский офицер, ценю в нем прежде всего его очевидные боевые качества. Именно такими лошадьми рекомендовал комплектовать кавалерийские части сам Джемс Филлис...

– Позвольте, позвольте, сударь. А кто такой этот ваш Джемс Филлис?– опять, как бы проснувшись, пробормотал толстяк с потухшей сигарой.

– Боже, вы не знаете Джемса Филлиса?!

– Не имею понятия...

– Но как же можно не знать этого величайшего в мире английского мастера верховой езды? Да ведь он же создал собственную систему выездки, признанную лучшей в мире,– тоном глубокого эрудита пояснил, кокетничая своими познаниями, сотник Скуратов.

– Ну и черт с ним, с вашим Джемсом,– сказал толстяк.– Я вижу одно. После долгих скитаний по этому азиатскому торжищу мы, кажется, нашли то, что искали. Так в чем же дело? Деньги на бочку. С хозяином – по рукам. А засим и копыта строевому коню можно обмыть шампанским...

– Совершенно верно. Совершенно верно, господа. Обмыть... И именно шампанским,– поддержал толстяка, один из скуратовских спутников.

– Надеюсь, вы не против того, чтобы приобрести такого коня, сотник?– учтиво спросил Скуратова толстяк.

– Разумеется, нет. Я же сказал. Я же от него без ума...– проговорил с горячностью Скуратов.

– В таком случае открываем торг,– бойко объявил толстяк, почему-то распахнув при этом свой легкий мышиного цвета плащ и лихо сдвинув набекрень широкополую фетровую шляпу.

– Я готов торговаться,– суетясь вокруг жеребца, ответил Скуратов. Но затем, с недоумением оглядевшись вокруг, он спросил:–Позвольте, а где же хозяин?

– Я здесь, Ваше благородие!– отозвался на вопрос Скуратова Федор Бушуев. И он, не выпуская из левой руки обмотанного вокруг запястья чумбура, выступил из-за головы коня, став перед сотником во фронт, вытянув по швам руки.

– Бушуев?!– близоруко прищурив глаза, спросил с изумлением сотник, вглядываясь в окаменевшее лицо Федора.

– Так точно, я, ваше благородие.

– Интересно. Интересно... С каких же это пор ты стал хозяином этой лошади?

– С нынешнего дня, ваше благородие.

– Позволь, позволь, голубчик. Да ведь этот конь, если я не ошибаюсь, принадлежит аткаминеру Кенжигараеву?

– Так точно, принадлежал, ваше благородие, Кенжигараеву. А теперь эта лошадь моя.

– Вот как?! Это каким же образом?

– Очень просто, ваше благородие. Конь куплен за наличный капитал моего родителя...

– Гм... Любопытно, это за какие же дивиденды?

– За два ста с четвертной кредитными билетами, ваше благородие.

– Ого! Да у тебя родитель-то, видать, с капитальцем?

– Никак нет, ваше благородие. Он теперь по случаю проводов меня в полк при двух коровенках на семь душ семейства из-за этого коня остался и в долги ишо по горло залез...

– Ага. В долги по горло залез, а сына – нижнего чина – на офицерского коня решил посадить. Похвально. Похвально.

– Рады стараться, ваше благородие,– ответил Федор не моргнув глазом.

Холеное, слегка припухшее от хмеля лицо молодого Скуратова, покрывшись мертвенной бледностью, обрело вдруг строгое, сосредоточенное выражение. И только тонкие, мелко подрагивающие в уголках губы да тяжелая неподвижность полусмеженных век говорили о последней грани внешнего спокойствия и самообладания, за которой мог уже последовать неизбежный взрыв.

Глядя потемневшими от тревоги глазами на сотника, Федор чувствовал, что встреча эта к добру не приведет, и, ко всему готовый, стоял, вытянувшись, перед офицером, твердо решив про себя одно: удержать в своих руках купленного строевика любой ценой. Он ждал, что после минутного оцепенения, в котором находился, сейчас Скуратов, офицер схватит его за горло или, может быть, ударит наотмашь по лицу, как бил он на смотру казаков, у которых обнаруживал непорядок в снаряжении...

И вот, как бы очнувшись от забытья, сотник бросил на Федора удивленный, яростный взгляд, а затем с такой стремительностью приблизился к нему вплотную, что Федор отступил назад и, слегка побледнев при этом, замер.

Однако Скуратов вдруг весь как-то обмяк, и подобие жалкой улыбки на мгновение как бы осветило его одутловатое лицо.

– Послушай, Бушуев, нам с тобой ссориться не к лицу,– вполголоса, мягко и примирительно сказал

сотник.– У нас впереди с тобой длинная и нелегкая дорога. Мы оба пойдем с тобой в Верный в конном строю. И я – твой командир – хотел бы пройти по этому маршруту вместе с тобой, нижним чином, душа в душу: без неприятностей, бед и обид... Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Так точно. Вникаю, ваше благородие.

– Так вот, Бушуев... Во имя благополучия в нашем походе и ради братского моего отношения к тебе – об этом я очень прошу тебя – можешь ли ты уступить мне коня?

На этот вопрос ответил Федор не сразу. Помедлив, пожевав запекшимися губами, не сводя лихорадочно блестевших темных глаз с лица Скуратова, он наконец сказал:

– Никак нет, ваше благородие. Не могу...

– Послушай, голубчик. Я предложу взамен тебе одну из лучших строевых лошадей из табунов моего отца. Да. Да. Одну из лучших. На выбор. Согласен?– взволнованно, не переводя дыхания, проговорил Скуратов.

– Никак нет. И на менову несогласный. Лучше не просите. Не могу, ваше благородие.

– Золотом?!

– Ни золотом, ни кредитками...

– Четыреста?!

– Я, ваше благородие, не барышник. Не цыган. И не прасол. И тыщи не возьму...

– Так... Стало быть, это твое окончательное слово?– глухим подавленным голосом спросил Скуратов, пополам согнув в руках свой упругий стек.

– Так точно, ваше благородие. Я бросаться словами на ветер непривышный...

– А не передумаешь?

– Никак нет. Мы люди самостоятельные...

Они замолчали.

Скуратов стоял потупясь. И Федор, не спуская с сотника своих по-азиатски сузившихся и чуть-чуть

косивших от гневной решимости глаз, видел, как снова мелкая дрожь прошла по тонким, бескровным губам Скуратова, как дрожали фиолетовые его веки. Федор понял, что надо было уходить, и смело спросил:

– Разрешите ехать домой, ваше благородие?

Скуратов ответил не сразу. Он помолчал, поспешно, нервным движением руки коснулся зачем-то своих висков и только потом очень глухо, вполголоса протянул:

– Ну что ж... Можешь ехать. Можешь...

Федор, браво козырнув сотнику, лихо взметнул на коня, дал ему шенкелей и тронулся прочь, не оглядываясь на Скуратова и его спутников.

25

Как-то под воскресенье, вернувшись с неудачной беркутиной охоты, организованной волостным управителем Альтием, пристав Аникий Касторов запил. Спьяна он продал за полцены Венедикту Павловичу Хлызову-Мальцеву своего саврасого иноходца, подарил ни с того ни с сего своему денщику Дениске старую гармошку-ливенку и тут же выгнал денщика из дому. Дениска в тот же вечер продал дарованную ему ливенку подгулявшему новоселу с одного из прилинейных отрубов, а на вырученные деньги жестоко напился в шинке у бабки Жичихи. Пропьянствовав дня три, Дениска пришел наконец, в себя и, поселившись в Соколинском краю, в избе Кирьки Караулова, стал терпеливо выжидать выздоровления своего барина. Дениска знал, что пристав по окончании запоя вновь вытребует его к себе, и все начнется сначала.

Станичники при встрече с Дениской, сочувственно покачивая головами, спрашивали:

– Ну как, драбант, не выздоровели их благородие?

– Никак нет, воспода станишники. Девять ден, как кобель, водку лачет,– отвечал мрачный денщик.

– Ух ты, сукин сын. Как ты смеешь не почитать начальство?!– сердились станичники.

– Черт его не почитал, пьяницу.

– Смотри, варнак. Держи язык за зубами. А то добарахлишься – век плакаться будешь.

– А я не из боязливых,– беспечно отмахиваясь от назойливых стариков, отвечал денщик.

Не впервые он слышал эти стариковские угрозы. Не впервые выгонял его вон страдавший запоями барин. И, как правило, все это завершалось благополучным возвращением драбанта на свое место, где он чистил по утрам ваксой высокие щегольские сапоги пристава, а по вечерам играл с барином в подкидного дурака и рассказывал плоские армейские анекдоты.

На десятый день беспробудного пьянства пристав начал приходить в себя. Как всегда по окончании запоя, чувствовал он себя хуже некуда. И вот утром, проснувшись от тяжелого сна, полного дурных сновидений, Касторов, еще не совсем придя в себя, увидел появившегося в дверях станичного десятника Бурю.

– Разрешите доложить, ваше благородие,– сказал, вытянувшись перед приставом в струнку, Буря.

– Что опять там такое? Докладывай.

– В крепости нарочный из войсковой управы, ваше благородие!

– Ну и что? Говори, дурак, толком...

– Так что их высокопревосходительство наместник Степного края, наказной атаман линейного Сибирского казачьего войска генерал-губернатор Сухомлинов изволили выехать со свитой на Горькую линию!– не переводя дыхания, отрапортовал Буря.

Это известие до того ошеломило пристава, что он тотчас протрезвел и, вскочив, как ужаленный, заметался по комнате в поисках парадного кителя, забыв о Буре.

– Денис! Драбант! – кричал пристав.

– Разрешите доложить, ваше благородие, что драбанта вы выгнали и его в вашем доме нету,– осмелился напомнить Касторову Буря.

– Пошел вон, дурак, и доставь мне немедля драбанта!– заорал Касторов и наскоро натянув на себя белый парадный китель и пыльные, давно не чищенные сапоги, ринулся со всех ног к станичному правлению.

Известие о выезде на Горькую линию наместника края всполошило станицу. Казаки, побросав в степи брички, сенокосилки, полузаметанные стога и весь свой нехитрый скарб, попадали на своих лошадей и карьером слетелись в станицу. Народ, поднятый набатом, заполонил площадь. Потные, запыленные всадники – одни в седлах, другие на нерасхомутанных лошадях, только что выпряженных из конных граблей и сенокосилок,– спешно выстраивались во фронт перед станичным правлением, стараясь принять относительный боевой порядок. Площадь гудела от людского говора, от восторженных воплей казачат, примостившихся на деревьях станичного сада, от звонких, как серебряные колокольчики, девичьих голосов.

А когда на высоком крыльце станичного правления показался высокий, необыкновенно важный и представительный станичный атаман в своем парадном мундире, а за ним нахохлившийся пристав Касторов, несметная толпа, забившая просторную площадь, притихла и замерла, как бы привстав на цыпочки.

Трижды ударив булавой с серебряным набалдашником о пол крыльца, атаман торжественно произнес:

– Господа станичники и госпожи бабы! Объявляю вам радостное известие. Сего дня их высокопревосходительство наместник Степного края, наказной атаман наших войск генерал-губернатор Сухомлинов изволили выехать со свитой из города Омска на предмет инспекторского смотра по Горькой линии.

И слова атамана потонули в дружном вопле выстроившихся во фронт всадников:

– Урра!

Возбужденные боевым кличем всадников кони тревожно запрядали ушами, заперебирали ногами, взвились под некоторыми казаками на дыбы.

– Доблестное сибирское казачество!– продолжал торжественным, засекавшимся на высоких нотах голосом атаман.– Прославленные усачи с Горькой линии! Ветераны ферганских и кокандских походов! Только мы с вами достойны такого высокого визита, коим соизволил осчастливить нас с вами наш наказной атаман. Встретим же их высокопревосходительство, как требует того их чин и как положено встречать нам нашего наместника согласно артикула...

– Ура!– рявкнули во всю силу своих прокаленных степными ветрами глоток старые казаки.

А после того, как атаман отдал деловые, строгие приказания о форме и порядке встречи наместника, бросились казаки и казачки по своим домам выполнять распоряжения властей, наводить образцовый порядок в домах и на пыльных, давно не метенных улицах.

Несмотря на циркулярное распоряжение наместник края, потребовавшего лет пять тому назад всеобщего озеленения линейных станиц, садов и палисадников за это минувшее пятилетие в станицах не прибавилось. И атаман Муганцев, вспомнив сейчас об этом циркуляре Сухомлинова, пришел в отчаяние.

– Как же нам быть?– озабоченно спросил он пристава Касторова.– Вы представляете, чем может кончиться визит наместника, если он вспомнит о своем приказе?!

– Представляю. Уж нам-то с вами, господин атаман, тогда несдобровать...– согласился пристав.

– Какой же выход?

– Выход один. Обязать казаков немедленно организовать искусственное древонасаждение,– быстро нашелся пристав.

– Это каким же образом?

– Очень просто. Нарубить берез и украсить ими улицы, как это принято делать на Троицу. Уверен, что губернатор не станет разбираться, настоящие это деревья или липовые.

– Вы в этом уверены? Имейте в виду, что наместник придирчив...

– Я это знаю. Но в данном случае он просто не додумается о нашем фокусе. Зрение у него – не ахти, к счастью. А на ощупь, надеюсь, он пробовать наши березки не станет.

– Черт его знает, а вдруг взбредет ему в голову проверить...– усомнился атаман, но тут же, оживившись, добавил:– Впрочем, это идея, пристав. Идея. Вообще я заметил, что вы с перепою легки на выдумки.

– Гм... Да. Это со мной бывает,– согласился пристав.

А на другой день все прямые и широкие станичные улицы потонули в густой зелени «выросших» за ночь роскошных садов. Перед каждым домом шумели теперь на знойном ветру огромные полувековые березы, раскинувшие могучие свои ветви над железными крышами пятистенников и крестовых домов станицы.

На площади, поодаль от станичного правления, спешно достраивалась братьями Кирькой и Оськой Карауловыми новая уборная, предназначенная, по замыслу пристава Касторова, для генерал-губернатора и блестящей его свиты. Станичники, окружив плотников, судачили:

– Это же не нужник, воспода старики, а прямо дворец!

– А ты што думал, генерал-губернатор при нужде как мы, грешные, за наземку спрячется?!

– Это, конешно, не генеральское дело – на денник за нуждой бегать.

– Хороша будочка. Засядешь в такую – и вылезать не захочется...

– Нужник по чину – генеральский,– заметил солидно Буря.

– Правильно,– подтвердил Кирька Караулов, украшавший в это время фронтон уборной искусно вырезанным из фанеры коньком.– Только прежде генерал-губернатора я сам лично в нем опростаюсь.

– Ну, это ты брось, Кирька! Там на што другое, а на это тебя, варнака, хватит. Смотри, и в самом деле не настрами, подлец, в генеральском ватере!– грозно прикрикнул на Кирьку престарелый георгиевский кавалер дед Арефий.

– А в иноземных царствах все крестьянство давным-давно при собственных нужниках состоит. Не то што мы – Азия!– сказал дед Копотоп.

– Правильно, дед. Вот проводим наместника и тебе такой же нужник построим,– сказал Кирька Караулов, подмигивая одностаничникам.

На крепостном плацу вахмистр Максим Дробышев гонял строем маленьких казачат, вырядившихся в полную войсковую форму: синие миткалевые шаровары с алыми лампасами, защитные гимнастерки с погонами и фуражки с красными околышами, надетые набекрень. Дружно и ловко работая обнаженными деревянными клинками, казачата маршировали перед грозным вахмистром в пешем строю, перестраиваясь на ходу в развернутый фронт, в сдвоенные и строенные колонны. Они репетировали свое церемониальное выступление перед наместником края на предстоящем параде линейных полков.

Они замирали в строю по команде «смирно», ели, как могли, глазами вахмистра Дробышева, который разыгрывал теперь перед ними самого генерал-губернатора.

Грозный на вид, неестественно раздувшийся и напыщенный вахмистр Дробышев приветствовал молодых казачат, шагая вдоль фронта:

– Здорово, орлята!

– Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!– дружно орали в ответ казачата, багровея от натужного крика.

Подскочив к одному из левофланговых казачат, неуклюже державшемуся в строю двенадцатилетнему Арсе Караулову, вахмистр орал на парнишку:

– Как стоишь?! Подбери брюхо, подлец. И не разевай рот, а то вмиг тебе за душой слажу!

А вечером измученные строевыми учениями казачата дежурили на станичной каланче и на колокольне, зорко приглядываясь к широкой трактовой линейной дороге, ждали – не покажется ли на ней конный разъезд, выставленный за десять верст от станицы, для того чтобы вовремя предупредить станичников о появлении в степной стороне поезда с генеральской свитой.

26

Шестые сутки томились в степи от вынужденного безделья и зноя казаки, занявшие выставленные за станицу сторожевые пикеты. День и ночь дежурили близ линейного тракта всадники, не спуская глаз с широкого, подметенного большака. А генеральского поезда не было видно. Свободные от дежурства казаки валялись целыми днями в палатках, смастеренных из самотканых половиков и попон, изнемогая от духоты, от пота и скуки.

– Он, поди, ино из своих генеральских хором не вылазил, а ты тут мучайся, жди его каждый секунд всю неделю.

– Беда, братцы. Подумать надо, сколько золотых ден потеряли в сенокос...

– То-то и оно, что оставит нас нынче наместник без корму.

– Это как пить дать – оставит.

– Рапорт бы станишному атаману подать. Што он нас тут без дела держит. Губернатор, может, через двадцать дней явится, а ты тут валяйся...

– Попробуй-ка, сунься сейчас к атаману с таким рапортом, он тебе покажет кузькину мать.

– Куды там, об этом, братцы, лучше не заикайся.

– А вот кыргызам – тем, воспода ребята, сейчас лафа. Они и сена вдоволь накосят, и лошадей нашим овсецом откормят,– сказал Пашка Сучок.

– Ясное дело – откормят. Сторожить-то теперь овсы некому,– откликнулся рябой казачишка из соколинцев Афоня Крутиков.

– Ну и пусть кормят на свою башку. За потраву-то мы перед кыргызней, братцы, в долгу не останемся.

– Да уж об этом-то толковать нечего – станишники у азиатов в долгу никогда не были и не будут.

А по вечерам, усевшись вокруг костра, отводили станичники душу в просторных, как родимые степи, песнях. Пели, уронив на плечи чубатые головы, горестно прикрыв глаза. О, как горько волновали их в такую пору нехитрые узоры слов, как тревожили их сердца рыдающие переливы подголосков... Не песни – целые поэмы знавали наизусть старые казаки, и ладно подпевали им хором молодые.

Соберем-тесь-ка, казаченьки, во единый во кружок,
Запоем про девку красную, про лазоревый цветок.
Эх ты, молодость игровая – буйный ветер в ковыле!
Эх ты, девка чернобровая, в кашемировой шале!
Вот идет она, качается,– горький стебель-полынок,
За ковыль-траву цепляется расписной ее платок.
Вот идет она, пригожая, а за нею – сотня вскачь.
На снега лицом похожая, а губами – на кумач.
Казаки в строю беснуются, да ребятам невдомек:
Кем она интересуется, кто ж собой ее завлек?
– Где ты, суженый да ряженый?!– Прокатился в сотне гул.
Карабин его разряженный ей подносит есаул.
Подвели коня горячего – вихрем пыль из-под копыт.

– Это что тако бы значило?!– вдруг красотка говорит.
– Сотня, смирно!– Приосанился есаул и ей в ответ:
– Разрешите вам, красавица, передать поклон-привет.
Из похода, из сражения не вернулся лишь один...
Приказал он с уважением передать вам карабин;
Саблю гнутую, точеную, со стершим тавром коня;
Плеть, из таволги крученную, серебром отороченные
полковые вензеля.

Вот седло его печальное с медной пряхой на луке;
Вот колечко обручальное, что носил он на руке.
Все доспехи, все отличия приказал он передать
Вам – за чудное обличие, вам – за косы за девичие,
За походку и за стать...
Только он уж вам не встретится: свянул кудерь, чуб зачах.
Темной ночью не засветится жар в косых от зла очах.
Он лежит пластмя, подкошенный пулей в битве роковой,
Запыленный, запорошенный иноземною пургой.
Он лежит один. И бесится чертом меченым пурга,
Ни друзей вокруг, ни месяца, ни подруги, ни врага...
Он один. Под окрик ворона над ним вьюги голосят.
Волчьи стаи в его сторону глазом огненным косят.
Без поры и безо времени наш товарищ боевой
Ногу выбросил из стремени, в снег зарылся головой...
Ты ж, подруга его верная, нас прости за горький сказ,
Красоту вашу, наверное, видим мы в последний раз...
Потому что ранней зорькою мы в поход уйдем опять,
Чтобы жизнь казачью горькую в чистом поле растерять...
Полк уходит. А девичие затуманились глаза;
Словно молнией, обличив озарила ей гроза.
Вот стоит она, печальная. На губах – вишневый сок.
И слеза ее прощальная глухо падает в песок.
Вот стоит она былинкою – краше песни и вина,
На груди под пелеринкою брошка-бабочка видна.
Прошумели птицы-стрепеты. Поднялась прострел-трава.
Нет, не всех, казачки, встретите нас вы утром у двора!

А когда кончалась длинная песня и замирали на высоких нотах затерявшиеся в вечерней мгле подголоски, заводил один из бывалых казаков армейскую прибаску и побывальщину.

– Стояли это мы, братцы, в казармах за городом Верным. Как сейчас вижу – ночь месяшна, белым-то бела. Лежу это я после конных учений на нарах, и так у меня что-то свербит на сердце, так свербит. Чего, думаю это у меня свербит? Смотрю, а в створку белый клубочек – шмыг, и давай по казарме крутиться, и давай крутиться. Крутится и подпрыгивает, крутится и подпрыгивает, как мяч. Во, думаю, притча кака получается... Сел я, вылупил на клубок глаза и вижу: это не клубок, братцы, а неземной красы барышня. Такая красавица – маленько не королева!

– А ты што?

– Ну што. Я, конечно, к ней...

– А она што?

– А она – от меня...

– Настиг?

– Ну, как же настигнешь ее! Настиг, кабы слово из черной магии знал. А я в те поры в этой магии – ни тиньтилили.

– Жалко, што там Трошки Ханаева не было. От этого варнака никакая бы краля не ушла; даже в привидении...

– Воспода станишники,– проговорил, как сквозь сон, Пашка Сучок,– а правда, што при губернаторской свите сам Шерлок Холмс находится?

– Все может быть. Наказной атаман без сыщиков на Горькую линию не поедет.

– Пошто так?

– А по то, што труса празднует...

– Кого это он испугался?

– Как так – кого? Политиков.

– Ну, забарахлил. Откуда они у нас, политики-то?

– А вот из тех самых мест. Ты думаешь, мало их пришло в наши края теперь из Расеи?

– Насчет Расеи – не скажу. А вот в станице они у нас, говорят, водятся,– сказал приглушенным голосом Афоня Крутиков.

– Брось буровить, станишник.

– За што купил, за то и продаю,– сказал Афоня.

– Откуда же они в станице-то? Уж не среди казаков ли?– прозвучал тревожный голос до сего молчавшего вахмистра Дробышева.

– Насчет казаков пока не знаю. А вот на хлызовской мельнице, говорят, есть такие,– произнес шепотом Афоня.

– Уж не Салкын ли?– тоже шепотом спросил вахмистр.

– Похоже на него. Говорят, он беглый. С каторги на линию к нам подался. С золотых приисков. С Байкала.

– Стало быть, беспашпортный?

– Пашпорт – што. Он тебе этих пашпортов сам, сколько ты хошь, пашпемелюет. Не в пашпорте дело. А дело в том, что он, варнак, кое-которых казаков сомущать начинат. Понял?!

– Брось ты. Это, к примеру, кого же?

– Попались такие ему, подлецу, на удочку...

– Кто?– горячо дыхнув в самое ухо Афоне, спросил вахмистр.

– Федька Бушуев, восподин вахмистр, у меня на подозрении. Зачастил он к Салкыну по вечерам неспроста. Сами знаете, я на таких делах ишо в полку собаку съел. Я их, этих политиков и смутьянов, за версту чую. Даром бы меня за такие дела ни с того ни с сего вне очереди в урядники не произвели и медали б не дали,– тщеславно заметил Афоня Крутиков.

– Это правильно. Я про твою верную службу в полку помню... А насчет Федьки Бушуева – намотай на ус, Афанасий Иваныч. Приглядись. Прислушайся. А надо будет – приставу стукни,– посоветовал вахмистр.

– На сей счет будьте спокойны, восподин вахмистр. Придет время – стукнем и приставу, и станишному атаману,– самонадеянно заявил Афоня.

Было уже за полночь. Оставленный без призора костер угасал. Казаки, свернувшись кто и где как сумел, заснули. Дремал и вахмистр. Вдруг до слуха его донесся

глухой, дробный копытный стук. Насторожившись, вахмистр понял, что из степи шли на полном карьере всадники, держа, видимо, направление к казачьему биваку. Растормошив задремавших казаков, вахмистр приказал им принять боевую готовность. Нацепив на себя офицерскую с посеребренным эфесом шашку, вахмистр насторожился, всматриваясь в лунную полумглу, откуда доносился нарастающий конский топот.

А спустя несколько минут перед вахмистром и окружившими его казаками выросла, как из-под земли, группа всадников. Это были шестеро казаков, несущих сторожевое охранение на одном из дальних степных пикетов; в числе казаков вахмистр, к великому своему удивлению, увидел рослого казахского джигита.

– В чем дело, братцы?– спросил вахмистр подъехавших казаков, окруживших со всех сторон верхового джигита.

– Так что разрешите доложить, господин вахмистр, о происшествии,– отрапортовал, привстав на стременах, один из казаков – Сашка Неклюдов.

– Што там опять такое?

– Да вот азиаты на наш пикет напоролись. Их человек двенадцать верхных там было. Одного вот мы сумели скрутить. А остальные ушли, собаки.

– Кто они такие? С какой целью шляются по ночам на линии?– спросил строго вахмистр Сашку.

– Не могу знать, господин вахмистр. Пытали мы этого азиата – молчит, как воды в рот набрал. Только и слов и речей от него, что – бельмейм. По-русски – ни тяти, ни мамы. А на нашем пикете по-ихнему – никто ни гугу. Толмача тоже не нашлось под руками. Вот и решили доставить лично к вам этого конокрада. Уж вы-то, господин вахмистр, с ним на любом языке поговорите,– сказал Сашка, хихикнув.

– Уж я-то поговорю,– повысив голос, самодовольно крякнул вахмистр. И он, приблизившись к верховому джигиту вплотную, грозно спросил по-казахски:– Вы

чего здесь шляетесь, псы, по ночам? За казачьими лошадями охотитесь?! Отвечай, подлец, кратко!

– Уй-бой, атаман! Какие такие лошади?!– воскликнул джигит по-казахски.– Мы к вам в станицу по делу ехали. Нас народ пяти аулов в станицу послал. А казаки открыли пальбу. Джигита Бейсека клинком в правую руку ранили. Едва мы живые от них ушли.

– Жалко, что ушли...

– Уй-бой, атаман! Как ты можешь так говорить? Мы с бумагой в станицу ехали.

– Кака така бумага? Подай мне ее сюда!– прикрикнул на джигита вахмистр, требовательно протянув руку.

– Уй-бой, атаман. Бумага осталась у джигита Бейсека. Нет у меня бумаги.

– Врешь, сукин сын. Давай.

– Нет у меня бумаги...– твердил джигит, испуганно вобрав голову в плечи.

– Ага. Все ясно, воспода станишники. Все ясно, братцы,– сказал вахмистр, обращаясь к окружавшим его казакам.– Ведь они, варнаки, с доносом на нас к наказному атаману ехали. Понятно?

– Ясное дело – с доносом,– сказал Афоня Крутиков.

– Ты из какого аула?– спросил, обращаясь к джигиту, вахмистр.

– Я из аула Муланы,– ответил всадник.

– Джатак?

– Джатак. И со мной были все джатаки...

– Ага. Стало быть, это ваши головорезы на Узун-Кульском урочище резню учинили?

– Уй-бой, атаман. Какая резня?! Там нашего джигита убили...

– Вашему джигиту туда и дорога. А вот вы казака у нас косой запороли. Да и на нашего же брата жаловаться наказному атаману вздумали. Видали вы их, воспода станишники?!– возмущенно воскликнул вахмистр, обращаясь к казакам.

– А што на его, собаку, смотреть. Стаскивай его с седла, братцы!– крикнул фальцетом Афоня Крутиков.

– Правильно. Дай ему раз по уху!

– Спешивай его, варнака, с коня!

И казаки, вдруг остервенев, кинулись с молчаливым ожесточением к съежившемуся в седле джигиту и в мгновение ока сбили его с седла.

– Атаман!– только и успел крикнуть джигит, камнем рухнувший к ногам взбеленившихся казаков и судорожно вцепившийся пальцами в землю. Его гибкое, сильное тело извивалось под градом пинков и кулачных ударов, и он, лежа лицом ниц, не кричал, не стонал, не просил пощады, а только глухо хрипел сквозь стиснутые зубы. И то, что джигит не кричал, не молил о пощаде и не сопротивлялся, это как раз все больше и больше ожесточало казаков.

– Тихо, тихо, братцы. Бить надо тоже с умом!– прикрикнул наконец на распоясавшихся станичников вахмистр, с трудом растолкав их от неподвижно лежавшего на земле джигита.

– Ухайдакать его, и концы в воду!– запальчиво крикнул Афоня Крутиков.

– Вот именно. Озеро рядом. Точило на шею – поминай потом, как тогда этого конокрада звали,– сказал приемный сын фон-барона Пикушкина, сутулый и неповоротливый Терентий Пикушкин.

– Нет, нет, воспода станишники. Это вы зря. Погорячились, и хватит. С одним грехом ишо не разделались, а вы уж и другой на душу принять готовы,– урезонивая расходившихся станичников, сказал вахмистр.

– Конокрада отправить на тот свет – не великий грех,– заметил Афоня Крутиков.

– Грех-то не велик, а расплачиваться нам за него с азиатами еще неизвестно как придется,– отозвался вахмистр.

– Расплата известная. Плетей да сабель на их головы у нас хватит.

– Это правильно. Только повременить с этим делом надо... Неизвестно ишо, как наказной атаман на все это дело посмотрит. Ввяжутся баи, подмажут наместника – и пиши нам тогда, воспода ребята, пропало. Не кыргызы, а мы будем потом перед наказным в ответе.

– Это все может быть. Кого-кого, а наместника баям купить недолго,– прозвучал за спиной вахмистра чей-то глухой, простуженный голос.

– Так что приказ мой такой,– сказал верховым казакам вахмистр.– Скрутить этому выродку руки и немедленно доставить его в станицу. Атаман лучше нас с вами знат, куда его там упрятать. Понятно?

– Так точно, восподин вахмистр,– ответил, привстав на стременах, Сашка Неклюдов.

27

По ночам Егор Павлович Бушуев спал теперь худо. Не снимая своего потертого полкового мундира и суконных форменных шаровар с лампасами, он дремал на завалинке в полусидячем положении, то и дело открывая глаза и настороженно прислушиваясь к ночной тишине, повисшей над станицей. В каждом слабом шорохе и неясном звуке, возникавшем в ночи, чудился старику конский топот, звон бубенчиков и поскрипывание рессор генеральского экипажа. Вконец измученный затянувшимся ожиданием губернаторского поезда, Егор Павлович похудел за одну неделю так, словно перенес тяжкий недуг. Оба сына – Яков и Федор – несли караул на пикетах, и покос, бойко начатый было дружной бушуевской семьей, теперь приостановился. В степи выгорала под солнцем скошенная, но не убранная трава, при воспоминании о которой у старика разрывалось сердце. Словом, забот у него был теперь полон рот, и он вконец истомился душой и телом и мысленно поминал недоб-

рым словом даже самого наместника Сухомлинова, о котором не мог прежде думать без душевного трепета.

Вечером, в канун воскресенья, когда старик сидел погруженный в горькие свои мысли на завалинке, к нему подошел незнакомый парень, в котором Егор Павлович сразу же признал переселенца: по подобию просторной рубахи из грубого выгоревшего на солнце холста, по лаптям, по волосам на обнаженной голове парня, подстриженным в скобку.

Почтительно, в пояс поклонившись Егору Павловичу, парень сказал:

– Бог в помощь, господин казак!

– Милости просим...– ответил Егор Павлович, не совсем дружелюбно посмотрев на новосела.

– А мы к вам в ножки,– сказал парень, помявшись.

– Слушаю...

– Все насчет работенки. Нет ли у вас нужды в лишних руках?

– Нужде как не быть. Нужда-то есть. Да ведь с вами не срядишься. Вы – народ капризный. Больно дорого себя цените,– осуждающе проговорил Егор Павлович, вспомнив о своем недавнем разговоре с переселенцами у ночного костра.

– Кто как. Я за всех не в ответе...– сказал парень.

– Да, это правильно,– отозвался, смягчившись, Егор Павлович и, поменкав, спросил:– Как зовут-то?

– Максим.

– Так, так, Максим... Ты ино один али с бабой?

– Один, как перст...

– Ага. Это уже лучше... Сколько же ты возьмешь с меня до Покрова вкруговую?

– Дело хозяйское, сколько положите.

– Ну что же тебе положить? Трех целковых да пары сапог опойковых хватит?

– Воля ваша...– покорно вздохнув, сказал парень.

– Ну, ежли так, то можешь заступать хоть сегодня. Проходи. Там старуха покормит тебя, переночуешь, а

утром подумам, с чего начать,– сказал старик, довольный в душе сговорчивостью парня.

А на другой день, поднявшись чуть свет, старик разбудил работника, спавшего в сенках, и сказал ему строго:

– Ну, давай, дружок, поворачивайся теперь попроворнее. Поедешь с сыном на сенокос. Парень тебе объяснит, што там и как.

Максим, наскоро похлебав теплой простокваши, поданной ему Агафьевной, помог Федору запрячь пару лошадей в бричку. И они выехали в степь верст за десять от станицы, где вторую неделю лежало неубранное бушуевское сено.

По дороге разговорились.

– Издалека, приятель?– спросил Федор.

– Пензенской губернии.

– Это сколько же верст будет до вас отсюда?

– Говорят, тыщи три с гаком. А нашему брату за миллион показалось...

– Это пошто так?

– Не дорога – каторга...

– Вот как?! Што же тебя потянуло в наши края?

– Не от сладкой, конешно, жизни...

– А чем она слаще будет тут для тебя?

– То-то и оно, что и тут, вижу, придется хватить мне горького до слез. Тронулся из родных мест я каким-никаким хозяином, а у вас вот батраком оказался.

– Это каким же манером?

– А таким, что за дорогу и обоих родителей потерял, и последней лошаденки лишился. Старики в земской больнице в Челябинске в тифу померли. А тут последняя лошаденка пала. Беда-то, говорят, в одиночку не ходит... Вот и отстрадовался я. Покукуй теперь на новых местах без коня, без кола и без вола. Куда денешься? Одно прямое сообщение – в батраки!

– Да, незавидная твоя доля. Незавидная,– сочувственно проговорил Федор.– Знаю, знаю, браток, как работать на чужих людей. Сам чертомелил.

– Ты?! Неужели и среди вашего брата есть такие?!

– А ты думал как? Казаки тоже, брат, не все у нас одинаковы. Не все в масле катаются. Есть и у нас такие, что всю жизнь бьются, как рыба об лед, перебиваются из кулька в рогожку. Есть, браток, есть,– сказал Федор с ожесточением.

– Вишь ты, какая притча выходит. А я думал, што казакам всем, как панам, в этом краю живется.

– Кое-кто действительно пан паном живет. А есть и среди нашего брата холопы.

– Вот не думал...– признался Максим.

– Так-то, приятель!– заключил Федор, протягивая Максиму кисет с махоркой.

Они закурили и остальной путь до пашни ехали уже молча. Каждый из них погружен был теперь в свои думы. Невеселыми, горькими, угрюмыми были эти думы и у того и у другого.

Доставив Максима до места, где стояла среди степи брошенная на пустоши старенькая бушуевская сенокосилка, Федор объяснил ему несложные его задачи (надо было скопнить сгребенное в валки сено) и повернул лошадей обратно. С полдня ему надо было вновь заступать в караул на пикете, и он поторапливался домой, чтобы успеть еще почистить коня и привести в порядок свое войсковое снаряжение.

Кони бежали ровной и бойкой рысью. Федор, намотав на руки вожжи, развалился на свежей траве, которую накосил перед выездом с пашни, и, глядя в голубое, безоблачное небо, вполголоса напевал, с тоской и нежностью думая о Даше:

– Куда, казак, едешь?
Куда отъезжаешь?
На кого ты, милый,
Меня покидаешь?
– Еду я, еду
В дальнюю дорогу,
Оставляю тебя я
На единого бога...

Не допев песни, Федор закрыл глаза и как будто задремал. Странное, не совсем уживчивое с его характером чувство покоя овладело им. Мерно постукивали колеса брички. Глухо звенели о твердый дорожный грунт конские копыта. Пряный и бражный запах свежей травы слегка кружил голову. Где-то далеко-далеко тревожно кричал в займище дикий гусь – не то потерявший самку гусак, не то подранок. И все эти звуки, запахи и шорохи степи напоминали Федору о Даше. Не поднимая смеженных век, он видел, как в сновидении, открытое, светлое лицо девушки, ощущал запах золотящихся волос. Даже мягкий грудной голос Даши звучал в нем сейчас печально и глухо, как звучит басовая струна гитары, нечаянно задетая темной ночью...

Федор весь был во власти живых и почти физически осязаемых воспоминаний. Он видел сейчас перед собой немировский пятистенник с высоким резным крылечком, легкий тюль занавесок в окнах и розовые лепестки герани, а по ту сторону занавески плавно скользит златокосая девушка.

Все это и есть, наверное, счастье, и, подумав об этом, Федор удивился тому, как, в сущности, немного надо человеку в жизни, чтобы быть счастливым!

Открыв глаза, он, слегка приподнявшись, огляделся. Над степью висела легкая дымка жарких полуденных марев. Удивительно много было вокруг диких цветов. Словно рассеянные чьей-то легкой, беспечной и щедрой рукой, росли они в неслыханном изобилии, кружась по холмам и разбегаясь по балкам врассыпную, как разбегается в праздничный день на станичной полянке веселый и яркий девичий хоровод. Желтые гроздья степной кашки никли, подрагивая под тяжестью повисших на них ос. Кремовые колокольчики затаенно выглядывали из венков голубых незабудок. Сухой, милый сердцу степного человека

запах мелкой придорожной полынки растворялся в густом аромате не мятых конским копытом трав.

Все вокруг полно было в этот полуденный час покоя, умиротворяющей тишины. Таким же покоем окрестного степного мира была сейчас полна душа Федора.

«Через пять дней к венцу!»– подумал Федор, и, представив Дашу в ее белом подвенечном платье с воздушной газовой фатой на плечах и себя рядом с нею, он почти ощутил прикосновение ее легких, трепетных рук...

То ли в самом деле вздремнул Федор, то ли был он во власти какого-то мгновенного забытья, но вдруг, очнувшись,– может быть, от рывка брички, слегка подпрыгнувшей на ухабе,– с тревогой осмотрелся вокруг.

Там вдали, над широким трактом, шел навстречу ему, то на мгновенье угасая, то вновь вспыхивая, словно повитый траурным крепом, смерч. Гигантский колеблющийся столб пыли стремительно мчался навстречу Федору. То извиваясь жгутом, то уподобляясь огромной птице, замертво падал он в придорожные травы, накрывая их аспидно-черным своим крылом.

И не успел исчезнуть, как привидение, из глаз у Федора этот встревоживший его смерч, как в то же мгновение вихрем вылетел из-за увала всадник. В казаке, привставшем на стременах, Федор тотчас признал своего одногодка и однополчанина Митьку Неклюдова. И по возбужденному лицу всадника, по алому полотнищу, прикрепленному к острию пики и развевавшемуся, как пламя, над головой всадника, Федор понял: случилось неладное.

Осадив на полном скаку коня, Митька, не переводя дыхания, выпалил:

– Мобилизация. Ґерманец напал на Россию. Война!

Сердце у Федора остановилось.

28

Приезд наказного атамана Сухомлинова в станицу Пресновскую совпал со всеобщей мобилизацией девяти казачьих полков на Горькой линии.

В двенадцатом часу дня на крепостной площади открылось молебствие в честь отправляющихся на фронт казаков. Под оглушительный гул колоколов, под пронзительное конское ржание и тревожные звуки полковых труб были подняты и вынесены из церкви на площадь одетые в позолоченные ризы иконы и крылатые, тускло поблескивающие позолотой хоругви. Эту процессию церемониального, торжественного выноса к войску церковной утвари открыл прибывший вместе с наместником края архиерей Омской степной епархии, рослый и престарелый Никон. В сопровождении прибывших из окрестных станичных приходов двенадцати попов, пяти благочинных и целой свиты прислужников архиерей, утопая по пояс в кадильном чаду, проследовал вдоль выстроившихся на станичной площади войск.

Полк казаков стоял в полном походном снаряжении, образовав каре. Грозным и сумрачным выглядел частокол взметнувшихся над всадниками казачьих пик. Глухо гудели за плечами у всадников стволы трехлинейных винтовок. Пахло кожей, конским пометом, дорожной пылью и ворванью.

День выдался жаркий и ветреный. С юга дул горячий, овеянный дыханием азиатских пустынь порывистый ветер. Временами он поднимал на степных дорогах стремительные колеблющиеся столбы смерчей. Тоской и тревогой веяло от дикой пляски этих беснующихся вдали вихрей и от этого пышного поповского благолепия.

Престарелый архиерей, воздев к небу руки, замер в глубоком безмолвии над полковым походным престолом. Архиерей походил в эту минуту на

огромного беркута, задремавшего на кургане. Попы кружились вокруг архиерея и, громыхая цепями тяжелых жарких кадил, взывали к богу, прося его грозно и требовательно о даровании победы.

Всадники стояли в строю с обнаженными головами. Азиатский ветер кружился над ними. Он пугался в их волосах, дыбил их чубы и заунывно посвистывал в стволах винтовок, точно напоминая этим свистом о дальних дорогах, о бесплодных и знойных равнинах, по которым предстояло пройти казачьим эшелонам по пути на фронт.

Федор на своем строевом коне стоял первым с правого фланга. Затянувшееся молебствие утомило его. Сладковатый и приторный запах ладана навевал дурманящую дремоту. А при взгляде на неподвижные, грозные, во всеоружии шпалеры войск, на зеркальные вспышки обнаженных сабель и на стройную городьбу казачьих пик у него замирало от возбуждения сердце и, как в хмелю, кружилась голова.

Окруженный попами архиерей медленно следовал вдоль развернутого фронта всадников. В левой руке архиерея блестел позолотой крепко зажатый в восковом кулаке огромный наперсный крест, в правой – тяжелое кропило. Двое подростков, облаченных в голубые стихари, несли по левую руку от архиерея до краев наполненный святой водой шарообразный серебряный сосуд.

Первым, бегло перекрестившись, приложился к наперсному кресту, а затем к восковой руке архиерея командир полка есаул Стрепетов. За Стрепетовым – сотник Аркадий Скуратов, а потом все остальные офицеры – командиры сотен. Затем архиерей, медленно двигаясь по фронту, махал на ходу кропилом, обильно поливая брызгами святого рассола всадников и лошадей. Кони испуганно прядали ушами и, злобно грызя мундштуки, беспокойно перебирали отекшими от долгого стояния ногами да звучно отфыркивались

от водяных брызг. Они, как и всадники, почуяли, должно быть, близкий исход парадного богослужения и, насторожившись, ждали первого условного звука полковой сигнальной трубы.

Наконец колокольный гул умолк. С молебствием было покончено. На площади наступила напряженная тишина. И Сухомлинов, выйдя на середину церковной паперти, пристально оглядевшись вокруг, пропел жестким старческим тенорком, отдавая команду:

– Кавалеры направо, дамы налево!

Произошло минутное замешательство. Станичное начальство, не сразу поняв смысл команды наместника, испуганно заперегляды валось. Наконец кто-то из сухомлиновской свиты скороговоркой объяснил атаману Муганцеву суть сухомлиновского приказания. Оказалось, что наместник требовал, чтобы казаки стали по правую руку от него, а бабы – по левую.

В толпе, пришедшей в движение, долго царила неразбериха, давка и сутолока. Наконец поднявшаяся сумятица улеглась, и угодный наместнику порядок был установлен.

Сухомлинов стоял на паперти, заложив правую руку за борт своего белого кителя. Терпеливо выждав, пока затихла толпа, он начал наконец свою речь.

– Казаки!– крикнул наместник, напрягая свой жесткий старческий тенор.– Царю и богу угодно было сделать меня вашим наказным атаманом, вашим отцом и вашим господином. И нет над вами власти выше, чем моя власть.

Выдержав небольшую паузу, переведя дух, наместник вдруг выбросил над головой правую руку, сложив пальцы в крестное знамение, и сказал:

– Поднимите и вы, казаки, правую руку и повторите за мной слова присяги.

Станичники подняли руки.

– Мы, линейные казаки Сибирского казачьего войска, клянемся перед лицом своего наказного

атамана, что отныне и вовеки не будем предаваться праздности, лени, разврату и пьянству,– торжественно зазвучал жесткий тенорок Сухомлинова.

И станичники вразнобой – кто громко, кто глухо – повторяли за Сухомлиновым клятвенные слова.

Кирька Караулов, стоявший рядом с десятником Бурей, шепнул ему:

– Вот ишо новую моду старый хрыч придумал – в трезвяков все казачество превратить!

– Ну, это дудки. Не выйдет,– сказал вполголоса Буря.

– Пили и пить будем,– сказал Кирька так громко, что слова его услышали многие казаки.

– Нашел тоже дурачков – клятву брать в трезвости!– ворчал фон-барон Пикушкин.

– Ну, нас не скоро одурачишь,– сказал Буря.

– Вот и именно. Не он нас, а пока что мы его одурачили, воспода станишники,– сказал Кирька Караулов.

– Это в чем же, станичник?

– Как в чем, а с садами! Сколько лесу за неделю погубили. Каждый день березы пришлось менять, а все же лицом в грязь не ударили. Он сослепу даже благодарность станичному атаману вынес.

– Что ты говоришь?!

– Богом клянусь. Так и сказал ему. Благодарствую, говорит, лично вас и всех воспод станишников за древонасаждение. Всю, говорит, Горькую линию проехал, а нигде такой красоты не видал.

Покончив с присягой и клятвами, наместник в сопровождении свиты проследовал вдоль фронта всадников, проверяя на глаз и на ощупь их амуницию. Смотр подходил уже к концу, и все могло бы сойти хорошо, не принеси нечистая сила дюжины невесть откуда взявшихся мужиков, прорвавшихся сквозь толпу станичников и с ходу упавших перед Сухомлиновым на колени.

Станичный атаман Муганцев, увидев мужиков, возмущенно шепнул приставу:

– Вот скандал. Откуда взялась эта сволочь?!

– Не могу знать. Пикеты по всем дорогам расставлены. Сторожевые казачьи посты на своих местах вокруг станицы. Положительно не понимаю, каким образом пробрались они. Положительно не понимаю...– отвечал пристав.

Опешив при виде мужиков, Сухомлинов спросил наконец:

– Кто вы? И что от меня вам угодно?

– В ножки к вам, ваше высокопревосходительство!

– Смилуйтесь...

– Не дайте душе погибнуть...

– Не губите...

– Переселенцы мы. Новоселы,– все враз, хором, перебивая друг друга, заговорили мужики.

– Из Расеи мы тронулись, так нам в те поры земство всего насулило: и земли по десяти десятин на душу, и кредитов на обстрой, и протче. А сюды пришли – ни того, ни другого,– сказал похожий на цыгана, мрачный с виду мужик густым басом.

– И казаки нашего брата притеснять начинают,– сказал мужичишка, упавший ниц к ногам Сухомлинова.

– Это сущая ложь, ваше высокопревосходительство,– вытянувшись в струнку перед наместником, поспешил вмешаться станичный атаман Муганцев.

И Сухомлинов брезгливо сказал Муганцеву:

– Уберите их вон с площади.

Тотчас же пять верховых казаков, замкнув мужиков в глухое кольцо, подняли их на ноги и, подгоняя плетьми, погнали прочь.

Обойдя площадь, запруженную народом и войсками, Сухомлинов вновь поднялся на церковную паперть и стал рядом с архиереем. И тогда командующий эшелоном есаул Стрепетов, привстав на стременах, стремительно выбросил над головой обнаженную

саблю, и светло-серый его ахалтекинец затанцевал под ним, роняя пену с закушенных удил.

Взгляд казаков был устремлен теперь на есаула. Полковой трубач, стоявший на вороном жеребце несколько поодаль от есаула, вдруг приставил порывистым жестом к губам серебряную трубу, и пронзительные звуки походного сигнала загремели над площадью. Всадники с трудом сдерживали своих взволнованных кличем коней. А труба полкового горниста выговаривала заученные с детства слова:

Всадники-други! В поход собирайтесь,
Радостный звук вас ко славе зовет.
Храбро с врагами России сражайтесь,
За родину каждый, не дрогнув, умрет.
Да посрамлен будет тот малодушный,
Кто без приказа отступит назад!
Чести и долгу и клятве преслушный,
Будет он принят, как злейший враг!

Не опуская сабли, есаул, взяв коня в шенкеля, поставил его на дыбы. И над площадью зазвучало:

– Эше-е-елон, слу-у-шай ко-о-ман-ду! Справа по три!

И словно эхо есаульского голоса зазвучало затем в повторных приказаниях командиров сотен:

– Первая сотня, спра-а-ва по три!

– Вторая сотня, спра-а-ва...

– Третья сотня...

– Че-е-твер-ртая...

От пришедшей в движение конницы над площадью поднялись тучи пыли, и по земле прокатился многокопытный рокот и гул. Пришпорив коня, есаул сорвался с места и, огибая на полном карьере правофланговые колонны всадников, крикнул:

– Правое плечо вперед. За мной!

Тотчас же в голове эшелона, учетверив тройные ряды, выстроилось по двенадцать всадников в ряд

шестьдесят прославленных в линейных станицах певцов. Выскочивший вперед строя на шустром саврасом жеребчике лихой запевала из казаков станицы Пресногорьковской высоко занес над головой собранную в руке плеть. Подав казакам условный сигнал, он закрыл глаза и, ритмично помахивая плетью, завел необыкновенно высоким, рыдающим голосом:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали.

И вдруг, как буря, грянула по взмаху запевалы и забушевала над эшелоном войсковая песня сибирских казаков:

И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

Полк уходил, объятый пылью и плачем покидаемых жен и матерей. И, как в песне, поднимались в эту минуту с востока над степью глухо громыхавшие в отдалении аспидно-черные грозовые тучи. И, как в песне, полыхали вдали голубые росчерки молний, и глухо шумел проходящий степной стороной ураган. Не открывая горестно зажмуренных глаз, запевала, покачиваясь в такт песне, выводил:

Вы спите, спите – мнил герой,–
Друзья, под бурею ревущей.

И грозный, торжественный шквал песни, подхваченной на лету полковыми песельниками, поднимался все выше и выше над утонувшим в пыли эшелоном:

С рассветом глас раздастся мой,
На подвиг и на смерть зовущий.

Есаул Стрепетов раскрыл карманные часы и засек время: поход с полком мобилизованных казаков он начал в семнадцать ноль-ноль.

29

Свыше трех часов гремело в станичной дубраве прощальное гульбище уходящих на фронт казаков. Под просторными белыми шатрами походных палаток, под сенью вековых заповедных берез – везде и всюду, куда ни ступи, пировали вокруг раскинутых на земле самобранных скатертей семьи и родственники мобилизованных. Спешившиеся после выступления из станицы близ этой дубравы казаки последние часы проводили в кругу родных и знакомых.

В бушуевском застольном кругу, помимо немногочисленной своей семьи, было много родственного и просто знакомого народу. Федор собрал к родительскому столу всех своих товарищей – сослуживцев и тех из станичников, с которыми связан был дружбой с детства. Здесь были Трошка Ханаев и Денис Поединок, Андрей Прахов и Игнат Усачев, Пашка Сучок и Салкын. С большинством из этих казаков сближала Федора равная в прошлом для всех них нужда, веселые и шумные осенние ночлеги в жарких и дымных балаганах на пашнях. Ведь совсем, казалось, недавно слыли в семьях своих они за озорных и резвых подростков. Ведь совсем недавно рыскали они сломя голову, задрав по колено штаны, по дождевым лужам, воображая себя и лихими конями, и всадниками... А теперь вот было им уже не до забав и не до игрищ... Появление в застольном кругу друзей так возбудило и обрадовало Федора, что он, до сего мрачноватый и несловоохотливый, просветлел и заметно оживился. И у Егора Павловича отлегло от сердца. «Ну, слава тебе богу, ожил. А то сидит как приговоренный. Ажно перед народом неловко».

Когда казаки, чокнувшись, подняли свои бражные чаши, Егор Павлович заметил в эту минуту проходящего сотника Скуратова и вполголоса сказал Федору:

– Видишь сотника? Встань во фрунт и пригласи их благородие к столу.

– Только его тут не хватало!– насмешливо сказал так же тихо Федор.

– Цыц ты...– прошипел в смятении Егор Павлович и, взволнованно теребя сына за рукав гимнастерки, проговорил почти угрожающе:– Стань во фрунт, тебе говорят. Не губи меня. Не нарушай обычая. Слышишь?!

– А ну его к черту! Пущай проходит себе своей дорогой...– с явной злобой и так громко отрезал Федор, что поравнявшийся с ними сотник не мог не расслышать этих слов, хотя, возможно, и не принял их на свой счет. Он прошел мимо.

Вся эта сцена так расстроила Егора Павловича, что он сидел как пришибленный. Стыдно ему было перед стариками за неслыханную дерзость сына и почему-то жалко вдруг стало самого себя. Осуждающе покачав седой головой, старик сказал Федору:

– Нет, как ты хошь, а не здравится мне это, сынок.

Федор хотел было возразить отцу. Но его опередили дружно заступившиеся за него сослужицы. Осмелев от хмеля, они наперебой зашумели:

– Правильно, наряд, поступил. Правильно.

– Нам с такими бражничать не с руки...

– Без его, бог милует, как-нибудь обойдемся...

– С таким офицером и кусок поперек горла встанет.

– Не офицер – шкура барабанная!

– Ну, братцы, хлебнем мы, должно быть, горя с этой гнидой.

– Это как пить дать – хлебнем.

– Выспится он, варнак, на нашем брате...

– Ведь это што тако?!– сказал громче всех Сашка Неклюдов.– Три раза низики у меня на смотрах браковал. То ошкур, говорит, против формы на полвершка обузили. То гашники, понимаешь, пришлись ему не по артикулу.

– Ну, ты хоть на подпитанниках отыгрался. А я вон при родительском-то капитале на две четвертных из-за седла пострадал,– сказал Андрей Прахов.

– К ленчику придрался?– насмешливо спросил Федор.

– Сперва к ленчику. Потом на переметны сумы его сбросило: косину каку-то нашел. Словом забраковал, и баста. А седло у меня, ребята, вот те Христос, было в полном порядке,– поспешно перекрестившись сказал Андрей Прахов.

– Што там говорить. Знам...

– Мастер-то один у нас всех седла работал. Не мастер – золотые руки...

– И што это он взъелся на меня, братцы? Обличьем, што ли, я ему не понравился? Шутка сказать, я за эти сборы родителя в таки долги вогнал, што ему до второго пришествия из них не вылезти...– продолжал Андрей Прахов.

Еле-еле утихомирив непристойно расшумевшихся казаков, Егор Павлович сурово сказал:

– Ох, неладно вы судите, ребята. Страм слушать. К хорошему таки разговоры не приведут... На то ты и нижний чин, чтобы офицера бояться. Так мы стары люди, службу свою соблюдали – не в укор господу богу и отечеству... А вам страмить отцовску честь такими разговорами совсем не пристало бы. Не по-казачьи это у вас выходит, ребята.

Старик хотел было распечь на прощанье и сына, и всех его друзей-приятелей. Но охмелевшие казаки уже не слушали его и еще громче и непристойнее стали поносить ненавистного им офицера. Неизвестно, чем бы это могло кончиться, не загреми над рощей сигнал полковой трубы, возвестивший о последних минутах прощанья с уходящими казаками.

Невообразимая суматоха поднялась вокруг. В дубраве стоял теперь такой страшный гул от материнского плача, от пронзительного ржания строевых лошадей,

от прощальных речей и криков провожающих, что казалось, сама сырая земля стоном стонала.

Простившись поочередно со всеми родными, Федор лихо вскочил в седло. Агафьевна задыхаясь от глухих, похожих на смех рыданий, крепко уцепившись за вдетую в стремя ногу сына, удерживала его. И напрасно геройски крепившийся от застивших очи горьких слез Егор Павлович пытался уговором и силой оторвать от сыновнего стремени неразумную старуху.

Ничего не хотела ни видеть, ни слышать она. Посиневшие от напряжения узловатые пальцы ее прочно держали стремя, а страдальчески искривленные губы жадно целовали и пыльный сыновний сапог, и холодную неласковую сталь стремени, и тяжелую пряжку подпруги...

Даша, безмолвно стоявшая в сторонке, не могла теперь уже пробиться к Федору сквозь плотно окольцевавшую его коня толпу родственников. Федор грустно и жалко улыбнулся ей и махнул рукой.

Грянул последний требовательный звук полковой трубы, строевик Федора заржал, у Даши похолодело и остановилось сердце.

Все было кончено.

Ослабевшие руки Агафьевны выпустили сыновнее стремя, и, обессиленная, она уже без рыданий упала на руки снохи Варвары.

Федор, бросив последний взгляд на Дашу, пришпорил коня.

Через четверть часа эшелона уже не было видно. И только оранжевое облако пыли долго еще висело над пустынной порозовевшей от заката дорогой, да все глуше и печальнее звучала далекая, затерявшаяся в предсумеречном степном просторе казачья песня:

Засвистали в поле казаченьки
В поход с полуночи,
Заплакала наша Марусенька

Свои ясны очи...
Ты не плачь, не плачь, наша Маруся,
Не плачь, не журися –
За своего боевого друга Богу помолися...
Ты не плачь, не плачь, наша подружка,–
Мы возьмем тебя с собою,
Мы возьмем тебя с собою,
Ох, да только не женою,
Эх, да только не женою
Назовем тебя ль, наша подружка,
А родной сестрою!

Меркла слабо озаренная последними вспышками заката убегающая в степной простор дорога. А женщины долго еще бежали за уходящим в степь эшелоном...

30

Спустя пять дней эшелон казаков под командованием есаула Стрепетова прибыл к месту сбора всех девяти полков, сформированных на Горькой линии. Казаки расположились биваками в бараках и походных палатках на берегу степной речки Чаглинки, вблизи города Кокчетава. Сюда же начали подходить эшелоны других линейных станиц: здесь им предстояло переформироваться в полк, пополнить недостающее холодное оружие и обмундирование, а одновременно и провести несколько строевых учений.

В воскресенье, тридцатого июля, в день, свободный от строевых занятий, казаки отдыхали. Одни резались в карты, другие валялись по палаткам, отводили душу в песнях, третьи просто шатались по лагерю, томясь тоской и бездельем.

В этот день Федор Бушуев с утра не находил себе места.

Проснувшись поутру и лежа еще в палатке, он все старался припомнить сон, наполнивший его какой-то непонятной тревогой. Но вспомнить ничего не мог,

кроме того, что снилась Даша. Он долго лежал, не открывая полусмеженных век, и то с грустью затаенно любовался привидевшимся ему обликом Даши, то с тоской вспоминал плачущую мать, которую никак не могли оторвать от стремени его коня, то всплывала в его памяти толпа ринувшихся за эшелоном женщин, среди которых он все старался различить Дашу...

В таком тревожном состоянии провел Федор весь день, слоняясь по лагерю от палатки к палатке.

Часу в пятом вечера, когда Федор стоял с группой одностаничников у передней линейки, из-за бараков вылетел дорогой фаэтон, запряженный парой великолепных рысаков светло-серой масти. Толпа казаков шарахнулась в стороны, дала фаэтону дорогу. В фаэтоне сидели два подвыпивших офицера. Один из них – сотник Скуратов, ловко выпрыгнув на ходу, обвел мутным взором казаков и, остановив свой взгляд на Федоре, крикнул:

– Как стоишь, сукин сын, перед офицером?

Федор вытянулся в струнку.

– Почему мне чести не отдал?– понизив голос, спросил Скуратов, приблизившись к Федору.

– Виноват, ваше благородие,– глухо проговорил Федор.

– Что значит– виноват?!

– Виноват. Не заметил, ваше благородие.

– Как ты сказал? Офицера, своего командира сотни, не заметил?! Ты скажи лучше прямо – не пожелал замечать!

Федор молчал. Лицо строгое, сосредоточенное. И только сурово сомкнутые густые брови, мертвенная белизна щек да судорожный излом губ выдавали его смятение, обиду и гнев.

– Отвечай, когда тебя спрашивает офицер!– почему-то вполголоса проговорил, бледнея, Скуратов и, не дав Федору вымолвить слова, развернулся и наотмашь ударил его по лицу.

Пошатнувшийся от удара Федор закусил губу и на секунду прикрыл глаза. Вокруг стало так тихо, что было слышно, как заверещал в сухой траве кузнечик. И вдруг казаки, до сего неподвижно и молча наблюдавшие всю эту сцену, ринулись к Федору и в мгновение ока замкнули его и сотника в глухое кольцо.

– Это што же такое, братцы!– крикнул полурыдающим голосом Андрей Прахов.– Мы идем кровь за родину проливать, а они нашего брата ни за што ни про што по морде лупить будут!

– Как ни за што ни про што?! Ведь это он, сволочь, за коня Федьку ударил!– сказал Пашка Сучок.

И слова Пашки потонули в гневных выкриках казаков:

– Што ты на него смотришь, станичник, дай ему по уху!

– Бей его!

– Полыхни его шашкой – и вся недолга...

– Правильно. Давай я ему, варнаку, заеду...

Бледный, как полотно, протрезвевший Скуратов, затравленно оглядевшись вокруг, вдруг выхватил из кармана браунинг, изогнувшись как для прыжка, бросился в сторону, сбил ударом плеча с ног Сашку Неклюдова и, прорвав кольцо казаков, пошел наутек к стоявшему в стороне офицерскому бараку.

Казаки с диким воем и улюлюканьем ринулись за сотником. Но Скуратов успел вскочить в барак и захлопнуть за собой на крюк тяжелую дверь. Казаки бросились было к окошку. Но в это мгновенье прозвучали три беглых револьверных выстрела – сотник стрелял из окна,– и раненный в ногу Сашка Неклюдов присел, обронив свой клинок.

Не помня уже себя от ярости, казаки, несмотря на револьверную пальбу сотника, начали бить оконные стекла, рубить клинками косяки и рамы, пытаясь ворваться в барак.

Вдруг кто-то крикнул:

– Давайте, братцы, сена с коновязи! Зажигай!
– Зажигай! Изжарим его живьем, гадюку!
– Так точно, ребята. В огонь его!
– В огонь!
– В огонь подлеца!

Все это произошло в одно мгновенье. Небольшой офицерский барак, обложенный охапками сухого сена, запылал со всех сторон, а казаки с обнаженными клинками столпились у выхода.

Между тем Аркадий Скуратов продолжал еще стрелять то в одно, то в другое окошко, убив при этом казака станицы Звериноголовской Зиновия Синельникова и ранив еще двух второотдельских казаков. Но когда бушующее пламя пожара прорвалось внутрь барака, Скуратов, выскочил с браунингом в руках в одно из окошек и, почему-то пригнувшись, побежал в степь.

Толпа казаков, высоко занеся над головами клинки, бросилась вслед за сотником. Они бежали, настигая Скуратова, в том безмолвном и страшном ожесточении, какое мыслимо только при рукопашной атаке.

Не чуя под ногами земли, Федор бежал с обнаженным клинком впереди. Наконец настигнув Скуратова, он яростно простонал, больно прикусив губу, сделал последним усилием воли еще один рывок вперед и стремительным ударом клинка сбил с ног сотника. В сущности, Федор не знал и не помнил потом – задел ли он своим клинком сотника, или тот рухнул снопом в траву, уклоняясь от его сабельного удара.

Но как бы там ни было, а через мгновение все было кончено. Казаки изрубили сотника в куски. Ни один из них позднее не мог сказать, чей удар был смертельным для сотника.

31

Офицеры казачьего полка, кутившие по случаю воскресного дня по шинкам и харчевням Кокчетавской станицы, узнав об убийстве Скуратова

взбунтовавшимися казаками, притихли; и ни один из них, за исключением есаула Стрепетова, не рискнул явиться в тот день в полк. Перепуганный атаман второго военного отдела войсковой старшина Игнатий Шмонин тотчас же шифром телеграфировал наместнику Степного края генерал-губернатору Сухомлинову о начавшемся на Горькой линии бунте среди мобилизованных казаков и об убийстве сотника Скуратова, умоляя атамана о немедленной высылке войск.

Между тем есаул Стрепетов, проводивший этот воскресный день в доме Игнатия Шмонина за игрой в винт, узнав о случившемся, тотчас же собрался в полк. Несмотря на уговоры войскового старшины, истеричных дам и всех присутствовавших в доме Шмонина армейских офицеров, есаул приказал ординарцу подать коня. Алексей Алексеевич предусмотрительно снял с себя серебряную офицерскую шашку и вручил совсем потерявшему голову атаману отдела даже собственный пистолет – полуигрушечный «смит-вессон».

– Вы с ума сошли, есаул! Как же можно являться в лагерь сейчас одному да еще без оружия?!

– Ничего. Ничего. Бог милостив, господин войсковой старшина. А уж ехать туда сейчас,– так только без оружия...– заявил Стрепетов.

– Дело ваше, есаул. Но лично я не рискнул бы...

– Насчет вас – ничего не скажу. За себя – отвечаю,– сказал Стрепетов. И он, откозыряв столпившимся вокруг него во дворе офицерам и почтительно откланявшись дамам, ловко махнул в седло и поскакал в сопровождении своего ординарца в лагерь.

В лагере царил обычный порядок. Решительно ничего не говорило здесь о только что разыгравшейся драме. Все строевые кони полка, как и всегда перед вечером, находились у коновязей, и казаки хлопотали с раздачей своим лошадям полученного от капте-

нармуса овса. По-прежнему стоял вблизи передней линейки навытяжку часовой, охраняющий полковое знамя. Мирно дымились походные кухни. Незлобно переругивались, как обычно, повара, готовившие нехитрый армейский ужин. Около взвода казаков, толпившихся на плацу, потешались над приблудным козлом, злым как черт и почему-то не выносившим свиста. Казаки свистели, поддразнивая козла, а он, злобно потряхивая бородкой, гонялся за ними.

Все здесь было по-прежнему. И только чуть дымящиеся груды пепелища на месте бывшего офицерского барака свидетельствовали о разыгравшемся здесь сегодня трагическом событии. Ко всему привык есаул Стрепетов за многие годы армейской службы. Но и его, тертого офицера, поразило необыкновенное, будничное спокойствие лагеря. Стрепетов не понимал, было ли оно выражением чего-то такого, что называется в медицине шоком, или же, наоборот, непритворным душевным равновесием этих людей, инстинктивно убежденных в безгрешности совершенного ими поступка. «Удивительное, удивительное дело – русский человек!»–подумал Стрепетов, отвечая легким взлетом правой руки к виску на приветствия встречных казаков, как всегда, открыто, простодушно, весело поглядывавших при этом на есаула.

Спешившись около своей палатки, есаул вызвал дежурного по лагерю вахмистра Катанаева и, вопреки обыкновению не приняв от него устного рапорта, приказал тотчас же выстроить полк в пешем строю на пустынном степном плацу, вблизи передней линейки.

Через пять минут весь полк, поднятый звуком сигнальной трубы, стоял в строю по команде «смирно», и есаул, выйдя к казакам, поздоровался с ними.

– Здорово, братцы!– прозвучал строже и грознее обычного низкий грудной голос есаула.

– Здравия желаем, ваше высокоблагородие!– дружно грянули казаки все с тем же лихим душевным порывом, с каким они отвечали на приветствия только этого офицера.

Выдержав, паузу, есаул пристально присмотрелся к развернутому фронту полка и отдал команду:

– Дежурный по лагерю вахмистр Катанаев – ко мне!

И Катанаев, на рысях подбежавший к есаулу с правого фланга, замер, молодцевато стукнув подборами и отдав честь.

– Рапортуйте, вахмистр!– коротко приказал есаул.

– За время моего дежурства, ваше высокоблагородие,– начал при гробовой тишине вахмистр,– в лагере произошел несчастный случай, в результате которого покойным сотником Скуратовым убит наповал посредством выстрела из револьвера казак второй сотни и ранено трое нижних чинов. Сотник Скуратов зарублен в полуверсте от данного лагеря неизвестными казаками, а офицерский барак сожжен...

– Все?– спросил есаул.

– Так точно, ваше высокоблагородие.

– Можешь идти,– сухо сказал есаул. И не спросив затем ни у дежурного по лагерю, ни у самих казаков подробностях этого чрезвычайного события, он отдал команду «вольно», приказал распустить казаков по казармам, а сам удалился в свой шатер.

Разойдясь по своим казармам и по палаткам, казаки притихли. Только сейчас, кажется, начали понимать они в полном объеме трагические события этого дня и задумываться над последствиями, которые неизбежно повлечет за собою этот из ряда вон выходящий случай.

Наступила тревожная ночь. Она была аспидно-темной и ветреной. Полыхали вдали голубые зарницы молний. Далекие грозовые удары звучали, как нарастающая артиллерийская подготовка перед приближением беглого и навесного огня.

Казаки не спали. Курили. Вполголоса переговаривались.

– Теперь – каюк, братцы, нашему полку.

– Это так точно. Отказаковали...

– Прямым маршем – в рай.

– Ну, всех не отправят...

– Дожидайся – помилуют.

– Помилуют не помилуют, а коли стена стеной встанем, не скоро к нам подкопаешься.

– Это как же так?

– Очень просто. Не выдавать им ребят – и баста.

– Резон, сослуживец. Один – за всех. Все – за одного.

– Правильно. Молчок – как воды в рот набрали.

– А што тут молчать? Не мы – он, шкура, начал.

– Пойди-ка докажи им теперь...

– Нет, братцы, стеной станем – не прошибут.

– Под пулеметами не настоишь...

– Забуровил – под пулеметами! Кто это тебе в казаков стрелять станет?!

– Те самые, в кого мы прежде стреляли...

– Брось каркать к ночи...

– Вот именно.

– Каркай не каркай, а маршрут один – поминай теперь, как нашего брата звали.

– Ну, это иншо посмотрим.

– Все ясно как божий день. Недаром офицерье глаз не кажет – струсили.

– А есаул?

– Есаул – што. Есаул сам вместе с нами за нас в ответе.

– Так точно. Они и его под статью подведут – хоть стой, хоть падай.

– А он-то при чем? Брякнет тоже.

– При том, што душу имеет...

– Насчет души – это другое дело. Душевнее есаула командира во всем полку нету.

– Што правда, то правда, братцы. Вот уж на такого офицера ни у кого рука не подымется. Это тебе не Скуратов – покойна дыра,– туды ему и дорога!

Федор лежал на попоне, положив в изголовье седло, между Пашкой Сучком и Андреем Праховым, прислушиваясь к приглушенному говору однополчан. Он знал, что разговор этот ведется для простого самоутешения. Не такие дураки атаманы и генералы, чтобы не отыскать в полку одну мелкую душу, заставить ее выдать с головой правых и виноватых...

Федор все это понимал сейчас настолько трезво и ясно, что разговоры однополчан казались ему ребяческой забавой – не больше. Понимали это и Пашка с Андреем. О том же, как они будут выпутываться из всей этой заварухи, Федор и оба его сослуживца сейчас вовсе не думали, ибо это было вне их возможностей. Странное, обезоруживающее равнодушие овладело ими после всего пережитого. Словно все силы, всю волю, весь гнев разом отдали они за один взмах клинка, раскроившего бритый череп Скуратова. А сейчас вот неподвижно лежали на жесткой армейской попоне, и непривычная физическая усталость навалилась на них, сковав их тела и наполнив холодом сердца.

Между тем не спал в эту ночь и есаул Стрепетов в своей походной палатке. Набросив на плечи полевую шинель – его что-то знобило,– он долго сидел за столом, подперев подбородок руками и заглядевшись на трепетное пламя свечи. Его ординарец – вихрастый Санька Курташ – трижды напоминал ему о заваренном чае. Но есаул или не отвечал, или гнал его прочь. Просидев так около двух часов, есаул вдруг позвал ординарца и, приказав ему сесть против себя на складной брезентовый стульчик, вполголоса спросил:

– Слушай, братец, а не знаешь ли ты, чьих рук это дело с сотником?

– Никак нет. Помилуй бог, ваше высоко...

– Ну хорошо. Хорошо. Не божись. Верю,– перебил его есаул.– Впрочем, я этого от тебя не требую. Но дело вот в чем. Рано или поздно виновных найдут. Военно-полевой суд в таких делах крут на расправу...

Словом, вот что дружок. Валяй-ка сию минуту предупреди молодцов. Если не хотят под расстрел – пусть скроются. И немедля. А куда – это уж их дело.

Ординарец, изменившись в лице, хотел было что-то сказать есаулу – не то возразить в чем-то, не то сослаться на свое неведение. Но есаул повторил свои слова тоном приказания. Курташ, вскочив с походного стульчика, вытянулся во фронт.

– Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Будет исполнено,– и тотчас исчез из палатки.

Многое передумал, о многом припомнил есаул Стрепетов в эту тревожную бессонную ночь. Заслонив воспаленные глаза сухой горячей ладонью, он словно пристально вглядывался в минувшее. И как это часто бывает в минуты душевного напряжения, картины былого возникали, чередуясь, с необычайной яркостью. Омский кадетский корпус. Друзья-однокашники, узкий полулегальный товарищеский кружок под эгидой землячества и душа этого кружка рослый, широкоплечий кадет с веселыми глазами Валериан Куйбышев.

Не все тогдашние кадеты – члены этого кружка – ушли вслед за своим вожаком Валерианом в профессиональные революционеры. Не ушел за ним и Алексей Стрепетов. Однако, оставшись кадровым офицером в армии, он не утратил былой духовной связи с друзьями по корпусу. Впрочем, связь эта – с иными из них – была не только духовной. Так, с ушедшими вместе с Валерианом Куйбышевым в революционное подполье кадетскими воспитанниками – Сашей Виноградовым, Сергеем Рокотовым и Афанасием Елковым – Алексей Стрепетов не терял практически своих связей и поныне. Покинув армейскую службу, они перешли на нелегальное положение и жили – в разных местах Петропавловского, Кокчетавского и Акмолинского уездов – по подложным видам на жительство, под чужим именем.

Судьбе было угодно иной раз сводить Алексея Стрепетова с этими людьми. Навещая время от времени по долгу службы войсковых атаманов уездных степных городков, Алексей Алексеевич случайно наткнулся на одного из своих друзей – Сашу Виноградова, который свел его с остальными, и каждый из них впоследствии доверительно признался Стрепетову в истинном своем положении. И каждому из своих друзей он дал слово офицера молчать.

Встречаясь порою с тем или иным из троих бывших детских воспитанников, живших по подложным паспортам, Стрепетов избегал вызывать их на откровенный разговор, а они, в свою очередь, видимо из соображений конспирации, проявляли по отношению к нему понятную осторожность. Однако из разговоров с ними Стрепетов сделал вывод, что за плечами этих людей стояло нечто большее, чем их революционно-пропагандистская работа среди казачьего сословия.

Чаще всего встречался Алексей Алексеевич Стрепетов с Сашей Виноградовым – по паспорту Михаилом Вдовиным, работавшим механиком на паровой мельнице в Кокчетаве – родине Валериана Куйбышева. И в последнюю их, прошлогоднюю, встречу Виноградов намекнул Стрепетову на свои связи с Валерианом Куйбышевым и с подпольщиками Томска. Он прямо сказал есаулу: «В случае нужды ты всегда, Алексей Алексеевич, можешь положиться на нас. У нас ребята надежные – выручат!»

Догадываясь, видимо, о назревавшем духовном кризисе Стрепетова, Виноградов участливо давал ему понять о том, что пути сближения его с революционным подпольем для него не заказаны. И Алексей Стрепетов, только теперь поняв это, вдруг просветлел душой и был благодарен не позабывшим о нем товарищам отмерцавшей юности.

Между тем о вольнодумстве есаула Стрепетова хорошо было известно не только в офицерской среде

полка – знало о том и прямое его начальство рангом повыше. До Стрепетова не раз доходили слухи о том, что его личностью интересовался даже сам атаман второго военного отдела Сибирского линейного казачьего войска генерал от инфантерии Савранский. Со слов полкового штабного писаря хорунжего Мити Боярского – давнего и верного своего приятеля – Алексей Алексеевич знал о секретном письменном запросе атамана Савранского, адресованном командиру полка полковнику Няшину насчет политической неблагонадежности строевого есаула Стрепетова. Не было только пока известно, какую характеристику дал на генеральский запрос командир полка Няшин. Но на лестные отзывы о нем Няшина рассчитывать Алексей Алексеевич не мог: слишком хорошо ему было ведомо настороженно-подозрительное отношение к его персоне со стороны полкового начальства.

Словом, круг замыкался. Пора было принимать решение. И Стрепетов со свойственной ему непреклонностью, не колеблясь, принял его.

Он верил в доброжелательность друзей былой юности и знал, что любой из них окажет ему надежную поддержку в трудную для него минуту. Но в то же время он понимал, что с переходом на нелегальное положение ему придется искать убежище вне пределов городов и станиц Горькой линии,– слишком многие из ее старожилов лично знали его, чтобы мог он избежать провала.

Выходило, надо было подаваться куда-нибудь в глубь Восточной Сибири – хотя бы в тот же Томск, где, по намекам Саши Виноградова, ютилось ядро подпольной революционной организации.

Итак, отныне для армейского есаула Стрепетова начиналась иная – не скупая, надобно полагать, на риск, на лишения, на беды и грозы – жизнь.

Светало.

Есаул достал из полевой сумки толстую гимназическую тетрадь в плотном клеенчатом переплете, подаренную ему в канун похода Наташей Скуратовой. Бережно вырвав из этой тетради две развернутые страницы, он стал писать на них своим угловатым и резким почерком.

«Пишу в минуту большого душевного смятения и огромной тревоги за Вас, далекая теперь от меня, степная моя птица! Судьбе и богу угодно было свести меня с Вами только для того, видимо, чтобы жить затем долгие годы теплом Вашего душевного света. Случилось так, что я вынужден буду покинуть полк и армию и уйти по доброй воле на все четыре стороны в поисках иных занятий и иного приюта. Не стану Вам объяснять причин, побудивших меня к этому. Все – сложно и длинно. Одно скажу – не из трусости, не из боязни быть разжалованным и посланным в штрафную роту: у трибунала могут найтись такие основания,– нет, Наташенька. «Познал я глас иных желаний, познал я новую печаль», если говорить словами нашего Пушкина. И если суждено еще будет нам когда-нибудь встретиться с Вами, я расскажу Вам многое, и Вы, надеюсь, поймете и оправдаете меня тогда, чего не сможете сделать сегодня,– и я понимаю Вас. Будьте же счастливы.

Преданный Вам *Алексей Стрепетов.*

30 июня 1914 г. Полковой бивак».

Над безлюдной, преисполненной тихой печали, печально-мглистой от ковыльных волн степью вставало хмурое, не сулившего погожего дня утро.

В седьмом часу утра, когда личный состав полка был выстроен на передней линейке для поверки, дежурный по казарме, где размещалась вторая сотня, доложил дежурному по лагерю подхорунжему Раскатову об исчезновении трех казаков вверенной ему сотни. Рапортуя подхорунжему об исчезнувших казаках,

дежурный вполголоса назвал их фамилии. Но все уже знали, что это был Федор Бушуев с двумя своими приятелями, Андреем Праховым и Пашкой Сучком.

Об исчезновении же есаула Стрепетова и его ординарца в лагере еще не знали.

32

Спустя три дня после трагедийного воскресенья казаки мятежного полка были подняты чуть свет по сигналу сторожевой трубы и выстроены на передней линейке. Младшим офицерам полка, явившимся на лагерный плац при холодном оружии, было предложено оставить шашки в казармах и вернуться в строй без оружия.

Над степью занимался мглистый рассвет – предвестник знойного дня. Было что-то тревожное в этом сумном и трепетном свете неяркой утренней зари, в косых полетах чаек над озером, в мелком дрожании крыл пустельги. Тревожно вели себя и прибывшие в полк офицеры, толпившиеся вокруг войскового старшины Игнатия Шмонина. Вполголоса переговариваясь между собою, они настороженно озирались по сторонам, бросали воровато-косые взгляды на казаков, выстроенных развернутым фронтом. Тревожно было и на душе у казаков, почуявших неладное в этом раннем офицерском визите в полк и в приказании войскового старшины о разоружении урядников.

Когда полк замер по команде «смирно», войсковой старшина – вопреки войсковым правилам,– не поздоровавшись с казаками, скомандовал:

– Справа по шести, шагом марш!

Полк, развернувшись направо, перестроился, образовав колонны по шести казаков в каждой.

– Прямо, шагом марш!– скомандовал Шмонин.

И казаки тронулись в пешем строю на север от лагеря, в степь, туда, где ясно виднелись в утренней

дымке вершины обнаженных и диких сопок, замыкавших большую долину, служившую отличным полигоном для учебной стрельбы. Вот в эту-то долину, замкнутую с трех сторон сопками, а с четвертой – перерезанную рекой и привели казаков мятежного полка, выстроив здесь их снова развернутым фронтом.

Офицеры, окружавшие войскового старшину, выстроив полк на полигоне, тотчас скрылись за сопкой, и казаки остались одни.

Прошло битых три часа, а офицеры не показывались, и казаки продолжали стоять в вольном строю одни.

Между тем жаркое и яркое августовское солнце начинало палить яростно и немилосердно. Каменистый, почти лишенный растительности полигон накалился, как сковорода. На нем теперь было трудно стоять даже в армейских шагреневых сапогах – раскаленная кремнистая почва прожигала кожаные подошвы.

Наиболее дюжие и выносливые из казаков находили еще в себе силы сдабривать разговор невеселой шуткой.

– Вот говорили, что прямым маршем в рай пойдем, а выходит – с ходу в ад попали.

– И то правда – настоящая преисподня. Только чертей не видно.

– Черти не дураки. Они в холодке за сопкой сидят.

– Правильно. Главного сатану дожидаются.

Курносый, похожий на подростка, казачишка Михейка Сукманов то и дело всех спрашивал:

– Братцы, неужели в нас стрелять станут?

– А ты думал – мимо?! На то и полигон, штобы лупить по мишеням.

– Это мы-то – мишень?!

– Ишо какая – лучше не придумаешь!

А во второй половине дня, когда приумолкли измученные жарой, тревогой и жаждой даже ухари и острословы, полк, инстинктивно сомкнувшись в ряды, насторожился. Пристально присмотревшись к подернутой знойной дымкой степи, что видна была сквозь проем двух угрюмых сопок, казаки заметили идущую на рысях конную кавалькаду, в центре которой гарцевал на рослом белом коне такой же рослый и белый – от серебряной бороды и генеральского кителя – всадник. Почти одновременно с конной кавалькадой на склонах всех сопок показалась точно выросшая из-под земли пехота.

Все это произошло в одно мгновение. Солдаты, залегшие в цепь, выставили перед собой станковые пулеметы, замкнув казаков в кольцо и взяв их под прицел пулеметов.

Вынырнувший из-за сопки войсковой старшина, держась от казаков на довольно далекой дистанции, отдал команду:

– Сомкнуть взводы. Равнение направо. Смирно!

Казаки замерли, взяв равнение направо. Осадив своего белого, как лебедь, коня шагах в ста от казаков, всадник в белом кителе – это был генерал от кавалерии Усачев – вместо приветствия крикнул глуховатым старческим басом:

– Я требую немедленной выдачи виновников бунта!

Казаки молчали. Было тихо. Белый генеральский конь, закусив удила, бил копытом кремнистую землю полигона, и она гудела глухо, как бубен.

– Вы слышите?! Я требую выдать мне сейчас же виновных!– повторил генерал.

Полк молчал. Проскакав на полном аллюре вдоль фронта туда и обратно, генерал, привстав на стременах, высоко поднял над головой белую из тонкого шелка парадную перчатку и крикнул:

– Даю вам пять минут на размышление. И если через пять минут виновники не будут мне выданы, я сотру

вас с лица земли, как позорное племя бунтовщиков. Достаточно взмаха моей перчатки – и на вас обрушится ливень огня двенадцати пулеметов. Итак – пять минут!

Вдруг из дрогнувших рядов левого фланга выступил вперед пожилой, крепко сбитый казак с черной бородой. Не доходя до генерала пяти шагов, он стал как вкопанный и громко отрапортовал:

– Во всем виноват я, ваше высокопревосходительство. Принимаю всю вину на себя.

Остолбеневшие казаки узнали в бородатом однополчанине Авдея Ивановича Лузина – крестного дядю Федора Бушуева, пошедшего в действующую армию добровольцем.

Генерал, ошарашенный неожиданным рапортом престарелого казака, на мгновение растерялся. Но тут же, придя в себя, проговорил:

– Ага. Но этого мало...– И он тотчас же приказал толпившимся позади него всадникам в офицерских погонах убрать с полигона старого казака.

Офицеры, окружив Авдея Лузина, отвели его в сторону, передав затем подбежавшим с винтовками наперевес солдатам.

Между тем казаки, продолжавшие молча стоять в строю, знали, что Авдея Лузина и в лагере-то не было в день этого страшного происшествия. Старик прибыл в полк только на второй день после катастрофы, когда в полку уже было обнаружено исчезновение трех казаков и есаула Стрепетова, бежавшего, как поговаривали вместе с казаками.

Спустя полчаса, когда по приказанию генерала был выведен из строя и взят под ружье каждый девятый, когда постигла такая же участь и всех казаков, дежуривших в сотнях в день убийства Скуратова, остальных казаков погнали под конвоем пехоты в лагерь. Черные от зноя и жажды, обреченно поникшие, они походили на арестантов.

33

В ту же ночь, когда стрепетовский ординарец Санька Курташ, вызвав Федора Бушуева из казармы, сказал, что есаул советует им скрыться, Федор, посовещавшись с приятелями, решил-таки сделать, как предлагал есаул. А перед рассветом, когда замертво спал весь лагерь и ливень с ветром бушевал в окрестной степи, тройка беглецов, попадав на своих оседланных строевиков, покинула лагерь.

Решившись на побег, Федор сказал приятелям:

– Дорога у нас одна – к Салкыну.

– Будет ли прок-то?– усомнился Пашка Сучок.

– Попытка не пытка,– ответил Федор.

– А не податься ли нам в степь? Там на первых порах можно будет у тамыров укрыться. Есть у меня там на примете такие...– сказал Андрей Прахов.

– Нет, братцы. Без Салкына – я ни шагу. Да и уговор у нас был. Дескать, в случае чего – крой, мол, ко мне. Я, говорит, всегда тебя выручу,– сказал Федор.

И казаки, положившись на Федора, согласились с его резонными доводами, решившись на тайную встречу с Салкыном.

Совершив суточный марш,– день они провели, схоронившись с конями в дремучем сосновом бору,– беглецы на вторую же ночь достигли хутора Подснежного, расположенного в десяти верстах от родной станицы.

Шли они переменным аллюром в стороне от торных дорог и трактов, по целинной глухой степи, в обход встречных сел и аулов. И только хутор Подснежный, где жила Даша Немирова, не мог Федор Бушуев обойти стороной и провел своих спутников по единственной его улице на рысях, не сбавляя аллюра. Ночь была темная – хоть глаз выколи. Но Федор, несколько приотстав от спутников, все же различил в темноте неясные очертания знакомого дома, в гор-

нице которого горел свет. Придержав коня, Федор на секунду остановился около палисадника, густо заросшего кустами сирени и акацией. У него замерло сердце при взгляде на освещенное окно. Он привстал на стременах и затаил дыхание. Но как ни напрягал он свои по-орлиному зоркие глаза, ему ничего не удалось увидеть за наглухо закрытой занавеской. О, как дорого заплатил бы он сейчас, чтобы хоть на мгновение увидеть Дашу.

Но вот легкая, как крыло птицы, тень промелькнула за занавеской. Затем мелькнула поверх занавески обнаженная по локоть девичья рука. Огонь погас.

И Федор, пришпорив своего нервно подрагивающего строевика, поскакал во мглу вслед за своими спутниками. За час до рассвета беглецы, спешившись на берегу озера, где стояла хлызовская мельница, оставили коней в камыше, связав их поводьями, а сами воровски прокрались к стоявшей на отлете саманной сторожке, где жил Салкын.

Спустя полчаса беглецы сидели у столика, заваленного книгами, с жадностью пили, обжигаясь, горячий чай, наскоро приготовленный расторопным хозяином. И Салкын, выслушав гостей, сказал после раздумья:

– Ну что ж. Никуда не денешься. Придется что-то придумывать, выручать из беды вас, товарищи...

Помолчали. Прислушались. Было тихо.

Салкын сказал:

– Прежде всего надо припрятать до света ваших коней.

– Куда же?– спросил Федор с тревогой.

– Найдем куда,– успокоил его Салкын.

– А мы?

– Переднюете у меня. Хозяина, кстати, дома нет – шлятся где-то по ярмаркам. Мельница на ремонте. Стало быть, посторонних здесь – ни души. Словом, вам повезло, ребята... Ложитесь и отсыпайтесь пока подобру-поздорову. Утро вечера мудренее.

И казаки, успокоившись, улеглись вповалку прямо на пол, на разостланное хозяином рядно.

Какие-то там минуты две-три они, увязая в нахлынувшем на них вязком и зыбком сне, бессвязно вполголоса переговаривались.

– Как-то теперь наш есаул?– вспомнил Федор о Стрепетове и глубоко вздохнул.

– Да-а, вот уж истинным был отцом он для нас с вами, братцы!– прошептал кто-то.

– Не говори, братец...– протянул сонным голосом Пашка Сучок.

– Спас он ведь нас, братцы, подбив на побег... Я в его верую!– утвердительно сказал Федор.

Они замолчали. Пережитое душевное потрясение, бессонная ночь накануне и, наконец, этот сумасшедший марш сквозь ночную мглу, когда каждую секунду ждали они погони,– все это было теперь уже позади. И беглецы, впервые за эти сутки почувствовав нечеловеческую усталость, тотчас же заснули как убитые.

...Разбуженные на рассвете вооруженным отрядом одностаничников, казаки долго не могли понять, где они и что с ними. И только увидев пристава Касторова, брезгливо роющегося в книжках Салкына, они наконец пришли в себя и все поняли – круг замкнулся.

Беглых казаков, арестованных в сторожке Салкына, временно заточили вместе с приютившим их хозяином в каталажке станичного правления, где кроме них сидело несколько казахов во главе с Садвакасом.

В камере было тесно и душно. Избитый казаками Садвакас, страдая от боли, сидел часами неподвижно в углу и, обхватив руками бритую голову, глухо стонал или шептал слова какой-то молитвы.

– Да замолчи ты, ради Христа, азиат. Дай покою. Не выматывай душу,– раздраженно ворчал Федор.

Садвакас умолкал на минуту. И Федор, участливо тронув его за руку, спрашивал по-казахски:

– Ну как, тамыр, очень больно?

– Уй-баяй, все тело горит,– отвечал Садвакас, покачиваясь, как маятник, из стороны в сторону.

– Да, здорово они тебя, подлецы, отсоборовали, а за што – одному богу известно.

– Вот именно, одному богу,– говорил Салкын.

Умолкнув, арестованные тупо смотрели в пропитанную духотой мглу, отдаваясь невеселым размышлениям о будущем. Федор отлично понимал, что следственная комиссия докопается до прямых виновников убийства сотника и что ничего, кроме расстрела, его в таком случае впереди не ждет. Но, понимая это, он не заводил об этом разговора с Салкыном. Им овладело какое-то равнодушие ко всему на свете. И даже Даша стала теперь для него какой-то чужой, отрешенной. Все было кончено для него. Он это знал. И, как ни странно, ему хотелось сейчас одного: скорейшей расплаты.

От одного из казахов, втолкнутого в камеру вместе с бушуевским работником Максимом, арестованные наслышались о том, что творилось сейчас в окрестных аулах. Джатаки, местами объединившись в конные отряды, совершали по ночам набеги на линейные казачьи станицы, отбивали и угоняли в степь косяки лошадей, выжигали скирды казачьего сена, а кое-где завязывали со станичниками потасовки, похожие на настоящие бои.

Салкын, внимательно выслушав рассказы казаха, задумался и долго сидел молча, невпопад отвечая на редкие, бессвязные вопросы Федора. А глубокой ночью, когда все в камере забылись коротким и чутким сном, Салкын, тронув за руку Федора, шепнул:

– Не спишь, Федя?

– Ни в одном глазу.

Помолчав, Салкын сказал шепотом:

– Знаешь, друг, что я надумал?

– Говори, коли не секрет...

– Есть один у нас выход с тобой из этой ловушки – бежать.

– Это куда же?

– В аулы. В степь.

– Да ведь это только легко сказать – бежать, а как?

– Ну, это уж не твоя забота. Тут уж ты положись на мою сноровку. Не из таких казематов, было дело, мы с товарищами уходили. А уж из этой скворешни как-нибудь выберемся. Была бы только охота.

Помолчав, Федор спросил:

– Допустим, мы сбежали. Допустим, скроемся где-нибудь у степных тамыров. Ладно. Согласный. А дальше что?

– Там будет видно – что. Воля подскажет...

И странно, что Федор, до сих пор не думавший об этом, воспринял теперь эту простую мысль Салкына как некое откровение, сразу же проникнувшись горячим желанием во что бы то ни стало вырваться из-под стражи и уйти от суда. А вместе с этим как рукой с него сняло былое отупение и равнодушие. И ни следа не осталось от той покорности, которая возникла в нем с момента ареста и не покидала его до сей поры. Мысли о том, что он может оказаться на воле, дышать милым сердцу запахом горькой степной полыни, увидеть когда-нибудь Дашу, до того захватили его, что он уже не мог теперь спокойно лежать на нарах.

– Давай выручай, приятель. Заставь по веки богу молиться. Делай со мной что хочешь. В огонь и в воду за тобой пойду. Вернее меня друга не будет. Любую клятву дам – не подведу.

– Не клянись. Сейчас надо придумать, как нам отсюда выбраться. И потом – не одним же нам уходить. Если уж идти – идти всем скопом. Надо забрать с собой и казахов.

– А если они не согласны?– усомнился Федор.

– Придется уговорить.

– Я потолкую сейчас с Садвакасом. Он тут у них, видать, не из робкого десятка джигит, и они его слушают.

– Правильно. Попытай его по-казахски,– одобрил Салкын.

И Федор тут же, осторожно тронув за руку лежавшего рядом Садвакаса, разбудил его и поделился с ним идеей о побеге. Выслушав Федора, Садвакас горячо пожал ему руку, и Салкын услышал, как казах сказал по-русски и по-казахски:

– Правильно. Друс, тамыр.

А на вторую ночь все арестованные, посвященные в план побега, горячо принялись за работу. Перед рассветом, когда сторожившая их наружная охрана забылась в мирной дремоте, Салкын взялся за разбор печной трубы. Бесшумно вынимая кирпичи, Салкын подавал их Федору, а Федор осторожно и так же бесшумно передавал их в руки товарищей. Работали затаив дыхание, в абсолютной, настороженной тишине. Не прошло и четверти часа, как в открытое потолочное отверстие пахнуло сыростью непогожей, темной ночи; и Салкын, приподнятый Федором и Садвакасом, первым поднялся на потолочное перекрытие. За ним последовали друг за другом все остальные.

Очутившись на чердаке станичного правления, беглецы прислушались к ночи. Дождь шумел по железной крыше, и могучие тополя станичного сада гулко гудели.

– Золотая погодка!– шепнул на ухо Федору Салкын.

Вскоре они выбрались один за другим через слуховое отверстие на крышу здания и, следуя примеру Салкына, стали поочередно спускаться по водосточной трубе на землю.

Благополучно спустившись с крыши, они прошли цепочкой по темному саду; а затем так же неслышно и

ловко перемахнув через невысокую изгородь, подались в крепостные валы.

В степи царила кромешная мгла. Дождь поливал как из ведра. Не было видно ни зги.

Федор шел впереди. Голова кружилась от вольного степного воздуха; и он жадно глотал его, хмелея от этой прохладной ночи, от веселого проливного дождя, от порывистого встречного ветра, от ощущения простора, воли, свободы.

Беглецы уходили все дальше от станицы в глухую степную сторону, рассчитывая на дружеский приют в юртах джатаков.

34

После убийства сына казаками мятежного полка старый Скуратов, наглухо закрывшись в своем имении, в течение недели не допускал к себе никого даже из тех станичных властей, с которыми связан был в прошлом прочной и длительной дружбой. Однако, услышав о бегстве из-под ареста казаков, заподозренных в убийстве Аркадия, полковник как бы пришел наконец в себя – и вдруг проникся таким ожесточением против бунтовщиков, какого не испытывал даже тогда, когда услышал о гибели сына. Вызвав через своего ординарца атаманов подвластных ему линейных станиц, Скуратов напал на них.

– В рядовые разжалую! На каторгу запеку!– кричал, почернев от гнева, старый Скуратов на вытянувшихся перед ним в струнку атаманов.– Как вы смели допустить бегство этих головорезов?! Позор! Позор!– орал старый полковник, брызжа слюной в лицо побледневшего атамана Муганцева.

– Ваше высокоблагородие!– проговорил, улучив минуту, Муганцев.– Осмелюсь доложить, что прямое участие в убийстве вашего сына случайно задержанных

нами казаков – Федора Бушуева, Андрея Прахова и Павла Сучка – пока еще не доказано...

– Молчать! Это не давало вам права разевать рты и создавать им возможности для побега.

– Помилуйте, ваше высокоблагородие!

– Молчать! Никаких оправданий. Засужу. Головой мне ответите, атаман, за бегство изменников!– продолжал кричать прослезившийся от бешенства Скуратов.

Наконец вволю набушевавшись, старый полковник опустился обессиленно в кресло и умолк, прикрыв ладонью глаза. После длительной паузы он, как бы очнувшись от забытья, совсем глухим, отрешенным голосом тихо проговорил:

– Ну, что там в степи? Докладывайте поочередно.

– Осмелюсь доложить, ваше высокоблагородие,– робко начал Муганцев,– что за последнее время участились набеги азиатских шаек не только на нашу станицу, но и на прочие казачьи поселения на Горькой линии вверенного вам военного отдела. Вчера на рассвете вблизи станицы Преснорeдутской казаками была перехвачена земская тройка, прискакавшая в станицу без ямщика и седока – акмолинского штабс-капитана Гриневича. А в районе хутора Становского вчера уже в полдень был найден труп пристава Боярского.

– Все это мне известно без вас, господа атаманы,– так же глухо проговорил Скуратов, не поднимая глаз.– Я желаю слышать от вас одно: какие меры приняты вами, во-первых. Во-вторых, мне угодно знать, что вами предпринято для немедленной поимки беглецов.

Переступив с ноги на ногу, переглянувшись с атаманами, Муганцев недоуменно пожал плечами и совсем неуверенно проговорил:

– Не имея на сей счет прямых указаний вашего высокоблагородия, мы, однако, выслали в степь на

рекогносцировку два конных разъезда численностью в сорок сабель...

– Так. И каковы результаты?

– Сведений пока не имеем.

– А что делается в других станицах? Атаман Ведерников, докладывайте, как у вас,– обратился Скуратов к станичному атаману станицы Пресногорьковской.

– Положение в нашей станице, ваше высокоблагородие, такое же, как и на всей Горькой линии,– отрапортовал атаман Ведерников.– В аулах продолжается брожение умов...

– Ну, хватит городить мне об этом брожении,– раздраженно прервал Ведерникова Скуратов. И старик, вновь вскочив как ужаленный, забегал с несвойственной, его возрасту прытью по кабинету и снова вспылил:

– Что за вздор вы несете здесь, господа?! Где ваша смелость и собственная инициатива? Не разъезды– полки вооруженных до зубов казаков давно надо было выслать в степи. Это вам ясно?

– Так точно,– откликнулся атаман Ведерников.

– Да, да. Именно – полки. По крайней мере, не менее четырехсот сабель должны выдвинуть в степь из каждой станицы. Пора пройтись огнем и мечом по аулам. Пора проучить мятежные орды. Я приказываю: любой ценой доставить мне живых или мертвых изменников, бежавших из-под ареста. Это – раз. Доносить мне лично дважды в день – утром и вечером – о ходе боевых операций. Это – два. Не позднее сегодняшнего вечера выслать в мое личное распоряжение вооруженный взвод казаков – три,– заключил Скуратов, обращаясь к Муганцеву.

– Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Все будет исполнено,– отчеканил Муганцев.

И станичные атаманы, откозыряв полковнику, гуськом покинули его кабинет. Попадав на лошадей они

поскакали во весь карьер в свои станицы выполнять приказ.

А уже к вечеру этого же дня из пяти линейных станиц вышли в степь наспех сформированные, вооруженные огнестрельным и холодным оружием сотни казаков. Вышла в степь и сотня добровольцев под командой урядника Балашова из станицы Пресновской. Продвинувшись за ночь километров на двадцать в глубь степи, казаки, не рискнув показаться в немирных аулах ночью, спешились возле одного из курганов и решили дождаться рассвета. Выставив в направлении степи сторожевое охранение и вручив своих лошадей специально выделенным для этого коноводам, станичники уселись в кружок за курганом с подветренной стороны и, осторожно покуривая – огня зажигать не разрешалось,– вполголоса переговаривались:

– Вот ишо не было, братцы, печали, да черти накачали...

– Одно слово – беда.

– Беспокойное выдалось лето.

– Куды беспокойнее. Война, как снег на голову. Сена погорели. Хлеба крошатся. Словом – зарез.

– Вот так Касьян! Год-то ведь нынче високосный.

– Орду, говорят, политики смущают.

– Конешно, политики. Их работа.

– А откуда они взялись, политики-то?

– Как откуда?! Из Расеи. Понаперло их в наши края видимо-невидимо. Сплошное варначье – не люди. Без чалдонов-то мы, братцы, с ордой в мире жили.

– Тоже, сказал мне – в мире! Весь век на ножах живем с азиатами. Что тут греха таить... Недаром стары люди сказывают, что в прежние времена из станиц ни девке, ни бабе нельзя было показаться за линейной гранью. Как какая, слышь, баба разинет рот, подцепит ее своим арканом кыргыз – и поминай как звали... Вот тебе и в мире жили!

Маленький, подвижной и бойкий казачишка из соколинцев Агафон, по прозвищу Бой-баба, понизив голос, спросил:

– А правда, што будто ссыльный генерал от инфантерии возглавил Азию и ведет из Семиречья на нашу линию войско из варначья, кыргыз и переселенцев?

– Кто это тебе брякнул?

– Ходит слух...– уклончиво ответил Агафон Бой-баба.

– Ну хватит вам буровить, господа станишники. Перед делом вздремнуть надо,– сказал урядник Балашов.

И станичники приумолкли. Всех их теперь беспокоило одно обстоятельство: что-то долго не возвращались трое казаков, посланных урядником на рекогносцировку в сторону аула. До аула отсюда не больше пяти верст. С момента выезда казачьего разъезда прошло уже около двух часов, а разведчики не возвращались. И почуяв в этом неладное, станичники притихли, настроженно прислушиваясь теперь к каждому звуку.

...Между тем казаки, выехавшие на разведку втроем, вдруг обнаружили исчезновение самого молодого и храброго из них разведчика Егорки Шугаева. Проехав версты три от казачьего бивака, двое из разведчиков, ехавших рядом, придержали коней, чтобы подождать замешкавшегося Егорку. Прошло пять, десять минут, а Егорка не появлялся. Он не ответил даже на их условный свист, похожий на рыдающий крик чибиса.

– Нет, тут, брат, что-то не то,– сказал шепотом седой бородач Матвей Ситохин.

– Да тут какая-то притча...– согласился с ним сутулый и неповоротливый казак в годах Касьян Шерстобитов.

А в то время, когда разведчики терялись в догадках, куда делся казак, перепуганный Егорка лупил глаза на долговязого джигита и трясся, как в лихорадке. Егорка никак не мог понять, как случилось, что он, приотстав

от своих товарищей, вдруг очутился в руках этих невесть откуда взявшихся людей, среди которых были как будто казахи и русские. Отстав от своих спутников по разведке, Егорка решил, вопреки запрещению урядника, побаловаться куревом. Придержав резвого своего конька-горбунка, он свернул папироску, набил ее разуполенной вишнячком махоркой и, хоронясь от ветра, хотел было прикурить. И вот в это-то мгновенье и приключилось с ним то, чего он толком не мог понять с перепугу, стоя сейчас перед джигитом.

– А ловко, тамыр, спешил ты этого шибздика свершной своим арканом,– сказал по-казахски кто-то из темноты, и Егорка понял, что это сказал русский.

– Да, прямо скажем – чистая работа!– сказал по-русски кто-то глуховатым голосом.

– Жаксы. Жаксы,– слышалось из темноты.

Егорка плохо понимал по-казахски, но все же кое-что понял.

– Шашку с него, не забудь, сними,– прозвучал все тот же глуховатый голос.

– Шашку снял. Конь и винтовка с патронами – все наше. А с ним что делать?– спросил джигит, деловито рывшийся при этом в переметных сумах Егоркиного седла.

– Снять с него штаны да отпустить с богом восвояси.

– Друс. Друс. Правильно,– сказал джигит, засмеявшись.

Егорка похолодел. Не хватало еще, чтобы он без штанов к казакам явился! Но все, слава богу, обошлось относительно благополучно. Спешив и обезоружив Егорку, неизвестные люди отпустили его на все четыре стороны, сами исчезли во мгле.

Незадачливые же разведчики, так и не дождавшись Егорки, вернулись на бивак и ничего не могли сказать толком уряднику ни о Егорке Шугаеве, ни об ауле, до которого они так и не доехали.

И только уже перед самым рассветом явился на бивак обескураженный, жалкий Егорка без коня, без винтовки и шашки. Даже новую касторовую казачью фуражку посеял где-то в степи Егорка и только теперь вспомнил о ней.

– Как же так, болван, ты им попался?– орал на него урядник Балашов, то и дело маяча своим пудовым кулаком под носом Егорки.

– Так что не могу знать, восподин урядник.

– Да они што, окружили тебя внезапно?

– Так, выходит...

– Сколько их было?

– Не могу знать...

– А зенки где твои были – во лбу?

– Так точно – на месте...

– Какой же ты, к черту, казак, если даже численности противника не заметил!

– Виноват, восподин урядник. В растерянных чувствах был. Виноват...– тупо бубнил Егорка, сгорая от стыда перед окружившими его одностаничниками.

После долгих и бестолковых допросов, учиненных Егорке, поняли только одно, что обезоружившие Егорку люди были не кто иные, как станичные беглецы во главе с Салкыном и Федькой Бушуевым.

– Под полевой суд тебя, сукина сына, тогда ты у меня узнаешь!– заключил урядник Балашов, все-таки наградив одним подзатыльником Егорку.

– Так точно. Теперь мне туды прямая сообщения,– согласился Егорка.

Посоветовавшись со старыми станичниками, урядник решил взять на всякий случай Егорку под стражу и отправить его с конвоем в станицу.

А на рассвете воинственная сотня урядника Балашова ворвалась с обнаженными клинками и с криками «ура» в сонный аул джатаков. К удивлению станичников, в ауле были только ветхие старики,

женщины и дети. Спешив сотню и передав лошадей коноводам, урядник отправился с казаками по юртам.

– На колени, туды вашу мать!– кричал Балашов перепуганным старикам и казашкам, врываясь в юрту.

Не понимая ни слова по-русски, обитатели этих жалких жилищ бормотали, сбиваясь в кучу:

– Уй-баяй, капитан!

– Уй-бой, атаман!

–Отвечай мне по-русски, где хозяин?!– кричал Балашов, наступая на старую женщину в грязном и ветхом головном уборе – джаулыке.

– Мен бильмеймин,– бормотала старуха.

– Мен бильмеймин,– шепелявил старик с древней бородой в широкой и длинной рваной рубахе, едва прикрывавшей его тощее, костлявое тело.

– Бильмеймиз! Бильмеймиз!– лепетали вслед за старшими прятавшиеся за подолы матерей и бабушек полуголые казашата.

– Язык, подлецы, отнялся?!– ревел урядник Балашов, зловеще играя обнаженным клинком.

– Не верь им, собакам, восподин урядник. Врут они, что не знают, где их джигиты. Все врут. Я их насквозь вижу!– кричал Касьян Шерстобитов.

Так и не добившись ничего от стариков и женщин о том, куда исчезли из аула джигиты, станичники решили расположиться на дневку. Выдворив из юрты, что была получше на вид, многочисленное семейство джатаков, урядник устроил здесь нечто вроде штаб-квартиры, приказав выбросить над юртой трехцветный флаг. А станичники занялись заготовкой свежего мяса для предстоящего пира. Засучив рукава, они, как дошлые маркитанты, свежевали бараньи туши, разжигали под казанами костры.

Джатаки притихли. Седобородый мулла успокаивал плачущих женщин.

– Не плакать – молиться надо,– поучительно и сурово говорил мулла.

– Как же не плакать мне, если они закололи последнюю мою овцу и козленка?! Кого же мне принести теперь в жертву на празднике Курбан айт?– голосила старая женщина.

– А у моего ягненка уже вырастали рога. Мой ягненок был бы к осени настоящим бараном,– причитала другая казашка.

– Не плачьте,– строго и властно сказал мулла.– На том свете грешник переедет через ад на быке или лошади. Стоит ли плакать о баране?! Молитесь и ждите, когда аллах дарует вам настоящий скот – быка или лошадь.

Между тем урядник Балашов в своей штаб-квартире диктовал сотенному писцу Панфилке Карманову рапорт на имя станичного атамана. Развалясь в позе утомленного ратными подвигами воина, урядник говорил:

– Пиши так. Не доходя аула Билимбая на расстояние двух верст, киргизы встретили нашу сотню беглым оружейным огнем, и мы под ураганным дождем кидаемых в нас каменьев атаковали аул. Казаки вверенной мне сотни ворвались на плечах мятежников...

– Куды ворвались?– спросил Панфилка.

– Не перебивай, дурак,– оборвал его урядник.– Пиши дальше... Ворвались на плечах исчезнувшего яко дым, противника в аул, где взяли некоторые трофеи...

– Какие трофеи?– спросил с простодушным удивлением Панфилка.

– Ну, об этом можно не писать. Атаман – не дурак. Сам понимает – какие,– заключил урядник.

35

На вторые сутки после ночного марша по безлюдной и пустынной степи – из предосторожности они шли только ночью, а днем отсыпались, хоронясь в густых озерных камышах,– беглецы достигли того аула, в который вел их Садвакас. Всадник, посланный ими в

этот аул на резвом коньке-горбунке Егорки Шугаева, рассказал совету старейшин аула об обстоятельствах побега и о людях, которые шли теперь из русской крепости, рассчитывая на защиту и покровительство людей степи.

И совет старейшин аула, с радостью приняв добрую весть о бегстве Садвакаса и остальных джигитов, не очень обрадовался, что вместе с джигитами шли в аул и бежавшие из-под ареста русские люди.

– Как бы не было худа нам от этих русских,– предостерегающе сказал один из седобородых.

– Нет, аксакал, это наши друзья,– возразил ему джигит, прискакавший в аул с известием о побеге арестованных.

– Откуда ты знаешь это, джигит?

– Не верите мне, спросите у Садвакаса,– ответил джигит.

А в полночь, когда беглецы переступили порог юрты, в которой находился совет старейшин аула, их встретили здесь со всем присущим степному народу радушием и гостеприимством. Усадив Садвакаса, Салкына и Федора со спутниками на почетное место, их прежде всего угостили густым ароматным кумысом, чаем и свежими баурсаками. Таков обычай степи. Не накормив путника, нельзя с ним заводить делового разговора и спрашивать его о том, кто он и куда держит путь. И только потом один из старейшин спросил Садвакаса:

– Кто эти люди, которых привел ты в аул?

– Мои друзья, наши друзья,– сказал Садвакас.

– Русские наши друзья?!– со сдержанным удивлением воскликнул другой из старейшин.

– Да, эти русские – наши друзья,– сказал Садвакас.– Мы сидели вместе с ними под одним замком, одна участь ждала нас с ними, если бы не удалось бежать нам вот при помощи этого батыра,– указал Садвакас на Салкына.

– Кто он такой, и много ли скота у него, и много ли пашни?– спросил старейший из рода, указывая на Салкына.

– Он такой же джатак, как и я,– сказал Садвакас – Ни скота у него нет, ни пашни. Ничего у него нет, кроме рук и головы на плечах.

– А за какие грехи посадили его вместе с тобой под замок в русской станице?– спросил все тот же старейший из рода.

– За то же, за что схватили в степи меня, избили и бросили за решетку,– ответил Садвакас.

– Но тебя же схватили за то, что ты сын степи – казах.

– Нет, аксакал, не за это.

– За что же, джигит?

– За то, что я джатак. За то, что нет у меня ни своей юрты, ни коня своего, ни своего очага...

– Друс. Друс,– сказал Федор, отлично понимавший по-казахски, и он тут же наспех перевел Салкыну смысл разговора Садвакаса со старейшинами.

– Да, прав Садвакас,– сказал по-русски Салкын.– Я такой же джатак, как и он, и нам, русским джатакам, незачем враждовать с вами. Враждуют не русские с казахами. Враждуют бедные и богатые. Враждуют баи с джатаками у казахов, а кулаки с бедняками – у русских. Пусть мне скажут старейшие, чего же делить русскому бедняку с джатаком. Переведи им, Федор, мои слова, пусть они ответят мне на мой вопрос,– заключил Салкын, испытующе посмотрев на старейшин.

Федор перевел слова Салкына. Впав в глубокое раздумье, старейшины долго молчали. Наконец один из них, самый древний и почтенный на вид старик, сказал:

– Он прав, наш русский тамыр. Я вижу, бог не обидел его разумом. Пусть же скажет он нам тогда, что нам делать теперь и где нам искать защиты.

– Трудный вопрос, аксакалы,– признался Салкын, выслушав перевод.– Трудный вопрос. И я на него так отвечу: защиты искать пока всем нам надо в степи.

– Как – в степи?– спросил, не поняв на сей раз Салкына, даже Садвакас.

– Сниматься аулом с насиженных мест и кочевать подальше от линейных станиц. Переждать там это тревожное время. Это – единственный выход, пока. Другого ничего посоветовать не могу. Одно скажу – время для всеобщего народного мятежа еще не настало. А в одиночку каждый аул с вооруженными казаками ничего не поделает. И кроме новых бед, эти лихие набеги ваших джигитов на русские табуны и станицы ничего вам не принесут,– сказал Салкын.

Наступило всеобщее тягостное молчание. Слабые отблески угасающего очага озаряли суровые, окаменевшие лица степных людей, неподвижно сидящих вокруг костра в юрте.

Тогда старейший из рода, не поднимая опущенных глаз, спросил Садвакаса:

– А ты как думаешь, Садвакас?

И, помолчав, Садвакас решительно ответил:

– О том, что я думаю, все сказал мой русский тамыр. Я ушел с ним вместе из русской крепости. Я пойду с ним вместе и дальше. Я знаю – это надежный мой друг, друг джатаков. Я знаю это,– убежденно повторил Садвакас, крепко пожав при этом руку Салкына.

– Друс. Друс. Правильно. Молодец, Садвакас,– горячо сказал Федор, и впервые за много дней лицо его просветлело от улыбки.

А на рассвете, погрузив разобранные юрты и весь свой несложный скарб, тронулись джатаки в глубинную степь следом за конной кавалькадой джигитов, среди которых ехали и все беглецы.

36

Строевые кони нетерпеливо крутились около коновязей нерасседланными. Полк, сформированный из двух запасных нарядов и стариков-добровольцев, стоял в крепостных казармах. Все дороги, ведущие в

степь, были наглухо закрыты сторожевыми пикетами. Вокруг линейных станиц и днем и ночью рыскали лихие казачьи разъезды. Полковник Скуратов, перепуганный назревающим мятежом, окружив свое имение целым взводом вооруженных всадников, не вылезал в эти дни из усадьбы и посылал с нарочными рапорт за рапортом в адрес наместника края, докладывая Сухомлинову в таком тоне, словно мятежом и в самом деле была охвачена вся степная округа.

– Каюк нам пришел, воспода ребята,– сокрушались некоторые, не отличавшиеся храбростью казаки.

– Прямая гибель, станишники.

– Выбрали же время азиаты для бунта! То ли с ордой воевать, то ли хлеб убирать – не знаешь, за что взяться.

– Говорят, станицу Сандыктавскую в пепел сожгли...

– Правильно. Был слух. Сожгли.

– Ты скажи, сослуживец, што им, варнакам, от нашего казачества надо?

– Как што? Землю нашу отобрать норовят. Они спокон веков слободы добиваются,– говорил заросший никогда не чесанной бородой казак Викул Малыхин.– Прежде-то ведь орду не так с землей жали, как в нынешние времена. Подати, правда, были тяжки. Подать была покибитошна. Император предпишет своим воеводам: собрать, дескать, мне по два целковых с гривной с кибитки. А воеводы два целковых с гривной императору, а восемь гривен – в карман.

– Да, наживались. Позавидуешь!– откликались станичники.

– Ишо бы не наживались. Ить эта же голимый капитал, воспода станишники. Стары люди сказывают, што все ермаковцы и жить-то оттуда начали. Прадеды их на покибитошных податях разбогатели.

– Это фактура. От трудов праведных не наживешь палат каменных,– сказал Агафон Бой-баба.– Ты хвати меня. Я спустился с полка и с тех пор из работников не вылажу. А што нажил? В одном кармане – вошь на аркане, в другом – блоха на цепе.

– О тебе разговору мало. Пил бы поменьше,– осуждающе говорил, отмахиваясь от Агафона, фон-барон Пикушкин.

– А много я пропил? Нет, господин фон-барон, на батрацку копеечку не шибко-то разыграешься. Ты вот сроду и сыт, и пьян, и нос у тебя в табаке, а пошто не беднешь?

– По то, што ум у меня не с дыркой...

...Яков Бушуев попал во вторую сотню, сформированную из запасных казаков, не подпавших еще под мобилизацию. Все эти дни он торчал от зари до зари на коновязи, чистил своего меринка, беспрестанно копался около своего седла, всячески избегая при этом встреч и разговоров с однослуживцами. Мало он разговаривал теперь даже и со своей собственной женой Варварой, приносившей ему поутру, в полдень и вечером еду, завернутую в скатерку: печеные яйца, шаньги, квашеное молоко.

– Ну, как там батя?– изредка справлялся Яков у Варвары об отце.

– Все так же, по-прежнему. Ни слова от него, ни речей. Хоронится целыми днями от людей в амбарушке.

– Небось захоронишься. В любу щель от такого позору залезешь,– говорил, тяжко вздыхая, Яков, вспоминая о Федоре.

После несчастья, свалившегося на бушуевский дом, Егор Павлович и в самом деле стал сам не свой. Он не горевал, не ожесточался, не проклинал и не жалел как будто бы сына. Целыми днями спасался он в пустом, пахнущем кожей и мышиным пометом амбаре, куда не смел войти к нему никто из домашних, и в том числе внуки, которым прежде доступен был дед в любом месте и в любую пору. Он не выходил бы, наверное, из амбара к семейным обедам и чаепитиям, если бы не кликала его властным голосом Агафьевна, к которой он относился теперь с непонятной для бушуевской

семьи почтительней робостью. То, бывало, не было дня такого, в какой бы не пререкались и не поднимали шум до потолка сварливые старики. А тут – на тебе – старик, как малое дитя, не только ни в чем не перечил старухе, а наоборот, смотрел ей в глаза как будто виновато и заискивающе. Нехорошим выглядел этот мир между стариками. Нехорошая тяжкая тишина царила теперь в бушуевском доме, где все ходили, словно на цыпочках, затаив дыхание, как ходят в доме тяжко больного или покойника. В станице болтали о Бушуевых всякое.

– Старик-то с горя, говорят, рехнулся. Не ест, не спит, не пьет. Сам с собой по ночам разговаривает. Все Федьку кличет,– нашептывала бойкая, похожая на синичку бабенка Фанечка Серикова – соседка Бушуевых.

– А слышали, бабоньки, новость? Федька-то, говорят, у своей невестаньки, у Дашки Немировой, на хуторе скрылся,– тараторила сплетница Дуня Канахина.

– Врешь, кума.

– Лопните мои глазки. От верного человека своими ушами слышала...

– А што ты думаешь, такая укроет – не подкопаешься. Там не девка – оторви да брось!

Однако, как ни судили и ни рядили в станице о Федоре, а многие втайне восхищались его смелостью и решимостью и тоже плели всякие были и небылицы. Одни утверждали, что Федор, подавшись в степи, принял там под свою команду четыреста сабель казачьих мятежников, бежавших из расформированного полка после убийства сотника Скуратова. Другие уверяли, что Федора и Салкына выручили какие-то таинственные друзья Салкына, тайно прибывшие в станицу из Петербурга. Третьи божились, что Федор, приняв магометанскую веру, перешел на сторону взбунтовавшихся кочевников Средней орды и принял от них ханский титул. И только об одном сотнике Скуратове не говорилось в станице ни худо,

ни хорошо и не находилось людей, которые вслух припомнили бы имя его даже к слову...

Дни тянулись знойные, пыльные, полные тревоги и томительного безделья. Казаки, оторванные от своих дворов и пашен, ожесточались против всего на свете: и против немирных соседних аулов, и против станичных атаманов, державших их на исходном положении в тесных и душных казармах, и против друг друга.

– И кака така незавидна участь выпала нам, казакам, братцы, штобы веки вечные мирных жителей усмирять,– жаловался, валяясь на попоне, Агафон Бой-баба.

– Толкуй, тоже мне. Как это так – мирных?– откликался Спирька Саргаулов.

– А вот так. Ты слушай готовое, што я говорю. Мы в одна тыща девятьсот пятом году чалдонов в городе Усть-Камене плетями драли? Факт налицо. Драли. И за што драли? Убей меня, не знаю.

– А тебе и знать не положено.

– Это как так – не положено?!

– А вот так, што ты есть нижний чин. Скажут: дери – дери. Скажут: помри на этом месте. Помирай без разговоров.

– Ну, это, брат, не дело – скажут. Я сам понимать хочу.

– Ишь ты какой. Давно это тебя на понятие-то потянуло?!

– А когда бы ни потянуло...

– Не после Салкына ли?

– Салкын тут ни при чем...

– Брось, брось, восподин станишник, воду мутить. Помолчи лучше в тряпочку. А то больно понимать много лишнего начал...

– Разговоры?! Опять забуровили в не положенное время!– прикрикнул на казаков младший урядник Трифон Назаров, дежуривший по казарме.

Тяжело вздохнув, Агафон Бой-баба умолк. Казарма спала. Казаки храпели напропалую. Задремал и полный

сомнений Агафон Бой-баба. И вдруг над лагерем зазвучали тревожные сигналы горниста.

– По ко-но-вя-зям! Седлать лошадей!

А спустя пять минут казаки, выстроившись посотенно, тронулись вслед за станичным атаманом Муганцевым за древние крепостные валы, в безмолвную, окутанную мглой степь. Покачиваясь в седлах на мягко поскрипывающих седельных подушках, станичники перешептывались:

– Сам атаман повел, значит, будет дело...

– Неспроста, конешно, тревогу подняли.

– Жаркая, воспода станишники, будет нам, должно быть, експедиция.

Начинало светать. Над степью дымились туманы. Тянуло свежей прохладой от окрестных озер. А конная кавалькада станичников двигалась ровным аллюром вслед за своим атаманом вдоль пыльной дороги, держа направление в глубинную степь. Наконец после трехчасового марша, поднявшись на высокий увал, Муганцев резко осадил своего серого в яблоках иноходца и знаком поднятой кверху руки остановил следовавшую за ним конницу.

Приподнявшись в стременах, атаман долго и пристально вглядывался в стекла цейсовского бинокля, озирая окрестную степь. Зорко приглядывались к окрестности и привставшие на стременах казаки.

– Вершный! Вершный, братцы!– крикнул один из казаков.

Из-за кургана и в самом деле выпорхнул всадник. Он шел, держа направление на станичного атамана, на полном карьере, и над его головой трепетал прицепленный к наконечнику пики белый платок. Подлетев к Муганцеву и осадив на полном скаку своего коня, всадник– это был вахмистр Дробышев – отрапортовал:

– В районе аулов Керге, Каратал, Кумак моей разведкой замечено подозрительное оживление. Имеется подозрение, што там скопилось около

двухсот джигитов, вооруженных холодным и горячим оружием.

– И горячим?!– удивленно спросил атаман.

– Имеется подозрение...

– Подозрение или же факт?

– Похоже на факт,– уклончиво ответил вахмистр.

– Откуда же у орды горячее оружие?!

– Оружейный склад ограбили, говорят, в станице Пресногорьковской.

– И опять же – только говорят?

– Ходят слухи, восподин атаман,– сказал вахмистр.

– Ну-с, как, господин урядник, ваше мнение?– спросил атаман Муганцев стоявшего рядом с ним на гнедом жеребце урядника Балашова.– Будем атаковать?

– Рискнем, господин атаман,– ответил довольно лихо, но не совсем в то же время уверенно, урядник.

А через полчаса сотня Муганцева, с гиком рассыпавшись по степи, замкнула в кольцо аул Каратал. Спешившись, казаки залегли и, по сигналу Муганцева, дали по аулу три залпа. Грохот недружных выстрелов прошелся над озером, и жидкий пороховой дым закружился по берегу, мешаясь с туманом. Пули защелкали в прибрежных камышах, отсекая широкоперые листья. Затем казаки по команде Муганцева взметнули на своих лошадей, и атаман, взмахнув саблей, подал команду:

– За мной! С нами бог, казаки! Ура!

– Ура!– загремело над степью.

Лошади стлались над травами, прижимая уши, легко перепрыгивая холмы и овраги. Багровое солнце, поднявшееся из-за горизонта, окровянило обнаженные казачьи клинки и наконечники острых пик.

Вдруг один из вырвавшихся вперед всадников – это был запасной первой сотни Гранька Старков – по-бабьи всплеснул руками и, точно выпорхнув из седла, ткнулся носом в землю. Казаки напоролись на встречный огонь джатаков.

Между тем джатаки, хоронясь за буграми и арбами, в самом деле палили из дробовых ружей в конницу, поранив под двумя казаками коней, выбив из седла легко раненного в левую руку Граньку Старкова. Но казаки в азарте атаки не заметили этого урона. Озверев от воинственных криков «ура», мчались они с обнаженными шашками на притулившиеся близ озерного берега юрты аула. Все смешалось в грозном шуме конной атаки: гулкий топот копыт и грохот выстрелов, воинственный рев казаков и гортанные крики охваченных паникой джатаков.

Дав несколько беспорядочных выстрелов из дробовых ружей по коннице, джатаки не выдержали стремительного броска кавалерии и ринулись всем скопом врассыпную, под яр, к озеру. Следом за джигитами бросились и выскочившие из юрт женщины с детьми на руках, дряхлые старики и полуголые ребятишки. Не помня себя от охватившего их ужаса, ничего не видя перед собой, кочевники кидались с разбегу в поросшее камышом и осокой, вязкое, топкое озеро. Это было не озеро, а скорее скопление многих озер с небольшими раскиданными по камышам островками, заросшими тальником и ракитой. И только коренные обитатели степи – кочевники – знали наизусть те потайные проходы и тропы к этим островкам, которые неведомы были линейным старожилам. Вот почему, ринувшись было сгоряча за джатаками в камыши, казаки сразу же осеклись. Лошади вязли в тине, и всадники, соскочив с них, едва выбрались потом сами и с трудом повытаскивали своих лошадей из этой ловушки.

Двое из запасных казаков – Серьга Сериков и Гриша Мапошкин – выволокли из кустов молодую казашку. Заломив бронзовые, гибкие руки молодой женщины, Серьга тащил ее волоком к юрте. Четверо казаков, заприметивших эту добычу Серьги, тотчас же спешившись со своих лошадей, побежали вслед за

Серьгой и Гришей Маношкиным. Но те уже втащили женщину в юрту и захлопнули за собой дверь. А четверо не успевших ворваться в юрту принялись остервенело бить кулаками и подборами в дверь и наперебой орать во всю глотку:

– Открой, варнаки!

– Пустите и нас, воспода станишники...

– Не одним же вам потешиться над кыргызкой!

– Я же ее первый в кустах приметил!

Казаки, закрывшиеся в юрте, не отвечали.

– Ломай дверь!

И станичники, навалившись всем скопом, мигом сорвали внутренний запор и с гиком ворвались в юрту...

Аул опустел. Только в одной из покосившихся жалких юрт наткнулся Муганцев на древнего старика – это был слепой Чиграй,– сидевшего прямо и вызывающе на циновке. Подняв на атамана свои незрячие, пустые зрачки, старик глухо спросил:

– Кто ты?

Муганцев вцепился дрожащими, белыми, как пергамент, пальцами в эфес своего клинка, но старик, точно заметив это судорожное движение атамана, спокойно сказал:

– Я остался один в степи. И я не боюсь тебя, злой человек, потому что я тебя, слава богу, не вижу...

37

В полночь конный разъезд вахмистра Дробышева задержал в районе аула Керге двенадцать джатаков. Джатаки переползали увал, волоча за собой связки винтовок старого военного образца, похищенных ими с оружейного склада станицы Пресногорьковской. Одного из джатаков, пытавшегося убежать, вахмистр лично зарубил клинком, снеся ему полплеча таким ловким, расчетливым ударом, какой только можно было наблюдать во время учебной рубки лозы наиболее

лихими казаками. Остальных пленников казаки пригнали в аул Каратал.

Допрашивал захваченных пленников сам Муганцев. Разбуженный вестовым, атаман долгое время не мог прийти в себя. Хватив вечером после боевой операции шкалик неразведенного спирта, атаман проснулся вдребезги пьяным, с чудовищной головной болью. Он не сразу сообразил, где он и что с ним. Потирая виски, он ошалело пялил остекленелые зрачки на казаков и столпившихся в черном углу юрты джигитов. Наконец, выслушав беглый рапорт вахмистра Дробышева, Муганцев пришел в себя. Он вскочил, застегнул на все пуговицы свой грязный и запыленный китель, пожевал бескровными губами и затем вполголоса сказал вахмистру:

– Вот что, вахмистр, одного из этих дикарей следовало бы вздернуть, так сказать, в назидание потомству. Понятно?

– Так точно... То есть никак нет,– поправился вахмистр.

– Эк ведь вы какая бестолочь, господин вахмистр,– сказал, болезненно поморщившись, Муганцев.– Разогнать мятежников по болотам,– это же не честь нашей операции. Как вы думаете?

– Никак нет. Это, конешно, не дело, восподин атаман...

– Ну, конечно, никак и, конечно, нет. Сегодня разгоним их по кустам, а назавтра они снова вылезут.

– Так точно. Могут вылезти,– потвердил вахмистр, не совсем еще понимая, к чему клонит Мутанцев.

– А поэтому я приказываю одного из этих мерзавцев повесить сегодня же,– сказал Муганцев, неопределенно указав при этом рукой в сторону джигитов.

Джатаки стояли прямо и вызывающе. В полусумрачной юрте сурово и холодно поблескивали их глаза.

– Вот так, вахмистр. Все ясно?

– Так точно. Все ясно. А куда прикажете остальных?

– Ну, это уж ваше дело. Отдаю их в ваше личное распоряжение. Хотите – казните. Хотите – помилуйте. Ваша власть... Ваше дело...

– Благодарствую, господин атаман!– удовлетворенно воскликнул вахмистр и, козырнув атаману, тут же приказал казакам убрать вон джигитов.

Между тем разбуженному среди ночи хмельному атаману не спалось уже в эту ночь, и он чуть свет приказал поднять казаков, выстроив их в боевую колонну вблизи аула. Когда рассвело, атаман, подкрепившись остатками спирта, вышел из юрты и обошел пустынный, мертвый аул. Возле арбы с переломленным колесом атаман наткнулся на неподвижно лежавшего джатака. Почему-то на цыпочках подкравшись, Муганцев брезгливо коснулся его носком сапога, а затем сильным ударом ноги перевернул навзничь. Мертвенно-синее, искаженное предсмертной страдальческой улыбкой лицо глянуло на атамана неподвижными, бредовыми зрачками. На одном из незакрытых зрачков сидела зеленая жирная муха. И Муганцев, оторопело отпрянув назад, затем почти на рысях тронулся не оглядываясь от этого места к своему коню, которого держал под уздцы в стороне ординарец. Уже сев в седло и собрав в руки поводья, атаман заметил висевшее на кривом суку сухостойной осины прямое и жесткое тело джатака, одна нога которого была босой. Снятый с нее сапог с разорванным голенищем стоял около пенька, и жалкие клочья какой-то одежды ворошил под ногами казненного робкий предрассветный ветер.

Пришпорив своего жеребца, Муганцев подлетел к развернутому строю конницы и, обнажив на скаку клинок, отдал команду:

– За мной. С нами бог, братцы! Ура!

– Пики к бою!– мгновенно поняв намерение атамана, заревел во всю глотку, привстав на стременах, вахмистр Дробышев.

Строй дрогнул.

И сокрушительная стая ощетинившихся пик ринулась на юрты, срывая на полном скаку полуистлевший, черный и ветхий войлок. Иные из всадников, резко осаживая коней, крутились вокруг хижин кочевников, как на карусели, ожесточенно работая пиками и клинками. Под ударами сверкавших на утреннем солнце казачьих сабель трещали и рушились легкие деревянные остовы казахских кибиток, разлетались над степью траурные клочья черных кошм. Остервеневшие от воинственных воплей всадников кони кружились, закусив удила, в дикой пляске. И было похоже, что стонала и выла под коваными копытами распятая, растерзанная, истоптанная земля.

Казалось, не прошло и мгновенья, а от былого стойбища не осталось ничего. Точно внезапным ураганом, какой иногда невесть отчего возникает в пору знойного лета в этих степях, начисто смело, перевернуло, искромсало в клочья и развеяло по степи непрочные кочевые жилища.

Вахмистр Дробышев, подлетев на своем шустром жеребчике к стоявшему в стороне Муганцеву, козырнул:

– Прикажете подпалить, господин атаман?

– Жарь, вахмистр, если охота,– отводи душу!– утвердительно кивнул ему атаман.

– Поджигай, братцы!– прозвучала восторженная команда вахмистра.

И спешившиеся казаки с лихорадочной поспешностью принялись за веселую работу поджигателей. Костры из ворохов ветхого войлока и порубленных саблями остовов юрт закружились дымом и пламенем. В зловещей и жуткой тишине летел в огонь последний жалкий скарб кочевников: рваные одеяла, распоротые казачьими клинками подушки, помятые медные самоварчики, деревянные пиалы и прочая утварь. Огненные мечи рассекали густую дымовую завесу,

закрывшую небо; и небо, играя хищными красками степного пожара, обретало зловеще-лиловый оттенок.

Муганцев сидел в седле подбоченясь. Свинцовые глаза атамана были прищурены.

А когда с аулом было покончено и в кострах догорал последний скарб кочевых людей, казаки, построившись по команде вахмистра в боевую колонну, тронулись походным порядком в степь. Сотенный запевала Серьга Сериков, вырвавшись вперед из колонны, взмахнул плетью, и песня, подобно птичьей стае, поднялась, заметалась над необозримым степным простором:

Вспомним, братцы, про былое,
Как мы в оны времена
У кокандцев брали с боя
Сабли их и знамена!

С присвистом, с ревом, с гиканьем врывались в припев подголоски:

Греми, слава, трубой!
Мы дралися за Дарьей,
По холмам твоим, Чиназ,
Разнеслась слава про нас!

Атаман Муганцев ехал впереди эшелона с полузакрытыми глазами. Он был по-прежнему во хмелю, но теперь уже не столько от выпитого спирта, сколько от пережитого воинственного возбуждения и тщеславных размышлений о собственном величии...

38

Степь томилась от немилосердного, желтого, стрекочущего зноя. Косые облачные башни поднимались вдали. Зыбкие, призрачные шлейфы марев колыхались над цепью курганов, над серебряной парчой ковылей. И текла, текла под копытами конницы сухая, потрескавшаяся земля, И падала с закушенных конских удил желтовато-мутная пена.

Взвод за взводом, сотня за сотней проходили колонны всадников по широкому скотопрогонному тракту, возращаясь из далеких владений кочевников в родные станицы. Казаки, утомленные длинным маршем, зноем и жаждой, полудремали в седлах. Тоской, равнодушием и скукой наполнены были их сонные глаза.

Но когда за цепью березовых перелесков блеснули на солнце золотые кресты колокольни и возникли в знойной и мглистой дымке очертания станичных крыш, сразу повеселели кони и люди. Оживленно переговариваясь, заерзали в седлах всадники. Подтянулись, выровнялись колонны. Начесали чубы выскочившие вперед запевалы. И песня, опережая конницу, ворвалась в станицу:

Из-за леса, леса,
Копья мечей –
Едет сотня казаков-усачей.
Эх, да мы, да удалые усачи!
Шашки в ножны –
Да и по полю скачи!
Ведет нас есаул молодой,
Ведет сотню казаков за собой.

А сторожевой вал крепости кишмя кишел народом. Со всех концов станицы слетались сюда резвыми птахами бойкие и нарядные бабы и девки, шли вразвалку важные, сребробородые ермаковцы, расторопные и неспесивые обитатели Соколинского края. Толпа, завидев объятый пылью эшелон казаков и заслышав трубные голоса запевал, гудела от восторженных приветственных криков:

– Ура восподам станишникам!

– Ура победителям!

– Браво ероям!

А залетный ветер, попутно завернувший со степной стороны в станицу, доносил издалека дружный и стройный хор казачьих глоток:

На завалах мы стояли, как стена,
Пуля сыпалась, летела, как пчела!

Кирька Караулов, хвативший на радостях встречи с целовальником станичного кабака Проней Стрельниковым по шкалику водки, кричал, толкаясь среди толпы:

– Братцы! Попируем в честь конемного войска!

– Што ты сказал, варнак?!– набросился на него фон-барон Пикушкин.

– А то и сказал. Ура, говорю, конемному войску!

– Это как так – конемное?!

– А так. Ить они там с конями воевали. Пустые юрты штурмовали. Ура, братцы, ура!– надрывался от крика Кирька, косо поглядывая на фон-барона и чувствуя уже, что драки сегодня не миновать.

Но вот умолкла походная песня. Блеснул на солнце клинок атамана Муганцева. И казаки, тоже обнажив клинки, привстали на стременах и ринулись в карьер, как в атаку, вслед за своим атаманом. Подняв тучу пыли, всадники пронеслись на полном карьере мимо беснующейся на крепостном валу толпы, проделывая при этом самые сложные и замысловатые номера джигитовки. Одни молниеносно ныряли под брюхо своих коней. Другие кружились волчками на седельных подушках, делая «стрижку». Третьи, выпав из седел, но зацепившись носком за правое стремя, срывали на полном карьере с земли кидаемые девками фантики.

Крепость стонала от воинственных воплей «ура», от восторженного бабьего крика, от озорного улюлюканья мальчишек, от серебряных, звонких девичьих голосов, от проливного дождя конских копыт, хлынувшего на дрожмя дрожавшую землю.

А час спустя около станичного кабака толпились спешившиеся казаки – участники усмирительного похода – вперемежку со стариками Ермаковского и Соколинского краев. Пьяный целовальник Проня Стрельников, пошатываясь на крылечке, кричал:

– На водку запрет, воспода станишники, от государя императора поступил. Попили. Хватит.

– А ты давай, подлец, выкатывай миру остатки!

– Угости в последний раз победителей кошемного царства!– кричал Кирька Караулов, беспокойно озираясь вокруг в поисках, с кем бы затеять драку.

– Да вы што, очумели, воспода?! А про клятву-то наказному атаману забыли?!– кричал целовальник.

– Брось дурить, целовальник. Открывай казенку. Не откроешь добром, откроем худом!– ревела толпа казаков, наседая на целовальника.

И всю эту ночь бушевало в станице похожее на пожар гульбище.

Не спал всю эту ночь и атаман Муганцев. Немало пролил он поту, немало попортил крови и нервов над сочинением рапорта об итогах своего усмирительного похода. Но потрудился он, кажется, не зря. Истратив две из дести лучшей бумаги, атаман все же составил рапорт и, разбудив на рассвете свою рыхлую, вечно почему-то икающую спросонок Олимпиаду Викентьевну, торжественно огласил ей свое сочинение стоя:

«Его Высокоблагородию Атаману 1-го Военного отдела Сибирского Линейного Казачьего войска

Полковнику *Скуратову.*

Рапорт

Честь имею доложить Вашему Высокому Благородию нижеследующее:

После пятидневной операции вверенного мне полка, сформированного согласно Вашего указания из казаков крепости, линейных маяков и редутов, опасность, грозившая восстанием киргиз-кайсацких аулов, расположенных южнее западной линии, полностью устранена. Часть похищенного в ночь на 19 дня месяца августа 1914 года огнестрельного оружия из крепостного склада станицы Пресногорьковской отобрана. 28 главарей арестованы августа 27 дня с. г. Под усиленным

конвоем, численностью в 80 сабель, арестованные бунтари отправляются по этапу в г. Петропавловск на предмет заключения под стражу.

Одновременно смею обратить внимание Вашего Высокого Благородия на нижеизложенные обстоятельства:

Еще в 1875 году генерал Казнаков, в бытность свою, Наказным Атаманом, Наместником Степного Края, в своем Всеподданнейшем отчете указывал, что без стеснения кочевого населения в смысле земельного и общественного порядка, без распространения на них строгих законов русского правительства и без подчинения оного населения в полную зависимость от линейного казачества ни в коей мере не будет возможным смягчить нравы и поднять уровень благосостояния этого полудикого народа, ибо со времени принятия киргизами-кайсаками русского подданства успехи, сделанные ими в гражданственности, ничтожны, и доколе они (киргизы) будут одиноко совершать в пустынных пространствах степей огромные орбиты своих кочевок вдали от русского населения, они останутся верноподданными лишь по названию и будут числиться русскими только по переписям. Вспышка мятежа, подавленная доблестным казачеством вверенного мне полка, послужит достойным уроком для беспокойной орды, каковая, надо надеяться, не возымеет желания к организации повторных мятежей, и, при условии нажима со стороны русского правительства, от подобных неосмысленных полудиким племенем инородцев действий Бог оградит беспредельные степи Западно-Сибирской окраины и линейного войска 1-го Военного отдела, кое находится во всецелом подчинении Вашего Высокого Благородия.

Честь имею доложить Вашему Высокому Благородию еще об одном весьма неблагоприятном обстоятельстве. А именно: во вверенной мне станице сын

местного потомственного, кстати сказать, весьма примерного казака – Егора Павловича Бушуева, получившего в прошлом за свою угодную и честную службу Царю и Отечеству многие боевые отличия,– казак Федор Егорович Бушуев, будучи призванный на действительную службу, а впоследствии мобилизованный с полком казаков на фронт, был замешан в казачьем бунте, весьма печальные последствия которого Вам известны, и заподозренный в нечистых сношениях с одним из политически неблагонадежных мастеровых, был направлен на доследствие в вверенную мне станицу, но бежал из-под ареста. Это дает основание к подозрениям в связи части казачества и пришлого русского населения, окружающего линейную полосу, с киргизами-кайсаками. Смею обратить внимание Вашего Высокого Благородия на вышеупомянутый всеподданнейший отчет генерала Казнакова, в коем, между прочим, указывается и на эту опасность, ибо часть казачества, вместо благотворного влияния на полудиких инородцев, заразилась привычками кочевников и путем дружбы устанавливает тесные связи со степными обитателями, что ведет к результатам, очевидным для Вашего Высокого Благородия.

Смею поставить в известность Ваше Высокое Благородие о случившемся в тех целях, чтобы получить от Вас соответствующие сим изложениям указания при приеме станичных атаманов вверенного Вам Военного отдела, коий Вы изволили назначить в своем имении на 22 августа 1914 года».

Продекламировав нараспев свой рапорт, покосившись на Олимпиаду Викентьевну, спросил:

– Каков, матушка? А?

– Вполне сочувственно,– проговорила, икнув, Олимпиада Викентьевна и, сладко зевнув при этом, перекрестила рот.

сберегли на закате дней своих ясность мысли. Вот почему не пропускали деды ни одного станичного схода, принимая живейшее участие во всех спорных общественных делах. Как правило, кавалеры являлись в правление раньше всех, при первом же окрике десятника. Хватнув по цигарке суворовского самосада, от которого драло глотки, кавалеры усаживались к печке и уютно дремали. Просыпались они оба враз, как по команде, в разгар междоусобного спора одностаничников и тотчас же встревали в него.

Так же вот проснулись кавалеры и в тот мартовский вечер, когда в станичном правлении поднялись невероятный грохот и шум. С трудом протиснувшись сквозь сгрудившуюся вокруг писарского стола толпу, деды растерянно оглядывались вокруг, не понимая спросонок, чью им принять сторону. За столом, в густом табачном дыму, стоял во весь рост писарь Лука Иванов. Он потрясал какой-то бумагой, норовя утихомирить разбушевавшихся станичников. Но немощный голос писаря тонул в шуме травленых казачьих глоток. Почернев от крика, жмуря покосевшие от гнева глаза, не слушая и не понимая друг друга, старики вопили:

– Дожили, воспода станишники!

– Довоевались...

– Мало им, что сыны наши кровь третий год проливают, так они с нас последние подштанники содрать норовят.

– И сдерут. Разинь только рот.

– Мы ему прошение о помощи подавали, а он нас новой контрибуцией наградил.

– Не тот штемпель поставил...

– Усоборовал, туды его мать...

– Што?! Это кого туды его мать? Вы што, одурели, воспода станишники?! Кого материте? Это наместника-то края пушить так изволите в присутственном месте?!– закричал писарь.

– А што нам наместник!

– Правильно. Што он – у бога теленка съел?

– Молчать! Смирно! Под военно-полевой суд захотели?!– крикнул сорвавшимся голосом писарь.

– Ого, видали его, воспода станишники. Вот напужал, аж в коренном зубу заныло!– крикнул, прыгнув при этом на лавку, Кирька Караулов.

Станичники, придвинувшись к писарю, пригрозили:

– Ты шибко-то рта не разевай на нас, восподин письмоводитель. Как бы мы к тебе за душой в нутро не слазили...

– Нашел тоже, кого полевым судом пужать!

– Мы ить сами, ежли где лисой пройдемся, там три года не будут курицы нестись!– кричал стоявший на лавке рядом с Кирькой Карауловым и почему-то даже в обнимку с ним Касьян Шерстобитов.

– Правильно. Так вот наместнику и донеси.

– Отбей наказному атаману наш ответ по проволошному телеграфу.

– Донеси ему на нас на гербовой бумаге.

– Хватит. Ни гроша больше не дадим. Верно я реву, воспода станишники?– кричал Афоня Бой-баба.

– Куды ишо вернее – в лоб!

Дом содрогался от крика. Растерявшиеся кавалеры так и не могли понять толком, в чем дело и чью принять сторону, то ли стать за писаря, то ли за стариков. Меркла и гасла от криков подпрыгивающая на писарском столе десятилинейная лампа. А за окном бушевал в ночи, кромсая обледеневшие ветви тополей, крутился, как бешеный конь на одном копыте, холодный ветер.

...Весь сыр-бор загорелся из-за полученной в этот вечер в станичном правлении депеши от наказного атамана и наместника края Сухомлинова. Это был ответ акмолинского генерал-губернатора казакам пяти станиц Горькой линии, рискнувшим в канун рождества минувшего года подать на его имя прошение о помощи. В этом прошении, скрепленном подписями пяти

выборных казачьих старшин и пятью голубыми печатями станичных правлений, описали старики Сухомлинову незавидную свою жизнь. Они писали о том, что вот-де война затянулась, дотла выжжены суховеями прошлогодние посевы. Ушли на фронт последние наряды запасных казаков. Все это, говорилось в петиции, довело многие семьи до полного разорения. Снарядив на последние гроши и отправив на фронт на одном кругу по два, а то и по три сына, родители доблестных воинов не только не в состоянии платить теперь тяжкие войсковые сборы, но и сами нуждаются в незамедлительной помощи. А потому, писали станичники, зная о том, как неусыпно и ревностно печется их наказной батюшка-атаман о судьбе своего верноподданного войска, и порешили на межстаничном кругу покорнейше просить его высокопревосходительство уважить их следующую просьбу: освободить стариков – это раз. Снабдить из казначейских амбаров нуждающееся казачество семенной и фуражной ссудой – два. Принять за счет казначейства все снаряжение призванных из запаса казаков, снабдив их казенным конем и амуницией,– три.

Ответ Сухомлинова на это прошение был немногословный. В депеше, оглашенной станичным писарем Лукой Ивановым, говорилось буквально так:

«За подачу подобных прошений в другое время я бы вас, старых дураков, публично высек, главарей и зачинщиков лишил бы казачьего звания и сгноил на каторге. Сейчас же ограничиваюсь немедленным взысканием всех войсковых сборов в тройном размере, что и приказываю привести в исполнение атаманам военных отделов и линейных станиц в двухнедельный срок со дня получения на руки сей депеши».

– Ого! От такой речи зубы смерзнуться могут!– крикнул Кирька Караулов.

И старики хором гаркнули:

– Не подчиняться такому указу, воспода станишники!

– Правильно, сват.

– Нас на храпок-то не скоро возьмешь...

– Эк ведь пригрозил рыбе морем, а нашему брату – горем...

– Он, воспода станишники, думат, раз енерал от инфантерии, так на его и управы нету.

– Извиняйте, ваше высокопревосходительство!Не на таких нарвался...

– Мы и на тебя указы найдем.

– Ну, это вы лишку ревете, ребята!– сказал рассудительным басом веснушчатый коротконогий живой стариканка с Соколинского края Архип Кречетов.

– Как это так – лишку?!– опешил Агафон Бой-баба.

– А так лишку, что выше наместника над нашим казачеством власти нету,– заявил Архип Кречетов.

Тогда невеликий ростом Агафон Бой-баба, прыгнул на табуретку и почему-то зажмурившись, крикнул:

– Казаки! Воспода станишники! Кто сказал, что у нас с вами защиты нету? А про государь-императора вы забыли? А августейший атаман всех казачьих войск – наследник престола?! К им заказаны нам пути?!

– Правильно! Правильно! На то есть монаршая воля,– подал наконец свой голос и один из кавалеров – дед Арефий.

И станичники приумолкли. Стало тихо.

Тишина эта длилась недолго. Только минуту или две стояли смирно, точно загипнотизированные Агафоном Бой-бабой, старики, ошарашенные его догадкой. А потом вдруг, как по набату, снова все всполошились и заглушили рев заоконной пурги трубными голосами луженых глоток:

– Правильно, Агафон!

– Хабарыснем прошение государь-императору – вот это дело!

– Фактура – к самому августейшему атаману!

– Обойдемся и без наместника...

– Подадим приговор на высочайшее имя...

И только один Кирька Караулов неожиданно воспротивился новой затее одностаничников.

– Эх, язви те мать, воспода станишники!– воскликнул Кирька.– Век прожили, а ума, гляжу, ни на грош. Посулил нам наказной атаман плетей – неймется. Давай сунемся ишо к самому императору, не перепадет ли и там на орехи.

Но высокий бабий голос Кирьки заглушили разом:

– Не мути обчество, варнак!

– Он всегда, воспода станишники, во всем и всем поперечит.

– Не слушать его. Созвать сызнова казачий круг и составить прошение.

– А кто будет составлять?

– Кто ишо, как не Лука! Лучше его письмоводителя на всей Горькой линии нету. Он, язви те в душу, эти прошения аж сонный пишет!– кричал, стоя на табуретке, Агафон Бой-баба.

– Не буровь, ботало,– сонный!– крикнул, недоверчиво покосившись на Агафона Бой-бабу, Касьян Шерстобитов.

– Фактура, сонный. Богом клянусь. Своими глазами видел, как он одному богатому киргизу донос на волостного управителя сочинял!– клятвенно прижав руки к сердцу, кричал Агафон Бой-баба.

Затем, когда мало-помалу страсти наконец улеглись и в казарме установился сносный порядок, Лука Иванов, отозвавшись на требовательные просьбы одностаничников, сказал:

– Ну что ж, одно могу вам ответить, господа старики,– в добрый час. Затея великая... А за мной дело не станет. Всей душой буду рад послужить обществу. Прошение на высочайшее имя я, конешно, составлю по артикулу. Это мне – полбеды. Но у меня свой есть совет. Угодно послушать?

– Покорнейше просим...

– Сделай милость. Скажи.

– Я полагаю,– заговорил, многозначительно помолчав, Лука,– что наша петиция должна быть вручена императору лично.

– Это как же так – лично?– спросил, разинув рот, Агафон Бой-баба.

– Очень просто. Собрать круг выборных от пяти станиц и избрать из своей среды депутацию для подачи прошения.

– Вот это да! Пошлите меня,– сказал не то в шутку, не то всерьез Кирька Караулов.

– Только тебя, долговязого, в городе Петрограде недоставало!– крикнул сердито на него Касьян Шерстобитов.

Егор Павлович Бушуев, до сего скромно посиживавший в углу и помалкивавший, наконец поднялся и всерьез спросил, обращаясь к Луке Иванову:

– Депутацию послать в Петроград не худо. Но кто рискнет принять на себя такое бремя?

– А это уж на кого падет выбор,– сказал Лука.

– А как ты сам-то думаешь?

– Я полагаю, что для исполнения подобной миссии надо будет избрать двух смышленых и тертых казаков. Конечно, чтобы они, явившись во дворец, вели там себя по артикулу с господами министрами и разными дворцовыми фрейлинами.

И вот, вопреки обыкновению, вопрос о составе депутации на сей раз был предрешен в канун созыва казачьего круга здесь, на станичной сходке, без обычных скандальных пререканий, взаимных угроз и рискованных кулачных жестов. Почему-то все разом сошлись на двух бесспорных кандидатах. Первым из них был письмоводитель Лука Иванов, вторым – Егор Павлович Бушуев.

Кандидатуру Егора Бушуева предложил Лука.

– Учтите, господа станичники,– сказал письмоводитель,– что Егор Павлович в бытность свою на

действительной службе состоял три года в драбантах у бывшего нашего консула в городе Кульдже князя Трубецкого. А в сей момент князь Трубецкой является командиром императорского конвоя. Уж кому-кому, а Егору Павловичу тут и все козыри в руки.

И станичники, узнав об этой важной подробности тотчас же согласились с письмоводителем, что лучшего кандидата для депутации, чем Егор Павлович Бушуев, на всей Горькой линии не найти.

Лука Иванов, поломавшись для блезиру, принял предложение станичников, согласившись выставить на казачьем круге свою кандидатуру. А Егор Павлович долго отнекивался не из скромности, а от страха. Отказываясь от высокой миссии, старик попробовал даже сослаться на Федора.

– У меня грех на душе. Я за младшего сына перед царем и богом в ответе. Не достоин я, господа станичники, такой чести,– взволнованным голосом сказал Егор Павлович.

Но старики дружно зашумели:

– Ну, это прошлое дело...

– Не к месту помянуто.

– Вот именно...

– За сына ты не в ответе. Один сын в бегах, а другой со всеми вместе третий год кровь проливает. О чем разговор? Нет, господа станичники, это не причина,– заключил Агафон Бой-баба.

И Егор Павлович, тяжело вздохнув и благодарственно поклонившись, принял предложение.

Домой в эту ночь вернулся Егор Павлович таким просветлевшим и приободрившимся, каким не видели его в семье все последние два года. И старуха, и сноха Варвара, и девятнадцатилетняя дочь Настя, глядючи поутру на деда, диву давались виду помолодевшего за одну ночь старика. Но Егор Павлович, хитровато пощуриваясь на своих домочадцев, только покрякивал, поглаживая свою завьюженную сединой бороду,

да помалкивал. О затее станичников он ни словом не поделился пока даже со своей старухой – считал, что не бабьего ума это дело.

2

Шумные и яркие, как карусели, бывали весенние ярмарки в станицах на Горькой линии. Валом валил народ, свободный по воскресеньям от полевых и домашних работ, на просторные базарные площади, где можно было покататься девчатам и ребятишкам на карусели, побаловаться дешевыми леденцами и вяземскими пряниками, полузгать семечки; а старикам – поторговаться от нечего делать с барышниками, при случае – выпить чарку водки или пиалу кумыса в ярмарочных харчевнях; а тем, у кого чесались руки, всегда можно было рассчитывать здесь на драку.

Вот в один из таких бойких ярмарочных дней, когда яркое солнышко по-весеннему припекало и ходуном ходила битком набитая площадь, гудевшая, как дремучий лес в непогоду, от людских речей, от азартных окриков барышников и яростных воплей балаганных зазывал, около старенькой, разукрашенной стеклярусом и цветными гирляндами карусели толпились девки и бабы, топтались от нечего делать хватившие первача старики. Повизгивала медными голосами ливенка и глухо вторил ей старенький бубен в руках хромого солдата с переселенческих хуторов. В это время и приволок к карусели вахмистр Дробышев какого-то неказистого мужичонку в лаптях, испуганно озиравшегося и без умолку бормотавшего:

– Смилуйтесь, ваше степенство. Богом клянусь, не виноват я. Ни сном, ни духом...

– Давай, давай. Не разговаривай. Разберемся,– рычал вахмистр.

И толпа базарных зевак, окружив мужика и вахмистра тревожно загудела:

– Што тако, восподин вахмистр?!

– Не иначе опять чалдон с поличным попался?

– Видать, так.

Выпустив наконец из своих рук мужика, вахмистр расправил плечи, приосанился, одернул без нужды портупею и сказал:

– Воровинные вожжи спер у меня, подлец. И как ловко! Залюбопытствовался я на цыганскую лошадь, а вожжи, что купил у курганского торгаша, вгорячах бросил на воз и не успел оглянуться – пусто. Гляжу – мужичок в толпу. Я за ним. Стой, варнак! Ну, а он, вижу, таковский. Успел, чалдон, кому-то вожжи мои сбыть. Видали, кака чиста работа выходит, братцы? На ходу подметки рвут!

– Што вы, бог с вами, ваше степенство. Ни при чем я тут. Богом клянусь, ни при чем...– бормотал мужик, продолжая испуганно озираться.

– Сразу видно сокола по полету – врет!– крикнул школьный попечитель Корней Ватутин.

– Ясное дело – буровит.

– Он. Больше некому.

– К атаману его!

– Распустили мы их, воспода старики, вот они нас и куют теперь за нашу же благодетель...

– Мало им, желторотым, что на чужой земле поселились, чужи калачи жрут, так и мошенством ишо на нашей Линии занимаются!– кричали станичники, гневно размахивая кулаками.

Неизвестно, чем бы кончилось для мужика все это, не отвлеки внимание станичников в этот момент завязавшаяся поодаль драка. Мимо толпы, окружившей мужика с вахмистром, вихрем пролетела пара цыганских полукровок, запряженных в легкую щегольскую пролетку. В пролетке стоял цыган в малиновой шелковой рубахе, с расстегнутым воротом и, дико погикивая на лошадей, орал:

– Соколики, грабят!

А за цыганом гнались два верховых бородатых казака. В руках одного из них мелькал обнаженный клинок, в руках другого – новый сковородник, подвернувшийся ему, видимо, под руку на базаре.

Казаки, гнавшиеся за цыганом, кричали:

– Не давай ему ходу, воспода станишники!

– Ату его! Конокрада!

И казаки ринулись в погоню за цыганом. Но не таков был тертый ярмарочный пройдоха-цыган и не такие были кони у него, чтобы даться в руки станичникам! Покружив на своих залетных соколиках по станичным улицам, вырвался цыган за крепость – поминай как звали. А обескураженные станичники воротились в станицу еще более взвинченные и злые.

Кто-то крикнул:

– Айдате, братцы, в станишно правление. Там говорят, воров отрубных поймали.

И казаки бросились к станичному правлению, около которого шумела уже большая толпа станичников, перекочевавших сюда с базара следом за мужиком, заподозренным в краже новых вожжей у вахмистра.

Допрос мужику чинил здесь теперь уже поселковый атаман Самсон Беркутов, грозный на вид, сумрачный человек с огромными, воинственно закрученными кверху усами. Вплотную придвинувшись к мужику, жалко вобравшему в плечи голову с нечесаными, стриженными в кружок волосами, поселковый атаман спросил:

– Откуда?

– Отрубной новосел. С хутора Заметного, – пробормотал мужик.

– Вид на жительство есть?

– Как же, как же, ваше степенство. Все налицо. Только опять же при себе не имею.

– Ага. Дома забыл?

– Так точно, запамятовал...

– Допустим, што так... А што на ярманке делал?

– Горшок для бабы присматривал. Мы – новоселы. Хозяйственностью обзаводимся. Куды без горшка-то...

– Не верь ему, восподин атаман,– протестующее крикнул вахмистр Дробышев.– Не горшок, а вожжи мои присматривал. Я его ишо с утра заприметил. Вижу, воровские повадки. Ну, думаю, за этим поглядывай в оба!

– Што там говорить – вид налицо. Он, варнак, спер вожжи – и в шинок!– крикнул попечитель Корней Вашутин.

– Фактура – он! Больше некому...– подтвердил Буря.

– Вот чем они, желторотые, платят казачеству за нашу-то добродетель. Мы для них всей душой – и землю и волю им дали, а они распоясались!– звонким бабьим голосом завопил Афоня Крутиков.

– Што там с ним говорить. Направить его, воспода станишники, к мировому,– предложил Корней Вашутин.

Но ермаковцы, окружившие мужика, наперебой заорали:

– А мы и без мировых обойдемся.

– У нас ить в станицах свои законы...

– Фактура, свои. Неписаные!

– Снять с него, варнака, штаны, рубаху – петушком, да на все четыре в таком виде отправить. Вот и квиты.

– Правильно, сват. Провести его по улицам с заслонкой – вот тебе и весь наш суд.

– Сразу отобьет охоту шныряить по станишным ярманкам.

– Навек-повеки чалдонье запомнит, как обворовывать наше казачество, воспода станишники!

– К оглобле вора!

– Обхомутать его – да по улицам!

– Бычье ботало на шею ему – вот будет машкарад, воспода старики!

– Не машкарад – масленка!– истошно орали старики.

Между тем с ярмарочной площади на станичную продолжал валом валить народ. Резвее птах слетались

сюда со всех концов станицы разодетые в кашемир, жадные до потех бабенки. Пулей мчались ребятишки. Ковыляли, запинаясь, древние старики.

– Чалдона сейчас казнить будут!

– Ври больше.

– Вот те Христос, бабы. Вожжи у вахмистра украл. По улицам с музыкой поведут. Будет потехи!

Тут появилась на площади пожарная бочка, запряженная дряхлой клячей, едва державшейся на ногах. На бочке верхом сидел станичный дурачок Проша Берников и изо всей силы колотил пестиком по заслонке. Школьный попечитель Корней Вашутин, скрутив мужику за спину руки, подволок его к оглобле водовозного одра. Двое из расторопных ермаковцев мигом прикрутили воровиной мужика к оглобле, а кто-то из толпы тут же набросил на его шею драный хомут, украшенный пучками старой соломы.

И толпа с диким ревом, с воплями, со свистом двинулась вслед за клячей и мужиком по широкой станичной улице.

Привязанный к оглобле веревкой мужик, изогнувшись в три погибели, мелко и часто семенил обутыми в лапти ногами рядом с ковыляющей клячей.

Буря, вскочив на бочку, подал команду:

– Смирно! К церемониальному маршу!

Проша, сидя верхом на бочке, яростно лупил пестиком по заслонке и дико завывал под рев и улюлюканье беснующейся толпы.

На обнаженную лохматую голову мужика сыпалась зола, сухой конский помет, щепки, грязные тряпки, мусор. Втянув в плечи голову, сжавшись в комок, мужик семенил следом за клячей, не смея ни крикнуть, ни простонать, ни охнуть, ни взмолиться, упав на колени, о пощаде.

Когда эта странная процессия – она и в самом деле напоминала не то святочное, не то масленичное маскарадное представление,– поравнялась с домом

станичного атамана, Муганцев и сидящий на крылечке с ним отец Виссарион скрылись за парадной дверью.

Процессия беснующихся ермаковцев, надрывающихся от воплей, улюлюканья, свиста, двигалась по широкой и пыльной улице.

Озверевшие, вошедшие в раж володетельные станичники дурашливо приплясывали вокруг привязанного к оглобле мужика под дикую музыку Проши Берникова, который остервенело садил пестиком по заслонке.

Вдруг толпа, притихнув, остановилась, ошарашенно вылупив глаза на преградивших дорогу трех вооруженных дубинами одностаничников. Двое из них были Кирька и Оська Карауловы, третий – Архип Кречетов. Вахмистр Дробышев, вырвавшись из толпы навстречу трем вставшим на пути соколинцам, вдруг осекся и замер на месте. Лицо его изумленно вытянулось, а руки невольно опустились по швам, точно он встал перед соколинцами по команде «смирно».

– Стоп, воспода станишники. Ни с места. Слушай мою команду!– крикнул Кирька Караулов, хотя станичники стояли и так. Даже дурачок Прошка, перестав бить в заслонку, сидел верхом на бочке, широко разинув огромный беззубый рот. И вахмистр Дробышев, и многие другие из одностаничников, дико округливших зрачки на Кирьку Караулова, видели теперь в его руках хозяйственно смотанные в пучок новые воровинные вожжи, сразу же поняв, чьи они.

Между тем Кирька, сделав два шага вперед и картинно опершись на свою дубину, подобно тому, как опирался иногда на свою булаву их станичный атаман, спросил:

– Интересно мне знать, воспода ермаковцы, кто из вас затеял сей страмной машкарад?

Толпа молчала. Вахмистр Дробышев, почуяв неладное, блудливо шнырял глазами, соображая, как бы улизнуть с Кирькиных глаз. Но не таков был Кирька Караулов, чтобы разевать в таких случаях рот.

– Молчите?! Язык отнялся?!– крикнул недобрым глуховатым баском Кирька.– Эх вы, кошемное войско! Креста на вас нету, воспода станишники, туды вашу мать!

– Братцы! За што он срамит нас, варнак?!– раздался рыдающий голос фон-барона Пикушкина.

– А вот за што!– крикнул Кирька, высоко взмахнув над головой связкой новых воровинных вожжей.

В толпе опять стало тихо. Станичники, словно не веря своим глазам, переглядывались, пожимали плечами. А сообразительный Буря, пока опомнились остальные, потихоньку отвязал от оглобли заплеванного и обсыпанного с головы до ног разным мусором мужика.

Тогда Кирька начал допрос:

– Кайтесь, чьи эти вожжи?!

Молчание. Робкое покрякивание и сопенье в толпе. Отвязанный от оглобли мужик, отряхиваясь, по-прежнему пришибленно и робко озирался, не понимая еще, собираются ли его казнить или миловать.

– Впоследки спрашиваю – чья воровина?!– вновь крикнул Кирька, взмахнув вожжами.

– Известно, чья!– прогудел, как басовая труба, брат Кирьки Оська Караулов.

– Нам-то все скрозь известно с тобой, братка, да пущай вот они на миру признаются,– сказал Кирька.

– Дожидайся, признается тебе восподин вахмистр!– подал свой голос Архип Кречетов, стоявший позади Кирьки.

– Вона кака кадрель выходит! Стал быть, вожжи-то восподин вахмистра?– с притворным изумлением воскликнул Кирька и, вплотную придвинувшись к вахмистру, спросил, потрясая воровиной:– Признаешь?

– Никак нет,– пробормотал вахмистр, пятясь.

– А ты не трусь. Признайся, восподин вахмистр,– посоветовал ему из толпы фон-барон Пикушкин.

– Никак нет. Не моя воровина,– твердил вахмистр похолодевшими губами.

– Не твоя?!– переспросил Кирька.

– Никак нет.

– Поклянись перед божьим храмом,– сказал Кирька, указывая на церковь.

– Не богохульствуй, варнак!– прикрикнул на Кирьку школьный попечитель.

– Клянись, растуды твою мать!– крикнул Кирька, вцепившись одной рукой в плечо вахмистра.

– Провалиться скрозь тартарары,– не моя воровина, Киря!– залепетал вахмистр.

– Ага. Не твоя, говоришь!?

– Убей бог, не моя, Киря...

– Стал быть, ворована? Тогда где украл?

– Што ты, станишник! Побойся бога – клепать на меня такую напраслину...

– Ага, сразу за бога! А ты не пужался на чалдона клепать.

– Я што. Ить я только мысленно.

– А ты знаешь, где я эти вожжи взял?

– Никак нет. Не могу знать.

– У тебя во дворе с понятыми вынули. Понял? Под сараем висели.

– Не может этого быть... Это другие. Это не те вожжи...– нашелся было вахмистр.

Но стоявшие за спиной Кирьки Архип Кречетов и Оська Караулов наперебой закричали:

– Врет, воспода станишники. Вожжи те самые, што он на ярманке седни за три целковых купил.

– Фактура – те самые. Ить баба-то его нам сразу призналась.

Все было ясно.

Оська Караулов крикнул Кирьке:

– Што ты остолбучился на его, братка? Одевай на его, сукина сына, теперь хомут – да к оглобле!

– Правильно. Перепрягай безвинного мужика,– поддержал Оську Архип Кречетов.

Но тут ермаковцы не выдержали, рявкнули:

– Это куды годно, братцы,– вахмистра хомутать!

– Мы что, чалдоны – изгаляться над нами?!

– Тоже мне казаки – за желторотика восстали!

– Какие они казаки – бишера на бишере, хуже джатаков.

– У их, воспода станишники, от казачества-то ить одне гашники на штанах остались...

– Известное дело – соколинцы!

– Ремок на ремке. Варнак на варнаке.

– Им самим по миру впору.

– Правильно. Вместе с чалдонами по ярманкам промышлять – это им на руку!

Кирька, пока бушевали ермаковские горлопаны, молчал, точно выжидал, когда они выкричатся до хрипоты в глотках. Однако наиболее догадливые из станичников, хорошо знавшие Кирькин характер, начали под шумок незаметно сматываться кто куда: одни – в ворота соседних домов, другие – за огородные плетни, третьи рысцой растекались по боковым переулкам. Толпа таяла на глазах. Даже дурачок Проша Берников, почуяв неладное, предусмотрительно слез с бочки и спрятал заслонку с пестиком за спину.

Но, к великому удивлению станичников, Кирька на этот раз не полез в драку, хотя более удобного момента для потасовки между двумя враждующими краями нельзя было и придумать. Выждав, пока прокричатся одностаничники, Кирька – он знал, что кричали они, как всегда, не из храбрости,– сказал, обращаясь к вахмистру:

– Держи свои вожжи, восподин вахмистр. Они тебе пригодятся, когда давиться станешь.– И он сунул в руки вахмистра связку воровины.

Вахмистр было понятился, но, встретившись с взглядом Кирьки, вожжи из его рук принял. А Кирька, махнув затем мужику, сказал:

– Ну, што рот-то разинул? Давай к нам. Да не робей, не робей. Ить не все же в нашей станице звери. Люди и тут водятся!

В сумерках этого же дня все четверо – братья Карауловы, Архип Кречетов и новосел с хутора Заметного – сидели в сенках у Кирьки, допивая бутылку третьесортного самогона, и мирно беседовали.

– Как же ты живешь – ни коня, ни вола при таком семействе?– спросил Кирька мужика, которого звали Макаром Зубатовым.

– А вот так и живем – из кулька в рогожку. Надел-то на новом месте получить получил, а силы вот в руках нету. Ну, куды податься? Землю – в аренду, сам – в батраки, семейство – по миру,– сказал Макар Зубатов.

– Да, выходит, жизнь-то не слаще нашей,– задумчиво проговорил Архип Кречетов.

– Так выходит,– подтвердил Оська Караулов.

– Вот тебе и казачество!– сказал Макар Зубатов.

– Вот тебе и новоселы!– сказал Оська Караулов.

– Все мы – одного поля ягоды. Пьем, братцы!– заключил Кирька, по-дружески с размаху чокнувшись с Макаром.

3

Весна была хмурой и непогожей. Низко висело над степью сырое, промозглое плоское небо. Свирепые северные ветры дули днем и в ночи. Сыпались тощие зерна косых дождей. Откочевка в глубинную степь задерживалась, и степные князьки, аткаминеры и баи отсиживались в своих зимних жилищах, выжидая погожих дней.

Кыстау – зимовка аула волостного управителя Альтия – приютилась под крылом березовой рощи. По вечерам ярко и весело светились в сумраке освещенные окна большого байского дома. Высокий, плотный и грузный хозяин этого дома Альтий принимал гостей с Горькой линии – чубатых, усатых и бравых станичных

атаманов, заезжих прасолов из России и знатных аткамперов из далеких степных родов. Здесь было шумно и весело. Звенели песни бродячих певцов под ритмичный говор домбры. Плескался в фарфоровых чашах голубоватый кумыс. Нарядные байские женщины хлопотали вокруг огромного никелированного самовара, гремя дорогой посудой,– готовились потчевать индийским чаем знатных русских гостей.

А в ветхой избушке слепого Чиграя было в этот час совсем убого и сиро. Скупо и немощно светил светильник, и мычала больная коза в черном углу почти по-человечески, тихо и скорбно. Старый беркут, смежив свои печальные веки, неподвижно сидел, нахохлившись, словно прислушиваясь к чему-то. Новорожденный козленок вздрагивал и жалобно блеял во сне. А старый Чиграй, сидя на циновке, пересыпал в ладонях черные бобы, похожие на мелкую прибрежную гальку. Что-то нашептывая вполголоса, Чиграй колдовал над бобами, то разбрасывая их веером перед собой на цинковке, то быстро собирая их своими тонкими гибкими пальцами в отдельные кучки, напоминающие бараньи стада.

Молодые и старые джатаки сидели вокруг слепого Чиграя, по-степному поджав под себя ноги. Не спуская глаз с беспокойных старческих рук слепца, люди почтительно молчали, выжидая, когда заговорит Чиграй.

Наконец Чиграй, подняв трепетные веки, как бы прислушался к тишине, густо пропитанной запахом козьего помета и кислой овчины, и голосом кротким и проникновенным проговорил:

– Жол – дорога.

– Ие?– откликнулся рядом сидящий с ним джатак, столь же древний по виду, как и Чиграй.

– Дорога,– повторил Чиграй.– Она падает третий раз на девятый боб, самый легкий из всех бобов и самый счастливый.

– Скорая дорога?– спросил самый молодой и самый нетерпеливый из джатаков, пастух Сеимбет.

– Девятнадцатый боб упал на путь девятого боба. Девятнадцатый боб быстрее тулпара, о котором знают все кочевники с детства.

– Правду ли говорят твои бобы, аксакал?– спросил Чиграя пастух Сыздык.

Помолчав и снова как бы прислушавшись к чему-то, Чиграй медленно и глухо проговорил:

– Бывает так, что и бобы не хотят говорить мне правды. Тогда я кладу их на отдых и выхожу ночью за дверь зимовки слушать, как молчит степь. Я знаю, что в эту пору все небо усыпано золотыми бобами звезд. И я слушаю, о чем шепчутся в ночи эти далекие звезды.

– О чем же они шепчутся, аксакал?– вновь спросил слепца самый молодой и самый нетерпеливый из джатаков.

– Ты слишком молод еще, джигит, чтобы знать об этом,– сердито сказал старый Чиграй. И он снова умолк, перебирая свои бобы и раскладывая их на циновке по кучкам.

В глубоком безмолвии сидели вокруг джатаки. Старики пили горячий лимонно-желтый чай, настоянный на степной траве – шалфее. Молодые задумчиво смотрели своими прищуренными глазами на трепетный огонь немощного светильника. Женщины, приютившиеся в черном углу вместе с больной козой, козленком и беркутом, скорбно вздыхали. Всем им хотелось, чтобы сбылось гаданье слепца и чтобы выпала скорая дорога джигиту, на возвращенье которого все меньше и меньше оставалось надежд у джатаков аула. Почти каждую ночь собирались молодые и старые пастухи в зимовке старейшего и мудрого аксакала. Почти каждую ночь колдовал слепец над своими бобами и почти каждую ночь предсказывал он скорое возвращение джигита. Но джигит не возвращался, и никаких вестей о нем не

заносил в аул джатаков узун-кулак – длинное ухо – телеграф степи.

Пересыпая из рук в руки свои бобы, Чиграй говорил вполголоса полудремлющим вокруг очага джатакам.

– Вчера я стоял за нашей зимовкой. Это было в полночь. Степь молчала. Уснул в камышах ветер.

– И тогда я услышал, как трижды проржал жеребец в косяке кобылиц, пасущихся на тебеневке.

– Ие?– удивленно воскликнул один из старейших джатаков, сидевший по левую руку от Чиграя.

– Я услышал, как трижды проржал скакун, и вздрогнул от страха,– продолжал вполголоса старый Чиграй.– Я понял – это худая примета. Если трижды в полночь ржет жеребец, быть беде. Это я точно знаю. Он ржал в западной строне. Значит, беда придет в наш аул с запада.

– Беды никогда в одиночку не ходят, аксакал!– заметил пастух Сеимбет.– И мы к ним давно привыкли. Они приходят к нам табунами с каждой новой луной.

– Какие же беды ждут нас теперь, по-твоему, Сеимбет?– спросил Сеимбета пастух Сыздык.

– Известно, какие. Пришла весна – Альтий потребует с нас долги. Нам с вами нечем будет расплачиваться, и мы снова останемся коротать жаркое лето в этих зимовках, стеречь байские дома и жевать курт. И мы снова будем к осени в долгу у Альтия.

Джатаки молчали. Шафранное пламя светильника едва тлело во мраке. Тихо было в зимовке. По-прежнему по-человечески кротко и скорбно мычала больная коза, прислушивался к чему-то нахохлившийся в черном углу старый беркут.

С тех пор – это было около двух лет тому назад,– когда джигит Садвакас, бежав с русскими из-под ареста, бесследно исчез в степях, много воды утекло из окрестных озер и много новостей наслышались джатаки от блуждающих всадников за эти годы.

– Хабар бар ма?– спрашивали пастухи встречного всадника.

– Хабар бар. В ауле Каратал загнал на байге чубарого байского скакуна подпасок по имени Рамазан, и на родовом совете старейшин подпаску сказали так: «Ты будешь пасти скот бая Итбая до тех пор, пока твой хозяин вырастит первенца от третьей жены и пока берег черного озера Кара-Су не покроется молодым ракитником».

Пастух останавливал каждого путника одним и тем же вопросом:

– Хабар бар ма?

– Хабар бар. По атбасарскому тракту проехал русский купец в малиновой опояске. Он скупил у джатаков баранов по дорогой цене за фальшивые деньги.

– Ие?!

– Хабар бар. Бродячий певец степей по имени Беимбет прославил в песне джигитов из рода Кейты – храбрых богатырей и лихих наездников.

– Ие?! Чем отличились они?

– Они отбили у байских барымтачей – прославленных конокрадов – косяк кобылиц с жеребятами, украденный у джатаков, и вернули пастуху Койче похищенную барымтачами его семнадцатилетнюю невесту Жамал...

Много слыхивали нехитрых степных новостей джатаки за эти годы от странствующих в окрестной степи певцов и блуждающих всадников, но никто из них ни слова не сказал им о Садвакасе – где он и что с ним? Томится ли он за железной решеткой в большой русской крепости или скрывается в кочевьях Малой орды в окружении таких же, как он, мятежных и непокорных джигитов? Об этом молчала степь, любившая новости, но и умевшая хранить тайны.

По ночам, собираясь в сумрачной и ветхой зимовке слепого Чиграя, джатаки рассказывали друг другу вполголоса о своих снах и догадках.

– Я видел сон,– говорил джигит Сеимбет.– На кургане сидел орел, белый, как войлок байской

кибитки, а к орлу крался по ковылям матерый зубастый волк. И я не знаю, что было бы с красивым орлом, белым, как войлок байской кибитки, если бы я не закричал во сне от испуга. Орел услышал мой крик, взмахнул могучими крыльями и поднялся над степью. Как мне истолковать этот сон, мудрый наш аксакал?– спросил Сеимбет Чиграя.

И Чиграй после долгого раздумья ответил:

– Сон твой вещий, джигит. Твой орел, белый, как войлок байской кибитки, походит на самого храброго и самого смелого из джигитов степи Садвакаса.

– Ты думаешь, что наш Садвакас еще жив и здоров, аксакал?– спросил Сеимбет Чиграя.

– Бобы говорят мне так. И я им верю...– ответил Чиграй.

И джатаки, вновь поникнув в раздумье над догорающим очагом, умолкали.

И вот однажды, в одну из темных весенних ночей, какие бывают в канун новолуния, когда джатаки, собравшиеся в зимовке Чиграя, разговаривали вполголоса, о новостях, которые удалось им услышать за день, случилось то, чего они ждали в течение многих ночей и дней за эти годы. Скрипнула дверь, и джатаки увидели на пороге высокого и прямого джигита в русской одежде. Но ни ветхая солдатская шинель, ни такой же старый русский картуз с лакированным козырьком, ни ремень военного образца, туго перетянувший стройную и гибкую талию джигита,– ничто не помешало тотчас же узнать джатакам в пришельце Садвакаса.

Только одно мгновенье длилась в сумрачной зимовке Чиграя напряженная тишина. Только одно мгновенье неподвижные и онемевшие от неожиданности люди смотрели растерянно и изумленно в смуглое лицо пришельца. И вдруг, словно вихрем сорванные с места, джатаки бросились к человеку в серой солдатской шинели, и ураган восторженных возгласов забушевал под крышей старой зимовки:

– Ие!

– Уй-бой!

– Садвакас! Друг мой!

– Брат мой!

– Тебя ли я вижу?

– Сын мой! Ты ли это?

– Внук мой! Твое ли слышу дыхание я?

– Откуда ты?! Здоровы ли ноги и руки твои?– перебивая друг друга, кричали люди, окружив Садвакаса. Обнимая его, они не верили в это мгновенье ни глазам своим, ни слуху.

Растерянно улыбающийся, взволнованный Садвакас, увидев поднявшегося с циновки слепого Чиграя, бросился к нему с протянутыми руками и крепко стиснул в своих объятиях старика. С минуту при воцарившемся в зимовке безмолвии стояли Садвакас и Чиграй, не проронив ни слова. Обнаженная, тронутая ранней проседью голова Садвакаса лежала на груди старика. А тонкие, трепетные пальцы Чиграя судорожно ощупывали затылок, виски и плечи джигита.

...А когда несколько улеглось необычайное возбуждение джатаков, когда подан был женщинами горячий, ароматный и крепкий цейлонский чай и рассыпаны на старенькой скатерти свежие, прожаренные в масле баурсаки,– все присутствующие в зимовке люди, не сводя с Садвакаса ярко поблескивающих глаз, слушали его неторопливую речь.

Держа в одной руке пиалу с недопитым чаем и пристально вглядываясь при этом в лица окруживших его джатаков, Садвакас говорил:

– Длинны дороги степи. И много верст прошли мы по ним с нашими русскими друзьями. Но длиннее всех дорог покажется вам мой рассказ о том, что мы передумали и пережили за эти два года, скитаясь по далеким отсюда аулам кочевников и глухим русским селам. Я не могу рассказать вам обо всем этом сразу, в одну ночь. Слава богу, впереди у нас много еще ночей и

дней, и вы, друзья мои, услышите все от меня, что испытал я и увидел... А сейчас скажу вам только одно: не будь у меня русских друзей – не видать бы вам меня.

– Ие?!– удивленно воскликнул старый Чиграй.

– Не видать бы меня вам, друзья, если бы отверг я дружбу русских людей,– продолжал Садвакас, остановив свой задумчивый взгляд на колеблющемся пламени светильника.– И первым из этих русских моих друзей был Салкын. Помните ли вы этого человека?

– Это тот, который помог бежать тебе с другими джигитами два года назад из русской крепости Капитан-Кала?– спросил пастух Сеимбет.

– Да, это тот самый,– сказал Садвакас.– Он опять-мне помог бежать из острога, и это сделал не сам Салкын, а его друзья. Это было месяц тому назад. Я сидел вместе с двадцатью другими джигитами в каменной башне, похожей на сырой, холодный и темный колодец. Если бы нас не выручили наши русские друзья, мы были бы теперь прикованы к тачкам на каторге, и мы рыли бы золото в далеких отсюда горах Акатуя.

– Ие?! Значит, ты опять убежал, Садвакас?– спросил пастух Сеимбет.

– Да, я снова бежал из-под стражи, и со мной убежали все двадцать джигитов.

– Как это было, скажи?– попросил Сеимбет.

– Это очень длинный рассказ, Сеимбет, и на него не хватит мне даже двух бессонных ночей. Я расскажу все это вам, мои друзья, следующей ночью, если нас никто не услышит из тех, кому не надо этого слушать... А сейчас мои ноги гудят от усталости, и свет в глазах моих гаснет. Я провел двое суток без сна, без пищи и отдыха. Я очень ослаб. И мне трудно сейчас разговаривать,– сказал Садвакас.

И только тут увидели люди, как и в самом деле был утомлен Садвакас и как дрожали его запекшиеся, точно обугленные губы.

– Друс. Друс. Правильно. Надо дать Садвакасу покой. Пора и нам разойтись по своим зимовкам,– сказал Сеимбет, поднявшись с циновки.

И следом за Сеимбетом тотчас поднялись все сидевшие вокруг Садвакаса люди, за исключением слепого Чиграя. Старик остался сидеть рядом с Садвакасом, держа его за руку, словно боясь вновь потерять его.

– Значит, снова пришел ты к нам, Садвакас, по тайной дороге?– спросил Сеимбет.

– Да, джигиты, я снова пришел к вам тайком. И об этом надо пока молчать,– сказал Садвакас.

– Ие,– подтвердил Чиграй.

– Друс. Правильно,– сказал Сеимбет.– Если так нужно, мы будем молчать. И никто не узнает, что ты снова с нами.

– Никто не узнает,– подтвердили хором джатаки.

– Молчим, Садвакас. Молчим,– проговорил вполголоса Сеимбет, подав знак молодым пастухам оставить зимовку.

4

После бесприютных вешних ветров, слонявшихся день и ночь над степью, после косых и колючих дождей, после низких и плотных облаков, похожих на грязную вату, наступила погожая пора. На небе – ни облачка. Куда ни глянь– все кругом цветет и благоухает. Колыхались над степью призрачные шарфы жарких полуденных марев. И, как пламя в дыму, полыхали в травах тюльпаны.

Шел двадцать девятый день уразы – постного месяца рамазана. Двадцать девятый голодный рассвет встречали в ветхих и жалких своих кибитках джатаки-пастухи и подпаски. Они просыпались, когда в юрте еще плавала теплая полумгла и когда нельзя было еще увидеть нитки, валявшейся на войлоке. В такую пору

старый Чиграй будил старшего из пастухов – Сеимбета. Сеимбет будил Сыздыка, а Сыздык – подпаска Ералы. На рассвете Сеимбет делил между пастухами и подпасками пригоршни сухого творога – курта, и они, наскоро завершив свою утреннюю трапезу, спешили к отарам байских овец в стороне от зимовки.

В байских юртах шла подготовка к откочевке на летние пастбища. И волостной старшина Альтий приходил каждое утро к многотысячным отарам своих овец, занимаясь их пересчетом. Усевшись на высоком холме, Альтий приказывал пастухам прогонять мимо него цепочкой отары и пересчитывал вслух своих баранов.

Это встревожило пастухов не на шутку. Они знали, если Альтию станет известно о растерзанных волчьей стаей пяти баранах, аулу несдобровать.

– Пропал я,– говорил в отчаянье двенадцатилетний подпасок Ералы, испуганно поглядывая в сторону сидевшего на холме Альтия.

– Ничего, не бойся, бала. При чем здесь ты? Все будем как-нибудь отвечать,– пытался успокоить его Сеимбет.

– Нет, не все. Я больше всех виноват. Ведь овцы пропали из моей отары,– с рассудительностью взрослого говорил Ералы.

– Откуда знать баю – в твоей это отаре или в моей,– уговаривал его Сеимбет.

– Он все узнает, и мне будет худо,– твердил подпасок.

И Ералы оказался прав. Неизвестно, какими путями, но Альтий узнал, из чьей отары пропали овцы. А дознавшись, он призвал к себе в юрту подпаска и жестоко избил его волосяным арканом. Стиснув мелкие и частые, как у хорька, зубы, мальчик не проронил ни стона, ни крика, извиваясь под ударами жесткого волосяного аркана. Он знал, что защищать его все равно некому и что ни один из пастухов не посмеет вмешаться в расправу.

Когда избитого пастушонка унес Сеимбет на руках в юрту слепого Чиграя, Ералы, страдая от чудовищной боли в своем маленьком хрупком теле, прежде всего спросил склонившегося над ним Сеимбета:

– А жеребенок мой где?

– В табуне, в табуне, Ералы,– успокоил его Сеимбет.

– Разве бай теперь у нас его не отнимет?– спросил, не открывая глаз, Ералы.

– Нет, нет, Ералы, не отнимет. Мы ему его не дадим.

– А чем же мы будем платить за баранов?

– Придумаем что-нибудь. А жеребенка не отдадим,– заверил Сеимбет подпаска.

И Ералы успокоился. Целых три дня отлеживался он в юрте слепого Чиграя. И старая байбише Бильда любовно ухаживала за подпаском, как за кровным своим последышем. Она поила его наваром целебного корня травы караматау, сорванной в долине озера Узун-Куль, и натирала его худое тело, лиловое от кровоподтеков, целебными соками из трав, которые росли, по словам байбише, только за тридевять земель от их аула. А на четвертый день подпасок поднялся чуть свет с жесткой своей постели, когда в юрте все еще спали, и, захватив с собой пригоршню сухого творога, ушел в табун, который пас Сеимбет. Еще издали, завидев в прибрежной осоке своего чалого жеребенка, мальчик, забыв обо всем на свете, бросился к своему любимцу. Жеребенок, отлично знавший своего маленького хозяина, приветливо протянул к нему морду и коснулся мягкими замшевыми губами лица Ералы. Обхватив тонкими бронзовыми руками крутую шею стригунка, Ералы долго ласкал его, целуя коротко подстриженную озорную челку и говоря ему самые нежные, самые ласковые слова:

– Мой хороший, золотой мой стригун Бала! Ты совсем у меня настоящий скакун. У тебя крепкие белые зубы и черный ремень на спине. Ты у меня умнее беркута – самой мудрой птицы. Ты у меня быстрей

тушканчика – самого быстрого степного зверька. Злые белые скакуны бая Альтия глупы, как рыбы. Я люблю твои веселые большие глаза. Я люблю тебя, мой тулпар!

И стригун, положив голову на обнаженное хрупкое плечо маленького хозяина, слушал ласковые речи его, закрыв глаза. Затем Ералы, сев на жеребенка, заехал на нем в озеро и долго купал его в розовой от восхода, прозрачной и прохладной воде. Мальчик продолжал разговаривать с ним так же нежно и ласково, как разговаривал с маленькой своей сестрой – шестилетней Мусонтай.

– Ты уже прожил одно лето и две зимы, золотой мой стригун!– бормотал поднасок, продолжая плескать на широкий и гладкий круп жеребенка озерную воду.– Ты совсем стал похож у меня на того настоящего коня, про которого рассказывал старый Чиграй мне хорошую сказку. Много, много весенних и летних лун ждал я тебя, мой Бала! Каждый раз, когда брал меня бай Альтий в пастухи, обещал он мне отдать осенью самого красивого и самого резвого жеребенка. Каждое лето я пас байский скот. Я же хороший поднасок! Но каждую осень сытый и злой Альтий обманывал меня и не давал мне тебя, мой золотой, мой хороший звереныш. А теперь ты мой. И теперь я тебя никому не отдам. Ты у меня быстрее весеннего ветра и легче залетной птицы. Это все узнают, когда будет праздник Ураза айт и когда будет в ауле байга – веселые скачки!

Был на исходе тридцатидневный пост, и джатаки, собираясь по вечерам у костров, думали вслух о предстоящем празднике – завершении постного месяца рамазана. И каждый из них мечтал об этом празднике по-своему.

– Я поборю самого сильного джигита из рода Джучи – Тарантула,– говорил пастух Есбатыр.

– Я дальше всех пройдусь на руках вниз головой,– хвастливо заявлял самый озорной из поднасков Омар.

– А я выйду победителем в козлодранье,– утверждал проворный и ловкий джигит Чиакпай.

А старый Чиграй, раскинув свои бобы на циновке и поколдовав над ними, нашептывал изумленно таращившему на него глаза подпаску:

– Я слушал, о чем говорят бобы. Они говорят мне сегодня правду. Они говорят, что на байге в день весеннего праздника Ураза айт один жеребенок подпаска обгонит на скачках самого злого и сильного байского скакуна...

– Ой-бай!– удивленно восклицал Ералы, недоверчиво поглядывая на полусмеженные веки слепого Чиграя.

– Так говорят мне бобы,– продолжал бесстрастным голосом Чиграй.– Так мне сказал пятнадцатый боб – самый пугливый, как кобчик, и самый быстрый, как тарбаган. Он перешел дорогу восьмому бобу – злому, как шайтан, и черному, как ворон, байскому скакуну.

И джатаки, прислушиваясь к пророческому гаданью, думали о том, как было бы хорошо, если бы сбылись и на этот раз предсказания мудрого аксакала!

В ночь под праздник Ураза айт вокруг аула джатаков запылали огненные миражи костров. Все мужчины и женщины аула, выйдя из юрт, приглядывались к темному, щедро усыпанному звездным золотом небу в ожидании появления новорожденного месяца. Самый счастливый из рода должен был первым увидеть тонкий, прозрачный рог новолуния. Самый счастливый должен был первым известить людей о том, что постный месяц рамазан исчез за Жаман-сопкой, уступив место новорожденному лику луны – предвестнику веселого весеннего праздника.

Против байских юрт в казанах закипала сорпа и варилось молодое и ароматное баранье мясо.

– Каждый колет барана. Это правильно,– сказал Чиграй.– Но джатак не знает, кого заколоть ему на праздник Ураза айт.

– На чем же ты переедешь через ад по нитке, тонкой, как лезвие меча, когда ты будешь на том свете?– спросил мулла.

– Нет, мне не на чем переехать через ад на том свете,– сказал, скорбно поникнув, старый Чиграй.

– Ты говоришь мне неправду,– сурово оборвал Чиграя мулла.– Аллах и я знаем, что у тебя ходит овца с белой ногой.

– Это правда. Но я жду, когда у меня народится пара ягнят,– сказал Чиграй.

– Об этом не надо думать на этом свете, если ты не хочешь кипеть в аду,– поучительно и строго сказал мулла.

Пастух Сеимбет, зло покосившись на желтобородого муллу, сказал:

– Об этом надо сказать не нам – Альтию. Если он не отдаст мне моей тайнчи и барана, то мне прямая тогда дорога в ад. Выходит, я буду кипеть на том свете в смоле по вине Альтия?!

Мулла, встретившись с недобрым взглядом джигита, не нашелся, что ответить ему, и, многозначительно крякнув, пошел прочь.

А на рассвете, когда запели в окрестной степи перепела и заметались над озером белоснежные чайки, один из байских джигитов крикнул:

– Я вижу новорожденный месяц!

– И я!

– И я вижу. Вон он! Вон он поднялся над черным озером Кара-Су!– загремели над степью восторженные крики.

И тогда в просторных, украшенных дорогими коврами и красочным войлоком юртах аткаминеров и баев аула началось праздничное пиршество. Тучные, неповоротливые, заплывшие жиром аксакалы с сонными лицами торжественно и важно восседали полукругом и, засучив рукава цветных халатов, священнодействовали над кусками свежей баранины,

трое проворных и легких джигитов, искусно орудуя ножами, крошили дымящееся горячее мясо над деревянными блюдами, а белобородые аксакалы жадно хватали куски янтарного сала руками, набивая рот и давясь непрожеванными кусками. В три ряда замыкался мужской круг за застольным пиршеством аксакалов. Впереди сидели широкоплечие, заплывшие жиром люди с посеребренными сединой бородами – старшины рода, волостные управители и аткамишеры. Позади – молодые, развязные шумные джигиты. А за джигитами теснились, прижавшись друг к другу, менее почетные гости Альтия – отдаленные бедные родственники.

Женщины сбились справа около шипящих турсуков – кожаных мешков с кумысом. Одни ловко наполняли огромные деревянные чаши – пиалы голубоватым квашеным кобыльим молоком, другие разливали гостям сорпу – жирный навар от баранины. Аксакалы и джигиты свирепо обглядывали кости, затем кидали их через головы впереди сидящих джигитов на женскую половину, и гибкие руки женщин ловко схватывали их на лету. Затем эти же кости перелетали от женщин к толпившимся в черном углу пастухам и подпискам.

Сам волостной управитель Альтий восседал, как бог в облаках, среди пышных пуховых подушек, обрабатывая складным ножом одну баранью голову за другой и звучно высасывая бараний мозг и жир из глазных и подлобных впадин.

Кто-то наотмашь бросил в бронзовое лицо подпаска Ералы кусок янтарного сала. Не успев схватить на лету дарованную ему пищу, подпасок с трудом выбрался из-под кучи навалившихся на него оборванных, грязных и злых ребятишек, с яростью вырывавших друг у друга добычу.

...А в полдень за озером Кара-Су заходил ходуном увал под проливным дождем конских копыт, и гортанные крики возбужденной и яркой толпы заглушили

мятежное лошадиное ржанье. Пресытившиеся на пиршестве патриархи степей – сребробородые аксакалы сидели теперь полукругом на высоком кургане, устланном шитым войлоком и коврами. Важные, неподвижные, как изваяния, восседали они, равнодушно озираясь вокруг тяжелыми сонными глазами. Они томились в ожидании первого заезда восемнадцати лучших скакунов степи Сары-Дала, отобранных знатоками для этой весенней байги. Нарядные, озорные, крикливые и веселые казахские девушки мелькали то тут, то там, как цветы в ковылях, сверкая позументом своих голубых, оранжевых и малиновых камзолов. Степные красавицы резвились, позванивая связками серебряных монет, вплетенных в их тяжелые, темные, как осенние ночи, косы.

А в стороне от кургана огромная толпа кочевников шумела, окружив злых, надменных и капризных байских скакунов, споря о беговых качествах лошадей, предназначенных для сегодняшней двадцативерстной скачки. Среди гибких полукровок с плоскими крупами, огненными глазами танцевал на своих упругих и тонких ногах невеликий стригун с белой звездой на лбу. И такая же шумная и азартная толпа джатаков толпилась вокруг стригунка, какая шумела в это время и вокруг восемнадцати отборных скакунов, сведенных сюда богатыми аксакалами из окрестных аулов. Джатаки подбадривали подпаска Ералы, лихо сидевшего на стригунке, нетерпеливо перебирающем своими гибкими, точеными ногами:

– Не робей, Бала!

– Не трусь, Ералы!

– Плюнь на насмешки!

– Будь настоящим джигитом!– раздавались азартные крики джатаков.

А белобородые патриархи, сидевшие на кургане, презрительно косясь в сторону шумевших вокруг стригунка джатаков, переговаривались, усмехаясь:

– Тоже мне – бегунца нашли!

– Это не лошадь – паршивый кобчик!

– Пусть позорятся для потехи...

– Друс. Правильно. Смеху наделают на всю степь. Когда был подан знак наездникам для отправки к границе забега и восемнадцать всадников под напутственные возгласы толпы тронулись, сдерживая своих горячившихся скакунов, в степь, тогда вслед за байскими всадниками тронулся на своем стригунке и подпасок Ералы под такие же напутственные возгласы джатаков:

– Удачи тебе, Ералы!

– Скачи с умом!

– Смотри не горячи зря коня!

– Не забудь разнуздать при забеге.

– Не давай сразу ему полной воли!

...Все двадцать верст ехали байские всадники шагом, с трудом сдерживая своих волнующихся перед скачкой коней. Шагом ехал вслед за шумной ватагой байских джигитов на своем стригунке и подпасок Ералы, вполголоса разговаривая то со стригунком, то с самим собой.

– Ты у меня настоящий скакун, Бала,– ласково похлопывая стригуна по крутой и упругой шее, говорил Ералы.– Ты меня выручишь на этой байге, и я тебе вымою молоком розовые твои копыта!

И стригун, точно понимая, о чем говорил ему подпасок, шел под ним, пританцовывая на своих молодых, упругих ногах и кивая в знак согласия своей красивой мордой с белой звездой на лбу и озорной, трепещущей челкой между острыми, как мечи, ушами.

Так, ласково разговаривая со своим конем, незаметно, проехал подпасок дорогу к границе забега. Кавалькада байских всадников – это были такие же подростки, как и Ералы,– выстроилась на холме в одну шеренгу, к ним пристроился с левого фланга на своем стригунке Ералы. Его никто не заметил. Теперь было

всем не до шуток. Маленькие наездники, крепко стиснув поводья, сидели на своих готовых ринуться вихрем конях, не сводя глаз с джигита в стороне: все ждали условного взмаха руки джигита в малиновом камзоле и его команды о начале байги. Ждал и Ералы, намертво стиснув в цепких руках сыромятные поводья.

Было тихо.

Ералы слышал неровный и частый стук своего маленького сердца. Он даже слышал, кажется, как стучало в это мгновенье и сердце его стригунка...

Наконец джигит в малиновом камзоле, подняв над головой камчу – тяжелую ременную плеть с оторочением серебряной ленточкой черенком,– пронзительно крикнул:

– От урочища Курга-Сырт до аула Альтия двадцать меряных верст. Сейчас мы увидим, чей скакун окажется быстрее степного вихря и кто из наездников будет легче птичьего пера. Байга!

Будто вихрем сорвало с холма девятнадцать всадников. Степь покачнулась. Голубой огонь неба на мгновенье ослепил и ожег покосевшие глаза Ералы. Горячий встречный ветер высекал слезу за слезой. Ералы прикусил язык. Он пригнулся над крутой и упругой шеей своего стригуна и ничего не видел впереди себя, кроме похожей на колеблющееся пламя маленькой светлой челки, вспыхивающей между острых ушей стригунка. А сзади стремительно нарастая, гудел целый ураган азартных воплей наездников. То отпуская, то натягивая повод уздечки, Ералы беспрестанно твердил:

– Ой, Бала! Выручай меня, золотой мой стригун! Не срамись перед байскими скакунами, мой хороший!

Вот сверкнул узкий и плоский, как нож, залив озера. На мгновение мелькнул в глазах зеленый огонь густой прибрежной травы на займище. Ералы временами видел перед собой пустынную степь с парчовыми

ковылями и стремительно мчавшуюся ему навстречу широкую степную дорогу. Ни разу не оглянувшись, подпасок тем не менее чувствовал, как все дальше и дальше отставали от него восемнадцать байских наездников на своих красивых, надменных и злых скакунах, как все глуше и глуше стучали на утрамбованной дороге некованые конские копыта.

Ералы не знал и не помнил, сколько времени летел он как вихрь, на своем стригуне впереди восемнадцати байских наездников. Но вот, точно очнувшись от забытья он увидел впереди себя степной увал, усыпанный людьми. Было похоже, что навстречу подпаску катился пестрый вал: это толпы девушек, одетых в разноцветные бархатные камзолы, бежали навстречу. Они бежали, размахивая своими тонкими, гибкими руками, приветствуя победителя праздничных скачек.

И Ералы, прижавшись своим легким и хрупким телом к тугой, напружинившейся шее стригуна, теперь уже не торопил его ни плетью, ни окриком, а только вполголоса повторял одно и то же:

– Золотой мой Бала! Ой, мой Бала! Хороший!

Яркие, как степные тюльпаны, камзолы девушек, цветные халаты седобородых степных патриархов и пестрые лохмотья джатаков – все смешалось, слилось в один радужный, красочный круг, похожий на ярмарочную карусель. А восторженный рев оглушал Ералы, и голова его кружилась, как от крепкого майского кумыса, и временами ему казалось, что он задыхался от радости и терял сознание.

Ералы не помнил, как вылетел на полном скаку из седла на распростертые руки джатаков. Кто-то схватил его на лету, как подбитую выстрелом птицу. Старая тюбетейка слетела с головы подпаска. А жеребенок вдруг присел на задние ноги, испуганно фыркнул и запатался, точно ноги его заскользили по льду.

Ералы, окруженный толпой пастухов и подпасков, придя наконец в себя, вытер потное лицо рваным

рукавом своей ситцевой рубашонки и запальчиво крикнул:

– Все видели, как скоро ходит Бала?!

Но в это мгновение толпа пастухов и подпасков, окружавших Ералы, вдруг шарахнулась от него в сторону, и восторженный гул людской речи внезапно оборвался. Тогда Ералы, ощутив в сердце тревогу, бросился со всех ног следом за пастухами и подпасками и, с трудом протиснувшись сквозь их притихшую толпу, остолбенел, увидев распластавшегося на траве стригуна.

Жеребенок лежал плашмя, не двигаясь и как будто даже не дыша. Его передняя нога с белым пятном над щеткой, слегка изогнувшись, упиралась своим молочно-розоватым копытом в пушистую грядку дороги. Из судорожно вздрагивающих ноздрей текли жидкие струйки желтой пены. Ералы, бросившись к стригуну, приподнял руками его горячую морду и крикнул:

– Вставай! Вставай, золотой мой Бала! Вставай, мой хороший!

Стригун посмотрел на мальчика своими печальными большими глазами и тотчас же снова прикрыл их, слабо вздохнув при этом, как человек, которому было теперь очень и очень худо. Полусогнутая в коленке тонкая нога стригуна чуть заметно подрагивала, и Ералы казалось, что из-под густых ресниц жеребенка показались крупные, как горох, слезы.

Подпасок сидел около стригуна на корточках, похолодев от тревоги. Мальчик даже не обернулся на голос окликнувшего его старого баксы – лекаря Чиакпая. Чиакпай, осторожно оттолкнув в сторону подпаска и присев около стригуна, долго ощупывал тонкими, гибкими пальцами холку жеребенка.

Стригун сделал еще два-три едва уловимых движения головой, передернул острыми ушами и, весь вытянувшись, замер. Его полузакрытый глаз, подер-

нутый холодной и мутной пленкой, отсвечивал теперь отраженным, неживым, тусклым светом.

И старый баксы, скорбно вздохнув, сделал неуловимое движение рукой, а потом, поднявшись на ноги, молча отошел в сторону.

Ералы подбежал к старому лекарю и, заглянув в его скорбное лицо, все понял.

Толпа джатаков продолжала неподвижно и молча стоять над распростершимся среди дороги стригуном. И Ералы слышал, как кто-то сказал:

– Веселый праздник Ураза айт для джатаков окончен. По степи Сары-Дала прошел хабар: джатакский скакун Бала обогнал восемнадцать байских скакунов и умер в конце дороги...

...Ночь пришла с ароматом трав и жемчугом рос, с перепелиным щелканьем и чистым, как слеза новорожденного, молодым месяцем. И снова заколыхались над степью огненные миражи огромных костров в байском ауле. Там веселились и пели захмелевшие от кумыса молодые, красивые, праздные джигиты. Там смеялись устало и сонно утомленные девушки. Далекое лошадиное ржание было похоже в такую пору на робкое журчанье степного ручья, и крик возвращающегося с байги всадника напоминал о крике незримой полуночной птицы.

Было уже поздно. А Ералы продолжал сидеть на корточках около своего неподвижного стригуна. Мальчик смотрел на полузакрытый, тускло поблескивающий под месяцем глаз жеребенка. Мальчику было жутко сидеть одному в ночной степи около мертвого жеребенка. Но подпасок не в силах был оторвать своих сухо блестевших глаз от густых ресниц стригуна и от его звезды на лбу, смутно белевшей под месяцем.

Но вот где-то далеко-далеко прокричал над займищем одинокий гусь. И подпасок, встрепенувшись от этого тревожного птичьего крика, вскочил и бросился со всех ног к аулу.

– Где наши люди?– спросил Ералы пастуха Сеимбета.

– Все собрались в юрте волостного управителя – аксакалы и джатаки. Иди и ты туда. Там решается спор о победителе сегодняшней байги,– сказал Сеимбет.

Когда мальчик робко вошел в огромную, увешанную дорогими коврами юрту, он увидел, что здесь было тесно, от людей. На почетных местах восседали торжественные степные патриархи и аткаминеры, а в черном углу теснились джатаки.

Ералы, затаив дыхание, стал около двери. Приподнявшись на цыпочки, он увидел седобородого человека в дорогом халате с домброю в руках и узнал его – это был прославленный певец Абакан.

–На наш праздник пришел из рода Джучи знаменитый акын Абакан. Его знает вся степь,– сказал волостной управитель Альтий.

– А из рода Дулат пришел к джатакам другой акын. Имя его Кургай. Он стар своими песнями. Когда поет Кургай, в озерах перестает играть рыба, и птица замирает на гнездах,– сказал слепой Чиграй.

– Тем лучше,– откликнулся с ехидной усмешкой Альтий.– Два акына – две песни. Пусть состязаются в этом айтысе два знаменитых певца степи. А мы послушаем и решим на совете старейшин, который из них поет лучше.

И певцы сели рядом. Один – в дорогом халате с нарядной домброй в руках – это Абакан. Другой – в поношенном, залатанном бешмете степного покроя и с такой же старой, незавидной домброй в руках – это старый бродячий певец Кургай.

Абакан, ударив по струнам, долго прислушивался к их глухому ритмичному говору, а затем, запрокинув голову и полусмежив веки, запел:

– Камыши в урочище Курга-Сырт гремят от ветра, горят от солнца и рвутся к небу от воды. Слава всемогущего Альтия обгонит ветер, перелетит на серебряных крыльях через

большое озеро Чаглы и заблестит под солнцем, подобно распластанным крыльям лебедя.

Веселый праздник Ураза айт прошел по нашим аулам, и в самом славном из них – в ауле Альтия – было съедено двадцать восемь баранов. Наш прославленный волостной управитель не пожалел для гостей трех верблюдов и самого жирного быка. Гости выпили в юрте Альтия целое озеро священного кумыса. И никто не отнимет у гостеприимного хозяина этой степи его великого могущества и богатства.

Ибо нет в степи более знатного человека, чем Альтий, и более богатого, чем он. Это его косяки не знавших узды, быстрых, как ветер, кобылиц кочуют по степным просторам. Это его красивые жены шумят на празднествах шелком своих камзолов и звенят золотыми монетами, вплетенными в темные, как осенняя ночь, и пышные, как майские травы, их волосы. Это от их сияющей красоты светло и днем и ночью в священной юрте нашего управителя. И я – странствующий певец степей – пою эту песню с полузакрытыми глазами, потому что блеск красоты и богатства ослепляет меня, и я не смею поднять своих век!

Ударив по струнам дорогой домбры, Абакан умолк под восторженные возгласы аксакалов.

На секунду в юрте возникла строгая тишина. Теперь очередь была за певцом бедноты Кургаем. Старый Кургай сидел против пылающего очага. Строгое вдохновенное лицо певца, озаренное отблесками костра, отливало холодным блеском меди, и золотые светляки порхали, как бабочки, в металлической бляхе его украшенного медным набором пояса.

Выпрямившись и как бы на секунду прислушавшись к чему-то, Кургай ударил затем по струнам и своим высоким, прозрачным и чистым голосом запел:

– Много лихих скакунов знавали окрестные степи. Много веселых и ярких праздников цвело в летнюю пору под благословенным и светлым небом.

Но настал день, когда, подобно смерчу, прошел по степной дороге джатакский стригун Бала. Восемнадцать байских

прославленных скакунов, злых, горячих и гибких, как дикие птицы, рвали поводья под легкими всадниками, но ни один из них не догнал джатакского стригуна на байге в честь праздника Ураза айт, и джатакский стригун пришел первым из девятнадцати, победив прославленных иноходцев.

– Он врет!– крикнул, обрывая песню Кургая, мулла с перекосившимся от злобы лицом.

– Он оскверняет священную юрту!– завопил, багровея от гнева, аткаминер Кенжигараев.

– Гоните его вон, как паршивую собаку!

– Гоните отсюда всех джатаков. Они оскверняют веселый праздник Ураза айт!

– Прочь, прочь их отсюда!– задыхаясь от криков, возбуждено и протестующе махали руками взбешенные знатные гости Альтия.

Кургай, прижав судорожным движением рук свою старую домбру к сердцу, стоял над пылающим очагом неподвижно, вызывающе, прямо. Лицо его было по-прежнему строгим, сосредоточенным, вдохновенным. Он смотрел сейчас на джатаков, но они, поникнув, молчали. И только гнев людей в дорогих одеждах продолжал бушевать, как ураган, под войлочной крышей байской юрты.

– Пусть скачут наши джигиты по всем окрестным аулам и пусть разносят они по степи хабар о том, как приблудный акын Кургай опозорил священную юрту прославленного Альтия!– крикнул аткаминер Кенжигараев.

– Друс! Правильно! Пусть расскажут джигиты о том, как подпасок загнал на байге своего худосочного стригуна и как пять самых красивых девушек били по щекам опозорившегося подпаска джатаков!– вторил аткаминеру мулла.

Вскоре вместе со всеми джатаками, покинувшими байскую юрту, выбежал вон и маленький Ералы. Он долго бежал в глубь полуночной степи, сам не зная куда и зачем. И только тогда, когда гневные крики взбесив-

шихся баев начали затихать вдали, как затихает в ночи лай степных псов, потревоженных кем-то в сонном ауле, подпасок остановился и перевел дух. Прислушавшись к полуночной степной тишине, он уловил своим чутким ухом невнятный шум и тотчас же понял, что это пасется вблизи конский табун пастуха Сеимбета. А минут пять спустя Ералы и в самом деле узнал словно выросшего перед ним из-под земли рослого и гибкого джигита. Это был Сеимбет, а рядом с ним – Садвакас. Джигиты угостили Ералы крошками курта и усадили его рядом с собой возле копны свежего сена.

– Почему они говорят неправду? Мой же стригун пришел первым,– сказал Ералы.

– Слушай, друг,– проговорил Садвакас после некоторого раздумья.– Альтий – самый знатный и самый богатый человек в степи. Он купил себе за пригоршни золотых монет пятерых жен, самых молодых и самых красивых. Он купил себе песни акына Абакана. Он купил чужую славу и чужую красоту. А у нас с тобой нет ни того, ни другого, ни третьего. У нас нет пригоршней золотых монет. Но наши руки крепки и упруги, как ветви березы. Наши мускулы налиты оловом силы,и здоровье кипит в нас, как молодой кумыс в турсуках. Злыми, зоркими и узкими глазами смотрит днем и ночью бай за нами. И никуда не укроешься от этих по-волчьи зеленых, зорких и злых глаз. Мы мокнем под холодным дождем, и мы мерзнем на свирепом зимнем ветру, остерегая от зверя несчитанные байские табуны. Мы безропотны и покорны, как сторожевые байские псы. Но время придет, и мы с вами станем другими. Нам ответит бай за все: за голод и холод, за нашу бедность и наше бесправие. Так мне сказал однажды мой русский друг, которого звали Салкыном. Он говорил, что настанет такое время, когда станут и пастухи-джатаки хозяевами родной степи. Так мне сказал Салкын. И я ему верю.

– Ты настоящий акын, Садвакас!– сказал Сеимбет.

– Да, это хорошая песня,– подтвердил Ералы.

– Нет, друзья, это не песня,– сказал Садвакас.– Не песня – слова мести... Каждый из нас должен запомнить эти слова наизусть. Я знаю, что скоро пройдет над степью великий хабар, и все пастухи и джатаки должны будут встать на стремена. В тот день, когда пройдет великий хабар по аулам быстрее залетного ветра и когда гнев джатаков поднимется в ночи, как зарево весенних пожаров, мы оседлаем самых быстрых и злых байских скакунов и мы помчимся туда, куда позовет нас великий хабар. Так говорил мне мой русский друг. И я ему верю,– заключил Садвакас.

И пастухи долго молчали, прислушивались к глухому шуму байского пиршества, к хмельным и веселым песням джигитов, к серебряному звону далеких девичьих голосов.

5

Лето выдалось засушливое.

По ночам грохотали грозы, и в косом плоском небе мерцали багровые шрамы молний. От вышего крика стонали озера. Птица снималась с воды и долго трепетала над камышами займищ, точно над пожаром, охватившим гнезда. Болезненным, лихорадочным румянцем рдели по утрам зори, и мутным выглядело раскаленное в полдень небо.

Но дождя не было. Над желтой степью, над синеватой заволочью перелесков мерцала призрачная кисея марев, и терпкий запах травяной гари разносили по пустынным дорогам прибалхашские суховеи. Казалось, от зноя отяжелевал даже древний ворон. Он кружился теперь над степью так низко, что сбивал обугленными крыльями макушки черноголовника, подсекал рано поседевшие ковыли, крошил мятлик. Удушливый, тяжелый, как пламя, стлался с песчаного Прибалхашья ветер. Чахла полынь, усыпанная пыльцой

цвета желчи. Горестно поник, свернув блеклые лепестки, донник. Пожелтела и ощетинилась выметавшаяся в трубку окуренная суховеем пшеница. Немощно пробивались сквозь черствую землю, хирели покрытые пепельной пылью овсы. И страшен был глухой, чуть уловимый для чуткого уха хруст сгорающих трав.

В огромном добела раскаленном просторе томилась степь. Грустно посвистывали, привстав на задние лапки, суслики. Тоскливо и одиноко было в пустынной степи. Но еще тоскливее и горше – в окрестных аулах, на переселенческих хуторах, в станицах на Горькой линии. Люди избегали теперь разговоров о засухе. Народ держался еще смутными надеждами на дожди. И опять, как в канун войны, запныряли по хуторам и станицам какие-то пыльные, словоохотливые нездешние люди и, насулив народу всяких бед и потрясений, так же незаметно исчезали невесть куда.

В линейных станицах совершались молебствия о дожде. Состоялось такое молебствие накануне Петрова дня и в станице Пресновской. Далеко в степи, среди выгорающих от суховея казачьих пашен был развернут потертый и пыльный шатер походной церкви. Матовое от перекала солнце стояло над головой. По черным парам, по окрестным выбитым табунами увалам бесновались пепельно-мглистые смерчи.

На молебствие была поднята вся станица. И вместе с людьми томился на солнцепеке согнанный из табунов для водосвятия весь станичный скот. Табуны были выстроены в две шеренги: с одной стороны – коровы и овцы, с другой – конские косяки.

В начале молебствия животные вели себя в меру терпеливо и мирно. Но во время чтения акафиста с вислоухой кобыленкой станичного десятника Бури случилась неприятность. Отлично зная порочную слабость своей кобылы, подвыпивший Буря еще до открытия службы завел с отцом Виссарионом такой разговор:

– В ножки к вам, батюшка,– сказал, низко кланяясь священнику, Буря.

– Благословляю, благословляю, раб божий. В чем нужда?– спросил отец Виссарион.

– С кобылой я маюсь. Ослобоните ее у меня от молебствия.

– В водосвятии не нуждаешься?

– Что вы, батюшка, Христос вам встречи! Разве я к этому? Я сам при божьем храме сызмальства в звонарях состоял...

– Ну, ну. А в чем у тебя причина-то?– заинтересовался поп.

– Да в этом и открываться-то мне не шибко ловко...

– Священнику?

– Да господи боже мой. Не в этом соль, батюшка,– сказал пониженным голосом Буря.– А соль в том, что распутная она у меня. В работе – слов нет, дюжая. Сто верст пройдет, не помочится. А вот случись жеребец – осатанеет, дурная собой делается, гужи рвет. Хвост крючком – и пошла писать вокруг да около, пока удовольствия не доступит. А спаси бог, не удастся – встречных и поперечных перегрызет. Согрешил я с ней, окаянной. Ее и в табун господа станишники не допущают по этой причине...

– Променял бы,– сказал поп.

– Да кому же она нужна, такая, вредная?! Тело не держит. Ребра все на свету. На приплод не способна. А худую славу на всю Горькую линию про себя пустила. Пытал я и променять, да охотников на таку менову что-то не находится...

– Редкая птица!– удивленно проговорил отец Виссарион.– А на водосвятие ее все же надо привести. Кто же знает: может, капля святой воды и исцелит ее буйную плоть. В это веровать надо. Нет уж, давай веди...

– Воля ваша, батюшка. Только я, грешным делом, думаю, что тут каплей не обойдешься. На ее, вредную, целый ушат надо вылить, тогда ино, может, будет толк...

– Дурак,– сказал отец Виссарион.

Между тем станичники Буре пригрозили:

– Только попробуй выведи свою кралю – ноги переломаем. Лучше не доводи до греха, не суйся.

После своего объяснения с отцом Виссарионом Буря заколебался. Но Кирька Караулов ему посоветовал:

– А ты давай веди для смеху. В случае чего я тебя в обиду не дам и кобылу твою тоже.

И вот в разгар водосвятия Буря все же явился со своей кобылицей на молебствие, пристроившись с ней рядом с коровами. Тонконогая, вороной масти, выгодно скрывающей худобу, с буйной вихрастой челкой меж озорных, всегда настороженных ушей, издали кобылица Бури казалась даже красивой.

Как бегового иноходца перед заездом, мертвой хваткой держал ее под уздцы обеими руками Буря. И с полчаса кобыла стояла спокойно. Но вдруг, дрогнув всем корпусом, лихо сверкнув огнистым навыкате глазом, она забилась, как в лихорадке, и, взметнув на дыбы, подняла на поводу хозяина.

– Пиши пропало!– обрадованно крикнул Кирька Караулов, осенив себя размашистым крестным знамением.

Фон-барон Пикушкин, сунув свои хоругви в руки шинкарке Жичихе, тотчас же бросился со всех ног, давя и толкая молящихся, к своему буланому жеребцу.

Перепуганные станичники, столпившиеся вблизи Бури, злобно шипели на него:

– Держи ты ее, ради Христа, покрепче!

– Не доводи до греха, варнак!

Не помня себя, Буря, бледный как полотно, напрягал последние силы, стараясь удержать забесновавшуюся кобылицу. Он бы, может, и удержал ее – силы у него на это хватило бы, но, как на беду, лопнул сыромятный повод. Кобыла, задрав хвост, с визгом трижды описала круг и стала перед буланым жеребцом фон-барона,

молодцевато затанцевавшим на поводу у приемного сына Пикушкина, подслеповатого Терентия. Когда Кирька Караулов, рискуя жизнью, попробовал отпугнуть кобылицу дубинкой, она осатанело заметалась по табуну с таким непристойным, пронзительным визгом, что отец Виссарион перепутал ектенью и тоже, как все молящиеся, тревожно заозирался по сторонам.

А в это время дернул черт кого-то выпустить со двора двух верблюдов, на которых приехали из степи казахи в станицу. И верблюды, величественные и медлительные, шествовали теперь прямо к согнанным на водосвятие табунам. При виде двугорбых степных старожилов лошади вдруг забесновались, храпя на поводьях у растерявшихся хозяев. И паническое смятение обуяло весь табун. Тяжело заворочал кровавыми зрачками, пустил светлую слюну, вертуном закружился на месте пепельный бык станичного атамана Бисмарк. Поддавшись всеобщему смятению, низко пригнув рога, начали рыть копытами землю и глухо мычать коровы. Долговязая оранжевая сука пристава Касторова очутилась в кольце обезумевших животных. От пыли над стадом повисла мутная, колеблющаяся туча. Ходуном заходила под копытами земля, и косые рога коров лихорадочно заметались из стороны в сторону.

Люди с детьми, с хоругвями и с иконами на руках бросились врассыпную. Запутавшись в облачении, упал с дарами отец Виссарион.

Дед Богдан, державший в руках потемневшую от времени икону древнего письма, тоже было подался с оглядками вслед за всеми в станицу. Но, услышав пронзительный детский крик, старик остановился. Тревожно оглядевшись вокруг, Богдан заметил вблизи походного шатра вихрастую голову Тараски Бушуева. Отставший в суматохе от матери перепуганный насмерть Тараска стоял, прижавшись к шатру. А в пяти шагах от него метался озверевший муганцевский бык

Бисмарк за ошалевшей от страха касторовской сукой. Наконец собаке удалось улизнуть от быка. И Бисмарк, завидев прижавшегося к шатру Тараску, остолбенел, напружинив хребет, словно задумавшись в нерешительности – сшибет он сейчас парнишку или промажет.

Скуластое, заметенное сединой лицо Богдана окаменело. Над стыком его крылатых бровей выступил пот. Богдан, смятенно оглянувшись вокруг, вдруг наотмашь кинул свою икону, а затем, по-звериному гибким, хищным прыжком опередив быка, ловко сгреб в охапку Тараску и бросился с ним со всех ног прочь. Обескураженный Бисмарк ринулся, бороздя литыми ногами землю, вслед за Богданом. Но Богдан ловко ускользнул от его сокрушительного удара, пропустив Бисмарка мимо себя. И бык, уже ничего не видя перед собой, сделав несколько спиральных кругов, бросился в сторону в поисках муганцевской суки.

А спустя полчаса, когда паника улеглась и верующие собрались около церковной паперти, возвращая в церковь вынесенные на молебствие иконы, отец Виссарион допрашивал в церковной сторожке Богдана:

– Ты что же, нерусский?

– Как вам сказать, батюшка? Говорят, примесь в кровях от предков имею...

– Выродок?

– А это уж как вам угодно...

– Православный?

– Так точно. Им считаюсь...

– В господа веруешь?

– Без этого нельзя... Сочувствую.

– А знаешь ли, какой грех ты сейчас совершил?

– Никак нет. Не могу знать.

– Дерзкие слова говоришь, Богдан!

– Виноват, батюшка. Может, и грешен. Грешен, что нерукотворный образ бросил в степи. Но зато ведь я ангельскую душу младенца спас,– сказал Богдан, вызывающе взглянув на отца Виссариона.

– Не знаю, что там было с ангельской душой, а вот за то, что ты богохульно бросил в степи икону, я накладываю на тебя епитимью. Назначаю тебе на каждую вечернюю службу по триста поклонов в течение месяца. А потом поговеешь недельку, и я тебя исповедаю,– строго сказал отец Виссарион.

– Многовато, батюшка. Ить я же дите малое спас от смерти. Это тоже понять надо,– сказал Богдан.

– Это я понимаю. Не дите – быть бы тебе отлученным от церкви,– заключил отец Виссарион, выпроваживая из сторожки Богдана.

...Вечером, заряжая свою фузею, Богдан бормотал:

– Ничего, наградил меня поп. Набью я теперь шишек на лбу. А за какие грехи, спрашивается? За кобылу? Лбом-то об пол надо бы не мне, грешному, а Буре. Ведь и весь сыр-бор загорелся из-за его распутной кобылы.

6

В знойный, овеянный суховеем полдень, когда листья на тополях жухли на горячем ветру, свертываясь от его огненного дыхания, пригнал в станицу верховой, вахмистр Дробышев, оборванного, долговязого, худого, как скелет, солдата. На площадь сбежалась почти вся станица.

Солдат, присев на упавшую изгородь станичного сада, неподвижно смотрел усталыми глазами куда-то в степную даль поверх голов столпившихся вокруг него станичных дедов, баб и ребятишек. Вахмистр Дробышев, гарцуя на своем бойком жеребчике, в сотый раз рассказывал одностаничникам, как был пойман им этот солдат верстах в двенадцати от станицы.

– Накрыл я его, воспода станишники и воспожи бабы, сонного. Ну, спешил я. Присмотрелся к нему. Вижу – дезертир! Что мне с ним делать? Хорошо, что я был при шашке. Обнажил клинок и приказал молод-

чику маршировать в станицу,– докладывал, ерзая в седле, вахмистр.

Кто-то, пристально приглядевшись к солдату, удивленно воскликнул:

– Батюшки-светы, да ведь это Макся!

– Какой такой тебе Макся?

– Клянусь богом, он, бушуевский работник!

– Правильно. На его смахиват.

– Так точно. Похож.

– Фактура – он,– оживленно переговаривались вокруг солдата как бы обрадовавшиеся бабенки.

Фон-барон Пикушкин с попечителем Вашутиным принялись за обыск солдата. Грубо рванув солдата за шиворот грязной, потрепанной шинели, фон-барон с деловитой поспешностью обшарил все его карманы. А попечитель Вашутин, с трудом развязав засаленный брезентовый солдатский мешок, долго рылся в каком-то тряпье. Покончив при всеобщем молчании с обыском, фон-барон доложил прибывшему атаману Муганцеву:

– Никаких бумаг при солдате не обнаружено. По всему видно, дезертир.

– Ага. Очень приятно. Запереть его пока в каталажку. А там будет видно, что с ним делать,– искоса посмотрев на солдата, сказал Муганцев.

– Дело известное. Ему одна теперь дорога – под расстрел,– сказал фон-барон.

Толпа молчала. Молчал и солдат, близоруко оглядываясь вокруг своими слегка прищуренными, усталыми глазами. Наконец он, как бы придя в себя, расправил плечи и громко сказал:

– Казаки! Разве вы не в курсе настоящего момента? Разве вам не известно, что сейчас происходит на фронте? А я вам могу кое-что рассказать...

– Молчать, выродок!– крикнул атаман Муганцев.

– Мы те, сукину сыну, покажем курс!– прозвучал высокий бабий голос вахмистра Дробышева.

– А ты погоди, не дери глотку. Дай человеку высказаться!– прикрикнул на вахмистра Кирька Караулов.

– Это што там еще за защитник у изменников родины нашелся?! Давай выходи вперед,– повысив голос, скомандовал Муганцев.

– А ты што думал, восподин атаман, я испужаюсь? Не таков. Выйду,– сказал Кирька, пробираясь сквозь расступившуюся толпу вперед.

В толпе, пришедшей в движение, раздались выкрики:

– Правильно. Пусть человек выскажется. Не зажимай рта фронтовику.

– Пусть нам расскажет, как там и что происходит на фронте.

И солдат, вдруг ловко прыгнув на груду валявшихся около станичного сада бревен, крикнул в ответ:

– Тихо, тихо, казаки. Все сейчас расскажу. Всю правду, как на ладони, перед вами выложу...

Но закончить солдату не удалось. Вахмистр Дробышев, налетев на него на своем жеребчике, нанес ему удар по виску. И солдат покачнулся, не удержал равновесия и повалился, как сноп, под ноги столпившихся вокруг него ермаковцев.

– Братцы! Это за что опять бьют человека?!– прозвучал рыдающий голос Кирьки Караулова. И Кирька, ринувшись к солдату, ударом плеча сшиб с ног фон-барона Пикушкина и так ловко отбросил в сторону попечителя Вашутина, что тот, перевернувшись через голову, отлетел, как мяч, шага на четыре.

И в мгновенье ока поднялась всеобщая свалка. Запоздавшие соколинцы, в горячах не разобравши, в чем дело – большинство из них думало, что бьют Кирьку,– ринулись с кулаками на ермаковцев. Рассвирепевший Агафон Бой-баба одним прыжком вышиб из седла вахмистра Дробышева. Кто-то сшиб с ног атамана Муганцева. Бабы, девки и ребятишки в смятении бросились врассыпную. Кирька Караулов, разбросав

навалившихся на солдата четверых здоровенных бородачей Ермаковского края, успел вполголоса крикнуть солдату:

– Давай не зевай, беги!

И солдат, воспользовавшись суматохой, увильнул из-под занесенного над ним кола Корнея Вашутина, ловко перемахнул через наклонившееся прясло садовой изгороди и исчез за кустами акации.

– Ушел, ушел, варнак!

– В погоню за ним, подлецом, на вершных! В погоню!– кричал атаман Муганцев.

Станишникам было уже не до солдата. И пока ермаковцы и соколинцы, дубасившие в азарте друг друга, пришли в себя, гнаться за дезертиром было уже поздно.

Атаман приказал снарядить отряд верховых, выслал несколько разъездов в степь. Но казаки, вернувшиеся из своих рекогносцировок, доложили вечером Муганцеву, что беглого не обнаружено.

– Да и глупо было рассчитывать на его обнаружение,– сказал с раздражением пристав Касторов.– Днем он из станицы никуда не уйдет. А ночью его не укараулишь. Имеются и в нашей станице у этих предателей свои защитники.

– К сожалению, это так. Разлагаются и наши казачки,– признался со вздохом Муганцев.

– Да, господа, тревожное время настало. Не время – сплошная печаль и вздыхание,– горестно прикрыв глаза, сказал отец Виссарион.

...Между тем станичники не ошиблись, признав в беглом солдате бывшего бушуевского работника. Это был действительно он – Максим. Воспользовавшись свалкой, Максим ушел из рук станичных властей. Схоронившись в густой конопле, что росла на обширном поповском огороде, граничившем со станичным садом, Максим пролежал здесь до ночи. А как стемнело, он подался в степь. Ему здесь знакомы

были все стежки-дорожки. Отмахав за ночь около двадцати верст, он очутился под утро вблизи своего переселенческого хутора.

Прежде чем войти в хутор, Максим прилег в придорожном бурьяне отдохнуть и прикинуть, куда ему идти. Не было у него ни семьи и ни дома, ни кола ни двора. Передохнув, Максим по огородам добрался до поместья родного дяди по матери, Ипата Петровича Кокорина, единственный сын которого, двадцатичетырехлетний Игнат, служивший в одном взводе с Максимом, был убит в прошлом году в боях под Перемышлем.

А спустя несколько минут Максим уже сидел в полутемной от предрассветного сумрака хате дяди, жадно хлебал холодное молоко и рассказывал о том, как удалось ему выбраться с фронта. В это время в хате один за другим начали появляться люди, встретиться с которыми Максим здесь никак не рассчитывал. Это были его земляки, мобилизованные вместе с ним два года тому назад,– Андрей Шибайкин, Петро Синельников и Михей Воропаев. И если Максим был удивлен столь неожиданной встречей с фронтовиками, то они ничуть не удивились при виде его.

– А, здорово, здорово, служивый! Стало быть, и ты в бессрочный?!– приветствовал Максима, дружески потряхивая его руку, всегда веселый и улыбающийся, похожий на цыгана Андрей Шибайкин.

– А вы-то как, ребята, сюда попали?– изумленно пяля на земляков глаза, спрашивал Максим, хотя и понимал, что глупо спрашивать об этом.

И земляки, перебивая друг друга, отвечали:

– А по той же самой торной дорожке, по какой пробирался и ты.

– Маршрут у всех один – по звездам...

– И отпускные билеты у всех одинаковы – вчистую...

– Ну, орел, орел ты, Максим. Хвалю за ухватку,– сказал, продолжая улыбаться, Андрей Шибайкин.

– Ухватка, братцы, бедовая,– сказал со вздохом Максим.

– Это почему так?

– На казачков, слышь, в станице напоролся. Едва ноги унес.

– Это хуже.

– Не говори.

– А как тебя угораздило? Зачем в станицу-то пер.

– И не думал. Настиг меня сонного один станичник степи и забарабал. Спасибо, и там парни нашлись – ухо с глазом. Смекнули, в чем дело, не дали меня в обиду. Учинили промеж собой потасовку. А один мне шепнул: уматывай, дескать. Ну, я и подался.

– Ловко.

– Ловко, да не совсем. Там меня какая-то дура по обличью признала. Вылупила глаза на меня и брякни «Да ведь это же бушуевский работник Максим!» Вот какая неловкая планида со мной приключилась. Сообразят станичные власти, да и нагрянут, зачем не видишь, на хутор. Вот мы и сбрякали.

– Ну, это ишо посмотрим, как сбрякали. Не так-то просто нас взять,– сказал Андрей Шибайкин.

– А вы, што, братцы, с оружием?– спросил, насторожившись, Максим.

– Дело не в оружии. Есть и оно, конечно. Но нас ведь тут целая рота наберется, если не добрый батальон.

– Как так, откуда?

– А все из тех же самых мест... На соседнем хуторе Богданах шестеро таких же орлов, как мы, хоронятся. В Буераках – девять человек. В Заметном– около дюжины, да тут скрозь, куда ни повернись, кругом имеются такие выходцы с того света.

– Ну, это ишо мало значит, што много нас. Много нас, да все мы порознь. А раз порознь – не сила. Нагрянет казачий разъезд с саблями и винтовками, вот и поминай тогда, как звали,– сказал Максим.

– Легко сказать – нагрянут. Нас сначала еще надо им найти,– сказал Андрей Шибайкин.

– Не велика хитрость – накрыть нас на хуторе.

– А мы не такие дураки, чтобы на хуторе отсиживаться.

– А где же иначе?– спросил Максим.

– Есть, братуха, такое надежное укрытие у нас – ни с какой стороны не подступишься. И как там для кого, а для тебя-то, Максим, место найдется. В тесноте, да не в обиде.

– Интересуюсь, што за место?

– Место надежное. Не сумлевайся. В землю зарылись. Почище тебе фронтовой землянки.

– Вот как?! Даже и окопаться успели?– сказал с усмешкой Максим.

– А ты думал как? Али нам фронтовая наука не прок? Не только окопались, а и хозяйством обзавелись. Живи, не тужи. Хватит, повоевали. Пора и честь знать...

– Што верно, то верно. Пора. На што казаки, и те вслед за нашей кобылкой в бега тронулись.

– Ну, казаков не скоро сомустишь. Не таковские. Они до победного конца за батюшку царя драться будут,– сказал Михей Воропаев, маленький, но крепко сбитый солдат в самотканых крестьянских штанах и фронтовой гимнастерке.

– Не все и казаки, Михей, такие ретивые. Есть и среди них неустойка.

– Все равно нам с казачней не по пути,– упрямо сбычив бритую голову, сказал Михей Воропаев.

– Нет, брат, найдутся и среди них такие, с которыми нам делить будет нечего, кроме нужды да одинаково горькой доли,– возразил Максим.

– Не знаю, братуха, меня с казачней век-повеки не примиришь. Кто моего покойного родителя шомполами в пятом году засек? Казаки. Кто над нашим братом, над новоселами, здесь изгалялся? Казаки. Кто

нас землей и выпасом на хуторах притесняет? Казаки,– проговорил, загораясь от гнева, Михей Воропаев.

– Заладила сорока Якова. Забубнил – казаки да казаки! А я тебе ишо раз скажу в ответ на это – не все они одинаковы.

– Не знаю.

– Ростом не вышел, вот и не знаешь,– полустрого, полушутя сказал низкорослому Михею Андрей Шибайкин, оскалив свои жемчужные зубы.– А вот подтянешься, бог даст, кое-чего и раскумекаешь...

– Ну ладно. Чужим умом жить не привык,– зло сверкнув маленькими зеленоватыми глазами, огрызнулся Михей Воропаев.

– Тихо, тихо, братцы. Спор не ко времени. Пора поторапливаться в блиндаж,– строго сказал до сего помалкивавший бородатый, угрюмый на вид солдат в опорках Петро Синельников.

– Это правильно. Собирайся, Максим. А то, чего доброго, и в самом деле, как бы нас тут казачки сдуру не накрыли,– сказал Андрей Шибайкин, тронув за плечи задумавшегося Максима.

А когда совсем рассвело, Максим со своими новыми спутниками вылез из брички, на которой доставил их к заповедной березовой роще дядя Ипат. И приятели скрылись в лесу, отпустив старика на хутор. Пропетляв с четверть часа по неторным лесным дорожкам, с трудом пробравшись через непролазные заросли ракитника, спутники очутились, наконец, на небольшой, замкнутой со всех сторон вековым лесом полянке. И Максим, оглядевшись вокруг, спросил:

– Куда же вы меня завели?

– А ты ничего не видишь?– ответил ему на вопрос вопросом Андрей Шибайкин.

– Ничего, кроме леса,– смущенно улыбаясь, ответил Максим.

– Ну тогда честь и хвала нам, фронтовым саперам!– сказал, подмигнув улыбающимся приятелям, Андрей Шибайкин.

– Кроме шуток, ничего не вижу,– говорил, озираясь вокруг, Максим.

– Значит, жаксы – хорошо, сказать тебе по-киргизски. А ты ишо нас казаками пугал. Пусть-ка попробуют отыскать казачки наш подземный дворец в этом месте,– сказал Шибайкин. И он, взяв за руку Максима, увлек его вслед за собой в куст ракитника, за которым они спустились по узенькой тропке в небольшую, заросшую высокой травой рытвину.

И только тут перед изумленным Максимом распахнулась на узенькой тропке неожиданно – как бы сама собой – заросшая пушистым ракитником дверь. Максим, согнувшись, вошел вслед за Шибайкиным в довольно просторную подземную избушку. Дневной свет, проникавший сквозь потолочное отверстие, заделанное осколками оконного стекла, скупо освещал это уютное, опрятное жилище. Внимательно оглядевшись, Максим устало опустился на нары и, прислонившись к стене, прикрыл глаза.

– Ну вот, теперь мы и дома,– проговорил он чуть слышно. И не ясная, как в сновидении, смутная улыбка тронула при этом его сухие, обветренные в нелегком странствии губы.

7

Какой тихой и неприметной была красота Даши Немировой, такой же тихой и неприметной была теперь и ее жизнь. Мало было завидного в этой жизни просватанной и покинутой женихом невесты. «От девок отстала и к бабам не пристала!»– говорили про Дашу на хуторе. В ее положении, и в самом деле, не совсем было ловко хороводиться с подружками по девичеству, а дружить с солдатками – совсем не к лицу. Однако, по правде сказать, и охоты-то к этому большой у Даши уже не было. Потеряв Федора, она вдруг утратила былой интерес ко всему, что когда-то

увлекало, волновало и радовало ее. Прослыв в девках за первую песенницу и плясунью на хуторе, она притихла теперь, равнодушно поглядывая на девичьи хороводы, что по-прежнему водили подружки в погожую летнюю пору по праздничным вечерам.

За все эти годы нигде и никто не слышал от Даши и двух слов о Федоре. А если кто из досужих бабенок и пытался вспомнить к слову о беглом бушуевском сыне, то Даша с таким безразличием относилась к этому разговору, что люди, затеявшие его, тотчас же умолкали, так и не поняв толком – притворяется ли Даша, или ей и в самом деле не было теперь никакого дела до незадачливого своего жениха.

В хуторе поговаривали о Даше разное. Одни уверяли, что связанная помолвкой с Федором девушка, не надеясь на его возвращение, собиралась уйти в монастырь. Другие, наоборот, утверждали, что Немировы, поддерживая через степных кочевников тайные связи с беглым зятем, рассчитывают на его скорое возвращение. Третьи плели все, что взбредало в голову: сегодня – одно, завтра – другое. Но никто не ведал на хуторе сокровенных дум и чаяний Даши, да не все было ведомо о ее помыслах и в родной семье.

Старики были спокойны за судьбу Даши и не очень-то донимали ее расспросами, как там и что. Тем более время стояло смутное и тревожное – войне не видать было пока ни конца ни краю. Но немировские старики, как и весь народ, не теряли надежды, что все в конце концов образуется и вернется на Горькую линию былая мирная жизнь. Ну, а тогда не грех будет задуматься и о дальнейшей судьбе Даши.

Так вот и шли дни за днями в постоянных заботах да хлопотах по хозяйству немолодых уже годами родителей Даши. И, не приученная с детства к безделью и праздности, Даша не сидела сложа руки ни зимой, ни летом. Как оставшиеся без ушедших на фронт мужей хуторские казачки сами ходили весной

за плугом, добывая в поту трудовой кусок хлеба для своей семьи, так и Даша пахала и сеяла каждую весну на родительской пашне, заменяя сдавшего за последние годы отца.

С первых же дней ранней весны до глубокой осени пропадала Даша на пашне и не очень-то тяготилась в такую пору одинокой жизнью в степи. Наоборот, она чувствовала себя здесь спокойнее, чем на хуторе. Полная такой же умиротворяющей внутренней тишины, какая царила в этом окрестном степном мире, она, намаявшись за день за плугом, засыпала как убитая в земляном балагане, не видя ни дурных, ни хороших снов. Просыпаясь на рассвете с ощущением здоровья, силы и молодости, она бежала босиком по мокрой от росы траве умываться в озере. Шумно плескаясь холодной и звонкой водой, она беспричинно улыбалась чему-то и чувствовала неяркую красоту порозовевшего и от студеной воды, и от жаркого восхода солнца открытого своего лица.

Хуже чувствовала Даша себя, как это ни странно, дома, когда возвращалась с пашни на хутор под какой-нибудь праздник. Тут ей не спалось по ночам. И какая-то непонятная тревога охватывала ее, когда она оставалась одна в своей горнице. Она не находила здесь себе места, и всякое дело валилось у нее из рук – не штопалось, не вышивалось, не вязалось. А в глухую полночь вскакивала она иной раз с постели и босиком, в одной мадаполамовой сорочке, отороченной по вороту дешевенькими кружевами, садилась у настежь распахнутого в палисадник окна, против которого не раз сиживали они, одни во всем мире, с Федором.

Свежи и призрачны бывают летние ночи на Горькой линии. Почему-то всегда пахнет в такую пору гарью степей и сухим конским пометом. Вокруг – мертвая тишина. Чуть внятно лепечут в ночи, как сквозь сон, трепетные листья серебристого тополя. Золотой, похожий на дутую казахскую серьгу месяц висит над

хутором. Тишина. Скрипнут где-то ворота калитки, коротко крикнет ночная птица. Прозвенит, замирая вдали, колокольчик, мягко и нежно рассыплется ласковый девичий смех. И снова так становится тихо, что можно, кажется, даже расслышать, как растет трава...

В такие ночи нередко просиживала Даша в полном одиночестве у окна с вечера до рассвета. Дрожа от предутренней прохлады, от непривычного напряжения нервов, зрения и слуха, чутко прислушивалась она к каждому шороху и звуку и ждала – не уловит ли ухом далекий дробный и частый копытный стук иноходца или шорох легкой походки, знакомых, поспешных, запомнившихся навеки шагов...

Но тихо было в ночи. И только изредка слышались чужие шорохи и звуки, чужой конский топот, чужие шаги. Чужой возникал где-то за углом робкий шепот. Чужие горячие, вкрадчивые речи и вздохи доносились до Даши из лунной полумглы. Чужое счастье проходило мимо нее в эти ночи, как проходят стороной над желтой от зноя степью косые дожди...

Иногда она вздувала огонь и разбрасывала у себя на коленях старые карты. Падала дама пик – злодейство. Поздний разговор с бубновым королем. Коварство какого-то трефового валета. Рядом с девяткой пик – семерка: к слезам. Затем неприятное свидание в казенном доме с червями. Очень неприятное это соседство – пиковая восьмерка с королем червей! Нет, не было пути к ее сердцу и к дому для Федора. Это, впрочем, давным-давно было ясно Даше и без трефового валета, и без позднего разговора с бубновым королем...

Одна отрада была теперь у Даши – Настя Бушуева. Подружившись после своей помолвки с Федором с его сестрой – тоже такой же невестой на выданье,– Даша души не чаяла в новой своей подружке. Случилось так, что судьба обеих девушек была примерно одинаковой.

Настя, как и Даша, готовилась стать к Покрову под венец с Сашкой Ханаевым. Но война и мобилизация спутали карты. И Настя, проводив своего суженого на фронт, осталась тоже на положении покинутой невесты. Все это сближало девушек, хоть по характеру и не совсем похожи они были друг на друга. Но разница в характерах– как это часто бывает в жизни – как раз и влекла их друг к другу.

Даша стала бывать по годовым праздникам в доме Бушуевых, загащиваясь иногда у них по неделе. По сердцу пришлась она и бушуевским старикам своим общительным нравом, учтивостью и повадками. Егор Павлович и Агафьевна принимали Дашу как невестку и всячески поддерживали в ней веру в возвращение Федора.

В отличие от Даши, Настя не очень-то унывала в разлуке со своим женихом. Нельзя было сказать, что она не любила Сашку. Но любовь ее к нему была совсем не такой, как у Даши к Федору. Даша не любила говорить о своей душевной неурядице даже с Настей и свою глухую тоску по Федору ревниво таила в себе. Настя, наоборот, не умела ничего скрывать от своей подруги – ни дурного, ни хорошего настроения, которое, кстати сказать, менялось у нее ежечасно. Но, несмотря на все это, девушки привязались друг к другу.

Между тем видеться им удавалось редко, особенно в летнюю пору. Как и Даша, Настя тоже пропадала теперь с весны до осени в поле. Старик, растеряв последних своих сынов, не хотел допускать до развала пошатнувшееся за последние годы свое хозяйство и всеми правдами и неправдами тянулся за одностаничниками Ермаковского края, засевая каждую весну по десяти десятин яровой пшеницы. Прихватить на летнюю пору работника Егор Павлович не решался, надеясь как-нибудь выехать с грехом пополам на плечах снохи, возмужавшей дочери и подросшего старшего

внучка. И старик в расчетах своих не ошибся – управлялся с пашней своей семьей, как там ни ворчала сноха и ни брыкалась дочка. Нелегко было им, конечно, целое лето в степи. Старик это понимал – не бабье дело за плугом ходить! Но деться было некуда, приходилось мириться.

Не до праздной девичьей жизни было в летнюю пору обеим подружкам, и вся надежда у них была на зимние праздники, на святки, когда на целые две недели заваливалась Даша в станицу. Золотая это была пора для девушек – святки! Яркие, как день, морозные лунные вечера. Гадания на кольцах, на картах и зеркалах. Озорные песни, пляски ряженых. Хохот бубенчиков в метельной ночи на чьей-то залетной тройке... Очутившись в такую пору в доме Бушуевых, Даша не узнавала сама себя. Рядом со своей сверстницей, шумной, беспокойной и озорной подружкой, чувствовала и она себя такой же беззаботной, озорной и счастливой, какой была в юности. Вдоволь надурачившись и нахохотавшись за день, они проводили длинные зимние вечера в гаданьях о суженых, а ночи – в бесконечных разговорах все об одном, все о том же – о своих женихах.

– Никуда они от нас не денутся – ни твой и ни мой. Оба будут наши,– убежденно твердила Настя.

– Твой что. Войне конец – и вы под венец. А вот насчет моего – бабушка надвое сказала...– говорила со вздохом Даша.

– Ну нет, Дашенька. Про Федю никакая бабушка надвое не скажет. Уж я-то его знаю. Твой он до гробовой доски. А вот на моего вертопраха надежда худая.

– Здравствуйте, я вас не узнала!– насмешливо откликалась Даша, поражаясь непостоянству своей подружки.– То никуда не денется – мой. А то вдруг – надежда худая. Прямо семь пятниц на дню у тебя, Наська.

– Нарвись-ка бы ты на такого варнака, как мой, у тебя бы их было все десять.

– С ума ты сошла, клеветать на парня такое?! Ведь он без ума от тебя. Сама же ты говорила.

– Мало ли што я говорю вгорячах...

– Все-таки надо же знать и меру.

– Не учи. Знаю. Нынче он, подлец, от меня без ума, а завтра от другой без памяти...

– Откуда ты это взяла? Письма-то эвон какие чуть не каждый день от него получаешь – зачитаешься!

– Мало ли што можно в письмах-то наплести! Он и словесно, бывало, меня заговаривал – голова кружилась.

– Стало быть, любит, вот и заговаривал.

– Может, и так. Отрицать не стану,– неожиданно соглашалась Настя.

– А вот я от Феди и весточки не дождусь,– с горьким вздохом шептала, лежа рядом с подружкой, Даша.

– Придет время – дождешься,– уверяла Настя.

– Два года жду...

– Это правда. Ты терпеливая. На мой характер – ни в жизнь бы не выдержала.

– А што бы ты сделала?

– Плюнула бы и ногой растерла...

– Как тебе не стыдно.

– А што? Попробуй-ка мне Сашка не написать за месяц ни одного письма – только он меня тогда и видел!

– Опять двадцать пять. Ты ведь только што тараторила, што не в письмах дело.

– И сейчас говорю – не в письмах. А посмей-ка он перестать мне писать – поминай тогда, как меня звали.

– Што бы ты сделала?

– Што? Взамуж бы вышла.

– Это за кого же?

– А кто подвернется...

– Страм слушать, што ты говоришь.

– Не любо – не слушай.

– Да ты не сделаешь так никогда. Болтаешь только бог знает што. А коснись дела – вроде меня притихнешь.

– Ну, извиняй. Худо ты меня, Дашенька, знаешь.

– Может быть...

– Я непокорная.

– Это другой разговор.

– Отчего же другой? Тот самый.

– Не говори, ты его любишь.

– Не знаю.

– Зачем же тогда под венец собиралась?

– Речей колдовских наслушалась. Не только под венец – в огонь и в воду тогда бы за ним пошла.

– А теперь?

– Теперь бы подумала.

– Переболело?

– Вроде этого. Цену себе узнала.

– Это кто же тебе ее набил?

– Нашлись такие...

– Не знаю, зачем они тебе.

– На всякий случай... И тебе бы обзавестись не мешало. Хочешь – найду?

– Нет уж, спасибо, Настенька. С меня одного хватит.

– Вот и зря. Они там без нас небось не зевают.

– Ты хоть бы брата-то тут не пристегивала...

– А чем мой брат лучше Сашки? Все они одинаковы,– заключала Настя, и нельзя было понять – в шутку она говорила все это или серьезно.

Несмотря на все эти, часто крайне противоречивые и не совсем приятные для Даши рассуждения Насти, Даша любила подружку и невольно тянулась к ней, с удовольствием болтая и иногда даже незлобно переругиваясь с ней в минуту откровенного разговора о дорогих и близких их сердцу людях, разлуку с которыми переживали, видать, обе они нелегко, хотя Настя и не признавалась в этом.

В канун Троицы – в день годовщины помолвки Даши с Федором – Даша, вернувшись с пашни на хутор, решила пойти утром в станицу, чтобы провести эти памятные для нее праздники в гостеприимном бушуев-

ском доме вместе с Настей. Вытопив баню, перемыв все полы и наведя в доме порядок, Даша, посвежевшая и похорошевшая после легкого банного пара, долго сидела в этот вечер перед потускневшим от времени зеркалом в старомодной оправе. Строгое, смуглое от степного загара лицо смотрело на Дашу из зеркальной полумглы, неярко озаренной трепетным пламенем лампы. Она не узнала своих больших и печальных глаз, неподвижно и испытующе смотревших на нее в упор. И только мимолетная и неясная, как намек, улыбка убедила Дашу, что это было действительно ее, а не чужое, незнакомое ей лицо. Присмотревшись к своему отражению в зеркале и не переставая думать в эти минуты о Федоре, решила Даша принарядиться сейчас в то самое кубовое платье с оборками и черной кружевной пелериной, в котором два года тому назад встретила она Федора вот в этой самой горнице, будучи просватанной за него невестой.

Нарядившись в любимое платье, Даша вновь присмотрелась к своему отражению в зеркале и ощутила при этом такое тревожное волнение, какое испытывала она когда-то в ожидании запоздалого появления Федора. Даша присела у распахнутых настежь створок и притихла, прислушиваясь к ночной тишине. Вдруг откуда-то издалека донесся глухой дробный стук конских копыт, и у Даши замерло сердце. Охваченная необъяснимым внутренним трепетом, сидела она у окна, затаив дыхание, жадно прислушиваясь к нарастающему конскому топоту. Как все было похоже сейчас на те далекие вешние вечера, когда совершал свои верховые набеги на хутор Федор, и Даша, готовая к воровским свиданиям, вот так же сидела, внутренне холодея, ни жива ни мертва, у этого вот окна. Такой же литой из чистого золота месяц стоял высоко над хутором. Так же чуть слышно шелестела листва на тополе. Так же неярко поблескивал под месяцем позолотой крест хуторской

колокольни. И с такой же тревогой и болью отзывалось девичье сердце на глухой стук конских копыт. Даше даже страшно было сию минуту вспоминать и думать об этом. Но конский топот все приближался, и Даша, вдруг ясно увидев вырвавшегося из-за угла всадника, на мгновение закрыла глаза.

Осадив коня у калитки немировского дома и лихо спешившись, всадник быстро вбежал на крылечко и негромко, но требовательно постучал в дверь. Не помня себя от волнения, Даша выскочила из горницы, нащупывая в потемках крючок, громко спросила:

– Кто?

– Открывай, открывай поживее. Принимай гостей, – прозвучал за дверью девичий голос, и Даша узнала Настю.

– Боже мой, как ты меня напугала...– сказала упавшим голосом Даша.

– Здрасте. Чем это?– удивленно и весело проговорила Настя, входя в горницу.

– Сама не знаю. Услышала конский топот, и будто во мне оборвалось что-то...

– Правильно сердце твое вещует,– многозначительно улыбаясь, сказала Настя совсем непонятные в эту минуту для Даши слова. И бегло окинув удивленным взглядом растерянно улыбающуюся подружку, Настя спросила:– С чего это ты такая нарядная седни?

– Сама не знаю...– смущенно ответила Даша, чувствуя себя неловко в нарядном платье перед буднично одетой, запыленной подругой.

– Вот и хорошо, что вырядилась. Тебе кубовый цвет к лицу,– сказала Настя, строго оглядывая с ног до головы Дашу.

– Да ты садись. Я сейчас разденусь. Самовар у нас ишо горячий...– засуетилась Даша и в самом деле начала торопливо расстегивать платье.

Но Настя остановила ее:

– Не снимай, не надо.

– Ну, нет. Дай разденусь. Не именинница.

– Она самая и есть,– сказала, загадочно улыбаясь, Настя.

– Это как так?

– Очень просто. Мало лучшее платье надеть. А еще и сплясать придется.

– Ишо новости. С каких это радостей?

– Если я говорю – пляши, стало быть, стоит.

– Ты все што-нибудь выдумаешь...

– Значит, не будешь? Ну и ладно. Я не гордая. Подожду,– сказала с притворным спокойствием Настя, усаживаясь на стул.

Между тем Даша, похолодев от догадки, едва сдержалась от желания спросить Настю, уж не прискакала ли она к ней на ночь глядя с какой-нибудь доброй вестью от Федора. Но это было так дорого для нее и так невероятно, что она не посмела заикнуться об этом. Однако Настя, почувствовав явное волнение подруги, вдруг бросилась к ней с раскинутыми руками и, крепко обняв ее за плечи, еще крепче поцеловала в губы, в щеки, в виски, а затем, отпрянув от нее, извлекла в мгновенье ока из-за выреза будничной ситцевой кофточки сложенный вдвое измятый конверт и, протянув его Даше, сказала:

– Дождалась-таки. Получай, дура...

И Даша, вырвав конверт из рук подруги, уже не расспрашивая больше ее ни о чем, зажгла дрожащими руками лампу и тотчас же погрузилась в чтение письма. Читала она его быстро, не вдумываясь в смысл прочитанного, не понимая, что к чему. Да это, в сущности, для нее сию минуту и не имело никакого значения. Важно было одно: что письмо это было от Федора, что он, стало быть, жив, что он не забыл о ней.

А Федор писал:

«Здравствуй, здравствуй, моя любезная Дашенька. Добрый день и веселый час. Посылаю тебе я во–

первых строках этого письма мой душевной поклон и сердечное мое пожелание успеха в делах золотых рук ваших. А еще сообщаю, что я, по милости бога, нахожусь в полном здоровье и равном благополучии, чего и тебе желаю, Дашенька. Вот уже минуло целых два года, как судьба разлучила нас. Много воды утекло с той поры. Много дорог было мною исхожено. Много людей перевидел я и кое-чему научился. И про многое можно было навеки забыть на чужой неласковой стороне. Одного только не мог я забыть нигде и никогда – тебя, любезная сердцу моему подруженька. Только и в мыслях что ты одна, и твоя приятная красота, и твои белые руки. Если бог приведет и мы увидимся снова, поклянусь я тебе, что никакая сила не разлучит тогда нас и не устрашит меня никакая злая судьба, коли будешь ты неразлучна со мной, моя нареченная в жизни подруга. Как я живу – об этом не опишешь пером. А порассказать будет што при нашем, надеюсь, скором свиданье. Одно скажу по секрету. Выручил меня из беды, да и верных моих товарищей, незабвенный один мой друг. В письменном виде фамилии его назвать не могу – сама небось там догадаешься. Завел он нас в надежное место и виды на жительство выправил через своих друзей-товарищей по всей форме – не подкопаешься. И на хорошее место определил. И уму-разуму набраться всем нам помог за эти годы. Словом, живется не так уж худо. Одна беда – не нахожу себе места я здесь, на чужой стороне, без тебя, любезная моя Дашенька, и ни средь белого дня, ни в глухую матушку-ночь не перестаю я думать и гадать о тебе. Только сниться ты стала мне почему-то реже, чем прежде. Но и это, говорят добрые люди, к добру, а не к худу. Реже видишь во сне – скорей свидишься наяву. Это – верная примета. А еще по секрету тебе напишу, что не так уж долго осталось жить нам с тобой в тоске и разлуке. Может, скоро спешусь я с своего боевого коня темной ночью у вашего дома и постучусь, как

бывало, в твое окошко. Далеко мы теперь друг от друга, родная моя казачка, да все степные пути-дороги ведут с чужбины к тебе, и не объехать мне в жизни, не обойти дорогого мне хутора и заветного твоего крылечка. Поклонись от меня до сырой земли своим батюшке с матушкой и той самой мельнице, у которой прощались мы с тобой перед долгой нашей разлукой в лихое лето.

Остаюсь со своими горькими мыслями о тебе, любезная моя. Известный тебе друг до могилы.

Федор Бушуев».

Даша трижды перечитала письмо, и слова его прозвучали в ее ушах, как музыка, которую не понимаешь, а лишь чувствуешь. И она, так и не вдумавшись в смысл написанного, почти физически ощутила через эти строки близость живого, бесконечно дорогого ей Федора с его порывистым дыханием, когда он прикасался к ее вискам своими губами, с его сильными, требовательными руками, когда он обнимал ее в темноте...

Пока Даша перечитывала письмо, Настя сидела, присмирев, в сторонке, ничем не выдавая своего присутствия. Она понимала, что творилось сейчас на душе у подруги, и не хотела докучать ей никакими вопросами. Да и расспрашивать было не о чем – все было ясно. Может быть, впервые за эти два года – если не за всю жизнь – была сейчас по-настоящему счастлива девушка, державшая в своих тонких и трепетных руках это дорогое для нее письмо, о котором она и мечтать-то даже за последнее время боялась из суеверного страха не получить его в таком случае никогда.

Ничего не сказала Настя подруге даже и тогда, когда Даша, перечитав письмо трижды, уронила на руки светловолосую голову и впервые за долгие два года разлуки с Федором дала полную волю своим беззвучным, жарким слезам. Плакала Даша долго, безутешно и тихо. А Настя, стоя с ней рядом, молча

гладила ее по голове, как ребенка, задумчиво глядя на шафранное пламя лампы.

8

Казачий круг пяти линейных станиц, собравшийся в средине лета 1916 года, утвердил Егора Павловича Бушуева и Луку Иванова депутатами для поездки в Петроград с петицией, адресованной на имя Николая II. Но выезд депутатов задержался. Немалых трудов стоило станичным атаманам собрать по открытым подписным листам необходимые средства, предназначенные на расходы, связанные с далеким путешествием двух казаков, принявших на свои плечи, согласно воле казачьего круга, столь нелегкое бремя.

С одной стороны, отъезд депутатов задерживало отсутствие средств, с другой – неотложные дела по хозяйству. Надо было помочь семьям управиться с уборкой незавидного в этот год урожая, с приведением в порядок полуразвалившихся за эти годы дворов, с заготовкой запасов на зиму сена и топлива. Егорь Павлович не очень-то досадовал на затянувшийся срок отъезда и втайне был очень доволен, что только к декабрю, когда уже установился прочный санный путь, им с Лукой было объявлено в станичном правлении, что необходимые средства для их поездки собраны, и все надлежащие документы выправлены, и они могут, благословясь, отправляться в дорогу.

Совсем стало пусто, буднично, тихо в доме Бушуевых после отъезда Егора Павловича. Только и радости теперь было у старой Агафьевны что оставшиеся ей на поглядку подросшие внуки – Тараска и Силка. Оба они были теперь уже школьниками. Тараска перешел с похвальной грамотой в третий класс церковноприходского училища, а Силка сел нынешней зимой в первое отделение. Он уже бойко читал теперь по вечерам букварь, умиляя и удивляя бабку. А Тараска,

загрустив без деда, решил, вдоволь наревевшись после проводов Егора Павловича в Петроград, писать собственный дневник. И вечерами, проводив непоседу Настю на посиделки, а Варвару к соседям, где она пряла с солдатками шерсть или вязала чулки, Агафьевна оставалась с внучатами.

И бушуевские внучата, и сама Агафьевна любили эти тихие зимние вечера. В чистой, жарко натопленной горнице, освещенной лампой, было покойно и уютно. Где-то в кухне под печкой дремотно и мирно сверлил тишину сверчок. За окошком шумела ранняя зимняя вьюга. Тонко и жалобно завывал ветер в печной трубе.

Силка, примостившись рядом с бабушкой на сундуке, рассказывал ей наизусть стихотворение про козу. Бабка, лихо позванивая стальными спицами, продолжала свою обычную вечернюю работу – вязала чулок и слушала внука со строгим, почти сердитым выражением лица. Слушая меньшего внука, бабка поглядывала и на Тараску, занятого в это время сочинением своего дневника. Облокотясь на стол, поминутно перекидывая свою вихрастую голову с одного плеча на другое, Тараска писал в тетрадке неуверенным, шатким почерком, с особенным старанием выводя заглавные буквы:

«Мой дневник 1916 года. С чего начинать, не знаю. Дед наш уехал. У нас очень скучно. Праздник Покров прошел. Снег выпал. Почерк у меня хороший. Учительница Раиса Михайловна поставила мне тройку. Никак не могу выучить, сколько будет семь у семь. 7x7 = 49. Видел во сне собаку. Мохнатая. Белая. Подает лапу. Хорошо, кабы это было взаправду! Я собак люблю и деда нашего тоже. Дед поехал в город Петроград в гости к царю. Царь, царь – сирота! Открывай нам ворота ключиком-замочком, шелковым платочком! Кобыла наша ожеребилась. Жеребенок – не поймешь какой масти. То ли – гнедой, то ли – чалый. Хорошо, кабы чалый. С ремнем на спине. Дед говорил – чалый

конь к счастью. Силка – чудак. Он совсем позабыл, что у нас был батя. Скоро будет ярманка. У меня есть пятак. Куплю Силке пряник. А я лучше прокачусь на карусели. Эх, скорее бы приехал дед и привез бы мне тетрадки в косую линейку. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Дров мы с дедом навозили, топи – не хочу. Раиса Михайловна говорит, что в дневник надо записывать всякую погоду. Записываю. Погода хорошая. Буран. Метель. В горнице у нас тепло. Шарику тоже не холодно. Я запустил его ночевать в сени. Ну, пока все. Забыл только про письмо дяди Феди запись произвести. Чернила очень красивые, а почерк мелкий. Вот бы мне научиться писать таким почерком! Силка опять уснул на коленях у бабки. Бабка на той же точке. Спит и чулок вяжет. Я спать не хочу. Завтра, живой буду, напишу побольше. 7x7 = 49».

Отправив своих депутатов в далекий Петроград, станичники, как и прежде, проводили эти длинные зимние вечера в своем излюбленном месте – станичной казарме. Примостившись на лавках, у печки, вокруг длинного, залитого чернилами писарского стола, старики, забываясь в полудремоте, слушали сквозь сон монотонный голос золотушного писаря Саньки Скалкина, перечитывавшего вслух газетные сводки и сообщения военных корреспондентов о положении в действующей армии. Слушали писаря терпеливо и равнодушно. Газетам они не верили: «Когда же в газетах правду писали?» Не верили, но все-таки слушали. Стариков занимало не столько то, о чем писалось в газетах, сколько – как писалось! Уж больно бойко, лихо и складно умели описывать дошлые люди победоносные битвы с неприятелем!

Когда умолкал писарь, заводили разговор бодрствующие старики. Разговор этот возникал зачастую вне всякой связи с тем, о чем писалось в газете.

Агафон Бой-баба жаловался:

– Раповато нынче зима бабахнула, воспода станишники. Я даже дворишко закрыть не успел.

– А когда ты успевал-то? У тебя ить сроду двор-то небом крыт, белым светом горожен,– ввертывал фон-барон Пикушкин.

– Одно слово – соколинец. Не хозяйское путро,– басил из угла школьный попечитель Корней Ватутин.

– Дело не в путре, воспода старички, а в нехватках,– огрызался, вступаясь за Агафона, Кирька Караулов.

– Вот и именно. Хорошо вам, ермаковцам, нашего брата корить, когда вы чужими руками огонь загребаете.

– А ить это тоже надо уметь – загребать жар чужими руками!– нагловато ухмыляясь, говорил фон-барон.

– Спору нет – надо уметь. Да не все, брат, такие умельщики. Не все такие натрыжные...

А у притулившихся около печки георгиевских кавалеров был свой разговор. Передремнув, деды запаливали свои самодельные трубки и, пока курили, поддерживали друг друга мирной беседой.

– Слыхал, сослуживец, как супостаты песни поют?– спрашивал деда Арефия дед Конотоп.

– Ась? Это ты про пленных-то? Про ерманцев?

– Про них. Про чехов, стало быть...

– Как же, как же, слышал. Привелось. Как-то летось вышел я в крепость, а они, супостаты-то, колодец там рыли. Дело было к вечеру. Присел я отдохнуть на редут. Смотрю – у них перекур. Сели они в кружок, задымили своими сигарками да как завозгудают не нашими голосами. Иноземная песня – не нашей чета. И слова не те. И мотив какой-то тощий, сумный...

– Свысока поют.

– Правильно. У их ить у всех голоса-то бабьи – на тонкой ноте.

– А кака душа, така и песня. Откуда им басовитым-то быть?! Тонкая нация.

– Правильно. Не наш брат. Это ить мы рявкнем – лампы погаснут.

– Што там говорить, сослуживец. Особливо казаки. Скрозь луженые глотки. Мы ить при покорении Хивинского царства одними песнями басурманов в дрожь вгоняли...

– Знам. Было дело. Певали...

– А бывалы-то люди сказывают, сослуживец, што в городе Санкт-Петербурге есть такой запевала из нашего брата, што как рявкнет – стекла в дворцовых окошках лопаются.

– Это я тоже слышал. Фамилий ему – Шаляпин Федор Иваныч. Русский мужик. Грузчик. Отпетая душа.

– А я слышал, будто он из казаков. С Горькой линии.

– Вполне возможно и это. Скорее всего, так, сослуживец. Не иначе в лейб-гвардии служил.

– Так говорят. Гвардеец. Сотенным запевалой числился. А теперь ему за одну песню графья и графини по миллиону платят.

– Дива мало. За душевную песню не только миллион, а жизнь отдашь.

– Ишо бы. Песня – она ить хмельнее вина... Я вот про многие походы забыл и енералов теперь уж не всех припомню. А какие песни, бывало, певали в строю да на биваках – все скрозь наизусть зазубрил. Хоть и голос-то у меня уж не тот – выноса прежнего нету. А мотив любой воинской песни и по сей день звенит в ушах. И как вспомнишь – сердце замрет, голова кружится...

И кавалеры, объятые воспоминаниями о былых походах и песнях, умолкали, полусмежив усталые, старчески тусклые глаза, и вновь погружались в сладкую дремоту, согревая свои старые кости у жарко натопленной печки.

Замолкали мало-помалу разговоры в казарме. Дремали пересидевшие за полночь станичники. И только немногие из тех, кого не сгибала еще в три погибели старость и в ком жила еще, как в молодости,

озорная душа, собравшись в кружок возле известного в станице острослова и побасенщика Спирьки Саргаулова, слушали его очередной рассказ – полковую побывальщину.

...В один из таких вечеров, когда спасались станичники в казарме от скуки дома и от вьюги на улице, явился в станичное правление подвыпивший Архип Кречетов и подал писарю Скалкину какую-то замызганную бумажку, извлеченную из-за пазухи. Золотушный писарь, надев очки и придвинув к самому носу лампу, раза два пробежал бумажку глазами, а затем, удивленно посмотрев на Архипа, спросил:

– Ну, а что дальше, Кречетов?

– Не могу знать, восподин писарь,– растерянно и жалко улыбаясь, заговорил Архип Кречетов.

– Как, не могу знать? Зачем ты принес мне эту бумажку?

– А чтобы вы прочитали словесно.

– Зачем же мне ее читать? Нам известно, что третий твой младший сын, казак седьмого Сибирского полка, погиб смертью храбрых в боях под городом Ардаганом. Знаешь об этом и ты. Так в чем же дело?

Помолчав, недоуменно оглядевшись вокруг на притихших одностаничников, Архип сказал:

– Гумагу мне эту прочитать дома было некому, сам я, как вам известно, восподин писарь, неграмотный. Вот и хотел, чтобы вы словесно мне огласили.

– Да чего же тут оглашать-то? Бумажка бумажкой. Тебе не впервые ее получать. И про тех двух твоих сыновей то же самое было написано. Сообщаю, дескать, вам, господин казак, что сын ваш такой-то погиб в боях смертью храбрых и так далее...

– Стало быть, все так же, как и про Митю с Васей были отписано? Все, стало быть, по форме?

– Так точно. Все по форме, Кречетов.

– Ага. Ну, благодарствую вас на этом,– сказал Архип таким тоном, словно и в самом деле его

успокоило,что извещение о гибели сына написано строго по форме и что будто бы только это и волновало сейчас старика.

– Не понимаю, что ты чудишь. И благодарить меня вовсе не за что,– сказал с раздражением писарь, сунув измятую бумажонку в руки Архипа Кречетова.

– Да ить он же в хмелю. Вот и городит, не знаю што,– сказал, кивая на Архипа, фон-барон Пикушкин.

– Ты бы вот лучше пил поменьше, господин Кречетов,– строго сказал, осуждающе глядя на Архипа, до сего отмалчивавшийся станичный атаман Муганцев.

– Это так точно, восподин атаман. Выпивать-то, действительно, надо бы мне поменьше,– сказал с трезвой искренностью Архип Кречетов.

– Вот и именно. А почему же ты все-таки пьешь?– спросил тем же строгим тоном Муганцев.

– Не могу знать, восподин атаман. Душа, стало быть, не на месте...

– Ну, это не оправданье. Ведь ты присягу давал, что бросишь пить. И не один раз.

– Так точно – не единожды. И не я один. При наказном атамане, их высокопревосходительстве, мы таку присягу всем миром давали.

– А ты на мир не ссылайся. Тебе мир не ровня. У тебя вот три сына погибли на фронте. А дома – еще семеро по лавкам. Кто их поить и кормить за тебя станет?

– Не могу знать, восподин атаман.

– Хорошее дело – не могу знать. Да ты што, не казак?

– Им считаюсь...

– Вот именно, только считаешься. Разве истинные казаки так себя ведут в такую годину? Вместо того чтобы собраться с духом, ты пьянствуешь. Совестно, совестно, Кречетов,– начал стыдить на миру Архипа станичный атаман.

И Архип, притихнув и протрезвев, отошел от стола и присел в задний угол, где было не слышно его и не видно.

Между тем Муганцев решил приступить к делу, ради которого он явился на этот станичный сход. Поднявшись из-за стола и взяв в правую руку свою булаву с серебряным набалдашником – это значило, что атаман будет говорить сейчас со станичниками не обыденным, а официальным языком, Муганцев сказал:

– Господа старики, объявляю вам, что в станице получена бумага из войсковой управы о том, что вверенная мне станица обязуется в двухнедельный срок доставить на войско сто пятнадцать комплектов обмундирования и пятьдесят три строевых коня. Понятно, что все означенное обмундирование, а также и строевые кони должны быть закуплены за наличные деньги путем равномерного распределения необходимой для этой цели суммы по всем дворам.

Муганцев умолк. Он испытующе присмотрелся своими бесцветными глазами к безмолвствующим станичникам и трижды негромко стукнул зачем-то об пол своей булавой.

Всеобщее молчание длилось долго. Наконец кто-то из дальнего, плохо освещенного угла, где, как правило, сидели соколинцы, довольно громко сказал:

– Ничего себе – контрибуция!

И сию же секунду в казарме зазвучало сразу несколько голосов:

– Легко сказать – сто пятнадцать комплектов амуниции и пятьдесят три строевика!

– Ловко девки пляшут. Не успели наши послы до города Петрограда добраться, а тут нова награда нам выпала.

Скотопромышленник Боярский, выйдя на середину казармы, проговорил своим ласковым тенорком:

– О чем разговор, братцы? Да ведь это же плевое дело – каких-нибудь семь целковых на двор.

– Для кого как!

– Кому, действительно, плюнуть да ногой растереть. А кому и последней коровешки лишиться.

– А если и коровешки нет?

– Тогда – петлю на шею.

– Фактура – петлю.

– Дожились, воспода станишники. Довоевались.

Кирька Караулов, выпрямившись во весь свой гигантский рост, вдруг крикнул:

– А где наши сухари, воспода станишники? Пусть нам сейчас же станишный атаман докажет.

– В чем дело? Какие опять сухари?– удивленно воскликнул Муганцев, и в самом деле не понимая, причем здесь сухари.

– Вот – видали, воспода станишники?! Он уж и про сухари забыл!– закричал злорадно и торжествующе Кирька.– Поняли? Целое божье лето по всей Горькой линии сухари для русского воинства сушили. А куды они делись? Если атаман не жалат ответить, отвечу я.

– Отвечай, отвечай, Киря!

– Режь правду в глаза, восподин станишник.

– Каку язву им в рот-то смотреть!– посыпались на Кирьку подбадривающие выкрики соколинцев.

– А я отвечу. Не сробею!– запальчиво выкрикивал Кирька.– Сухари наши трудовые были пропиты интендантскими крысами.

– Молчать!– крикнул на Кирьку Муганцев, грохнув об пол пудовой своей булавой.

– Нет, извиняй, восподин атаман. Я молчать не буду. Меня не остановишь, пока я весь сам собой не выскажусь... Итак, иду дальше... Стало быть, про сухари. Ну, собрали мы пять тыщ пудов сухарей с нашей Горькой линии. Доставили их на войсковые склады в город Омск. Хорошо. А дальше что? А дальше – сухари вместо русского воинства к екатеринбургским купцам за полцены от казнокрадов попали. Понятно, воспода станишники, кака тут Куендинска ярманка выходит?

– Как божий день – все ясно!– крикнул точно выпорхнувший на крыльях из угла на середину казармы Архип Кречетов.

Маленький, юркий Архип стремительно прошелся, как заводной волчок, по казарме и, остановившись рядом с долговязым Кирькой, сказал, глядя в упор на судорожно подрагивающее лицо станичного атамана:

– Правильно. Все ясно, как божий день. Сынов наших – под убой. Живность – казнокрадам. Нашего брата – по миру. Вот, туды ее мать, до чего мы дожились, воспода станишники, до чего дострадовались!

При этих словах Архипа Муганцев, весь напружинившись, точно проглотив аршин, выпрямился и крикнул высоким, сорвавшимся голосом:

– Что?! Что ты, подлец, сказал?! Это с каких пор дозволено при портрете их императорского величества в присутственном месте по матушке выражаться?

В казарме стало снова тихо.

Старики поняли, что на этот раз Архип, кажется, перехватил. Никто еще не отваживался до сих пор пушить на чем свет стоит законную власть в этом присутственном месте. Не растерялся только один Кирька Караулов. Увидев, что припугнутый станичным атаманом Архип пал духом, Кирька, встав в непринужденную позу, сказал:

– А што тут такова, что человек по матушке запустил? Мало ли што вгорячих бывает. И патрет государь императора тут ни при чем. Он от наших матерков со стены на бацкнется. Ить не самого же царя мы пушим, воспода станишники. Понимать надо.

– Еще не хватало, чтобы вы и самого государя таким словом здесь помянули!– заметил скотопромышленник Боярский.

– Дай варнакам волю, они и до их величества доберутся,– сказал фон-барон Пикушкин.

– Так точно,– подтвердил попечитель Вашутин.

Муганцев властно скомандовал:

– Кречетов, вперед!

Архип, испуганно поглядев на невозмутимого Кирьку, сделал два нерешительных шага вперед, вытянулся, как в строю, перед атаманом.

– Ты на действительной службе был?– спросил Муганцев Архипа.

– Так точно, восподин атаман. Приходилось...

– А чему там тебя учили?

– Всего не упомнишь...

– Ты пьян, Кречетов?

– Никак нет. Вполне трезвый.

– Выходит, что при портрете их императорского величества стрезва выражаться изволил?

– Выходит – так.

– Ага. Тем хуже для тебя, Кречетов.

Помолчав, Муганцев сказал, обращаясь в сторону ермаковцев:

– На ваше усмотрение, господа станичники. Но я полагаю, что терпеть в крепости казака, публично осквернившего царскую фамилию,– позор.

И ермаковцы наперебой загалдели:

– Ишо бы не позор. Пятно на всю станицу.

– Таких варнаков не только в крепости – на Горькой линии терпеть тошно.

– На миру государь императора лает, а позаочь – богохульствует. У его и взгляд-то, воспода станишники, варначий.

– А какому взгляду быть иначе, ежли он с кыргызами век-повеки путатся. Кыргызня да чалдоны у него ить первые тамыры.

– Нет, братцы, нам такие казачки не ко двору...

– Донести на него рапортом наказному.

– Фактически – рапортом.

– Семейство его на выселки, самого – в острог.

Атаман стоял в царственной позе, молча, терпеливо выжидая, пока накричатся ермаковцы. Затем, когда они, вдоволь поиздевавшись над Архипом, умолкли, Муганцев сказал:

– Сход я пока прерываю до завтра. А тебя, Кречетов, придется задержать.

– Это за какие грехи?– спросил Муганцева Кирька. И не дождавшись атаманского ответа, сказал стоявшему, поодаль Архипу:– Давай, давай уходи отсюдова, станишник, подобру-поздорову. Не беспокойся. Мы, брат, в обиду тебя не дадим.

– Что это значит, Караулов?– спросил Муганцев.

– А это значит, что коренная скачет, а пристяжная не везет,– ответил Кирька, смерив недобрым взглядом атамана.

– Ты мне эти шуточки брось, Караулов!– прикрикнул на него атаман.

– Каки таки шутки. Вижу – нам не до шуток... Пошли, братцы, отсюдова, пока до драки меня не довели,– сказал Кирька, повелительно махнув рукой притихшим соколинцам. И он, дернув за рукав остолбеневшего Архипа Кречетова, поволок его за собой.

Следом за Кирькой и Архипом Кречетовым валом вывалили в шумно распахнутые двери все соколинцы. А атаману Муганцеву не помогла на этот раз даже его пудовая булава с серебряным набалдашником – символ его нераздельной власти.

9

Четвертый Сибирский линейный казачий полк, в котором служили казаки с Горькой линии, как и все прочие части 10-й армии, стоял в обороне. После длительных и упорных боев на линии Мазурских озер командующий 10-й армией, в состав которой входил особый Сибирский казачий корпус, Ренненкампф отвел свои войска в северо-восточный сектор Августовских лесов.

Десятая армия, ни разу не покидавшая огневых позиций с первых месяцев мировой войны, успешно провела несколько наступательных операций в

Восточной Пруссии, захватив ряд важнейших стратегических пунктов. Но в кровопролитных боях за овладение отлично укрепленными немецкими городами Догезеном, Гольдапом и под Сувалками войска Ренненкампфа понесли большие потери. Измотанные в беспрерывных боях и походах части 10-й армии нуждались в длительном отдыхе и подкреплении. Однако на все категорические требования корпусных генералов о немедленной переброске на прусский фронт резервных пополнений Ренненкампф отвечал столь же категорическим отказом, оправдываясь то инертностью ставки главнокомандующего фронтом, то отсутствием в тылу надежных шоссейных и грунтовых дорог.

Между тем противник после большого урона, понесенного им в кровопролитных боях под Иоганнесбургом, вскоре получил значительное подкрепление в количестве четырех корпусов, переброшенных с Западного фронта. Эти войска состояли на пятьдесят процентов из частей ландвера, на двадцать пять процентов – из ландштурма и на двадцать пять процентов – из других родов войск. Укрепив фланги, австро-германские войска начали деятельную подготовку к развернутому наступлению по всему фронту. Так, правый фланг германской армии начал наступление со стороны Иоганнесбурга, а левый фланг несколькими днями позднее перешел в наступление от Тильзита. При поддержке австрийской армии генерала Данкля командующий германской армией фон-Бюлов бросил два своих корпуса на прорыв линии расположения армии Ренненкампфа.

Все это привело к тому, что особый казачий корпус под командованием генерала Булгакова вынужден был отступить, как и прочие части армии, в глубь Августовских лесов. Но выходы из этих лесов были уже блокированы немецкими войсками, а переправа через реку Бобр обстреливалась германской артиллерией.

Для того, чтобы спасти последние остатки своего корпуса, Булгаков принял героическое решение – прорваться через кольцо немецкой блокады, чего бы это ни стоило. Покидая пределы Восточной Пруссии, правое крыло русской армии потеряло связь с левофланговыми боевыми соединениями, поставив тем самым в крайне тяжелое положение весь находившийся в авангарде особый Сибирский казачий корпус в составе 29-й стрелковой дивизии и четырех полков сибирских казаков. Корпус Булгакова выдержал за трое суток при прорыве пятьдесят две атаки и, прорвавшись через австро-германское окружение близ местечка Торно, выбрался наконец из огненного кольца и продвинулся в глубь Августовских лесов, заняв затем оборону.

Об этом героическом сражении сибирских казаков одна из немецких газет в то время писала: «Честь особого Сибирского корпуса была спасена. Но это стоило ему семи тысяч человек, легших на пространстве двух квадратных километров. Следует признать, что вся эта попытка прорыва являлась чистым безумием, но в то же время и героическим подвигом, который показал нам русского солдата в том же освещении, каким он являлся во времена покорения Плевны, Кавказа и штурма Варшавы».

Чудом вырвавшись из окружения, казаки не сразу обрели желанный покой и отдых на занятых ими позициях. Не успели они спешиться со своих таких же измотанных, как и сами, едва державшихся на ногах коней, как тут же принялись за лихорадочные работы по укреплению зимних позиций. И днем и ночью, часто по пояс в воде, под проливным дождем со злобной яростью работали давно уже утратившие былой человеческий облик люди. Казаки рыли глубокие траншеи, сооружали землянки и блиндажи, строили фортификационные укрепления. И только в первых числах декабря, когда пал первый снег и тотчас

же закрутили, совсем по-сибирски, рождественские морозы, обрели наконец измотанные люди заслуженный ими отдых и покой.

Все проходит. Прошла и у казаков, только что переживших все ужасы боев, тупая, смертельная усталость. Они, отоспавшись в жарко натопленных землянках, выжарив вшей, заметно окрепли, подтянулись, повеселели. А там мало-помалу некоторые из казаков начали уже тяготиться однообразием позиционной войны, горевать по минувшим сражениям, тосковать по тревожным сигналам полковых труб...

Ко второй половине зимы 1916 года участились случаи дезертирства с фронта, особенно среди деморализованных пехотных частей. Первое время, пока бежали солдаты еще поодиночке, казаки, на которых была возложена борьба с дезертирством, относились к своим обязанностям ревностно и порядок, согласно приказу, блюли – в заградительных отрядах вели себя строго и бдительно. Но позднее, когда тронулись солдаты в тыл целыми косяками, былую охоту задерживать дезертиров у казаков отбило. А если кто из наиболее ретивых служак и норовил теперь задерживать беглецов, то те пускали в ход оружие, и подобные стычки заканчивались для казаков довольно худо. Дезертиры часто обезоруживали заградительные казачьи разъезды, а нередко рассчитывались с наиболее горячими патрулями штыком или меткой пулей. Все это привело к тому, что казаки стали посматривать на дезертиров сквозь пальцы.

Так началось великое разложение фронта. Затяжное вынужденное безделье на позициях пагубно отражалось на моральных устоях армии. Суровая вьюжная зима, оторванность от всего близкого и родного, неясность боевых задач, тревожные слухи о предательстве военного министра Сухомлинова и Ренненкампфа – все это порождало в озлобленных за

годы войны казаках и солдатах смутные предчувствия неминуемых катастроф и все возрастающую тоску по родному краю. Особенно тяжко переносили эту позиционную зиму казаки. Для них, издревле свыкшихся с боевым конем и сложными маневрированиями по фронту, труднее всего было теперь отсиживаться в тесных, грязных и дымных землянках.

По вечерам, убрав на коновязях лошадей, казаки валялись в землянках по нарам и коротали время, кто как умел. Резались, до одури накурившись, в козла, во всяк свои козыри, в очко и в железку; проигравшись, спускали с себя последние подштанники. А чаще всего казаки отводили душу в песнях.

Открой, казак, часы стальные,
Пришла пора седлать коня,
А за минуты остальные –
Благословить в поход меня.
Гнедой мой конь почуял сразу
Дорожку дальнюю свою.
По генеральскому приказу
Пойдем в развернутом строю.
Пойдем за дальние курганы,
Через сыпучие пески.
В сердцах заноют наши раны
Походной воинской тоски.
Ни в маршах и ни на привалах
Не позабыть нам отчий дом:
Как грянут песню запевалы –
Подступит к горлу горя ком...
Заместо жен – подруги-шашки,
Они вернее их речей!
Клинки, крутые на замашку,
Нас стерегут среди ночей.
И рядом с нами кони-други
И пики вострые в строю,
Но горько нам без вас, подруги,
Казаковать в чужом краю...
Ой, далеки дороги наши –

Неисповедомы пути,
Где птицы крыльями не машут,
Где даже зверю не пройти!
Там без крестов и без погостов,
Без песнопений и молитв
В степях казачьи тлеют кости
На поле подвигов и битв.
И ничего уже не снится
Башке, зарывшейся в песок,
Если змея вползла в глазницы
И жалом стукнула в висок!
Ой, далеки дороги наши!
В степях полынный горький чад,
Где ни озер, ни рек, ни пашен,
Там даже песни замолчат!
Но только наши эшелоны
Не устрашит пустыней гладь.
Нам не впервой свои знамена
Под знойным небом подымать!
И наши деды не робели
В походах, в странствиях, в бою,
И нас учили с колыбели
Под песню древнюю свою
Тому, как надо в час тревоги
Под клич серебряной трубы
В стремена мигом ставить ноги
И веселей взбивать чубы.
И, может, тоже без погостов,
Без песнопений и молитв,
Как и у дедов, наши кости
Истлеют на театрах битв.
Шуми же, знамя боевое!
Труби, труба. Пора. Пора.
Уж, будто море в час прибоя,
Гремит над площадью «ура».
Закрой, казак, часы стальные,
На циферблате ровно пять.
Заржали кони строевые,
Поход почуявши опять.

Яков Бушуев, лежа на нарах рядом с Иваном Сукмановым, слушал песню с закрытыми глазами. И почему-то вспоминалась ему сейчас погожая степная осень на Горькой линии. И слышался ему далекий трубный клич журавлей, кружил голову горячий запах придорожной пустошной полыни. А за всем этим сложным наплывом звуков, красок и запахов вдруг неясно, как в сновидении, возникало перед ним до боли знакомое, смуглое лицо Варвары.

Слушая песню, Яков думал о доме. Невеселые вести приходили из далекой родной стороны. Жаловался Егор Павлович Бушуев на пошатнувшееся хозяйство, роптал на обременительные войсковые поставки и сборы, горевал о недосеве, сетовал на падеж скота... «Нет, не сладко, видать, живется теперь старикам и там, в далеком тылу!» Но не одни стариковские обиды волновали Якова при чтении родительских писем. Все чаще, все горше волновала его теперь и незадачливо сложившаяся судьба брата – Федора. Если прежде Яков, не понимая поступков Федора, относился к нему с тупым равнодушием, граничившим порою с враждебностью, то теперь иной раз сердце его – при мысли о брате – сжималось в комок. Видимо, думалось ныне Якову, был Федор в ту пору все же в чем-то прав, чего не мог тогда понять Яков. Да, впрочем, не совсем понимал и теперь, хотя фронтовые события последних месяцев наводили и его на смутные, тревожные раздумья. Волновала его и судьба Варвары, о которой не разучился он тосковать за годы войны. Вот и сейчас, сквозь полузакрытые глаза, мерещилось ему строгое и смуглое лицо жены. И не то во сне, не то в яви видел он туско отливающие черной смолью, гладко расчесанные на прямой пробор и собранные на затылке в тяжелый узел волосы. Прочным мглистым степным загаром отсвечивала правая ее, крапленная родимым пятном щека, на пунцовых губах потухала улыбка.

– Ура, братцы!– раздался вдруг чей-то высокий голос...– Вот это я понимаю – вша!

Яков открыл глаза. Напротив сидел озаренный светом коптилки маленький белобрысый Евсей Батырев. Он был без рубахи и, восторженно улыбаясь, внимательно разглядывал на собственной ладони добычу. Казаки повскакивали с нар и окружили Евсея. Со всех сторон посыпались изумленные возгласы:

– Вот это да!

– Знаменитую выпас ты, Евсей, дуру!

– Што ты, язви те мать, целый аргамак!

– Ты смотри поосторожней с ней, Евсей, обходись,а то ишо лягнуть может...

– Фактура – может. Поберегись, станишник.

– Животина с норовом. Капризна...

– А какой она масти, братцы?– крикнул с нар заспанный Евлашка Смолин.

– Это конь вороной. Сбруя золотая...

Но больше всех умилялся сам Евсей Батырев.

– Вполне сурьезная вша,– сказал он рассудительным басом.– А куды я теперь с ней? Бить, братцы, такую кралю все-таки жалко...

– А зачем – бить? Ты спятил?– горячо возразил ему Исай Хаустов.– Оно, хоть ты у нас скупердяй во всей сотне известный, но тут, я думаю, за своим добром не постоишь. Пожертвуй мне. Уважь по дружбе.

– Тебе?

– Так точно.

– Да на кой она тебе?

– В дело употреблю...

– Как так – в дело?

– Очень просто. Явится завтра к нам на коновязи сотенный наш командир подъесаул Лепехин, а я как раздневалить буду... И как только начнет он, кобель, ни за што ни про што с матери на мать нас пушить, тут я ему невзначай в касторовый чистобор ее на выпас и суну...

– Правильно, Хаустов!– дружно закричали казаки.

– Вот это придумал!

– Правильно. Пускай она на офицерских кровях похарчует...

– Если одной мало – у меня займи.

Шум поднялся невероятный. Кто-то недовольно заерзал на нарах и глухим голосом пробубнил:

– Ну, попала опять вожжа под сурепицу. Черт взял. Нашли, слава богу, тоже потеху.

Но ворчливого бормотания сонного казака никто не услышал. Сгрудившись около Евсея Батырева, казаки продолжали шуметь.

Наконец притихли. А за окошками землянки плыл отдаленный гул. То бушевала в дебрях Августовских лесов февральская вьюга. С надрывом выл и гудел в ночи чужой темный, дремучий лес.

Не спалось в эту ночь Якову Бушуеву. Не спал и Иван Сукманов. Как переплетаются иногда глубоко под землей корни двух одиноко маячивших в степном просторе берез, чтобы поваднее было им бороться с шальными буранами и ветрами, так же вот и переплелась, затянулась в калмыцкий узел дружба двух одностаничников – людей одной и той же судьбы. Рядом, бок о бок, росли они погодками в станице. Рядом, стремя к стремени, ушли потом на действительную службу в полк. И вот вместе делили теперь и горе, и радости. И Якову Бушуеву, и Ивану Сукманову часто казалось, что только этой взаимной дружбой и держатся они в строю. Оба они не были трусами. Оба были награждены Георгиевскими крестами за отменную храбрость в боях под Гольдапом. Оба они любили иногда прихвастнуть своей доблестью. Когда их спрашивали, бывало, молодые, еще не крещенные боевым огнем казаки, страшно ли сходиться впервые с врагом в клинки, то они, как и все, с притворной небрежностью отвечали одно и то же:

– Чепуха это все, братцы. Привыкнешь!

Но сами за два года боев так привыкнуть к этому и не смогли. Оба они отлично знали теперь, что к этому не привыкнешь, знали, как замирает, останавливается на мгновенье сердце, сжавшееся в комок в минуту атаки. Знали, как в глазах, косивших от ужаса и решимости, на какую-то долю секунды меркнет весь божий свет, когда готовишься, слегка привстав на стременах, ринуться очертя голову в чудовищный смерч рукопашной битвы.

В глухую ночную пору, в часы бессонницы, одностаничники нередко заводили тихий разговор, словно размышляя вслух о своей судьбе, о фронтовой жизни, о доме. Вот и сейчас Яков нисколько не удивился, когда Иван Сукманов, коснувшись рукой его плеча, вполголоса спросил:

– Не спится?

– Ни в одном глазу...

– У меня то же самое. Забота одна одолела,– сказал Иван после некоторого молчания.

– А што такое, братуха?

– Да так, дело одно предстоит рисковое...

– Тайна?

– Как тебе сказать? Для кого как...

– А для меня?

– Насчет тебя надо подумать, Яков.

– Это пошто же?

– Есть такие причины... Да ты спи. А вот завтра я из штаба вернусь, и мы с тобой это дело обсудим,– сказал Иван Сукманов таким тоном, что Яков, зная характер приятеля, замолчал, посчитав бесполезным расспрашивать.

10

На другой день, когда Яков Бушуев возвращался от коновязей в землянку, он наткнулся в сумерках на притаившегося близ бруствера Ивана Сукманова.

Встреча эта была неожиданной. Яков знал, что в полдень Иван был откомандирован начальником штаба полка есаулом Синицким в штаб 10-й армии с донесением, адресованным в личные руки начальника штаба армии. До местечка, где был временно расположен штаб армии, было около сорока верст. Вот почему быстрое возвращение Ивана Сукманова удивило Якова, а странное поведение его встревожило и насторожило. Заметив воровски озирающегося по сторонам, закутанного в башлык одностаничника, Яков сначала даже растерялся, опешил. Иван жестами поманил его к себе.

Сойдясь с приятелем около заметенного снегом блиндажа, Яков увидел, что тот был явно чем-то возбужден и взволнован.

– Ты один?– спросил полушепотом Иван Сукманов.

– Как видишь – один. Только что ушел в блиндаж вахмистр...

– Ага... Это лучше. Здорово,– сказал, сунув рывком руку Якову, Иван Сукманов.

– Здорово... Да ты што, с полпути воротился, што-ли?

– Нет, сейчас напрямки из штаба армии.

– Скоро, брат, што-то.

– Долго ли тому, кто умеет...

Помолчали. Яков успел заметить, что Иван, вполголоса разговаривая с ним, не переставал воровски озираться и прислушиваться к чему-то. Наконец он, видимо, окончательно убедившись в том, что они одни, заговорил порывисто, оживленно:

– Ты знаешь, я вот тут неподалеку, в лесу, понимаешь ли, спешил... Ох, и упрел же, дьявол. Вот баня! Скажи, как я ишо строевика не запалил?! А тут вот и темляк у нагайки оборвать где-то черт меня угораздил. Вот видишь...– И он, виновато улыбаясь, показал Якову отороченный медной ленточкой черенок нагайки.

Яков чувствовал, что за беспорядочным набором слов кроется нечто более значимое, о чем пока не говорит Иван.

– Ну, какие там новости в штабе? Небось выпюхал што-нибудь?– спросил Яков.

– Новости? Да... Новостей у меня сегодня полны переметные сумы. Из-за этих новостей-то вот я и летел как угорелый.

– Што ж там опять?

Снова зорко оглядевшись по сторонам и цепко схватив Якова за правую руку, Иван шепотом, словно задыхаясь, сказал:

– Слушай-ка, Яков. Сам знаешь, перед тобой я сроду ни в чем не таился. Ничего не привык я от тебя скрывать. Вот и сейчас скажу. Словом... Друг ты мне али нет?– неожиданно спросил Иван, крепко стиснув в могучей своей пятерне узловатую руку Якова.

– О чем разговор, станишник? Сызмалетства друг друга хорошо знам,– взволнованно, но твердо ответил Яков.

– Это правильно – знам,– глухо обронил Иван Сукманов. И тут вдруг, стремительно выдернув из-за пазухи увесистый бумажный сверток, он протянул его Якову, а затем совершенно спокойным, но исключающим какие бы то ни было возражения тоном сказал:– Держи. Да крепче. Это листовки. Письма.

– Какие письма? Кому письма?– ничего еще толком не понимая, спросил Яков.

– Нам. Нам с тобой. Всем казакам и солдатам. Письма от партии большевиков. Есть такая партия. Понял? Здесь, брат, нашей пролитой кровью вся горькая правда записана... Словом, прочитаешь потом. Слава богу грамотный.

– Да где ты их взял? Откуда?– взволнованным шепотом спросил Яков, не зная, куда ему деть бумажный сверток.

Иван прошептал:

– В одном фольварке доверили эти письма наши ребята. Товарищи. Поручили во что бы то ни стало доставить в наш полк. Надо потихоньку от наших воспод офицеров разбросать эти листочки среди станишников, а концы – в воду. Ну, я пообещался выполнить такое задание. Да вот оплошал маленько. Плоховато мы береглись, должно быть, и вот – влипли... Пронюхали они, подлецы, за нами и решили, наверно, сцапать нас с поличным. Всю дорогу шли за мной по пятам трое вершных. Но я, не будь дураком, тоже их раскусил и дал деру. Спасибо, строевик не подвел...

– Ну, строевик-то у тебя,– ветер!– сказал Яков для того чтобы сказать что-нибудь.

– В том-то и дело, что ветер... Пальбу по мне открыли – промазали. Укачал я от них вперед верст на десять. Но, понимаешь, станишник, не ровен час – могут замыть меня эти холуи, и я – поплыл... У меня же обратный пакет к начальнику штаба полка. Не успеешь, думаю, спешиться, а они тебя и сгребут с поличным. Голого-то накроют – черт их бей. С голого что возьмешь?! Отрекусь – и баста. Ну потаскают, конешно. Не без этого. Но письма-то эти не должны же пропасть. Приказ от товарищей – немедля пустить их в дело. Разбросать по землянкам. Таков наш долг. Понял?.. Если меня сейчас заметут, останешься ты в моих заместителях. Ты сейчас в ночном карауле, и тебе это дело вполне сподручно. Только на тебя у меня одного и надежда. Только в одного тебя я пока в нашей сотне и верую...

– Это... это все правильно, Иван, конешно...– начал было Яков, заикаясь от волнения.

– Все, все правильно, Яков,– поспешно перебил его Сукманов.– Если ночью я не вернусь, считай арестованным. А листовки незаметно развей около блиндажей и землянок. Да смотри, осторожней. Штобы шито и крыто... Ну, с богом. Не робей. По-казачьи.

И не успел растерявшийся Яков раскрыть рта, как Ивана Сукманова точно ветром сдуло у него на глазах, он исчез в лесу.

С минуту Яков стоял с бумажным свертком в руках, не двигаясь, как будто даже не дыша. Вся эта неожиданная встреча с Иваном до того ошеломила, вышибла его из состояния душевного равновесия, что он только несколько минут спустя начал мало-помалу воспринимать то, что сказал ему Иван Сукманов. Наконец, точно очнувшись от забытья, он нетерпеливо перегрыз на свертке шпагатную бечеву и развернул туго закрученные в трубку листовки. Белые четвертушки бумаги были немного влажны, и шел от них до сего незнакомый Якову острый спиртовый запах – запах сырой типографской краски.

Якову захотелось своими глазами увидеть то, что было написано на этих квадратных листочках, но читать он сейчас не мог: было темно. Только часа через два, когда он сменился для получасового отогрева и отдыха в землянке, примостившись около жировика – в землянке все замертво спали,– он начал вчитываться в листовку. Близоруко прищурившись, вглядывался он в жирные и ровные печатные строчки, читая их шепотом – как привык читать в детстве. Он был не боек в грамоте. Но листовку прочитал в один прием, залпом, без передышки. И простые, бесхитростные доступные сердцу и разуму слова поразили Якова прямотой и правдой. Он читал, и мелкая, зябкая дрожь от его больших неуклюжих пальцев, стремительно нарастая, переходила к локтям, в сутуло приподнятые плечи, в полусогнутые колени.

«Одумайтесь, товарищи трудовые казаки!»– настойчиво звучала теперь в ушах Якова одна и та же фраза. И ему уже казалось, что это не в листовке он вычитал такую фразу, а услышал где-то давным-давно, да только сейчас дошла она до его сознания и встревожила его сердце. Сложное, непривычное чувство

острой тревоги и хмельной радости ощутил Яков Бушуев, беспокойно вертя в руках маленькую бумажку. С удивительной четкостью и последовательностью воскресали в его памяти прочитанные слова, и он, к великому своему удивлению, запомнил теперь прочитанное наизусть. *«Это нашей кровью написано!»*– вспомнились Якову слова Ивана Сукманова. И потрясенный Яков впервые за всю свою жизнь проникся большим уважением к печатному слову и держал теперь в своих руках этот невзрачный листок бумаги, как дорогую находку. С таким внутренним трепетом, с такой чистой любовью, с такой верой относился он только к двум вещам: к прядке Варвариных волос, которую ревниво хранил он в нагрудном кармане гимнастерки, да к почерневшему от времени медному образку – походному материнскому благословению...

«Ну, скорее бы только прочитали об этом станишники!»– подумал Яков. И он, тут же поспешно рассовав часть листовок в изголовья спящих казаков, а остальные спрятав за борт шинели, вновь вышел к коновязям, отпустив подсменного казака.

Оставшись один, Яков долго кружил вокруг коновязей, вновь и вновь передумывая и мысленно перечитывая листовку. И с непостижимой стремительностью проходили перед ним беспорядочные, бессвязные как будто бы воспоминания. Может быть, впервые увидел он свою жизнь во всей ее суровой обнаженности и правде. Щедра же была она, оказывается, для трудовых казаков на черные дни, на лишения, обиды и беды. И если прежде, годами вынашивая накипавшую в сердце злобу и ненависть против неведомых, властно вторгавшихся в судьбу его темных сил, Яков не смог распознать их облика, то теперь неожиданно столкнулся он с этими силами лицом к лицу и готов был уже, кажется, к такой же решительной схватке с ними, в какую не раз бросался он против врагов на поле боя...

...Чуть начинало светать. Серое плоское небо, казалось, плашмя лежало на кронах корабельных сосен Августовского леса. Воровски озираясь по сторонам, крался Яков Бушуев, то и дело притуляясь к приземистым стенкам позиционных землянок. Он был без папахи, с растрепанным, припорошенным сединой и снежной замятью чубом. Неслышно скользя от землянки к землянке, он, как поджигатель, торопливо совал в притвор дверей пригоршни мятых листовок. Лицо его выглядело строгим, сосредоточенным, почти вдохновенным. И только сурово сомкнутые густые брови, мертвенная белизна щек да судорожный излом спекшихся, как от жажды, губ таили недавно пережитое им душевное потрясение.

Покончив с листовками, Яков, никем не замеченный, неслышно вернулся в свою землянку и, не сбросив даже шинели, снопом повалился на нары. И только тут почувствовал он смертельную, свинцом разлившуюся по жилам усталость и сладковато-тошнотворный привкус на языке. В ушах нарастал тупой, ноющий звон. А сердце, подобно ключу полевого телеграфа, выстукивало неровную, мелкую дробь. Мучила жажда. Яков попробовал встать напиться, но голова почему-то закружилась так, как, бывало, кружилась она в молодости, когда поднимался он и падал с огромной высоты вниз, качаясь на пасхальных качелях. Он снова прилег и прикрыл глаза. Он не раскрыл их даже и тогда, когда вошел в землянку Иван Сукманов, отпущенный из штаба после допросов, чинившихся там ему всю ночь.

Ивану Сукманову показалось, что Яков спал. И несмотря на то, что Ивану мучительно хотелось узнать от него сейчас о судьбе доверенных ему листовок, он все же не решился будить Якова. Осторожно примостившись рядом с ним на нарах и приглушенно вздохнув, Иван затих. Однако минуты две-три спустя он убедился, что Яков не спит. И Иван, горячо дыхнув в ухо Якова, шепотом спросил его:

– Ну... как дела?

Яков нащупал большую, жесткую от застаревших мозолей руку одностаничника и, крепко стиснув ее в горячей своей ладони, чуть слышно ответил:

– Порядок.

11

Около трех месяцев минуло со дня отъезда казачьей депутации в Петроград, а на Горькой линии о Егоре Павловиче Бушуеве и Луке Иванове ни слуху ни духу. То, что они не возвратились к сроку и не подавали о себе и об обещанных грамотах вестей, наводило земляков на тревожные и горькие размышления. В станицах заговорили о том, что к царю казачьих посланцев не допустили и, арестовав их, направили по этапу в распоряжение наместника Степного края в Омск. Потом прошел слух, что, наоборот, они будто бы были приняты царем в Зимнем дворце и Николай II, прочтя в их присутствии казачью петицию, тут же подписал золотым пером манифест о даровании Сибирскому линейному казачьему войску широких привилегий и обширных льгот. Затем, повелев отпустить на Горькую линию несколько тысяч пудов семенного и продовольственного хлеба, император будто бы наградил смелых казачьих депутатов именными золотыми часами и, кроме того, приказал своим министрам снабдить Егора Павловича и Луку бесплатными билетами на обратный проезд. Слухов в станицах бродило много. И как всегда это бывает, чем эти слухи были нелепее, тем охотнее верил им народ. Особенно близко к сердцу принимали старики молву о всемилостивейшем императорском манифесте.

Приближалась весна – пора сева. Но во многих хозяйствах не было ни пуда семенного зерна, выходили остатки продовольствия. Старики, как всегда, собирались по вечерам в сумрачной казарме станичного

правления и коротали здесь невеселое время. Мирно посасывая самодельные трубочные чубуки, задыхаясь в зеленом дыму суворовского самосада, старики судили и рядили в эти часы о незавидном своем житье-бытье. Разговоры больше всего вертелись вокруг бесследно сгинувших депутатов.

Однажды братья Кирька и Оська Карауловы, явившись на станичную сходку, стали божиться перед портретом царя о том, как они будто бы сами читали на днях письмо служившего в лейб-гвардии казака станицы Казанской Марка Хаустова, в котором писал тот из Петрограда про дарованный царем казакам Горькой линии манифест. Торопясь и захлебываясь от восторга, шумно перебивая друг друга, Карауловы так горячо и подробно докладывали о приеме царем казачьей депутации, точно они сами побывали вместе с Егором Павловичем и Лукой в Зимнем дворце.

Старики не верили ни одному их слову и, отлично понимая, что все это от начала до конца Кирька с Оськой врут, тем не менее слушали их с огромным вниманием, даже поддакивая. Горячее всех уверовали в высочайший манифест престарелые георгиевские кавалеры – дед Арефий и дед Конотоп. До слез растроганные, они, потихоньку столковавшись между собой, решили выручить изголодавшийся народ храбрым своим предложением. И вот дед Арефий вышел на круг, обнажил голову и, выждав, пока уляжется гвалт, сказал:

– А я к вам с добрым словом, воспода станишники.

– Слушаем, восподин кавалер,– откликнулся Афоня Бой-баба.

– А совет мой таков будет,– продолжал дед Арефий.– Тяжкое бремя переживает все наше войско. Трудные испытания уготовал нам господь. Прямо как в библии: «И придет на тя зло и внезапна пагуба и увеси!»

– Так сказано устами пророка в Книге Исхода...

– А ты бы, дед, тут акафиста-то нам не читал. Говори яснее, по-русски!– крикнул десятник Буря.

Но старики сурово и дружно прицыкнули на десятника:

– Не мешай человеку высказаться, Буря.

– Придержи пока свое ботало за зубами.

– Не сбивай старого кавалера с ладу.

– Так вот, стал быть, я и говорю...– продолжал дед Арефий.– Тяжкий пробил для нашего войска час. Но нам с вами сомневаться в высочайшей милости не приходится. Государь император нас в обиду не даст. Он выручит из беды. В это мы веруем... Только пока, как говорится, солнце взойдет, роса глаза может выбить.

– Это ты к чему, дед?– спросил его насторожившийся фон-барон.

– А к тому, что пока, дескать, шель да шевель там с государевым манифестом, пока оный манифест дойдет из города Петрограда до нашей Горькой линии, а у нас и сеять уж будет поздно, и семена, гляди, будут нам ни к чему. Вот я к чему, воспода станишники, клоню...

– Форменно – будет поздно!

– Верные ваши речи, восподин егорьевский кавалер.

– Казна, она завсегда после драки кулаками машет.

– Знам мы эту казну. Было на прахтике.

– Эх, воспода ребята, на эту казну надежа, как на нищем одежа – одни ремки...

– Вот именно.

– Нам от казны ждать больше нечего. Она нашего брата на этом веку показнила. Хватит!

В казарме снова поднялся шум. Старики повскакивали при этих словах с полу на ноги и принялись поносить на чем свет стоит и ненавистную им казну, и нераспорядительную войсковую управу и добрались до самого наказного атамана. Но станичный атаман Муганцев, грозно прикрикнув на распоясавшееся общество, с трудом утихомирил стариков и уговорил их выслушать до конца престарелого кавалера.

– Какой ваш совет будет, господин георгиевский кавалер?– спросил в почтительной форме деда Арефия станичный атаман.

– А совет наш таков,– сказал после некоторой заминки дед Арефий.– Не ждать манифеста. Укрепить бумагу личным росписом всех станишников и печатью. А потом снять, благословясь, с войсковых амбаров замки и казенные пломбы...

– Што?! Как вы изволили выразиться?– вскрикнул изумленный Муганцев.

– Так и сказал. Снять, говорю, замки и казенные пломбы с войсковых амбаров,– уж не совсем уверенно и, твердо проговорил георгиевский кавалер, поглядывая на атамана.

– Так. Так. Так. Дальше!– повторил Муганцев.

– А дальше что же. Дальше дело известное... Составить артикульную ведомость, да и раздать народу весь провиянтный хлеб из этих амбаров. Так, я полагаю, и с семенами и с продовольствием будем,– рассудительно заключил георгиевский кавалер.

И не успел вскочивший на ноги Муганцев раскрыть рта, как соколинцы, норовя перекрыть друг друга, грянули, что было мочи, на всю казарму:

– Вот это дело, воспода старики!

– Правильну речь сказал егорьевский кавалер.!

– Золотые речи!

– Правильно. Растворить войсковые амбары!

– Вскрыть казенны замки и пломбы!

– Резон, воспода станишники. Раз казна народ подсекла, пусть она нашего брата из беды теперь выручает.

– Ить там тыщи пудов зерна в закромах лежат. А народ без хлеба с самого рождества кукует. Без семян – кака, язви, пашня?

– Без семян-то ишо туды-сюды. А вот у некоторых и муки ни пылинки не найдешь. Это куды, братцы, годно?!

– Што там говорить! Сплошь и рядом народ нужду терпит...

– Там кормильцы кровь проливают, а тут хоть впору суму на плечо.

– Вот именно. Достукались сибирские казачки. Докатились. Скоро всем войском Лазаря затянуть придется. Ить это не жизнь – позор, братцы.

Вдруг по-бабьи звонкий и резкий голос Кирьки Караулова, прорвавшись сквозь шквальный ураган травленых стариковских глоток, крикнул:

– Што там разговаривать – давай приговор!

И старики на требовательный призыв, Кирьки дружно гаркнули:

– Приговор! Приговор!

– Все, как один, подпишемся под такой гумагой.

– Послать за письмоводителем.

– Правильно. Без письмоводителя не обойдешься. Гумага должна быть форменной. Казна любит, чтобы все было по артикулу.

– Фактура – по артикулу... Мы войсковой хлеб не грабим, а по доброй воле всего общества взаймы у казны берем!– крикнул Агафон Бой-баба.

– Ну ясное дело – взаймы. За нами не пропадет.

– Расквитаемся, ежли родится...– откликнулись старики.

– Смирно!– крикнул наконец громовым голосом станичный атаман, грохнув, своей пудовой булавой по столешнице.

И в казарме вдруг стало так тихо, что от неожиданности оба георгиевских кавалера присели на лавку. А устрашившийся грозного атаманского окрика станичный десятник Буря смиренно прикрыл глаза.

Выдержав небольшую паузу, Муганцев тяжело дыша – было похоже, что он только что вырвался из жаркой, нелегко доставшейся ему драки,– решительно выступил из-за стола вперед и, величественно отстранив от себя властным движением стиснутую правой руке тяжелую булаву, заговорил:

– Это што же такое, господа станичники, – грабеж? Собственно, нет, не грабеж. Хуже. Разбой. Посягательство на неприкосновенные войсковые запасы провианта – это же хуже казнокрадства... Стыдно, стыдно, господа старики. Позорно, станичники... И особенно стыдно таким почетным и заслуженным воинам, коим являются наши георгиевские кавалеры!– заключил Муганцев строго и осуждающе покосившись при этом на георгиевских кавалеров.

– Ну, ты наших заслуг, восподин атаман не тронь!– запальчиво прикрикнул на атамана дед Конотоп.

И кавалеров вновь поддержали старики:

– Не страми престарелых воинов.

– Правильно. Не позволим изгаляться над кавалерами...

– Мальчиков тоже нашел.

– Ты нам, атаман, этих акафистов–то здесь не читай.

– Это верно. А то как бы ишо панихиду по тебе не заказали за такие смелые речи!– крикнул Кирька Караулов.

Но побледневший от ярости атаман завопил:

– Молчать! Атаман я у вас или не атаман?! Да как вы смеете?! Как только у вас повернулся язык на подобные речи?! Слыханное ли это дело, чтобы самовольно войсковой провиант по приговору делить? А? Да донеси я об этом наказному атаману – ведь вас живьем в острогах сгноят.

– А ты донеси, попробуй,– мрачно посоветовал ему кто-то от порога.

– И донесу. Немедленно рапорт отправлю, если вовремя за разум на старости лет не возьметесь. Моя власть!– неистово крикнул Муганцев, снова величественно грохнув об пол булавой.

– И совершенно правильно сделаете, если куда следует донесете. Таким бунтовским разговорчикам в обществе потакать нельзя...– поддакнул скотопромышленник Боярский.

– Разумеется, нельзя, Афанасий Федорович,– живо откликнулся на его голос Муганцев.– А как вы думали, господа старички? Или вы решили на преступных действиях против казны приговором прикрыться? Тонко придумано. Тонко.

– Ить провиянт-то в войсковых амбарах наш, а не казенный!– снова перебив атамана, закричали соколинцы.

– Фактура – наш. Мы его туды засыпали.

– Правильно. Хлеб всенародный. Трудовое зерно. Мы – хозяева.

– Распределить по приговору – и баста!

– Позвольте, позвольте, господа старики. Одну минуточку,– примиряюще подняв руку, заговорил с притворным спокойствием Муганцев.– Итак, вы хотите прикрыться приговором? Хорошо. Воля ваша, конечно. Можете составить приговор и скрепить его личными росписями. Только учтите, что я, ваш станичный атаман, гласно отказываюсь признать за подобной бумагой какую-либо законную силу. Ясно? Таково мое последнее слово. Ну-с, а о последствиях говорить не приходится. Всем известно, чем кончаются подобные выпады против войскового порядка и законной власти. Побунтовать на старости лет захотели? Ну что ж, валяйте. Попробуйте.

Умолкнув, атаман старательно вытер платком потное лицо, испытующе косясь на притихших станичников, не спеша раскурил дешевую папироску.

Нехорошая тишина установилась в казарме. Старики стояли, угрюмо потупясь. Они ждали, что скажет им еще на прощанье разгневанный атаман. Между тем Муганцев ждал, в свою очередь, что теперь скажут старики Соколинского края.

Но старики молчали. И молчание это говорило сейчас Муганцеву горячее и убедительнее всяких слов о той единой решимости, которая бывает в такую пору страшнее любого открытого сопротивления и любых громко звучащих угроз.

Все было ясно. Говорить больше не о чем. И атаман, быстро выбросив изо рта недокуренную, изжеванную папиросу, схватил рывком со стола фуражку и, надев ее ловким привычным жестом набекрень, не глядя ни на кого, глухо молвил:

– Ну-с, хорошо. Мой разговор окончен. Я ухожу. А желающие побунтовать могут остаться.

Бросив откровенно злобный, презрительный взгляд на соколинцев, атаман решительным и поспешным шагом направился к выходу. Старики дали ему дорогу. И тотчас же почти все казаки Ермаковского края, повскакав со своих мест, гуртом двинулись за атаманом.

В казарме остались соколинцы. Произошло замешательство. Часть стариков смятенно затопталась на месте, не зная, что делать – уходить или оставаться. Буря, с грохотом сорвавшись с печки, трижды выбегал за дверь и трижды виновато и робко возвращался в казарму. Наконец смятение улеглось.

Писарь Скалкин, вызванный сходом для составления приговора, в нерешительности топтался за столом. Он то извлекал из канцелярского шкафа письменные принадлежности, то вновь прятал их обратно вместе с дестью александрийской бумаги.

Тогда вперед вышел, поспешно сорвав с головы шапку, Архип Кречетов и, присмотревшись к соколинцам,спросил:

– Ну, как порешим, братцы, приговор дадим али в отступ?

– Это как общество...– уклончиво пробормотал встретившийся с его взглядом Буря.

– Общество? А общество, я думаю, труса перед станичным атаманом и перед ермаковцами праздновать не станет,– уверенно ответил Буре Архип Кречетов.

– Правильно. Никогда мы ишо перед ними не робели!– запальчиво крикнул Оська Караулов.

И Архип Кречетов, повернувшись к писарю, сказал, указывая перстом на бумагу:

– Давай пиши приговор.

Писарь замялся. Но вставшие перед ним во фронт братья Кирька и Оська Карауловы так посмотрели на него, что размышлять и колебаться было некогда. Проворно развернув перед собой чистый лист бумаги, он торопливо обмакнул перо и, картинно сбочив голову с непостижимой быстротой принялся строчить приговор. А спустя полчаса все присутствующие в казарме соколинцы, торопливо крестясь на прокопченный табачным дымом киот в переднем углу, подходили гуськом к столу и скрепляли свой приговор кто как умел – одни личной росписью, другие – крестами.

12

В ту же ночь Муганцев собрал к себе в дом всех верных своих приверженцев и потребовал немедленной организации вооруженной охраны войсковых провиантских амбаров. Требование станичного атамана было признано справедливым, но осуществить его на деле оказалось не так-то просто. Все трудности были в том, что, согласно установленному положению, охрана тишины и общественного порядка в линейных станицах до сих пор лежала на обязанности так называемых «статейных» казаков, оставшихся от мобилизации по тем или иным льготным статьям и отбывавших воинскую повинность на месте. Наряду со «статейными» обязанности внутристаничной охраны несли еще и некоторые не совсем старые казаки, выделенные для этой цели, по указу станичного атамана, из среды менее состоятельных жителей станицы. Наряды в «обход» не являлись обременительными и частыми. Только по случаю субботних базаров, двух зимних ярмарок да редких годовых праздников и приходилось казакам нести свое обходное дежурство. Но зажиточ-

ные казаки, как правило, избегали этой черновой воинской повинности, считая ее за унизительную для своего положения.

Между тем казаки, несшие «обходную» службу, были вооружены помимо шашек приобретенными за счет общества дробовыми ружьями. Словом, объединившись, эти казаки могли представлять известную боевую силу. Однако положиться на эту силу Муганцев теперь уже не мог, поскольку большинство казаков оказалось в числе подписавших бунтарский приговор станичников. И приверженцам станичного атамана теперь оставалось одно: встать под ружье, взяв охрану провиантского хлеба на себя.

Но верные до сего атаману станичные заправилы наотрез отказались от вооруженного караула. Напрасно старался станичный атаман, разгневанный трусостью своих приверженцев, пристыдить их, уговорить, усовестить, урезонить.

– Да какие же мы вояки, господин атаман! Подумайте, наше ли это дело под ружьем в карауле стоять?– взмолился фон-барон Пикушкин.

– Вот именно. На нас тут надежа плохая,– поддержал фон-барона владелец станичных боен Сильвестр Стрельников.

А скотопромышленник Боярский вдруг предложил:

– Конечно, не совсем ловко становиться нам под ружье у амбаров. Но это могут сделать за нас и наши подставные люди.

– Кто же, например, Афанасий Федорович?– спросил Муганцев.

– Ну, скажем, те же наши работники. Ведь почти в каждом хозяйстве найдется их у нас до пятка. Почему бы нам не нарядить их на такое дело? Ослушаться нас, хозяев, они не посмеют и службу нам могут сослужить верную.

Такое предложение пришлось по душе, и ермаковцы дружно поддержали его.

– Совершенно правильно, воспода станишники!– оживленно откликнулся фон-барон.– Приставим к амбарам своих работников – вернее охраны не будет.

– Правильно. Согласен. Я пятерых своих кыргызов могу выделить,– заявил вахмистр Дробышев.

– Ну-с, и я, скажем, благословляю на такое дело четырех своих батраков,– сказал школьный попечитель Корней Вашутин.

Муганцеву, собственно говоря, эта затея с вольнонаемной охраной не очень понравилась. Но иного выхода пока не было. И атаману скрепя сердце пришлось согласиться.

На другое утро, чуть свет, свыше двадцати батраков – в основном это были казахи,– вооруженные хозяйскими дробовиками, были выстроены перед Муганцевым. Наскоро ознакомив боевую охрану с несложными ее задачами и наобещав кучу всяческих благ и ворох наград за верную службу, Муганцев лично препроводил их к месту караула и расставил вокруг амбаров на постах.

Обязанности начальника караула принял на себя, по приказанию Муганцева, поселковый атаман Афоня Крутиков. Это меньше всего радовало Афоню. Во-первых, он знал, что за командование над подобным боевым соединением ему теперь не будет проходу от всеобщих насмешек в станице. Во-вторых, сам он в душе был на стороне подписавших «бунтарский» приговор. Ведь и он, как прочие соколинцы, собрал и проводил на войну двух сыновей. И у него сейчас пустовали сусеки – ни зерна в закромах. И под его обветшалой крышей прижилась за последние годы нужда. Он и сам не прочь был расписаться под таким общественным приговором. Однако служба обязывала его теперь держаться иного мнения. И он, приняв на себя командование караулом, должен был любыми средствами защищать от народа хлеб. Задача была не из легких. Да что же поделаешь – служба! И, пораз-

мыслив о невеселой своей участи, атаман решил служить, как требовал от него его чин и соответствующий этому чину порядок...

Расставив посты, Афоня еще раз объяснил своим подчиненным их обязанности, а сам поспешил уйти пока на всякий случай от греха подальше.

И батраки, превращенные станичным атаманом в воинов, заняв посты, стали зорко следить за амбарами, с тревогой поглядывая в сторону притихшей на рассвете станицы. Из беглых наставлений станичного и поселкового атаманов они поняли, что никто не имеет права приближаться к амбарам ближе возвышавшихся в полусотне шагов крепостных валов. Они узнали также, что, в случае насильственного вторжения толпы или отдельных лиц в эту запретную полосу, караулу дозволялось открыть предупредительную пальбу в воздух, а если и это не поможет – лупить прямо в живую цель. Таков был строгий наказ Муганцева. Этому учили своих батраков и хозяева...

Древние, почерневшие от времени, обомшелые деревянные амбары с провиантом стояли в центре замкнутой земляными редутами станичной крепости. Когда-то эти амбары служили для местного гарнизона как интендантские склады и потому хорошо были защищены в стратегическом отношении со всех сторон. Около одного из шести цепочкой вытянувшихся амбаров встали на караул двое работников фон-барона Пикушкина. Это были молодые джигиты, выходцы из джатаков соседнего аула. Одного звали Омар, другого – Бажен. Батрачили они в казачьей станице с детства. Это были настолько обрусевшие парни, что и по говору, и по костюмам, и по чисто казачьим манерам и повадкам в них теперь даже трудно было признать бывших кочевников. Бажен, например, имел собственную ливенскую гармошку с колокольчиками – это было все его имущество, нажитое за батрацкие годы. Казах с таким мастерством играл на

этой гармошке русские песни и пляски, что станичная молодежь щедро, как девку, баловала его по праздникам леденцами «Ландрин» и папиросами «Роза», завлекая на свои вечерки. А Омар слыл в станице за превосходного плясуна и нередко забивал русских ребят не только в стремительном и веселом, как вихрь, «казачке», но и в плавной, замысловатой и сложной «метелице», и в хитрых шести фигурах любимой у казачьей молодежи кадрили. Оба эти неразлучных приятеля, подвыпив, бывало, с таким азартом певали бойкие русские частушки, что даже казаки охали от хохота и ахали от удивления, ставя их в пример станичной молодежи. И за все эти качества, столь ценимые в людях казаками, и любил этих двух обрусевших джигитов весь станичный народ – от мала до велика. Это были единственные из казахских парней, кому был всегда открыт доступ на любую из шумных молодежных вечерок, и ни один в станице девишник не отыгрывался, бывало, без них. Словом, оба парня были в станице на хорошем счету и беспрепятственно хаживали по праздникам со своей гармошкой даже из одного края в другой, что недоступно было издревле враждовавшей между собой проживающей в этих краях холостой молодежи. А теперь вот случилось так, что оба эти приятеля, вооруженные двенадцатикалиберными берданами, угодили на боевой пост и должны были, в случае чего, стрелять смело в станичный народ. Приказ атамана Муганцева был настолько жестоким, кратким и выразительным, что смысл его никак не доходил до этих степных джигитов. Ни Бажен, ни Омар просто не представляли, как это можно, укрывшись за бугорком, прицелиться и бахнуть в живого, знакомого им человека. Понять и осмыслить это было нельзя, как невозможно было им почувствовать в любом из жителей Соколинского края кровного врага.

Бажен и Омар, укрывшись за кустом прошлогодней полыни, молча лежали рядком, положив впереди себя заряженные берданки.

Над степью вставал неясный рассвет. Громады сгрудившихся у горизонта юртообразных туч заслоняли едва пробивавшиеся сквозь их разрывы неяркие проблески мерцавшего позолотой восхода. Джигиты лежали на куче старой, прелой соломы, жадно вдыхая слабый горьковатый аромат старого куста полыни, пахнувшего простором, степью, детством.

– Как же ты будешь стрелять, Бажен?– вполголоса спросил своего друга Омар.

– Не знаю, как я буду стрелять,– ответил Бажен.

– А атаман говорил, что надо стрелять, если нас не станут слушаться люди. Ты это слышал, Бажен?

– Я это слышал, Омар. Но я не знаю, за что стрелять нам в этих людей.

– Не знаю и я,– сказал Омар.

Вздохнув, они замолчали.

А часа два спустя, когда со стороны станицы показался шумный обоз соколинцев, организованно двинувшихся на раздел войскового хлеба, вооруженные посты ермаковцев, выставленные для охраны зернохранилищ, отошли, на всякий случай, в глубь крепости и залегли за надежным прикрытием древнего земляного вала. Там они мирно и пролежали до тех пор, пока склады с провиантом не были очищены соколинцами от зерна сухой отборной пшеницы.

Поселковый атаман Афоня Крутиков, забравшись на колокольню, робко поглядывал оттуда на соколинцев и только покачивал головой, в тайне довольный их смелой и бойкой работой.

13

В тот же вечер все ермаковцы, скликанные станичным десятником Бурей, собрались в правлении для решения судьбы соколинцев. Вопреки обыкно-

вению, в казарме стояла натянутая тишина. Володетельные станичники сидели чинно по лавкам, хитро и испытующе поглядывая на атамана. Он был бледен. Тонкие, бескровные губы его судорожно подрагивали, а бесцветные глаза тупо, не мигая, смотрели на колеблющееся желтое пламя маленькой лампы. Нервно комкая в руках свои замшевые перчатки, Муганцев покусывал ус, настороженно прислушиваясь к разбушевавшейся за окном мартовской вьюге.

Наконец атаман, вскочив как ужаленный, сказал:

– Мера одна, господа станичники. Зачинщиков – под арест. А остальных – к лишению казачьего звания, земельных наделов и к высылке из пределов станицы. Таково мое мнение. У кого какие будут соображения на этот счет, господа старички?– спросил Муганцев ермаковцев.

– Мнения у всех одна – подписать им, варнакам, такой приговор, и баста,– сказал фон-барон Пикушкин.

– Так точно. Других мнений и быть не может,– поддакнул школьный попечитель Корней Вашутин.

– Совершенно верно. Совершенно верно, господа старички,– прозвучал сладковатый тенорок прасола Боярского.– До каких нам пор с ними вожжаться. Всю жизнь позорят станицу. Всю жизнь – в раздор с нашим обществом. Было время – терпели. Но пора и честь знать. Пора принять нам крутые меры. А мера одна. И я с ней, господин станичный атаман, вполне согласный.

– Другого разговору и быть не может,– подтвердил, солидно крякнув, владелец станичных боен Стрельников.

Тогда, выдержав небольшую паузу, Муганцев, указав властным жестом писарю на бумагу, сказал:

– Пиши.

Писарь, сбочив голову и закусив нижнюю губу, приготовился. Муганцев, став в царственную позу, полусмежив воспаленные веки, начал глухим и торжественным голосом диктовать:

– Общество выборных казаков, собравшись на свой станичный сход, единодушно решило следующее. За самочинный раздел войскового провианта, учиненный отпетыми бунтарями станицы, лишить казачьего звания и всех связанных с оным благ и льгот следующих нижеуказанных казаков, кои спокон веку сеяли в нашей станице разлад и междоусобицу, кои, знаясь с кочевой ордой да с пришлыми из России переселенцами последней руки, сами слыли по всей Горькой линии варнаками да ухорезами, от которых не было нам житья и покоя, а казне и империи – никаких дивидендов. А учтя все оное, мы, общество выборных, потомственные казаки станицы, единодушно выносим приговор о лишении казачьего звания, земельных наделов и высылке из пределов станицы нижеперечисленных в сем приговоре жителей нашей крепости.

Помолчав и дождавшись, пока бойкий писарь закончит последнюю фразу, Муганцев стал называть имена приговоренных:

– Братьев Карауловых, Кирилла и Осипа – раз, Архипа Кречетова – два, Агафона Вьюркова, по прозвищу Бой-баба,– три, Матвея Ситохина – четыре, Андрея Бурлакова, коий открыто материл государя,– пять, Григория Маношкина – шесть, Спиридона Саргаулова – семь, Викула Малыхина – восемь, Аникия Вдовина – девять. К чему мы, выборные станичного общества, и прилагаем собственноручные подписи, скрепленные печатью станичного атамана.

– Все?– спросил писарь, с поразительной быстротой записавший суровый и краткий приговор.

– Как будто бы так, все,– ответил Муганцев, испытующе приглядываясь к сидевшим вокруг ермаковцам.

– Никого не забыли, восподин атаман?– спросил фон-барон Пикушкин.

– По-моему, никого не запамятовал. Правильно?– спросил Муганцев, обратившись при этом к Владельцу станичных боен.

– Совершенно верно. Всех, кто заслуживает сей меры наказания, вы изволили здесь назвать,– ответил привставший на ноги Стрельников.

Вдруг откуда-то из темного угла прозвучал робкий и неуверенный голос:

– Насчет остальных не знаю, а вот Архипа-то Кречетова зря записали, воспода станишники.

– Это как так – зря?– спросил ласковым тенорком прасол Боярский, не видя еще того, кто посмел заступиться за Архипа Кречетова.

– Неудобствие получается. У него сразу трое сынов на поле брани смертью храбрых пали. Примерные все были казаки,– сказал все тот же голос.

– Позвольте, позвольте, кто это там говорит?– спросил близоруко прищурившийся Муганцев.

– О, да это станичный десятник, господа старики!– удивленно воскликнул владелец станичных боен.

– Ах, Буря?!– изумленно воскликнул, Муганцев.– Вот, оказывается, кого, господа станичники, мы в этот приговор записать забыли.

– Совершенно правильно. Это – одного поля ягодка. Записать и его,– сказал прасол Боярский.

И Муганцев, повернувшись к писарю, властно ткнув пальцем в приговор, сказал:

– Пиши и эту скотину.

А спустя четверть часа, когда приговор был скреплен тяжелыми витиеватыми личными росписями всех ермаковцев и засвидетельствован размашистой подписью станичного атамана, Муганцев, пряча свернутый вчетверо лист александрийской бумаги во внутренний карман кителя, сказал:

– Ну-с, теперь, видит бог, наведем наконец порядок в станице.

– Давно бы надо нам, дуракам, додуматься. Сколько крови попортили с этими подлецами,– откликнулся фон-барон Пикушкин.

– Ишо бы! Теперь ить мы свет увидим без этой шантрапы, воспода станишники,– сказал школьный попечитель Корней Вашутин.

Прасол Боярский вполголоса осведомился у станичного атамана:

– Интересуюсь, кому вы изволите поручить приведение в исполнение сего приговора?

– Ну, об этом не извольте беспокоиться, Афанасий Федорович. Сие в нашей власти,– самонадеянно сказал Муганцев. И он тут же, подозвав к себе вахмистра Дробышева, приказал созвать наутро наряд вооруженных обходных из Ермаковкого края и произвести опись имущества у подлежащих выселению и лишенных казачьего звания станичников.

– Слушаюсь,– ответил вахмистр.

14

В конце декабря 1916 года посланцы линейных казачьих станиц степной Сибири прибыли с петицией в Петроград.

Ехали они до столицы долго. И за всю эту мученическую дорогу Егор Павлович Бушуев претерпел столько бед, тревог и лишений, что готов уже был, не достигнув высокой цели, плюнуть на все полномочия и вернуться ни с чем с полпути восвояси. Виновником же всего этого был не кто иной, как спутник Егора Павловича, письмоводитель Лука Иванов.

Злоключения начались с первой же станции. Заручившись железнодорожными билетами до самого Петрограда, путники опоздали на поезд по вине Луки, которому станционный портной наспех перелицовывал черную суконную тройку, приноравливая ее по требованию заказчика к последней столичной моде.

Собственно, тройка вполне была готова задолго до отхода товаро-пассажирского поезда, с коим должны были отбыть станичные посланцы в Петроград. Но Лука, примеряя костюм, так долго вертелся перед зеркалом, что, несмотря на нетерпеливые понукания Егора Павловича, они все же опоздали к отправлению поезда на целых полчаса. Следующего поезда спутникам пришлось дожидаться трое суток. С трудом выправив старые билеты и потеряв на каждом из них по три рубля, изнывающий от досады тоски и безделья Егор Павлович волей-неволей вынужден был отсыпаться у знакомого весовщика товарной конторы.

Тем временем на минуту отлучившийся по собственной нужде Лука вдруг точно сквозь землю провалился и, бесследно сгинув с глаз Егора Павловича, пропал на все трое суток.

Разглядев на досуге повнимательнее свой костюм Лука пришел к выводу, что его перелицованная тройка не соответствует требованиям момента и тем «изысканным» светским модам, которые он видел на иллюстрациях журнала «Нива». Уединившись в портняжной мастерской Рафаила Файнберга из Риги – так, судя по вывеске, титуловал портного местный живописец,– Лука снова занялся своим туалетом.

Портной Файнберг из Риги, поломавшись, выжал из Луки довольно изрядную доплату, заново перекроил тройку соответственно строгим требованиям заказчика и, на сей раз премного угодив ему своим искусством, раздобыл к тому же для него перекупленную у приказчика галантерейного магазина фисташковую манишку и пару галстуков. Галстуки эти, правда, были слегка потерты, однако былой прелести еще не утратили и пришлись письмоводителю вполне по вкусу, к лицу. Один из галстуков бордового цвета имел форму так называемой «селедки», другой, расцветкой в тон первому,– вишневой «бабочки».

После многократных примерок костюм наконец был готов. Обильно смочив репейным маслом свои жесткие, торчавшие на макушке волосы, не в меру нафиксатуарив круто завинченные кверху рогульками гусарские усы, Лука облачился в дважды перешитую парадную тройку. Затем, нацепив при помощи портного на фисташковую манишку под стоячий с загибами на углах крахмальный воротничок оба галстука сразу, письмоводитель, ревниво присмотревшись к зеркальному отражению, нашел себя достаточно живописным.

В самом деле, и фисташковая манишка, и ловко пришпиленные под стоячим воротничком галстуки, наискось пронзенные тяжелой брошью с бирюзовым глазком на конце,– все это на фоне черного, несколько схожего по форме с фраком письмоводительского костюма придавало лицу Луки независимое, слегка надменное и даже, пожалуй, благородное выражение...

Словом, наружностью своей Лука остался вполне доволен. И на исходе третьего дня он, опасаясь, как бы снова не опоздать к поезду, и не успев даже снять с себя надетого для примерки парадного костюма, стремительно, со всех ног, бросился на станцию.

На платформе Лука появился уже после второго звонка. У Егора Павловича при этом втором глухом ударе колокола оборвалось сердце, и он, отупев от отчаяния и злобы, в нерешительности стоял на перроне, тщетно отыскивая Луку в толпе глазами. А Лука, в свою очередь, как угорелый носился в поисках спутника по перрону. И только после третьего удара станционного колокола и пронзительной трели обер-кондукторского свистка спутники наконец увидели друг друга и молча, как по команде, бросились к тронувшемуся поезду.

Садиться пришлось в первый попавшийся вагон уже на ходу. Эту посадку оба незадачливых пассажира запомнили на всю жизнь. При акробатическом

прыжке на подножку Егор Павлович едва не вывихнул левую руку и, уронив войсковой медный котелок, алюминиевую кружку и полуведерный, незаменимый в дороге эмалированный чайник, просто чудом удержал облицованный цинковой жестью полковой сундучок, на дне которого хранилась бережно завернутая в холщовое полотенце петиция.

Попав в битком набитый людьми вагон, Лука раздумал переодеваться в дороге, решив доехать в таком виде хотя бы до станции Сызрань-пассажирская. Дело в том, что в Сызрани он рассчитывал щегольнуть перед одной близкой сердцу его особой, хорошо знакомой ему еще по службе в городе Верном, бывшей горничной полкового врача Лизонькой Кувыкиной. Много с тех пор воды утекло, когда, состоя в писарях при штабе полка, Лука угощал Лизоньку пригоршнями свежего урюка, дарил ей на память духи «Нарцисс» и певал вполголоса под аккомпанемент штабной гитары романс про черную шаль... Старая это была песня. Но и по сию пору он вел с бывшей горничной переписку по образцам имевшегося в его распоряжении любовного письмовника, а нередко посылал ей письма и собственного сочинения, преимущественно в стихах, к которым он с малых лет имел пристрастие. Судя по последнему письму Лизоньки, она состояла теперь на какой-то легкой вакансии при станционном буфете города Сызрани и все еще вспоминала о тайных верненских свиданиях, о свежем урюке, духах «Нарцисс», штабной гитаре и о нем, Луке. Так что на встречу с ней письмоводитель вполне надеялся и потому всячески поровил сохранить до приезда на Сызрань-пассажирскую столь обольстительный внешний вид.

Лука был уверен, что все от костюма его будут без ума. Однако, к великому его изумлению, Егор Павлович не только не выказал сколько-нибудь заметного одобрения по поводу ловко сидевшей на письмо-

водительской фигуре шикарной тройки, а, наоборот, явно недружелюбно косился на него. Лука и не подозревал, что всем своим необычайно модным, непривычным для стариковского ока нарядом, а особенно изысканной вежливостью и перенятыми по старой памяти у штабных офицеров благородными манерами доводил он своего спутника до прямого озлобления, до бешенства.

В самом деле, искоса поглядывая с верхней полки на вертевшегося у окна письмоводителя, Егор Павлович просто диву давался, изумляясь его франтовству и такой разительной перемене во всех повадках – в походке, в говоре, в облике, в стати, откуда только все в нем и взялось! Так, пробираясь на остановках к выходу, Лука, проворно работая локтями среди сгрудившейся в проходе толпы мужиков и баб, вежливо улыбаясь, говорил:

– Извиняйте, конечно. Простите, то есть пардон...

Но больше всего Лука обозлил Егора Павловича тем, что, как только предстал перед ним в перелицованной тройке, при манишке, броши и двух галстуках, то даже и тогда, в момент незабываемой для обоих первой посадки на поезд, в суматохе, спешке и панике, обуявшей перегруженного разными вещами Егора Павловича,– даже и тогда начал вдруг Лука разговаривать с ним почему-то на «вы».

– Эй вы, Егор Павлович! Имайтесь, имайтесь скорей вот таким кандибобером за данную загогулину!– кричал он, уже прицепившись за поручни вагонной площадки, испуганно семенившему за поездом старику.

Все это возмущало степенного станичника.

И вот однажды ночью, когда извертевшийся за день у окошка Лука забрался на верхнюю полку и улегся на покой, Егор Павлович, не выдержав, раздраженно сказал ему:

– Што-то ты, Лука, погляжу я на тебя, уж шибко нотный какой-то стал? Просто не подступись теперь к

тебе чисто... Восподина, што ли, из себя какова коробишь?

– Хе. А вам, Егор Павлович, с меня удивительно?– спросил, помолчав, Лука с усмешкой.

– Ишо бы не удивляться! Очень даже удивительно...

– Напрасно. Вы, Егор Павлович, возможная вещь, несколько забываете, куда мы с вами едем?

– Я пока ишо крепко об этом помню. А за тебя вот, слышь, говоря по совести, што-то не шибко ручаюсь...

– Ах, какой пассажэ!– насмешливо воскликнул Лука.

– Ну, ты мне дурочку тут не при. Разговаривай со мной по-русски...– сердито предупредил его Егор Павлович.

– О нет, уважаемый Егор Павлович,– с пафосом произнес Лука.– Иногда, знаете ли, обстоятельства момента вынуждают прибегать в некотором смысле и к французскому диалекту. А особенно, конечно, в высшем обществе...

– Ну, мы ишо с тобой пока не высшее общество. Стало быть, и языком-то трепать свысока неча...

– Однако, смею заметить вам, Егор Павлович, не мешало бы перед предстоящей высокой аудиенцией сие запомнить, что вообще в придворных кругах принято большей степенью выражаться на французском наречии,– осуждающе строго заметил ему Лука.

– Мало ли што там ни принято. Я тебе не министр иностранных сношений – на всех чисто языках речи говорить. Я человек степной, открытый. Никаких твоих иностранных наречий, кроме кыргызского, не признаю. А на родном своем русском языке я тебе как угодно выражусь...– с мрачной решимостью заявил Егор Павлович.

– Охотно верую вам, Егор Павлович. Не спорю. Дискуссий на сей счет с вами не произвожу. Но учтите особенность предвходящего момента. Ведь нам предстоит с самим государем императором лично говорить!..

– Ну и што жа из этого? Государь должен любое наречье понять.

– Поймет, разумеется. Но тем не менее, выражаясь фигурально, мы должны будем при высочайшей аудиенции соблюдать соответственный моменту артикул и принятый этикет как по внешности нашей формы, так и по обращению, штобы наша словесность не покоробила бы державный слух...– поучающе начал Лука.

– Забуровил!– презрительно остановил его старик.– Пардон! Удиенция! Артикулы! Атикеты! Ты меня этими иноземными словами твоими не соборуй; в грех, Лука, лучше не вводи. Хоть я и сознаю, што грешно мне в такую минуту пред исполнением священного долга выходить из себя и гневаться, да ничего, видно, не сделаешь – вынуждашь, приходится.

– Не понимаю вас...– передернул плечами несколько смущенный Лука.

– Не понимашь?– спросил Егор Петрович и сурово продолжал:– А понять надо, Лука. Ты вот меня потному обхождению с государем императором учишь – это для моей малой грамоты, может, и впрок... Только пошто жа сам ты ведешь себя в такой час недостойно? Крутишься, вертишься на глазах у добрых людей, ровно кикимора...

– В чем же это все вы усматриваете?– с настороженной обидчивостью спросил Лука.

– Смотрю я на тебя и злобствую. Будто на блины ты к теще в город Петроград али на какой-нибудь машкарад едешь, а не челобитную от народа к императорскому двору везешь. Да ты не пыхти, не фыркай, не входи в сердца. Извиняй меня, но я люблю напрямки резать. Родителями покойными, царство им небесное, на том замешан. Правду в глаза всегда, кому хошь, скажу.

– Не думаю я серчать,– помолчав, уже тихо откликнулся Лука.

– Ну то-то... Я к чему это все клоню,– ровнее и спокойнее заговорил после передышки Егор

Павлович.– А к тому и клоню, чтобы вредну анбицию из тебя выбить. Вот што. Нам с тобой воспода станишники святыню доверили. Все народное горе с собой в полковом сундучке к царевым стопам везем. Как при этом надо себя соблюдать? Знаешь? Свято – вот как! Ведь это все равно што нас на боевой пост для охраны полковова знамя поставили: замри на месте с клинком наголо, отреши от себя земные мысли! Верно я говорю?

– Ну, скажем, правильные речи,– глухо отозвался Лука на вопрос Егора Павловича.

– А коли мои речи правильные, так ты и подумай, кака така ясна политика отсюда получается,– проговорил старик сурово и торжествующе.– Согласно этой политике мы на сей раз по параграфу войскового устава должны себя соблюдать. Денно и нощно обязаны быть начеку, на каруле стоять. Так я эту политику понимаю. Ты об этом хоть раз подумал?

– Разумеется, размышлял-с... Я по данному вопросу увсе же некоторую умственность при себе, Егор Павлович, знаете ли, имею...– заносчиво ответил Лука.

– Ты уж извиняй меня, но што-то не похоже, штобы така дума в голову тебе ударила,– продолжал старик.– Я душевно тебя предупреждаю. Путя у нас с тобой ишо вся впереди – долгая, затруднительная. А ты вот на первых же порах, восподи благослови, меня подковать на ходу успел.

– То есть? Как это – подковать?– несколько робея, спросил Лука.

– А так, значит, што я из-за твоей, можно сказать, анбиции и горя уже хлебнул, и в расходе оказался. Так, например, благодарственно твоему костюму мы чуть вторично на поезд не опоздали – раз. А я в один секунд всей своей полковой стремлюдии лишился – два. Ить подумать надо, ни кружки теперь при мне, ни котелка, ни чайника! Вот и покукуй теперь в дороге-то без такого сурьезного сервизу до самого города Петрограда. А там –

-одна алюминиевая кружка для меня чего стоит, цены ей нет! Она мне всю мою жизню на чужбине сопутствовала: и в полку, и в городе Верном верой и правдой служила, в походах и в битвах завсегда неотлучно при мне была... А чайник и вспоминать тошно...

– Надо, Егор Павлович, быть выше тому подобных мелочей земной жизни, как справедливо выражался по этому поводу один знаменитый греческий философ,– попробовал выйти из затруднительного положения Лука.

– Вона,– злорадно сказал старик.– Приехали. Я не знаю, как бы стал выражаться твой греческий философ, ежли запихать бы ево, сукина сына, вот на эту самую полку да девять ден до самого города Петрограда без чаю проманежить.

– Разве человека такой умственности данным образом запужаешь?– продолжал Лука.– Он и в бочке жил, да никогда не роптал и не сетовал на тому подобные неудобства.

– Нет, Лука. Не желаю я этого слушать. Брось ты меня смешить на ночь глядя. Посади тебя в бочку – ты не то ишо забуровишь. Я рад-радешенек, што хоть сундучишко-то при мне в живности остался. Ну што бы, скажем, получилось из такой картины, ежли бы я эту оказию со всем с прошением на высочайшее имя потерял? Ить это бы полный позор тогда для нас. Стыд. Срамота одна...

– Да, знаете ли, это было бы в некотором роде не совсем, конечно, пикантно...– пробормотал Лука.

– Нет, Лука, никудышная твоя политика получается,– все в том же суровом, осуждающем тоне продолжал, как бы не слыша его, Егор Павлович.– Я так мыслю, што ко встрече с самодержцем всея России надобно бы нам подготовить себя духовно: сердце и разум молитвой укрепить, от нечестивых помыслов отрешиться и так оно и далее... Я гласный обет при напутственном молебствии перед нашим выездом из

станицы царю небесному дал. Если, скажем государь император внемлет нашим мольбам и ублаготворит через нас с тобой линейный народ наш по всеподданнейшему прошению, то я нонешней осенью в город Верхотурье к Симеону Праведному для молебствия схожу. Шестьсот с лишним верст туды и обратно в пешем порядке исделаю. Плюс неугасимую лампаду перед образом угодника в доме у себя до конца ден моих теплить буду...

– Я таковых сурьезных обязательств перед творцом согласно моей натуры взять на себя не могу...– признался, вздохнув, Лука.

– А я и не осуждаю тебя за это. Не осуждаю по то, што ты ить ишо на тако дело слабый духом.. Тобой большей частью дурна плоть и нечиста сила руководствуют,– строго сказал Егор Павлович.– Но не в этом опять же обратно ить дело. Я к чему веду? А к тому, што при твоей умственности да при твоем живописном почерке, как справедливо говорят некоторые воспода станишники, тебе аж в личной канцелярии любого их сиятельства завсегда слободна ваканция найдется. Вникни в речи мои. Сыми с себя, ради бога, этот рататуй с бантиком. Облекись по примеру меня в форму сибирского нашего казачьего войска, ежли с пользой для общества к царским стопам припасть хочешь. Вот тебе последнее напутственное слово мое. Слышал? Вникай...

Лука не откликнулся. Но по тому, как притих, присмирел он вдруг, с головой укрывшись бобриковым своим дипломатом, Егор Павлович понял, что своим осуждением непристойного поведения спутника он цели достиг, а поэтому, прекратив разговор, решил повыждать теперь, что из всего этого будет дальше.

На другой день Лука, поднявшись чуть свет, мигом переоделся в полковую форму, а тройку с манишкой, брошью и галстуками упрятал в походный вещевой мешок. Затем раздобыл у кондукторской бригады

огромный, рассчитанный на артельное дело чайник, пулей слетал на первой же остановке за кипятком. Потом, ловко подъехав к сидевшему в тамбуре мрачному, неразговорчивому монаху, ухитрился выудить у него чуть ли не целую осьмушку фамильного чая и, приготовив завтрак, разбудил Егора Павловича.

– Чай?!– удивленно вытаращив на Луку заспанные глаза, вскрикнул Егор Павлович фальцетом.

– Так точно. Фамильный. С острова Цейлон. Ароматический,– бойко отрапортовал Лука.

– Вот за это я тебя, господин одностапишник, чувствительно благодарствую,– весело сказал Егор Павлович, горячо обрадовавшись не столько чаю, сколько, приятному для глаза внешнему виду письмоводителя и необычайной его услужливости.

Еще бы не радоваться было старику. Ведь перед ним снова был тот самый Лука, которого привык он видеть за долгие годы совместной полковой службы, за век, прожитый бок о бок с ним. Вот он снова душевно и просто стал говорить Егору Павловичу «ты», объясняясь с ним простым, доступным его понятию языком, и от трескучей, умопомрачительной тарабарщины, которой лихо щеголял письмоводитель только вчера, сегодня не осталось и следа. Как рукой сняло с Луки все его напускное щегольство и барство и все то непристойное кривляние, которым доводил он старика до бешенства.

«Ну слава богу, дело теперь, кажись, пошло на лад. Видно, постановил я его разумным словом на путь праведну!» – мысленно решил Егор Павлович, премного довольный тем, что откровенный разговор с Лукой не пропал даром. Егору Павловичу было лестно думать, что в разговоре этом вышел он победителем и что такой в конце концов дошлый, начитанный, разбитной и бывалый человек, каким выглядел в глазах его письмоводитель, выходит, и побаивался, и в то же

самое время уважал его, полуграмотного, но не обиженного умом и жизненным опытом рядового казака Егора Бушуева.

Однако, несмотря на все это, Егор Павлович на всякий случай решил поглядывать за дальнейшим поведением письмоводителя в оба. На то у него были довольно-таки серьезные основания: в канун выезда из станицы в Питер подвыпивший Лука выболтал ему о тайной переписке с Лизонькой Кувыкиной. И старик, догадываясь теперь о сокровенных намерениях спутника встретиться с давней своей возлюбленной на пути следования в Петроград, всерьез стал побаиваться, как бы это предстоящее свидание не по годам пылкого Луки с полковой его кралей не наделало бы новой беды. Вот почему больше всего страшился теперь Егор Павлович одного: как бы не проспать ему город Сызрань – место предполагаемой встречи Луки с его возлюбленной, как он говорил,– дамой сердца.

А между тем все пока шло у них теперь хорошо и гладко. Ехали они вполне спокойно, уютно, мирно. Баловались чайком. Резались с утра до вечера в подкидного, в три листика, в шестьдесят шесть. В сотый раз обсуждали обстоятельства предстоящей встречи и детали устного разговора с монархом. А по вечерам, в сумерках, завалившись на верхний свой ярус, пели вполголоса старинные войсковые казачьи песни. И это выходило у них так душевно, стройно и трогательно, что их расхвалил даже сам грозный с виду обер-кондуктор. А пассажиры, слушавшие степное казачье пение, охотно делились с полюбившимися им песельниками, кто чем мог: и фамильным чайком, и рафинадом, и астраханской селедкой, и леденцами, и моршанской махорочкой, и саксонским листовым табачком.

Словом, помирившись с письмоводителем и поближе сойдясь с пассажирами, старик совсем уже

успокоился, и беспечным, почти увеселительным стал ему казаться теперь этот столь не близкий, доселе тревоживший его путь. «Теперь нам только бы Сызрань благополучно проехать, а там, бог милует, и до Питера доберемся в один секунд»,– думал Егор Павлович, украдкой поглядывая за Лукой и не менее десяти раз за день справляясь у кондукторов, точно ли по расписанию следует поезд и действительно ли вовремя прибудет он в эту самую Сызрань.

Но вот, прободрствовав всю последнюю ночь под Сызранью – поезд прибывал туда на рассвете,– Егор Павлович, как на грех, не выдержал, прикорнул головой к заветному своему сундучку и уснул. Случилось же это с ним в тот самый момент, когда поезд задержался у закрытого сызранского семафора. И надо же было случиться такой беде, чтобы он, этакий, прости господи, старый дурак, беспробудно продрыхал не только получасовую остановку в Сызрань-пассажирская, но и проехал бы еще бог знает сколько, если бы не разбудил его уже на ходу поезда обер-кондуктор. Дернув Егора Павловича за свесившуюся с верхней полки ногу, он крикнул:

– Эй ты, ваше благородье, господин казак! Спишь себе и в ус не дуешь. А подголосок-то твой, должно, за поездом без памяти чешет.

У старика похолодело во рту.

– Отстал, варнак?! Зарезал-таки. Усоборовал!– крикнул он не своим голосом, с грохотом сорвавшись на пол с верхней полки.– Нету... Остался... Зарезал он меня...

– А проездные билеты у кого из вас на руках имеются?– с профессиональной строгостью спросил у Егора Павловича обер-кондуктор.

– Билеты, восподин старший, при мне обое...

– Тем хуже для отставшего.

– Што жа мне теперь, ваша высокородье, прикажете с ним, варнаком, исделать?– спросил старик.

– Это тебе, господин казак, виднее...

– Да у него, подлеца, главное дело, никакого капиталу на руках нету. Ему без меня до Питера ни в жизнь не добраться.

– Ах, он к тому же и без денег?! Совсем красиво. Тогда придется тебе, батенька, сняться с поезда на первой же остановке. Вертайся с первым же встречным поездом обратно в Сызрань-пассажирскую. А там небось друг друга разыщете...– посоветовал Егору Павловичу обер-кондуктор.

Раздумывать было некогда. И Егор Павлович, моментально сграбастав свои и письмоводительские манатки, не обращая уже никакого внимания на сочувственные возгласы и на многочисленные, как всегда в таких случаях, очень разноречивые советы пассажиров, вихрем вылетел в тамбур.

Вскоре поезд, резко замедлив ход, со свистом проскрежетал тормозами и остановился. Тогда, не теряя ни минуты, Егор Павлович изловчился и спрыгнул со всем своим багажом с площадки на землю. Но не успел он еще как следует оглядеться и опомниться, как поезд, звонко лязгнув буферными тарелками, снова рванулся с места и, прогромыхав мимо Егора Павловича, бойко и ладно разговаривая колесами, пошел от него туда, в заманчиво синеющую в лесном просвете чужую зовущую даль.

Но каково же было удивление Егора Павловича, когда он, подозрительно оглядевшись, вокруг себя, не заметил ничего такого, что хотя бы сколько-нибудь было похоже на обжитый разъезд, а тем более – на станцию. Пустынно и необычайно, по-полевому тихо было окрест. И только вправо, саженях в пятидесяти от себя, заметил Егор Павлович одиноко притулившуюся близ железнодорожного полотна небольшую казенного типа будку. Приведя в относительный порядок свой багаж, торопливо направился Егор Павлович к этой будке.

Неподалеку от будки рылся в снегу, окапывая занесенные штабеля шпал, маленький проворный старик. Егор Павлович подошел к старику и, приподняв над головой мохнатую казачью папаху, приветствовал его.

– Помогай бог, ваша степенство!– сказал он, кланяясь старику.

– Милости просим, добрый человек. Милости просим,– кивая в ответ Егору Павловичу, откликнулся старик.

– А это кака така будет станция?– спросил Егор Павлович.

– И где это – станция? Здесь-то?

– Ну да. Здесь. Вот именно...

– Никакой такой станции, добрый человек, тут отроду не бывало и нету. Это в прежние времена здесь разъезд Кукуй значился, да как война открылась, так его и отменили. А я с тех пор в путевых обходчиках тут остался и по сию пору им при этой дистанции состою.Там мы с внучкой в будке и проживаем...– доложил словоохотливый старик.

– Вона каки таки дела-то?– промычал Егор Павлович, чувствуя, как опять он, должно быть, влип в историю, погорячившись и выскочив сдуру из поезда совсем не там, где было надо.

– Да ты куда, добрый человек, путь-то свою держишь?– заинтересовался старик.

– Я – далеко. В город Петроград, ваша степенство. Только мне бы вот прежде на Сызрань-пассажирскую сей секунд завернуть надо. Там у меня племяш при проволошном телеграфе в хорошей должности состоит. Сорок семь целковых на месяц жалования получат. При казенной квартире. Карасин и дрова готовые...– начал было врать зачем-то Егор Павлович, но запнулся и, помолчав, спросил внимательно слушающего его деда:– А поезд-то обратно на город Сызрань скоро будет?

– Обратный товаро-пассажирский пройдет через нас завтра об эту пору. Только тебе он, добрый человек, ни при чем,– ответил старик со вздохом.

– Вот тебе на. Это пошто же так-то?– тревожно спросил Егор Павлович.

– А по то, что он здесь остановки не имеет, на сквозную идет.

– Дозволь, как жа это так не останавливается? Ить этого жа не должно ба быть. Ить сейчас только поезд стоянку себе здесь исделал.

– Ну, этого я не знаю, почему так вышло. Не иначе как машинисту до ветру вдруг приспичило, вот и запнулся он тут около нас на один секунд...– сказал старик.– А так вообще, ежли согласно всех правил движения, то ни одному поезду стоять здесь теперь не положено. А я же их, правила-то эти, все знаю. Слава богу, не первый год на дороге служу...

Егору Павловичу крыть было нечем. «Ну, стал быть, тут мне и каюк, хана выходит. Ни на поезд обратно не сядешь, ни депеши, случай чего, отсюда восподам станишникам по проволошному телеграфу не отобьешь. Достукался я с тобой, варнак»,– подумал он в заключение о Луке. И, чувствуя, как от бешеной злобы к письмоводителю снова заныло в животе, а от сознания собственной беспомощности опять стало холодеть во рту, на лбу же начал выступать холодный пот, он бессильно опустился на валявшуюся шпалу. И ничего не нашелся сделать в эту минуту Егор Павлович, как только извлечь из кармана туго набитый махоркой кисет – единственный его утешитель во всяком горе – и, развернув его на колене, глухо предложил старику:

– Ну што ж, присаживайся, ваша степенство, да давай закурим.

Через два дня Егор Павлович вернулся в Сызрань. Дорого далось ему это возвращение. Свыше двадцати верст прошагал он по шпалам. Обремененный багажом, выбившийся из сил, измученный,

похудевший, усталый, кое-как добрался он с грехом пополам до сызранского вокзала. Но и здесь ожидало его немало новых и не менее тяжких испытаний.

Ни на вокзале, ни в городе Луки не оказалось. Ухлопав на тщетные поиски письмоводителя около пяти суток, Егор Павлович наконец разузнал, что работавшая ранее судомойкой при станционном буфете Лизонька Кувыкина, бросив с месяц тому назад своего законного мужа, спуталась с кассиром товарной конторы и скрылась с ним из Сызрани в неизвестном направлении. Что же касается Луки, то это не кто иной, как он, судя по рассказам наблюдательных людей, продал с плеча какому-то татарину свой пиджак и, выправив в кассе новый билет до Ряжска, отбыл на другой день с почтовым поездом на розыски своего спутника...

Делать было нечего – пришлось с первым же попутным поездом броситься по горячим следам Луки. Однако на этот раз старику повезло. В Ряжске письмоводителя он-таки настиг. Как потом выяснилось, Лука вынужден был высадиться здесь лишь потому, что денег, вырученных от продажи пиджака, хватило ему для оплаты проездного билета только до этой станции. А тут, по словам Луки, рассчитывал он раздобыть, на худой конец, еще несколько целковых, кои позволили бы ему в том случае, если бы не встретился он с Егором Павловичем, самостоятельно добраться до Петрограда.

Но благо еще, наткнулся старик на Луку в тот самый момент, когда в полутемном углу сумрачного зала III класса станции Ряжск грязный, измятый и порядком даже постаревший за дни одиноких странствий письмоводитель жарко торговался с неким монахоподобным старцем, стараясь всучить ему свой бобриковый дипломат.

Встретились Егор Павлович с Лукой молча. Вот когда, можно сказать, оба они, взглянув друг на друга,

тотчас же утратили всякий дар речи. И не только в первые мгновенья этого свидания молчали они как убитые. Нет. Даже и позднее, когда, снова заручившись билетами, сели они в вагон и опять сразу же завалились на полюбившуюся им, напоминавшую домашние полати верхнюю полку, даже и потом, вволю выспавшись и успокоившись от пережитых потрясений, ухитрились отмолчаться наши путешественники, ни слова не сказав друг другу за всю дорогу от Ряжска до Петрограда.

15

В Петроград прибыли казачьи депутаты в сумерки. Но прежде чем отправиться на розыски расквартированного в окрестностях столицы особого сводного казачьего лейб-гвардии полка – в нем служили некоторые земляки, одностаничники Луки и Егора Павловича,– Егор Павлович завел своего спутника под темные византийские своды маленькой Иверской часовни, что стояла неподалеку от Аничкова моста. Поставив по свечке перед строгим ликом Николая-угодника – иконой древнего письма и наспех помолившись за успехи в делах предстоящих, спутники вышли на Невский.

Широкий, окутанный призрачной северной мглой проспект был ярко озарен огромными, точно плавающими в воздухе, электрическими шарами. Далеко-далеко в мутно-зеленоватый хаос холодного простора стремительно убегали золотистые, тревожно мерцавшие по обеим сторонам Невского цепи огней. Пролетали мимо рослые, наглые, накрытые голубыми сетками рысаки. Огромный, одетый в камень город наполнен был приглушенным, тяжко и грозно рокотавшим гулом, точно бушевала в гранитном чреве его какая-то темная, дьявольская сила, страшным казался для непривычного уха этот

мятежный гул... А там, вдали, в непостижимом хаосе проспекта, словно в великом степном просторе, овеянном вьюгой, беспрестанно вспыхивали голубые зарницы вольтовых дуг и совсем по-волчьи мерцали сквозь мглу зрачки трамвайных огней. Несмотря на расточительное изобилие света, Невский проспект тонул в тумане, теряясь в зеленовато-мутной болотной полумгле. И от людской толпы, лавой двигающейся по панели, и от мелькающих экипажей, и от наглых рысаков, стремительно проносившихся мимо одеревеневших на перекрестках городовых,– от всего этого на первый взгляд беспорядочного, почти панического движения, похожего на шальной, яростно бурлящий в гранитном русле поток, у Егора Павловича перехватило дух. «И как только тут люди живут? Ить эта же не город – вертеп!»– мысленно твердил старик, оторопело глазея то на огромные сияющие зеркальные витрины магазинов, то на волшебные вспышки световых реклам, то на светящийся циферблат башенных часов на каменной громаде петроградской городской думы. Вертеп! Таково было первое впечатление Егора Павловича и Луки от огромного, точно объятого пожаром, овеянного арктической вьюгой города.

Депутации – на первых порах повезло. Они сравнительно быстро, без особых приключений разыскали своих земляков, служивших в сводном полку императорской лейб-гвардии. А земляков в этом полку оказалось немало, начиная с рядовых гвардии и кончая самим командиром 3-й сотни, в которую входили исключительно сибирские казаки с Горькой линии, есаулом Булгаковым,– все это был народ свой, линейный. Молодой есаул Булгаков родился и вырос в одной из линейных станиц, где его отец в чине полковника долгое время занимал пост атамана первого военного отдела. Во время русско-японской войны старый Булгаков командовал 4-м Сибирским

казачьим полком, и когда в знаменитой кавалерийской атаке под Вафангоу полковник был тяжело ранен в пах и едва не попал в плен к японцам, Егор Павлович Бушуев вынес вышибленного из седла командира с поля сражения и благополучно доставил его на своем коне в полевой лазарет. За спасение полковника от смерти и плена рядовой Бушуев был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и, кроме того, получил от выздоровевшего впоследствии полковника именной подарок: карманные часы польского серебра с боем и дарственной надписью на крышке и белый с галунами офицерский башлык. О подвиге Егора Бушуева хорошо знал и помнил сын полковника есаул Булгаков. Вот почему, когда дежурный по сотне вахмистр отрапортовал командиру сотни о прибывших одностаничниках, есаул, узнав о цели их приезда в столицу, распорядился приютить обоих сибиряков в казармах вверенной ему сотни и зачислить их на полное войсковое довольствие. А через два дня, вызвав Егора Павловича с Лукой к себе на квартиру и ознакомившись с казачьей петицией на имя царя, Булгаков сказал:

– Ну что ж, господа станичники, прошение у вас составлено по форме. Тут никаких возражений нет... Но вот что учтите. В России у нас одиннадцать казачьих войск, а мне хорошо известно, что за последнее время от всех этих войск к нам в столицу с подобными петициями на высочайшее имя прибывает по нескольку депутаций. Следовательно, из этого явствует, что нужду и лишения, о которых красноречиво говорится в вашей петиции, терпит сейчас не одно наше казачье войско на Горькой линии. Это во-первых. Во-вторых, рассчитывать на продвижение вашего прошения по назначению при такой ситуации в короткий срок, разумеется, не приходится. Напомню вам, что депутаты Семиреченских, Оренбургских, Забайкаль-ских и Приамурских войск прожили в Петрограде свыше трех месяцев да так,

ничего не добившись, вынуждены были воротиться ни с чем домой...

– Помилуйте, ваше высокоблагородие!– взмолился Егор Павлович Бушуев.– Неужели и нас ждет здесь така же горькая участь? Сами знаете – семьи дома остались у нас без хозяйского глаза. Все хозяйство – на бабьих руках. И так оно и дальше...

– Понимаю, понимаю, господа станичники,– участливо отозвался молодой Булгаков.– Трудно все же заранее предугадать волю монарха. Однако из уважения к вам и к родному мне войску я обещаю со своей стороны кое-что предпринять и помочь вам в быстрейшем продвижении вашей петиции по назначению.

– Чувствительно благодарствуем, ваше высокоблагородие,– горячо сказал Егор Павлович.– Только нельзя ли нам предстать перед государем лично?

– Возможность для личной встречи с царем не исключена,– ответил Булгаков, подумав.– Хорошо, я обещаю вам переговорить на сей счет с дворцовым комендантом, гофмейстером графом Воейковым. Он мне знаком по пажескому корпусу, где я имел счастье с ним обучаться... Словом, располагайтесь пока в казармах моей сотни, запаситесь терпением и ждите. Когда будет необходимо, я вас вызову.

Отблагодарив есаула и откозыряв ему, Егор Павлович с Лукой вышли из кабинета.

В казармы вернулись депутаты в приподнятом настроении. Повеселевшие, возбужденные, они, перебивая друг друга, рассказывали землякам о своем разговоре с Булгаковым. И гвардейцы, выслушав одностаничников, подтвердили, что ежели есаул изволил принять казаков столь приветливо и душевно – а такое редко бывало с ним,– то дело теперь, можно сказать, на мази, и в свидании с царем можно, пожалуй, не сомневаться.

16

Вечером, когда собрались в казарму все свободные от нарядов гвардейцы-одностаничники, Егор Павлович решил порадовать земляков домашним подарком. Старик извлек из своего деревянного сундучка бережно завернутую в холстину бутылку первача, и земляки, усевшись в кружок, запировали. К бушуевскому первачу присовокупили затем гвардейцы пару бутылок заморского виски, что раздобыл пронырливый каптенармус Спиридон Крюков в одной из портовых таверн. А Макар Таранов – племянник Егора Павловича выставил на стол красивую бутылку дорогого ликера. Два дня тому назад он украл эту бутылку на балу в особняке балерины Кшесинской.

– Я там в наряде при гардеробной находился. Вот и изловчился, спер...– простодушно признался Макар, дарствуя запировавшим одностаничникам столь редкостное по тем временам вино.

По предложению каптенармуса Крюкова все имевшиеся в наличии напитки были слиты в одну бутыль, а затем из всей этой дикой смеси был изготовлен тот самый «смерч», который пивали только по портовым тавернам матросы да прославившиеся своими кутежами на всю империю офицеры кавалерийских полков. «Смерч» удался на славу. И казаки, рванув этого огнеподобного напитка по первой чарке, сразу повеселели. Сначала грянули свою родную войсковую песню о Ермаке. А потом, когда сотенный запевала Фома Шугаев, горестно прикрыв очи, завел высоким, рыдающим на переливах голосом старинную песню линейных казаков о былых походах на Коканд и Хиву, у Егора Павловича навернулись на глаза слезы.

Эх, горы Андижана!
Вас мы видим вновь.
Ферганская долина–
Кладбище удальцов...

Егор Павлович знал, что лейб-гвардейский полк, в котором служили одностаничники, был прикомандирован к дворцовой охране и что казакам нередко приходилось нести караульную службу в Царскосельском, Гатчинском, Петергофском и Зимнем дворцах. Вот почему старик с нескрываемым благоговением смотрел на земляков, удостоившихся столь высокой чести, завидуя им в душе. А когда у захмелевших гвардейцев после второй чарки и песен окончательно развязались языки и они наперебой заговорили о дворцовых событиях и порядках, Егор Павлович, затаив дыхание, стал прислушиваться к этим разговорам. Но нехорошую, смутную тревогу посеяли в нем эти речи.

– Братцы!– крикнул рыжий трубач Роман Першин.– Слышали о происшествии в ресторане «Вилла Родэ»? Там вчера ночью чуть Гришку Распутина не убили.

– Да што ты говоришь?!

– Слово даю... Убить не убили, а изувечили старца на славу. Всю морду искровянили. И как только он с таким рылом теперь к государыне императрице покажется. Это его опять графья какие-то из-за одной дворцовой фрейлины усоборовали.

– Поди, та самая, што он у министра внутренних дел Штюрмера отбил?– спросил гвардеец Агафон Веселкин.

– А может, и та. Черт их там разберет,– сказал, пренебрежительно махнув рукой, Роман Першин.– А как было дело? А дело было так, что я с третьим взводом донцов на усмирение туды попал. Што там было – Куендинска ярманка! Один граф пестиком его по сопатке вякнул. Я думал, не устоит наш отец Григорий. А он только крякнул и пошатнулся. А потом – раз с груди своей наперсный крест да как, слышь, этим крестом графа-то этого наотмашь по темени бацкнет, так тот аж сквозь всю мраморную залу винтом прошелся. А потом – бряк на парадной лестнице и глаза в поднебесье увел.

– Убил?!– изумленно воскликнул каптенармус.

– Не могу знать. Возможно и это,– сказал трубач.

– Вот собака. Ты скажи, кака рука у него, братцы, шибко тяжелая!

– Ну, это ишо што!– ввязался в разговор белобрысый гвардеец Фаддей Глебов.– Вот я вам сейчас расскажу, как его, варнака, на моих глазах в прошлом году митрополит Варнава с Митенькой Козельским в Петергофе дубасили.

– Это какой такой опять Митенька?– спросил каптенармус.

– Вот тебе на. Опять за рыбу деньги. Пятый год в гвардии служишь, а Митеньку Козельского не знаешь. Да ить он с начала войны при государыне императрице в пачетчиках состоит. Блаженного из себя корчит. Отрок из Оптиной пустыни. Юродивый. За здравие цесаревича Алексея молится...

– А черт их там не разбирал!– сказал с досадой Макар Таранов.– Ихнего брата, дураков и блаженных, во дворце не перечтешь. Всех не упомнишь.

– Ну ладно. Слушай, братцы, што я отрапортую,– продолжал Фаддей Глебов.– Словом, стоял я в Петергофском дворце на карауле, а митрополит Варнава, видать, в это время на приеме у государя был. Ну, кончился царский прием, выходит митрополит в коридор, а навстречу ему Гриша с юродивым. Встретился с ними Варнава и с места в карьер на Гришку. Еретиком, антихристом и так и далее начал его костерить. Не место, дескать, тебе, проходимцу, в царском дворце. Так. А Гришка слушал, слушал, шнырял, шнырял по митрополиту своими шарами да как потом по большой матери его тихим голосом пустит. Ей-богу, не вру, братцы. Это ить не попа вам по пьяной лавочке выматерить– митрополита.

– Вот и именно!– сказал трубач Таранов и зачем-то пронзительно дунул в свою трубу.

– Ну вот. Стою я на внутреннем карауле. Мое дело маленькое. Замер,– продолжал рассказчик.– А юродивый-то как завизжит не своим голосом и ни с того ни с сего – хоп на Гришку. Уцепился отрок в старцеву бороду – и пошел рвать. Гляжу, только вороные клочья из распутинской бороды летят. Гришка-то бык быком, а с дураком, вижу, не сладит. Ну, шум подняли, конешно. Отрок старца дубасит. А митрополит вокруг них волчком и не то молитву каку-то творит, не то проклятию Гришу предает – не поймешь. А тут откуда ни возьмись – фрейлина Вырубова. Это она за Гришей-то сама в Тобольск и в Абалакский монастырь ездила, когда его туда генерал Думбадзе из Черноморья выслал.

– Знам. Знам. Она теперь в любовницах при принце Ольденбургском состоит,– сказал Агафон Веселкин.

– Ты погоди про принца буровить. Дай человеку про Гришу доказать,– одернул вдребезги пьяного Агафона Веселкина каптенармус.

– А што про него доказывать. И так скрозь все известно – варнак, конокрад из Тобольской губернии. Земляк наш. Сусед, можно сказать!– крикнул фальцетом Агафон Веселкин, ткнув при этом под бок протрезвевшего Егора Павловича Бушуева.

– Вот тебе и мужик – чалдон желторотый. Не нашему брату чета. Всей империей правит.

– А говорят, он, слышь, и в грамоте-то ить не ахти как бойкой.

– Кака така там грамота – аз, буки да веди. Пишет как курица лапой. Двух словес не сочинит.

– А грамота тут совсем ни при чем, братцы,– убежденно сказал Макар Таранов.– Ить он – чернокнижник. Хлыст. Нечистая сила.

– А тогда ты скажи мне, трубач, за каку язву его все фрейлины любят?– допытывался изредка приходивший в сознание Агафон Веселкин.

– Ну, об этом ты у них спроси.

– Хватит, хватит на ночь глядя буровить, братцы. Давайте-ка лучше запьем все это для ясности,– сказал каптенармус.

И гвардейцы умолкли.

А у Егора Павловича Бушуева весь хмель разом из головы вышел от этих разговоров. Поникнув, старик думал с тревогой. «Боже ты мой, куды я попал? С ума, никак спятили ребята. Эку ить околесицу про дворец несут... Наш брат, старики, при патрете государь императора даже чихнуть в присутственном месте не рискнут. А они, сынки наши, таки тут речи ведут, аж под ложечкой ноет. Вот тебе и лейб-гвардия!» Но наряду с этими горькими мыслями тайный голос нашептывал старику: «А вдруг да все это на проверку сущей правдой окажется? Што ты скажешь тогда, воротясь домой, восподам одностанишникам?» Егор Павлович, стараясь заглушить в себе этот тревожный внутренний голос, мысленно твердил: «Нету. Нету. Не может этого быть. Брехня. Все брехня: и про тобольского конокрада, и про митрополита, и про юродивого отрока из Оптиной пустыни. Злоумышленный поклеп на императорский двор. Кощунство!»

Нет, не мог поверить Егор Павлович Бушуев в то, что какой-то неграмотный тобольский мужик ворвался в святая святых, к русскому престолу и, поднявшись на царский трон, глумясь и издеваясь, вероломно правил теперь великой Россией. Он не знал и не мог знать того, что еще в начале девятисотых годов при дворе последнего из русских императоров стали в изобилии появляться какие-то темные проходимцы: отшельники и юродивые, блаженные странники и полусумасшедшие пророки – предсказатели будущего. Что, окружив царицу, они, предводимые тобольским конокрадом, стали влиять на безвольного царя, а в канун мировой войны – и на всю внутреннюю и внешнюю политику России. И если между 1900 и 1914 годами имя «царского лампадника» – таков был придворный титул Распутина

– приобрело широкую известность только в кругах так называемого высшего света, и разговоры о похождениях Распутина дальше великосветских салонов не выходили, то в начале 1916 года о «царском лампаднике» заговорили во всех кругах, а слухи о его пьяных дебошах и оргиях начали проникать, несмотря на жестокую цензуру, даже в печать. О деятельности Распутина было сделано несколько запросов в Государственной думе, и Родзянко, председатель ее, имел в результате этого несколько бесплодных аудиенций у царя. Однако в народе, а тем более в далеких отсюда станицах на Горькой линии, ни о Распутине, ни о связанных с ним придворных интригах ничего в это время еще не знали. Вот почему разговор захмелевших гвардейцев и поразил Егора Павловича, и лишил его душевного равновесия.

Покончив с пиром, гвардейцы разбрелись по казарме. Было уже далеко за полночь. В казарме стояла могильная тишина. Все спали. Клевал носом и притулившийся около дверей на табуретке дневальный.

И только один Егор Павлович Бушуев не в силах был сомкнуть воспаленных глаз. Уже невнятно синел за окнами рассвет и слышен был приглушенный гул пробуждающейся столицы, а Егор Павлович продолжал ворочаться с боку на бок и вздыхать. Заметив проснувшегося раньше всех трубача Макара Таранова, старик не удержался и спросил:

– Слушай-ка, племянник, ты помнишь, что вы вчера про императорский двор буровили?

– А-а...– скучно зевнув, протянул нараспев Макар.– Припоминаю, конечно.

– Дак вы это как – не шутейно?

– Хе-хе. Чудной ты, дядя. Какие же могут быть шутки?

– Не верю я этому, Макар,– угрюмо сказал старик.

– Дело твое, дядя...

– Душа моя таких слов не принимат,– сказал после некоторого молчания Егор Павлович.

– Понимаю, што душа твоя не принимат. Не спорую, дядя. Знаю, не сладко тебе на старости лет слушать про государь императора такие речи. Да што ж тут поделать? На правду глаз закрывать не приходится. Мы и сами иной раз глазам своим тут не верили. А потом – ничего. Пообтерлись, пообвыклись. И все это нам теперь не в диковинку. Поживешь вот ты в Петрограде, дядя и ты много поймешь, много увидишь.

– Ох, не знаю, Макар...

– Ручаюсь, дядя,– убежденно и коротко заключил Макар, трезво и пристально посмотрев на поникшего в горьком раздумье дядю.

17

Спустя три недели в полку стало известно, что в связи с успехами 8-й армии Брусилова на юго-западном фронте в Петрограде предстоит, согласно воле царя, при участии всей царской свиты молебствие о даровании побед. Был слух, что молебствие должно состояться на Марсовом поле. Прослышав об этом, Макар Таранов сказал Егору Павловичу:

– Вот куды вам надо с Лукой во что бы то ни стало пробраться. Это самый подходящий случай для подачи прошения в личные руки царя.

– Што ты, Макар! На таком-то миру?!– испуганно воскликнул Егор Павлович.

– Вот в том-то и дело, что на миру. Цари это любят, дядя.

– Што – это?

– Ну, вот эту самую музыку – монаршью милость у всех на виду оказывать. Сам понимашь, дядя, ежли ты, скажем, простой казак, на глазах у всех осмелишься подойти к царской ложе и протянуть государю свою челобитную, неловко же будет ему отказаться и не принять от тебя прошение.

– Это, может, и так, племянник. Да ведь на таком-то миру и оробеть, стушеваться перед государем недолго.

– А ты не робей. Не тушуйся, коли на то рискнул.

– Не знаю. Боязно мне, Макар, что-то...– признался Егор Павлович.

– Ну, волков бояться – в лес не ходить. Да и не таков ты, дядя, чтобы робеть. Дело твое, конешно. Только я бы на вашем месте таким случаем не попустился.

– Легко сказать – не попустился. А попробуй сунься, дак туды нашего брата ишо не скоро и допустят.

– Ну, насчет допуску – ерунда. Допуск туды вполне слободный. Правда, билеты громадного капиталу стоят. Не поверишь, за само никудышное место надо такие деньги выложить, что можно бы пару меринов с упряжкой исправить. Понятно, что нашей нации такая охальщина, конешно, не по карману. А потому там, на этих трибунах, во время молебствий и парадов скрозь одна высшая знать находится – графья да графини друг на друге сидят. Да вам на этих ярусах и делать с Лукой будет нечего.

– Это пошто?

– А по то, што с ярусов вам потом до царской ложи никак не добраться. Правда, зрить будете оттудова все ясно, как на ладони, а к царю не подступишься. Вот ежли бы вы с Лукой особый ярлык, с голубым кантиком, достали – это было бы да!

– Это што за ярлык?

– Пропуск такой. За личной подписью придворного оберцеремониймейстера барона Корфа. С таким ярлыком тебя куды хошь пропустят. Это – раз. А потом, заметь, што прохождение войск по церемониальному маршу откроют две казачьих сотни нашего полка, а две будут нести караул у царской ложи – это два. И ежли, на ваше счастье, попадет в караул наша сотня, то тут уж царь от нас не уйдет – это три. Мы ить тогда из любой беды вас выручим. Видал!

– Все это ловко, племянник, придумано. Только через каку путь мы ярлык добудем?– спросил, помолчав, Егор Павлович.

– Путь одна. Через командира нашей сотни есаула Булгакова. Если он захочет – тяп-ляп, да и клетка. Он это может.

А через день после этого разговора старик был вызван вместе с Лукой к Булгакову. Булгаков встретил станичников довольно радушно и приветливо.

– Ну-с, как вы себя чувствуете, господа станичники?– весело спросил есаул.

– Покорно вас благодарствуем, ваше высокоблагородие,– ответил Егор Павлович.– Но полагаем, что насчет нашей чувствительности разговаривать много не приходится. Сами знаете – весна не за горами. Дома– хлопот полон рот. Сев на носу. А вот томимся тут. Нам этот Питер, как говорится, уже все бока повытер.

– Ну, ничего, ничего, земляки. Все образуется,– сказал есаул, улыбаясь.– Могу вас порадовать. Прошу дней через пять подготовить себя во всех отношениях к возможной встрече с царем.

При этих словах Булгакова Егор Павлович и Лука, встрепенувшись, вытянулись, как по команде, во фронт и замерли, вслушиваясь в медлительную речь есаула.

– Только из глубочайшего моего уважения к вам и к родному мне войску с Горькой линии, достойными сынами коего вы являетесь,– продолжал есаул,– я постарался достать для вас особые пропуска за личной подписью барона Корфа. Получайте,– сказал Булгаков, и он протянул Егору Павловичу с Лукой особые пропуска на веленевой бумаге с двуглавым орлом, окантованные голубой каймой. И Егор Павлович понял, что это те самые пропуска, о которых толковал ему племянник.

– С этими пропусками вы беспрепятственно пройдете к левому крылу царской ложи. Караульную службу около ложи будут нести казаки моей 3-й сотни, и потому вас там никто не станет тревожить. Понятно?

– Так точно, ваше высокоблагородие,– в голос ответили Егор Павлович с Лукой.

– Дальше,– продолжал есаул.– Я лично все это время буду стоять на своем коне неподалеку от хора трубачей. Оттуда, где будете находиться вы, вам будет отлично меня видно. После церемониального прохождения войск конница выстроится в резервную колонну вдоль всего Марсова поля. Вот в эту минуту вы и должны будете особо следить за мной. Я вам подам такой знак: коснусь правой рукой левого погона, и вы смело выходите вперед по направлению к царской ложе. Близко не подходить. Остановитесь против царя на двухсаженной дистанции. Встанете, разумеется, по команде «смирно». Если за это время царь не спросит вас о том, кто вы такие и что вам нужно, то один из вас – это уж вы сами договоритесь – кто,– берет руку под козырек и докладывает государю...

– Помилуйте, ваше высокоблагородие!– взмолился Егор Павлович.– А по какому артикулу докладывать государю?

– Ну, речь я для вас, пожалуй, отпечатаю на машинке. Вам придется выучить ее наизусть. А когда выучите, бумажку можете уничтожить.

– Это будьте покойны, ваше высокоблагородие. Следов не оставим,– сказал Егор Павлович.

– Так точно. Ежли угодно вашему высокоблагородию, то я, в случае чего, могу ее даже проглотить,– сказал Лука.

– Как проглотить?– удивился есаул.

– Он это может,– сказал, кивнув на Луку, Егор Павлович.

– Так точно, могу,– подтвердил Лука.– Я, ваше высокоблагородие, двенадцать лет письмоводителем, при станичном правлении состою. Каюсь, не один раз приходилось глотать мне в спешном порядке некоторые бумаги. Сами знаете, с каким варначьем на Горькой линии дело иметь приходится.

Вдоволь нахохотавшись над заявлением письмоводителя, Булгаков сказал еще несколько напутст-

венных слов станичникам на прощанье и вежливо выпроводил их из своего кабинета.

...Через пять дней, в канун торжественного молебствия при участии войск и царя на Марсовом поле, Егор Павлович провел тревожную, бессонную ночь. Он еще с вечера нарядился в свою войсковую форму – старомодного образца мундир с галунными нарукавниками, синие суконные шаровары с алыми лампасами, опойковые сапоги со скрипом и огромную мохнатую баранью папаху. На траурном фоне папахи отчетливо выделялась серебристая кокарда, а чуть повыше кокарды голубел флажкообразный значок с надписью: «За штурм Андижана!»

Возбужден в эту ночь старик был необычайно. Он не находил себе места. Промыкавшись кое-как с грехом пополам до рассвета, Егор Павлович поднял чуть свет Луку и приказал ему одеваться.

Несмотря на то, что до начала молебствия на Марсовом поле оставалась еще добрая четверть суток, станичники, по совету земляков, поспешили пробраться туда пораньше. Они и в самом деле явились бы туда довольно рано, если бы не дернула нечистая сила Егора Павловича довериться письмоводителю. Вся беда была в том, что старик худо ориентировался в столице. Лука же держал себя так, точно ему уже известен был в этом огромном городе каждый закоулок. И из-за этой хвастливой осведомленности развязного письмоводителя едва не погубил Егор Павлович в последнюю минуту всего дела.

Наблуждавшись досыта, намыкавшись по огромной столице, станичники попали на Марсово поле лишь в двенадцатом часу дня, когда там уже шумели тысячные толпы народа. Но прежде чем добраться до своего места, Егору Павловичу с Лукой суждено было пройти еще немало испытаний. Им пришлось преодолеть несколько контрольных постов придворной полиции, весьма подозрительно и придирчиво присматривав-

шейся к странным обладателям особых пропусков за подписью самого Корфа. Битый час мотали станичников жандармы, препровождая их под конвоем, как арестантов, от одного начальника к другому до тех пор, пока не попали они наконец к камергеру двора гофмейстеру Лерхе. Камергер, тщательно ознакомившись с документами казаков и убедившись в их подлинности, хотя и покосился на станичников с опаской, однако допустить их на места, указанные в пропусках, разрешил.

Места у Егора Павловича с Лукой оказались и в самом деле знаменитые. Жандармы поставили их по левую сторону от того места, где находилась царская свита, как раз позади той линейки, на которой выстроились знакомые гвардейцы. А Егору Павловичу совсем повезло. Он оказался в затылке у своего племянника Макара Таранова и на таком расстоянии, что мог даже чуть слышно сообщить ему о своем благополучном прибытии, на что Макар, не оборачиваясь к дяде, полушепотом ответил:

– Ну, смотри в оба, дядя. Не зевать.

«Зевать не приходится»,– подумал Егор Павлович, не сводя глаз с раскинувшегося перед ним Марсова поля.

День выдался ясный, и Егор Павлович, устремившись всем своим существом в глубь Марсова поля, видел, что там, сверкая на солнце гренадерскими касками, оружием гвардейских драгун и обнаженными палашами кавалергардов, замерли в развернутом фронте войска. Фронт кавалерии, вытянувшийся почти во всю длину поля, поражал резким росчерком ярких, красочных линий – голубой, золотистой, оранжевой. Не только форма всадников, но и масти их лошадей были подобраны по полкам и эскадронам. Здесь выстроились белые от наплечных ментиков царскосельские гусары, голубые атаманцы, синие

уланы, мрачные гренадеры, алые драгуны и серебристые кавалергарды.

Заглядевшись на гренадерские каски с гардами из вороных конских хвостов, на бамбуковые пики улан с цветными флюгерами на кольях, и Егор Павлович и Лука прозевали момент появления царя. Пока они, разинув рты, глазели на мрачное головное убранство гренадер, со стороны Летнего сада выехал царь на белом коне в сопровождении трубача и собственного конвоя, следовавшего несколько поодаль от него на серых ахалтекинцах.

Егор Павлович увидел царя, когда тот, спешившись, направился в окружении своей свиты к ложе. Однако у самого входа в ложу произошла какая-то заминка, и царь был вынужден остановиться как раз саженях в пяти от сибирских посланцев. Рассеянно озираясь по сторонам, он обратил внимание на гигантские папахи сибиряков.

И Егор Павлович, встретившись со взглядом царя, чуть не ахнул. Слишком уж обыденным, невзрачным, лишенным привычной портретной торжественности показалось Егору Павловичу это окантованное окладистой каштановой бородкой, несколько заостренное, с неприятным землистым оттенком лицо царя! Это было странно, но больше всего поразило и испугало старика удивительное сходство царской фигуры, с одним хорошо запомнившимся Егору Павловичу еще по полковой его службе вахмистром Семеном Гроболевым, выбившим однажды ему на уроке словесности коренной зуб... Ни ростом, ни выправкой, ни осанкой – ничем не прельстил самодержец всея Руси Егора Павловича Бушуева, ошарашенно глазевшего теперь на царя в упор. И только тускловатый блеск неподвижных, иконописных, византийских глаз русского императора внушал нечто похожее на порабощающий страх.

Таково было первое впечатление и Егора Павловича Бушуева и Луки Иванова от Николая II.

– Двигайте, двигайте. Не робейте...– шепнул, не оборачиваясь к Егору Павловичу, стоявший на карауле племянник.

И Егор Павлович, машинально дернув за рукав Луку, тронулся деревянным шагом в сторону царя и его свиты.

Все это произошло, видимо, столь неожиданно для царя и столь быстро, что ни сам он, явно струхнувший в это мгновенье, ни один из членов блестящей императорской свиты,– никто из них не успел даже обмолвиться словом. Царь, вопросительно и испуганно взглянув на начальника личной охраны, рослого барона Фредерикса, хотел, должно быть, задать ему какой-то вопрос, но в это мгновенье два бородатых казака в огромных черных папахах встали как вкопанные перед ним на саженной дистанции, и один из казаков, взяв под козырек, отчетливо произнес:

– Ваше императорское величество!

Выдержав маленькую паузу, Егор Павлович продолжал:

– ...Мы есть казаки первого военного отдела Сибирского казачьего войска, подшефного августейшему нашему атаману цесаревичу Алексею Николаевичу. Мы прибыли в столицу Российской империи по приговору пяти казачьих станиц Горькой линии для подачи всеподданнейшего народного прошения на высочайшее ваше имя. Престарелые отцы и матери русских воинов, проливающих на поле брани горячую свою кровь, бьют челом перед вашим императорским величеством и приносят к стопам вашим жалобу на наказного атамана Сибирских казачьих войск, наместника Степного края, Акмолинского генерал-губернатора Сухомлинова... А посему дерзаем просить высочайшего дозволения принять от нас в державные

руки сию всеподданнейшую гербовую бумагу, на коей изложены наши верноподданнейшие чувства, изложенные в сей петиции...– заключил наконец вспотевший от напряжения Егор Павлович свой, наизусть заученный рапорт. И он тут же, не дожидаясь ответных слов потупившегося царя; решительно выступил вперед и молча протянул слегка отпрянувшему при этом назад Николаю II перетянутый крест-накрест махровым шнуром и припечатанный сургучом пакет с петицией.

Никак, видимо, не ожидая такой прыти от казака, царь на мгновение заколебался – он не знал, брать ли ему в руки протянутый казаком пакет или не брать. Некое подобие очень смутной, жалкой улыбки вспыхнуло на его лице. Царь вопросительно посмотрел на стоявшего по правую руку от него барона Фредерикса, и тот, поняв его затруднение, вполголоса сказал:

– Рекомендую принять, ваше величество.

И царь с какой-то неестественной поспешностью, почти рывком взял из руки Егора Павловича пакет, тотчас же передав его, впрочем, Фредериксу. Затем, подняв на Егора Павловича свои тускло поблескивающие глаза, царь таким же тусклым и глуховатым голосом спросил:

– Скажи, сибиряк, что это у тебя за знак на папахе над кокардой?

«Пытат он меня али в самом деле не ведат?»– с тревогой подумал Егор Павлович и бойко ответил:

– Сей знак, ваше императорское величество, дарован нашим отцам ишо покойным дедушкой вашим, в бозе почившим императором Александром Вторым в одна тыща восемьсот семьдесят пятом году при покорении Кокандского ханства за штурм бусурманского города Андижана. А за взятие приступом крепости Хаки-Хават,– продолжал, не переводя дыхания, чесать Егор Павлович,– наш первый Сибирский казачий полк кроме сего знака получил в

награду от усопшего императора четыре серебряных сигнальных трубы с дарственной надписью золотыми буквами: «За доблестное прославление русского оружия и за отменную храбрость при взятии Хаки-Хавата». Нам же сии наградные знаки перешли от предков по наследству...

– Храбрые были у вас предки. Похвально.

– Так точно, ваше императорское величество. Весь Туркестан покорили. Смирили ханов Коканда и Бухары...

Совсем неожиданно царь сказал, присматриваясь к Егору Павловичу:

– А я тебя, казак, как будто бы где-то видел.

– Вполне даже могло быть, ваше императорское величество,– совсем бойко ответил Егор Павлович.

– Где же?– несколько оживившись, спросил царь.

– В станице Пресновской Акмолинского Степного генерал-губернаторства, ваше величество.

– Это когда же?

– В одна тыща восемьсот девяносто первом году, когда ваше величество, будучи наследником престола, изволили проезжать по Горькой линии из иноземной Японии в Петербург... Только осмелюсь удивиться, как я мог удержаться в высочайшей памяти вашего величества.

– На лица-то у меня память хорошая,– сказал царь.

– Осмелюсь доложить,– продолжал подогретый разговором царя Егор Павлович,– что в бытность вашего величества в станице Пресновской я возле вашей юрты караул нес. Я наруже под ружьем стоял, а ваше величество в этой юрте на кыргыцкой кошме сидели. Затем вы изволили выйти из юрты и увидели саранчу на кибитке. «Это что за тварь?»– изволили вы спросить меня. И я отрапортовал, что это, мол, саранча, или, как говорится, кобылка, ваше величество. Засим, согласно высочайшей воле вашей, я изловчился и кобылку поймал. А ваше величество

полюбопытствовали на нее со стороны и соизволили выдать мне золотой пятирублевик...

Разойдясь, старик хотел было напомнить царю еще кое-какие детали о его пребывании на Горькой линии, но в этот момент долговязый барон Фредерике, заслонив от Егора Павловича собой царя, вполголоса заговорил с ним о чем-то. И царь, тотчас же видимо забыв про бородатого казака, повернулся к нему спиной и направился в ложу.

Вернувшись на свои прежние места, Егор Павлович с Лукой облегченно вздохнули. Слава богу, все окончилось хорошо, и долг свой перед станичниками они с честью выполнили.

Но не успели станичники прийти в себя после только что пережитого ими, к ним подошел высокий гвардейский офицер с птичьим лицом, и очень учтиво, но в то же время подчеркнуто требовательно вполголоса сказал:

– Потрудитесь-ка, братцы, последовать за мной.

– Это куды, ваше благородие?– простодушно осведомился Егор Павлович.

Но офицер ничего не ответил на это и так неприязненно и властно скосил на станичников свои зеленоватые птичьи глаза, что казаки, покорно повинуясь воле его, молча последовали за офицером.

Через час Егора Павловича с Лукой ввели под конвоем четверых незнакомых им казаков в просторную, голубую от дорогих обоев и сигарного дыма комнату. Растерянно оглядевшись по сторонам, станичники заметили молча стоявшего в глубине комнаты за легким ломберным столиком белого от седин и неподвижного как камень генерала. И вот, взглянув на холеное, одутловатое лицо, на тяжелые, полузакрытые веки и на тонкий орлиный нос этого генерала, Егор Павлович похолодел, словно коснулись его сердца ледяной бритвой.

Узнал генерала и Лука. Перед станичниками стоял наказной атаман Сибирского казачьего войска, наместник Степного края – генерал от кавалерии Сухомлинов.

– Так-с, господа челобитчики...– сказал Сухомлинов. И он, стремительно метнувшись к письменному столу, почти упал в кресло, развернул перед собой лист гербовой бумаги и, близоруко прищурившись, принялся бегло просматривать написанное.

Егор Павлович и Лука стояли, вытянувшись во фронт, ничего уже не видя перед собой, кроме этого мелко подрагивающего в генеральских руках развернутого листа гербовой бумаги – петиции, час назад врученной ими в личные руки царя.

В комнате стояла гнетущая тишина. Слышен был стук часового маятника. Сухомлинов, звучно посасывая дорогую гаванскую сигару, продолжал вчитываться во всеподданнейшее казачье прошение. Наконец покончив с чтением петиции, Сухомлинов поднял на вытянувшихся перед ним станичников свои холодные свинцовые глаза и, немного помедлив, все тем же притворно спокойным тоном спросил:

– Ну-с, господа станичные депутаты! Так на кого же это вы жаловаться государю в Петроград приезжали?

У Егора Павловича пересохло в горле, но он, сделав усилие, твердо ответил:

– Выходит – на вас, ваше высокопревосходительство.

– Ах, вот как!– с деланным удивлением сказал Сухомлинов.

– Так точно. На вас,– совсем твердо выговорил Егор Павлович.

– Так. Так. Так...– задумчиво проговорил Сухомлинов. И, покусывая свой короткий серебряный ус, не спуская серовато-свинцовых глаз с побледневших станичников, он, вчетверо свернув их петицию, стал не спеша рвать ее на мелкие части.

У Егора Павловича запеклись губы. Кровь прилила к его вискам. У Луки дрожали и подсекались ноги. С

трудом сдерживая себя от обуявшего его бешенства, Егор Павлович прикусил язык и на минуту полусмежил веки. Он уже не видел, а только слышал теперь, как трещала в руках губернатора бумага.

Разорвав на мелкие части казачью петицию, Сухомлинов брезгливо швырнул зажатые в кулак клочки в стоявшую у него под столом мусорную корзину, а затем сказал:

– Итак, господа станичники, круг замкнулся. Больше вам жаловаться теперь некому. Все... Теперь пока вы свободны, но в течение двадцати четырех часов я приказываю вам покинуть столицу. Об остальном же будем разговаривать с вами, милостивые государи, там, на Горькой линии, дома.

Затем на резкий звонок Сухомлинова в дверях появился уже знакомый станичникам офицер с птичьим лицом. Кивнув в сторону казаков, Сухомлинов распорядился:

– Проводите этих мерзавцев.

18

В канун масленицы всполошило бушуевский дом недоброе известие. В этот тихий, слегка уже припахивающий близкой весной денек пришли с фронта тревожные письма. И в каждом из этих писем сообщалось о без вести пропавших казаках – Иване Сукманове, Якове Бушуеве и Денисе Поединке.

Одновременно с письмами фронтовиков в станичном правлении была получена официальная бумага из штаба 4-го Сибирского казачьего полка, подтверждающая дезертирство этих упомянутых казаков. Начальник штаба полка есаул Катанаев ставил в известность станичного атамана о факте побега этих трех казаков и предупреждал последнего, что вышеозначенные дезертиры в случае их обнаружения подлежат немедленному аресту и преданию военно-

полевому суду. В постскриптуме есаул Катанаев рекомендовал станичному атаману немедленно привлечь к ответу за сыновнюю измену царю и отечеству и родителей дезертиров, избрав для оных меру наказания по усмотрению самого станичного общества.

Эта черная весть поставила на ноги всю станицу. В полдень на всех перекрестках, в крепости, у станичного правления, на площади – везде и всюду толпились ошарашенные старики. По улицам шныряли вооруженные шашками бородатые обходные, шмыгали из двора во двор юркие, податливые на всполох бабы.

На улицах стоял возбужденный, глухой, подавленный разговор.

Тихо было только в доме Бушуевых. В просторной, чисто прибранной горнице собралась вся немногочисленная, скликанная бедой бушуевская семья. Здесь были все, за исключением старика, от которого не было никаких известий ни с дороги, ни из далекого Петрограда. Здесь была еще более постаревшая, на глазах осунувшаяся, маленькая, высохшая от скорби Агафьевна Здесь была никогда не унывавшая прежде, но сейчас тоже пригорюнившаяся, собравшаяся в комок Варвара со своими притихшими детьми Тараской и Силкой. Здесь была, и присмиревшая и еще, кажется, более похорошевшая в минуту тревоги Настя.

Все сидели молча, поникнув, не проронив ни слова. Не мигая, смотрели бушуевские внучата на оскорбленно сгорбившуюся бабку и чувствовали, что случилось что-то опять неладное. Недаром же так безутешно и тихо роняла мать в концы кашемирового подшалка крупные слезы.

Пахло свежей известкой, геранью, лампадным маслом и еще не просохшим, чисто выскобленным сосновым полом. Печально и тонко звенели где-то на кухне водяные капли, мерно падающие из медного,

ярко начищенного рукомойника в порожний оцинкованный таз. Строгий уют и почти до скуки келейная чистота были здесь во всем, от чисто вымытых потолков до коленкоровых оконных занавесок.

Все бушуевские домочадцы сидели молча, погруженные в самих себя, точно прислушиваясь к собственной внутренней тишине, позабыв друг о друге. И никто, кроме Тараски, не заметил бесшумно вошедшего в горницу дряхлого заспанного кота. Кот постоял в нерешительности посреди горницы, с недоумением посмотрел своими зелеными глазами на хозяев и вышел вон тем же неслышным и легким шагом.

Долго еще, может быть, просидели бы так неподвижно бушуевские домочадцы, не ворвись в дом их сосед, туговатый на ухо старик Трифон Прахов, несший в этот день дежурство в станичном правлении. В стоптанных опорках, в драных форменных шароварах с выцветшими лампасами, весь какой-то взъерошенный и измятый, Трифон влетел в горницу так, точно занесло его сюда ураганом. Он хлопнулся с разбегу рядом с Агафьевной на софу и, беспокойно озираясь по сторонам, вполголоса зачастил:

– Вот грех какой. Вот ишо происшествия. Нажил, должно быть, Яков Егорыч на фронте лихой беды. А какой казак был! Хват. Орел – не воин.

Все молчали. И Трифон, переходя на полушепот, скороговоркой сообщил:

– Сейчас сам атаман военного отдела полковник Скуратов в станишно управление прибыл. Шальной. Спаси, матерь божья. Чуть не нагишом в присутственное место явился. Говорят, прямым маршем из муганцевской бани. У него аж банный лист в бороде застрял... Прилетел. Орет. Мать-перемать. И так и дальше.

– Што ж он говорит-то?– спросила глухим, не своим голосом Варвара, не глядя на Трифона.

– А што говорит. Приказал подавать ему сродственников,– ответил строгим голосом Трифон.

– Это каких же сродственников? Батюшку? Так его вить и след простыл,– сказала Настя.

– То-то и оно, что не в батюшке дело,– ответил в некотором смущении Трифон.

– А ишо в ком же?– спросила, насторожившись, Варвара.

– То-то и оно, что приказал сношку доставить,– сказал Трифон, обращаясь не к Варваре, а к Агафьевне.

– Господи боже мой, а сношка-то тут при чем?– всплеснув руками, воскликнула Агафьевна.

– А ты вот пойди потолкуй с ним. Вылупил шары и орет – подавай ему сродственников. Ему уже толковали там старики, что родителей-то, мол, у провинившихся казаков нету. Один, дескать, преставился в прошлом году на троицу. Другой – в городе Петрограде с казачьим прошением как в воду канул... Ну, а он одно свое – подавай сродственников. Вот и ее привести велел,– сказал Трифон, указывая на Варвару, но продолжая разговаривать с Агафьевной.

– Ну уж на этом пусть извинит. Я к нему не пойду,– сказала Варвара глухим, подчеркнуто спокойным голосом.

Трифон даже опешил. Глядя в упор на смуглое красивое лицо бушуевской снохи, старик долго смешно и жалко помигивал бесцветными полуосыпавшимися старческими ресницами, разинув от изумления щербатый рот. Однако, оправившись от смущения, он вдруг прикрикнул на Варвару:

– А я знать ничего не знаю! Приказано привести – и приведу. Собирайся, сударушка. Да поживее. Без разговоров!– отрезал Трифон и сам удивился тому, как это мог он выговорить столь грозные слова.

– Ого! Да ты, выходит, дед, с бабами-то ишо храбрый?!– сказала Варвара и так при этом посмотрела на Трифона, что тот даже на секунду прикрыл глаза.

– Нет, сношка, ты уж ступай, коли требуют,– ласковым и слезливым голосом сказала Агафьевна.–

Опомнись. Мысленно ли нам в такой час перечить самому отдельскому атаману?!

– В какой такой час, мамаша?– с тем же спокойствием спросила свекровь Варвара.– С каких это пор жена за мужа стала ответчицей? За какие такие грехи? Али я его уговаривала с фронту бежать, али я его соблазняла?

– От такой все может быть. Известно, баба – полный туес греха,– сказал Трифон.

– Ну, ты, дедушка, староват насчет этих грехов рассуждать,– зло сверкнув на деда глазами, сказала Варвара.– Сказано – не пойду. И все тут. Не приставай. Отправляйся к своему атаману и докладывай. Понял?

Старик аж привстал с софы и вытянулся перед ней, как в строю.

– Смирись, голубушка. Покорись. Не губи ты нас. Сходи. Не съедят они там тебя...– продолжала уговаривать сноху, глотая слезы, свекровь.

– Ну, полно, полно, мамаша,– с легкой досадой в голосе сказала Варвара.– Не малое я ведь дите, слава господу богу. Знаю, что делаю. Не уговаривайте. Никуда не пойду,– повторила Варвара по-прежнему твердо и решительно, искоса глянув при этом на потупившегося Трифона.

Комкая в сухих маленьких пальцах концы заношенного ситцевого платка, Агафьевна умоляюще глядела на потемневшее лицо снохи, намереваясь сказать ей что-то еще, но, не найдя нужных, более сильных и убедительных слов, она только судорожно пожевала выцветшими губами.

Растерявшийся Трифон нетерпеливо переступал с ноги на ногу, ошарашенно озираясь по сторонам. А Варвара, как ни в чем не бывало, деловито тряхнув передником, прошлась девичьи легкой походкой по горнице и остановилась около висевшего в простенке древнего зеркальца. Не обращая внимания на присутствующих, она тут же с напускной внимательностью стала разглядывать свое лицо, отраженное потускневшей от

времени амальгамой... Из полумглы, отраженные зеркальцем, смотрели чьи-то, как ей казалось, необыкновенно чужие, далекие глаза...

Все присутствующие в горнице молчали. Никто из них не мог догадаться сейчас о том, что переживала Варвара, узнав о пропавшем без вести муже. Нет, решительно ничто не выдавало в ней в эту минуту обуревавших ее сложных чувств: ни страха перед грозившей атаманской немилостью, ни горечи об утраченном муже, ни тревоги за его судьбу, ни сколько-нибудь заметного волнения. Никогда не открывала Варвара свое сердце для чужого глаза. И, только один человек из бушуевской семьи, золовка Варвары – Настя, по-девичьи горячо и преданно любившая свою сноху,– только одна она иногда, казалось, постигала тайну Варвариной души. Вот и сейчас, пристально глядя на сноху посиневшими своими глазами, заметила Настя, как неярко озарились вдруг румянцем щеки Варвары и как слабо потом, почти незаметно, дрогнули при беглом взгляде на полковую карточку мужа густые и острые, как осока, ее ресницы. И Настя поняла, почувствовала, что Варваре не по себе. Что дорогой ценой покупала сейчас Варвара это надменное свое спокойствие и что бесполезно уговаривать ее теперь повиноваться атаману.

...Позднее, оставшись в горнице одна, Варвара подошла к простенку, украшенному веером фотографических карточек и журнальных картинок, и стала разглядывать их так, точно видела их впервые. Перед ней вставали из пороховой и снежной пурги проволочные заграждения, полусожженные города и деревни. На одной из картинок Варвара увидела бушующую в Карпатах метель и закутанного в башлык казака – лить не вылить – Якова, стоявшего в дозоре на самом краю обрыва у бездонной зловещей пропасти. И Варвара, пристально вглядываясь в этого казака, испытала такое чувство смятения и страха за него,

словно он и в самом деле должен был сию минуту, оплошав, оступиться и улететь в эту кромешную бездну. На другой из картинок с безоблачным мертвенно чистым небом над вражескими окопами рвались снаряды. Град шрапнельных разрывов поливал беспорядочно отступающие под натиском русских воинов германские части. Кругом, по обочинам грязной, размытой осенним дождем дороги, торчали перевернутые кверху колесами войсковые двуколки, застрявшие в грязи тяжелые орудия и походные армейские кухни. Это был фронт. И это оттуда еще совсем недавно писал Яков Варваре длинные письма, пропахшие пороховым дымом и сыростью чужих безрадостных полей...

Варвара перевела свои темные, как осенняя ночь, глаза на фотографию мужа. Вот он сидит, веселый, подтянутый, бравый казак, важно развалившись в роскошном варшавском кресле. А за спиной у него цветут нездешние, неземные сады и блестит на солнце чистое озеро с плавающими по нему лебедями. На Якове была та самая гимнастерка, в которой ушел он два года тому назад отсюда, из этой вот самой горницы, на фронт. Варвара признала рубашку мужа по криво простроченной на вороте строчке. В тот знойный и ветреный августовский день, когда был объявлен приказ о походе, Варвара, второпях дошивая Якову походную гимнастерку, испортила строчку. Но переделывать ворот было некогда, и она положила рубашку в переметную суму. А теперь вот, когда Варвара смотрела на Якова и видела на нем эту рубашку, он вставал перед ней такой же живой, улыбающийся, близкий, словно только вчера проводила она его с эшелоном по пыльной степной дороге и словно не остыл еще на ее жарких губах прощальный его поцелуй... Точно заколдованная, не сводила глаз Варвара с мужа. А он, победно скрестив свои большие тяжелые кисти рук на эфесе шашки, тепло и просто

смотрел на жену. О чем он думал, пристально вглядываясь в смуглое лицо Варвары? Может быть, он хотел сказать ей о том, что горевать ей без него и убиваться в разлуке не стоит. Ведь не век же будет тянуться эта война. И не всех же в конце концов на ней калечат, захватывают в плен и убивают. Его же тем более не убьют. И покалеченным он не будет. Не верит он в это. Не может этого быть.

Вот если бы не любил он своей молодой жены, если бы не верил он в великую чистоту и силу этой любви,– тогда другое дело...

Может быть, об этом хотел сказать Яков, пристально вглядываясь в свою жену. А Варвара, приглядываясь к его грустной улыбке, как бы спрашивала его: «Что ты только наделал?!»

Яков молчал. Варвара продолжала стоять перед его фотографией, строгая, неподвижная, не спуская с его облика сухих, лихорадочно блестевших глаз, и, казалось ждала от него ответа. В горнице было сумрачно и тихо.

Вдруг в доме загремели чужие тяжелые шаги. И Варвара, точно очнувшись от забытья, быстро обернулась к двери, ощутив при этом, как у нее замерло сердце.

На пороге стояли два одетых в обходную войсковую форму рослых казака. Это были престарелые, но еще не утратившие следов былой выправки лейб-гвардейцы Кондрат Берников и Антон Копытин. С шумом обнажив клинки и не сводя с Варвары глаз, казаки взяли на караул, и один из них сказал:

– За тобой, сударушка. Собирайся...

А через четверть часа Варвару вели под конвоем к станичному правлению. Шла она под обнаженными клинками бородатых и мрачных конвоиров все той же присущей ей легкой, девически беспечной походкой, и престарелые гвардейцы, спотыкаясь и путая шаг, едва поспевали за ней.

По пятам за конвоем валом валили бабы и девки. Толпа двигалась в глубоком безмолвии. И только слышен был в этом бесшумном шествии резкий скрип чьих-то модных хромовых ботинок да шелест бабьих подолов.

Когда Варвара вошла в переполненный ермаковцами кабинет Муганцева, ее поразила поза станичного атамана, в которой стоял он за письменным столом с какой-то бумагой в руках, уставившись в одну точку. Никто из присутствующих в кабинете станичников не обратил на появление Варвары внимания. Старики так же тупо, как и Муганцев, смотрели в одну точку: кто – на огромный портрет царя, висевший в простенке, кто – в окна, кто – себе под ноги.

– Тут теперь не до тебя, солдатка,– прошептал растерянно заозиравшейся Варваре Трифон.– Уходи подобру-поздорову домой.

– А што такое случилось?– спросила, в свою очередь, шепотом Варвара.

Трифон шепнул ей в самое ухо:

– Восударь императора с трону спихнули. Слобода настала. Поняла?

И хотя Варвара не представляла себе значения всего случившегося, из груди ее вырвался вздох облегчения, словно свалился с нее какой-то тяжелый груз, и она, выпрямив плечи, вышла из кабинета еще более гордой, непокорной и независимой, чем только что входила туда.

Конвоировавшие Варвару казаки, не знавшие еще, в чем дело, ринулись было следом за нею, но их остановил жестом атаман Муганцев – теперь было действительно не до Варвары.

19

Перед закатом прошел дождь, веселый, легкий и розовый. Горьковатый, пряный запах полыни кружил

голову. В курье тревожно и настороженно гоготали гуси. Возбужденно и шумно крякали, купаясь в воде, утки. Конский табун растянулся по всему увалу, казалось, до самого неярко озаренного вечерней зарей горизонта. Пастух Сеимбет возился около полупогасшего костра, подбрасывая в него пригоршни сухого конского помета и пытаясь вновь разжечь слабо пробивавшееся сквозь пепел пламя. Увлеченный этим занятием, Сеимбет не слышал, как к нему подбежал Садвакас и, схватив его за плечи, сказал:

– Слушай. У меня есть новость.

– Что такое?– спросил Сеимбет.

И Садвакас, усевшись рядом с Сеимбетом, не спеша раскурил от уголька давно потухший окурок, а затем вполголоса проговорил:

– Сейчас я был в юрте Альтия. Он собирается ехать в гости в аул Кабе. И вот что он сказал мне один на один. Я, говорит, знаю, что тебя ищут русские атаманы. Я знаю, что ты от них прячешься. И все будет так, говорит, как я захочу. Захочу – ты завтра же будешь в руках русского атамана. Захочу – никто не узнает о тебе в степи. Ты – мой пастух, и ты в моей власти. Так мне сказал Альтий...

– Тагы – потом что еще сказал тебе бай?– спросил Сеимбет.

Помолчав, Садвакас вполголоса ответил:

– Потом он сказал мне, что по ту сторону урочища Узун-Куль пасется косяк гульных лошадей из крепости Капитан-Кала.

– Я это знаю. Там есть хорошие лошади. Что же дальше?– спросил Сеимбет.

– А дальше известно, что Альтий приказал мне собрать джигитов и ночью провести барымту – отбить от этого косяка самых лучших коней и угнать в степи. А если, говорит, вы мне приведете бурого иноходца из этого косяка, то получите от меня в награду еще пять стригунов и десять баранов.

– Кто получит?

– Мы – пастухи, джатаки...

– Это правда?

– Альтий говорит – да.

Пастухи помолчали. Костер начинал медленно разгораться. Оранжевые мечи пламени весело затрепетали над ворохом ярко зардевшегося сухого помета.

– Что же ты ответил Альтию?– спросил наконец Сеимбет Садвакаса.

– Я ответил, что посоветуюсь со своими джигитами...

– А как ты сам думаешь?

– Я – что. У меня выбор маленький. Или послушаться бая и пойти на барымту. Или снова садиться в тюрьму. Он же сказал, что выдаст меня. И он это сделает.

– Да,– сказал Сеимбет.– Он это может сделать. Выбор у тебя, Садвакас, действительно невелик. А о джигитах что говорить. Джигиты всегда за тебя горой. Как скажешь ты, так они и поступят. Но надо все же спросить слепого Чиграя, что он нам посоветует и предскажет.

– Это правильно. Надо спросить у Чиграя,– согласился с ним Садвакас.

А в сумерках, когда все женщины были заняты дойкой байских кобылиц, пастухи сидели в ветхой юрте слепого Чиграя и в почтительном безмолвии прислушивались к голосам старейших. Один из них, пепельнобородый Юсуп, не спуская своих старчески слезящихся глаз с неяркого очага, глухо рассказывал притихшим джатакам:

– Когда я был молод, свалилось на наши степи страшное бедствие. Ранняя весна закончилась небывалым джутом – гололедицей. В ауле джатаков погибли от бескормицы последние наши бараны. Погибло много скота и у бая Керге – отца Альтия. Тогда Керге собрал в своей юрте нас – молодых пастухов и подпасков – и приказал нам совершить барымту: угнать

табун лошадей из русской крепости. Он пообещал нам хорошо заплатить за нашу работу. И мы пошли. Как сейчас помню, это было в дождливую, темную ночь. Нас было много, молодых, сильных и ловких джигитов. И мы отбили в барымте у русских тридцать два скакуна. И ни одна из угнанных нами лошадей не была потом найдена русскими. Байские конокрады умеют прятать ворованных лошадей в надежное место...

– И Керге заплатил вам за эту барымту?– спросил Юсупа один из джатаков.

– Много воды утекло с той поры, но врать я не стану,– сказал с горьким вздохом старый Юсуп.– Обещанной платы от бая мы так и не получили.

– Значит, вас обманул Керге?

– Значит, так. Обманул,– сказал со вздохом Юсуп.

– А вы думаете, Альтий не обманет нас?– прозвучал из темноты чей-то хрупкий юношеский голос.

– Ничто не помешает ему обмануть и нас,– сказал старый Чиграй.– Если он не отдаст нам своих обещанных стригунов, но не выдаст русскому атаману нашего Садвакаса, то и это уже будет хорошей платой за барымту, джигиты.

– Ие – да. Конечно. Конечно.

– Друс – правильно,– сказали хором пастухи и подпаски.

Затем Чиграй, разбросав по циновке бобы, долго молча колдовал над ними, беззвучно нашептывая своими дряблыми, старческими губами какие-то слова заклинаний, то складывая своими нервными, тонкими и длинными пальцами бобы по кучкам, то собирая их в пригоршни. Наконец покончив с гаданием, Чиграй сказал:

– Сегодня суббота – тяжелый день. Нельзя правоверному выходить в дорогу. Но самый старый и самый мудрый боб сулит нам удачу. Ночь будет темной, глухой и ветреной. И стук лошадиных копыт не разбудит зверя.

– Значит, мы можем отправиться в путь?– спросил Садвакас Чиграя.

– Дорога открыта,– сказал Чиграй.

– Джигиты из рода Каратал не знают в таких делах неудачи,– подтвердил старый Юсуп. И старик, вынув при этих словах из-за пазухи маленький мешочек, наполненный землей с солью, протянул его Садвакасу.

– Что это?– спросил Садвакас Юсупа, принимая мешочек.

– Держи. Это священный талисман. Это – спутник удачи,– сказал старый Юсуп, вручая заветный мешочек Садвакасу.

И Садвакас, приняв из бронзовых рук старика талисман, поднялся с циновки и сказал поднявшимся вслед за ним джигитам:

– Время не терпит. Ночь, на наше счастье, темна. В небе – ни месяца, ни звезды. И нам надо торопиться, джигиты.

– Ие– да. Друс – правильно, надо торопиться,– подтвердил старый Чиграй.

И джигиты покинули ветхую юрту, бросившись рысью к приготовленным байским лошадям. А спустя несколько минут Садвакас, вырвавшись вперед на резвой и нервной байской кобылице, повел за собою в степь ватагу смелых, сильных и ловких, ко всему готовых джигитов.

Бойкие, сытые кони шли плотной массой. Настороженно постригивая ушами, храпя и покусывая удила, они приседали, подпрыгивали, рвались вперед, прося повода к броскому лихому намету. Под тупыми некованными раковинами копыт глухо позванивала степная земля.

Садвакас ехал впереди группы всадников, весь уйдя в напряженный слух, во внимание. В степи было темно и душно, как в полуночной юрте с погасшим очагом. Навстречу, со стороны станиц Горькой линии, вставала, поднимаясь по беззвездному, задернутому

облаками небу, тяжелая туча, и зоркие глаза степных людей, несмотря на беззвездную ночь, различали сейчас впереди эти похожие на зловещие развалины мавзолеев тучевые громады.

Пройдя на рысях верст двадцать, всадники осадили своих разгорячившихся лошадей и в полном безмолвии пошли стороной от дороги шагом. Беспрестанно передергивая поводьями, джигиты нервничали, опасаясь внезапного ржанья своих коней, почуявших близость конского табуна, вольно пасущегося в степном просторе. И каждый из джигитов, воровски затаив дыхание, думал в эту минуту о том, как в случае удачи он и в самом деле может стать назавтра владельцем полученного за барымту от бая стригуна и упитанного барана. И не одному из этих джигитов мечталось сейчас о том, как настанет такое время, когда он выбьется из нужды и когда в юрте его будут своя семья, и свой турсук с кумысом, и свое масло, которое он, по степному обычаю, может вылить на свой очаг в знак появления новорожденного сына...

– Стой,– тихо сказал Садвакас, резко осаживая лошадь.

И джигиты остановились среди густого камыша на берегу урочища, настороженно вслушиваясь в тишину ночи... Где-то далеко на одном из многочисленных плесов займища слышалась птичья возня. Сонно, как бы вполголоса, покрякивали утки и дремотно поплескивала вода. Откуда-то издалека, наверное, из русской станицы, что была верстах в трех отсюда, доносились до чуткого слуха притихших джигитов протяжные и печальные песни русских девушек и переклики серебряных голосов двух дорогих гармоник.

Спешившись в камышах, Садвакас взял с собой двух из девяти спутников – Сыздыка с Диханом,– и они втроем начали пробираться по камышу вдоль курьи, как охотники, крадущиеся к птице. Миновав курью, джигиты выползли гуськом на прибрежный яр и, затаив

дыхание, долго лежали в траве не двигаясь. Наконец Садвакас, коснувшись рукой плеча лежавшего рядом с ним Сыздыка, прошептал чуть слышно:

– Ты видишь?

– Вижу. Это тот самый бурый иноходец, на которого позарился бай.

– Он самый,– подтвердил шепотом и Дихан. Только их острые глаза могли различить в темноте точеную голову насторожившейся лошади и ее плоский круп.

Весь внутренее собравшись в комок, Садвакас совсем приготовился было одним привычно ловким движением накинуть аркан на коня, как вдруг замер, различив за спиной лошади смутные очертания вынырнувшей из сумрака человеческой головы. Человек, ласково потрепав насторожившегося коня по гриве, сказал по-русски:

– Ну, не бойся, дурак, не бойся...

Конь, тревожно перебирая ногами, волновался и храпел, почуяв неладное.

Джигиты, глубоко затаившие дыхание, продолжали лежать неподвижно, прижавшись к траве. В голове Садвакаса стремительно проносились мысли одна за другой. Он понимал, что упускать момента нельзя, но не знал, что предпринять – броситься ли на русского пастуха сию же секунду или подождать, пока он отойдет от коня в сторону.

Между тем лежавший рядом Сыздык, горячо дыхнув в ухо Садвакасу, прошептал:

– Жур – пошли!

И одного этого слова была достаточно Садвакасу для того, чтобы он одним прыжком, как беркут на степную птицу, налетел на не успевшего опомниться русского пастуха, смял его под себя, зажал ему рот своей ладонью и мгновенно скрутил ему волосяным арканом руки и ноги. А Сыздык тем временем изловчился заарканить коня, накинуть на него уздечку и, прыгнув на него, мгновенно исчезнуть, как привидение.

Связанный по рукам и ногам русский пастух, поняв в чем дело, притих. Боясь быть задушенным или убитым барымтачами, он лежал в траве с закрытыми глазами, не проронив ни звука. Он отлично слышал суматоху, поднявшуюся среди табуна, догадываясь, как смело и ловко орудовали барымтачи, заарканивая коней. Но он понимал, что ему бесполезно сейчас взывать о помощи, так как вблизи нет ни души. И хотя ни один из налетчиков не проронил ни слова, пастух догадывался, что это были степные люди, а не русские конокрады,– так дружно и чертовски ловко могли работать только натренированные барымтачи.

...Перед самым рассветом, когда ночная мгла казалась еще плотнее и глуше, Садвакас, спешившись на полном скаку близ юрты Альтия, вошел в просторное, слабо освещенное байское жилище. Альтий не спал. Полуразвалясь на огромных пуховых подушках, волостной управитель поджидал возвращения джигитов и, заметив Садвакаса, оживленно спросил:

– Удачным ли был набег?

– Удача – спутник джигита. Бурый скакун с косяком гульных русских коней в наших руках, аксакал,– ответил Садвакас.

– Жаксы – хорошо. Хорошо,– сказал Альтий.– Где эти кони?

– Мы их вручили в надежные руки твоих джигитов,– ответил Садвакас.

– Не оставили ли вы следов на дороге?

– Нет, аксакал. Ночь без росы, и следов от копыт на траве не увидишь.

– Жаксы – хорошо,– сказал Альтий. Затем он, порывшись в своем сафьяновом кошельке, извлек из него пять серебряных рублевых монет и, пересчитав их еще раз, молча протянул деньги Садвакасу.

– Это все, аксакал?– спросил Садвакас, с недоумением разглядывая на своих сухих и плоских ладонях тускло отсвечивающее серебро.

– А разве этого мало?– с удивлением спросил Альтий.

– Обещано было больше...– сказал Садвакас.

– Обещанного три года ждут. Так говорят у русских. Иди и говори мне спасибо, что я пока не выдал тебя русскому атаману,– указав Садвакасу на дверь, сказал волостной управитель.

И Садвакас вышел вон из просторной и душной байской юрты на свежий предутренний воздух.

Когда на рассвете все пастухи и подпаски – спутники Садвакаса в лихом налете на косяк русских коней – собрались в ветхой юрте Чиграя, Садвакас презрительно бросил на циновку серебряные байские рубли и сказал:

– Вот и вся его плата...

– Как так? Выходит, он обманул нас?!– хором спросили изумленно взглянувшие на Садвакаса пастухи.

– Выходит, что обманул...– сказал, вздохнув, Садвакас и прикрыл веки.

Джатаки молчали. Старый Чиграй, приняв из рук Юсупа собранные им на циновке монеты, долго пересыпал серебряные рубли из руки в руку, словно они жгли ему ладони, а затем чуть слышно сказал:

– Отведите меня в юрту Альтия, и я плюну ему в лицо.

Но никто не откликнулся на гневный голос слепца. Пастухи и подпаски сидели вокруг костра неподвижно и молча. Садвакас тупо смотрел на огонь очага, кусая горький полынный стебель.

Было тихо. И только молодой беркутенок, привязанный в черном углу юрты, вдруг встрепенувшись, шумно захлопал своими упругими, сильными крыльями. И Садвакас, взглянув с улыбкой на беркутенка, проговорил:

– Да, Чиграй, время такое настанет, когда ты сможешь плюнуть Альтию в лицо. Даже вот и молодой беркутенок начинает расправлять крылья...– заключил Садвакас, многозначительно подмигнув своим спутникам.

И джигиты, глядя на беркутенка, невольно улыбнулись при этом.

20

Когда старому полковнику Скуратову донесли из станицы о том, что вместе с угнанным, по-видимому степными барымтачами, конским косяком исчез и только что купленный им у фон-барона Пикушкина иноходец, старик приказал Авдеичу оседлать лошадей и поскакал в сопровождении драбанта в аул Альтия.

Престарелые всадники летели по пыльному степному тракту, как одержимые. Они мчались, ничего не видя перед собой, кроме заломленных от бешеной скачки конских ушей да трепещущих на свирепом встречном ветру коротко подстриженных лошадиных челок.

Мчась на низкорослом степном резваче вслед за полковником, Авдеич думал: «Ну, попала вожжа под хвост, и про страх, вижу я, мой барин и про годы свои забыл? Совсем на старости лет одурел от злости и жадности...»

Лошади мчались под старыми кавалеристами, не ощущая под копытами жесткого трактового грунта. И точно не земля, а воздух дробно гудел и звенел под ударами каждой стремительно выброшенной в порыве карьера ноги, и точно не своя уже, а какая-то иная страшная сила несла, подымая их над землей, одурманивая простором, волей, свежим степным воздухом. Недаром гнедой скакун Скуратова, забыв о всаднике, не чувствуя ни повода, ни туго затянутых подпруг, птицей стлался над придорожными ковылями, полузакрыв налившиеся слезами и кровью глаза, закусив до хруста в зубах стальные мундштуки дорогой уздечки.

Ни старый Скуратов, ни его драбант не заметили, как отмахали они от усадьбы верст двадцать. И только на двадцать первой версте, завидев вдали аул,

Скуратов начал мало-помалу приходить в себя. Словно неожиданно протрезвев от затмившего разум хмеля и только сейчас ощутив под собой тугую подушку седла, он крепче уперся носками шагреневых сапог в серебряные стремена и, искусно работая поводьями, принялся понемногу сдерживать обезумевшего коня. Чутьем, свойственным только степным кочевникам и природным кавалеристам, он строго рассчитал в уме все: и расстояние, отделяющее его от показавшегося вдали аула, и степень постепенного спадания скорости у сдерживаемого им скакуна. Это позволило Скуратову, взяв в руки лошадь, дать ей почувствовать властную силу повода, затем умело перевести ее с бешеного карьера на стремительную, временами срывающуюся на галоп рысь. А к аулу полковник подвел своего резвача на дробно выровненной иноходи. Правда, жеребец продолжал еще нервничать. Кося глазами, конь еще норовил ринуться стрелой вперед. Однако, подвластный теперь уже малейшему рывку зажатого в хозяйской руке повода, жеребец только вздрагивал, сатанея от внутреннего разбушевавшегося в нем огня.

Навстречу всадникам высыпал весь аул. Это был аул джатаков из рода Каратал. Завидев атамана, женщины и дети стремглав разбежались врассыпную по юртам. На месте остались стоять только одни седобородые старики да сбившиеся за ними в кучу джигиты.

Едва не врезавшись на полной иноходи в испуганно шарахнувшуюся в сторону толпу, Скуратов резко осадил коня и, повелительно взмахнув нагайкой, крикнул:

– Эй вы, азиаты,– ко мне!

И толпа оборванных кочевников с раболепной поспешностью приблизилась к грозному всаднику. Приветствуя полковника преувеличенно низкими поклонами, джатаки замерли. Затем один из седобородых патриархов рода, рослый, в ветхом

бешмете старик – это был Юсуп,– выступив из толпы, спросил полковника в знак приветствия на родном своем языке о том, здоровы ли у русского атамана руки и ноги и не утомился ли в пути его быстрый конь.

– Ты, тамыр, о моих конечностях не беспокойся – свои лучше, на всякий случай, побереги...– зло и насмешливо ответил по-русски на почтительное приветствие старика Юсупа Скуратов и, перейдя на суровый начальственный тон, спросил:– Кому принадлежит этот аул? Есть ли какие новости? Хабар бар ма?– как говорят у вас по-киргизски.

– Это аул джатаков и пастухов из рода Каратал, атаман,– ответил старый Юсуп.– Мы пасем табуны волостного управителя Альтия и аткаминера Кенжигараева... Ты нас спрашиваешь про новости, атаман? А какие могут быть новости у степного пастуха для большого русского начальника? Я слышал, что в ауле Орталы вчера на закате справлялись поминки по случаю смерти аткаминера Ильяса Турдукулова и на байге близ урочища Коян-Бедаик загнали самого резвого байского иноходца...

– А я слышал,– подал голос слепой Чиграй,– что к нашим табунам подходили прошлую ночь волки. Но храбрые джигиты отбили овечью отару и прогнали хитрого зверя в степь...

– Храбрые, храбрые у вас джигиты!– проговорил с презрительной усмешкой полковник, неуважительно покосившись на молодых кочевников, стеной стоявших за спиной стариков. Затем Скуратов, пытливо приглядевшись к лицу Юсупа, желчно спросил:– Итак, других новостей у вас для меня, стало быть, нет?

– Уй-бой! Какие могут быть новости у степных пастухов и джатаков для большого русского атамана? Мы не знаем про твоего рысака, атаман,– испуганно озираясь на толпу джатаков, сказал старый Юсуп.

– Хитер, хитер, азиат!– сказал, состроив брезгливую гримасу, Скуратов.– Только вот чем бы мне про волков

да про поминки зубы здесь заговаривать, вы бы лучше сказали мне, в каком ауле припрятали барымтачи моего рысака?

– Рысака?!

– Да. Да. Моего рысака. Резвача бурой масти...

– Твоего резвача?! Бурой масти?!

– Да. Да. Бурой масти.

– Степь – свидетель. Мы не видели твоего рысака бурой масти, атаман. Мы совсем ничего про это не знаем. Мы не знаем про твоего рысака, атаман,– испуганно озираясь на толпу джатаков, сказал старый Юсуп.

– Ах, вот как?! Ничего не видели?! Ослепли?! Отлично...– процедил сквозь зубы полковник, злобно рванув поводья и осадив все еще продолжавшего танцевать под ним рысака.

– Уй-бой! Какой такой рысак, атаман? Никакого рысака мы не видали.

– Жок. Жок. Не знаем. Не знаем,– зашумели джатаки.

– Ага. Жок, значит. Не знаете? Ну, хорошо. Хорошо, приятели...– бормотал, задыхаясь от гнева, Скуратов, подтягивая при этом ослабевшую под седлом подпругу. Затем, выпрямившись в седле, полковник обвел испытующим взглядом толпу и спросил:– А может быть, кто-нибудь из вас все-таки скажет мне правду? Для такого храбреца полета рублей не пожалею. Конем одарю. И седло с уздечкой в придачу.

Джатаки молчали.

– Выходит, нет таких храбрецов? Выходит, никто мне не хочет сказать правды?– глухим, но уже предельно накаленным злобой голосом повторил свой вопрос полковник.

Однако и тут ему никто не ответил. Джатаки стояли поникнув, не проронив ни слова и этим доводили полковника до полного бешенства. Он не был убежден, что барымта – дело рук джигитов этого аула. Но он отлично знал, что нет такого секрета в степи, о

котором бы не знали поголовно все ее коренные обитатели – кочевники. Он, немало насоливший на своем веку этим людям, всю жизнь презирая их и считая этот народ ничтожным, трусливым и мстительным, ожидал от них, разумеется, всего. И если у них даже не было бы оснований мстить за что-то ему, все равно он глубоко был убежден в том, что каждый из них, почтительно изгибавшийся в три погибели перед ним при встрече, способен при случае свернуть ему голову. Скользя взглядом по бронзовым от загара, бесстрастным скуластым лицам, Скуратов размышлял о том, как бы сорвать сейчас свою злобу и обиду за похищенную лошадь на этих выстроившихся перед ним людях.

Наконец беспокойный, злобно шныряющий по толпе джатаков взгляд полковника упал на молодого высокого джигита в старой малиновой тюбетейке на выбритой голове. Джигит, которому на вид было лет около двадцати пяти, стоял несколько на отшибе от толпы и, как показалось Скуратову, не совсем дружелюбно и раболепно, вопреки прочим одноаульцам, косил на полковника по-беркутиному зорким оком.

И Скуратов, бегло окинув наметанным глазом высокую, стройную, гибкую фигуру джигита, взглянув на его выразительное, резко очерченное лицо, на его упрямый, энергично выдавшийся подбородок, сразу же почувствовал в этом человеке волевой, твердый, цельный характер и ощутил вспыхнувшую неприязнь к нему. Откуда взялась эта неприязнь – Скуратов не понимал толком и сам. То ли независимая, почти вызывающе спокойная поза, в которой стоял в стороне от толпы джигит, то ли его резко бросившееся в глаза атаману строгое, скупо отсвечивающее задубелым загаром лицо, то ли, наконец, ладно сидевший на его плечах туго перетянутый в талии тяжелым степным поясом ярко-зеленый хотя и потрепанный, но, видать, щегольской бешмет,– черт

его знает что,– но что-то в нем раздражало и бесило Скуратова. И старик, на мгновенье даже забыв о похищенной лошади, вдруг проникся такой, казалось бы, беспричинной и жгучей ненавистью к этому джигиту, точно это был не безыменный, впервые встреченный им пастух, а закоренелый его личный враг, с которым давным-давно искал подходящего случая свести бог весть какие старые счеты разгневанный атаман.

Не спуская с джигита старчески бесцветных глаз и чувствуя, что уже не в силах подавить в себе нарастающей против него злобы, Скуратов крикнул:

– А ты что, у бога теленка съел – в стороне стоишь?! На каком основании там выстроился?!

– А где же мне надо выстраиваться перед тобой, атаман?– спокойно, не без удивления и плохо прикрытого ехидства спросил на русском языке, смутно улыбнувшийся при этом джигит.

– Не знаешь, сукин сын, до сих пор своего места перед начальством?– продолжал Скуратов по-русски.

– А откуда мне знать? Я же степной пастух – не солдат...– ответил джигит по-казахски.

– Ого! Да ты, оказывается, разговаривать еще умеешь?!

– Приходится, атаман. Язык – не лопатка...

– Такие языки с корнем из поганого хайла вырывать надо.

– Трудная работа, атаман.

– Что?! Ничего. Как-нибудь справимся!

– Вам не привыкать...

– Вот именно.

– Только, как это говорится по-русски: на кого нарвешься...

– А у нас еще так говорится по-русски: из молодых, вижу я, ты, джигит, из молодых, да ранний...

– Жаксы – хорошо говорится. Друс – правильно говорится.

– Беркут. Беркут. Высоко паришь, только где ты, тамыр, сядешь? И так еще у нас говорится по-русски.

– Поговорка тоже неплохая. И высоко летать вовсе не худо. С высоты-то беркуту в степи виднее...

– Это правильно. Только смотри, подлец, как бы ниже кур не пришлось опуститься. А ведь пешего-то сокола и воробьи дерут. Смотри, варнак. Гляди в оба!

– А я так и делаю, атаман.

– Ну, то-то! А то ведь в два счета крылья обломаем – не пикнешь.

– Обломаешь беркуту крылья, у него еще когти с клювом останутся – птица злая.

– Молчать!– крикнул не своим голосом полковник. Он был бледен и, с трудом дыша, точно задыхаясь, неожиданно тихо, почти вполголоса, спросил после секундной паузы джигита:– А ты, собственно, кто такой будешь? А?

– Пастух.

– Имя?– коротко спросил атаман.

Джигит молчал. Он стоял, не изменив своей непринужденной и издевательски спокойной позы, ничем не выдавая ни волнения, ни гнева, ни тревоги, и этим доводил Скуратова до предельного бешенства, до судорог в кистях подрагивающих рук.

Скуратов понимал, что дело принимает не совсем выгодный для него оборот, и потому, внутренне собравшись в комок, он выжидающе помолчал, прикрыв отягощенные злобой глаза.

Было тихо.

Не поднимая сиреневых век, Скуратов снова повторил вопрос:

– Отвечай – кто ты такой? Я жду!

Но вместо джигита заговорил старик с патриаршей бородой – прямой и рослый Юсуп.

– Это наш гость,– сказал старый Юсуп в ответ на вопрос полковника, опять не назвав имени Садвакаса.– Это лучший джигит в роду Кугалы. Он пришел в гости к нам из своего далекого аула. Недавно он поборол

самого Котуртага – сильнейшего из прославленных борцов из-за озера Кургальджин. О нем поют все бродячие степные певцы – жирши и акыны... Он молод, глуп и горяч еще, как необъезженный конь в отгуле, и на него не надо кричать и не надо сердиться большому русскому атаману...– заключил старик. И в знак полной покорности он хотел было прикоснуться худыми, длинными пальцами к серебряному стремени всадника и погладить рукой осыпанное мелким жемчугом пота бедро его нервного и такого же злого, как и всадник, коня.

– Пошел прочь, собака!– крикнул Скуратов и с такой силой брезгливо ткнул тупым носком сапога в тощую грудь Юсупа, что тот, всплеснув над головой длинными, как у привидения, худыми руками, плашмя грохнулся навзничь и, поперхнувшись подобием крика, притих, смежив глаза.

И не успел еще Скуратов снова разинуть пересохший от злобы рот, как джигит в малиновой тюбетейке, ринувшись к нему, с такой силой стиснул цепкими своими костлявыми пальцами поводья коня, что жеребец пугливо шарахнувшись в сторону, присмирел, зябко подрагивая от напряжения.

И в это мгновенье и полковник, привставший на стременах, и джатак, схвативший под уздцы его коня,– оба стояли друг против друга неподвижно и молча, как изваяния.

Замерла точно привставшая на цыпочки толпа джатаков, глазевших на эту немую сцену.

Секунда – и Скуратов, впившись правой рукой в посеребренный эфес своей сабли, рывком вырвал клинок. Голубая молния изогнутого стального лезвия ослепительно блеснула в раскосых глазах кочевников и на мгновение застыла в воздухе над головой атамана.

Все замерли.

Невольно съежившиеся, втянувшие головы в плечи джатаки смотрели глазами, полными ужаса и реши-

мости, на Садвакаса. И сделай бы он в этот момент одно малейшее движение сопротивления, рванись в сторону или оборонись поднятой кверху рукой, Скуратов – это было всем ясно – раскроил бы обнаженным клинком его досиня выбритый, прикрытый малиновой тюбетейкой череп. А рука в таких случаях у полковника не приучена была к промахам и не дрожала.

Полковник, развернувшись в плечах и слегка накренившись всем корпусом набок, уже приготовился для удара, но, встретившись со спокойным, холодным взглядом джигита, мгновенно утратил граничившую с безумием решимость и медленно опустил отяжелевший вдруг, точно налившийся ртутью, клинок.

Что с ним случилось – старый Скуратов не понимал в эту минуту и сам. Во всяком случае, не страх и не безволие испытывал он, глядя на огрубевшие от ветров острые скулы джигита и на всю его прямую, собранную фигуру,– нет, здесь не было места ни безволию, ни страху. Что же касается того непривычного ощущения, которое он испытывал сейчас, то оно, скорее всего, было близко к тому страшному равнодушию, к той внутренней опустошенности и физической усталости, какая бывает свойственна человеку в минуты тяжелого шока.

На секунду Скуратов как будто даже утратил понятие о реальном. Он плохо соображал сейчас, где он и что с ним. И только резко прозвучавший в накаленной тишине тяжелый вздох с трудом поднявшегося с земли старца вернул полковника к действительности. Оглянувшись, он увидел, как двое юрких подростков, вынырнув из толпы кочевников, подхватили старика под руки и почти волоком потащили в ближайшую ветхую юрту.

Тогда джигит в малиновой тюбетейке, глянув в упор на побледневшее лицо Скуратова, спросил его по-казахски:

– За что ты ударил старика, атаман?

Полковник, покусывая свои тонкие бескровные губы молчал. Он не в силах был вымолвить слова.

Находившийся все это время позади Скуратова словно пристывший к седлу Авдеич был сам не свой от пережитых им минут. Он-то отлично видел, какой неукротимой злобой и ненавистью горели покосевшие от решимости глаза кочевников, и понимал, чем могло все это кончиться, если не для него, так, по крайней мере, для его барина, окруженного готовыми на все кочевниками. И вот сейчас, улучив удобную минуту, Авдеич, подскочив на своем резваче к полковнику, торопливо шепнул ему:

– Богом прошу, ваше высокоблагородие, уйдем от греха подальше. Богом прошу...

И Скуратов, точно очнувшись, поднял свои остекленелые бесцветные глаза на драбанта, резко повернув коня, пришпорил его и, не оборачиваясь назад, поскакал прочь.

Вслед за полковником, поминутно озираясь на неподвижно стоявших позади джатаков, полетел ни живой ни мертвый, втянув голову в плечи, и Авдеич.

21

Станичные власти во главе с атаманом Муганцевым и в присутствии понятых – школьного попечителя Корнея Вашутина, фон-барона Пикушкина и вахмистра Дробышева – начали опись имущества у разжалованных казаков с Агафона Бой-бабы. Атаман в сопровождении трех понятых и целого полувзвода вооруженных шашками обходных явился в избушку Агафона Бой-бабы утром, застав Агафона с семейством за чаепитием.

– Ну хватит, почаевничали. Кончай базар,– сказал фон-барон Пикушкин, с ходу взявшись за старенький, но ярко начищенный самовар.

Не понимая в чем дело, четверо малолетних внучат Агафона – детей без вести пропавшего на фронте сына Бой-бабы – изумленно и испуганно таращили на непрошеных гостей свои большие светлые глаза, не зная еще толком, реветь им или удивляться.

Между тем, схватив со стола бурно кипящий самовар, фон-барон потащил его из избы. А маленькая, сухая, похожая на подростка старуха Агафона Маркеловна тут же бросилась перед атаманом Муганцевым на колени и, задыхаясь от воплей и причетов, начала цепляться своими заскорузлыми, негнущимися пальцами за высокие лакированные голенища муганцевских сапог и целовать пыльные их шагреневые носки.

Муганцев брезгливо оттолкнул старуху и сел к столу напротив примостившегося на лавке писаря Скалкина, принявшегося за составление протокола.

Попечитель Корней Вашутин с вахмистром Дробышевым, открыв старенький, окованный медными ленточками сундучишко, бесцеремонно выбрасывали из него на пол всякое тряпье – нехитрые праздничные и будничные наряды снохи Агафона, молчаливой, равнодушно смотревшей на белый свет, рано постаревшей Домны, рубашонки и застиранные ситцевые платьишки ее четверых ребят.

С брезгливым видом перебирая все эти тряпки, Корней Вашутин говорил, поглядывая на писаря:

– Пиши. Три сатинетовых платья. Одно – с кружевной пелеринкой. Два – с оборками...

– Цена какая, Корней Маркыч?– спрашивал писарь.

– Пиши. Пиши. Ценить потом будем,– строго сказал Муганцев.

– Дальше,– продолжал Корней Вашутин.– Фланелевое одеялишко. Три ситцевых наволочки. Кружевная бабья фаниженка – модный платок.

Все четверо агафоновских внучат, один одного меньше, столпившись вокруг открытого сундука, с

любопытством поглядывали на тыловую сторону его крышки, украшенную цветными картинками из конфетных и чайных оберток.

Агафон, услужливо уступив свое место атаману Муганцеву, сам стоял теперь возле печки и такими же тупыми, безучастными глазами, какими смотрела на все происходящее в избе его сноха, глядел на бесцеремонно роющихся в тряпье понятых и на задыхавшуюся от плача старуху. Маркеловна, бессильно опустившись на лавку, обхватила свою седую взлохмаченную голову руками, выла, покачиваясь из стороны в сторону, точно страдая в эти минуты от приступа чудовищной зубной боли.

– Сколько за ним недоимок числится в казначействе?– кивнув в сторону Агафона, строго спросил писаря атаман Муганцев.

– По шести казначейским книгам – семьдесят три рубля двадцать восемь копеек, господин атаман,– ответил писарь.

– Да, должок с походцем. А имущества – кот наплакал,– сказал фон-барон.

– Всех их с гамузом продать – не рассчитаться,– сказал вахмистр Дробышев, кивая на присмиревших около сундука и с любопытством глазевших на цветные картинки ребятишек.

– Ну, там – сколько хватит. А прощать казначейские долги такому народу мы не будем,– сказал атаман Муганцев.

– А как же с избой?– спросил фон-барон Муганцева.

– Что как? Известно – в опись. У тебя живность какая-нибудь в хозяйстве водится?– спросил Муганцев, обращаясь к Агафону.

– Кака така живность. Последнюю коровешку на масленке продали,– ответил за тупо молчавшего Агафона фон-барон.

– А птица? Ить у него полдюжины кур,– крикнул из-за дверей вышедший для осмотра двора вахмистр Дробышев.

– Пиши. Пиши и кур,– сказал озадаченному писарю Муганцев.

Недоимки по шести казначейским книгам, о которых говорил писарь Скалкин, числились за Агафоном Бой-бабой уже около пяти лет, со времени проводов его без вести пропавшего теперь на фронте сына Феоктиста на действительную службу в полк. И конь и обмундирование для Феоктиста были приобретены на деньги, выделенные из казначейства, которые он, Агафон, как отец, служивого казака, обязан был погасить в течение пяти лет с уплатой известного установленного указом наказного атамана процента. Все надежды на уплату этих недоимок возлагал Агафон, как и всякий бедный казак, на земельный надел Феоктиста. Но земля, доставшаяся служивому казаку при разделе войсковых пашен, оказалась суглинистой, и сбыть ее с рук, даже по дешевке, Агафону не удалось. Строевой конь, на котором уходил в полк Феоктист, сдох на второй же месяц после возвращения служивого казака в станицу. Четыре года после возвращения из полка батрачил сын Агафона Феоктист вместе с Домной по чужим хозяйствам. Всеми правдами и неправдами норовила за все эти годы семья Агафона сколотить лишнюю трудовую копейку, чтобы расквитаться с казначейством. Но выходило все как-то так, что недоимки обгоняли доходы, и выбраться из долгов и нужды семейство так и не сумело. А тут, как снег на голову, война. Снова пришлось кланяться в ножки станичному обществу и выпрашивать вспомоществование для сборов сына на фронт.

Так вот и шло одно к одному и рвалось, как говорится, там, где было тонко. А теперь вот заметалось подчистую последнее, что было нажито за долгие годы скупой на радости жизни каторжным, пропитанным кровью и потом трудом.

Больше всего сейчас убивало почему-то Агафона то обстоятельство, что у него забрали со стола горячий

самовар. Он не думал ни об избе, подлежавшей теперь продаже с молотка на общественном торге, ни о бедном своем подворье, ни об остальном каком-никаком имуществе. И только при мысли о самоваре сердце его обливалось кровью и в глазах тускнел божий свет. Как и большинство людей, Агафон в минуты душевного потрясения не кричал, не плакал, не протестовал, а стоял оглушенный бедой, безучастный ко всему на свете, в том числе и к задыхавшейся от причетов Маркеловне.

Покончив с описью в хозяйстве Агафона Бой-бабы, Муганцев в сопровождении понятых и наряда обходных пожаловал во двор Архипа Кречетова. Архип встретил станичные власти громким, нервически восторженным криком. Выскочив из-за стола навстречу представителям станичной власти, Архип, разбросив руки, крикнул:

– А-а, явились?! Прошу пожаловать. Едва, воспода станишники, вас дождался...– И он, сорвав со стола старенькую, прожженную самоваром клеенку, швырнул ее под ноги Муганцеву, а затем начал бросать под ноги понятым все, что попадалось под руку: зипун, сорванный с вешалки, старенькую шлею с медным набором, подшитые валенки, залатанный на локтях форменный свой полковой мундир.

– Да ты тихо, браток! Не дури. Мы сами знаем, что нам понадобится!– попробовал прикрикнуть на Архипа Муганцев.

– Ну нет. Извиняйте на этом!– кричал запальчиво Архип.– Ежли описывать – забирайте все подчистую. Все. До нитки. У меня чтобы завтра в дому – хоть шаром покати. Мне для нашего войска последних штанов не жалко. Трех сыновей не пожалел. Праведной кровью собственных чад пожертвовал. А теперь для меня – все едино. Не казак я больше в своей станице. Не житель. Все прахом. Как после пожара – дотла!

– Не казак, говоришь! В варнаки захотелось?– крикнул с порога фон-барон Пикушкин.

– Правильно, фон-барон. В варнаки. Мне ить одна теперь дорога!– продолжал кричать Архип Кречетов, кидая из кухни к ногам понятых оцинкованные тарелки, ухваты, чугунки и поварешки.

Муганцев шепнул обходным:

– Взять его.

Четверо здоровенных бородачей, гремя болтавшимися на них шашками, бросились было к Архипу Кречетову. Но он, вооружившись кочергой, отпугнул от себя растерявшихся обходных и, не выпуская кочерги из рук, пулей вылетел из избы на улицу. Обходные, погнавшиеся было вслед за Архипом, были остановлены Муганцевым.

– Никуда он не денется. Пусть побеснуется. А вы сторожите дом, пока мы закончим здесь опись,– приказал атаман.

Старуха Архипа Кречетова – Агафья Федосеевна, рослая, строгая и властная по виду женщина с лицом игуменьи, в отличие от мужа, не проронила ни слова. Скрестив на груди руки, она молча взирала на понятых, занявшихся своим делом, и атаман Муганцев, случайно столкнувшийся с ее неподвижным, точно пронзавшим его насквозь взглядом, не смел теперь поднять на нее своих глаз, как не смели этого сделать, впрочем, и все остальные представители власти, присутствующие при этом нечистом деле.

К вечеру этого дня опись имущества всех казаков, лишенных по приговору выборных станицы казачьего звания и подлежащих выселению из станицы, была закончена. Не удалось станичному атаману и понятым, несмотря на дополнительный наряд вооруженных обходных, произвести опись только в совместном хозяйстве братьев Кирьки и Оськи Карауловых. Когда понятые со взводом обходных, вывернув из переулка,

направились было к пятистенному дому Карауловых, фон-барон, вдруг опешив, крикнул:

– Стоп, воспода станишники. Тут ить кровопролитием пахнет.

И атаман Муганцев, окруженный толпою обходных и понятых, тоже опешил, увидев выстроившихся у ворот карауловского поместья двух долговязых братьев Кирьку и Оську с жердями в руках. Держа жерди, как копья, Кирька с Оськой стояли в воротах в позах неприступных, угрожающе строгих, почти торжественных, точно в почетном карауле...

Не рискуя приблизиться к братьям Карауловым ближе десяти саженей, Муганцев, картинно подбоченясь, крикнул:

– Это что же, сопротивление властям?

– Похоже на это, восподин атаман,– прозвучал в ответ мрачный голос Кирьки.

– А если мы это сопротивление сломим?– полуугрожающе проговорил атаман.

– Попробуйте. Мы к рукопашному бою готовы,– ответил Кирька, внушительно приподняв при этом над головой свою жердь.

За спиной Муганцева вполголоса запереговаривались обходные:

– Ну их к язве. Ить против их, варнаков, на верную гибель идти.

– Куды там– прямое смертоубийство.

– Правильно. Лучше с ними не связываться.

– Вот именно. Ну их к холерам...

– Пошли-ка, братцы, домой – от греха подальше. Почувствовав замешательство среди обходных и понятых, Муганцев не решился на приступ карауловского дома.

– Ну хорошо. Поговорим с вами, братцы, в другом месте!– угрожающе крикнул Муганцев братьям Карауловым и повернул в сопровождении своей свиты от карауловского двора в станицу.

В сумерках немного подвыпившие братья Карауловы мирно сидели рядком на завалинке около своего дома и вполголоса очень стройно и ладно напевали горькую песню про обездоленного казака. Светлый и чистый подголосок Кирьки выносил:

На горе я, казак, родился,
На горе вырос сиротой.

А густой и сочный басок Оськи стройно вторил брату:

На горе на свет появился
Своею буйной головой.

Стоял задумчивый, тихий вечер, и далеко во всех краях станицы слышна была в этот час негромкая карауловская песня:

Вот ворон каркнул на березе.
На службу сборы подошли.
Коней другие заседлали,
А мне чужого подвели.
Чужой мой конь. Чужая шапка,
Чужа попона в тороках.
Не вьется чуб в чужой фуражке,
Не скачет плеть в моих руках.
Отбыл я срок. Пришел в станицу.
Других встречают у ворот,
А я не знаю, где склониться,
Куда мне сделать поворот.
Меня встречает горька участь –
Чужой кусок, чужа вода,–
Пока в нужде я не замучу
Все свои буйные года.

Было уже совсем темно, когда к дому Карауловых собрались мало-помалу все разжалованные казаки, скликанные невеселой карауловской песней. Примостившись на бревнах, опальные соколинцы курили, вполголоса переговаривались:

– Ну вот и дожились мы, воспода старики, до тюки – ни хлеба, ни муки.

– Да, дострадовались – податься некуда.

– Как некуда? Наказному атаману прошенье надо послать.

– Теперь наказных нету. Ить это у нас, дураков, ишо атаман держится.

– Добрые люди самого царя с престола спихнули – не побоялись, а мы перед станичным атаманом трусим.

– Силы в нас мало, воспода станишники. Вот задача.

– Хорошенько присмотреться – хватит.

– Это к кому же присматриваться? Как будто все налицо...

– Есть и такие, которых не видно,– многозначительно крякнув, сказал Кирька Караулов.

– Во как?! На кого намекашь, Киря?– заметно оживляясь, спросил Агафон Бой-баба.

– Знам, знам, на кого положиться,– все тем же многозначительным тоном произнес Кирька.

– Ну и што дальше?

– Только бы народ сколотить, а там будет видно, што делать,– уклончиво ответил Кирька.

– Да о каком народе речь-то – толку не дам,– не унимался Агафон Бой-баба.

– А дезертиры – это тебе не народ? Это тебе – не наши суюзники?!– сказал с ожесточением Кирька.

– Каки таки дезертиры?

– А те самые, што по хуторам да отрубам хоронятся...

– Это чалдоны-то?

– Хотя бы и так.

– Тоже мне, нашел суюзников!

– А кака така разница?

– А така, што нам, казакам, с мужиками не по пути.

– Да ить ты же не казак теперь, а такой же чалдон, как и все новоселы!– насмешливо воскликнул Оська Караулов.

– Нет, извиняйте, братцы. Я был казаком, казаком и остался,– запальчиво проговорил Агафон Бой-баба.

– Не в этом дело, братцы. Казак ли, чалдон ли ты, а планида нам падат теперь одна – постоять за свою беднейшую нацию грудью,– прозвучал рассудительный голос Кирьки.

– Это каким же манером?– заинтересованно спросил вполголоса Агафон Бой-баба.

– Манер известный – свернуть голову станичному атаману, и квиты,– сказал Оська Караулов.

– Свернуть голову атаману – дело нехитрое. А потом што?

– А потом своего атамана поставим – и вся недолга. Сами собой будем руководствовать, а не в пуп ермаковцам глядеть. Понятно?– спросил притихших вокруг соколинцев Кирька.

– Рисковое дело,– сказал, вздохнув, Архип Кречетов.

Помолчали.

22

На другой день после похищения барымтачами конского косяка попечитель Корней Вашутин разыскал своего работника, узкоглазого и рябого Кузьму, на берегу курьи. Связанный по рукам и ногам волосяным арканом, парень лежал в густой осоке в полубессознательном состоянии. Он смотрел на хозяина своими тусклыми, словно подернутыми пеплом глазами, не отвечал на его вопросы, а только беспомощно жевал спекшимися от жажды искусанными губами. Взвалив пастуха на бричку, Корней Вашутин вернулся на полном карьере в станицу и взбулгачил народ.

– По коням, братцы!– кричал, стоя на своем крылечке, Корней Вашутин столпившимся вокруг него станичникам.– Ударим в нагон, воспода станишники, по горячему следу за барымтачами. Никуда они от нас не уйдут. Наши будут!

– А в какую сторону удариться, восподин попечитель? В степи не одна дорога?..– крикнул фон-барон Пикушкин.

– Известно в какую – в аулы.

– Аулов много.

– Аулов много – орда одна.

– Правильно. Правильно. В погоню!– ревели взбесновавшиеся ермаковцы.

А через полчаса около взвода всадников, вооруженных шашками, бородатых, возбужденно горланивших казаков, толпилось в беспорядке около станичного правления, и вахмистр Дробышев, гарцуя на своем маштачке, лихо размахивал обнаженным клинком, отдавая команду:

– Стройся, стройся в шеренгу, воспода станишники. Не на ярманку – в поход собрались.

Построившись по шести в ряд, всадники замерли по команде смирно, когда на крыльце станичного правления появился Муганцев в сопровождении пристава Касторова, бледного и распухшего от запоя, утратившего былую военную выправку старика.

Вахмистр Дробышев, привстав на стременах, отрапортовал атаману:

– Взвод добровольцев готов к экспедиции.

– С богом. Желаю успеха, братцы. Надеюсь, робеть не станете, старички,– сказал Муганцев, пристально вглядываясь в бородатые лица лихо сидевших в седлах престарелых казаков.

– Старый конь борозды не портит!– крикнул в ответ на напутствие атамана правофланговый фон-барон.

– Вот именно. Не казаки – гвардия!– сказал пристав Касторов, подмигнув картинно подбоченившемуся в седле вахмистру.

– Справа – по два. Взвод – за мной!– скомандовал Дробышев и, пришпорив своего маштачка, повел на рысях мгновенно перестроившуюся шеренгу всадников через площадь, за крепостные валы, в степь.

Как ни быстро продвигался казачий разъезд по степям, а узун-кулак – длинное ухо – опередило всадников. И во всех окрестных аулах к вечеру этого знойного и мглистого дня было уже известно об отряде вооруженных саблями казаков, ринувшихся на розыски конского косяка, похищенного в минувшую ночь барымтачами.

– Хабар бар ма?– спрашивал один степной путник другого.

– Хабар бар. Девятнадцать всадников мчатся степью на наши аулы и машут саблями.

Когда в ауле джатаков стало известно о приб-лижении казачьего взвода, пастухи и подпаски, собравшись в юрте слепого Чиграя, возбужденно шумели.

– Пусть уходят все наши дети и женщины в камыши!– кричали одни.

– У нас есть ружья. Не пускать казаков в аул!– кричали другие.

– А при чем здесь мы? Пусть ответит за все сам Альтий!– кричали третьи.

– Альтия они об этом не спросят. Они спросят нас. И мы им должны ответить,– сказал Садвакас, гневно сверкнув своими темными, слегка раскосыми глазами.

– Что мы ответим им?– спросил Сеимбет.

– Проведите меня до холма Кзыл-Жар и поставьте лицом к девятнадцати русским всадникам. Я встречу их у холма, и я скажу им всю правду,– прозвучал спокойный, приглушенный голос слепого Чиграя.

– Какую же правду скажешь ты им, аксакал?– спросил Садвакас Чиграя.

– Я скажу им о том, кто похитил их лошадей и где скрываются сейчас эти кони.

– Воля твоя, аксакал, но русские не поверят тебе и плюнут в твое лицо, если ты назовешь им имя Альтия,– сказал Садвакас.

– Да, аксакал. Русские не поверят тебе, если ты назовешь им имя Альтия. Ты стар, и твое место в юрте.

Встретить русских – дело джигитов. И мы встретим их,– прозвучал голос пастуха Сеимбета.

– Нет, нет, джигиты. Ведите меня на холм. Не оставляйте меня одного. В этот час я хочу быть вместе с моим народом. Я хочу быть с вами, мои джигиты,– повелительно и властно сказал слепой Чиграй, простирая перед свои худые, тонкие руки.

И двое джигитов, взяв под руки старика, вывели его из юрты. Выйдя на волю, Чиграй настороженно прислушался к степной тишине, а затем тихо спросил:

– Ты здесь, Садвакас?

– Я здесь, аксакал.

– Тебе нельзя ходить с нами. Русские могут узнать тебя, и тогда будет худо. Уходи в камыши, где прячутся наши женщины и дети,– сказал Чиграй, касаясь своими трепетными пальцами груди Садвакаса.

– Нет, нет, аксакал. Я не могу прятаться в камышах вместе с женщинами и детьми. Я останусь вместе с джигитами,– решительно заявил Садвакас.

И Чиграй, вдруг насторожившись, прислушавшись к чему-то, глухо проговорил:

– Я слышу, гудит земля от конских копыт. Они идут к нашему аулу.

Но джатаки, напрягая слух, не уловили ничего, кроме далекого и печального детского плача, который то возникал, то замирал в дремучих камышах займища. Между тем Чиграй вновь повторил:

– От конского топота стонет земля. Они идут. Ведите меня. Ведите.

И джигиты, окружив Чиграя, двинулись в сторону холма Кзыл-Жар. Поднявшись на холм, джатаки увидели зыбкое облако пыли над трактом, а через мгновенье – и кавалькаду всадников, стремительно мчавшихся в развернутом строю на аул с обнаженными саблями. Жаркое солнце, дробясь, искрилось в клинках. Земля гудела, как барабан под дробными

Как ни быстро продвигался казачий разъезд по степям, а узун-кулак – длинное ухо – опередило всадников. И во всех окрестных аулах к вечеру этого знойного и мглистого дня было уже известно об отряде вооруженных саблями казаков, ринувшихся на розыски конского косяка, похищенного в минувшую ночь барымтачами.

– Хабар бар ма?– спрашивал один степной путник другого.

– Хабар бар. Девятнадцать всадников мчатся степью на наши аулы и машут саблями.

Когда в ауле джатаков стало известно о приб-лижении казачьего взвода, пастухи и подпаски, собравшись в юрте слепого Чиграя, возбужденно шумели.

– Пусть уходят все наши дети и женщины в камыши!– кричали одни.

– У нас есть ружья. Не пускать казаков в аул!– кричали другие.

– А при чем здесь мы? Пусть ответит за все сам Альтий!– кричали третьи.

– Альтия они об этом не спросят. Они спросят нас. И мы им должны ответить,– сказал Садвакас, гневно сверкнув своими темными, слегка раскосыми глазами.

– Что мы ответим им?– спросил Сеимбет.

– Проведите меня до холма Кзыл-Жар и поставьте лицом к девятнадцати русским всадникам. Я встречу их у холма, и я скажу им всю правду,– прозвучал спокойный, приглушенный голос слепого Чиграя.

– Какую же правду скажешь ты им, аксакал?– спросил Садвакас Чиграя.

– Я скажу им о том, кто похитил их лошадей и где скрываются сейчас эти кони.

– Воля твоя, аксакал, но русские не поверят тебе и плюнут в твое лицо, если ты назовешь им имя Альтия,– сказал Садвакас.

– Да, аксакал. Русские не поверят тебе, если ты назовешь им имя Альтия. Ты стар, и твое место в юрте.

Встретить русских – дело джигитов. И мы встретим их,– прозвучал голос пастуха Сеимбета.

– Нет, нет, джигиты. Ведите меня на холм. Не оставляйте меня одного. В этот час я хочу быть вместе с моим народом. Я хочу быть с вами, мои джигиты,– повелительно и властно сказал слепой Чиграй, простираяв перед свои худые, тонкие руки.

И двое джигитов, взяв под руки старика, вывели его из юрты. Выйдя на волю, Чиграй настороженно прислушался к степной тишине, а затем тихо спросил:

– Ты здесь, Садвакас?

– Я здесь, аксакал.

– Тебе нельзя ходить с нами. Русские могут узнать тебя, и тогда будет худо. Уходи в камыши, где прячутся наши женщины и дети,– сказал Чиграй, касаясь своими трепетными пальцами груди Садвакаса.

– Нет, нет, аксакал. Я не могу прятаться в камышах вместе с женщинами и детьми. Я останусь вместе с джигитами,– решительно заявил Садвакас.

И Чиграй, вдруг насторожившись, прислушавшись к чему-то, глухо проговорил:

– Я слышу, гудит земля от конских копыт. Они идут к нашему аулу.

Но джатаки, напрягая слух, не уловили ничего, кроме далекого и печального детского плача, который то возникал, то замирал в дремучих камышах займища. Между тем Чиграй вновь повторил:

– От конского топота стонет земля. Они идут. Ведите меня. Ведите.

И джигиты, окружив Чиграя, двинулись в сторону холма Кзыл-Жар. Поднявшись на холм, джатаки увидели зыбкое облако пыли над трактом, а через мгновенье – и кавалькаду всадников, стремительно мчавшихся в развернутом строю на аул с обнаженными саблями. Жаркое солнце, дробясь, искрилось в клинках. Земля гудела, как барабан под дробными

ударами тяжелых кованых конских копыт. Заметив столпившихся на холме кочевников, вахмистр Дробышев взмахом сабли подал казакам сигнал спешиться. И всадники, как сдутые ветром с седел, передав лошадей коноводам, тотчас же окружили джатаков. Вогнав свой клинок в ножны, вахмистр Дробышев, угрожающе размахивая плетью, подскочил к прямому и неподвижному Чиграю, заорав во всю глотку на него:

– Ты здесь за старшего? Отвечай кратко, где наши кони?

И Чиграй, протянув вперед руку, сказал:

– Не кричи, атаман. Я скажу тебе правду. Лошадей ваших надо искать в ауле Альтия.

– Врет он, кобель!– крикнул фон-барон Пикушкин.

– Я стар, и мне незачем говорить неправду. Не джатаки – джигиты Альтия угнали ваших коней, казаки,– вновь прозвучал твердый и четкий голос слепого Чиграя.

Но станичники закричали, перебивая один другого:

– Не верьте ему, собаке!

– Тоже мне, валит с больной головы на здоровую...

– У Альтия свои табуны – степи ломятся.

– Альтий своим косякам счету не знат.

– Да ить он первейший мой друг, мой тамыр. Рази мысленно это дело – клепать на такого киргиза?!– кричал, колотя себя в грудь, фон-барон Пикушкин.

– Што там на их смотреть, воспода станишники. Бей конокрадов!

– Пустите меня, я ему дам по харе!– брызгая слюной, задыхался от крика, прорываясь к неподвижно стоящему на холме слепому Чиграю, приемный сын фон-барона Терентий Пикушкин.

Вдруг где-то совсем рядом прогрохотал выстрел. Это укрывшийся в прибрежной осоке Садвакас, для того чтобы отвлечь внимание озверевших казаков от зажатых в кольцо беспомощных и перепуганных джатаков, решил дать выстрел из дробовика и достиг

своей цели. Казаки, окружившие пастухов и уже готовые было ринуться на них с обнаженными саблями и плетьми, опешили.

– Братцы, ить это по нам лупят!– крикнул вахмистр Дробышев и ринулся со всех ног к лошадям, порученным коноводам. Следом за вахмистром бросились казаки.

– По коням! По коням!– скомандовал вахмистр Дробышев, ловко прыгая на своего маштачка.

Казаки, спешно разбирая поводья, быстро повскакивали на своих коней. А пастухи и подпаски, воспользовавшись поднявшейся среди казаков суматохой, бросились врассыпную к аулу.

Между тем Садвакас, зорко наблюдавший за всем происходившим, дал один за другим еще два выстрела из дробовика по сбившейся в кучу конной кавалькаде, легко ранив под одним из казаков нервную, беснующуюся лошадь. Раненный в заднюю холку конь, закусив удила, понес казака в степь, а остальные всадники, беспорядочно заметавшись вокруг вахмистра Дробышева, кричали:

– Убийство!

– По нам из ружей палят!

– Под беглый огонь, братцы, попали...

Вахмистр Дробышев, вырвавшись наконец из кольца, беснующихся вокруг него всадников, привстав на стременах, завопил:

– Смирно, туды вашу мать! Слушай мою команду. За мной! С нами бог!

– Ура!– прозвучал воинственный клич фон-барона Пикушкина.

И станичники, придя наконец в себя, ринулись на полном карьере вслед за своим командиром. Заметив по дыму от выстрелов, что стреляли по ним из курьи, вахмистр, бросив своих всадников врассыпную, решил окружить курью и пойти на укрывшихся в осоке противников в рукопашную атаку.

– Шашки к бою! За мной!..– крикнул, лихо взмахнув своей саблей, вахмистр рассыпавшимся за ним казакам.

Раздробившаяся по увалу конная лава, сверкая на солнце обнаженными клинками, стремительно покатилась вниз, к покрытому густой и рослой осокой берегу займища, где лежал за одной из кочек Садвакас. Садвакас не сводил глаз с вахмистра Дробышева, мчавшегося на полном карьере прямиком на него. Заложив дрожащими руками в ствол последний патрон, Садвакас прицелился в голову вахмистра и, забыв в эту минуту обо всем на свете, ждал удобной секунды для верного выстрела. Но выстрелить он не успел. Не сводя своих прослезившихся от напряжения глаз с вахмистра, Садвакас не заметил налетевшего на него с тыла всадника и не сразу сообразил, как случилось, что он оказался в мгновение ока под русским бородачом. Изловчившись, Садвакас сбросил с себя навалившегося станичника и, вскочив на ноги, пытался скрыться в камыши.

– Держи его, варнака!

– Не уйдет, азиат!

– Рубани его по бритой башке!

– Обходи, обходи его сбоку, братцы!– доносились со всех сторон до Садвакаса разъяренные вопли наседавших на него русских всадников.

Напрягая последние силы, Садвакас продолжал бежать среди густого рослого камыша, как сквозь зеленое пламя бушующего вокруг него огня, обжигающего его полуобнаженное тело. Кровь ударила ему в голову, и сердце стучало с такой силой в грудную клетку, что каждый удар его отдавался чудовищной болью, и Садвакасу казалось, что он мгновениями терял сознание. Вдруг, ощутив короткий тупой удар в спину, Садвакас слегка присел, пытаясь схватиться простертыми вперед руками за стебли камыша. И тотчас же ослепительно-яркий свет вспыхнул и померк

в его глазах, и он, рухнув в камыш, ничего уже не ощущал теперь кроме оглушительного шума в голове, точно проваливаясь в какую-то бездну...

А минут пять спустя, когда спешившиеся станичники окружили неподвижно лежавшего в камышах джигита с тревожным любопытством приглядываясь к его бронзовому лицу, фон-барон изумленно воскликнул:

– Воспода станишники, да ить это наш старый тамыр – Садвакас!

– Што ты говоришь?

– Богом клянусь, он, собака.

– Так точно. Его обличье,– подтвердил, пристально вглядевшись в лицо неподвижно лежавшего с закрытыми глазами джигита, Корней Вашутин.

– Вот это да! Вот это улов, братцы!– сказал вахмистр Дробышев.– Теперь все, как божий день, ясно. Вяжите его, подлеца, по рукам и ногам да в станицу. А за такую птицу они нам не один косяк приведут.

– Это как пить дать – приведут,– сказал утвердительно фон-барон Пикушкин.

И станичники расторопно скрутили волосяными чумбурами по рукам и ногам Садвакаса, затем погрузили его плашмя на коня одного из станичников. Кавалькада двинулась всем скопом прочь из аула по направлению к станице.

23

Около двух недель пробирался Иван Сукманов с товарищами на восток. Стороной, бездорожьем, окольными путями выходили они из фронтовой зоны в глубокий тыл. Позади оставалась, навсегда уходила в прошлое страшная, затавренная кровью, заклейменная огнем и пороховым дымом фронтовая жизнь. Для этих людей война была окончена. Они шли туда, где призывно пылали по утрам высокие факелы предвесенних зорь и откуда доносились серебряные

трубные звуки залетных степных ветров. Там ждала их иная, мирная жизнь. Там были желанные покой и отдых. Там были их семьи и пашни, в тоске по которым изболелись их души, привыкшие к нелегкому, но радостному земледельческому труду.

Шли ребята с опаской. Побаивались, как бы не напороться на заградительные кавалерийские разъезды или – еще хуже – попасть под беглый огонь вполне возможной погони. Дезертиры они были как-никак не простые. Славы наделали на весь свой полк, если не на всю армию. И двоим из них, подвернись они под горячую руку военно-полевого суда, грозила верная пуля, а в лучшем случае – лишение казачьего звания, штрафные роты и снова фронт. Вот почему и не рисковали они тронуться по проторенной дезертирской дорожке, что вела от позиции к ближайшему железнодорожному полотну, где без особого труда можно было прицепиться к любому воинскому эшелону и рвануть, благословясь, без оглядки в глубокий тыл. Но рисковать башкой после трех лет войны не хотелось. Вот почему и пробирались они через Пинские болота на Минск глухими, окольными тропами. Путь был не легкий. Ориентировались местами по карте-десятиверстке, местами пробирались с хитрецой да оглядкой по лесным, заболоченным дебрям Полесья при помощи подвернувшихся под руку проводников.

Питались первое время скудными запасами из позиционного пайка, выданного за несколько дней до побега,– галетами и заплесневелыми сухарями, некогда присланными тыловыми патриотами в дар русским воинам. А на десятый день пути, когда были заметены в ладонь из походных сум и поровну разделены между всеми последние крохи фронтового продовольствия, спутникам пришлось переходить на подножный корм. Грызли они и древесную кору, и сыромятные ремни от ранцев – всяко бывало. Спали тоже – где и как

приходилось: и в полуразрушенных артиллерийским огнем сторожках на кордонах лесных стражников, и в заброшенных позиционных укреплениях, и в наскоро вырытой где-нибудь на лесной опушке снежной берлоге. Словом, приходилось туговато. Да народ был тертый, каленый, крутой, ко всему привычный. А уж коли дело дошло до самовольного возвращения с фронта, то уж вряд ли можно было страшиться дорожных невзгод, измора или стужи! Вот и шли они, упрямо шагая на восток, злые от голода, молчаливые от бесстрашия, суровые от решимости. Шли, потеряв счет дням и ночам, перепутав числа, забывая порой обо всем на свете и помня только об одном– о далекой родной стороне.

Их было трое. Все однополчане и земляки. Иван Сукманов и Яков Бушуев все три года войны воевали в одном полку, а третий – Денис Поединок вернулся в полк после длительного излечения в госпитале к исходу второго года войны. Около года промыкались Иван, Яков и Денис на одной и той же позиции, а война и чужбина так их сроднили и сблизили, что теперь и водой их было не разлить.

После истории с прокламациями Якову Бушуеву с Иваном Сукмановым ничего больше не оставалось делать, как только бежать с фронта. Яков не мог не посвятить в свои замыслы Поединка.

А Поединок не мог отстать от Якова.

Между тем ни Яков Бушуев, ни тем более Денис Поединок даже и не подозревали о том, что побег этот был продуман и подготовлен в деталях не кем иным, как Иваном Сукмановым задолго еще до событий, связанных со знаменитыми листовками. Оба сукмановских спутника решительно ничего не знали о том, что вот уже около полугода Иван Сукманов был тесно связан с одной из нелегальных фронтовых большевистских организаций и что всего-навсего за неделю до всех этих событий ему было поручено развернуть

широкую революционную агитацию в 4-м Сибирском казачьем полку. Полк этот до сих пор считался наиболее реакционным в 10-й армии, а потому действовать надо было здесь с особой осторожностью и тактом, да и не кому иному, а только своему же рядовому казаку. Всех, кто не являлся сородичем и не имел на погонах отличительного вензеля этого полка, казаки с Горькой линии глубоко презирали и никогда не доверяли чужаку независимо от его рода оружия и даже чина. Таковы были традиции, издревле укоренившиеся среди этого самолюбивого, наивного и храброго войска.

Подпольная фронтовая партийная организация доверяла Ивану Сукманову и рассчитывала на длительную его работу в полку. Однако события, принявшие крутой оборот, вынудили Ивана Сукманова скрыться и увлечь за собой товарищей, оставлять которых на произвол судьбы он не хотел и не мог. Правда, Иван Сукманов не особенно был огорчен столь быстрым самоустранением от той огромной, горячей и увлекательной работы, что предстояла ему в полку, так как основное и главное, как ему казалось, было уже им сделано. Судя по тому, что после трехкратного довольно-таки тщательного обыска офицерам разведки не удалось обнаружить в позиционных землянках ни одной из двухсот разбросанных Яковом листовок, письма большевистского партийного комитета были доставлены по адресу, и расставаться с ними никто из казаков уже, видимо, не хотел. А это говорило о многом.

Наконец сами обыски и крайне грубое обращение при этом с казаками со стороны офицеров разведки тоже немало способствовали тому глухому и грозному брожению умов, которое началось среди сибирского казачества после зачитанных до дыр и уже почти наизусть заученных листовок. В партийной организации, куда обратился Иван Сукманов в канун побега,

ему посоветовали как можно скорее попытаться пробраться в глубокий тыл. Ивана Сукманова снабдили явкой на одну из законспирированных квартир в районе Нарвской заставы Петрограда, и он, ни слова не говоря пока об этом своим спутникам, повел их на следующую же ночь за собой.

Тронувшись вслед за Иваном Сукмановым в этот нелегкий и далеко не безопасный путь, Яков Бушуев с Поединком были уверены, что все они направляются прямо восвояси – в родные станицы, на Горькую линию, мало задумываясь над тем, что ждет их в далеком и родном краю и как отнесется к самовольному возвращению их с фронта станичное общество.

На двенадцатый день путники выбрались из болот Полесья на железнодорожное полотно к разъезду номер 49. На этом разъезде, при содействии стрелочника со странной фамилией или, может быть, прозвищем Шайба, Иван Сукманов, как его предупредили в подпольном фронтовом комитете, должен был устроиться сам и устроить своих товарищей в качестве кондукторов на одном из полувоинских-полугражданских товарных составов, следующих прямым назначением на Петроград. По соображениям конспиративного порядка Сукманов не посвящал своих спутников во все эти детали. И потому Яков с Денисом были немало удивлены, когда незнакомый им стрелочник принял их столь приветливо, как можно было принять только давно знакомых, желанных гостей. Обосновавшись в сторожке стрелочника, спутники провели здесь двое суток, отдохнув после долгого изнурительного странствия по бездорожью Полесья. Вечером на третий день стрелочник свел их с неизвестным им человеком, судя по форме и знакам отличия, инженером-путейцем, который снабдил всех троих беглецов железнодорожными документами, из которых явствовало, что все три спутника по побегу

являются теперь железнодорожными служащими, кондукторами, сопровождающими эшелон товарных вагонов, груженных лесоматериалами, следующий на Петроград. Нашлась у стрелочника для всех троих и соответствующая одежда, переодевшись в которую фронтовики вдруг обрели сугубо гражданский и мирный вид. Вместо потрепанных, грязных, опостылевших за годы войны шинелей на них были плотные, ловко сидевшие ватные куртки. Вместо папах – круглые кондукторские шапки под каракуль. Кроме того, каждый из них получил по казенному, правда, довольно потрепанному и замызганному тулупу, который полагался товарным кондукторам во время маршрутных поездок в зимнюю пору.

А на четвертые сутки рано утром бывшие фронтовики, а теперь кондукторы распрощались с гостеприимным стрелочником и отбыли с проходящим железнодоржным составом, к которому было прицеплено на разъезде десять груженных лесом вагонов, прямым маршрутом на Петроград...

24

Как в полусне, в полузабытьи, жила последние два года Наташа Скуратова в отцовской усадьбе. С удивительным равнодушием смотрела она на окрестный мир, словно в нем потускнели вдруг все его былые краски, звуки и запахи, столь пленявшие ее прежде. Старый родительский дом, некогда казавшийся ей уютным, теплым и милым сердцу гнездом, теперь не вызывал в ее душе ничего иного, кроме чувства серой, будничной скуки и уныния. Безучастно и холодно смотрела она на все: на самодурство выжившего из ума отца и на чудовищное скопидомство матери, на запустение одичавшего за последние годы приусадебного фруктового сада и на беспорядок в пустых, неопрятных комнатах барского дома. После

разлуки с Алексеем Алексеевичем Стрепетовым Наташу будто кто подменил. И будь бы ее родители чуть повнимательней, они бы заметили в дочери немалые перемены. Она потускнела, свернулась, как запоздалый цветок, прихваченный ранним инеем. Она почти разучилась смеяться и не вставала, как прежде, чуть свет по утрам, а валялась до полудня в постели. Она не пропадала в погожие летние дни, как бывало, с утра до вечера в степи или в роще в поисках ягод или грибов, а сидела затворницей в комнате с закрытыми ставнями. Любившая прежде морозную вьюжную зиму, не пропускавшая ни одного дня, чтобы не походить по заснеженным полям и перелескам на лыжах или прокатиться в лунную зимнюю ночь с отцом на резваче в станицу, Наташа теперь утратила былую охоту даже к этим своим невинным развлечениям. Все свободное время она проводила за чтением. Читала все, что попадалось под руку в небогатой отцовской библиотеке. И часто, задумавшись над раскрытым томиком Пушкина, она вдруг загоралась вся от внезапно вспыхнувшего в ней душевного света и не могла без сердечного трепета и тревоги читать грустные пушкинские строки вроде тех, которые когда-то написал ей в прощальной своей записке Алексей Алексеевич:

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль.
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.

Безразличное отношение родителей к ее душевному неустройству не обижало, а оскорбляло Наташу. Но и к этому со временем она привыкла и перестала в конце концов замечать своих родителей точно так же, как не замечали они ее.

Старый Скуратов, забыв очень скоро о трагической гибели своего единственного сына, жил, как и прежде,

своими барышническими страстями. Он по-прежнему путался с какими-то темными степными коновалами или явными конокрадами, без конца менял, покупал и перепродавал лошадей, мастерил при помощи дошлых, полуобрусевших аткаминеров сомнительные конские паспорта и подложные расписки, принимая у себя в доме каких-то развязных и нагловатых, не очень чистоплотных джигитов. А постаревшая, неопрятная, вечно злобствующая Милица Васильевна носилась с утра до вечера из кухни во двор, со двора в кухню, непристойно бранила прислугу за нерадение к барскому добру и без конца пересчитывала в подвале какие-то банки с вареньем.

Так вот и жила Наташа Скуратова эти последние годы, оставленная в начале войны Алексеем Алексеевичем Стрепетовым в полном одиночестве. Она не знала, любит ли он ее. Ведь он никогда не говорил ей об этом, даже в прощальном своем письме перед бесследным исчезновением из мятежного полка. «И если суждено еще будет нам с Вами когда-нибудь встретиться, я расскажу Вам многое, и Вы, надеюсь поймете и оправдаете меня тогда, чего не сможете сделать сегодня»,– писал ей Алексей Алексеевич. И Наташа, наизусть заучившая эту прощальную стрепетовскую записку, чаще всего вспоминала почему-то эти слова и больше всего думала о них, никак не понимая их подтекста, хотя и чувствовала, что какой-то скрытый смысл в этой фразе имеется. Много и часто, то хорошо, то дурно думая об Алексее Алексеевиче, Наташа не понимала одного: как он мог, любя ее, бесследно исчезнуть на целые годы, не найдя способа сообщить ей за все это время хоть что-нибудь о себе.

«Значит, все это вовсе не то, за что я это все принимала...»– все чаще и чаще думала с горечью Наташа.

Время шло. Проходили чередой дни, похожие один на другой. Стрепетов не подавал о себе никаких вестей.

О нем, как, впрочем, и погибшем Аркадии, совсем изредка говорили в скуратовском доме, но всегда при этом полковником произносились о племяннике жестокие, нехорошие слова. Это обижало и раздражало Наташу. Не рассчитывая уже на какой-нибудь слух об Алексее Алексеевиче, она все же не переставала думать о нем, не могла позабыть ни его грустной, рассеянной улыбки, ни тревожного и пытливого взгляда. С надеждой прислушивалась она к звону бубенчиков какой-нибудь запоздалой тройки, мчавшейся по тракту мимо усадьбы, холодела при мысли о том, что вот так вдруг прискачет как-нибудь среди ночи и он...

А однажды, заглянув поутру в зеркало, Наташа ахнула. Боже мой, что же с ней сталось?! Впервые за эти три года она увидела как будто чужими глазами свое потускневшее, утомленное лицо и испугалась. С изумлением, с тревогой приглядываясь к своему отражению, она с не меньшей тревогой и изумлением огляделась затем и вокруг себя. Вконец постылыми, серыми, скучными показались ей давно не беленные стены комнаты, старая пыльная мебель, туалетный столик, заставленный пустыми флакончиками из-под дешевых духов, коробочками из-под кремов и пудры и прочими безделушками, в которых давным-давно не было решительно никакой нужды.

А за окном красовалось золотое погожее утро ранней осени. Белые, как лебеди, гуси полоскались в пруду. Шестнадцатилетняя дочка кухарки – Маша, здоровая, сильная, гибкая девушка, легко и плавно ступая босыми ногами, несла на коромысле полные ведра воды и беспричинно улыбалась чему-то. Озорной, весь в репьях пес Раскатайка, заигрывая с Машей, падал перед девушкой, положив на вытянутые впереди себя лапы лохматую морду, и притворялся спящим, а затем вскакивал из-под босых Машиных ног и, отбежав вперед, снова ложился в той же позе, весело

поглядывая на улыбающуюся девушку своими лукавыми каштановыми глазами.

Накинув на ночную рубашку легкий ситцевый халатик, захватив с туалетного столика гребенку, сдернув на ходу со спинки кровати полотенце, Наташа выскочила по черному ходу на крылечко и первая поздоровалась с идущей мимо Машей.

– Машенька, здравствуй!– крикнула Наташа, приветливо махнув девушке полуобнаженной тонкой рукой.

– Здравствуйте, барышня. Чего это вы сегодня ни свет ни заря?– удивленно сказала Маша и, продолжая улыбаться, остановилась, слегка согнувшись под коромыслом.

Раскатайка, забыв про свою забаву, тоже присел на задние лапы рядом с девушкой и с таким же веселым недоумением, как и она, смотрел на Наташу.

– Ты еще пойдешь за водой?– спросила Наташа девушку.

– А то как же. На кухню два-три коромысла. И астры надо полить.

– Ну тогда и я сейчас спрошу ведра у мамы. И будем вместе с тобой воду носить.

– Пожалуйста, если охота...

– Сию секунду, Машенька... Я тебя догоню,– сказала Наташа, тотчас же скрывшись за дверью.

Маша, сделав еле заметное недоуменное движение левым плечом, пошла все той же легкой, танцующей походкой дальше, а Раскатайка, склонив набок свою лохматую голову, остался сидеть на месте, не спуская своих лукавых каштановых глаз с двери, за которой скрылась Наташа.

Через какие-нибудь четверть часа обе девушки, забыв про оставленные на берегу ведра, сидели рядышком на мостках и, совсем как дети, весело и беспечно болтали ногами в студеной воде.

– Это худо – быть неграмотной, Машенька,– продолжая давно начатый разговор, строго сказала Наташа.

– Куды хуже, барышня...

– Хочешь, я тебя обучу?

– Што вы, барышня... Да ить я на хутор, зачем не видишь, от вас уеду.

– А на хуторе школы нет?

– Школа-то с прошлого года значится, да вот учителя – сбились с ног – найти не можут.

– Что ты говоришь, Машенька?! Школа без учителя?

– Не школа – сирота она у нас, барышня.

– А что, если я учительницей к вам поеду?

– Пожалуйте, коли не шутите...

– Вполне серьезно говорю, Машенька.

– Скучно только у нас вам покажется.

– Не скучнее, чем здесь, надеюсь.

– Ну, тоже ить, сравняли барский дом с хутором! Хуторские горницы – не ваши хоромы.

– Эх, Машенька, знала бы ты, как мне надоели эти хоромы.

– Это в таком-то раю красоваться вам надоело?

– Не смотрела бы ни на что...

– Ну, значит, взамуж пора вам, барышня.

– А ты откуда знаешь?

– Знатье известное. Не сидится девке на месте – подавай жениха невесте.

– Неправда. Я о женихе и не думала...

– Думой тут не поможешь, барышня.

– Глупости говоришь, Машенька.

– Все может быть, барышня. Дура-то я отменная. Это правда.

– Никакая ты не дура. Наоборот.

– Нет, дура. Кабы умной была – не видать бы девкам меня на нашем хуторе.

– Вот как? А куда бы ты делась?

– В город Ирбит бы уехала.

– Почему же в Ирбит?

– Така уж планида мне нонче падала...

– Что же бы стала ты делать в Ирбите, Маша?

– Как что? Жить...

– Где же?

– С купцом.

– С каким купцом?

– С которым бежать зимой собиралась.

– Как бежать?

– Ну, как девки бегут, коли благословения матушка не дает? Собралась бы ночью, перекрестилась на божий храм – и поминай как звали...

– Погоди. Да он что же, сватался за тебя?

– Не сама же я к нему напросилась. Смешная вы, барышня.

– Когда ж это было?

– Зимой. На Никольскую ярманку. Я с подружкой Дашей Немировой в станице гостила. Вот он там меня и облюбовал. Глаз не сводил. Сластями запотчевал, ешь – не хочу. Соболью шубку сулил. Винцом начал баловать. У меня – голова кругом. Едва с собой совладала.

– И хорош собой?

– С лица не воду пить.

– Все же?

– Как вам сказать? В годах. С бородкой по колен. А так – ничего.

– Ты с ума сошла, Машенька. Разве он тебе пара?

– А што?

– Ну как што? В годах. Борода до колен. Да ведь ты-то совсем еще ребенок.

– Не скажите, барышня...

– Однако же. Тебе – шестнадцать, ему – небось под пятьдесят. Это как-никак разница.

– Зато в соболях бы теперь по городу Ирбиту ходила.

– Вот ты какая! Что же тебе тогда помешало?

– Я же вам сказала – дура была.

– А теперь поумнела, что ли?

– Не знаю, барышня. Не похоже.

– Отчего же?

– Кабы поумнела – не сидела бы в девках.

– А ты что же, замуж торопишься?

– Торопиться не тороплюсь, а ждать одного дурака приходится...

– Жених есть на примете?

– Вроде того...

– Кто же он – не секрет?

– Так, казак один с хутора.

– В армии, что ли?

– Там. В действующей. На фронте.

– На ирбитского купца не похож?

– Што вы, бог с вами, барышня! Всего и богатства – одна гармошка...

– Музыкант, значит?

– Лучше не говорите. Заиграет – земля из-под ног плывет.

– Ну, это, Машенька, большее богатство – талант.

– Не знаю, барышня, будет ли нам с ним талан в жизни,– сказала со вздохом Маша, задумчиво заглядевшись в воду.

– Отчего же не будет, думаешь?

– Уж очень рисковый он у меня. Бедовая голова.

– Любит тебя?

– Ну, ишо бы ему меня не любить – без ума и без памяти.

Помолчав, Наташа сказала:

– Завидую я тебе, Машенька.

– Вот уж тоже нашли кому позавидовать, барышня. В чем же это?

– Во многом. Во многом...– ответила после раздумья Наташа. И она, пристально глядя куда-то вдаль своими слегка прищуренными, позолотевшими от солнца глазами, горячо и взволнованно продолжала:– Замечательная ты девушка, Машенька. Прелесть. И завидую, что живешь ты на хуторе.

– А мы давайте поменяемся с вами, барышня. Я к вам в хоромы жить пойду, а вы – к нам на хутор– сказала с лукавой улыбкой Маша.

– Поменялась бы, да разлучаться с тобой не хочу Машенька. Нет, уж лучше я с тобой вместе учительницей на ваш хутор поеду. Согласна?

– Пожалуйте, коли не раздумаете.

– Нет. Нет. Всерьез говорю. Меня инспектор народных училищ давно приглашал в любую из сельских школ, да я все раздумывала и не решалась. А теперь твердо решила – еду. Только один уговор, Машенька: ты пока – до поры до времени – никому ни гугу об этом.

– Не извольте беспокоиться, барышня. Я язык за зубами, если надо, держать умею.

– Ну вот и отлично. Договорились.

Полное покоя и умиротворяющей тишины светлое нежаркое утро красовалось над пустынной степью. Чуть слышно звучали где-то серебряные трубные голоса проходящих сторонкой лебедей. Гуси, озоруя в пруду, шумно хлестали по воде упругими белыми крыльями, поднимая фонтаны ослепительно искрящихся на солнце брызг. Притихшие девушки сидели на мостках, лениво побалтывая голыми по колено ногами, и Наташа, щуря глаза, мечтательно и восторженно говорила:

– Боже мой, как это хорошо – быть самостоя-тельной, вольной, независимой. Подружиться с простыми людьми. Быть хозяйкой своей судьбы. И трудиться. Трудиться. Ничего похожего на мою прежнюю жизнь. Все ново. Все неожиданно. Все интересно... Тебе, наверное, не понять меня, Машенька. Впрочем, нет. Наоборот. Ты все на свете поймешь. Ведь ты же умница. Представляешь, писать и читать тебя научу. И гадать о суженых мы с тобой вместе будем. И вообще, как хорошо мы с тобой заживем теперь там, на хуторе!

25

В ответ на свое прошение, поданное на имя уездного инспектора народных училищ, Наташа Скуратова

получила назначение на должность сельской учительницы церковноприходской школы и в конце сентября приехала к месту своего назначения – в хутор Подснежный. Здание, отведенное под школу на хуторе, оказалось обыкновенным саманным пятистенником, арендованным обществом у одного из хуторян. И ни внешний вид этого убогого, крытого соломой домика, ни его внутреннее устройство – ни то, ни другое никак не вязалось с былыми представлениями молодой учительницы о школе. За годы, проведенные в стенах губернской женской гимназии, Наташа привыкла к строгим, полным света и воздуха классным комнатам здания, построенного в стиле классицизма, к нарядному великолепию двухсветного актового зала с хрустальными люстрами и мраморными колоннами, к похожему на Льва Толстого швейцару, стоявшему у дверей.

При виде саманного пятистенника, уныло стоявшего на пустыре, заросшем лебедой и крапивой, у Наташи сжалось сердце. А когда молодая учительница робко переступила порог этой сирой и ветхой хижины, названной школой, она и совсем пала духом. Земляной пол. Покосившиеся, маленькие, тусклые оконца. Грубые столы и кривые скамейки вместо парт. Темный лик какого-то угодника в божнице, подернутой паутиной. Запах мышиного помета и печной золы. Бедно. Неопрятно. Убого.

Поморщившись, Наташа смахнула пыль со скамейки крошечным кружевным платочком. Присела. Вздохнула. Поглядела в окошко. Широкая, поросшая конотопом улица хутора уходила в степь. Низкие, пепельно-серые облака плыли над крышами домов. Вдали, на отлете от хутора, молитвенно простирал к небу дряхлые, почерневшие от времени крылья осевший набок ветряк. Еще дальше маячила на пригорке березка. Гибкая, тонкая, молодая, гнулась она под ветром, словно стремясь подняться и полететь

вслед за золотыми потоками листьев, срывающихся с полуобнаженных ее ветвей. На улице было пусто. Моросил мелкий, точно сеянный сквозь частое сито, дождь. Серый гусак, спрятав клюв под крыло, дремал на одной ноге возле чьего-то палисадника с кустами чахлой акации. Бесприютно раскачивалось из стороны в сторону над колодцем пустое ведро, прикрепленное цепью к вздернутому хоботу журавля. Заглядевшись на невеселую эту картину, Наташа вдруг прониклась такой острой жалостью к себе, что у нее, как в детстве, задрожали губы. Представив себя беспомощной, ничего не смыслящей в учительском деле одинокой девчонкой, она, уронив голову на подоконник, прикрыла узкой ладонью глаза и горько заплакала.

В хате было свежо и тихо. Сквозило. В старомодном комоде, приспособленном, видимо, под канцелярские нужды школы, робко скреблась мышь. Шуршал в окошке оторванный ветром клочок бумажки, наклеенный вместо выбитого осколка стекла. Беззвучно наплакавшись вволю в этой неуютной сумрачной хижине, Наташа почувствовала некоторое облегчение. Извлекла из скромного замшевого ридикюльчика круглое зеркальце величиною в серебряный рубль, присмотрелась, подумала: «Ничего. Слезы просохнут. Ветром обдует. И опять жить можно». Она поднялась. Одернула шерстяное коричневое платьице. Досуха вытерла кружевным платочком глаза. Прибрала сбившиеся под кашемировым подшалком волосы. Раскрыла, поставив на стол, свой потертый кожаный саквояж, тотчас же забыв о том, зачем ей понадобилось раскрывать его, и задумалась в нерешительности.

В это время отчаянно взвизгнула шумно распахнутая дверь, и Наташа, выглянув в другую половину хаты, увидела на пороге Машу. Она была не одна. Следом за нею вошла девушка в старомодном кубовом платье с буфами, с пшеничными волосами, собранными на

затылке в тяжелый узел, с лицом не столько красивым, сколь обаятельным.

– Барышня!– изумленно воскликнула Маша и, всплеснув при этом руками, бросилась к Наташе.

– Здравствуй, здравствуй, Машенька,– сказала Наташа, целуясь с девушкой.

– А мы с ног сбились с Дашей,– сказала Маша, кивая на присмиревшую у порога, стеснительно улыбающуюся девушку.– Как прослышали о вашем приезде – дуй к ямщику, от ямщика – к атаману, от атамана –к школьному попечителю.

– Что так?

– Вас потеряли.

– Ну куда же я денусь? Прямо с дороги – в школу.

– А нам, дурам, и невдомек, што вы тут опнулись. Зря, барышня.

– Что зря, Машенька?

– Заехали-то суды.

– А куда же еще?

– Как куда? К атаману. Он бы вас на квартиру поставил у добрых людей. А мы тут завтра всем миром обиход навели. Побелили бы, окна помыли, полы бы помазали. Ну, а тогда уж и послов за вами – пожалуйте.

– За обиходом дело не станет. Не сумлевайтесь. В кой миг все угоим. А поквартировать у нас пока можете, ежли не брезгуете,– сказала девушка в кубовом платье.

– Спасибо. Спасибо, голубушки... Как вас зовут?– спросила Наташа девушку в кубовом платье.

– Дашей ее зовут. Подружка моя. Даша, Немирова по фамилии,– поспешно ответила за девушку Маша.

– Ну, здравствуйте, Даша. Будем знакомы. Меня зовут Наталья Андреевна,– сказала Наташа и, впервые назвав себя по имени и отчеству, смутилась и крепко пожала при этом жесткую руку Даши.

И обе они, как это часто случается в жизни, ничего еще толком не зная одна о другой, с первых же минут

своей встречи почувствовали взаимное расположение. Тем охотнее приняла Наташа Скуратова предложение девушек определиться на первых порах на квартиру в доме Даши Немировой.

А когда получасом спустя робко вошла Наташа Скуратова вслед за своими спутницами в немировский дом, то ей тотчас же стало ясно, что останется она здесь надолго. Все тут располагало к этому. Непритворное радушие гостеприимных хозяев. Обжитый уют старого дома. Невеликая, но опрятная горница с нехитрым ее убранством. А главное – Даша. Сама не зная почему, Наташа испытывала теперь такое чувство вблизи этой тихой, застенчивой девушки, точно была она связана с ней какой-то тайной.

... Допоздна засиделись в этот вечер девушки, сумерничая в немировской горнице. Погода к ночи начинала мало-помалу как будто разведриваться. Дождь прошел. Молодой, похожий на дутую казахскую серьгу месяц нет-нет, да и выглядывал в просветы облаков, раскиданных ветром, и тусклый рассеянный лунный свет временами проникал сквозь старенькие тюлевые занавески, неярко озаряя горницу, где сидели друг против друга присмиревшие за столом девушки – Даша с Наташей. Чуть слышно, словно спросонок, ворковал на столе самовар, и недопитый чай остывал в блюдцах. Облокотившись на стол, Наташа молча выслушивала невеселую повесть своей собеседницы.

– Был слух, што смутил их один офицер – назвать как его, не скажу,– продолжала Даша своим приглушенным, таинственным голосом, временами переходящим на полушепот.– Болтали в станицах, будто он подбил казаков на побег и увел их потом за собой в надежное место. Если так, одно сказать – спасибо этому офицеру. Ить не скройся они – показнили бы их в чистом поле у позорного столба всех дочиста... А может, все это – одна бабья брехня. Может, сами они собой от казни ушли, безо всякого офицера.

За это ручаться не стану. За што купила, за то и вам продаю.

– Нет. Нет. Все это чистая правда, Даша,– горячо и поспешно сказала Наташа, схватив собеседницу за руку.

– Што правда, Наталья Андреевна?– спросила тревожным и взволнованным шепотом Даша.

– Про офицера, который увел казаков...

– Стало быть, вы тоже про это слышали?

– Слышала, Даша. Слышала...

– Ну, вот видите... Не иначе, душевный был человек, хоть и офицерского звания.

– Не иначе...– тихо сказала Наташа, и она, прикрыв своей узкой ладонью глаза, с удивительной ясностью увидела на мгновенье лицо Алексея Алексеевича.

Посидев с минуту молча, Даша поднялась и стала прибирать со стола. Месяц, выглянувший из-за облака, осветил горницу неверным, призрачным светом. Наташа сидела не двигаясь, не меняя позы, облокотившись на стол, прикрыв ладонью глаза. До боли жмурясь и напрягая воображение, она пыталась вновь воскресить в своей памяти образ Стрепетова,– пыталась и не могла. Так было всегда с нею, когда слишком горячо и взволнованно начинала думать она о нем. А сейчас она думала о нем с такой душевной болью, сердечной тревогой и внутренним трепетом, как не думала никогда еще, кажется, прежде. Трудно сказать, что подействовало так на Наташу. Может быть, поразило и захватило ее бесхитростное признание Даши Немировой в бескорыстной, светлой и чистой любви к своему жениху. Неизвестно в конце концов отчего, но только теперь поняла и почувствовала вдруг Наташа Скуратова, как бесконечно дорог и близок ей человек, в любви к которому она боялась признаться до сих пор даже себе.

А глухой и глубокой ночью, когда девушки лежали уже в постели, Наташа рассказала Даше все, что знала об Алексее Алексеевиче Стрепетове, не утаив и того

душевного состояния, какое испытывала она за годы разлуки с этим человеком, а особенно сейчас, когда она вдруг почувствовала, что держаться в жизни сможет впредь только одной надеждой на близкую ли, далекую ли встречу с ним.

Выслушав исповедь Наташи, Даша, слабо вздохнув, сказала:

– Вот притча какая нам с вами вышла...

26

Забывшись в эту неспокойную осеннюю ночь коротким, тревожным сном только под утро, Наташа увидела себя во сне на каком-то блестящем и шумном балу. Не то это был святочный карнавал в губернском Дворянском собрании Омска, не то – выпускной вечер в гимназии. Но в громадном, расточительно залитом золотыми потоками света актовом зале с гигантскими хрустальными люстрами, мраморными колоннами и гипсовыми балюстрадами, обвитыми серпантином, кружились какие-то странные нарядные люди, совсем не похожие на гимназистов и гимназисток. Плоская, длинная и худая, как змея, классная дама Вероника Витольдьевна Паторжинская, зловеще посверкивая своей золоченой лорнеткой, прогуливалась под руку с маленьким нервным гусаром, и Наташа, встретившись взглядом с красивым, бледным лицом офицера в гусарском ментике, похолодев, узнала в нем Мишеля Лермонтова. Однако она ничуть не удивилась, увидев тут же строгий, надменный профиль и тонкую, гибкую талию княгини Бетси. Небрежно придерживая узкими длинными пальцами цвета слоновой кости пышный шлейф своего вишневого вечернего платья, она прошла мимо Наташи рядом с цыганом Яшкой и тремя ярмарочными барышниками в песочных бешметах, с кнутами, заткнутыми за махровые опояски.

Яркий тревожный свет слепил глаза. Хрустальные подвески люстр трепетали над головой, отражая волшебную игру огня и красок. Где-то вверху, на хорах, настраивался оркестр. Было что-то невыразимо прекрасное и упоительное в пробных звуках кларнета, в робком лепете флейты, в шелесте тяжелых бархатных и шелковых шлейфов изысканных светских красавиц, в нежном запахе дорогих духов. Вдруг зазвучали, вспорхнув с антресолей, стаи светлых и трепетных звуков «Сентиментального вальса» Чайковского, и у Наташи сладко и больно замерло сердце. Упоительно-нежный, прозрачный и ласковый голос флейты интимно журчал вдалеке, как журчит в отдалении серебристая струя родника, купаясь в теплом и ярком солнечном свете.

У Наташи закружилась голова не то от музыки, не то от бокала густого и крепкого вина, и злые огоньки заметались у нее в крови. Тогда все смешалось, кружась и смещаясь в потоках прозрачных звуков волшебной музыки и тревожного света. Но это, кажется, был уже вовсе не бал, а не то призовые военные скачки на каком-то армейском плацу или ипподроме, не то шумная и яркая ярмарка в станице. Было душно и знойно. Где-то играл духовой оркестр. Женщина с кроваво-красным пионом в темных распущенных волосах шла над толпой по канату, и ее алое, похожее на римскую тогу платье трепетало, как пламя, на ветру. Карлики, похожие на чертей, лихо приплясывали на высоких подмостках, кружась в странном танце – нечто среднее между деревенской кадрилью и полонезом. А всадники в белых кителях скакали на великолепных конях через какие-то рвы и барьеры под восторженные крики толпы. Наташа знала, что одним из этих всадников был Алексей Алексеевич. Но она не могла пробиться сквозь шпалеры нарядных женщин, кочевников, прасолов и гимназистов к полю, на котором шли скачки, чтобы махнуть платком

Стрепетову или крикнуть ему. Она знала, что и Алексей Алексеевич ищет ее в толпе, пролетая как птица через рвы и барьеры на своем белогривом арабе. Но они никак не могли увидеть друг друга, и сердце Наташи разрывалось на части от горя, и глаза ее горели от невыплаканных слез.

Между тем все глуше и все печальнее звучал в отдалении духовой оркестр. Пыль, поднятая копытами гарцующей конницы, заволокла поле скачек, и всадников уже не было видно. Женщина в алом, похожем на римскую тогу платье, пролетела по воздуху над толпой ярмарочных зевак, тотчас же исчезнув за тяжелым, знойным и мглистым горизонтом. Но, кажется, это была уже не женщина, а жар-птица.

Утомленная зрелищами, Наташа чувствовала себя усталой, ко всему равнодушной и ничему уже не удивлялась теперь. Неуклюжий, неловкий, весьма застенчивый кавалер в странном фраке немодного покроя предложил Наташе свою согнутую в локте руку, и Наташа, доверчиво опираясь на эту руку, последовала за молодым человеком, вновь очутившись в зале с анфиладой колонн, совершенно, впрочем, пустом теперь, но по-прежнему залитом ярким светом. Наташа долго шла по этому бесконечному, пустынному залу рядом со своим молчаливым спутником. Мириады жарких огней играли, дробясь и переливаясь, в хрустальных подвесках люстр, и Наташе казалось, что все ее существо было пронизано этим ослепительным праздничным светом. Она теперь знала, что рядом с ней шел Пьер Безухов, и по-прежнему нисколько не удивлялась этому. Удивляло другое – зеркальный блеск паркетного пола, в котором отражались огни гигантских люстр, и было похоже, что Наташа шла с Пьером Безуховым по небу, усыпанному звездами.

– Я получил наконец развод от Элен. Я никогда не хотел бы расстаться с вами,– сказал Пьер, останав-

ливаясь и несмело целуя при этом невесомую, узкую руку Наташи.

Светлая волна невыразимой нежности к кому-то – не то к Пьеру Безухову, не то к Алексею Алексеевичу – поднялась в стесненной груди Наташи. Но она ничего не могла сказать в ответ Пьеру Безухову. Мягкие губы ее, тронутые благодарной улыбкой, дрогнули, и Наташа, открыв свои залитые светом глаза, проснулась.

За окошками красовался погожий день. В синем спокойном небе плавали редкие облачка, похожие на газовые девичьи шарфы, раскиданные ветром. Свежая солома на крышах сараев отливала червонным золотом. Золотой казалась и горница, залитая щедрым солнечным светом. Наташа, изумленно оглядевшись вокруг, сообразила наконец, где она и что с нею. «Какой стыд – проспала!»– подумала она, не увидев рядом с собою Даши, и, тотчас же спрыгнув с высокой деревянной кровати, поспешно начала одеваться.

В доме было тихо и пусто. Заглянув в кухню, Наташа увидела на столе горшок с топленым молоком, разрезанный пшеничный калач и перевернутую вверх дном эмалированную кружку. Все это было осторожно накрыто краешком чистого холщового полотенца, и Наташа догадалась, что это был приготовленный для нее завтрак. Наспех пополоскавшись под стареньким, но ярко начищенным медным рукомойником в углу, Наташа кое-как – она очень спешила – привела в порядок перед зеркальцем в горнице свои рассыпающиеся волосы, собрав их на затылке в узел. В светленьком ситцевом платьице, в потертых туфельках, надетых на босу ногу, Наташа казалась сама себе легче, проще, непринужденнее в движениях. И вообще она чувствовала сейчас себя так, словно только что окунулась спросонок в прохладную свежую воду, ощущая каждый свой мускул, каждую каплю звонко и молодо пульсирующей крови. Завтракая в полном

одиночестве, Наташа дивилась своему аппетиту. Кажется, никогда прежде не едала она еще такого ароматного, вкусного хлеба, пахнущего бражным запахом перебродившей опары и русской печкой, не пивала столь густого, как сливки, хотя и чуть отдававшего степной горькой полынкой топленого молока.

Вспомнив про сон, Наташа улыбнулась. Это было странно, но у нее и сейчас, наяву, теплилось в сердце чувство невыразимой нежности к Пьеру. И неприятным в этом сновидении теперь ей казалось одно: вспоминать о фатальном облике Лермонтова, почему-то приснившегося рядом с навеки противной Наташе классной дамой Вероникой Витольдьевной, скверно знавшей русский язык, а тем более – литературу. И если Пьер Безухое даже и наяву вызывал у Наташи затаенное чувство нежности, то образ Лермонтова будил в ней какие-то тревожные, неопределенные желания, полные внутреннего смятения, сердечной боли и душевных порывов невесть к чему...

Позавтракав, Наташа отправилась в школу. На улице она столкнулась с дюжиной шустрых и озорных ребятишек. Схоронившиеся в лебеде за плетнем палисадника мальчишки, видимо, подкарауливали молодую учительницу, о приезде которой еще со вчерашнего вечера знал весь хутор. И теперь, когда Наташа, не заметив притаившихся детей, прошла мимо них своей порывистой, легкой походкой, ребятишки молча последовали всей дружиной за ней по пятам. Наташа обернулась на резвый топот босых детских ног и замерла от неожиданности, не удержавшись при этом от улыбки.

Ребятишки остановились как вкопанные, и из них тоже кое-кто добродушно заулыбался. С минуту Наташа молча смотрела на мальчишек, а они так же молча и изумленно смотрели на нее. Дети все почти были одинакового роста, не ахти какие великаны на восьмом

или десятом году. Одеты тоже одинаково. Застиранные, продранные на локтях рубашонки. Залатанные на коленках миткалевые штаны. Все были босиком, но в форменных казачьих фуражках, лихо заломленных набекрень. Фуражки на всех были старые, выгоревшие от солнца, большие, отцовские, но, небрежно надетые боком, они казались впору мальчишкам и придавали веселым, загорелым их мордочкам отчаянный вид.

– Ну, здравствуйте, дети!– сказала Наташа, приветствуя ребятишек как будущих своих учеников и втайне испытывая даже некоторую робость перед ними.

Мальчишки, хихикнув, переглянулись. С ними никто еще так не здоровался прежде, и было непонятно – шутит ли учительница или говорит всерьез.

– Давайте знакомиться,– предложила Наташа, почувствовав замешательство среди ребятишек.– Меня зовут Наталья Андреевна. Я буду вашей учительницей. Будете ходить ко мне в школу?

Мальчишки опять переглянулись между собой, но уже без хихиканья. И один из них, самый меньший по росту, но – по всему было видно – заводила дружины, ответил, потупясь:

– Может, которые будут, если примете...

– Отчего же не приму? Приходите. Всем места хватит. Тебя как зовут?– спросил Наташа ответившего ей мальчика.

– Меня-то? Илья,– не поднимая глаз от земли, кротко ответил тот.

– Хорошее имя,– похвалила Наташа.

– А у него и отца зовут так же. Он даже стих знает,– указывая на Илью пальцем, сказал один из осмелевших мальчишек, такой веснушчатый, что при взгляде на него немного рябило в глазах.

– Ах, вот даже как? Стихи знать – это уже совсем хорошо, Илья. Да ты небось и читать умеешь?– спросила Илью Наташа.

– Ничего я не умею,– сердито сказал Илья.

– Может быть, ты и стихотворения вовсе не знаешь?

– Знает. Знает,– теперь уже целым хором прозвучало несколько голосов.

– Ну и знаю. А што такова?!– заносчиво повысил голос Илья, окрысившись на ребятишек.

– Ничего тут нет плохого. Наоборот. Очень даже хорошо. Как же ты его выучил? Интересно,– сказала Наташа, посмотрев при этом с притворным равнодушием в небо.

– По слыху,– глухо ответил Илья.

– Ах, на слух? Очень даже интересно. Кто же тебя научил?

– Фершал Иван Иваныч.

– Который прошлый год под Покров из ружья на охоте насмерть убился. Он ить у них на квартире стоял,– поспешно выпалил парнишка с веснушками.

– Он меня бы разным разностям научил, кабы живой остался. Только один стих по календарю мы с ним выучить и успели,– проговорил грустно Илья.

– Интересно. Очень интересно. Какой же стих-то?– спросила Наташа.

– Про сосну. Про сосну,– опять хором ответили осмелевшие ребятишки.

– Вот что, дети,– предложила Наташа теперь уже вплотную окружившим ее ребятишкам.– Проводите меня до школы, а Илья по дороге расскажет нам это стихотворение.

– Нет,– сказал Илья,– я на ходу не умею рассказывать.

– Хорошо. Расскажи сейчас. Мы согласны на все. Правда, ребята?– обратилась Наташа за поддержкой к мальчишкам.

– Правда. Правда.

– Давай. Рассказывай,– зазвучали смелые и требовательные голоса ребятишек.

– Да ну вас...– отмахнулся от них с напускным пренебрежением Илья.

Но всем было ясно, что рассказать стихотворение ему и самому уже очень хотелось, да не хватало еще смелости, и потому он, неспокойно переступая с ноги на ногу, сопел, надувшись, точно раздумывая, с кем бы подраться.

Наташа, поглядывая для виду в сторону, ждала, пока Илья наберется храбрости. Ждали отлично знавшие повадки своего вожака и присмиревшие мальчишки.

Наконец, тяжело вздохнув, Илья вдруг выпрямился, как в строю, опустил руки по швам, сомкнул босые пятки и, глядя в одну точку, негромко начал читать засекающимся от волнения хрупким баском лермонтовские строки:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Окруженная толпой деревенских мальчишек, Наташа слушала стихотворение, заглядевшись на одинокое облако. Похожее на парус, медленно плыло оно в зыбкой лазури безмятежного неба. Мальчик умолк. Но голос его продолжал еще звучать в ушах и в сердце Наташи, как глухой колокольчик. И Наташа знала, что долго теперь будет звучать в ней этот колокольчик – очень долго, если не всю жизнь...

27

Видели ли вы, как скитается по осенней степи неуживчивая трава перекати-поле? Легкая на подъем, покорная всем четырем ветрам, перекатывается она с места на место, равнодушная к покою и странствию, к своим коротким заминкам в пути или к дальнейшему

приюту под кустом полыни. Вот так же было и с Федором Бушуевым. Куда только не бросала лихая судьба за эти три года беглого казака с двумя его вольными или невольными спутниками по странствиям – Пашкой Сучком и Андреем Праховым! Живали они, снарядившись в пастушьи лохмотья, на положении джатаков в глухих и далеких аулах кочевников Кургальджинских степей. Промышляли по найму рыбалкой в верховьях Черного Иртыша. Кормились поденной работой на каторжных промыслах купца Дериглазова, монопольного добытчика соли на берегах Тенгиза. Хаживали в качестве гуртоправов и чабанов с гуртами скота, перегоняемого прасолами с одной степной ярмарки на другую. Работали дровосеками на казенных лесных дачах Каркаралинска. Словом, хватили, как говорится, горького до слез, познав цену куску хлеба и капле воды.

Одно было хорошо. В какой бы крутой оборот ни брала жизнь ребят, в какой бы тугой переплет ни попадали они в это лихое время – никогда не падали они духом. Выручали здоровье, молодость. Оторванные от родимых мест, беглецы жили одним – надеждой на возвращение в родную станицу.

Месяца через два после удачного побега из-под ареста, когда при помощи верных степных тамыров, в числе которых был Садвакас, ушли они в глубинную степь за сотни верст от станицы, Салкын раздобыл для них в Каркаралах кое-какие документы. Снабженные этими «видами на жительство», под чужим именем казаки могли уже открыто передвигаться в поисках заработка, куска хлеба, приюта. Но не так-то было легко найти работу. Лишенные скота и крова джатаки и российские новоселы бродили толпами по редким здесь русским селам, отрубам и хуторам в поисках пристанища и куска хлеба. Но отрубные столыпинские кулаки и вышедшие с Поволжья немецкие колонисты охотнее пользовались рабочей силой степных проле-

тариев – джатаков, чем бродяжничающих русских. Батраки из джатаков были менее требовательны в харчах, в жилье и в одежде, чем русские люди, и податливее последних на любые кабальные условия труда в имениях степных землевладельцев, сказочно богатевших из года в год за счет дарового труда и плодородия обширных земель, впервые тронутых плугом.

Не легче было определиться русскому человеку и на работу в полукустарных промышленных заведениях по добыче самосадочной соли, каменного угля или медной руды, возникающих там и сям в этом краю, куда в канун первой мировой войны начали проникать лихие разведчики иностранного и отечественного промышленного капитала. На медеплавильных заводах, в шахтах и рудниках английского концессионера сэра Уркарта вербовали рабочих тоже в основном из кочевнической бедноты. По своему вековому колониальному опыту англичане знали толк в эксплуатации восточных народов, и поэтому тоже предпочитали казахов русским рабочим. Вот почему нелегко было Федору Бушуеву с Пашкой Сучком и Андреем Праховым определиться в этих краях на какое-нибудь более или менее прочное, надежное место. Скитаясь по градам и весям этой далекой, глухой стороны, они вынуждены были довольствоваться любой подвернувшейся под руку работой – от пастухов и до землекопов. К тому же не совсем и безопасно было им заживаться подолгу на одном месте. Об этом их предупреждал Салкын, и они, следуя его советам, не засиживались более месяца ни в одном из русских селений. Странствуя из одного места в другое, они нередко расходились в разные стороны, никогда, однако, не теряя при этом друг друга из виду.

Снабдив беглецов кое-какими документами и научив опальных станичников элементарным правилам конспирации, Салкын вынужден был покинуть их. Сам

будучи весьма осторожным и предусмотрительным конспиратором, он уехал, не сказав даже Федору, с которым был наиболее близок и откровенен, куда именно держит он путь. Правда, Федор догадывался, что Салкын направился, очевидно, в Омск, где имелись у него надежные друзья среди рабочих омских железнодорожных мастерских. Там же, видимо, находился и тот нелегальный революционный центр, о котором однажды проговорился Салкын при разговоре с Федором, с которым он, Салкын, бесспорно, был связан.

Так и не открыв Федору будущего своего местожительства, Салкын, однако, свел всех троих своих спутников по былым скитаниям с человеком, назвавшимся кузнецом из Каркаралинска Матвеем Рублевым. Знакомя казаков с Рублевым, Салкын сказал им, кивая на кузнеца:

– Ну-с, вот вам, друзья мои, ваш новый товарищ. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Человек это наш. Верный. Надежный. Туго придется – к нему в Каркаралы. Отнекиваться не станет. Выручит. Словом, на него вам всегда можно положиться. Через него же я дам вам знать и о себе, когда это будет нужно.

Но, несмотря на такую рекомендацию со стороны Салкына, и Федор, и его спутники отнеслись к новому своему знакомству с прохладцей. Кузнец показался им человеком необщительным, суровым.

«Нет уж, такого душевного друга и опекуна, каким был ты все эти годы для нашего брата, нам не найти. И себя ты, брат, никем не заменишь!»– с горечью думал Федор о Салкыне. Об этом же думали и Пашка Сучок с Андреем Праховым, прощаясь с Салкыном, вблизи которого все они чувствовали себя смелей и уверенней. Расставшись с Салкыном, однополчане еще теснее, чем прежде, стали жаться друг к другу. Встречи же с кузнецом из Каркаралинска они не искали, не испытывая в этом пока особой нужды. После отъезда

Салкына им повезло определиться под зиму на относительно спокойные, надежные места. Пашка Сучок с Андреем Праховым прижились в батраках на одном из глухих, затерявшихся в степях колонистских хуторов у двух немецких хозяев. А Федор Бушуев занял нечто вроде должности станционного смотрителя на соседнем земском пикете. Расположенный верстах в тридцати от колонистского хутора, вблизи когда-то бойкого прогонного тракта, пролегавшего от станиц Горькой линии в Семиречье,- пикет этот был обыденной для этих мест ямщицкой станцией, где находили в зимнюю пору путники тепло и уют. Здесь же можно было и сменить лошадей при случае, если имелся на руках у проезжего человека «открытый лист»- подорожная, по которой следовал путник по какой-нибудь там казенной надобности. Пикет этот содержался по подряду от земства одним из немецких колонистов. Но сам подрядчик здесь не жил, передоверив несложную службу на станции двум своим работникам, один из которых исполнял здесь обязанности ямщика и конюха, а другой слыл за истопника и за сторожа, и за человека, в старину называемого станционным смотрителем. Ямщичничал на пикете прижившийся здесь из-за куска хлеба и теплого угла старый казах Куандык. А роль станционного смотрителя, истопника и сторожа охотно принял на себя Федор.

Новая должность пришлась Федору по душе. Вдоволь наскитавшись за последнее время, живя где попало, он был рад теперь этой просторной, теплой и тихой хижине. Землянка представляла из себя пятистенник с горенкой для проезжающих постояльцев и с черной половиной для хозяев пикета и ямщиков. Явясь на пикет поздней осенью, Федор прежде всего не поленился навести здесь должный порядок. Он побелил, как умел, потолки и стены. Промыл кипятком никогда не мытые окна. Выскоблил деревянные

подоконники и полы. Украсил простенки горницы журнальными картинками из «Нивы», доставшейся ему в наследство вместе с другими книгами от Салкына. Красочный портрет Лермонтова, оказавшийся в одном из журналов, Федор повесил на самое видное место, в передний угол. И убогая, печальная хижина преобразилась, пахнув жилым теплом и уютом.

«Эх, прокоротать бы мне только зиму спокойно в этой норе!»– мечтательно думал Федор, сидя по вечерам у затопленной печки. Глядя слегка прищуренными, усталыми глазами на жаркие блики огня, он часами просиживал в одиночестве, погруженный в горькие думы о невеселой своей судьбе. Он любил эти вьюжные зимние вечера, когда за окошками бесновалась пурга, как всегда, усиливавшаяся к ночи. Хорошо думалось в такие часы о далекой родимой станице, о родительском доме, о Даше.

Бесконечно далекой, странно чужой и неправдоподобной казалась теперь Федору вся его прошлая жизнь. Но еще более далекой и неправдоподобной представлялась ему сейчас Даша. Иногда ему мнилось, что все это выдумал он – и про свои воровские ночные набеги на хутор к Даше, и про неудавшуюся свадьбу с ней. Однако, припоминая об одном отчего-то наиболее ярко запомнившемся ночном свидании с Дашей, Федор по-прежнему остро и радостно ощущал сейчас физическую близость напуганной его неожиданным появлением девушки. Как сейчас, видел он эту светлую ночь в июне. Спешившись около немировского огорода в глухом переулке и привязав коня за чумбур к плетню, Федор бесшумно прокрался по переулку к дому Немировых, неслышно перемахнул через ракитовый плетешок палисадника и так же неслышно нырнул в распахнутое створчатое окно в горнице Даши. Он помнил, как бестолково, растерянно, неумело, впопыхах куталась она в подвернувшийся под руку кашемировый платок, норовя

прикрыть им полуобнаженную грудь и крутые плечи. Он не мог позабыть медового запаха ее золотящихся при месячном свете, плывущих из рук распущенных волос. И все его впечатления от этой полуночной встречи с Дашей были настолько свежи в нем и физически ощутимы, что даже и теперь, спустя два года, вспоминая об этом, вновь на мгновение испытывал он ту полноту счастья, которое оглушило его в июньскую ночь. Одного только не мог вспомнить Федор из этой запечатлевшейся в памяти встречи с Дашей – их разговора. Как ни напрягал он память, ему не удавалось припомнить тех слов, которые шепотом произносила она тогда, отвечая невпопад на его сумасбродные речи. Слов ее он не помнил. Но глухой, засекающийся от волнения голос Даши продолжал и сейчас звучать в нем, как звучит иногда милый сердцу, простой и ясный мотив где-то и когда-то услышанной музыки...

За время своих бездомных скитаний с Салкыном Федор под влиянием его мало-помалу пристрастился к чтению книг. Читывали они с Салкыном и тонкие запретные книжечки, в которых поражали Федора правдивые, светлые и смелые слова о произволе самодержавия, о причинах, порождавших неравенство между бедными и богатыми, и о том, с кем и как бороться трудовому народу за свою достойную жизнь на земле. Все больше и все чаще читывал в последнее время Федор вместе с Салкыном рассказы и повести, стихи и поэмы великих русских писателей, о которых знавал он до этого понаслышке. Расставаясь с Федором, Салкын наделил его целой библиотечкой, и Федор коротал теперь длинные зимние ночи на одиноком пикете за чтением книг. И все чаще и чаще задумывался теперь Федор над раскрытыми книжками Горького и Толстого, Пушкина и Некрасова, Чехова и Глеба Успенского, Лермонтова и Никитина, Каренина и Кольцова. И почти в каждой из прочитанных книг находил он отзвуки собственных дум и понятий, которых не умел и не мог

выразить словами. Иногда даже Федору казалось, что многое из прочитанного им писалось как будто только для него. Однажды он наткнулся в одном из журналов на стихотворение, глубоко взволновавшее его. С удивительной силой и ясностью отражалось в этом стихотворении то душевное состояние, в котором находился он в эту минуту, думая о Даше. Это было до того поразительно, что Федор, трижды перечитав стихотворение, запомнил его наизусть:

Забуду многое. Но трепет
Ресниц лукавых, милых рук
Не позабудется, как лепет
Твоих полуоткрытых губ.
Полна смятенья и тревоги,
Ты вся – в порыве, вся – в огне,
И если есть на свете боги,
То пусть они откроют мне
Всю тайну прелести и силы
Твоих полуоткрытых глаз,
Значенье озорных и милых
Полуневысказанных фраз.
Речам моим полувнимая
Среди полуночной тиши,
Ты загоралась огневая,
От света собственной души!

Так можно было сказать, казалось Федору, только об одной девушке в мире – о Даше. И никогда прежде за годы разлуки не возникал перед Федором такой полный тепла и света, живой, почти физически осязаемый образ Даши, какой возник перед ним, освещенный мягким светом этого стихотворения.

28

В ночь под Новый год разыгралась такая метель, что было жутко от сатанинского свиста вьюги, даже сидя в жарко натопленной, опрятной и тихой хибарке

пикета. Долго не вздувая в этот вечер огня, Федор сумерничал, прислушиваясь к набатному гулу пурги, разбушевавшейся в степном просторе.

Примостившись возле догорающей печки, Федор не сводил прищуренных глаз с большого вороха потрескивающих углей, подернувшихся дымкой голубоватого пепла.

Домовничал Федор на пикете один. Куандык еще утром отправился с каким-то седоком на паре почтовых в Каркаралы, и Федор подумывал теперь о том, как бы не сбился с дороги бывалый ямщик. Ведь даже и днем при такой снежной сумятице в поле не видно ни зги, а уж о ночи и говорить нечего. Федор знал, что в такую пору не помогут дорожному человеку в пути ни камышные вешки, расставленные по тракту, ни привычные ко всему ямщицкие кони, чутью и выносливости которых доверяются ямщики, потерявшие дорогу.

Вспомнив про новогоднюю ночь, Федор встал, осветил лучинкой тикающие в простенке ходики. Часы показывали без малого одиннадцать вечера. Пора было подумать о самоваре. Как-никак, а отметить новогоднюю ночь чем-то все ж было надо. Вздув наконец огонек в семилинейной лампешке с залатанным бумагой стеклом, Федор поставил самовар. Угли были горячие, тяга в трубе – лучше некуда, и древний, ярко начищенный по случаю новогоднего праздника, щедро унизанный медалями тулячок бойко и весело загудел, разгораясь, подпевая на все лады безумствующей за окошками полуночной вьюге.

Федор накрыл в заезжей горнице столик, выставив давно приберегаемую бутылку первосортного самогона, привезенного в подарок ему Куандыком из Каркаралинска, и топтался теперь, потирая руки, в ожидании, пока вскипит самовар и доварится в сунутом в печь чугунке картошка в мундире. Он был доволен. Ужин предстоял на славу. А одиночество на сей раз

нисколько не тяготило его. Наоборот, было приятно провести такую ночь наедине со своими сокровенными думами о далекой родной стороне, вспомнить про милые сердцу края, повздыхать о Даше...

Подбросив в печку сухих березовых дров, Федор насторожился, прислушавшись к странным звукам и шорохам, возникшим за дверью избы. В сенках кто-то шарашился, нащупывая дверную скобу. Затем в двери показалась закутанная в собачью доху, похожая на снежную глыбу фигура.

– Ух, слава богу!– глухо проговорил незнакомец и, шумно вздохнув, принялся отряхиваться от снега.

– Ни зги?– спросил Федор, без особого любопытства поглядывая на припоздалого новогоднего гостя.

– Сущий ад, братец. Сущий ад...– пробормотал все тем же глуховатым голосом путник, тщетно стараясь развязать концы каштанового офицерского башлыка.

– Скажи, как ишо бог принес – добрались в такую оказию до пикета!– проговорил с непритворным удивлением Федор.

– Сам диву даюсь, батенька.

– Ямщик, видать, со смекалкой?

– Ямщик – да. Не из робких. Тертый калач... Но спасение еще не в одном ямщике. Кони у него золотые. Таким лошадям цены нет. Подумать только, ни разу в такой кутерьме с дороги не сбились! А?! Ведь ямщик-то ими и править забыл. Как замело, закрутило – божьего свету не видно, он – вожжи на облучок, а сам – ко мне в кузов, и трогай, куда святая вынесет...– говорил незнакомец, продолжая возню со своим башлыком,– он никак не мог развязать концов, стянутых узлом на затылке.

– Правильный ямщик. При такой заварухе конем лучше не руководствовать. Он сам свою дорогу найдет. А твое дело – лежать на дне кошевы да помалкивать,– сказал Федор, суетясь возле закипавшего самовара.

– Легко сказать – лежать. Не лежится, браток.

– Понятно дело – не лежится. Кабы лежалось, не гибло бы столько народу в бураны в этих степях. Нет, брат, в такую пору с конем не хитри. Он этого не любит,– продолжал Федор рассуждать как бы сам с собою.

Между тем путник, сорвав наконец с головы башлык вместе с черной мохнатой папахой, свалил с плеч и доху, оставшись в потертой темно-синей шинели с блестящими пуговицами, отороченной по бортам и у обшлагов голубым кантом. Федор, мельком взглянув на незнакомца, определил, что перед ним был не то какой-то почтовый чиновник, не то учитель – таким, по крайней мере, выглядел он благодаря ладно сидевшей на его плотной и рослой фигуре ведомственной форме.

– Ну-с, а теперь – здравствуйте!– прозвучал более оживленный, повеселевший голос путника.

– Милости просим. Проходите. Пожалуйте вот туда. Там и теплей и чуток почище будет,– сказал Федор, указывая на дверцы неярко освещенной горницы.

– Ага. Очень приятно. Благодарствую,– проговорил незнакомец и, поспешно приняв из рук ввалившегося в избу заиндевевшего ямщика небольшой кожаный дорожный баул и какой-то странный чемодан, напоминавший формой гитару, вошел в горницу.

– Ба! Да здесь, вижу, пиром пахнет!– прозвучал из горницы голос путника.

– А как же вы думали! Новый год без этого никак не обходится,– откликнулся Федор из кухни.

– С корабля – на бал. Чудесно! Чудесно!.. Ну что ж, попируем. У меня тоже со шкалик медицинского спирта найдется.

– Нет уж, извиняйте. Потчуйтесь моим первачком. Не самогонка – огонь. Сто пять градусов с плюсом!– сказал Федор, подмигнув примостившемуся у порога ямщику, обиравшему со своей серебряной бороды хрустально-ледяные сосульки.

– Да. Да. Чудесно. Чудесно,– звучал из горницы все тот же возбужденный голос гостя. Расхаживая по небольшой комнатке, он, близоруко щурясь, приглядывался к журнальным картинкам, украшающим стены, и продолжал рассуждать вслух сам с собою: Лермонтов? Превосходная репродукция. Вот не ожидал где встретиться с вами, юнкер! Да-а. Странно. Странно, Мишель...– проговорил он со вздохом вполголоса и, помолчав, добавил:– Все странно. И все чудесно, в конце концов. И лучше этакой новогодней ночи не выдумаешь...

Умолкнув, гость присел к столу. Подперев слегка засеребрившиеся виски худыми руками, он пристально засмотрелся на портрет Лермонтова и не сразу заметил появившегося с самоваром в руках хозяина пикета.

А Федор, едва переступив порог горенки, замер с самоваром в руках, не в силах двинуться с места. Глядя в упор на сидящего к нему вполоборота гостя, он испытывал такое чувство, словно земляной пол поплыл из-под его ног.

– Вот это совсем по-русски. Совсем хорошо!– воскликнул гость, широко улыбаясь.

И Федор, сделав усилие над собой, подался наконец к столу, поставив кипящий самовар перед гостем.

– Без пяти двенадцать. У вас куранты, смотрю, отстают. Пора – за бокалы. Пора. Пора,– сказал гость, сверяя свои карманные часы с золотым брелоком с узорными стрелками ходиков.

Федор медленно опустился на чурбан, служивший табуретом, и, не глядя уже больше на гостя, разлил подрагивающей рукой из бутылки по чайным чашкам первач, похожий на голубоватое спиртовое пламя.

– Ну что ж, поднимем первую за знакомство?– проговорил гость, приподняв свою чашку.

– Нет. Нет,– поспешно возразил Федор, решившись наконец взглянуть гостю в глаза.– Нет, первую надо нам

выпить с вами за Новый год, за новое наше счастье, ваше высокоблагородие!– твердо произнес Федор.

Слегка побледневшее при этом лицо гостя вдруг обрело суровое, строгое выражение. Худая белая рука его с поднятой чашкой, до краев наполненной огненной влагой, начала было медленно опускаться. Но Федор, звучно чокнувшись своей чашкой о чашку гостя, сказал:

– Ровно двенадцать. Опаздывать не годится. Выпьем. А наговориться ишо успеем. Ночь впереди.

И они, снова чокнувшись и не спуская друг с друга глаз, залпом выпили.

Часы показывали ровно двенадцать.

За окошками хижины бушевала метель, и было похоже, что где-то в честь нового года били в колокола.

29

О многом было переговорено в эту новогоднюю ночь между бывшим командиром 4-го Сибирского линейного полка есаулом Алексеем Алексеевичем Стрепетовым и рядовым казаком его мятежного полка Федором Бушуевым. Вволю наговорившись за ночь, оба испытывали теперь такое чувство взаимного уважения и тяготения друг к другу, какое возникает только между людьми одной судьбы, познавшими цену опальной скитальческой жизни и случайно встретившимися в чужом краю.

Стрепетовский ямщик, свалившийся с первой же чашки первача, спал в соседней половине избы, временами заглушая грохот пурги своим богатырским храпом. А Федор сидел за столом, подперев лохматую голову кулаком, и молча смотрел на своего собеседника. Алексей Алексеевич поднялся из-за стола и достал из кожаного футляра краснощековскую гитару. Затем, снова присев к столу на прежнее свое место, он устало откинулся спиной к простенку и прикрыл глаза. Лицо его было строгим, сосредоточенным, и

если бы не виски, тронутые налетом седины, и не мелкая сеточка морщинок у глаз, он выглядел бы сейчас таким же свежим и молодым, как и два года тому назад, каким он запомнился Федору в канун их несчастного похода.

Прикрыв ладонью гитарные струны, Алексей Алексеевич, не открывая глаз, помолчал. Было похоже, что он пытался припомнить что-то или что-то решить. Затем, подняв на Федора свои чуть-чуть притуманившиеся от легкого опьянения глаза, молча и медленно стал перебирать гитарные струны.

Федор весь внутренне притих. В строгой и трогательной задумчивости негромких аккордов как будто звучал чей-то до боли знакомый, родной, приглушенный голос. И какая-то еще неуловимая для слуха Федора, но необыкновенно сердечная и теплая мелодия то, журча и позванивая, подобно степному ручью, срывалась со струн, то, неожиданно обрываясь, замирала в раздумье, а затем, присмирев, лилась уже спокойным, чистым и тихим потоком.

Не меняя позы, Федор ревниво и пристально следил за подвижными, гибкими пальцами Алексея Алексеевича, тревожившими гитарные струны, целиком отдавшись порабощающей власти этих горько волнующих звуков. А Алексей Алексеевич запел вполголоса своим не звучным, но грустным и сочным баритоном, аккомпанируя на гитаре:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

На секунду умолкнув, Алексей Алексеевич выпустил из-под трепетных пальцев целую стаю глухо зарокотавших струнных звуков, и они, как стрижи, запорхали по горнице, словно отыскивая в взволнованном песней человеческом сердце надежный покой и приют.

Не спуская прищуренных глаз со стрепетовских пальцев, Федор сидел как в оцепенении, и сердце его рвалось на части от непонятной тревоги. А грудной голос Алексея Алексеевича продолжал звучать под неумолчный прибой аккордов еще задушевней, проникновенней и тише:

И спится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Седые знамена метели шумели за окнами. Пурга била во все колокола.

Алексей Алексеевич умолк. Не меняя позы, не поднимая усталых век, он, внутренне насторожившись, прислушался к свисту вьюги. Так, не двигаясь, не проронив ни слова и как будто даже не дыша, долго сидел он, притулившись спиной к простенку, не переставая при этом тревожить пальцами струны своей гитары. Слабо мерцало в хижине пламя лампы. Глухо, печально и сдержанно звучали басовые струны гитары под припевы вьюги. И Алексей Алексеевич, и Федор, невольно внимая напевам метели, думали каждый о своем.

Перед закрытыми глазами Федора стоял светлый облик Даши Немировой.

Думая о Даше, Федор видел ее такой, какой она запомнилась ему при первой их встрече в степи во время веселой майской грозы и теплого весеннего ливня. Давно это было. Очень давно. Многое забылось за эту бесприютную, скитальческую его жизнь на чужой стороне. И лишь одного не мог забыть Федор – запаха ее пробковых от загара тонких рук. Этот едва уловимый, но устойчивый, сложный запах преследовал Федора при каждом мимолетном воспоминании о Даше, при каждой мгновенной мысли о ней. Трудно было определить этот запах. Он таил в себе аромат жаркого солнца и ветра,

горький привкус придорожной степной полынки и умытой весенним дождем земли.

Годы шли. Все дальше и дальше уходил в прошлое тот как будто уже неправдоподобный теперь майский вечер, когда они встретились с Дашей во время грозы в степи. Но чем дальше был теперь от Федора этот день, тем ярче было воспоминание о нем.

Метель продолжала шуметь в ночи. Чуть слышно рокотали под пальцами Алексея Алексеевича басовые струны гитары. А он, глядя на уютное пламя лампы, видел сейчас перед собой в полосе тревожно яркого света тонкую, гибкую фигуру девушки в выцветшем ситцевом платьице и узнавал и не узнавал ее. Как во сне, в полузабытьи, в полудремоте смотрел он сейчас на это мимолетное виденье, будучи не в силах понять и осмыслить того, где, когда, при каких обстоятельствах видел он прежде эту девушку и отчего так волнует его это, кажется, совершенно чужое ему, недоступное, светлое и чистое создание?! Машинально перебирая пальцами струны гитары, Алексей Алексеевич не слышал их глухого, дремотного рокота. Зато в его ушах звучала, то на мгновенье затихая, то вновь возникая, до боли знакомая мелодия тревожного и печального вальса. Было похоже, что где-то очень далеко-далеко играл духовой оркестр. Потом откуда-то, так же издалека, донесся вместе со светлым, прозрачным звуком флейты чей-то такой же светлый голос:

Тихо вокруг. Ветер туман унес,
На сопках Маньчжурии воины спят
И русских не слышат слез...

И Алексей Алексеевич, как бы очнувшись от этого полусна, полузабытья, тотчас же понял все. И звуки духового оркестра, и этот светлый девичий голос – все это было отзвуком тех далеких, неповторимых дней, когда судьбе угодно было свести его, армейского

офицера, на недолгие сроки с девушкой из захолустной степной усадьбы. С тех пор прошло уже немало лет. Забылось из пережитого многое. Но звук этого трепетного и светлого девичьего голоса продолжал жить в душе Алексея Алексеевича, как жили в нем и звуки того духового оркестра, который слушали они как-то вечером вместе с Наташей Скуратовой, сидя друг против друга на открытой террасе. Похожая на подростка Наташа сидела в тот вечер в плетеном ракитовом кресле, по-детски подобрав под себя босые ноги, и неяркий ущербный месяц, высоко поднявшийся над усадьбой, скупо озарял девичье лицо. Где-то далеко-далеко, наверное, в линейном лагере, играл духовой оркестр. Волнообразные, зыбкие звуки его, то затихая, то вновь нарастая, плескались с дремотной задумчивостью в степном полумраке, как плещутся в вечерний час озерные волны, устало ложась на прибрежный песок. И тихий, светлый девичий голос чуть слышно звучал в этот час под далекий аккомпанемент оркестра:

Пусть гаолян вам навевает сны...
Спите, защитники русской земли,
Отчизны родной сыны!

Все это было очень давно.

Позабыв о недопитой бутылке первача, об остывшем в чашках чае, притихшие, неподвижные, сидели они друг против друга с полузакрытыми глазами. Прислушиваясь к реву пурги за окошком, к задумчивому и рассеянному бормотанью гитарных струн, оба порабощены были в эти минуты одной и той же властной силой тревожных и горьких воспоминаний.

И только уже под утро, лежа на одной жесткой кошме, постланной Федором на нарах, они разговорились. Погасив лампу, Федор примостился рядом с гостем. Закурили. Лежали, прислушиваясь к реву пурги.

– Спаси бог, что творится в степи,– сказал наконец Федор, как бы продолжая прерванный разговор.

– Не говори, служивый...– отозвался Алексей Алексеевич.

– Дорожному человеку гибель.

– Я думаю....

– Главное, места-то тут скрозь дикие. На сотни верст – ни души.

– Вот именно... Нам еще с ямщиком повезло – наткнулись на ваш пикет. Не то и нам пиши пропало.

– Это – как пить дать.

– Не судьба, значит, погибать еще прежде времени.

– Так выходит...

– Да. Не судьба. Вот и еще раз дороги наши с тобой, братец, скрестились...

– Гора с горой, как говорится, не сходится. А люди не горы.

– Это правильно. Люди не горы. А тем более – люди одной судьбы.

– Это как же так, одной судьбы?– не поняв Алексея Алексеевича, спросил Федор.

– Да вот так уж случилось, что судьба у нас с тобой, видать, одинакова,– сказал после некоторого раздумья Алексей Алексеевич.

– Ну это ишо вопрос – одинакова ли?– усомнился Федор.

– По-моему, да. Одинакова.

– По-моему, нет.

– Вот как?! В чем же ты видишь разницу?

– Во многом.

– Именно.

– Да что тут говорить лишнее. Я не чета вам. Вы офицер. Вы барин. Вы на правах образования, как говорится. А я что? Рядовой. Нижний чин. Беглый казак. Ни прав, ни видов на свободное жительство...

– Вздор говоришь, братец. И права и виды у нас с тобой сейчас одинаковые.

– В чем же это?

– Во всем.

– Например?

– А хотя бы в том, что обоим нам эти права завоевывать надо.

– Как это так – завоевывать?

– Ну как завоевывают? В бою. С оружием в руках.

– Непонятно. Это каким же, например, манером?

– Самым обыкновенным – в походном строю.

– Непонятные притчи говорите,– сказал Федор, хотя он уже догадывался теперь, к чему клонил речь свою гость. Неясно для Федора было другое – отношение бывшего есаула к тем назревающим событиям в стране, о неизбежности которых говорил в свое время Салкын,– к вооруженной борьбе за власть трудового народа.

Федору, конечно, и в голову не приходило, что беглый армейский офицер Стрепетов был каким-то образом связан с Салкыном.

И Алексей Алексеевич, словно разгадав мысли Федора, ответил ему:

– Притча эта нехитрая, сослуживец. Вот побродяжничали мы с тобой, помыкали горя вволю, а теперь – хватит. Пора нам и о возвращении в родные края подумать.

– Одной думой тут ищо не поможешь,– сказал Федор.

– Правильно. Правильно,– оживленно откликнулся Алексей Алексеевич.– Приходит пора не думать, а действовать.

– Не пойму я, о каком вы действии говорите,– притворно спросил Федор.

– Дело такого рода, станичник,– понизив голос до шепота, заговорил Алексей Алексеевич.- Через месяца два, этой весной придется тебе с твоими однополчанами подаваться отсюда восвояси, поближе к Горькой линии. Пробираться вам надо будет окольными путями и не всей тройкой сразу, а

поодиночке, весьма осторожно, с оглядкой. Это – во-первых. Не появляться в станице прежде времени, во-вторых. Постарайтесь для этого найти надежный приют у степных тамыров где-нибудь в прилинейных аулах, это – в-третьих. В-четвертых, будете ждать сигнала к вооруженному выступлению революционно настроенных наших людей, которых найдете в окрестностях Горькой линии, переселенческих хуторах и аулах. А сигнал к выступлению будет вам подан в свое время из Омска.

– Кем же это?– прозвучал чуть слышно тревожный голос Федора.

– Человеком небезызвестным на Горькой линии – Салкыном,– ответил Алексей Алексеевич.

– Что?! Как так Салкыном?!– изумленно воскликнул Федор.

– Вот так, Салкыном. Вы получите от него сигнал через надежных людей, посланных к вам для связи из Омска,– спокойно и твердо проговорил Алексей Алексеевич.

– Ничего не понимаю. Откуда вы знаете Салкына?– спросил все тем же взволнованным голосом Федор.

– Ну это не так уж важно – откуда я знаю его. Не в этом дело, Бушуев.

– Все же. Я любопытствую.

– Связи наши с ним старые,– уклончиво ответил Алексей Алексеевич.

– Что же связало вас?

– Единая вера, друг.

– Во что ж это?

– В бога, разумеется...

– В какого?

– Бог у нас один с вами. Бог борьбы, революции.

– Чудные речи слышу от вас, господин есаул.

– Что ж тут чудного? Повторяю, мы люди одной судьбы. И ты, и я, и Салкын – звенья одной цепи. Это тебе ясно, надеюсь?

– Не совсем, господин есаул,– признался со вздохом Федор.

– Да, Бушуев. Вижу – ты не совсем доверяешь мне. Может быть, на это есть у тебя основания. Может быть. Я понимаю тебя. Ведь ты во мне все еще видишь армейского офицера и барина, а не боевого товарища. Ну что же я могу сказать тебе на это? Скажу одно – придет время, когда ты посмотришь на меня другими глазами.

– Нет, что вы, что вы, Алексей Алексеевич. Дело не в этом. Я просто не чаял услышать от вас этаких слов... Но я верю вам. Верю. Верю,– проговорил засекающимся от волнения голосом Федор.– Просто мне в голову не приходило, что и вы могли быть связаны с нашим Салкыном.

– Представь себе – связан, и крепко,– заговорил горячим шепотом Алексей Алексеевич почти в самое ухо Федора.– О том, где и как я жил нелегально все эти годы, расскажу тебе после, как-нибудь на досуге. А сейчас признаюсь в одном. Я пробираюсь теперь в Омск по вызову Салкына. Еду с чужой подорожной в кармане, по чужим документам, под чужим именем. Это о чем-нибудь тебе говорит?

– Да, теперь я кое-что понимаю,– сказал Федор.

– То-то, голубчик!– многозначительно молвил Алексей Алексеевич, и он, крепко пожав при этом нащупанную в темноте руку Федора, добавил:– Вот так, дорогой мой товарищ. Снова мы с тобой оказались в одном боевом строю. Предстоит нам с тобой нелегкий, но благородный марш. И я верю, что совершим мы с тобой этот марш с честью.

– Ну, в этом вы можете не сомневаться,– сказал Федор, крепко пожав в ответ руку Алексея Алексеевича.

И собеседники замолчали. Прислушиваясь к бушевавшей за окнами предрассветной метели, они долго еще не смыкали глаз, чувствуя при этом такую взаимную близость друг к другу, какую испытывают

только неожиданно встретившиеся после долгой разлуки кровные братья.

30

Глухими волчьими тропами, по ковылям пустынных акмолинских степей, со звериной оглядкой пробирался Федор Бушуев с чужбины в родные края. Шел он только ночами, неуверенно ориентируясь по зыбкому млечному тракту, по звездам, знакомым с детства, призывно и ярко мерцавшим над ним в чужом и высоком небе. Похудевший, давно не бритый, обросший густой окладистой бородой, он и был похож теперь на одного из тех бродяг, о которых сложено много тревожных и вольных песен сибирскими поселенцами. Погода сопутствовала ему в этом нелегком, далеком странствии. В светлые, теплые, безветренные дни он отсыпался, отлеживался в укромных местах среди камышей, на берегу раскиданных в этом просторе многочисленных займищ и озер, питаясь сухим зерном пшеницы переселенческих хуторов и сел. Золотым зерном до отказа набивал он глубокие карманы своих изодранных миткалевых штанов, широкие голенища стоптанных сапог и полы такого же ветхого бешмета, приобретенного по дешевке на ярмарке.

На девятые сутки миновал Федор последние отроги невысоких кокчетавских сопок, обошел стороной обветшалые за эти годы казачьи казармы вблизи Кокчетава живо напомнившие ему о былом мятеже в полку, и выбрался в родимые степи своего Петропавловского уезда. Впереди лежала светлая, повитая дымкой марев степь с посеребренными ковылями, с мирными дымками разбросанных по увалам аулов, со столбами горячих смерчей среди пустынных и пыльных дорог. И, несмотря на большую физическую усталость, несмотря на потертые, точно налитые

оловом ноги, Федор, очутившись в родном просторе, внутренне просветлел, точно почувствовал себя вторично родившимся. Каждый куст таволожника, каждый стебель полыни, каждый степной курган с молчаливой птицей на нем – все напоминало о близкой родине, и он не мог без душевного волнения смотреть на эти наизусть заученные с детства просторы, на это умиротворяющее синее спокойное небо над степью и на зеркальные плесы светлых и чистых озер.

На десятые сутки пути Федор добрался до большого соленого озера Ак-Булак, на котором не раз он в детстве добывал с отцом соль-самосад. Отсюда было уже рукой подать и до знакомых ему казахских аулов, до степных тамыров, некогда кочевавших в окрестностях этого озера. Вечерело. Над степью вставал тревожно-мутный, неяркий закат, обещавший непогожее утро. Отмахав за день верст тридцать по безлюдной и знойной степи – он шел теперь днем, отдыхая ночью,– Федор испытывал сейчас большую усталость и решил переждать ночь, устроившись на привал в обветшалом деревянном мавзолее на одном из заброшенных кладбищ кочевников. В срубе, наглухо заросшем ковылем, типцом и бессмертником, можно было укрыться от дождя и от ветра. Здесь было тихо и сумрачно, пахло горькой степной полынкой и согретой солнцем землей. Пожевав сухих зерен пшеницы, Федор притулился к деревянной стене древнего мавзолея, устало прикрыл глаза и задремал. Но и сквозь легкую дремоту он слышал все неясные звуки и шорохи степи: крики кулика, глухой и далекий стон выпи, настороженный разговор пролетавших над ним диких гусей. А затем, очнувшись от недолгого забытья, он услышал далекую и протяжную гортанную песню кочевников. Прислушавшись, он понял, что это пастушья песня, а приглядевшись попристальнее, увидел и всадника с соилом в руках. Неподвижно сидя в седле, всадник самозабвенно пел, устремив взгляд в

глубь подернутой вечерним сумраком степи. И Федор, прислушавшись, переводил его песню так:

Почернело озеро Ак-Булак. И зашумел над степью злой ветер. Поднялась из-за озера черная туча, и прикрыло солнце свои золотые глаза. Потемнели воды озера Ак-Булак, и потемнело сердце мое от печали. Кому я об этом теперь расскажу? Я один в степи, как беркут на высоком кургане, и никто не услышит скорби моей о тебе, наш храбрый джигит Садвакас!

– Садвакас?! Садвакас?!– удивленно воскликнул Федор, услышав знакомое ему имя. И он, вскочив на ноги, закричал, призывно махая рукой всаднику:

– Э, тамыр, кель, кель – иди, иди сюда!

Пастух, заслышав крик Федора, оборвал песню и, повернув лошадь, не спеша подъехал к нему.

– Здорово, тамыр,– широко улыбаясь, приветствовал Федор по-казахски подъехавшего к нему джигита.

– Аман – здравствуй,– ответил, тревожно приглядываясь к Федору, джигит.

– Ну как, руки, ноги здоровы?

– Руки и ноги мои здоровы,– ответил джигит.

– А здоров ли твой скот?– спросил, по степному обычаю, Федор.

– Какой может быть скот у джатака?– ответил на это приветствие Федора джигит.

– Понимаю. Стало быть, не свои пасешь табуны?

– Откуда у нас свои табуны?– продолжал отвечать джигит на вопрос вопросом.

– А аул твой отсюда далеко?

– Аул мой совсем недалеко. Аул за увалом. Пойдем – гостем будешь,– сказал джигит, продолжая внимательно оглядывать с ног до головы оборванного, заросшего Федора.

– Что ж, пойдем, коль не шутишь,– сказал, улыбаясь, Федор по-русски. И он, привычным и ловким жестом

вскинув на плечи свои котомку, тут же спросил:– А как аул называется?

– Это – аул джатаков. Аул Каратал.

– Как ты сказал? Каратал?!– переспросил дрогнувшим от волнения голосом Федор.

– Каратал. Каратал,– повторил джигит, не понимая, чему удивляется путник.

– Погоди, погоди, тамыр. Ты пел сейчас песню про Садвакаса из аула Каратал?– спросил Федор у джигита, хватая его за рукав.

– Я пел песню про Садвакаса из Каратала. А ты знаешь Садвакаса?– спросил насторожившийся джигит.

– Я знаю одного Садвакаса. Это мой большой тамыр. Только я не знаю, о нем ли ты говоришь.

Я не знаю, о ком ты говоришь,– сказал джигит.– А в нашем роду был один Садвакас. Один батыр, о котором знает вся степь Сары-Дала...

– Погоди, погоди, тамыр. Скажи толком, он друг тебе?

– Он был мне дороже друга и брата.

– Он тебе когда-нибудь рассказывал про русских его тамыров?

– Он мне много рассказывал про русских его тамыров...

– Он называл их тебе по имени?

– А тебе зачем это знать?

– Да ты не бойся, не бойся, тамыр, меня. Если это тот Садвакас, то веди меня скорее в аул.

– Пойдем. Пойдем. Двери священной юрты Улькен-Шапрак в ауле джатаков всегда открыты для гостя,– сказал джигит.

– Но ты мне скажи сначала, тамыр, где Садвакас?– спросил взволнованным голосом Федор, возбужденно и пристально глядя своими лихорадочно блестевшими глазами на невозмутимого джигита.

– Пойдем к нам в аул, и там ты про все узнаешь,– сказал джигит, трогая задремавшую под ним лошадь.

И Федор, забыв об усталости, легко, не чуя земли под ногами, пошел вслед за всадником.

Ураган разразился в полночь. Он начался со страшной грозы, шквального ветра и проливного дождя. В кромешной, аспидной мгле, изредка озаряемой голубыми, ослепительными вспышками молний, метались по степи брошенные пастухами, обезумевшие байские табуны и овечьи отары. Всю ночь неистово ревел ветер, грозя перевернуть и унести казахские юрты. А от оглушительных грозовых раскатов ходуном ходила под ногами земля, и ливень, похожий на библейский потоп, продолжал бушевать, заливая степь, как во время бурного вешнего половодья.

В ветхой юрте старого Чиграя, где сбились все пастухи и подпаски аула, трудно было повернуться. Джатаки сидели, тесно прижавшись один к другому, вокруг потухшего очага, и немощное пламя светильника едва озаряло жалкое жилище, деревянный остов которого, покрытый войлоком, трещал под ударами бесновавшегося в ночи урагана.

Джатаки сидели молча. Старый Чиграй, вопреки обыкновению, даже забыл о гадании, не прикасаясь к разбросанным по циновке бобам. У многих из этих сидящих в юрте Чиграя пастухов и подпасков уже были разрушены бурей их шалаши, а клочья черного полуистлевшего от времени войлока развеяны, подобно пеплу, над степью. Ни один из джатаков, приютившихся в юрте Чиграя, не сомкнул в эту ночь своих воспаленных глаз. Охваченные тревогой, всеобщим все возрастающим возбуждением, гневом и решимостью, сидели джигиты вокруг погасшего очага, погруженные в свои невеселые думы о судьбе Садвакаса.

И только на рассвете, когда вволю набушевавшийся за ночь ураган стал затихать и ливень пошел на убыль, один из джатаков спросил, пытливо оглядывая суровые и строгие лица пастухов и подпасков:

– Знает ли кто-нибудь из вас, что нам делать теперь, кому и как отомстить за Садвакаса?

– Да. Это знаю я. Я знаю, что нам делать теперь. И я знаю, кому и как отомстить за Садвакаса,– решительно проговорил пастух Сеимбет, вскочив при этом на ноги.

И все сидевшие в юрте выжидающе и тревожно посмотрели на Сеимбета.

Помолчав и пытливо оглядевшись вокруг своими зоркими, быстро бегающими глазами, Сеимбет вдруг повелительно взмахнул рукой и коротко сказал:

– За мной, джигиты!

И тотчас же пастухи, повскакав на ноги, покинули вслед за Сеимбетом юрту Чиграя.

– За мной, джигиты!– снова крикнул Сеимбет окружившим его на улице пастухам и повел за собой толпу к белой юрте Альтия.

Подбежав к юрте первым, Сеимбет требовательно постучал кулаком в дверь. Но на его стук никто не отозвался. Тогда Сеимбет коротким и злобным ударом ноги распахнул легкую, нарядно покрытую национальным орнаментом дверь, и толпа ввалилась вслед за своим вожаком в огромную, расточительно украшенную коврами и шитым войлоком юрту.

Ворвавшись, джатаки в нерешительности замерли, столпившись за спиной Сеимбета, у порога. Альтий, обложив себя пуховыми подушками и цветными шелковыми одеялами, лежал в почетном углу, а вокруг нежарко тлевшего очага сидели, поджав по-степному ноги, именитые аткаминеры и аксакалы. Презрительно прищурив свои сонные, заплывшие жиром глаза, Альтий сквозь зубы глухо спросил Сеимбета:

– Как ты смел перешагнуть порог моей юрты, презренный пастух?

– А об этом ты спроси вот у них, аксакал,– сказал Сеимбет, показав на джатаков.

И этих слов Сеимбета оказалось достаточно для того чтобы пастухи, разом ринувшись к побледневшему Альтию, вдруг оглушили его взрывом гневных и бранных криков:

– Где русские кони, вор?!

– Где твоя плата?!

– Где наш джигит Садвакас?!

– Отвечай, за сколько ты продал русским джигита.

– Отвечай, а не чакай зубами, как волк.

Сжавшись в комок, втянув в плечи свою огромную бритую голову, волостной управитель метал затравленный, полный тоски, мольбы и злобы волчий взгляд из стороны в сторону, пытаясь найти защиту у сбившихся в кучу, почерневших от страха именитых аксакалов. Цепляясь своими огромными пухлыми руками за груду шелковых одеял, он натягивал их на себя, словно пытаясь зарыться в них, как зарывается в снег загнанный зверь, почувствовав близкую гибель...

Вдруг кто-то из пастухов, ловкий и гибкий джигит, вырвавшись вперед из толпы, сорвал с волостного управителя одно из одеял и, набросившись на него беркутом, выволок грузное байское тело из подушек на середину юрты. Беспомощно сопротивляясь и барахтаясь, Альтий встал на колени и, взывая к милосердию, вознес было над головой свои пухлые бабьи руки. Но в это время один из пастухов плюнул ему в лицо, и толпа джатаков с ревом вынесла на руках байскую тушу вон из юрты.

Откуда-то тут же появилась старая двухколесная арба, запряженная самым страшным и злым байским жеребцом-производителем. Трое джигитов с трудом сдерживали под уздцы почуявшего неладное, бесновавшегося жеребца, округлившего свои налитые кровью зрачки. Заложенный в коротенькие оглобли

рысак касался при малейшем движении ногами о переднюю бровку арбы, дрожа от бешенства и так перебирая своими упругими, точно литыми ногами, словно земля жгла его розовые копыта.

Поднятый на руках бай, как мешок с костями, рухнул в арбу, и тотчас же проворные руки джигитов, скрутив его арканом, крепко притянули громоздкую тушу Альтия к арбе, намертво захлестнув калмыцким узлом веревку. Затем, выпрыгнув из арбы, один из джигитов – это был Сеимбет,– повелительно махнув рукой, крикнул:

– Отпускай!

И трое джигитов, державших под уздцы жеребца, отскочив в стороны, пустили его на волю.

Жеребец, почувствовав себя свободным, на мгновение замялся, дико и злобно озираясь по сторонам, как бы не решив еще, что ему делать. Но затем вспугнутый гортанным ревом толпы, вдруг попятился, присел на задние ноги, сделав свечу, рванул вперед и понесся под улюлюканье, свист и вопли джатаков по степи, обезумев от бешенства, воли и злобы. Старая арба с волостным управителем высоко подпрыгивала над землей и временами, казалось, летела по воздуху. А озверевший конь, задрав голову и широко разбрасывая свои точеные ноги, ничего не видя перед собой, летел ураганом по степи прямо к крутому обрыву озерного берега, но затем, резко повернув в сторону, понес вдоль курьи, и скоро его уже не было видно среди камышей, над которыми поднялись и затрепетали с тревожными криками тучи перепуганной птицы.

31

Поздней осенью 1917 года, в полночь, около ветхой избушки Агафона Бой-бабы спешился всадник. Он был одет в тяжелую теплую купу – бешмет особого степного покроя. Проворно спрыгнув с низкорослого бойкого

конька и наскоро привязав его за повод недоуздка к плетню, всадник осторожно постучался в дверь Агафоновой избушки.

– Кто там?– спросил сонным голосом разбуженный Агафон.

– Открывай, открывай, тамыр. Свои люди. С доброй вестью,– прозвучал по-казахски приглушенный, взволнованный голос запоздалого путника.

А спустя минут пять, вздув на скорую руку огонь в лампешке, Агафон узнал в ночном госте знакомого ему пастуха Сеимбета.

Настороженно оглядевшись вокруг – пастух, видимо, побаивался, как бы кто его не услышал из посторонних,– шепотом сказал:

– С тебя суюнши – награду за добрую весть, по нашим степным обычаям...

– Што такое? Не томи, тамыр.

– Хабар прошел по степи. Федор Бушуев вернулся с двумя казаками в наши края. Понял?

– Врешь?!

– Слово даю. Меня послали гонцом в станицу с этой доброй вестью.

– Где же он?– нетерпеливо спросил Агафон.

– В надежном месте, тамыр. В надежном месте...– успокоительно сказал Сеимбет. Помолчав, снова настороженно оглядевшись вокруг, Сеимбет продолжал пониженным голосом:– Я прискакал к вам с таким наказом от Федора. Все ваши разжалованные казаки должны завтра же ночью собраться в нашем ауле.

– Конные али пешие?– перебил его взволнованный Агафон.

– А это уж как придется. Конечно, лучше бы было собраться верхами, если найдете коней.

– За конями дело не станет, коли приспичит.

– Правильно. Лошадей вы в станичных табунах всегда найдете, если зевать не будете.

– Тут дело такое, што зевать не приходится,– согласился Агафон.

– Тогда – договорились,– сказал Сеимбет по-казахски.– Давай собирай своих тамыров. А мне здесь долго оставаться нельзя. Приказано на рассвете вернуться в аул. О моем приезде в станицу – никому ни гугу.

– Само собой понятно, што ни гугу. А народ я в кой миг соберу, раз выходит такое дело,– сказал Агафон.

И Сеимбет, наспех распрощавшись с хозяином, так же неслышно покинул избушку Агафон Бой-бабы, как и вошел в нее.

Проводив ночного гостя, Агафон тотчас же обежал всех соколинцев, скликав их в свою избу. Услышав о возвращении Федора, соколинцы без особых споров пришли к одному выводу, что всем им необходимо немедленно податься из станицы в степь, собравшись в том самом ауле, который был назван Федором.

– А кони где?– спросил кто-то.

– В табуне,– коротко ответил Кирька Караулов.

– В каком таком табуне?!

– В том самом, который на отгуле за озером пасется.

– Да ить табун-то ермаковский.

– Известно – не наш.

– Выходит, барымтой займемся?

– Выходит, так,– твердо сказал Кирька Караулов, и он, тут же приняв на себя роль командира, приказал:– Даю вам всем сроку по полчаса привести в порядок свои боевые доспехи.

– Да какие же у нас доспехи, Киря? Сам подумай?!– сказал Спирька Саргаулов.

– А уж какие у кого найдутся. Шашки небось у всех сохранились?

– За шашками дело не станет.

– Это оружие всегда при себе.

– Каки таки мы казаки без шашек?!– дружно откликнулись соколинцы.

– Ну вот вам и доспехи. Живо – шашку на ремень, а фуражку – набекрень, как говорится в песне, и к походу мы, братцы, готовы,– весело сказал Кирька.

А на рассвете соколинцы, неслышно подкравшись к мирно пасущемуся за озером косяку пущенных на выгул отборных ермаковских коней и бесшумно сняв с поста полусонного, перепуганного пастуха, придурковатого Никодимку, как снимали не раз они в боевой обстановке вражеские посты и секреты,– в мгновение ока завладели табуном и, взнуздав лошадей, выстроились перед Кирькой в походную колонну.

– За мной, марш, марш!– вполголоса отдал команду Кирька.

И кавалькада двинулась на рысях в глубь степи, навстречу колючему предрассветному ветру.

После двухчасового марша по глухой, безлюдной, пустынной степи – конница шла переменным аллюром – казаки спешились под прикрытием негустого березового перелеска, а братья Карауловы, вооруженные помимо шашек дробовиками, ускакали в притулившийся за пригорком аул джатаков. Спустя минут двадцать Карауловы вернулись в сопровождении дюжины степных джигитов, среди которых был и пастух Сеимбет, ловко сидевший на резвом и злом байском скакуне в седле с дорогой инкрустацией.

– По коням!– отдал с ходу команду казакам Кирька Караулов.

И соколинцы, вновь выстроившись в походную колонну, тронулись на рысях за своим командиром, окруженным степными джигитами, лихо гарцующими на отборных байских скакунах. Проскакав еще около десяти верст по степной целине, всадники по властному взмаху руки своего командира перешли с галопа на рысь, с рыси – на шаг и, наконец, остановились вблизи невысокого кургана, невдалеке от переселенческого хутора.

– Спешиться, передать лошадей коноводам, а самим двигаться в пешем строю,– отдал команду Кирька.

Казаки, недоуменно переглядываясь, выполнили и эту команду Кирьки. Вручив коней коноводам, соколинцы приняли боевой порядок, выстроившись во фронт перед Кирькой, и замерли по команде «смирно».

– Справа по три, за мной!– скомандовал Кирька.

И казаки, перестроившись, последовали в пешем строю за своим командиром. Следом за казаками молча шагали толпой и степные джигиты. Миновав солончаковую впадину, казаки двигались цепочкой след в след за Кирькой по камышам прибрежного займища к полуобнаженному березовому лесу и долго затем пробирались через густые заросли тальника и ракита, пока не выбрались на глухую лесную полянку, замкнутую со всех сторон в кольцо векового березового леса.

– А теперь пора, братцы, и на привал. Отдохнем до поры до времени,– сказал мирным тоном Кирька.

Казаки быстро натаскали валежника, сухих сучьев, и не успел Кирька Караулов докурить свою увесистую цигарку, как на поляне уже весело потрескивали костры. Покойно и тихо было в лесу. Высокое, безмятежное небо раскинуло свой синий шатер над лесом. И многие из станичников, утомленные непривычным ночным маршем, блаженно смежив веки, задремали.

И вдруг лесная глушь огласилась восторженными криками. Разбуженные станичники, повскакав на ноги, не сразу поняли, в чем дело. Между тем толпа казаков, перемешавшихся со степными джигитами и невесть откуда взявшимися людьми в потрепанных солдатских шинелях и в холщовых мужицких рубахах, окружила плотным кольцом худого, черного, лицом похожего на цыгана человека.

И Архип Кречетов, протерев заспанные глаза ахнул, признав в человеке, похожем на цыгана, Федора.

А минут десять спустя началось нечто похожее на стихийно возникший митинг.

В центре толпы стоял Федор. Без шапки, в расстегнутой сатиновой косоворотке, подпоясанный широким казачьим ремнем, украшенным посеребренным набором, он и в самом деле походил сейчас на цыгана. Впервые в жизни держал он речь на миру. Но он не думал теперь об этом и, охваченный необычайным душевным волнением, говорил горячо и страстно, жестикулируя руками:

– Нет, нам нечего делить между казаками, новоселами и степными нашими тамырами. Мы все с вами – одна беднейшая нация. Одна у нас у всех с вами была незавидная судьба, братцы, одна планида.

– Правильно!

– Дело говоришь, станишник!

– Фактура – дело!– хором звучали голоса.

– Одна у нас судьба с вами, братцы. Одна у нас с вами и дорога,– продолжал Федор.– Мы ишо посмотрим, чья тут возьмет верх: наша ли с вами правда али кривда станишных воротил, отрубного кулачья и степного байства. Не мы им кориться будем, а их поставим кряду всех на колени. Не такое теперь время, штобы в обиду нашего брата давать. Правильно я говорю, братцы?!

– Все, как божий день, ясно, Федор Егорыч. Бери команду над нами. В огонь и в воду пойдем за тобой. Я в ответе за всю нашу нацию,– сказал Кирька Караулов, вытянувшись перед Федором во фронт.

– За тобой последнее слово, станишник.

– На тебя вся надежа.

– В любой поход за тобой!– кричали Федору из толпы русские и казахи.

– Благодарствую, благодарствую, братцы, за такое доверие...– проговорил в смущении Федор.– А уж если доверились мне, так попрошу подчиняться,– повысил он голос.– День мы с вами передохнем на этом привале,

а ночью – в поход. По секрету скажу, што сегодня же ночью должен прибыть из Омска один наш надежный и сведущий человек. Он нам подскажет, што и как делать дальше.

– Известно – што. Атаманов под арест, а власть – в свои руки!– крикнул Кирька Караулов.

– Это само собой разумеется,– подтвердил Федор.– Захватить власть – это ишо полдела. Захватить – захватим. А надо ишо суметь правильно руководствовать. И тут голова нужна башковитая...

– А кого ты из Омска-то ждешь?– улучив удобную минутку, спросил, вполголоса Федора Кирька Караулов.

Помешкав, Федор также чуть слышно ответил Кирьке:

– Салкына.

32

В сумерках вблизи лесного бивака станичников и переселенцев спешилось около сотни конных джигитов, съехавшихся сюда из окрестных аулов. Кочевники, поджав по-степному ноги, сидели, вокруг костров, делясь новостями.

– Хабар бар ма?

– Хабар бар. За аулом Мулалы нам пересек дорогу сумасшедший скакун, запряженный в арбу с мертвым телом бая Альтия...

– Ие!? Он был мертв?

– Говорят, мертв... И потом нам встретился пастух из рода Кайта. Он скакал на гнедом стригуне. Я запомнил приметы его конька – левое ухо с вырезом и тавро на правой холке. Пастух говорил, что в степях, по ту сторону реки Ишима, пастухи побросали байские табуны и ушли в долину трех рек навстречу отрядам степного батыра Амангельды.

– Что ты слышал еще про Амангельды?

– Где он?

– Много ли войска у него?

– Куда он идет?– окружив проворного и стремительного джигита в малиновой тюбетейке, наперебой спрашивали его кочевники.

– Вся степь говорит про Амангельды,– сказал джигит, с гордостью произнося имя батыра.– Тысячи недовольных, таких же, как мы, обездоленных степных людей движутся вслед за батыром из далекого Семиречья в степи Средней орды. Там, где проходят отряды батыра, бедняки становятся хозяевами степи, а аткаминеры и баи разбегаются, подобно волкам, попавшим в облаву...

– А правда ли, что среди джигитов Амангельды есть и русские люди?

– Был и такой хабар. Правильно, вместе с аскерами Амангельды идут и русские люди, а самого храброго из русских богатырей Амангельды зовут матросом Тараном. Об этом тоже знает вся степь, и незачем спрашивать о том, что давно всем известно...

– Правильно. Удивляться тут нечему. У русских людей тоже есть такие же джатаки, как мы. Чего же делить нам с ними, кроме нужды и горя?!

– Справедливые, справедливые ваши речи, воспода кыргызы. Дело говорите. Одна у нас с вами беда. Одна у нас с вами забота,– сказал Архип Кречетов, подслушавший мирную беседу сидевших вокруг костра казахов.

– Ие. Да. Одна беда. Одна забота,– оживленно откликнулся джигит в малиновой тюбетейке.

Присев рядом с казахами к костру, Архип Кречетов рассудительно проговорил:

– Нам с вами самое главное – власть доступить, а там уж мы определим свою жизнь по-хозяйски. В обиду друг друга не дадим. Слава богу, похлебали мы вдоволь горького до слез. Хватит. Наступит и на нашей улице праздник. Правильно я говорю, воспода суюзники?

– Друс. Друс. Правильно. Правильно, тамыр!

– Правильно, друг,– звучали в ответ на вопрос Архипа Кречетова дружные голоса джигитов.

Около полуночи, когда над лесом взошла молодая луна, Федор, возглавив свой уже большой повстанческий отряд из станичников, скрывавшихся по переселенческим хуторам, дезертирствующих фронтовиков и степных джигитов, повел за собой кавалькаду вооруженных казачьими и охотничьими дробовиками всадников по направлению к станице. Казаки, принявшие в конном строю положенный походный порядок, шли впереди, а за ними следовали на рысях плотной массой джигиты.

Федор ехал впереди, молчаливый, строгий, внутренне собранный. Капризный, плохо еще приученный к седлу степной конь, закусив удила, стремительно нес его по степи, неярко озаренной светом молодого высокого месяца.

В темпе все возрастающего аллюра Федор провел свою конницу мимо цепи тускло блестевших от лунного света знакомых ему горько-соленых озер и скорее почувствовал, чем увидел, родные с детства места, неожиданно возникшие перед ним, как в сновидении, как в сказке. Вот промелькнула в стороне древняя береза с причудливо изогнутым у основания, похожим на лук стволом. Одинокая, покорная всем ветрам, она и прежде всегда замечалась Федором. А сейчас при виде ее золотой, дремотно покачивающейся полуобнаженной вершины у Федора еще тревожнее и горше, рывками забилось сердце.

Федор скакал, работая поводьями, не оглядываясь назад. Но он чувствовал близость мчавшихся за ним по пятам всадников и свою кровную неразрывную связь с этими людьми. Как проливной дождь в ночи, глухо плескался копытный стук, и возбуждал, кружил голову Федору сладковатый запах лошадиного пота и сдержанное дыхание всадников, в суровом и строгом

безмолвии мчавшихся вслед за ним стороной от торной степной дороги.

Хутор Подснежный, где жила Даша, конница прошла на рысях, и Федор с трудом поборол в себе желание сейчас же повернуть на ту улицу, где стоял дом Немировых. «Нет, нет. Потом, после. После...» – мысленно твердил Федор, полузакрыв глаза, чтобы не увидеть случайно неясных очертаний знакомого дома, чтобы не поддаться соблазну и резким рывком не повернуть к нему своего нервного коня. Сердце било в набат. Горели виски. Во рту было горько и сухо. И Федор, пришпорив коня, вихрем пролетел через хутор, как через гигантское, жаркое пламя костра, опалившее его душу огнем тревожных, ярких, незабываемых воспоминаний...

К станице конница подошла на рассвете. Федор плохо помнил потом, как он спешился на ходу со своей взмыленной лошади около крыльца станичного правления, как ворвался вместе с Пашкой Сучком, Андреем Праховым и пастухом Сеимбетом в кабинет атамана Муганцева и что говорил испуганно озиравшемуся Муганцеву, почему-то прикрывшему ладонями свои серебряные погоны. Зато Федор отлично запомнил обстановку этого кабинета, пропитанного кисловатым запахом легкого табака. На письменном столе стояла недопитая бутылка кагора – церковного вина для причастия – и две перевернутые вверх дном рюмки из розоватого хрусталя. Засидевшиеся в эту неспокойную ночь в кабинете атаман Муганцев и пристав Касторов тут же и заснули: Касторов – на деревянной софе, накрытой гарусным ковриком, Муганцев – в кресле за письменным столом.

Оба они не были пьяными. Но, очнувшись от шума и грохота, поднявшегося в станичном правлении, долго не могли прийти в себя, ошалело глядя на Федора и его спутников, проворно и деловито обыскавших того и другого на случай, если у них имеется припрятанное

под кителями или в карманах просторных офицерских шаровар с лампасами огнестрельное оружие.

Покончив со скорым обыском и бесцеремонно сняв с Муганцева его посеребренную парадную портупею от сабли – отстегнутая сабля Муганцева мирно стояла в углу у печки,– Пашка Сучок, вопросительно взглянув на Федора, спросил:

– Куды их теперь девать, Федя?

– Кого?

– Ну, вот это бывшее, значит, начальство,– сказал Пашка, кивая на пристава с атаманом.

– Известно куда – в кутузку. Под замок. Да охрану за ними построже,– распорядился Федор.

– Слушаюсь,– лихо козырнув Федору, сказал Пашка, и он при помощи Андрея Прахова и Сеимбета не очень вежливо начал выталкивать из кабинета пытавшихся было сопротивляться пристава и атамана.

– Стоп, братцы. Куды вы их волокете?– крикнул появившийся в дверях Архип Кречетов.

– Куды надо. Посторонись с дороги,– окрысился на Архипа Пашка Сучок.

– Да не посторонись, а отвечай толком – куды, когда тебя спрашивают.

– Вот пристал, как банный лист к причинному месту. Куды, как не в каталажку?!– воскликнул, отталкивая в сторону Архипа Кречетова, Андрей Прахов.

– Да не в каталажку, а на площадь их, подлецов, волоки. На божий свет выводи их, к миру. Там ить вся станица у церкви!– протестующе размахивая руками, кричал Архип Кречетов.

– Нет. Нет. Закрыть их пока под стражу, а на миру мы и без них обойдемся,– повелительно сказал Федор, заметивший заминку среди казаков, конвоировавших взятое под стражу станичное начальство.

Федор стоял возле распахнутого окна и смотрел не спуская глаз на древние редуты крепости. Там вдали, за шестигранными холмами линейного городища,

простиралась до самого горизонта родная степь. А над позолотевшими от восхода палисадниками и крышами станицы вставало огромное, похожее на развернутое алое знамя солнце. То брел по холмам и увалам, занявшийся где-то под небом Тихого океана, властно вступающий в необозримые степные просторы Горькой линии новый, полный бодрящего холода, синевы и багрянца октябрьский день.

На церковной колокольне ударили в большой колокол. Низкий в запеве, торжественно-глуховатый звук меди стремительно поплыл, колыхаясь, над степью. Затем последовал второй удар. Третий. Четвертый. Частые и гулкие звуки заходили волнообразными кругами над станицей.

И Федор, поняв, что это бьют в набат, бросился со всех ног туда, на станичную площадь, к народу.

1931-1954

ПРЕСНОВСКИЕ СТРАНИЦЫ

ПОВЕСТИ

КОЛОКОЛ

Наши деды с вилами дружили.
Наши бабки черный плат носили.
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? Разговор сорочий,
Легкие при новолунье ночи.
Тяжкие лампады. Бубенцы!

П. Васильев

О, как ярко – словно было это вчера – вижу я и поныне тот – бесконечно на самом деле теперь от меня уже далекий знойный августовский полдень в станице Пресновской. Как и сейчас, слышу забубенный гул перекатного, пропитанного полынной горечью горячего ветра. Все отчетливо помню. Мутноватое, тускло сверкающее сквозь пыльную пелену черной бури, прокаленное зноем небо. Босоногую худую старуху с холщовой сумой на боку, заснувшую у нашей завалинки. Шелест кипящей под ветром древесной листвы в палисаднике. Скрип дрожмя дрожавшей жерди под уже покинутой скворцами скворешней. И тугие жгуты смерчей, бесновавшихся по пустынным улицам и переулкам точно вымершей в эту пору станицы.

Август – разгар страды. И станичные хлеборобы-от старого до малого – все в степи, в поле, на пашне.

А мне – четыре года. И я ничего не знаю о том, где я был и как я жил до этого знойного пыльного дня. Выходит, что все-таки где-то был и как-то жил я и до сегодня. Но жил – теперь мне понятно – бездумно,

кротко и неприметно, как живет стебелек мелколистной степной полынки, доверчиво притулившейся к огородному плетешку.

Вдосталь – надо думать – наигравшись за этот полдень в круглом одиночестве в тени крытого дерном сарая, разморенный жарой, убаюканный колыбельным ветром, я заснул. Заснул полусидя, прислонясь головой – с белесыми малоухоженными волосами – к полурассохшемуся колесу старой нашей телеги.

Не знаю, сколь долог иль короток был тот мой сон. Но проснулся я от грозного трубного звука и замер от безотчетного ужаса, в комок сжавшего детскую мою душу.

В страхе отпрянув от колеса, я весь напружинился, вслушиваясь всем своим существом то ли в утробный стон, то ли в надсадные вопли незримой грозной трубы. А затем, стремглав вылетев из сарая на открытый наш двор, я увидел над головой черное, как вороново крыло, будто залитое кипящей смолою небо.

А труба – словно откуда-то с заоблачной высоты – продолжала трубить и трубить все пронзительнее, все угрожающе, все горше. И тут я вдруг не то что там понял, а скорее, конечно, почувствовал, что это выл Главный колокол нашей станичной церкви, звук которого, быть может, уже и касался моей отроческой души когда-либо прежде...

И не успел я опомниться, прийти в себя, как у меня подкосились ноги от крика старшей из двух моих сестер – Даши. Точно вихрем вырванная из дверного проема сеней, она на какую-то долю мгновения застыла как вкопанная на низеньком нашем крылечке, вглядываясь, в черную накипь неба. И вдруг, обреченно прижав к груди накрест схлестнувшиеся тонкие девичьи руки, так закричала, что я не узнал ее голоса.

– Набат?! Набат?! Боже, да ведь это пожар! А-а-а! Пожар! Боже мой! Боже мой! Пожа-а-арр!

У меня перехватило дыхание от жаркой вспышки невыразимой нежности и жалости к полуузнанной мною в эту минуту сестре. Ничего не понимая, не догадываясь о том, что же произошло, я, однако, почуял какую-то страшную беду, нависшую над нашим двором, надо мной, над обнаженной русоволосой головой Даши. И заплакав, я бросился со всех ног к обезумевшей от страха и горя сестре, невольно ища у нее утешения, ласки и защиты.

С лету очутясь в спасительных, надежных руках нянчившей меня сестры, я сразу притих и тут же спросил ее:

– Правда же, это ведь они звонят к обедне? Правда же?

Но Даша, ничего не ответив мне, только судорожным движением руки погладив меня по голове, опрометью бросилась со мной в дом и заметалась, будто в беспамятстве – челнок челноком – из кухни в горницу, из горницы – в кухню. Затем, сорвав – почему-то только с одного горничного окошка – тюлевую занавеску, прихватив впопыхах заодно и ветошный коврик со старинного маминого сундука,– она, крепко прижав меня к груди, снова вихрем вырвалась вон из дома – на просторный наш двор, а потом – за ворота, на улицу.

Даша вновь закричала чужим голосом. Но я не разобрал ее слов – их заглушил яростный рев раскаленного опалившего лицо мое ветра. Что-то сухо трещало, гудело, звенело и грохотало вокруг нас, и я не узнавал потонувшей в удушливой полумгле нашей улицы.

А колокол выл и выл – выл, как попавший в беду человек, захлебываясь от сбивчивого торопливого крика и стона.

Все ходило вокруг ходуном – и земля и небо. А Даша, не выпуская из рук ни меня, ни тюлевой занавески, ни ветошного коврика, то кидалась снова во двор нашего дома, то вновь вылетала прочь – на полутемную, объятую жаром улицу.

Теперь сестра уже не кричала, а только беззвучно шевелила обескровленными, спекшимися губами, и я не узнавал сейчас уже и ее лица – тоже теперь для меня бесконечно чужого, как будто никогда доселе мною не виданного...

Было похоже, что ударил гром. И тут вдруг я увидел в черной, клокочущей бездне неба раскиданную ветром стаю огненноперых птиц. Они, излучая багряные брызги и струи, в смятении порхали в грифельном небе, рывками кидаясь из стороны в сторону, и – то отвесно, то косо – падали, как подбитые, на кровли навесов, домов и амбаров.

А затем – как мне мнится теперь – кто-то с дьявольской яростью и неземной сатанинской силой метал с высоты на станицу пылавшие стрелы, копья и факелы. И вот– то тут, то там – взмыли ввысь, заходили враскачку распатанные ураганным ветром, перевитые траурным дымом, огненные столбы.

Таким увидел я – четырехлетний последыш многодетной нашей семьи – памятный моему поколению одностаничников пожар тысяча девятьсот десятого года.

За каких-нибудь там полтора-два часа огненный ураган начисто смел с лица земли почти всю вековую нашу станицу.

Уцелело немногое. Церковь. Пожарная каланча. Здание станичного правления. Кабак с домом целовальника. Начальная школа. Войсковые склады холодного оружия, походного снаряжения и провианта, стоявшие на отшибе – за древними крепостными валами. И около десятка кондовых домов пресновской знати, в большинстве своем примыкавших к обширной церковной площади. То были дома здешних купцов и скотопромышленников – приписных, не потомственных казаков станицы – Фоминых, Немировых, Коркиных, Стрельниковых, Вронских, Боярских.

Мало что из домашних пожитков удалось отстоять от огня подоспевшим к пожару станичникам, прискакавшим с далеких пашен верхами.

Не ахти как много добра успели выволочь, выкинуть вон – на улицу – из пылавшего свечой деревянного нашего пятистенника и старшие мои братья – Иван с Дмитрием, тоже прискакавшие вершными с пашни.

Прорвавшись сквозь огненно-дымный занавес, братья в первую очередь выволокли из горящего дома заветный мамин сундук – хранитель немудрых праздничных нарядов семьи. Потом им удалось урвать у огня и еще кой-чего из домашности. Медный, щедро осыпанный наградными регалиями самовар с фамильным тавром тульских заводчиков – братьев Баташевых. Ручную швейную машинку «Зингер»– кормилицу белошвейки Даши. Нарядную, весело расписанную ирбитскими мастерами прялку. Потемневшую от времени деревянную икону с распятым Христом – прадедовское благословение нашему дому. Саратовскую гармонику с бубенчиками, нажитую на побочных заработках Иваном. И что попалось второпях под руку – из кухонной утвари.

Отчетливо запомнился мне и венец этого страшного в истории нашей семьи и станицы дня – тихий, умиротворяюще-кроткий, пропитанный горькой гарью вечер. Порозовевшее от заката большое станичное наше озеро с отраженными в нем неподвижными облаками. Дремотно махавшие упругими крыльями – тоже позолотевшие от вечерней зари – чайки, парящие над стоячей зеркальной водой. И печальный, похожий на сдавленный полустон, глуховатый крик выпи в далекой, заросшей дремучими камышами заозерной курье.

Все наши теперь были в сборе. Угрюмый, непривычно чужой для меня сейчас с виду, отец. Но все та же прежняя – маленькая, подвижная и порывистая–

неизменно ласковая со мной мама. Суровые, еще более повзрослевшие теперь в моих глазах братья – Иван и Дмитрий с Кириллом. Притихшие, пугливо жавшиеся – как птицы – друг к дружке сестры Даша и Паня.

Сбившись в тесную кучку, старшие члены семьи не сводили глаз с вороха обугливших, еще чуть дымившихся головешек родового пепелища – последних останков былого нашего дома и двора.

Все молчали.

Никто не обронил в эти минуты ни слезы, ни вздоха, ни слова. И только воротившиеся под вечер со степных пастбищ коровы, ошарашенно крутясь возле полуугасающих пепелищ, вдруг подняли рев на всю былую, поверженную в прах станицу. Низко уронив рога, яростно разрывая копытами теплую золу и искрящиеся угли, коровы выли, оплакивая – вместо убитых неслыханной бедой людей – свои бывшие дворы и загоны.

Коровы ревели.

А отрешенные, какие-то потусторонние в эти минуты погорельцы станицы смотрели на них незрячими от горя глазами с тупым безучастием, будто не только не видя, но и не слыша их.

День меркнул.

Коровий рев понемногу пошел на убыль – стал затихать. Стало слышно, как в вечерней степи перекликались, призывая ко сну людей, перепела. «Спать пора! Спать пора! Спать пора!»– четко выщелкивали они эти не раз потом баюкавшие меня колыбельные присловья, когда я – утомленный дневной полевой работой полуподросток – сладко и счастливо засыпал рядом с отцом на пашне.

«Спать пора! Спать пора! Спать пора!»– самозабвенно пощелкивали в травах соседствующие со станицей перепела, и у меня покорно смыкались набрякшие веки и пугливо подрагивали ресницы, тронутые легким дуновением сна.

Но тут вновь ударил Главный колокол обойденной мятежным огнем станичной церкви. И затяжной, напевный, медлительно замирающий где-то в глубинном степном просторе гул его опять привел в трепет чуткую на побудку детскую мою душу. И снова, гонимый безотчетным отчаянием, я было бросился – в поисках защиты– к неподвижно стоявшей в кругу нашей семьи, будто окаменевший маме. Но меня опять ловко перехватила на лету в теплые, трепетные свои руки Даша,– и сбивчиво, доверительно, горячо стала полушептать мне на ухо:

– Не пужайся. Не пужайся больше, голубчик! Не надо. Не надо... Это – не к пожару. Это – не пожар. Пожара больше не будет... Это ж к вечерне звонят. К вечерне!..

Я притих. И при виде истово крестившейся, словно вдруг разбуженной колокольным звоном мамы сразу же успокоился. И потом, настороженно прислушиваясь к неторопливым, размеренным звукам медноголосого трубача, чутьем угадывал в их спокойном, плавном потоке некий иной уже, незнакомый доныне мне голос, а может быть даже – и смысл...

Да, это был другой колокол – совсем не тот, что, взвыв в черном небе, разбудил меня нынешним днем от разморенной полуденной моей дремы. Какой-то другой струной, другой гранью задевал теперь мою посветлевшую, кротко притихшую душу этот непорочный, скорбный и миротворный звук...

То звонили к вечерне.

Был канун большого церковного праздника – Успенья. И престарелый станичный священник – отец Никанор, невзирая на страшное бедствие, обрушившееся на его приход,– не решился отменить вечернее богослужение, положенное по Большому требнику.

Спосылав за – всегда полухмельным и тоже нынче погоревшим – пономарем Моисеем Шевелевым, старый священник велел ему отправляться на коло-

кольню и бить в Главный колокол, созывая торжественным благовестом попавших в беду прихожан к поздней вечерней службе.

Позже – уже повзрослевшим – не один раз доводилось мне слышать от дедушки Арефия Старкова – церковного старосты и нашего соседа – про это памятное ему богослужение в пустой от прихожан церкви.

По словам дедушки, на тревожной и скорбной этой всенощной не было даже клиросных певчих. И вечернюю службу справлял одряхлевший отец Никанор с помощью одного лишь церковного регента – лихого станичного нашего кузнеца и коновала – Лавра Тырина да дедушки Арефия, раздувавшего угарные угли в кадиле и снимавшего нагар с пламеневших под образами восковых свечей.

Я и теперь, пожалуй, толком не объясню, отчего так неизбывно, горько волновал меня в раннем детстве рассказ церковного сторожа об этой вечерней предпраздничной службе в безлюдной церкви.

Может быть, мне уже было понятно в ту пору, какая сумятица творилась на исходе того рокового дня в оторопевших от неслыханной беды душах потерявших в огне и кров и пожитки станичных жителей. И жутко, должно быть, было им видеть в тот горестный час златоглавый, по-лебяжьи белоснежный свой храм в окружении испепеленных станичных руин, отрешенно взиравший на людское горе полузрячими, сумно озаренными изнутри жарким свечным сиянием окнами...

Помню, коротали мы с отцом и мамой первую – после пожара – ночь на нашей пашне. Благо она была недальней – всего в трех верстах от станицы. Был у нас там и кров над головой. Просторный, укрытый дерном балаган – шалаш, схожий со степной кочевнической юртой.

И опять же – мнится мне – будто было все это совсем недавно, вроде бы как вчера,– столь отчетливо вижу я

и поныне все то самое, что окружало в ту августовскую ночь и меня, и отца, и маму под укромным нашим полевым кровом. И мерцает в глазах моих очажок, кротко тлеющий посреди балагана. И воочию вижу я и отца, примостившегося на чурбачке около догорающего костра, молча ворошившего ракитовым прутиком золотящиеся в полумраке угли.

А мама – рядом со мной. Мы лежим на покрытой домотканым пологом, сладко пахнущей свежей овсяной соломе. И я, покачиваясь на зыбких качелях дремоты, в полузабытьи прислушиваюсь к теплому, как парное молоко, полунапевному – близкому к полушепоту – материнскому голосу.

Баю, баю, баю-бай.
Пойди, Бука, под сарай.
Пойди, Бука, под сарай –
Коням сена надавай.
Кони сена не едят,
Все на Букушку глядят!

И совсем уже засыпая под этот баюкающий, ласковый полушепот, я вдруг с тревогой спрашиваю:

– А завтра он меня тоже разбудит?

– Кто, сынок?

– Он – колокол.

– Спи. Христос с тобой. Спи... Разбудит. Разбудит!

– А после – потом?

– И после и потом – разбудит. Он всю жизнь нас, грешных, будит... И тебя будет будить...– утешает меня полушепотом, так и не поняв, видно, подспудной моей тревоги, мама.

Гаснет костер.

Круг пережитого мною за этот минувший день замыкается, и я засыпаю.

Разбудил ли меня на другой день поутру Главный колокол, его очень хорошо было слышно на нашей пашне, я этого не помню, не знаю. Потому что – как и

до этого дня – я снова стал жить какое-то время в беспамятстве, и рос – как трава в чистом поле, покорная вольному ветру.

Правда, не все было заспано, позабыто и в этой, отмерцавшей подобно полуденному мареву над желтой от зноя степью полупризрачной моей жизни – от рождения до пяти-шести лет. И хоть рос я эти годы – трава травой, а все же какие-то мимолетные случаи и события той поры навсегда запечатлелись в полумладенческой, сбивчивой памяти. Я и теперь не скажу, в полузаспанном ли детском сне виделось мне тогда то или это, иль наяву...

Хорошо запомнилась мне с тех времен бабушка Платониха – наша соседка. Звали ее так по мужу – Платону Гордееву.

Запомнился Платон. Огромного роста, осанистый, бравый старик с дремучей окладистой бородой веером. С лихим – не по его годам – казачьим чубом. Платон был очень схож с другим – таким же рослым и молодцеватым– но уже белым как лунь станичным красавцем – Устином Стабровским.

Позже я узнал, что оба эти старика были не простыми казаками – лейб-гвардейцами, отбывавшими действительную службу не в городе Верном, как все прочие одностаничники, а в Санкт-Петербурге. Там они несли караул во внутренних дворцовых покоях царствовавшего в ту пору императора Александра III, и пресновчане – от старого до малого – относились к ним с нескрываемой завистью и почтением. Меня же сводили с ума их голубые, расшитые золотом парадные мундиры, и совсем уж бросали в трепет картинные, похожие на опрокинутые на головы бакыры, алые кивера с устремленными ввысь над ними – как рублевые церковные свечи – султанами!

Впрочем, Платон – как равно и Устин – был виден, внушителен, ладен собой и без парадного гвардейского мундира, а уж о кивере и говорить не приходится!

Про бабушку же Платониху такого не скажешь. Не под стать мужу была она маленькой, сухонькой, суетливой и столь к тому ж моложавой, что рядом с Платоном скорее, пожалуй, годилась бы ему в дочери, нежели в жены.

Платониха всегда куда-то спешила. Всегда ей было недосуг. Всегда где-то что-то было у нее не доведено до ума – не доделано. Едва переступив порог, она, впопыхах торопливо перекрестясь, здоровалась – еще более торопливой, малоразборчивой скороговоркой – и тут же принималась ахать и охать про свой недосуг, про свою домашнюю неуправу. И мама тоже торопилась поднести ей как можно скорее походную казачью кружку с загодя припасенными для неусидчивой гостьи чайными выварками.

Про чайные выварки – слабость Платонихи – знали все наши соседи и, приберегая их впрок после каждого чаепития, потчевали потом ими охочую до них бабушку.

Я всегда был рад шумливому появлению у нас запыхавшейся, хлопотливой и непоседливой этой нашей соседки. Мне нравилось, глядя на нее, видеть, с каким она наторевшим проворством и завидной ловкостью выуживала цепкими перстами из кружки выцветшую чайную шелуху и, жмурясь от наслаждения, глотала ее власть – с причмоком. А попотчевавшись наспех любимым лакомством, она никогда не забывала тут же одарить меня каким-нибудь немудрым гостинцем. То – леденцом. То – сахарным огрызком. То – заварным калачиком, впридачу с ласковым словом...

– А теперь – побегу. Побегу. Побегу, кума!..– тараторила, возвращая маме опорожненную латунную кружку, суетливая бабушка.– Там делов, делов у меня – невпроворот. Чисто скрозь кругом – не растворено – не замешано... Побежала. Побежала. Побежала... Спаси тебя Христос, кума, за все приятности!..

И Платониху будто ветром сдувало. Сунув мне свой гостинец, она мигом исчезала из моих широко раскрытых на божий мир, изумленных, радостных глаз. И я тогда тоже, с таким же наслаждением, принимался сосать дарованный ею мне леденец или жевать заварной калачик, как это только что делала бабушка, опоражнивая кружку с чайными выварками...

Запомнилась мне бабушка Платониха в связи с еще одной бедой, обрушившейся на нашу семью,– пропажей занятых зимним извозом двоих моих старших братьев Ивана с Дмитрием.

Стояла суровая зима тысяча девятьсот двенадцатого года. А зима для пресновчан была порой извозного промысла – довольно-таки доходного побочного приработка для жителей среднего достатка. Сбиваясь в артельные обозы, хаживали станичники по санному следу, случалось, и в неблизкий путь. До ближайших от нашей станицы железнодорожных станций Великой транссибирской магистрали – Макушино и Петухово – было семьдесят с гаком верст. До уездных городов – Кургана и Петропавловска – по полтораста. Но обозы, груженные пшеничным зерном и бочатами со знаменитым сливочным маслом Сибири, топленым салом и бараньими тушами, кожевенным сырьем и невыделанными овчинами, замороженными кишками и прочим добром со стрельниковских и боярских боен,– расходились не только по этим двум городам и станциям. Ходили они по малоторным зимним дорогам и подальше. Возили купеческий груз в Ирбит, в Куртамыш, в Кресты – на гремевшие по тем временам на всю Россию зауральские ярмарки.

Порожняком в станицу возчики не возвращались. Через Пресновку – перевалочный пункт – засылались в глубинные степи тугие купеческие тюки с красным – аршинным, как тогда еще говорили, товаром – ситцем, миткалью, бязью, вельветом, шелком и бархатом – для

степных весенних и летних торжищ с кочевыми казахами в Каркаралах, в Куяндах, в Атбасаре, в Баянауле.

Шли туда же – через Пресновку – из глубин России и колониальные и галантерейно-скобяные товары. Комковой – головчатый – сахар. Караванный индийский и цейлонский плиточный чай. Позумент. Дешевые дутые серьги под золото. Латунные – с чернью – браслеты, похожие на серебро. Стеклярус. Чугунные казаны. Украшенные медными узорами сундуки. Деревянные круговые пиалы. Ведерные тульские самовары. Все эти товары имели большое хождение среди кочевников.

Вот с одним из таких обозов и ушли в извоз на исходе памятного мне 1912 года мои братья. Из Пресновки они повезли в Курган круговые слитки топленого сала со стрельниковских салотопен. А воротиться должны были с бакалейным товаром для торгового дома Немировых и с десертными красными винами для рейнского погреба при немировском магазине – тогдашней диковинке нашей станицы.

Был слух, что, возвращаясь с грузом из Кургана, возчики заночевали в селе Мало-Приютном, в тридцати верстах от станицы. Для обоза – это пять-шесть часов ходу, и дома поджидали возвращения из дальней дороги наших ребят где-то к обеду.

Мне уже перевалило в ту пору за шесть, и я отлично – на всю жизнь – запомнил весь этот декабрьский день, начавшийся с тихого, безмятежного утра и безвременной вялой оттепели, словно было это не перед рождеством, а в канун масленицы. Молодые березки и клены под окнами нашего нового пятистенного дома, прикрытые кружевными накидками куржака – серебристого инея, блаженно дремали в безветрии, не шелохнувшись. Потом пошел невесомый, несмелый снежок, нехотя, с ленцой запорошивший над крышами присмиревшей в этот утренний час станицы.

А затем – вдруг как-то сразу – на улице потемнело, и густой поток навесного лавинного снегопада хлынул, как проливной летний ливень, из угрюмой небесной бездны.

И позднее – это уже поближе к полудню – затрубил, дико и властно загикал, завыл штормовой, шквальный северный ветер. И тотчас же все потонуло в сумятице низовой поземки, в яростной сатанинской пляске подоблачных снежных смерчей и вихрей, в жарком чаду и дыму сорвавшейся с цепи декабрьской вьюги...

Минул овеянный метелью полдень. Померк, погас незаметно при грозном реве вертепной пурги и недолгий декабрьский день. Тянулись – чреда за чредою – томительные часы. А братьев моих, застрявших в дороге, не было и в помине...

Поздно. Очень поздно. В невеликом, заново уже обжитом нами доме нашем – тревожная щемящая тишина. Чисто в нарядной горнице и в опрятной кухне, мытых и перемытых по случаю большого праздника, ведь завтра канун рождества – сочельник. Пахнет свежей известью. Выстиранным, вымороженным на ветру бельем. До звона сухой березовой лучиной, нащепленной впрок для растопки. Лампадным маслом. Восковыми свечами. Пшеничными калачиками. Ванильной сдобной стряпней, припасенной к празднику.

Непривычно малолюдно у нас в этот час непогожего вьюжного вечера. Сестры – Даша и Паня – убежали, несмотря ни на что, к кузнецу и регенту Лавру Тырину на предпраздничную клиросную спевку. Средний из братьев – Кирилл залился куда-то по своему молодому делу.

Отец, молча покряхтев-покряхтев, уплелся к дедушке Арефию Старкову – по-соседски делиться с ним одной их общей тревогой за судьбу возчиков, настигнутых бедовой пургой в дороге,– два старших сына Арефия – Степан с Михаилом – тоже шли с этим обозом...

Дома – мы вдвоем с мамой.

Я сижу на печи. Прикоснувшись ухом к дымоходной трубе, прислушиваюсь к жуткому, гортанному ее клокотанью, судорожному подрагиванию и звериному вою.

Мама, засветив в горнице лампадку, опускается на колени и, высоко запрокинув перед сумеречным киотом обнаженную голову, шепчет, неторопливо крестясь, слова молитвы. Не слыша ее молитвенных слов, я знаю, о чем она просит в эти минуты бога. О всевышней его милости к моим пропавшим в кромешной ночной пурге старшим братьям.

Притихнув около завывающей печной трубы, я не свожу глаз с коленопреклоненной маминой фигуры, едва различаемой мною среди неярко озаренной сумным лампадным сиянием горницы, и сердце мое сжимается от светлой любви, от теплой нежности, от горькой жалости к ней – такой одинокой сейчас, горестной, скорбной, незащищенной!

А печная труба продолжала так грозно и мрачно клокотать, посвистывать, выть, что я, позабытый в эти минуты всеми на свете, вдруг устрашась своего одиночества, готов был уже тихо окликнуть погруженную в молитву маму. Но тут на пороге словно распахнутой ветром кухонной двери внезапно возникает, как привидение, похожая на сплошной снежный ком бабушка Платониха.

– Страсти. Страсти. Страсти господни, кума!– впопыхах тараторит потом Платониха, уплетая из латунной кружки чайные выварки.– Свету белого не видать на улице. А каково теперь там – в степи?! У нашего-то Михея-обозника шуба на рыбьем меху. И пимешки – зачем не видишь, каши запросят!

– Не енотовы шубы и у наших ребят на плечах...– угрюмо замечает мама.

– Не говори. Не говори. Не говори, кума. Не Бронские мы. Не Боярские – в еноте пыхать... А я ведь

к тебе мимоходом. Хоть и недосуг у меня. А покаяться забежала. Взяла-таки грех на душу. Про обозников наших – не стерпела – поворожила!

– Креста на тебе, матушка, нету – руками карты в таку пору поганить. Ведь завтра у нас – сочельник!– оговаривает ее со строгой укоризной мама.

– Да то ли я сама ворожила? Христос тебе встречи, кума!..– запальчиво оправдывается Платониха.– Я ведь к Рысте – на край света – в таку непогоду полкала. Сунула ей пшеничну коральку, она и прикинула мне на бобах. На бобах. На бобах. На бобах, кума!..

– Ну, Рыста – это ишо туды-сюды...– примирительно соглашается мама.– Ладно уж, сказывай, чо тебе эта нехристь, на ночь глядя, наборонила?

– А вот чо, кума... Разбросила она, значит, пригоршню бобов по кошме,– скороговоркой бормочет таинственно приглушенным голосом Платониха.– Потормошила, потормошила их чо-то там пальцами. Пошепелявила, пошепелявила шепотом какие-то свои слова по-кыргыцки. Под конец – утешила. Ступай, говорит, домой. Притерпись. Шибко не убивайся. Врать, вещует, не стану. По бобам, мол, вижу – худо им там теперь среди злых духов. Темно. Боязно. Жарко... Сама знаешь, кума, как там наша Рыста по-русски-то долдонит. Чуть не каждо слово – шиворот-навыворот. Только я поняла, што криву и нескору дорогу навещала нашим обозникам кыргызуха. А на прощанье она прокалякала: айда, дескать, спи мал-мала себе на здоровье. Не сумлевайся, мол. Главный боб доведет их до дому!

– Дай господь!..– говорит со вздохом мама.

– Ты скажи, вот ведь – нехристь. Азия. А како-то там свое тайно слово и власть над бобами знат!..– скороговоркой бормочет теперь уже как бы про себя, кутаясь второпях перед уходом в свой тяжелый черный плат, Платониха.– А теперь – побежала. Побежала. Побежала. Прощшай, кума! Там, по дому-то

– хлопот полон рот. Не поверишь, и квашня-то ведь у меня, грешной, ишо даже не замешана!..

И Платониха как всегда – мигом исчезает из моих глаз, с такой не бабьей силой и яростью хлопая дверью, словно покидала наш дом в сердцах.

Я очень настороженно прислушивался к сбивчивому, малопонятному для меня рассказу суетной бабушки про Рысту. Эту угленикую, сухопарую старуху-казашку я давным-давно знаю. Знаю. И побаиваюсь ее. Побаиваюсь, как ту самую колдунью, которая летает в рождественские ночи верхом на помеле над нашей станицей и умеет притворяться то там какой-то озорной, шкодливой козой, то – натрыжной свиньей, то – льстивой, коварной собакой. Недаром же не один раз нарывались на нее в святочные ночи подвыпившие на вечерках старшие мои братья!.. А еще раньше – совсем в малые мои годы – принимал, я Рысту за Бабу Ягу – костяную ногу за три гроша куплену, по бокам луплену!

На самом же деле – как об этом узнал я опять-таки позже – Рыста была безобидной, кроткой и очень ласковой к нам – станичным ребятишкам – бабушкой.

Хорошо знаю я мужа Рысты – Шигарая – старого пастуха коровьего табуна в нашем краю станицы. Шигарай рядом с Рыстой выглядел совсем другим человеком. Это был обрусевший, смолоду прижившийся в станице старик – приветливый, доверчивый, добродушный. Говорил он по-русски, не скупясь на присловья, поговорки и прибаутки, не хуже иного станичного краснобая. Да и немудрая степного покроя одежда Шигарая – в отличку от Рысты – куда была более ухоженной, ладно сидевшей на нем, опрятной. А вельветовый черный бешмет его, надетый поверх коленкоровой, по-казахски просторной рубахи, всегда делал в моих глазах этого старика праздничным, моложавым, нарядным.

Все мне нравится и в обеих дочерях-близнецах Рысты и Шигарая – Дильде и Гильде. Все нравится. И такие веселые, складные их имена – Дильда-Гильда. И

пунцовые их камзолы, унизанные серебряными монетами. И отороченные огненным лисьим мехом, набекрень надетые бархатные шапочки их с перьями филина на макушке. И даже пугливость и робость этих нездешних степных девчонок, хотя они на целых четыре года старше меня.

На какое-то время задумавшись о Рысте, о Шигарае, о картинных их девчонках-погодках, я вдруг почувствовал, что после мгновенного исчезновения бабушки Платонихи еще сумнее, горше и тише стало сейчас в нашем непривычно безлюдном, словно вымершем доме.

И снова прислушиваясь к оторопелому, грозному клокотанью и темному, угробному вою печной трубы, я вижу – а скорее всего чутьем угадываю – какой безысходной тоской и тревогой охвачена мама, и ее до предела напряженная душевная настороженность исподволь, неосознанно, подспудно передается и мне.

Я, собравшись в комок, молча сижу у трубы, украдкой поглядывая за тем, чем занята в эти минуты мама. А она – то присядет за прялку и, искусно крутнув раза два-три веретеном, тут же замирает в неподвижности, чутко прислушиваясь к чему-то. То, отставив прялку, вмиг метнется вспугнутой птицей к занавешенному вьюгой окошку, норовя разглядеть за ним что-то, видимо, ей примерещившееся. То, снова присев в кути на лавку, принимается, проворно работая стальными спицами, довязывать из поярковой шерсти мою варежку... И мне становится понятным, что суматошная, сбивчивая болтовня бабушки Платонихи не только не утешила, не успокоила ее, а наоборот, разбередила ей душу!

Но вот, вдруг вся встрепенувшись, высоко запрокинув голову, она вновь замирает в неподвижности, и я замечаю – как резко меняется выражение ее как бы разом помолодевшего, посветлевшего лица. Потом, отложив в сторону спицы с недовязанной моей

варежкой, она, выпрямившись, полушепчет, несуетно крестясь, слова молитвы:

– Слава тебе, господи! Слава тебе... Внемли гласу всех страждущих и обремененных. Яви же милость свою ко всем странствующим и путешествующим в сие неурочное время!...

И только тут вдруг явственно различил я в шуме бушующей вокруг нашего дома метели грозно рокочущий, как отдаленные грозовые раскаты, густой, басовитый, мятежно-напевный звук. В клочья раздирая тугие, яростно трепетавшие паруса пурги, торжествующе разливался он перекатными волнами над открытым штормовым морем глубинной степи,– покоряющий, повелительный, властный!

О, это был тот самый, до боли знакомый мне звук, который когда-то смутил, привел в трепет оторопевшую младенческую мою душу и, наверно, продолжал жить в ней тайно, не умирая и по сей день... Да, это был тот самый звук, который я так давно полюбил,– полюбил и боялся его.

То был Он – Главный колокол, подававший сейчас вечевой свой голос в ночи всем обремененным и страждущим путникам, настигнутым этой пургой в дороге. И мне теперь стало понятным, отчего вдруг просветлело как бы разом помолодевшее лицо мамы, и у меня отлегло от сердца от утоленной этим ночным благовестом ее печали...

А совсем я воскрес, ошалев от радости, когда в эти минуты, громыхнув промерзшей дверью, вкатились нежданно-негаданно в наш дом два снежных кома, в которых я тотчас же, едва не упав с печки, признал своих дорогих друзей – Тронькуу Михайлова и Денисова Пашку.

– Хлеб да соль, хозяева!– сказал баском Пашка, отряхиваясь от снега, как гусак от воды.

– Чай с сахаром!– по-своему приветствовал нас Тронька, бесцеремонно сбрасывая с плеч торчавшую на нем колом овчинную шубенку.

– Милости просим. Милости просим, полуношники!.. Раздевайтесь, коли пожаловали, и – на печку!– добродушно откликнулась на их приветствия мама.

– Слышите, блавостить в Главный колокол начали!– сказал, стягивая с ног подшитые пимишки, Пашка.– И всю ночь будут блавостить. До свету. Буран потому што – ни зги!.. И наш братка Тима в церковь ушел. И ишо другие всякие там казаки. Оне – в очередь. Один в колокол бьет. Други – в сторожке спасаются... А уж братка Тима тама в этот колокол врежет дак врежет – я те дам! Хоть за двадцать пять верст – и то будет слышно!

– Неладно так про колокол говорить, Паша. Неладно. Не то слово...– строго оговаривает его мама.

Пашка толком, видимо, ничего не понял. Но на всякий случай обиделся. Глухо, под нос пробурчал:

– Братка жа у нас – богатырь...

– А нас с Пашкой ночевать к вам наши насовсем отпустили,– сказал тут Тронька, испытующе покосясь на маму.

– На спевку с Ванькой,– поспешно уточнил баском Пашка.– Мы жа его славить с собой поведем послезавтра. А без спевки ково нам с им делать? Неково. Только зря в ногах будет путаться. И всю обедню нам с Тронькой испортит.

– А вот за это – спасибо вам, ночевальщики!– оживилась мама.– Вот и пришла пора – привел бог и нашему Ване Христа славить... Правильно, подучитека там его маленько. Сладьтесь с ним. Спойтесь. Приноровитесь. А пока – за стол. Тюрей вас на сон грядущий попотчую.

При упоминании тюри меня будто ветром снесло с печки на пол. Тюря – искрошенный, заваренный в крутом кипятке с луком и солью пшеничный калачик – самое желанное мое кушанье. Правда, всего какой-нибудь час тому назад мама меня уже ею вдоволь напотчевала. Но я вновь безмерно рад случаю полакомиться любимой заварухой – да еще из одного горшка с такими друзьями!

И мы с Пашкой и Тронькой, усевшись рядком за столом на одной скамейке, расторопно заработали деревянными ложками, смачно уплетая за обе щеки крутое, горячее варево.

– Вас бы только в работники нанимать, любо поглядеть – как проворно едите!– похвалила нас мама.

Мы же, мигом опорожнив от тюри семейную нашу глиняную миску и абы как перекрестясь, ринулись, как подстегнутые кнутом, друг за дружкой на печку.

Тронька с Пашкой постарше меня, каждый – на целых два года. Они уже школьники – ученики второго класса Пресновской казачьей начальной школы. И оба даже прислуживают – по большим праздникам – в церкви, помогая дедушке Арефию в непоседливой, хлопотливой его работе. Ставить богу свечи. Снимать с них нагар. Подливать лампадное масло в мерцающие перед алтарным иконостасом светильники. Обходить с медными, жарко горящими подносами молящихся прихожан, собирая медяки, серебро, а то, глядишь, и трехрублевые бумажки – посильные жертвования людей в пользу храма.

Я уже не один раз видывал их обоих во время утренних и вечерних богослужений в церкви, на которые пристрастился ходить с мамой, видел и не узнавал их – ни Троньки, ни Пашки. Они совсем были здесь другими – какими-то нездешними, недоступными. В нарядных, серебристо-светлых длиннополых церковных одеяниях, они, казалось мне, не ходили, а скользили, как на незримых коньках, по вощеному полу церкви. И я, снедаемый тайной к ним завистью, трепетал перед ними.

Иногда во время службы мне страшно хотелось шепотком окликнуть по имени того или другого из них. Но они проходили мимо с устремленными куда-то вполувысь словно незрячими глазами и делали вид, что не узнают меня. И мне было до спазм в горле обидно, что даже тогда, когда я оробело выкладывал

на круглые их подносы сунутые мне в руку мамой наши медяки,– даже в такую минуту ни Тронька, ни Пашка как будто не замечали меня.

Вот тут-то вместо былого блаженного трепета перед этими церковными служками принималась исподволь разбирать меня слепая, яростная злоба против них, злоба вперемежку – теперь уже с черной завистью. Но, вспомнив о том, где нахожусь сейчас, я старался внушить себе, что это начал подзуживать меня сам сатана, и потому поровил укротить себя, подражая маме, коленопреклоненной молитвой...

Это там – в церкви.

А вот здесь, дома – мы ровня. Сидим, насытившись тюрей, кружком – ноги калачиком – посреди нашей просторной и опрятной, как горница, печки. Ровня-то ровней, да не совсем. Пашка и тут на отличку. Он ведет себя так, будто не он к нам пришел с ночевой, а меня допустил из милости на свою домашнюю печку.

Началось с Троньки. Тот, схватив попавшую под руку березовую лучинку, решил изобразить перед нами залихватского балалайщика и, затренькав пятерней по воображаемым струнам, тихонько – не без озорства – запел:

Сентетюриха телегу продала,
На те деньги балалайку завела!

И такая безобидная вроде Тронькина вольность вдруг довела Пашку до полного бешенства. Его будто на моих глазах подменили, и он вмиг еще стал чернее лицом от нахлынувшей на него ярости.

– Вот ка-а-ак врежу!– свирепо зашипел он, замахнувшись на Троньку в сердцах вырванной из рук лучинкой.– Ты што, язви тебя, оглох? Не слышишь, в Главный блавостят?! Я тебя за этим к Ваньке с ночевой привел? В балалайку брякать?!

– А чо ты взъелся? Чо ты пасть на меня разинул? Гляди-ко, развоевался на чужой-то печке!..– стойко

начал обороняться от внезапного Пашкиного наскока Тронька.

– Замри! Я и Ваньке врежу, ежели заслужит...– огорошил тут заодно и меня Пашка.– Для меня бара берь, ежли сказать вам по-кыргыцки, чья это печка!..

Мама, закрывшись в горнице, не видела и не слышала нашей возни на печке. Оттого-то так с ходу и распоясался Пашка, пригрозив нам обоим за любое неповиновение ему – самозваному нашему вожаку – крутой над нами расправой.

Наступило тягостное молчание. Не глядя один на другого, мы натужно сопели, как после кулачной потасовки, и я, насторожившись душой, выжидал, гадая о том, какое еще коленце внезапно может выкинуть сварливый, крутой на руку Пашка.

Между тем печная труба продолжала аукать, стонать, клокотать и выть. А ночная пурга, будто ломясь в наш дом, гулко барабанила упругими крыльями в наглухо закрытые ставни.

И далеким-далеким, бесконечно печальным и одиноким казался теперь долетающий сейчас до нас трубный звук приглушенного и какого-то как бы вроде затемненного вьюгой колокола.

Мы притихли, невольно прислушиваясь к этому тревожному, скорбному звуку. И это он, наверно, вдруг усмирил вспыльчивую, как порох, душу Пашки, незаметно примирив заодно и всех нас.

– Ладно. Мир на земле и в человецех благоволение!– сказал теперь уже совсем другим голосом Пашка, и цыганское лицо его на какую-то долю минуты чуть посветлело от смутной повинной улыбки.

Изредка прислуживая в церкви дедушке Арефию, Пашка временами терся и среди клиросных певчих. Он видел, как теми бойко управлял регент – расторопный кузнец и коновал Лавр Тырин, и сейчас, принимаясь за спевку с нами, Пашка воображал, как видно, себя тем же суетливым и властным регентом и выбивался из сил – во всем подражать ему.

– Глядите сюды!– скомандовал нам с Тронькой Пашка, приподняв над правым ухом лучинку.– Это – мой камертон. До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до! Понятно?!

– Валяй. Валяй. Зачинай, Паша...– примирительно кивнув ему рыжеволосой головой, сказал Тронька.

Я ничего пока не понял. Но сдержался – смолчал.

– Я буду петь басом. Тронька – альтом. А ты будешь у нас на выносе – канючить дискантом,– категорично сказал мне Пашка.

– Будешь подпевать нам, Ваня, самым-самым тонюсеньким голосом,– объяснил мне ласково Тронька.

– А ты хоть слова-то все вызубрил?– в высшей степени подозрительно покосясь на меня, строго спросил Пашка.

– Учили с мамой...– уклончиво ответил я.

– Смотри у меня! Штобы там – не через пень колоду. Не путать. Не запинаться. А то – врежу!– приструнил меня Пашка для проку.

– Ну, а теперь – замерли...– предупреждающе побрякав своим камертоном о печную трубу, опять скомандовал Пашка. А затем, плавно помахивая лучинкой, смежив веки, басовито завел: – Рождество твое, Христе-боже на-а-аш...

– Во сия мира, и свет ра-а-зума,– живо подхватил своим альтовым голосом Тронька.

Тут, не оробев, с лету подключил неокрепший, задиристый голос к нашему хору и я, – сам удивился потом тому, как стройно, душевно и ладно полилось наше духовное песнопение под вторы завывавшей печной трубы и приглушенных метелью звуков трубившего в ночи далекого колокола.

Пашка пел с закрытыми глазами, как слепец – калика перехожий. В подражание ему смежил ресницы и я. И правда, так – зажмурившись – почему-то было лучше слушать не только певчих моих приятелей, но и самого себя...

Завыла печная труба. Бил и бил, не переставая – с расстановкой, с раздумьем – недремлющий по случаю

непогоды колокол. Мы же, самозабвенно упиваясь своими стройно слитными голосами, не вникая в затемненный смысл каких-то полунашенских, полупотусторонних слов, пели:

Тебе кланяемся, солнце правды,
Тебя видим с высоты Востока...
Ангелы с пастырями славословят,
Волхвы ж со звездою путешествуют...

Поначалу спевка шла у нас хорошо – лучше некуда. Но вот Пашку, будто ткнутого шилом, вдруг подбросило с задницы на коленки, и он, оборвав нас сабельным взмахом лучинки на полуслове, вновь озверело набросился на Троньку:

– Кол мне на твоей башке тесать, обормот?!– зарычал, угрожающе размахивая перед Тронькиной мордой своей лучинкой, мгновенно осатаневший Пашка.– Сколько раз тебе, варнаку, говорено? И небо со звездою учахуся,– так надо петь. Учахуся, а не учохайся, как ты боронишь!.. Вот попробуй мне ишо один раз пробороннить свое учохайся,– ух, и врежу! Ух, язви тебя, и врежу!

– Чо ты вяжешься ко мне? Чо ты вяжешься?– снова начал обороняться Тронька.– Ну, какая тебе разница – учохайся там али учахайся? Кто нас впотьмах разберет, когда вгорячах станем славить?!

– Ага, угодил, обормот, в небо пальцем!– сказал со злорадной усмешкой Пашка.– А попадья?! А монашка Физанька?! А просвирня? Этим тоже, по-твоему, бара берь, што учохайся, што учахуся? А ты знаешь, тем, которые без запинки, по всем правилам славят,– там по круглому пятаку на рыло подают!

– Ну ладно тебе. Не ерепенься!– пробурчал, стремясь к примирению, с виноватой ухмылкой Тронька.– Я это твое учахуся так промычу, што и сама попадья не придерется. Ни попадья. Ни Физанька. Ни просвирня!

Пашка, по-бычьи скобенив лохматую башку, подозрительно присмотрелся к невозмутимому Троньке и, не сразу найдясь, как ему на это достойно ответить, сказал, пренебрежительно отмахиваясь от него лучинкой:

– Шляпа ты с ручкой!.. Недаром и прозвище у твоего родимого тяти – кошма!

Тут Троньку тоже, должно быть, кольнуло шилом, и он, как и Пашка, стремглав вскочив на коленки, перешел от обороны в атаку.

– А ну-ка ты тут у меня пасти не пяль на тятю!– зашипел в свою очередь на Пашку дрожмя задрожавший Тронька.– Пусть мой тятя – кошма. Ладно... А у твоего бати прозвище ишо почище – граммофон!

По всему было видно, что Тронька этими словами, как щелчком по лбу, ошарашил Пашку, и драка между ними показалась мне уже неминуемой. Однако Пашка, придя в себя, вопреки очередному, такому как будто бы сейчас неизбежному взрыву ярости, вдруг весь обмяк и сказал, совсем не зло улыбаясь:

– Ну, это ты, Тронька, зря мешаешь божий дар с яичницей... Граммофон все же не кошма – музыка! Позабыл, как прошлогодним летом мы его слушать к Минькиным вместе бегали? К Ванечке с Софочкой!.. Вот и он – Ванька – от нас не отставал, тоже пялил рот на граммофонную трубу вместе с нами.

Это правда. К пятистенному, крытому оцинкованной жестью нарядному дому Минькиных, когда его хозяева – Ванечка с Софочкой – заводили в погожие летние вечера станичную невидаль – граммофон, летели сломя головы не только мы с Пашкой и Тронькой. Туда валом валили и прочие станичные ребятишки. Да и не только ребятишки. Толпились под окошком минькинского дома и люди постарше – молодые и пожилые казаки и казачки.

Ванечке с Софочкой было в ту пору, видимо, уже за пятьдесят, и я их считал глубокими стариками. Но я почему-то нисколько не удивлялся тому, что этих, уж

очень каких-то чистеньких, каких-то вроде невсамделишных картинных старичков поголовно все пресновчане – от старого до малого – только так и называли: Ванечка с Софочкой!

Ванечка был акцизным чиновником. Не шибко броская на вид, мелкорослая, курносенькая Софочка слыла среди пресновчан просто за барыню, состоявшую при Ванечке. Они были неразлучны. В церковь, на званые вечера или с праздничными визитами по домам именитых станичников хаживали всегда рядышком – под ручку. Ванечка в котелке, с дутой игривой тросточкой с серебряным набалдашником. Софочка – в кружевном капоре с разлетными поднебесного цвета лентами, с бисерным ридикюльчиком на правой ручке.

Ванечка с Софочкой очень гордились своим граммофоном, выписанным ими по объявлению в журнале «Нива» из Санкт-Петербурга. Нацелясь через настежь распахнутое створчатое окно оранжево-золотистой трубой на наш переулок, Ванечка с Софочкой принимались потешать сбежавшихся пресновчан своей петербургской невидалью.

Ванечка, с загодочным видом поддерживая пружинный завод, крутил граммофонную ручку, как крутят веялку. А Софочка, надменно поджав губки, меняла пластинки. И огромная оранжево-золотистая труба, содрогаясь извергала из таинственной своей утробы на нас, столпившихся под окном зевак, потоки звуков.

Меняя на граммофонном диске пластинки, Софочка, слегка прикартавливая, жеманно говорила:

– А теперь, господа станичники, послушаем с вами знаменитую – в далеком от нас Санкт-Петербурге – цыганскую певицу Варю Панину!

Или:

– А сейчас, друзья любезные, нам споет романс «Гайда, тройка, снег пушистый» сама прославленная мадам Вяльцева!

Или:

– Ну, а тут – умрете со смеху, господа, Бим-Бом. Известные всей просвещенной России клоуны!

Мне нравилось все. Граммофон. Ванечка с Софочкой. Полурыдающие голоса незримых петербургских невиц – Вари Паниной и мадам Вяльцевой. Нравилось, что Софочка всех называла господами станичниками, и это вроде относилось теперь даже и к нам с Пашкой и Тронькой, сучившим пыльными босыми ногами возле минькинской завалинки.

Вот и сейчас, вспомнив про роскошный минькинский граммофон, Пашка просветлел ликом, позабыв даже про обиду, причиненную ему Тронькой. Сложив рупором поднесенные ко рту ладошки, он, изображая из себя заведенный граммофон, вдруг, подпрыгивая, запел:

Запрягу я тройку борзых,
Темно-карих лошадей.
Дам я кучеру на водку,–
Погоняй, брат, поскорей!

По привычке кони знают,
Где сударушка живет,
Снег копытами сгребают.
Ямщик песенки поет!

Пашка, действительно, завелся, как настоящий граммофон. Но он так же внезапно умолк, поперхнувшись на полуслове, как умолкал, бывало, не раз и у Ванечки с Софочкой их санкт-петербургский граммофон, когда лопалась в нем пружина.

Было похоже, что у Пашки тоже лопнула заводная пружина, когда в шумно распахнутых горничных дверях показалась мама, и я сразу понял, что нам несдобровать!

Так оно и вышло.

– Это ишо што тута за веселье?!– строго прикрикнула на нас мама.– Заместо духовного христославенья – блудные песни!

– А мы, тетя Уля, уже спелись!.. Славить вашего Ваньку возьмем – не раскаемся!– поспешил обнадежить ее встрепенувшийся Пашка.

– А коли спелись, марш – на полати! Нечего мне из-за вас, полуношников, керосин зря палить,– подала нам команду мама, увертывая висячую семилинейную лампу.

А на полатях нам еще лучше, уютнее, чем на печке. Сунув второпях в изголовье кому что попало под руку из бросовой одежонки старших нашей семьи, мы укладываемся вповалку на старенькой, видавшей виды кошме и на какое-то время затихаем. Сопим, прислушиваясь к угрюмо гудящему над потолком чердаку и совсем теперь уже глухим, полувнятным ударам колокола.

Временами нам кажется, что на чердаке прямо над нашими головами то и дело затевается между кем-то суматошная толкотня, беготня, всеобщая свалка и потасовка.

– Это там – черти,– говорит сонным голосом Пашка.– От бури попрятались. И от колокола, оне его ужас как боятся!.. Гляди-ка ты, в чехарду-езду разыгрались, сволочи!

– Черти по чердакам не прячутся. Оне по баням спасаются. Под парильным полком. Тама их постоянное жительство... А на чердаке это домовые потешаются!– тоже сквозь дрему бормочет Тронька.

– А это правду сказывают, што твой братка Тима живьем их недавно видел?– борясь кое-как со сном, спрашиваю я Троньку.

– Своими глазами, как пить дать!..– горячо с клятвенным пылом полушептал Тронька.– А дело как было? Воротился в тот день к вечеру братка из извозу. В город Атбасар с красным товаром ходили... Ну, выпряг лошадей. Поставил под навесом на выстойку, штобы с дороги схлынули, а потом – поить. Выстоялись кони как надо, и повел их Тима на озерную прорубь. А была разужасная полночь!.. Напоил – и домой. Только видит братка на обратной пути, в одной баньке, котора

на берегу, вроде бы оконце светится. Што за язва? Кому это из крещеных в башку набредет в таку пору в бане париться? Нет, тута чо-то не то! Привернул он коней к бане, пригляделся к оконцу, а тама – оне! Тринадцать голов!

– Черти?!– спрашиваю я упавшим голосом.

– Ну. Оне!..– категорично подтверждает Тронька. – Усялись под полком возле поганого корыта и сырой кобылятиной кормятся!.. Тут их братка в сердцах по большой матушке и огрел. Это чо, говорит, растуды вашу мать, вы в чужой бане распировались?! Но-о, тут оне и взревели – всех святых выноси! Тима – подай бог ноги – рванул с места карьером к дому. А оне – всем аюром в тринадцать голов – за им вдогонку! Визжат. Кувыркаются. Норовят уцепиться за конские хвосты... Ну, не на тех коней нарвались, дьяволы! Да и братка был не дурак: как только влетел со всего маху во двор, разом с вершной – шмыг под хребтуг с овсом. А под хребтугом для чертей Тиму – Митькой звали!

– Почему Митькой?– ничего толком не понимая, с тревогой спрашиваю я.

– А вот по тому самому, што под хребтуг с божьим злаком, как в алтарь,– никакого доступу для нечистой силы нету!– опять так же категорично, почти уже грозно говорит Тронька.– Про эту науку братка ишо от покойного нашего дедушки Тараса слыхивал. Тот – в молоды его годы только под хребтугом с овсом от всякой нечисти и спасался... Тут главно дело в ловкости и в терпленье. Изловчился в один момент под хребтуг от их сигануть, тут уж никака там холера тебя не тронет!.. А Тима изловчился. Сиганул с вершной под рядно с овсом. И притаился там. Усмирил дух. Замер. Лежит себе, как новопреставленный раб усопший – руки к сердцу, и ждет третьих петухов!

– Почему третьих?– допытываюсь я, едва-едва уже шевеля малопослушными губами.

– А потому, што третьих петухов оне, суки, страшатся, как самого божьего колокола,– полушепчет,

словно в полузабытьи, Тронька. И чуть смолчав, натужно посопев носом и, видимо, преодолев-таки на минуту сковавшую его дремоту, бормочет:– Ох и покуражилась жа в ту растемную-темную глуху ночь эта чертова дюжина над браткой! Но Тима выдюжил, перехитрил их. А как только третьи-то петухи враз загремели под поветями, тут чертям стало невмоготу. Охолодели, взвыли оне от ужасу и враз провалились все скопом скрозь мать сыру землю, прямо – в тар-тарары!– заключает Тронька, и последнее слово его сливается с кротким, похожим на голубиное воркование храпом погруженного в сладкий сон рассказчика.

– Ух, и вр-ррежу!..– грозит кому-то из нас Пашка.

Но грозит, к счастью, уже во сне – не наяву!

Черти проваливаются в тартарары. Но домовые на чердаке продолжают игру в чехарду-езду. По-прежнему гудит и клокочет, захлебываясь пургой, печная труба. Все глуше и глуше, все печальнее и печальнее звучит где-то вдалеке-вдалеке одинокий, овеянный вьюгой колокол. И убаюканный миротворным его колыбельным напевом, засыпаю и я. Засыпаю, охмелев от тепла и уюта под сенью надежного отчего крова.

И приснилось мне жаркое лето. Степь с мерцаньем текучих марев над бегущими ковыльными волнами. Ржавые коршуны-самострелы, державно парящие в голубом огне знойного неба, и застолбившие свои норы сурки, упоенные мирным, ласковым пересвистом. Белые, как кипень, юрты кочевых аулов и темный увесистый дым кизячьих костров. Полудикие конские табуны и пугливые овечьи отары. Узкобородые, седые как лунь библейские пастухи с потемневшими от времени древними посохами и упавшие на гривы коней сухопарые, верткие, как дьяволы, степные джигиты в смерчевых вихрях байги – лихих праздных забавах зоркоглазого, кочующего в целинных степях народа...

А потом снился веселый березовый перелесок с тихой лесной опушкой, щедро усыпанной темно-

багровыми ягодами пахучей клубники. И я собирал эти пропитанные ароматами теплой земли и меда бражные ягоды в невесомый берестяной туесок, привезенный мне братьями в дар с далекой ирбитской ярмарки.

От томительно-сладковатых, нежных, вкрадчивых запахов буйного разнотравья, от мерцающих, искрящихся в траве ягод, от глухого лесного зноя у меня слегка кружилась, хмелела и млела от рождения приученная и к жару и к холоду обнаженная моя голова.

А мама, то и дело окликая меня откуда-то из сквозной глуби белоствольного перелеска, звала и звала к себе. Но я, откликаясь на певучий, ласковый ее голос, не в силах был оторваться от неслыханного пиршества вызревших, брызжущих винным соком ягод, с нетерпеливой, лихорадочной поспешностью наполняя ими свой – теперь уже увесистый – туесок.

А огромный, вроде годовалого бычонка, чубарый наш волкодав Терзай – гроза всех станичных и аульных собак – неразлучен со мною и здесь, на живописной лесной опушке. Ему жарко. Он сидит на задних лапах в тени молодой, прямой как свеча березки и, выпялив из разинутой пасти трепещущий огненный свой язык, бурно и часто дышит, глядя на меня добрыми, насмешливыми глазами.

Теплые волны полуденного света заливают продувной перелесок, просторную лесную опушку, густо покрытую пышной, зеленовато-лиловой вязелью, султанами атласного ковыля, застенчивыми полевыми цветами. И свирельный наигрыш незримых кузнечиков перекликается с томным, завораживающим жужжанием золотых шмелей, с миротворным пострекиваньем надменно-нарядных стрекоз, с трепетным порханьем над благоухающей травяной пестрядью простодушных бабочек-однодневок.

И взирая на этот светлый, животрепещущий мир изумленными, широко раскрытыми глазами, я радуюсь тому, что все мы – мама, я, Терзай – оказались сегодня

в гостях у лета, на дивном его пиршеском празднике! Видно, теплые лучи животворного этого света коснулись и моей встрепенувшейся детской души. И я был безмерно рад всему тому, что видел теперь вокруг себя. Разомлевшим от зноя, недавно умытым озорным мимолетным дождем березкам. Незатейливым полевым цветам. Пылающим в траве ягодам. Золотым шмелям. Некичливым бабочкам. Нарядным стрекозам.

Я был рад и счастлив. Счастлив тем, что был не одинок на этом празднике царствующего лета, что берестяной туесок мой еще стал увесистей и полнее, что мама все время помнила обо мне и ласково окликала меня из глуби перелеска и что добрый Терзай, страдая от жары, не покидал меня, снисходительно и насмешливо следя за каждым моим движением...

Вот таким же радостным и счастливым проснулся я на полатях в то позднее декабрьское утро, когда ни Пашки, ни Троньки рядом со мной уже не было.

В первую же минуту пробуждения я понял, что метель утихла, и сердце сладко дрогнуло, когда я услышал голос старшего брата.

– Не переменись к полночи ветер, нам бы и слыхом не услыхать колокола,– говорил Иван.– А как вдруг подуло совсем с другой стороны, тут мы и услышали и узнали его. По голосу сразу определили: наш Главный бьет! Тут мы и ожили!..

– Если бы только одне мы – люди. А лошади? Ведь их в момент – на глазах у нас – будто тут подменили!– слышу я голос Дмитрия.

– Это так точно,– подтвердил Иван.– И кони приободрились... Ну, сняли ребята шапки. Перекрестились. Разнуздали лошадей. Вывели в голову обоза нашего Рыжку,– знаете же, какой он у нас шустрый?! Ну и тронулись напрямки. По убродному снегу. Встречь ветру. Вслепую. На звон!..

Тут я, приподняв над полатями ситцевую занавеску, увидел сидящих за столом обоих братьев, отца и маму.

Братья хлебали из деревянной семейной миски дымящуюся уху из вяленых карасей. Отец же с мамой, не прикасаясь к еде, с тревожным изумлением на озабоченных лицах слушали их рассказы о том, как они чудом ушли от неминуемой, казалось бы, гибели в буранной степи минувшей ночью.

Я тоже, притихнув душой, прислушивался к их рассказам с напряженным вниманием. Но вдруг, улучив момент, я, как с печки упав, радостно воскликнул, чихая:

– Здрасьте, братки!

– Э, да ты у нас вон где?!– удивился Иван, взглянув на меня улыбчивыми глазами.– Здравья желаю,тезка!

– Здорово, здорово, братенек!– откликнулся, кивая мне, и Дмитрий.

– А ты чо жа это, выходит, всю обедню проспал?! Пашка-то с Тронькой, пока ты дремал, всю станицу ошвашили. Засветло отстрадовались. Полны штаны серебра наславили!– сказал Иван, поглядывал на меня с притворной укоризной.

– Ладно тебе, братка!.. Не обманывай. Седня же только сочельник!– убежденно ответил я, отбиваясь от его шутки.

– Нашего воробья на мякине не проведешь!– сказала обо мне мама, добавляя в миску ухи проворно завтракавшим ребятам.

Все засмеялись.

– Ну, уж если ты у нас такой грамотный, то получай курганский гостинец!– сказал Иван и, встав из-за стола, протянул мне на полати мерзлый вяземский пряник.

Я был рад городскому гостинцу. Рад был братьям, благополучно воротившимся домой из нелегкого дальнего извоза. Рад был близкому, самому веселому и нарядному в году празднику – рождеству и еще более красочным, озорным и заманчивым – святкам!

Но у меня захватило дух, когда я, подняв глаза, увидел за окнами необыкновенное зрелище – чудо. Порозовевшие от восхода сугробы снега и белоствольную, как

свеча, молодую березку в нашем палисаднике, прикрывшуюся легкой, словно сотканной из лебяжьего пуха, узорчатой кружевной накидкой. Озаренная резким светом раннего утра, она стояла не шелохнувшись, и только в набрякших серебряных ветках ее, щедро унизанных гранеными подвесками, дробились, переливаясь, голубоватые искрометные огоньки. И я, задетый за душу нерукотворной, сказочной прелестью этого чуда – стройноствол красавицы в зимнем уборе, позабыв про зажатый в руке вяземский пряник, не в силах был оторвать от нее своих жаром горевших глаз.

А потом я увидел, как из наших ворот вихрем вырвался на холмистую от снежных суметов улицу мой любимец – полугодовалый саврасый жеребенок, а следом за ним кубарем выкатился притворно рассвирепевший Терзай. И очутясь за воротами, почуяв простор и волю, они учинили лихую игру, похожую на нашу ребячью свалку.

Плотно сбитый юркий Савраска, зло прижав бархатные ушки и изогнув дугой тугую палевую шею с темной стоячей гривкой, бешено носился, как заводной, купаясь в снегу, по кругу. А Терзай, с головой проваливаясь в рыхлые снежные надувы, метался из стороны в сторону, крутился волчком вокруг увертливого жеребенка, то пытаясь, высоко подпрыгнув, уцепиться свирепо разинутой пастью за упругий трубчатый его хвост, то норовя оседлать с разбегу его гибкую, проторочeнную продольным черным ремешочком спину.

Все мне казалось значительным, трижды благословенным, прекрасным в это яркое, умиротворяюще тихое декабрьское утро. И все сейчас бередило мне душу, трогало, радовало. И принарядившаяся – по случаю праздника – сияющей чистотой и опрятностью, залитая утренним светом наша горница. И начищенный гущей, позолотевший и помолодевший медный наш самовар. И мирный перекур усевшихся

под порогом братьев, отогревшихся под домашним кровом, насытившихся горячей ухой. И сверкавшая под окошком ливневым серебром березка. И озорной мой Савраска со вспыльчивым, заводным Терзаем, учинившие – на потеху и старым и малым – суматошную и веселую, как чехарда-езда, игру.

Я смотрел на все это, как бы вторично рожденный после минувшей метельной ночи с ее бесноватыми домовыми, одураченными Тимой чертями и далеким, глухим и горестным колокольным звоном, неподвластным сатанинскому реву озверевшей пурги.

И теперь, когда я вдруг вновь уловил в эти минуты доносившийся издалека густой, низкий звук Главного колокола, возвестившего о предпраздничной утренней службе в церкви, я воспринял его совсем по-иному – не так, как минувшей ночью,– без душевной робости, близкой к страху.

Напротив. Всем своим существом я как бы слился сейчас с этим царственным, напевно-торжественным медноголосым звуком, и сердце мое, дрогнув, замерло от предчувствия близкого, дарованного мне днем счастья и от радости бытия!

Тут, забегая наперед, расскажу заодно о том, как впервые в жизни очутился однажды я на колокольне нашей старинной станичной церкви, поставленной вятскими умельцами в тысяча восемьсот тринадцатом году.

Срубленная в лапу из могучих лиственничных бревен и обшитая снаружи продольными тесинами с пазами, имитирующими кирпичную кладку, пропитанная при многократных покрасках вековым наслоением белил,– церковь и впрямь выглядела белокаменной. Белокаменной. И в то же время – как бы маловесомой, строго-нарядной, слитной, с шатровой, порывисто устремленной в небесную высь, увенчанной жарко горевшим крестом колокольней.

Церковь покоилась на самом возвышенном месте станицы – на Древнередутском холме бывшей сторо-

жевой казачьей крепости, обнесенной земляными валами. Оттого-то так хорошо и видна была она издалека – со всех дорог, сходившихся с четырех сторон света к станице.

Мама часто внушала мне:

– Это не церковь у нас, сынок, а храм! А по храму и колокол, какого нигде, кроме как в нашей станице, вековеки не услышишь!..

Мне тоже нравилось это слово – храм. По особую прелесть, неповторимую, чистую красоту обретала церковь в дни летних гроз, когда поднималась она над станицей ослепительно белой, точно излучающей неземной зыбкий свет громадой на фоне аспидно-черных, как вороново крыло, грозовых или градобойных туч! А шатровая ее колокольня с грозно сверкающим в черном небе, озаряемым вспышками цепных молний крестом казалась в такие минуты еще более царственной и недоступно высокой.

И вот однажды, незадолго до Троицы, когда шла в церкви уборка, и мама, в числе прочих станичных женщин, занималась чисткой алтарного иконостаса, лампад и иконных риз,– забрел я в полдень в церковную сторожку, и мне, к великой моей радости, удалось уговорить дедушку Арефия подняться со мной на колокольню.

– Не забоишься?– настороженно спросил дедушка.

– Ну, с тобой-то?! Поди, не так страшно...– неуверенно пробормотал я.

– Гляди. Подыматься-то ведь придется нам с тобой высоконько!..– многозначительно ткнув перстом вверх, предупредил меня напоследок дедушка.

И вот мы пошли.

Первым стал подыматься, старчески опираясь рукой на лестничные перила, дедушка, за ним – ни живой ни мертвый – я.

– Только, боже тебя упаси, не оглядывайся – не смотри вниз. Зри только вверх – в мою спину!– наставляет меня дедушка.

И я, затаив дыхание, прикусив губы, не спускал глаз с согбенной его спины, с коробившейся на ней ситцевой – в горошек – рубахи.

Спервоначалу я было принялся мысленно считать приступки, но вскорости сбился со счету не только ступенек, но даже и лестниц, зигзагообразно петлявших сперва под огромной куполообразной чердачной церковной крышей, потом по темному, угрюмому колодцу устремившихся в бесконечную высь колокольни.

Вняв строгому дудушкиному наставлению, я не пытался даже – куда– оглянуться украдкой вниз. А между тем все же какая-то темная сила искушала, подмывала, подталкивала меня сделать это...

На минуту задержавшись на одной из лестничных площадок, дедушка, переводя дыхание, спросил меня:

– Ну, как, верхолаз, вырастешь – в пономари поступишь?

– Вырасту – поступлю!– с искренней убежденностью ответил я.

– Тогда – все. Договорились...– сказал дедушка, продолжая поскрипывать ступенями новой лестницы.

Здесь, в колодце нижней части колокольни,было так темно, что я уже не различал дедушкиной спины. Я шел за ним, точно во сне, механически переставляя ступни босых ног с одной приступки на другую, и одержим был теперь только одним нетерпеливым стремлением – как можно скорее на божий свет из этой кромешно – темной под нами бездны.

Но вот дедушка остановился. Перевел дух. Затем, забренчав связкой ключей, отомкнул в потемках какой-то замок и, поднатужась, отбросил напрочь над головой тяжелую, гулко загремевшую западню.

И тут я едва удержался на ногах, ослепленный потоком нестерпимо-яркого голубого света, хлынувшего на меня сверху.

Уцепившись за протянутую мне руку дедушки, я не без страха перешагнул через бровку квадратного люка и оказался на колокольне!

У меня захватило дух от головокружительной высоты, на какую взлетел я впервые на девятом году своей жизни. У меня заподкашивались задрожавшие ноги. Присох язык. И по скованной ознобом спине зашныряли суетливые ледяные мурашки.

А дедушка, устало опустившись на выступ какого-то бревна, сказал, утирая потный свой лоб тыльной частью ладони:

– Ну вот и достигли мы с тобой, орел, высоты поднебесной!.. А то бы тоже пока присел. Вот тута – со мной рядом. Отдохни. Оглядись маленько. Пообвыкнись...– приметив мое оцепенение, ласково добавил дедушка.

Но я остолбенело стоял как вкопанный, не в силах сдвинуться с места. Все меня оглушало, валило с ног, поражало тут – в этом высотном царстве звенящего небесного света, упругого ветра и каких-то полувнятных, вкрадчивых непривычных звуков и шорохов, доносившихся до меня невесть откуда.

Был ветреный день. Но там, внизу, на земле был ветер совсем иным, чем здесь – под шатровым верхом зыбкой, точно слегка покачивающейся колокольни. На земле этот летний ветер пах сухим конским пометом, полынной горечью, пылью, тут– прохладной свежестью великого множества раскиданных в окрестной степи озер, медовым ароматом бескрайнего, потонувшего в легкой призрачной дымке полевого простора.

Дедушка Арефий был прав. Я, действительно несколько свыкнувшись с этим новым, открытым мной миром поднебесной высоты и ослепляющего, пленительного, пьянящего света, понемногу пришел в себя и мало-помалу избавился наконец от былой, внезапно пригвоздившей меня к месту скованности в первые минуты своего появления на колокольне.

И вот, осмелев, набравшись духу, я, робко ступая, как бы крадучись, пробрался к центру колокольной площадки.

Это было странно, но только тут я увидел то, ради чего отважился подняться на эту шаткую, как мне казалось, световую башню,– колокола. Невеликие по размерам, вперемежку с еще мал мала меньшими, они неподвижно и безмолвно висели под дугообразными стенными проемами колокольни, и я трижды пересчитал их – одиннадцать колоколов! Однако у меня было такое чувство, что тут чего-то недоставало. Недоставало некоего иного дива и чуда, затаенно, как мнилось мне, подстерегающих здесь меня.

Но вот вдруг будто подтолкнутый кем-то, я, запрокинув голову, тотчас увидел над собой это чудо – дымчато-сероватый раструб громадного колокола с увесистым свинцовым его языком, опутанным промасленным пеньковым канатом.

И я обмер, поняв, что это был он – Главный колокол, и у меня щемяще заныло сердце от восторга и страха перед ним.

Я долго стоял с высоко запрокинутой головой в неподвижности под этим огромным, как шатер, зернисто-шероховатым изнутри куполом колокола, настороженно прислушиваясь к едва уловимому дремотному утробному его гулу. И сердце снова сжималось в комок от безотчетной светлой печали, от озарившей душу тревожной радости, от невольного моего приобщения к какому-то, должно быть, значительному в моей жизни таинству, которое свершилось сейчас здесь надо мной!..

Затем, пристально приглядевшись, я отчетливо различил надпись, высеченную изнутри чуть повыше круговой колокольной кромки. Надпись гласила о том, что «Сей колокол сто пуд весу лит в Валдае в лето одна тысяча восемьсот одиннадцатое от Рождества Христова».

Я горел от волнения.

А между тем дедушка Арефий, примостившись на бревнышке, впал в дремоту. Скрестив на коленях узловатые, жилистые руки, он мирно прихрапывал, по-детски причмокивая губами. Он заснул здесь, как у себя дома на пригретой солнышком завалинке, и это почему-то понемногу утихомирило, уняло мое волнение и приободрило, и как бы приземлило меня.

А осмелев, я уже свободнее стал передвигаться по просторной колокольне. Переступая босыми ногами по скрипучим ее половицам, я обошел несколько раз вокруг Главного колокола, разглядывая его теперь снаружи.

Гладко отполированный за долгий свой век световыми потоками, грозовыми ливнями, градом, пургой, сквозными ветрами, тускло и сумрачно отсвечивая овальными, темно-зеленоватыми боками, он висел посреди колокольни, зацепившись ушами за могучие брусья, скрещенные под ее конусообразным куполом. И на крепкой, надежной привязи был сейчас безмолвствующий свинцовый его язык, опутанный упругим, привязанным калмыцким узлом к столбу пеньковым канатом.

Невзирая на многоликое семейное окружение из мал мала меньших колоколов – светлоголосых, отзывчиво-радостных его подголосков, Главный выглядел среди них отрешенным, угрюмым, глубоко одиноким и чем-то схож был, казалось мне, с темным ликом того сурового, погруженного в думу библейского старца, который запомнился мне по одной из недревних церковных икон нынешнего письма...

Ниспадающий тяжкий подол колокола – сплав серебра и меди – был украшен славянской вязью – поясной надписью, и я, уже окончив к тому времени второй класс станичной начальной школы, где мы проходили церковнославянский, бойко – не один раз – перечел и навсегда запомнил ее.

Надпись на колоколе гласила:

«Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Приидите ко мне все страждущие и обремененные и Аз успокою Вы!»

...И уже потом, на земле, когда мы, спустившись с колокольни, сидели на ветхой скамейке под дремучими зарослями акаций, черемухи и сирени в церковной ограде,– дедушка Арефий рассказывал мне нечто вроде притчи о Главном колоколе.

– Этот колокол у нас – не простой. Жертвенный. Обетный!– сказал дедушка, многозначительно указуя перстом на колокольню.

– Как это?– встревожась, не понял я.

– А вот так, сударушка...– молвил старик со вздохом.– Давний это сказ. Вековой. Темный. Даже наши деды, и те знавали его от старых людей – понаслышке... А как было дело? А так. В те дальние от нас времена заместо нонешних станиц Сибирского казачьего войска стояли вдоль Горькой нашей линии – от реки Урала до самого Иртыша – сторожевы крепости и редуты. Это – для острастки незамиренных ишо в ту пору барымтачей. А те пошаливали в ту пору, сказывали стары люди,– я те дам! Барымтачили лихо. Строевых казачьих коней косяками в глухие свои степи с концом умыкали. Ну, да кони там ишо туды-сюды. Бог с имя, оне – дело наживное... Дак ведь эти азиаты заодно и казачьих женок арканили!

– Как это так – арканили?

– А вот так. Выйдут из крепости бабы в соседний березовый колок за ягодами, за груздями ли, а тама – киргизцы в засаде. Приглядятся дьволы к той, котора придется по ндраву, и – аминь! Джжик ее волосяным арканом вокруг тулова, а затем – в беремя, голубушку, да – по седлам. И на полном карьере – в степь! Прямым маршем – в полон. В неволю... А уж из тех диких степей полонянкам возврату в крепости не было. Попалась в петлю – с концом, как в воду канула. Только и поминай потом, как ее, матушку, величали! Вот так-то, сударушка...

Умолкнув, старик добыл из кармана берестяную табакерку с молотым табаком и, заложив в обе ноздри по щепотке, так затем расчихался, что на минуту даже примолкли озоровавшие в черемухе воробьи.

Меня же не переставала теперь волновать таинственная история Главного колокола, названного жертвенным и обетным, и я пока никак не мог понять того, какое отношение имели к колоколу те коварные барымтачи – похитители строевых коней и казачьих женок, о которых рассказывал мне сейчас дедушка.

Между тем старик, всласть начихавшись, сказал, бросая взгляд на колокольню:

– А теперь – про колокол... Нес в ту недобру пору караульну службу казачий гарнизон и в нашей крепости. А командовал гарнизоном наказной атаман, их сиятельство граф Семилов, прибывший сюды с Кавказу. За заслуги перед отечеством он был обласкан в Санкт-Петербурге тогдашним государем и пожалован на новом месте участком в двести с гаком десятин из земель кабинета его величества!.. Был атаман этот – тертый калач. Крутой на руку. Старый рубака. Отец – для нижних чинов. Гроза – для супостатов!.. А прибыл он в крепость уже в годах. Вдовый. Но – не один. С дочерью – осьмнадцати лет. Единственной – напоглядку. Красавицей, сказывают, с лица воду пить! Без амбиции. Обходительной. Благородной, как надо...

– А как ее звали?– живо заинтересовался я.

– Звали – прошше некуды – Мария! – почти пренебрежительно ответил дедушка.– Ну да дело ишо не в этом... Дело в другом. В беде. Не повезло на новом месте стреляному атаману. Как гром среди белого божьего дня обрушилось бедствие на его седу голову. Занемогла вдруг, ни с того ни с сего, по какой-то причине, стала сохнуть и вянуть день ото дня, и бац – обезножела барышня! Да так обезножела, што всякие там лекаря только руками разводили, а поставить ее на ноги не смогли. Лежит пластом второй год кряду

девка, и баста!.. Ну, у атамана, понятно, от такой напасти – голова кругом. И служба – не в службу, и жизнь – не в жизнь!.. И тут кто-то там из тогдашнего простонародья отважился надоумить графа испытать счастья в нашенском Горьком озере. А вдруг, мол, горячи озерны грязи в аккурат и окажут пользу многострадальной барышне!..

– Это которое Горькое?– спросил я, потому что вокруг станицы таким горько-соленым озерам счету не было.

– Малое. В версте отсюдова. За Горькой дубровкой...– сказал, как бы отмахиваясь от назойливых моих расспросов, старик. И малость помешкав, пожевав вялыми губами, словно силясь припомнить что-то особо значительное и важное в своем сказе, продолжал: – С виду-то это озеришко – так себе. Сам знаешь. Незавидно. Малоприметно. А вот – умозрительно! С загадками. Не озеро – тайное тайных!.. А пользительность его я на своем становом хребту испытал. На собственной пояснице!..

Испугавшись, что старика снова начало заносить в сторону от того главного в его рассказе, что все больше и больше захватывало, волновало меня,– я поспешно спросил:

– Ну, и как граф – согласился?

– Погоди. Не торопись – не блох ловишь!– сурово прицыкнул на меня дедушка. И недовольный тем, что я опять перебил его, насупился, задвигав седыми, торчмя торчащими бровями.

Я притих, почувствовав себя виноватым, терпеливо выжидая, пока старик отойдет, сменив недолгий свой гнев на милость.

А он, помолчав, посопев, подувшись, как малое дите, тут же смягчился и заговорил – теперь уже с каким-то печальным раздумьем.

– А што граф?! Он теперь уж ничему больше – ни воде, ни огню не верил. Видно, одна только и осталась надежа в ем – на бога... Однако же к слову простых людей прислушался. Не побрезговал. Совету само-

званых лекарей внял. И хвору барышню им доверил. Сам же тем временем тайно отбыл из крепости – в Зауралье. В старинный Долматовский монастырь. И дал там потом в соборе обет: принести в дар пресновскому храму большой стопудовый колокол, отлитый по заказу! Вот каким тяжким долгом обременил он себя на старости лет перед богом... А все – ради дочери. Думал, за таку его жертву, может, господь и явит к нему милость свою, и свершится чудо – встанет на ноги дочь!

Снова умолкнув на самом интересном для меня месте своего сказа, старик опять было взялся за табакерку, но тут же, отложив ее в сторону, сказал:

– И вот веруй тут ныне этому али не веруй, а чудо, сказывали наши деды, случилось. Поднялась с одра барышня. Воскресла. Помог бог и добры люди... Обыгалась. Зацвела. Запела. Захорошела. Да только не на радость старому атаману – на беду!

– А што?!– спросил я упавшим голосом.

– Грех в их дому разгорелся непотребный из-за этого обетного колокола – вот што, сударушка!– проговорил с грозным укором дедушка Арефий, бросая пристальный взгляд на атласно-светлую башню колокольни.– Девка-то была на выданье. Себе на уме. И на нажитое отцом добро свои виды имела... А тут – бах, нежданно-негаданно для ее родитель чуть не подчистую всего имущества в прах лишился. Все поглотил жертвенный колокол. И наградной земельный надел. И целый табун графских рысаков. И все его злато-серебро.

И даже последнее – эвон тот дом пришлось заложить в казну атаману!– указал перстом дедушка на старинный барский особняк с колоннами и мезонином, красовавшийся напротив церкви, который принадлежал теперь здешним богачам Боярским.

– Так дорого стоил колокол?!– спросил, ужаснувшись, я.

– А ты думал! Въехал в копеечку... Ведь мало было отлить его в Валдае по заказу, на собственный капитал.

Надо же было ишо и на место таку махину за тридевять земель – скрозь всю Россию – сюды конной тягой доставить! А ведь это тоже стоило старому атаману и хлопот и денег немалых...

– Все же доставили!– радостно сказал я, как бы про себя, глядя на колокол.

– Доставили. И на колокольню, привел бог, подняли...

– А подымали как?

– Этого тебе не понять – на блоках... С первого разу, сказывают, он на подъем не пошел. Заупрямился. Будто к земле прирос. И народ зароптал. Это, мол, не к добру!..– рассказывал дедушка, не сводя глаз с колокольни.– Тогда отслужили второй молебен. И это не помогло. Колокол не сдвинулся с места – ни на вершок. Это была уже совсем недобра примета. Это уже пахло какой-то бедой!.. И люди – оторопели. А про графа и сказывать нечего. На ем, надо думать, и лица в ту пору не было!.. Но бог милосердлив к нам, грешным. Явил он милость свою напоследок и к атаману. Через два дни после третьего молебствия в честь колокола он дрогнул и взмыл ввысь – плавно поплыл по блокам припавшем на колени народе... Стойко, без супорства взошел он на колокольню и занял там навек уготованное ему место!

Я не знал, что такое блоки. Но, слушая дедушку, живо представил себе это захватывающее дух зрелище – подъем колокола на глазах упавшего на колени народа. Я зримо видел, как, дрогнув, плавно, медлительно, величаво – поплыл он вверх, устремясь к настежь распахнутому арочному проему светлокрылой колокольни. И я воспринимал все это теперь как диво, как чудо, будто свершившееся на моих глазах – наяву!

Мы долго молчали. И я, не решаясь более тормошить старика назойливыми расспросами, сидел как завороженный, не сводя глаз с Главного колокола. И он снова казался мне неким одухотворенным, втайне

живым существом, наделенным стойкой памятью и мудрым рассудком...

– А вскорости после того, как колокол был поднят, ишо одна лиха беда накрыла голову атамана,– заговорил дедушка Арефий после затяжного молчания.– Пропала Мария!

– Барымтачи?!– воскликнул я, похолодев от догадки.

– Кабы барымтачи!..– презрительно сказал старик.– Сама, подлячка, с кыргызским прынцем убегом в степь бежала!

– С кем?!– не понял я.

– С прынцем – ханским наследником из орды. С нехристем...– проговорил сквозь зубы, брезгливо сплюнув в сторону, дедушка Арефий.– Мало – бежала. В бархатных камзолах – на их манер – ходила. Конину пятерней в юртах кушала. На домбре бурундить и песни по-ихнему петь наторела... И даже христианское имя свое в угоду им на Мариам сменила! От всего самого святого разом в прах отреклась, холера. От отца. От родной веры. От отечества!

– А атаман што?– насторожился я.

– Не спрашивай, сударушка!..– сказал, обреченно махнув рукой, дедушка.– Што – атаман? Почернел от позору. Высох от горя. Сгорбился от нужды. Одряхлел. Оскудел духом. Получил по службе отставку... А потом – суму на плечо. Посох – в руку. И ушел из крепости в странствия по святым местам. Года полтора, сказывают, бродил он пеша по зауральским монастырям – замаливал грехопадение беспутной беглянки... Замаливал, надо считать, с усердием. Да шабаш – не замолил!..

– А што опять?!– в предчувствии новой беды не удержался я от вопроса.

– Мне отмщение, и аз воздам! Так говорится в писании...– ответил на это дедушка и тут же пояснил:– Никакому вероотступнику не уйти от божьего возмездия. Не ушла от него и беглянка. Скору смерть свою нашла она на байге – конных игрищах. Знать, недобра сила, сказывали стары люди, вырвала ее – на

полном карьере – из дорогого степного седла. И навек пригвоздило изменницу к сырой земле орды нековано конско копыто!..

Вновь взяв в руки берестяную свою табакерку, старик, задумчиво постукивая перстами по крышке, со вздохом молвил:

– Не стало вскоре и атамана. Нашли его поздней осенью верстах в трех от станицы – усопшим... Видно, почуяв близку кончину, ворочался он из дальнего странствия в крепость, чая помереть в близости от родного храма. А может, и охота было ему напоследок послушать прощальный звон обетного его колокола!.. Ворочался былой атаман в свой крепостной гарнизон убогим и сирым странником. А скончался возле потухшего костра при дороге, с холщовой сумой – в изголовье!.. Предали тело его земле гарнизонные казаки с воинскими почестями. Поседелы как лунь пушкари из ядерных пушек пальбу с крепостного редута открыли. И колокол кончину его оплакал!.. Ты видел в церковной ограде чугунну плиту на его могиле?– спросил в завершение скорбного своего сказа дедушка. Я молча кивнул в ответ ему головой. Видел. Не раз перечитывал начертанные на ней литыми буквами слова надгробной эпитафии и – как поясную славянскую вязь на Главном колоколе – знал ее наизусть.

Надпись на могильной плите гласила:

«Здесь покоится прах Лейб-Гвардии Кирасирского Его Величества полка штабс-капитана – командира Пресновского крепостного гарнизону – Наказного атамана графа Селиверста Захарова-Семилова, одарившего крепостной храм Большим колоколом в лето 1811-е. Рожд. 1753. Сконч. 1815 г. Мир праху твоему, командир отец. Благодарные пресновчане».

Дедушка Арефий умолкнул. Замкнулся. Ушел в себя. И теперь, как было видно, надолго. Но вдруг, спохватившись, подстегнутый какой-то внезапно павшей на память заботой, вскочил и засеменил со

стариковской суетливостью в церковь, оставив меня в одиночестве.

Вечерело.

Стайки легкокрылых, раскиданных ветром облаков проплывали над слегка позолотевшей от предзакатного солнца колокольней. Острее запахло под вечер густым, сладковатым ароматом цветущей акации, черемухи и сирени. Шустрые стрижи и атласногрудые ласточки, охотясь за мошкарой, бороздили – и вкривь и вкось – сухоросный вечерний воздух стремительными стрельчатыми полетами.

В заросших дремучими травами земляных валах былой крепости поверочно перекликались перепела и капризно ржал жеребенок с позвякивающим ямщицким колокольчиком на шее. Уже завела в заозерной дали печальную свою песню глухо загукавшая выпь. Где-то за станицей бойко разговаривала, складно постукивая железными втулками, катившая по степной дороге пароконная бричка. И было слышно, как блаженно и утомленно мычали в табунах, возвращающихся с дневных пастбищ, почуявшие близость своих дворов коровы.

День меркнул.

А я продолжал сидеть в одиночестве на ветхой скамейке пустынной и тихой церковной ограды, не спуская глаз с Главного колокола, который хорошо был виден отсюда в сквозном, широком арочном проеме колокольни.

Теперь я смотрел на колокол, как на тяжкий венец трагедии столетней давности, свидетелем, а может быть, и причиной которой он был. И мне казалось, что и по сей день он все бережно сохранил в недремлющей своей стойкой памяти – все, что было связано с трагедийной судьбой атамана и несчастной его дочери. Оттого-то, наверное, и выглядел он в возбужденных глазах моих в этот кроткий вечерний час таким угрюмым и отрешенным, погруженным в затяжную – навек – горькую думу о канувших в бездну тех временах...

Я смотрел – снизу вверх – на Главный колокол так, словно ждал от него ответа на немые мои вопросы. Но безмолвствовал, опутанный тугим пеньковым канатом, безгрешный его язык!

ТРАВА В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы,
Из той избы.
Я счастлив тем, что я не чудо
Особой, избранной судьбы.
Мы все, почти что поголовно
Оттуда люди, от земли.
И дальше деда родословной
Не знаем...

А. Твардовский

Бытовало в пору моего детства в наших краях такое емкое слово – бороноволок. Порождено оно было глаголом – боронить, волочить борону. Едва достигал парнишка семи годов от роду, его уже почитали в семье за работника, а нередко при особой нужде, бывало, отдавали даже на круглое лето в чужие люди – по найму.

Да это и был работник. С первых же дней ранней весны до глубокой осени бороноволок не слазил с лошади то волочившей в дни сева по свежей пахоте борону, то подтягивавшей – тоже волоком – копны душистого, как сотовый мед, сена к стогам и скирдам; то запряженной в плуг, сенокосилку иль жатку, в придачу к паре коренных лошадей, третьей конной силой – на выносе, или, как говаривали у нас,– на уносе, которой правил оседлавший ее бороноволок.

– Вот и мы, дал бог, дождались своего бороноволока!– сказала однажды про меня мама, и я был счастлив услышать от нее такие слова, приняв их за великую похвалу моему возрасту.

Неповторимым, запечатлевшимся на всю жизнь радостным праздником был для меня день моего первого выезда на пашню.

Очень волновали меня хлопотливые сборы старших в семье, готовившихся к откочевке в степь – на целое лето. Еще в канун выезда, загодя, все деревянные оси и колесные втулки трех наших древних телег были обильно смазаны ароматным, пахнущим подпаленным берестом вязким дегтем, а легкие дрожки на железном ходу – особой колесной мазью.

Телеги были загружены крапивными мешками с отсортированной на грохале – громадном ручном решете – семенной пшеницей, ячменем, горохом, овсом. На них же погрузили и все прочее пашенное имущество. Вальки от борон. Заступы. Железные лопаты. Конскую упряжь, пропитанную ворванью. Бороны. И однолемешный железный рандруповский плуг, совсем недавно сменивший в нашем хозяйстве вековую деревянную прадедовскую соху.

На дрожки заместо снятого с них низкобортного ракитового коробка была водружена плоскодонная, густо просмоленная лодка, плотно набитая сетями, вентерями, садками и всяческой иной рыбачьей снастью, смастеренной за зиму непраздными отцовскими руками.

Весь этот памятный вечер окрыленно суетился и я – помогал, как мог, старшим загружать телеги и лодку нехитрыми хозяйственными пожитками. Тут все годилось. Вилы и топоры. Заступы и лопаты. Старенькие, потертые кошмы и завалявшаяся за долгую зиму на полатях видавшая виды рабочая одежонка. Черные от многослойной – едва ли не вековой – копоти прадедовские чугунные котелки и чайники. Берестяные туески и щербатые – тоже потемневшие от времени – деревянные ложки. То были семейные, фамильные наши вещи, годами хранимые впрок только для полевой жизни – для дальней дороги, для пашни, для степи.

Выезжали природные пресновские хлеборобы на свои ближние или дальние пашни не сговариваясь, в один и тот же день – чаще всего после пасхальных праздников, на Фоминой неделе, и этот массовый, как теперь сказали бы, выезд и в самом деле походил на некий обрядовый народный праздник.

Суетно, весело, шумно – как на ярмарке – было в такую пору в станице. С пронзительной, торжествующей яростью ржали почуявшие степную волю кони. Радостно повизгивали, крутясь под ногами хозяев, спущенные с цепных привязей кобели. Перекликались, лихо, пересвистываясь промеж собою, молодцевато гарцевавшие в походных казачьих седлах иные бороноволоки.

Вот дожил и я до этого столь долгожданного, желанного весеннего утра! Мы ехали с отцом шажком впереди нашего небольшого обоза. Молодая темно-гнедая кобыла, запряженная в ходок с водруженной на его шаткие дрожки лодкой, упруго перебирая ладно выточенными щегольски-сухожильными ногами, то и дело воротя назад морду, косила жаркий карий свой глаз на часто приотстававшего от нас ее первенца – златошерстного пугливого, трепетного жеребенка – и все время подзывала его к себе ласковым, сдержанным ржаньем.

Чубарый наш волкодав Терзай, разогнав по подворотням всех встречных станичных собак, трусил теперь – самодовольный и независимый – целиной, поодаль от дороги, с ходу принюхиваясь к сурчиным норам и изредка поглядывая на меня как всегда добрыми, насмешливыми глазами.

Нераннее апрельское утро было безветренным, не по-вешнему жарким. Над прогретыми солнцем гребнями увалов струился легкий дымок испарений, а местами – в междуувальных впадинах и в окрестных березовых перелесках – еще блистали первозданной белизною уцелевшие снежные островки.

Вдали над настежь распахнутым степным простором мерцали, дрожа и переливаясь, словно сотканные из парчовых нитей и унизанные искрометным, сеянным сквозь частое сито жемчугом, беглые марева. И было похоже, что полупризрачные, неуловимые – как мимолетные видения, как миражи,– они, стремительно струясь над степью, трепетали от ликующего, щемящего душу трезвона жаворонков, повиснувших полузримыми серебряными колокольчиками в безмятежно-ясном безоблачном небе.

Я сидел в лодке за широкой спиной отца, с притворной строгостью приструнивавшего плетеными ременными вожжами кобылу, когда она, воротя из-под дуги морду, принималась ласковым, кротким ржаньем звать к себе приотставшего от нас жеребенка.

Припекало.

Пахло разомлевшей парной землей. Вязким дегтем – от наших телег. Прогретой солнцепеком смолой – от лодки. Лошадиным потом. Ременной сбруей. Сухой прошлогодней полынкой. Но милее всего был запах испеченных на поду пшеничных булок и калачей, не успевших еще остыть после жаркой нашей русской печки. Крапивный мешок, наполненный ими, лежал рядом со мною – в лодке, и хлеб в нем пахнул – домом, теплой маминой щекой, сухими, горячими ее руками...

Временами мне казалось, что я не ехал – плыл в подхваченной световыми потоками лодке, и блаженная, сладостная дремота все больше и больше одолевала, сковывала меня. Иногда мне мерещилось, что окрестные березовые перелески, подернутые парчовой кисеей мерцающих марев, бежали и бежали прочь – в глубинные целинные степи.

И вконец истомленный тревожным сиянием и блеском этого жаркого, близкого к полдню весеннего утра, убаюканный трельевым завораживающим трезвоном, я, прижавшись щекой к мешку с теплым

пахучим хлебом, незаметно слился всем своим существом с этим новым для меня, радостным миром звуков, красок и запахов, растворился в нем, потонул – заснул.

Проснулся я на месте – на пашне, когда выпряженные, спутанные волосяными путами наши лошади были уже пущены на вольный подножный корм, и старшие мои братья с веселой расторопностью разгружали телеги от всяческой хозяйственной снасти и утвари.

Разбудил меня Терзай. Опершись передними тигриными лапами о борт лодки, он принялся было судорожно обнюхивать лежавший в моем изголовье мешок с теплым хлебом, попутно ткнув меня ледяным носом в прогретую солнцепеком щеку. Но, вспугнутый незлобивым окриком отца, пес отпрянул наземь, так тряхнув нестойкую на жиденьких дрожках лодку, что я, очнувшись, едва не вылетел из нее.

У меня екнуло сердце от радости, когда я, открыв глаза, узнал нашу пашню, уже хорошо знакомую мне по прошлогоднему лету, беззаботно проведенному здесь в бесконтрольно вольных моих забавах и играх.

Тут ничего не изменилось с той золотой отрадной моей поры. Здесь все было по-прежнему родимым, нашим, моим.

Моим был чудесный, немножко даже таинственный, необыкновенно какой-то ладный, уютный, крытый дерном балаган, похожий на степную аульную юрту. Моим было милое сердцу озеро Питерово, в зеркальном блеске которого отражались березы прибрежной дубровки и приблудные облака. Моими были попарно плавающие по раздольному озерному плесу белые лебеди – независимые, вольнолюбивые, гордые. Моим был здесь каждый стебелек голубой мелколистной полынки. Моей была малоторная, сбивчивая проселочная дорожка, убегавшая с пашни к дому. Моими были и дремучие прибрежные камыши с

их печальным, задумчиво-настороженным шорохом в поздние вечерние часы...

Прошлогодним летом был я на пашне гостем. Баловнем – на поглядку старшим. Весной мы с Терзаем пропадали целыми днями или на берегах Питерова, или в соседствующей с нашей пашней целинной степи. Я месил босыми ногами в цыпках сухой песок на прибрежных отмелях в поисках куличьих и пигаличьих гнезд с голубовато-рябыми яичками. Терзай, дерзко шныряя по камышам по брюхо в воде, поднимал переполох среди скопища гнездившихся в них гагар и уток.

Шляясь в целинной степи, я тоже надеялся напасть на потайные – в кустах таволожника и сухих ковылей – перепелиные гнезда, а осатаневший от охотничьей ярости Терзай метался из стороны в сторону, как угорелый, в поисках полевых мышей и неуловимых, мгновенно исчезающих в норах сусликов.

Летом – в пору грибных дождей и созревающих степных и лесных ягод – мы с Терзаем опять же с утра до вечера паслись в нашем фамильном колке. Он так и назывался у пресновчан – Шуховский колок и славился изобилием дикой вишни, шиповника, груздей, костяники – любимой моей ягоды, по вкусу и цвету похожей, должно быть, на северную морошку...

Таким праздным, красочным, ярким было для меня – гостя нашей пашни – неповторимое, похожее на затяжное светлое сновидение прошлогоднее лето.

Иной – нынешняя весна. Иным был уже и я на пашне. Это мне понятным стало сразу. В первый же день моей новой полевой жизни. Отныне был я тут уже не гостем – тружеником. Бороноволоком. Пахарем. Сеятелем. Работником!

Не успел я еще толком обыгаться от разморившей меня в лодке дремоты, как тотчас же получил первое трудовое поручение от старшего из братьев – Ивана.

– А ну-ка, Ивашка – серы ушки, марш в колодец за свежей водичкой – пора и чай греть!– подал полушутливую команду Иван, протягивая мне жестяной бакырок.

Приняв бакырок, я с радостной готовностью ринулся сломя голову вприпрыжку к знакомому мне по прошлогоднему лету колодцу, точнее – довольно глубоковатой яме, наклонно вырытой в крутом приозерном яру.

Осторожно спустившись по земляным приступкам на дно этого сумрачного, густо заросшего камышом и чаканом колодца, я окунул бакырок в студеную, почти ледяную воду и долго прислушивался потом к таинственному, певучему журчанию незримого ручейка, упруго пульсирующего где-то там – в глубинных подземных недрах...

Я уже знал, что это бил родник, питая колодец холодной – до ломоты в зубах – первозданно-светлой и чистой как слеза ключевой водой.

В самые знойные дни прошлогоднего лета я частенько спасался в этом колодце от немилосердной, изнуряющей нас с Терзаем жары. Здесь было прохладно в пору полуденного солнцепека и, наоборот,– удивительно тепло, домовито, уютно – в непогожие, хмурые ветреные дни.

Только тут – нигде кроме – росли диковинные, пышные, влажные, прохладные цветы – водяные лилии. Вьюнами обвиваясь вокруг упругих стеблей пятиаршинного тростника, взмывшего ввысь со дна колодца, они напоминали своими нежными, ослепительно белыми лепестками больших легковерных бабочек, неподвижно присмиревших на мечеобразных камышных листьях. Не один раз пытался я, сорвав здесь один из этих роскошных, пропитанных особым запахом цветов, унести его с собою. Но как только я поднимался с этим дивным, хрупким созданием в руках из колодца наружу,– цветок в мгновение

свободы и воли, от хмельного, сладко томившего душу счастья, от неизбывной радости бытия!..

Наутро мы начали пахоту.

Поднимали твердую залежь на выжженной накануне отцом полынной пустоши, и потому в однолемешный рандруповский плуг запрягли тройку лошадей с оседланным для меня Игренькой на выносе, или, как говаривали еще у нас,– на уносе.

Из пяти наших рабочих лошадей Игренька был самым молодым доморощенным жеребенком – всего по четвертому году от роду. То был не ахти какой рослый, но плотно сбитый, ладно собранный, хорошо упитанный конь нехитрой, степной киргизской закваски. Всех дивил он своей редкостной, броской, веселой мастью. Был он весь с головы до ног золотым, жарко-рыжим, с белой как кипень мятежной гривой, с озорной, словно припорошенной вьюжной заметью челкой на лбу и с упругим – трубой – таким же светлым, как лебяжье перо, хвостом.

Вот такую-то весьма редкую среди лошадиной породы масть и называли игреневой.

С малых лет я души не чаял в Игреньке. Сперва – в жеребенке. Потом – в возмужалом коне. Я охотно делился с ним любимыми своими лакомствами. Замусоренными по карманам леденцами ландрин. Сахарными огрызками. Заварным – на яичном желтке – калачиком. И даже вяземскими пряниками, нередко перепадавшими в дар мне от ворочавшихся домой из дальних зимних извозов старших моих братьев.

Я любил Игреньку не меньше, чем грозного нашего волкодава, красавца Терзая. И оба они – и собака и конь – щедро платили мне за все это беспредельной взаимной привязанностью, трогательной покорностью, невысказанной лаской, затаенной в их кротко мерцавших, то слегка насмешливых, то порою немного печальных глазах...

А между тем Терзай был псом на редкость свирепого нрава, крутым на расправу не только со всеми встречными и поперечными собаками,– он не праздновал труса даже и перед целой стаей осатанелых волков. Неспроста же отец мой в ту пору, когда Терзай был еще безыменным полугодовалым щенком, отважился выменять его у одного из своих аульных дружков – тамыров на суягную нашу овечку и позднее не переставал гордиться при случае столь ухарским своим поступком!

Игренька же – по крутому его характеру, по пылкому норову, по дерзким манерам – был под стать или, точнее сказать, сродни Терзаю. Меня же он подкупал не только неожиданной своей живописной мастью, но и бросавшим подчас в оторопь неслыханным своенравием, вздорностью, озорством, взбалмошными причудами и каким-то особо лошадиным вольнодумством, что ли...

Вопреки опасениям отца, Игреньку, когда пришла его пора, без особых усилий приучили к уздечке, к седлу, к запряжке. Он сам с видимой охотой клонил голову перед поднесенным к морде хомутом и, послушно пятясь, становился в оглобли. Словом, вел он себя точно так же, как вели себя в таких случаях все прочие наши лошади постарше его годами. Было похоже, что ему нравилось стать вдруг взрослым рабочим конем, и он, прилежно подражая во всем старшим своим собратьям, вел себя на первых порах смиренней и кротче овечки.

Но это – на первых порах.

А потом, доселе покорного и кроткого, как ангел небесный, Игреньку вдруг как бы разом подменили, и он зачастил выбрасывать коленца – одно мудренее другого. Теперь он чаще всего выглядел не белым кротким ангелом – серафимом, а нечистой силой с дьявольским коварством и сатанинскими выходками.

Эта новая сторона изменчивого Игренькиного характера – на диво всем нам, выражалась по-разному.

То он в запряжке, строптиво переступив задней ногой оглоблю, замирал, как при столбняке, и никакими силами немыслимо было – ни уговорами, ни угрозой – сдвинуть его с места, и в таких случаях помогало только одно средство – перезапряжка.

Затем этот бес, запряженный в легковой ходок иль в телегу-тюменку, взял моду вдруг сбивать – ни с того ни с сего – вихревую свою рысь на медлительный, притворно утомленный шаг и наконец останавливался как вкопанный посреди пути-дороги в самом неподходящем для этого месте. То в раскваше́нной вешними водами или летними ливнями солончаковой ложбине. То перед крутым увальным подъемом. А то и того похуже – на глазах у добрых людей – прямо посредине любой да хорошей улицы!

Здесь тоже не помогали ни ласковые понуканья, ни ременный кнут, ни матерки, ни воровинные вожжи. А чтобы стронуть зауросившего жеребчика с облюбованного им местечка, надо было – хошь там не хошь – спешиться с телеги, взять его под уздцы и провести, вполголоса матюкаясь, полверсты за собою следом. А уж потом можно было снова спокойно усаживаться в телегу, и Игренька, мигом встрепенувшись, подобно вспугнутой с гнезда куропатке, вновь летел, закусив удила,– пуля пулей!

Немало хлебнули горя с Игренькой старшие мои братья, когда накатывало на него в иную пору особо буйное неповиновение. Пущенный вместе с другими нашими лошадьми спутанным на ночной степной выпас, он приходил иногда поутру в ярость, завидев связку уздечек и недоуздков в руках любого из моих братьев. Злобно прижав плотно к темю до сего добродушно торчавшие над белесой челкой мечеобразные черно-бархатистые уши, Игренька настороженно косился на непрошеного пришельца с уздечками жарким от ярости, аспидно-черным глазом.

Ни с какой стороны не было в такую пору подступу к этому ошалевшему от своеволия писаному красавцу.

Высоко задрав морду, он стоял на широко расставленных упругих, пружинистых ногах с розовыми копытами – никому не покорный, независимый, неприступный. Молодой, гладкоспинный, упитанный,– был он словно слит из чистого золота. А белоснежная грива его на тугой, дугоподобной шее и такой же светлый, трепетный, похожий на поднятый парус хвост придавали ему в такие минуты сходство с готовой к взлету жар-птицей!

Поймать такого, вдруг как бы впадавшего в буйное одичание коня теперь можно было разве только кочевническим соилом – волосяным арканом на длинном гибком шесте, да и то далеко не каждому вершному, а лишь особо ловкому, понаторевшему в таких делах степному табунщику – хваткому и верткому, как черт, джигиту.

Но вот однажды – дело было на нарядной троице – ранним погожим утром увязался я за старшим из братьев Иваном, отправившимся со связкой уздечек в степь за нашими лошадьми, пущенными накануне на ночной выпас.

Мы вскорости нашли их в версте от станицы, вблизи небольшого березового перелеска – Горькой дубровки, когда-то и кем-то названного так в честь соседствующего с ним горько-соленого озерца, впрочем, не замерзавшего даже в самые лютые, по-сибирски крутые морозы.

Все наши кони, вдоволь насытившись за ночь сочной травой, окропленной обильной июньской росою, мирно полеживали среди пряного разнотравья, щедро принаряженного кроткими полевыми цветами. Все кони.

Кроме одного – Игреньки!

И у меня екнуло сердце. Замерла душа. Онемели дрогнувшие босые ноги. Мелькнуло: вот и случилось то самое, чего я, да и только ли один я в немалой нашей семье, страшился больше всего на свете. Гром грянул. Зарницы померкли.

Вот и украли-таки у нас минувшей ночью злые люди Игреньку! Увели, угнали карьером пугливого веселой масти коня в глухие глубинные степи шибко шалившие в тот памятный год в наших краях неуловимые, кочующие барымтачи или же приблудные, отпетые цыганские конокрады.

Мельком взглянув на оторопело опешившего в это мгновение старшего брата, я понял, что и он похолодел от такой же мелькнувшей в его голове догадки – так вдруг потемнело мигом изменившееся, искаженное вспышкой внезапного горя и гнева остроскулое его лицо.

Оглушенные такой новой бедой, обрушившейся на нашу семью, мы какое-то время неподвижно стояли рядом. Два Ивана – самый старший и самый малый. И в эти минуты ледяного душевного оцепенения никто из нас – ни он, ни я – не проронил ни слова.

Все вдруг в этом божьем мире потускнело, поблекло, обрело иную, безрадостную окраску в сухих от горя глазах моих– без него, без Игреньки. И с тупым безразличием, почти враждебно смотрел я теперь на то, что еще минутой тому назад покоряло тут меня на каждом шагу новизной, неожиданностью, пленительным ароматом холодного от росы буйного разнотравья и тонким, чуть внятным, печальным запахом укромно притаившихся в траве незабудок.

Я не видел уже, не замечал сейчас многого. Высокого, позолотевшего от жаркого восхода неба над головой с перистыми – к погожему дню – мерцающими облаками. Матового серебра ковылей, прикрывших невесомой парчовой накидкой вековую, не тронутую лемехом целинную землю. Табунка веселых журавлей, смешно и трогательно расплясавшихся вокруг своих выводков на недалеком пригорке. Моложавой прыткой березки, за полверсты убежавшей от хоровода своих дружных подружек на высоком приозерном яру и пригорюнившейся на отшибе в круглом одиночестве...

Нечто вроде упругой, туго выпрямлявшейся внутри меня пружины неотвратимо поднималось во мне, подступало, подкатывало к горлу, и я в состоянии, близком к удушью, чувствовал, что больше уже не выдержу – вот-вот зареву!

Вот тут-то внезапный, ликующий вопль старшего брата едва не свалил меня с ног.

– Эге-гее! Братуха!– заорал Иван не своим – бабьим – голосом.– Ты гляди-ко сюды. Гляди! Ведь это же он, язва! Летит, как Егорий Победоносец! Опять в прах изорвал, варнак, новехонький воровинный треног! Вот стервец! Вот сукин сын! Вот вражина!

Я обмер.

И только тут, как бы придя в себя, увидел я Игреньку. Высоко задрав морду, рассекая широкой грудью волны утреннего света, мчался он во весь мах с далекого пологого увала в нашу сторону. Издали даже казалось, что не скакал, а летел над присеребренными росой искрящимися ковылями, не касаясь степи своими розовыми копытами. Как добела раскаленное ветром пламя, бушевала над ним его атласная грива, а упругий – вытянутый трубой – хвост стлался за ним, как шлейф, сотканный из светло-шелковистых нитей.

Что уж тут говорить про нас с Иваном, если даже все наши кони, завидев Игреньку, пришли в волнение. Все они тоже были явно обрадованы, потрясены неожиданным его возвращением и, мигом повскакав со своих лежбищ, сдержанно заржали, возбужденно заперебирали стреноженными ногами, приветливо запряли ушами. Иван не сводя с летящего к нам Игреньки по-ястребиному зорких, горящих от радости глаз, тоже, как и наши кони, суетливо топтался на месте, переступая с ноги на ногу. Почти приплясывал. Глухо сопел. Отмалчивался.

Я же – запросто приплясывал, прыгал, похлопывая в ладошки. Вел себя, как те смешные веселые журавли на недальнем пригорке, продолжавшие малоуклюжую пляску вокруг своих едва оперившихся выводков.

Между тем Игренька с запальчивого карьера незаметно перешел на дробную тропотиную рысь, постепенно замедляя и замедляя ее при приближении к нам, и, наконец резко притормозив передними ногами и слегка осев на задние, остановился шагах в двадцати от нас.

И тут мы оба, приметив на тугой, дугообразной шее Игреньки петлю с обрывком волосяного аркана, похолодели от новой догадки.

Было ясно, что малопокорный, строптивый наш конь, умудрившись порвать на полном карьере пленивший его аркан барымтачей, лихо ушел от степных похитителей восвояси!

– Орел!...– чуть слышно, с глубоким вздохом молвил Иван, не сводя глаз с Игреньки.

Игренька был в мыле. Еле приметная, слабая дрожь пульсировала в его широко расставленных, тонко выточенных ногах. И пот, как жемчуг, просеянный сквозь частое сито, горел на его золотом бедре.

– За им, видать гнались погоней барымтачи?– робко спросил я Ивана.

– Ну. Как пить дать. Да сам черт верхом на выюге у нас его не догонит!– не сказал, с восторгом воскликнул брат.

– А ты, братка, дай мне уздечку,– еще кротче попросил я.

– Это ишо на што?

– Я пойду его зануздаю.

– Да ты што – угорел?! Видишь, как он уши зажал? Озверел. К ему сейчас ни с какой стороны никому из нас приступу нету! Понял али – тупо?!– спросил грозно меня Иван.

– А я попробую...

– Не дури. Ишо зашибет. Будет мне потом за тебя, последыш, от отца с матерью на пряники!– категорично сказал Иван.

– Не зашибет. Мы с им обоюдны!– убежденно заверил я брата.

Иван опешил.

– Как это – обоюдны?!

– А так. Понятье у нас с им одно потому што... Давай мне уздечку!– сказал я почти повелительным тоном.

Тут, немного замявшись, Иван, хоть и нехотя, но все же распутал связку уздечек и одну из них – выездную, с блистающим звездным набором – протянул мне.

–Ну, ладно. Айда. Попробуй подступись к ему, кабарге, ежли уж ты такой храбрый!.. Погляжу я на вас, красавцев, каки вы там у нас обоюдны!

Заметив нашу возню с уздечками, Игренька, встрепенувшись, как готовая к взлету птица, весь напружинился и, казалось, еще плотнее прижал к темени черные как смоль, озлобленно подрагивающие уши.

– Крой ва-банк!– слегка подтолкнув меня в плечо, сказал в напутствие мне Иван.– Только рта шибко не разевай. Гляди в оба!

– Ладно, братка...– пробормотал я и, забросив за спину нарядную уздечку, бодро засеменил ногами к насторожившемуся Игреньке.

Не говоря уже про Ивана, но и все наши кони, казалось мне, с тревожным изумлением следили сейчас за каждым моим движением, немало дивясь отчаянной моей храбрости.

И вдруг Игренька, завидев меня, бежавшего к нему вприпрыжку, сомкнул, как по строевой команде, вразброс расставленные ноги и вмиг выпрямил над льняной челкой аспидно-черные, острогранные мечевые уши.

Уж кто там кто, а я-то знал цену этому доброму знаку смирения и душевного расположения ко мне и, окрыленный этим, я уже без всякой душевной опаски подбежал к взмыленному, горячо дышащему коню.

Благо, в кармашке моих латанных-перелатанных мамой миткалевых штанишек погодился припасенный для проку, сахарный огрызок, и я с радостной готовностью тотчас же – с ходу – поделился своим гостинцем с Игренькой.

Нежно пощекотав мою развернутую ладошку теплыми бархатными губами, конь благодарно принял нехитрое мое потчевание и доверительно склонил затем пониже голову для того, чтобы мне – малорослому поскребышу было сподручнее надеть на него праздничную уздечку.

Затем, взнуздав его без особых усилий,– Игренька, заглатывая стальные удила, добровольно полураскрыв рот, разжал плотно посаженные миндалевидные зубы,– я подвел его под уздцы к старому пню, торчавшему на отшибе от Горькой дубровки. А потом уже с этого покрытого трутневыми наростами пня, уцепившись левой рукой за светлоструйчатую гриву, вскарабкался-таки на плоскую – печь печкой – Игренькину спину.

Вот тут-то вдруг я и почуял себя не верхом на любимом картинном коне – на седьмом небе!

Необычное, близкое к ликованию возбуждение царило в нашей семье весь этот памятный мне и поныне первый день нарядной, красочной троицы. Все у нас были безмерно рады возвращению – будто с того света!– взбалмошного Игреньки, чудом вырвавшегося из цепких рук лихих конокрадов, и глядели теперь на него, как на вторично рожденного,– теплыми, посветлевшими от великого счастья глазами.

Был я в этот день зацелован, заласкан, запотчеван мамой. Захвален отцом. Затормошен веселыми, похорошевшими от праздничных нарядов и без того красивыми в моих глазах юными сестрами – Дашей и Паней. Задарен с ног до головы всяческими щедрыми посулами подобревших от украдкой выпитого – по случаю редкого праздничка – шкалика водки старших братьев.

Я ходил в именинниках.

И все из-за Игреньки. Из-за его, столь поразившей всех наших, небывало-смиренной покорности и

трогательного, по-детски кроткого повиновения мне – недоростку!

Я был счастлив. От многого. От покорного мне Игреньки. От ласковых слов мамы. От похвал отца. От баловавшихся со мною сестер. От расточительных посулов полузахмелевших братьев. От новенькой моей – поднебесного цвета – ситцевой рубашонки, сшитой руками Даши. От ярких, как ярмарочные карусели, девичьих хороводов среди улицы. От венков, свитых из полевых цветов, украшавших головы незамужних станичных красавиц. От того, как потом наш Иван, сидя на завалинке, играл на своей саратовской гармонике с колокольчиками «Златые горы», а Дмитрий, сидевший с ним рядом, угрожающе, с вызовом пел: «Тогда бежать я с им решилась, поверив клятве роковой. На божий храм перекрестилась, с слезой взглянув на дом родной!»...

Но вдвойне, втройне был я счастлив ближе к вечеру, когда собрались в нашем доме немногочисленные гости. Родня. Старики. Дядя Егор – извечный сторож начальной станичной школы, старший брат моего отца. Младшая сестра его – тетка Лукерья с дядей Петром – кумовья наши – Чернигины. Мать Троньки – Михайловна. Бабушка Платониха, дедушка Арефий. Кузнец и церковный регент Лавра Тырин со своей рыхлой старухой Кристиной.

Угощались – по случаю троицы – на открытом дворе, за столом, вынесенным из дому. Сперва застольничали при золотистом вечернем свете. Потом – при сумном сиянии остророгого, слитого из червонного золота новорожденного месяца. Потому что вздувать огня в такую пору года – ни в доме, ни во дворе – было уже не положено. Огонь в летнее время в избе – к головне в посеянном хлебе!

Мама потчевала гостей всякой всячиной. Сдобной своей стряпнею – бязбичками. Обливными и творожными шанежками. Кремовым ворохом ароматного,

хрупкого хвороста. Всякой там жареной и вареной снедью.

Отец выставил на стол заветную бутылку казенной водочки, загодя впрок, припрятанную им от пронырливых, как дьяволы, старших сынов в надежном месте.

Старики захмелели с первой же рюмки. Да и бабушки вскоре заметно повеселели, помолодели, сдобрив сухонькие, вялые губы заколдованной маминой бражкой, второпях сотворенной ею – межуделок – к редкому празднику.

Вечер меркнул.

Взмыл, поплыл над станицей молодой, чудный месяц. Он торчал на рогу – к ведру.

С побережья огромного пристаничного озера Питного отлетала в вечернюю степь проголосная, грустная девичья песня.

Над серебряной волной,
На златом песочке,
Часто девы молодой
Я искал следочки!

Там девчата, выпытывая судьбу, бросали в темную стоячую воду перевитые незабудками венки, гадая о своих суженых...

Между тем за праздничным нашим застольем становилось теперь с каждой новой минутой все шумнее, все оживленнее.

Гости разговорились. Говорили громко, наперебой, и было непонятно – кто кого слушал.

Золотые шмели хмеля разбушевались в дедовских головах, и старики вдруг ударились в безудержное хвастовство друг перед другом.

Отец хвастал – мной и Игренькой. Дядя Егор – личным участием в последнем походе Пржевальского. Дядя Петро – единственной в их дворе горбатой кобылой иноходкой, у которой будто в каждой ноздре

по два продуха – потому-то на диво и зависть многим она резва, как ведьма на помеле, вынослива, неутомима! Дедушка Арефий – былыми воинскими доблестями, проявленными им в далекой молодости, Лавра Тырин – дарованным ему богом мастерством в кузнечном и регентском деле!

Бабушек же – под легким хмельком – повело, напротив, совсем в другую сторону. Рассудачившись – слово за слово,– принялись они честить на чем свет иных, отчего-либо невзлюбившихся им или родственниц или одностаничниц. Перебирали, перемывали косточки тех, кто только падал им теперь на взбудораженный, засумбуренный бражкой ум. Своих снох. Золовушек. Падчериц. Кум. Троюродных сестричек.

Попутно перепадало тут на пряники с орехами от ожесточившихся сердцем старух и некоторым прочим станичным сударкам. Надменной кикиморе – барыне – губки бантиком!– Софочке Минькиной. Тучной, малоопрятной скупердяйке – матушке попадье. Разбойной матерщинице – Марье Корнеевне, связанной одной шайкой-лейкой с конокрадами. Отпетой шинкарке – Тане Жичихе, тайно, принимавшей от холостых ребят в обмен на водку пшеницу, похищенную из отцовских сусеков. Впавшей в непотребное распутство купчихе – Анфисе Немировой, открыто схлестнувшейся на глазах у малозрячего, невзрачного муженька со своим годившимся ей, сучке, в сыновья приказчиком!..

Шуму было много.

Бабушки за словом в карман не лазили!

Иные из дедов, хвативших чуть лишку, совсем уж было полураспоясались. Стали помаленьку – вполголоса – материться. Но на таких тут же строго прицыкивал разом мрачневший при этом отец. Смолоду не переносил он матерной брани, никогда не оскверняя ею своих уст даже в припадке самого

жгучего гнева, близкого к затемнявшей разум ярости. И гостевавшие за нашим столом старики, зная об этой его нетерпимости, уловив на себе презрительный взгляд хозяина дома, суетно прикрывая ладонями рты, тотчас же умолкали.

Старухи тараторили бойко. С ехидцей. С ужимочками. Шиворот-навыворот. Впереверт. Каждое слово – вприкуску!

И только одному тут теперь человеку – маме – было не до досужих бесед. Не до песен-басен. Не до разговоров. Расторопная, шустрая, как девчонка, она, потчуя захмелевших родичей и соседей, металась – метла метлой – от стола к дому, из дома к столу.

Подавая то одно, то другое угощение, она успевала урывками – на ходу – пригубить с непритворно веселым отчаяньем чарочку бражки, перекинуться с гостями мимолетной незлобивой шуткой, озорным словцом, складным присловьем. И было видно, что она задевала за душу стариков и старух, разомлевших, потешных, слегка закуражившихся от изобильного, затяжного застолья.

Задевала – многим.

Открытым доброжелательством. Радостной – на крыльях – готовностью послужить людям. Доверительной, не покидавшей ее полуспекшихся от хлопот, от волнений старческих губ – молодой, по-девичьи застенчивой, полувиноватой улыбкой...

Весь этот вечер я, примостившись в сторонке на старенькой, еле живой табуретке, изумленно поглядывал на веселых, шумливых наших гостей, рассеянно тренькая абы што на новехонькой моей трехструнной циммермановской балалайке.

Этим чудом – балалайкой одарил меня нежданно-негаданно отец, купив мне ее на Никольской станичной ярмарке, издревле нареченной так в честь годового праздника – зимнего Николы. А виной этому из ряда вон выходящему в семье нашей случаю была бабушка Платониха.

Долгими зимними вечерами, сиживая на печке, любил я изображать себя лихим музыкантом. И взяв в руки золотистую, до звона просушенную березовую лучинку, я – не хуже Пашки Денисова – самозабвенно тренькал на ней, как на воображаемой балалайке.

И не только тренькал. Но и певал при этом.

Наслушавшись в летнюю пору минькинских граммофонных пластинок, в точности запомнив слова и мотивы напевов знаменитых санкт-петербургских певиц, я распевал под трезвон бесструнной своей балалайки бесподобными голосами – или госпожи Вари Паниной, или – самой мадам Вяльцевой!

Смежив глаза,– тут я к тому же подражал еще и Пашке,– я пел игриво, высоким, готовым к обрыву, как до предела натянутая струна, голосом:

Гай-да, тройка!
Снег пушистый.
Ночь морозная кругом.
Светит месяц серебристый,
Мчится парочка вдвоем!

А то и того похлеще. Несколько переиначивая – Пашкина наука – на свой лад слова жесткого романса Вари Паниной, тут я пел уже по-иному. С надрывом. С душевным криком.

Ух, зачем ты меня целовала,
Жар безумный в грудях затая?
Ненаглядным меня обзывала
И клялася, что будешь моя!

Однажды в присутствии отца, мамы и заскочившей к нам на огонек – попотчеваться чайными выварками – бабушки Платонихи спел я, тренькая на звонкой лучинке, печальную песню, заученную со слов старшей из сестер – Даши.

Пел я на этот раз, уже никому не подражая. От себя. Своим ненавязчивым, скорбным голосом.

Спишь ты, спишь, моя родная,
Спишь – в земле сырой!
Я пришел к тебе, родная,
С горем и с тоской.
С неба дождик льет осенний.
Холодом знобит.
У твоей немой могилы
Твой сынок стоит.
Я пришел к тебе, родная,
Штоб тебе сказать:
У меня теперь другая
Есть – чужая мать!

Я пел, и сердце мое сжималось в комок от непривычного, двоякого чувства. Мне до слез было жалко этого рано осиротевшего мальчика, мокнувшего в горьком одиночестве под косым осенним дождем возле сырой материнской могилы. И в то же самое время в душе моей все трепетало, светилось, пело от нахлынувшего на меня в эти минуты ощущения невыразимого счастья. И счастьем этим была для меня сейчас не сторонняя, не пришлая с ветру, не чужая, а одна она – родимая моя мать!

Она сидела в кути на лавке. За прялкой, нарядно расписанной ирбитскими мастерами. Расторопно теребя левой рукою седую куделю, правой она ловко, будто играючи, крутила радужно мерцавшие в сухих ее, гибких пальцах похожее на заводную юлу веретено с упруго подрагивающей, серебрящейся ниткой. Не переставая прясть, она с безмолвной душевной настороженностью вслушивалась в горестные слова печального моего напева, мельком поглядывая на меня, сидящего на печи, теплыми, кротко мерцающими ласковыми глазами...

– Ух, тала-аан он у вас! Ух, тала-аан!– указуя на меня своим железным перстом, сказала бабушка Платониха почти угрожающе.

– Горюшко мое – не талан. Заботушка моя – кровная!..– чуть слышно, со вздохом, молвила мама. И

после вздоха еще тише – как бы уже про себя – добавила:– Одному только богу известно, што написано ему на роду... А иным и таланам, быват, ишо погорше нас – бесталанных – на белом свете живется,– сказывают умные люди!..

– Нет, кум, послушайся ты меня!– требовательно взмолилась, теперь уже обратясь к отцу, бабушка Платониха, проворно прожевывая чайные выварки.– Побалуй на старости лет своего последыша. Не жмись. Раскошелься. Обгорюй-ка ему всамделишну балалаечку!

– А куды деваться?! Приспичит – и обгорюешь!..– вдруг отозвался отец с неожиданной изумленной живостью, только не поймешь как – всерьез или в шутку.

И вот – сбылось: обгоревал! Одарил он меня – пришел срок – этим золотисто-солнечным, певучим трехструнным чудом. С бронзовыми бороздками таинственно посверкивающих ладов на черном, как вороново крыло, балалаечном грифе. С трепетными, отзывчивыми серебристыми струнами. С ореолоподобным, красочным фирменным тавром фабриканта музыкальных инструментов Генриха Циммермана – на лицевой деке!

Первыми моими упражнениями на этом щедром родительском даре руководил – как умел – Иван. Он обучил меня настраивать балалайку и на мажорный и на минорный лад, а потом – и некоторым нехитрым наигрышам. Вроде «Барыни», «Казачка», «Подгорной», «Во саду ли, в огороде».

Ничего другого, кроме этих наигрышей, Иван и сам не умел отбрякивать на трехструнной моей красавице. Это была ему не саратовская его гармошка с колокольчиками, на которой играл он – правду надо говорить – под стать знаменитым пресновским скрипачам – троим братьям Елгиным, лихо. С вывертами. По-ухарски. С вызовом!

Вот так – на азбучных наигрышах – Иван и закончил со мной нетрудную свою науку. Это было все.

Перенимать мне у него больше было нечего. И тут волей-неволей пришлось выбиваться в сколько-нибудь приметные музыканты уже в одиночку. Самоуком. Без подсказки. Без опеки. Без натаскиванья.

Мне и теперь не совсем понятно, как это я, ребенок, вслепую перебирая хрупкими пальцами левой руки малоуловимые лады балалаечного грифа, вдруг иногда высекал правой кистью из дрогнувших струн божьи искры хоровых, неожиданно стройных, пленявших меня аккордов!

Я привязался к балалайке, полюбив ее так же горячо и самозабвенно, как любил Терзая или Игреньку. И балалайка, вроде как бы некоего одухотворенного, живого существа, чувствуя мою привязанность к ней, постепенно – день за днем – все доверительнее, все щедрее и щедрее раскрывала передо мной свою теплую, светлую и певучую душу...

Что и говорить, большим подспорьем в моих музыкальных навыках были, конечно, граммофонные пластинки чопорной четы Минькиных – Ванечки с Софочкой. Вдосталь наторчавшись в погожие летние вечера перед настежь распахнутым минькинским окошком с ревущей – чуть ли не на всю станицу – граммофонной трубой, понаслышался я там всякой всячины и что пришлось по сердцу – запомнил. Надолго. Навеки. На всю жизнь!..

Песенки Вари Паниной и мадам Вяльцевой меня мало трогали, и я относился к ним иронически, ежели не враждебно. А вот бравурные или – наоборот – печальные звуки духовых военных оркестров, вырывавшиеся на волю из пламенно-оранжевого жерла граммофонной трубы, сводили с ума!

Я умирал от маршей– «Прощанье славянки», «Под двуглавым орлом», «Тоска по родине». И от вальсов – «Березка», «Осенний сон», «Воспоминанье о Пржевальском», «На сопках Маньчжурии».

Несказанно тревожили, приводили в трепет, волновали меня и гортанные напевы цыган Соко-

ловского хора. Веяло от них дремучей древностью и в то же время – близким мне по духу – чем-то родным, нашенским. Седыми от ковылей степями. Мерцаньем далеких кочевнических костров в ночи. Печалью безлюдного полевого простора. И свободой. И волей. И горькой бесприютностью гонимого – невесть куда – перекати-поля...

– А от – то грозного и мрачного, то – от нежного, робкого, вкрадчивого воркованья, то – от приглушенно-сдержанного рыданья сонма цыганских гитар бросало меня и в жар и в холод, доводя порой до полного душевного оцепенения!

После, оставаясь наедине с самим собою, я трубил в сомкнутые рупором ладошки, подражая духовому оркестру, воскрешая в памяти мелодии маршей и вальсов, разбередивших мне душу.

Это помогло мне потом, когда я, освоившись с покорной балалайкой, стал мало-помалу подбирать на слух более сложные музыкальные сочинения, чем первые мои наигрыши.

И понаторев, набив вскорости руку, я уже довольно уверенно наигрывал на своей трехструнке и «Прощанье славянки», и «На сопках Маньчжурии», и даже фигурную «Польку с комплиментами»!

Песня была частой гостьей нашей семьи. Запросто, охотно дружили с нею все старшие мои братья. Не чурались ее на старости лет – за праздничным застольем с повеселевшими гостями – и мои родители. Но в особом ладу с нею жили сестры, певшие на клиросе в церковном хоре Лавра Тырина,– Даша и Паня.

Пели сестры обычно негромко, чаще всего – вполголоса. Пели в часы нечастых досугов. Пели – и за работой. За шитьем. За вышиваньем – гладью или крестом. За разными хлопотами по домашности.

Я заслушивался их «Вечерним звоном», который наводил и на меня, притихшего кроткой душою, много – безотчетно-тревожных, неясных – дум...

Меня волновала исповедальная искренность слов из другой их песни – скорбной и горькой, как курлыканье журавлей в темном ненастном осеннем небе:

Я у матушки выросла в холе.
Не видала кручинушки злой.
Да счастливой девической доле
Позавидовал недруг людской!

И темной тенью застилось мое сердце от приглушенного проголосного напева сестер о загубленной девичьей юности. Особенно задевали меня в этой песне слова, преисполненные обреченной покорности судьбе, выпавшей на долю обойденной счастьем, отрешенной от земных радостей девушки.

И солнце греть меня – не станет.
Роса меня – не освежит.
Заря меня – не нарумянит,
Глухая ночь не усыпит!

То были песни народные. Древние. Вековые. Они переходили изустно – из рода в род. Из поколения в поколение. Неподвластные ни забвенью, ни тленью, ни запретам, они жили в душе народа, не утрачивая первородной, неувядаемой прелести. И печален и дивен был нетленный их аромат, подобный иному старому вину, настоянному на непорочном, близком к бессмертию долголетии!..

Позже, как бы еще более душевно сблизившись, породнясь с покорной мне балалайкой, я все увереннее, все легче подбирал на слух – наитием – одну полюбившуюся мне мелодию за другой. А потом и обучился несложному аккомпанементу – вторе, сопровождая минорными аккордами проголосное, грудное пенье сестер.

Отец не мог нахвалиться, нахвастаться мною. Моей смекалистой музыкальной дошлостью. Моим неробким, догадливым овладеванием премудрыми балалаечными ладами на зыбком грифе. И лихой,

вольной моей расправой над переливчато звенящими под моими пальцами, искрометными и пугливыми, как ямщицкие колокольчики, струнами!

Немало хвален был я за это мое самоукство и всеми другими нашими домочадцами.

И только одна мама, настороженно прислушиваясь чуткой своей душою к моей «Тоске по родине», к «Воспоминанью о Пржевальском» или же к минорным вторам моим, сопровождавшим печальные напевы сестер, отчего-то всегда вздыхала – глубоко, затаенно. Горестно покачивая при этом обнаженной головой, рано тронутой матовой сединою, она едва слышно – как бы думая вслух, говорила:

– Один только бог знат, куды тебя, малая моя птаха, этот самый талан заведет! И к добру ли все это таится в тебе али к худу?! Один бог!..

– Ладно тебе стонать-то, мать!..– сердито отмахивался от ее озабоченных слов отец, воспринимавший мою привязанность к балалайке, как видно, совсем по-другому.– Ладно тебе. Не убивайся... Он ведь у нас ото всех – на отличку. Из кисейных кистей выпал. В рубашке родился!

В этот вечер – на троицу,– когда гостевали при месячном свете у нас на дворе наши родичи и соседи, был я в особом ударе. Подзуженный крикливыми, не в меру льстивыми – во хмелю – похвалами гостей, переиграл я тут на послушной своей певунье много из того, что знал.

Я даже сумел подобрать с ходу втору к любимой песне дяди Егора, когда они с отцом, положив друг другу на плечи свои тяжкие, вдосталь натруженные за жизнь руки, запели – неожиданно молодыми, стройно, в лад зазвучавшими голосами:

Хазбулат удалой!
Бедна сакля твоя.
Золотою казной
Я осыплю тебя!
Стены в ней обобью

Я персидским ковром.
Дам лихого коня
С кабардинским седлом!

Меня давно волновала эта песня о бедном, старом Хазбулате и юной его жене – неземной красоты горянке, в обмен за которую предлагал старику сиятельный князь отдать все несметное свое богатство, даже – с золотым личным мечом в придачу!.. И я с окрыленной радостью вторил минорными аккордами старикам, разделяя душой горе старого Хазбулата.

Но вдруг, дрогнув сердцем, я весь внутренне замер, на мгновенье позабыв даже про умолкнувшую в моих руках балалайку. Это меня поразил, привел к минутному душевному онемению иной, светлый и трепетный, как утренний солнечный луч, голос, зазвучавший высокой, горестной нотой в плавном, неторопливом, чистом потоке хоровой стариковской песни.

Ты уж стар,
Ты уж сед.
Ей с тобой – не житье.
На заре юных лет
Ты спогубишь ее –

пела, припав правым виском к облокоченной на стол руке сидевшая со своими гостями мама.

Она сидела у самовара ко мне спиной и казалась теперь еще меньше ростом. Еще более хрупкой. Остроплечей. По-девичьи незащищенной.

Я смотрел на нее сухими, горячими от изумления и нежности глазами. Не замечая в эти минуты никого другого из всех впритирку сидевших гостей в застолье – я видел сейчас только одну ее, как бы пребывавшую в круглом одиночестве...

Когда же песня умолкла, как умолкает, сложив трепетные крылья, иная степная певчая птица, с разлету падающая в ковыль,– я, точно очнувшись от короткого забытья, тотчас пришел в себя. И вновь ощутив в руках

кротко притихшую балалайку, встрепенулся, ударив всей пятерней по дрогнувшим струнам.

И с особенным рвением, с лихостью – близкой к дерзости – отбрякал я напоследок, сбочив – как Игренька в пристяжке – голову, коронную свою «Польку с комплиментами» и тут окончательно сразил, поверг в прах всех моих – полухмельных-полутрезвых – слушателей!

– Ух, тала-аан!..– опять почти угрожающе воскликнула бабушка Платониха, всплеснув в сухие ладошки.

– Ухарь!.. Граф Монте-Кристо!– веско пробасил дядя Егор – самый начитанный старик в станице.

– Не балалаяшник – ероплан!– сказал свое слово, искусно прищелкивая большим и указательным пальцами, и дедушка Арефий.

Я не знал, что такое талан, кто такой граф Монте-Кристо или какой-то там еще – ероплан! И все же все эти загадочные, темные, полные для меня какого-то иного, подспудного смысла слова воспринимались мною за высшую похвалу в мою честь. Оттого-то так возбужденно и ерзал я на шаткой табуретке, пылая свечой от полонившего меня тщеславия!

Отец показался мне в этот вечер не то чтобы хмельнее, а веселей, шумливее, радостнее всех наших гостей. И я догадывался, что выглядел он таким нынче не от лишней рюмки зелена-вина или добавочной кружки бражки – нет. Золотые шмели веселого хмеля зароились в горячей его голове, как видно, не только от выпитого, но и от пережитого за минувший памятный день.

А окрыляло, радовало, волновало отца сейчас многое. И внезапное возвращение домой вырвавшегося из цепких конокрадовских рук Игреньки. И дружные, буйные всходы на пашне, брызнувшие зеленым пламенем – по парам и поднятой залежи – после озорных грозовых ливней, прошумевших над степями незадолго до троицы. И гнедая наша кобыла, ожеребившаяся вчера. И вот эта нехитрая празд-

ничная пирушка с родичами и соседями – посреди открытого, чисто выметенного двора – при заколдованном, сумном свете взмывшего над станицей полноликого месяца...

А тут и я еще плеснул масла в огонь разохотившейся своей трехстрункой. И от ливня хлынувших на мою голову льстивых похвал, от взыгравшей в родительском сердце тщеславной гордости за меня, от осушенной второпях до дна очередной кружки шаткой бражки – старик совсем разошелся!

– Ух и пятки же раззуделись – никакова терпленья у меня, воспода старички, больше нету!..– запальчиво воскликнул отец. И с ходу, плюхнувшись задом на земляную – перед домом – завалинку, принялся нетерпеливо, рывками разуваться, стягивая опойковые, смазанные пахучим дегтем сапоги, поспешно разматывая чистые холщовые опучи.

Хорошо зная уже по прежним – нечастым – семейным нашим пирушкам что к чему, я мигом перестроил балалайку с минорного на мажорный лад и замер от предвкушаемого заранее восторга!

Я знал, что сейчас, разувшись, отец с молодой прытью вскочит с завалинки и, крутнув с веселым отчаяньем седой головой, с яростью ударив в ладоши, топнув правой босой ногой, ухарски запоет – скороговоркой – любимые свои плясовые припевки. Подзадоривая его, их подхватит с лету кое-кто и из гостей. И отец сперва пройдется дробной иноходью по широкому кругу, а потом уже перейдет в пляс, четко отбивая мелькающими подошвами такты вихревых, залихватских припевок.

Так оно и случилось.

Не успел я вцепиться пальцами в назубок заученные балалаечные лады и ударить по струнам, как отца, словно вихрем вмиг сдуло с завалинки. И он, звучно хлопнув в ладоши, топнув правой ногой, запел с вызывающей удалью, лихо заработав не по годам упругими, дорвавшимися до резвого пляса ногами:

Э-эх вы, Сашки-Капашки мои,
Разменяйте бумажки мои!
А бумажечки – новенькие,
Двадцатипятирублевенькие! –

подхватили вслед за ним, в такт прихлопывая в ладоши, дядя Егор и бабушка Платониха. Один густым – с хрипотцой – баском. Другая – пронзительно дребезжащим, близким к взвизгиванью дискантом.

А бумажечки – синенькие,
Наши девушки – красивенькие!–

не сдержавшись, подключила к задиристым плясовым прибауткам негромкий, но по-молодому светлый – с лукавыми искринками – свой голос и мама, наблюдавшая за притворно-дурашливым переплясом отца с затаенной в губах улыбкой, скорее полупечальной, чем радостной... Эта наигранно-молодцеватая, с напускным разгульным ухарством полушутейная пляска отца была венцом затянувшейся на нашем дворе праздничной стариковской пирушки. И утомленные гости, вдосталь напотчевавшись, наболтавшись, натешившись, вдруг – все скопом – засобирались домой.

– На вот-те?!– всполошилась, ударяя в ладошки, мама.– Да это куды же вы – как при пожаре – заторопились-то у меня?! Куды ж это годно?! Не допито... Не доедено... Посидели бы ишо хоть с часок. Не в частом бываньe... Повеселили бы нас. Побеседовали!..

Но гости, дружно покинув застолье, заговорили наперебой, отвешивая хозяйке полупоясные благодарственные поклоны.

– Спаси тя, кума, Христос за все приятности!..

– Покорно благодарствуем за хлеб-соль на столе...

– Низкий поклон этому дому – за угощеньице!

– Набеседовались. Набражничались. Накушалися!

– Вспомянули – привел бог – продувну свою молодость...

– Попировали, пора и честь знать!..

– Не дорого – пито. Дорого – быто!..– отговаривалась от церемонных благодарений пребывавшая в великом смущении мама.– Уж извиняйте нас, коли што не так... Угощеньице-то – так себе. Не княжеское. Не боярское. Чо бог послал!..

Но слабый винительный голос ее погас – как свеча на ветру – от гулкого гомона дружно запротестовавших – опять же наперебой – гостей.

– Не гневи всуе бога, кума! Не прибедняйся! Не бери лишнего греха на душу...

– Ково ишо надо нам?! И так – стол ломится!..

– Али живой воды не хватает?!

– Ха! То ли бражка ей не замена?!

– Помилуй, кума! Премного предовольны. И сыты. И пьяны. И нос в табаке! Ково же тут ишо у вас делать?!

– Ну!

– Теперь уж – к нам пожалуйте. Милости просим...

– Не обегайте и нашего поместьица...

– А в нашем терему двери для дорогих гостенько взавсегда настежь!

– Да и чо не погулять?! Отсеялись. Дожжа бог послал... Колки вон всю зимушку в куржаке красовались урожаю!

– Куржак – прадедовска примета, кум. Береза на зимнего Николу в инее – к вескому колосу на полосе!

– Ну!

– А полный месяц на Троицу – Духов день – это чо?

– А это – так. Ничо...

– Нет, сват. Это тоже – чо! К медовому травостою!

– И это – нашему брату не в убыток. Подай бог!

– Само главно дело, через пять дней – станишного атамана выбирать. Вот это будет – чо! Вот тама будет попито!..

– А тебе тута вроде бы не хватило?

– Не вяжись, сват. Это я – к слову...

– Ух залиться бы завтра в Куртамыш на ярманку, да кобыла у меня, язви ее, как на грех, жереба!

– Куртамыш – чо. Вот в Куянды бы на Ильин день махнуть,– от тама ярманка! Конски бега – байга! Байски тои – кумыс рекой! Кыргызня. Цыганье. Жулье. Грабежи среди бела дня! Конокрадов жердями бьют! Смертоубийства! Разбой! Не ярманка – светопреставленье!..

– Последний день Помпеи!– пробасил никому непонятные слова начитанный дядя Егор.

– Брысь ты, сват, со своими Куяндами!.. Вот Куртамыш – да, нашенский. Расея!.. Тама – как в этой песне. «Ехал с ярманки ухарь-купец. Ухарь-купец – удалой молодец! Заехал в деревню лошадок напоить. Своею гульбою народ удивить. Старых и малых поил он вином. Пей-пропивай, мы ишшо наживем!» Ясно?!

– Как божий день!..

– Уляша! Кума! Ивановна! Дай-кось я тебя расцелую. По-сродственному. За бражку.

– Не греши. Не балуйся, кум...

– Э, сват! Отгрешили мы свое. Отпахались. Отстрадовалися!

– Не сказывай, кум! Старый конь – борозды не портит!– вставил свое веское слово прибодренный хмельком дедушка Арефий.

– Борозды-то – не портит. Да пашет – неглубоко!– поправила старика резонным тоном бабушка Платониха.

– Эй вы там, пахаря-горемыки!– загремел трубный бас дяди Егора.– Ежли уж отпахались, то и боронить бы хватит!.. Пора бы и выпрягать, кончать упряжку. И – по домам – чистое дело марш! Есть така поговорочка в сочинениях их сиятельства графа Толстого!

И сказав это, дядя Егор – рослый, еще не утративший былой строевой выправки старик, направился твердым, чеканным шагом к воротам.

Поплелись за ним следом и все остальные, мигом притихшие, подобравшие крылья наши гости.

Мы – мама, отец и я – вышли проводить их за ворота. Тут снова были полупоясные поклоны. Благодарствия.

Рукопожатия. Но все это уже так – для антуражу. Полувнятно. Урывочно. Скороговорочно!..

Наконец все втихомолку разбрелись по домам и мы остались одни. Но не успели оглядеться, как в воротах снова показалась тотчас воротившаяся бабушка Платониха. Она не пришла – прилетела. Суетная. Запыхавшаяся. Настороженно озиравшаяся.

Мама знала – зачем воротилась бабушка, и, подавая ей латунную кружку с припасенными чайными выварками, с укором спросила:

– И чо же это кум– от Платон седни нас обошел? Мы ведь, как завсегда, обоих вас поджидали...

– Не говори. Не говори. Не говори, кума!..– затараторила Платониха, проворно уплетая за обе щеки чайные выварки.– Одна беда мне с этой лейб-гвардией!.. Оба – с дружком Устином – чуть свет седни в парадну форму выщелкнулись. К обедне, правда, сходили. Большу литургию – терпленья хватило – выстояли... А потом с разбегу – под звон всех колоколов – завалились в кабак! Ну и причастились тама – у целовальничка!.. А потом – море по колен – затесались прямым маршем к станишному атаману!.. Да эвон, слышите?! Соловьи залетные залились!.. Это – оне. Оне. Оне, кума!..– навострив ухо, категорично заявила Платониха.

И тут до нас долетели звуки неторопливой, распевной песни на два голоса. Один – басовитый, зыбкий, приглушенно-рокочущий – как далекий колокол. Другой – высокий, с надрывом, почти что рыдающий на выносе:

Шумел-горел пожар московский,
Дым расстилался по реке.
А на стенах твоих кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.

– Оне!..– подтвердила Платониха заговорщическим полушепотом, торопливо упрятывая указательным перстом за губу последнюю щепоть чайных выварок.–

А теперь – бегу. Бегу. Бегу, кума!.. Запировалась я седни у вас, забражничалася... А тама, дома-то у меня– глазаньки бы мои ни на што не глядели – один кувардак! Скрозь – ни растворено, ни замешано... Спаси тя Христос, кума! Полетела. Полетела. Полетела!..

И по-стрепетиному вспорхнув, Платониха действительно вылетела с нашего двора вон – за ворота.

Я – вслед за нею.

Зачем я шел к тебе, Россия!?
Европу всю держал в руках!
Теперь с поникшей головою
Стою на крепостных стенах...

Тут я – снова оторопел. И не столько от песни, которая тоже будоражила мое воображенье, бередила душу, сколь от двоих ее певцов, сразивших меня их броской, картинной красотою!

Да, это были они – писаные красавцы – Устин с Платоном – в парадной форме придворных лейб-гвардейцев. Оба громадного – голова в голову – роста. С белоснежными, выхоленными, веерами ниспадающими на грудь бородами. В тонкосуконных алых штанах, заправленных в хромовые сапоги с серебряными шпорами, сверкающими переливчатыми лунными бликами...

Оба – в голубых, расшитых позументом по вороту и бортам мундирах, а главное – в роскошных их, сводивших меня с ума киверах, с их пылающими – при месячном свете – рублевыми свечами, упруго подрагивающими султанами!

Войска все, собранные мною,
Погибнут здесь, среди снегов.
В полях истлеют наши кости
Без погребенья и гробов!–

пели они, маршируя по нашей пустынной в этот поздний час улице – не совсем ровным, малотвердым строевым, шагом.

Озаренные щедрым месячным светом, они прошли мимо нашего дома, как полуночные привидения, ослепив меня сиянием расшитых позолотой мундиров, блеском нагрудных регалий и неправдоподобным, волшебным великолепием лакированных киверов с упруго вибрирующими, словно слитыми из чистого серебра – султанами!

Но вот песня – умолкла.

Пленившие меня привидения – исчезли. Вполголоса – дружески – приматериваясь, придворные лейб-гвардейцы свернули с нашей улицы – в переулок.

И я остался один за воротами.

Один. Наедине – с пылающим полнолунием. С притихшей своей душой. С призывно мерцающим Млечным путем – в мглисто-зеленоватом небе. С молодой, кроткой березкой за ракитовым плетешком в нашем палисаднике. С далеким-далеким, едва уловимым печальным перепелиным боем в ночной пристанничной степи...

Был я – один.

Но – не одинок.

И мне было радостно сознавать, что рядом со мной были родительский двор и дом. И все там было – нашим. Родимым. Моим! Отец. Мама. Братья. Сестры. Коровы. Овечки с ягнятами. Кони. Игренька. Терзай.

Но в это же самое время я – впервые отроду – вдруг подумал с испугом о том, что же будет со мною, когда я стану таким же большим, как старший из братьев – Иван?! И как я буду жить потом, вырастя, когда многого из того, что окружает меня теперь, к той поре, наверно, уже и не станет?!

С зябко дрогнувшим сердцем при этих невесть почему втемяшившихся в мою голову тревожно-грустных раздумьях,– опрометью ринулся я от ворот – в ограду. Мне загорелось быть рядом в такую минуту с отцом. С мамой. Отец сидел – теперь уже за пустым столом – в одиночестве.

Пригорюнившийся. Отрешенный. Печальный.

Перед ним стоял берестяной туесок с остатками недопитой гостями бражки. Опершись на чисто вымытую мамой, проскобленную ножом столешницу, он вяло крутил меж ладонями пустую латунную кружку, задумчиво глядучи куда-то поверх бревенчатого заплота.

Я тихо присел на завалинку – рядом с тут же притулившейся моей балалайкой. Было слышно, как мама, постукивая на кухне обливными глиняными мисками и позвякивая дешевыми гранеными чайными стаканами, перемывала – после гостей – посуду.

Отец, погруженный в какую-то особую, свою думу, не сразу заметил меня. А когда увидел, изумленно проговорил, с промелькнувшей на его губах смутной улыбкой:

– А я-то думал, што ты у нас давным-давно на седале с курицами!..

– Не. Я на придворну лейб-гвардию глядеть за ворота бегал.

– Ха! На Устина с Платоном?!

– Ну.

– Но и как – оне? Хороши?

– Ух, красотиньша! Пылом пылают!

– Хе!

Помолчав, отец наполнил латунную кружку бражкой. Но пить не стал. Задумался. Потом, рассеянно прибарабанивая по столешнице малогибкими, одеревеневшими от полувекового труда пальцами, сказал – как будто не мне, а кому-то иному:

– Мишура все это. Кивера их. Султаны. Регалии... Так – трень-брень. Трын-трава. Суета сует, как сказывается в писании!..

Он вздохнул. Выпил.

Вытер тыльной стороной ладони смоченные бражкой усы и – теперь уже обратясь ко мне – добавил:

– Эх, все ишо у тебя впереди, сынок!.. Тебе – на ярманку ехать, а вот нам с матерью – пора уж и домой с

ее ворочаться. Мы – шабаш! Отбазаровались. Отторговались. Отъездились!..

Я не понял глубинного смысла отцовских слов – насчет ярмарки. Но они чем-то задели меня.

Взбудоражили.

Насторожили.

И не зная, что сказать в ответ на это отцу, я, взяв в руки балалайку, принялся потихоньку перестраивать ее с мажорного на минорный лад.

Таким я видел отца не впервые. Выпив, бывал он одним – при гостях, на людях, другим – наедине с самим собою. Тут ничего не оставалось и в помине от былой его буйствующей развязной веселости – с притворно-дурашливым переплясом, с озорными присловьями, с шутейными песенками-погудками, с лихими и лукавыми молодецкими прибаутками...

Тут его точно подменяли.

Тихий и виноватый, подобревший и кроткий, овеянный некой неутолимой печалью, любил он в такие минуты круглого своего одиночества негромко – с раздумьем – певать одну из двух самых заветных его песен. Или –«Среди долины ровныя». Или –«Липу вековую».

Вот и сейчас, мельком поглядывая на припечалившегося отца, начал я тихонько – будто бы только для себя – наигрывать мелодию второй из любимых его песен.

И отец, словно разбуженный этой мелодией, вдруг рывком отпрянув от столешницы, выпрямился. Потом, забросив за спину ветхого венского стула увесистые, повисшие плетьми руки, запел грудным, приглушенным – близким к звучанию басовой гитарной струны – голосом:

Липа вековая за рекой шумит.
Песня удалая вдалеке звенит!

Затем, переждав – с полузакрытыми глазами – повторенную мелодию этой песни на балалайке, он

продолжал, напевая ее все тем же, как бы затемненным душевной печалью голосом:

Луг покрыт туманом, словно пеленой,
Слышен – за курганом – звон сторожевой!..

Было тихо.

Под крытым дерном навесом дремали у колоды насытившиеся овсом все наши кони. Спал, плашмя растянувшись на земле, и новорожденный жеребенок – саврасой масти, с пепельным пушистым хвостом трубой, с темным продольным ремешком на гибкой округлой спинке.

Спал – или только притворялся спящим – и Терзай, положив лобастую голову на простертые по земле передние ноги. Он был неподвижен, и только изредка чуть подрагивали весомые, чуткие на каждый тревожный шорох и звук, черные – как смоль – его уши.

Бодрствовал – один Игренька. Изловчась снять с морды ременный недоуздок, за повод которого был привязан, как и все другие лошади, к колоде с овсом, он стоял теперь посреди открытой ограды – вольный. Независимый. Неприступный!

Вразброс расставив передние ноги, высоко задрав голову с настороженно пружинившими, стоймя торчавшими бархатными ушами,– походил он сейчас на изваяние, отлитое из самоварной меди. А белоснежная, мятежная грива его казалась – при месячном свете – жемчужной, и те же жемчужные искры мерцали в светоносном, летучем его хвосте!

Было похоже, что Игренька, насторожившись, прислушивался сейчас и к моему замедленному, меланхолическому бренчанью на балалайке, и к тревожно-горьким словам невеселой отцовской песни.

Этот звук унылый невозвратных дней
Пробудил, что было в юности моей!–

пел отец с закрытыми глазами.

И я, вторя ему на балалайке, вроде как бы чувствовал себя теперь – наравне с ним – таким же утомленным и опечаленным, как был утомлен и опечален в эти минуты он, озаренный сумным, сумеречным светом нахлынувших воспоминаний о какой-то, видимо, самой светлой поре в далекой, отмерцавшей призрачными огнями заревой его молодости!..

Перевалило уже за полночь, когда я добрался наконец до любимого в летнюю пору моего ложа – одра старой бесколесной нашей телеги, стоявшей спокон веков под навесом.

Я любил этот почерневший от времени, тяжеловесный, добротный одр, смастеренный – по словам отца – еще моим дедушкой Семеном в его молодые годы и доставшийся нам по наследству. Я любил его за чистую топорную – без ножовки и стружка – работу. За уютное, зыбкообразное его дно, впригонку обшитое узкими осиновыми тесинками. За какой-то особый – терпкий, дремучий запах, источаемый древней его древесиной. Я любил его как живую, стойкую память о дедушке, которого уже смутно помнил. И мне нередко казалось, в этом старом тележном одре жила себе потихоньку, таясь от людей, добрая, кроткая, бескорыстная душа дедушки!.. По вечерам здесь всегда ждала меня привычная моя постель, загодя припасенная мамой. Обрывок – в аккурат мне по росту – старой серой кошемки. Лоскут домотканого холщового полога, служившего мне покрывалом. И любимая моя маленькая подушка-думка в пестренькой ситцевой наволочке.

Сладко, всласть всегда спалось мне – и в погожие и в ненастные летние ночи на днище этой вековой дедушкиной телеги, на немудрой моей постели!

Чуткий до каждого шороха Терзай спал рядом с тележным одром – на земле, и я, засыпая, всегда мог коснуться вялой рукой его волосатой морды или же студеного, как ледышка, носа.

Но особенно хорошо было ночевать под навесом, когда тут – или у колоды с овсом, или у рыдвана со свежей, медовой травой – полудремали, сыто пофыркивая и глубоко и печально вздыхая, наши кони.

Миротворным покоем, благостной, обжитой домовитостью веяло здесь от многого. От полудремлющих лошадей. От стойкого аромата травы, накошенной на лесной опушке. От поленницы, от звона сухих березовых дров, по-хозяйски прибранных под навесом. От густого, вязкого запаха обильно смазанных дегтем осей и втулок, новой нашей – на деревянном ходу – телеги. И от связанных попарно – дружками – березовых веников, припасенных для бани впрок – на долгую матушку-зиму!..

Засыпал я, едва коснувшись щекой моей обоюдной думки, на этой постели мгновенно, не всегда даже успев дотронуться вялой рукой до ледяного носа дремавшего рядом Терзая.

А светлые сны мои были здесь мимолетными, сбивчивыми, полузаспанными, и, просыпаясь поутру, я не всегда помнил их.

Так вот и тут, едва добравшись до телеги, я – переутомленный дневными и вечерними впечатлениями – повалился снопом на милое сердцу ложе и заснул, как будто бы прежде, чем успел смежить набрякшие свинцовой тяжестью веки.

На этот раз мне приснился Игренька. Золотой. Серебрянногривый. Крылатый. Я мчался на нем – сломя голову – верхом.

Без узды.

Без ума.

Без памяти.

Прямым маршем – на ярмарку в Куянды!

И вот – теперь уже наяву – я действительно сидел верхом на Игреньке. И не просто – верхом. А в настоящем походном казачьем седле, с тороками, с приятно поскрипывающей кожаной седельной подуш-

кой со звонкими – подогнанными по моим ногам – блестящими стальными стременами.

Седло это было – не простое. Заветное. Я был одарен им – в день моего крещения в купели, станичной церкви – крестным моим, дядей Егором. Одарен в обмен на обетное слово отца вырастить из меня неробкого, не обделенного удалью и душой казака – достойного наследника былой боевой славы крестного. А когда пробьет и мой час послужить верой-правдой отечеству нашему, проводить меня в этом седле, в конном строю с казаками-однополчанами в далекий – за тридевять земель – поход, на действительную мою службу в городе Верном!

Это старинное казачье седло было дорого дяде Егору – как память о былых его походах под началом генерала Скобелева, которого старик боготворил до конца своих дней, почитая и ставя его даже выше самого императора Александра III – яростного скобелевского недруга!

Цветной литографированный портрет Скобелева в застекленной, тускло-золотистой багетной раме висел в переднем углу, чуть пониже божницы – в самом чтимом месте всегда опрятной, всегда чисто прибранной горницы в пятистенном доме моего крестного.

Часто бывая в этом родственном нашем доме, я не в силах был оторвать восторженно горящих глаз с роскошного скобелевского портрета. Вдоволь наслушавшись рассказов крестного о безумной храбрости, дерзком уме и редкой душевности этого приумножившего славу России генерала, я глядел на него всегда глазами дяди Егора – как на полубога, и сердце мое умирало от застенчивой и завистливой к нему любви.

Впрочем, иногда покорял он меня двояко. То – царственной, неприступно-гордой его осанкой. То – земной, подкупающей человеческой простотой. Он привораживал меня затаенным, глубинным блеском суровых и строгих, по-орлиному зорких глаз. Удивлял высоким, не омраченным морщинами, чистым лбом.

Пышными – с проседью – словно разметанными ветром бакенбардами и лихим разлетом распластанных – как беркутиные крылья – седых, круто закрученных вверх остриями, победоносно-властных его усов.

Я не говорю уже о парадном его мундире. Генеральских эполетах. Аксельбантах. Георгиевских крестах. При виде всего этого великолепия я вообще терял дар речи – у меня присыхал к небу язык!

Седло же, которым так щедро одарил меня дядя Егор в день моего крещения, было свидетелем боевых его походов.

– А как было дело?– начинал каждый раз с вопроса дядя Егор сказ свой о взятии Геок-Тепе.– А так. Осаждали мы крепость три дни. А на свету четвертого – пошли на штурм. Было это в понедельник. Двенадцатого января. В одна тыща восемьсот восемьдесят первом году. Куропаткин – был он в ту пору пока ишо в чине полковника – повел своих молодцов в наступление на западны стены крепости. А орлы есаула Гайдарова ринулсь на штурм – с сиверу... Мы жа находились в тот час в личном резерве Скобелева. Стояли в конном строю. Ни живы – ни мертвы. Вросли в седла. С пиками наизготовке. Не дышим. Горим от нетерпенья. Ждем команды для смертной атаки...

– А Скобелев?

– Он – впереди. На белом, как кипень, своем красавце-ахалтекинце. В парадном мундире. При всех регалиях. С саблей наголо. Не генерал – картина!..

В этом месте, прервав на минуту рассказ, дядя Егор, как правило, умолкал, словно предоставлял возможность слушателям зримо полюбоваться гарцующим перед войсками на пылком белом коне боевым генералом – собранным, волевым, полным железной решимости, хладнокровного мужества и лихой отваги!

– Ровно в двенадцать часов пополудни грохнула наша матушка-мина!– продолжал после маленькой заминки

дядя Егор.– Рухнула ихнея крепостная стена – с проломом длиною в пятнадцать сажен. Вот этого нам и надо было! И тут – началось дело!.. «С нами бог, братцы! Клинки-пики – к бою! За мной! В атаку! Урраа!»– прогремел ерихонской трубой громобойный голос Скобелева. И вихрь вихрем рванул он с места в карьер – впереди нашей конной лавины!.. С гиком и ревом ворвались мы – следом за генералом – через пролом крепостной стены в Ґёок-Тепе. Вот тут-то и узрел я кромешный ад. Преисподнюю. Вертеп. Содом и Гоморру!..

– Страшно было?!– спрашивал я упавшим голосом.

– Страшновато теперь – вспоминать... А в тот час – не до страху! Я, к примеру, летел за Скобелевым – как на крыльях. Ни коня, ни седла под собой, ни стремен под ногами – ничего не чуял. Одно было в твердой памяти: пика, взятая наизготовку!.. Я и теперь не скажу, отчего у меня в ту секунду потемнело в глазах,– от ярости в сердце али от поднятой конницей пыли. А пыль стояла стеной. И вот когда черное небо – среди белого божьего дня – мне показалось с овчинку!..

– А текинцы?

– Дрались – как звери! И наездники – любо поглядеть. Хоть и без седел – жейдаком. Босиками. В белых рубахах, с засученными по локоть рукавами... В рукопашном конном бою страшней, чем оне, супостата на свете нету. Сходятся – в лоб, и секутся своими косыми саблями – насмерть!

– И как только ты это, кум, уцелел после такой страсти?!– восклицала в таких случаях с непритворным, по-детски наивным изумлением мама.

– Бог пронес, стало быть. А то иньо – как жа?! Да я-то што. Всего-навсего – нижний чин. Трава в чистом поле!.. А ты вот скажи, как сам Скобелев уцелел? Ни одной царапины – за весь поход. За всю восьмилетнюю кампанию!

– Смелого – пуля боится. Храброго – штык не берет!– утверждал дедушка Арефий с пылкой категоричностью.

– Скобелев – пулям не кланялся. И перед штыком – не робел. Про это вся армия наша хорошо знала,– отвечал дядя Егор.– И все же – после каждого штурма – все мы ликовали и диву давались при виде невредимого генерала!.. Приходилось мне читывать про птицу Феникс, которая сгорела дотла, а потом – воскресла из пепла! Так вот и наш Скобелев. Не один раз воскресал он из мертвых после огня и дыма штурмовых схваток с неприятелем. А последний свидетель тому – наша битва за крепость Геок-Тепе!

– Но тута-то ведь ты его спас от верной гибели, кум,– не чудо!– напоминал ему об известном нам всем его подвиге дедушка Арефий.

– Так точно. Был такой презент... Вовремя изловчась, сбросил я пикой наземь с коня дикошарого босиканта-текинца. Оплошай я тогда на секунду, и лихой бусурман вмиг косой своей саблей снес бы напрочь голову генералу!..

– И не нашивать бы тебе тогда век-повеки, куманек, именных серебряных часиков!– подливал масла в огонь дедушка Арефий.

Так с малых лет наслушался я от дяди Егора немало таких рассказов о Скобелеве, портреты которого украшали передние углы почти всех горниц в станицах нашей всей Горькой линии. Висел в переднем углу скобелевский портрет и в нашей горнице,– правда, не такой роскошный, как у моего крестного.

И выходило, что в казачьих семьях чтили генерала более, чем самого царя, портретов которого – если они и были в доме – никто не вывешивал рядом со Скобелевым – в переднем углу и тем более под божницей.

В нашем же доме портреты Николая II и всех членов царской семьи украшали, например, старенькую клеенку на кухонном столе. И во время семейной трапезы мама запросто ставила на облик государя-императора – он красовался в центре столешницы – обливной горшок со щами или глиняную миску с

просяной кашей. Я же, в предвкушении сытного обеда или запоздалого ужина, нетерпеливо барабанил своей расписной деревянной ложкой по светлому лику наследника престола – цесаревича Алексея или по пухлым щечкам и надменным губкам сестер его – великих княгинь,– правда, обольсти-тельных на тогдашний мой взгляд – смотря с какой стороны стола сидел...

Позднее я уже многое знал о Скобелеве не только со слов бывалого и начитанного дяди Егора, но и из прочитанных мною – учеником третьего класса начального станичного училища – книжек, взятых из школьной библиотеки.

Родился Михаил Дмитриевич Скобелев в 1843 году. В военной семье – его отец и дед были генералами, хотя и из незнатного рода. Род Скобелевых вел свое начало от однодворца Никиты Скобелева – тоже военного, однако дослужившегося в XVIII веке только до сержанта.

По окончании Академии Генерального штаба, Скобелев в 1869 году был откомандирован в Туркестан, под начало Ташкентского военного генерал-губернатора Кауфмана.

В Туркестан Скобелев прибыл двадцатишестилетним капитаном Генерального штаба. А спустя восемь лет, по завершении кампании, отбыл в Россию в чине генерал-адъютанта.

Неслыханно пышную встречу устроили генералу жители Москвы.

Но совсем по-другому встретил Скобелева сановный, чопорный Петербург, проявивший подчеркнутое равнодушие – ежели не полускрытое презрение – к высоким его наградам.

Тон тому задал новый император – Александр III, едва успевший вступить на престол после убитого народовольцами отца – царя Александра II.

Вновь нареченный самодержец всея России принял героя более чем холодно – с сухостью, близкой к

враждебности, нашел уместным попрекнуть боевого генерала во время этой недолгой аудиенции за то, что он не сумел уберечь от гибели молодого, блестящего генштабиста – графа Орлова, погибшего при штурме крепости.

На этот неумный царский упрек Скобелев ответил лишь легким пожатием плеч и мимолетной бледностью красивого, холеного лица – верным признаком на мгновение бросавшего его в озноб гнева – близкого к бешенству...

Изрядно перепуганный доселе неслыханной в государстве популярностью молодого генерала, царь, втайне завидуя боевой его славе, острому уму и даже броской внешности, ненавидел Скобелева.

Ненавидел и боялся его.

Боялся не меньше, чем революционеров-народовольцев, покончивших с его отцом – Александром II и, по слухам, бродившим по Петербургу, грозивших теперь и ему – Александру III – той же карой.

Скобелев же, даже не скрывая своего глубокого презрения к царю и хорошо зная об огромной своей популярности в войсках и в народе, держал себя, вращаясь в великосветских кругах столицы, подчеркнуто вольно и независимо. А туповатый, в высшей степени подозрительный и трусливый император не в силах был унять своей властью героя России, затмившего своей громкой славой тусклый облик нового самодержца.

Но подлинно царские почести оказали ему русские люди на родине при победоносном завершении Балканского его похода.

На этот раз героя Шипки и Плевны народ встречал хлебом-солью.

Колокольным звоном.

Поднятыми из церквей хоругвями.

Развернутыми знаменами полков, сражавшихся под началом боевого генерала на Балканах.

В Могилев, где была расквартирована 16-я дивизия, которой командовал в одно время Скобелев в боях под Плевной, въехал генерал поздним осенним вечером при свете пылающих факелов, среди выстроившихся шпалерами войск и многотысячных толп народа.

Покинув экипаж, генерал шел с обнаженной головой по улицам, запруженным восторженными войсками и ликующими городскими жителями.

И даже Александр III принял Скобелева по возвращении его в Петербург с Балкан внешне более милостиво, чем это было при первой их встрече. Однако правительство тотчас же запретило военнослужащим произносить в честь генерала публичные речи. А офицерам конногвардейского полка не разрешили даже принять от Скобелева обед в ответ на два обеда, которыми он был удостоен конногвардейцами. Более того, по указанию свыше, в том же полку был удален скобелевский портрет из дежурной офицерской комнаты...

Все это худо вязалось с официальным успехом генерала в Петербурге, и он, доведенный до бешенства такими булавочными уколами правительства, принял было в одно время решение о немедленной подаче в отставку. Однако влиятельные друзья отговорили его от этого скандального шага, напомнив ему, что служит он не царю – России!

Но, отговорив Скобелева от отставки, близкие к нему люди не могли избавить его от тревожного настроения, похожего на душевный надлом, от тяготевшего над ним мрачного предчувствия близкой смерти, об этом теперь – все чаще и чаще – заводил он разговор в узком, кругу.

– Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!..– огорошил однажды таким категоричным утверждением Скобелев есаула Дукмасова – любимейшего своего адъютанта по Балканской кампании.

– Помилуйте, Михаил Дмитрич!– опешил тот.– Ведь вам никто не угрожает смертью!

– А почем вам знать, голубчик!..– возразил ему на это с многозначительным вздохом Скобелев.

Об этом вычитал я позднее из книжки «Скобелев» писателя Вас. Немировича-Данченко, напечатанной в Санкт-Петербурге за три года до моего рождения – в 1903 году. А книжкой этой был награжден я школьным нашим попечителем – двоюродным моим братом – хорунжим Антоном Кириллычем Шуховым на торжественном школьном акте, при успешном моем переходе из третьего в четвертый класс.

Приехав в мае 1882 года в родовое свое имение – Спасское,– читывал я про Скобелева в этой книжке,– он заказал в семейной церкви панихиду по генералу Кауфману.

В церкви генерал был все время глубоко задумчив. Затем отошел в сторону, к тому месту, которое выбрал сам для своей могилы – рядом с могилами деда и отца,– и опустившись на колени, прикрыл глаза.

Священник отец Андрей подошел к нему и, взяв его за руку, сказал при этом:

– Пойдемте, пойдемте отсюда... Вам рано еще думать о том!..

И Скобелев, как бы очнувшись, заставил себя улыбнуться, встал.

– Рано?! Да, конечно, рано... Еще повоюем, а потом и помирать будем!..

Тогда же в Спасском, прощаясь с одним из своих друзей, он, полный тяжелых предчувствий, сказал:

– Прощайте!

– До свидания...

– Нет, прощайте, прощайте... Каждый день моей жизни – отсрочка, данная мне судьбой. Я знаю, что мне не позволят жить. Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну так я вам скажу: судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди

всегда кончают роковым образом... Бог пощадил меня в бою... А люди?.. Что же, может быть, в этом искупление. Почем знать, может быть, мы ошибаемся во всем и за наши ошибки расплачиваются другие!..

Приходилось мне потом читать про Скобелева и иные книжки. И в каждой из них говорилось о многочисленных не разгаданных и по сей день тайнах, окружающих имя генерала.

Одной из таких неразгаданных тайн явилась трагическая гибель матери генерала – Ольги Николаевны Скобелевой. Это было первым звеном в цепи прочих таинственных обстоятельств в судьбе самого Скобелева.

Летом 1880 года Ольга Николаевна прибыла на Балканы. Приехала она сюда якобы для того, чтобы приобрести в Болгарии участок земли, построить на нем усадьбу и основать женский монастырь, и для этой цели привезла с собой громадную сумму наличных денег – около миллиона.

Ольга Николаевна много ездила по стране, и всюду была восторженно встречаема местными жителями, чтившими ее как мать национального героя России. Ее неотлучным телохранителем во всех этих разъездах являлся поручик Узатис.

Узатис во время войны за освобождение Болгарии от турецкого ига служил в 16-й дивизии. За храбрость, проявленную в боях под Плевной, был представлен к высшей награде – кресту св. Георгия 4-й степени, и Скобелев, очень ценивший блестящего, отважного в бою и весьма исполнительного офицера, взял его к себе – адъютантом.

По окончании Балканской кампании Узатис продолжал служить в частях русской армии, расквартированной в Болгарии. Когда же Ольга Николаевна прибыла на Балканы, он – по приказанию Скобелева – был приставлен к ней для ее охраны. Он был выходцем из богатой нижегородской семьи, широко образованным офицером, свободно владевшим многими европейскими языками. И Ольга Николаевна,

бесконечно доверявшая ему во многом, очень ценила столь блестящего своего спутника.

Но вот однажды, когда собралась она в очередную поездку по стране – в город Чирпан, Узатис, сославшись на некое весьма срочное и важное воинское поручение, уклонился от сопровождения ее в этой поездке. И она тронулась в дорогу, взяв с собой в экипаж только горничную да унтер-офицера Иванова. При ней были деньги, и немалые – около пятидесяти тысяч рублей ассигнациями, прихваченные для какой-то одной ей ведомой цели.

Совершенно непонятно, почему было решено тронуться в путь глубокой ночью. Тем не менее это было так.

И вот неподалеку от города Филиппополя, из которого путники выехали, направляясь в Чирпан, экипаж Скобелевой был внезапно встречен среди дороги Узатисом и двумя сопровождавшими его вершными стражниками-черногорцами.

– Что случилось, поручик?!– спросила с тревожным недоумением Ольга Николаевна, приказав кучеру остановить экипаж.

Вместо ответа Узатис молниеносным ударом сабли раскроил череп Скобелевой. А черногорские стражники тотчас же покончили с кучером и горничной. И только одному раненому унтер-офицеру, оставшемуся в живых, удалось скрыться, воспользовавшись близким кустарником и темнотой, и, добравшись до города, забить тревогу!

С рассветом погоня трех казачьих разъездов настигла Узатиса, укрывшегося за мельницей на реке Дермендере. Попав в окружение своих преследователей, поручик пустил себе пулю в висок, навек запрятав в своей могиле тайну этого кровавого преступления.

Второй такой неразгаданной и поныне тайной овеяна и утрата Скобелевым всего своего состояния,

стоимостью в один миллион рублей. Где-то там за месяц до крайне загадочной своей кончины Скобелев, приехав в Москву, навестил своего друга – князя Оболенского. Впоследствии князь вспоминал в своей книжке – «Наброски из прошлого», что генерал был не в духе, не давал прямых ответов на вопросы. Было очевидно, что он был чем-то крайне встревожен.

Князь пригласил генерала на ужин в «Славянском базаре». Но и тут, в любимом московском ресторане Скобелева, его не покинуло мрачное, временами – почти полувменяемое состояние духа.

– Да что, наконец, с вами?!– спросил князь.– Вам, вижу, нездоровится?

– Да как вам сказать, Сергей Сергеич!– задумчиво проговорил Скобелев, расхаживая по кабинету «Славянского базара» размеренным, строевым шагом.– Видите ли, деньги мои пропали...

– Какие деньги?!– удивился князь.– Вы потеряли бумажник?

– Ах, какой там бумажник! Я потерял миллион... Да. Да. Весь мой миллион пропал бесследно!

– Как?! Каким образом?! Где?!

– Да я и сам не дам тому никакого толку... Вообразите, что мой крестный отец Иван Ильич реализовал по моему приказанию все ценные мои бумаги, продал все золотые вещи, весь мой хлеб в Спасском, и – на этих днях – сошел с ума. Я понятия не имею, где теперь мои деньги... Сам же он невменяем. Я пытался несколько раз упорно допрашивать его. А он в ответ чуть ли не лает на меня из-под дивана. Словом, впал вдруг в полнейшее безумие... И я не знаю, как теперь быть и что делать!

Так и осталась навсегда никому не ведомой истинная причина исчезновения скобелевского миллиона,– возможно, что и по личной воле генерала отказанного на какое-то втайне задуманное им дело, связанное с его законспирированной борьбой против политики ненавистного ему Александра III...

И последнее звено в роковой цепи всех этих таинственных событий замкнулось – 25 июня 1882 года – внезапной кончиной Скобелева, тоже овеянной непроницаемой тайной.

В этот день Белый генерал присутствовал на обеде у своего армейского друга – барона Розена. За столом, кроме Скобелева и Розена,– еще трое близких генералу людей. Личный доктор его – военный врач Вернадский, полковник Баранок – скобелевский адъютант. И казачий есаул Саранский – бывший ординарец Скобелева в годы Балканской кампании.

За обедом Скобелев почти не пил. Был мало-разговорчив, тревожен и мрачен. А в конце этого маловеселого обеда вдруг – ни с того ни с сего – сказал, обратясь к полковнику Бараноку:

– А ты помнишь, Алексей Никитич, как сказал на похоронах в Геок-Тепе подвыпивший батюшка: слава человеческая, яко дым переходящий! Хорошо, хорошо сказал тогда старик!..

После обеда у Розена Скобелев уехал в гостиницу «Англия» и, заняв там номер, провел вечер в обществе некоей немки Ванды – дамы сомнительной репутации...

Близко к полуночи Скобелев вдруг почувствовал себя плохо. Гостиница всполошилась. И врач прибыл уже к бездыханному телу генерала.

Весть о внезапной кончине тридцатидевятилетнего Скобелева потрясла русскую армию, весь русский народ и зарубежных славян,– ведь на Балканах его имя было не менее популярно, чем в России...

В официальном сообщении о смерти Скобелева утверждалось, что скончался он от паралича сердца и легких, воспалением которых якобы страдал еще так недавно...

Но этому официальному сообщению никто не верил – ни в России, ни за ее пределами. И тут и там все в голос говорили о том, что генерал умер не естественной смертью, а связанной с какими-то таинственными

обстоятельствами, имевшими прямое отношение к царскому двору, к политике.

– Это дело рук самого Александра Третьего!– всегда категорично говорил дядя Егор, когда речь заходила о таинственной смерти Скобелева.– Зельем опоили его царедворцы. По прямому наущению царя. По Петербургу в ту пору – читывал я – ходили слухи, что покойный император Александр Второй встает по ночам из гроба и бродит по Казанскому собору. Бродит и предвещает гибель своему сыну, а престол пророчит Скобелеву! Новый царь верил этим слухам и страшился генерала пуще воды и огня.

– А может, и правда – разрыв сердца?– полуутвердительно говорил, усумнясь, кто-либо из собеседников дяди.

– Никакого разрыву!– сердито прикрикивал тот на маловерца.– Убили его. Убрали с царской дороги... Я-то знавал, какой это был богатырь! С коня по трое суток не слазил. А марши, бывало,– по сто тридцать верст иной раз за сутки! Иные из нашего брата, случалось, в седлах засыпали. А он – упаси боже!– сутками глаз не смыкал. Орлиные были то очи... Так што про скобелевское сердце пусть оне мне – вкривь и вкось – лучше не боронят!..

Я любил генерала, наверно, не меньше дяди. Всем поражал, захватывал пылкое воображение мое этот необыкновенный военачальник. И героической жизнью. И загадочной смертью. И даже – его похоронами. Я читал, что когда гроб с телом Скобелева был поставлен для отпевания в московской церкви Трех святителей, заложенной у Красных ворот его дедом, мимо усопшего генерала – за два дня – прошло более шестидесяти тысяч человек.

– Ради любви его к нашему отечеству,– говорил, заключая свою речь на панихиде по Скобелеву, епископ Амвросий,– ради любви к покойному народа нашего, ради слез наших и сердечной молитвы нашей о нем,

паче же ради бесконечной любви твоей, господи, благоволительно приемлеющей чистую любовь человеческую во всех видах и проявлениях, буди к нему милостив на суде твоем праведном!

Весь путь, по которому следовал торжественно-скорбный кортеж – от церкви до Казанского вокзала,– сплошь был покрыт лавровыми и дубовыми ветвями и листьями, и все близлежащие улицы и переулки были до отказа забиты народом.

К месту последнего успокоения – в родовое имение Спасское – тело генерала сопровождали воинские части всех родов оружия под командой генерала Дохтурова. И на протяжении всего пути – от Москвы до Рязани – тысячи и тысячи людей – крестьян, мастеровых, фабричных рабочих – стояли вдоль полотна железной дороги, и многие – на коленях.

Траурный поезд из пятнадцати классных вагонов, медленно продвигаясь, делал непродолжительные остановки чуть ли не на каждой версте.

То была небывалая, неслыханная в истории России манифестация народной скорби по национальному ее герою, убитому царедворцами – в этом все были глубоко уверены – по прихоти самого царя.

Когда же траурный поезд прибыл на железнодорожную станцию Ранненбург, крестьяне понесли гроб с телом Скобелева на руках. Так несли они когда-то на руках – за многие версты – с этой станции до родового скобелевского имения и тела его деда, отца и матери, похороненных в фамильной прадедовской церкви села Спасского, где обрел свой последний земной приют – рядом с ними – и легендарный Белый генерал!..

А через восемь лет после кончины Скобелева – в 1890 году – за подписью Наказного атамана Сибирского казачьего войска, генерала от кавалерии Сухомлинова поступил приказ о создании во всех станичных начальных школах так называемых сотен скобелевских казачат. Создавались такие сотни из учеников

двух старших классов – третьего и четвертого, и мальчишки, зачисленные в сотни, именовались отныне – скобелевцами!

Бывал таким скобелевцем и я, когда пришла и моя пора встать под трехцветное знамя. Все мы – односотенцы – носили форму нашего Сибирского линейного казачьего войска – летнюю и зимнюю. Сапожки из яловой кожи – со скрипом. Черные – миткалевые летом, зимой грубошерстные шаровары с красными лампасами. Гимнастерки защитного цвета с такими же красными, как и лампасы, погончиками. Темно-коричневые кожаные кушачки с двуглавым орлом на медных бляхах. Серые суконные шинельки. И фуражки с красными околышами, молодцевато сдвинутые набекрень над лихими, ухоженными чубчиками...

Это – летом.

А в зимнюю пору красовались мы в дубленых овчинных борчатках, называвшихся на местном казачьем наречии– чистоборами, и в белых, тоже ухарски заломленных набекрень барашковых папахах.

Все мы, конечно, земли под ногами не чуяли, вдруг облачась в такую восхитительную воинскую форму. Но больше всего нас сводили с ума наши шашки. Казачьи, почти всамделишные. С черными лакированными ножнами. С позолоченными – бронзой – эфесами. С пышными, махровыми темляками. С белыми сыромятными портупеями. Все было в них настоящим. И только клинки в роскошных ножнах были деревянными...

Командовал нашей сотней все тот же мой двоюродный брат – Антон Кириллович Шухов.

Тот. Да – не тот!

До этого был он для меня самой близкой нашей родней, и я привык запросто называть его – браткой.

Братка был в нашем фамильном роду ото всех на отличку. Гвардейского роста, выправки и осанки, с черной, курчавой окладистой бородой, лихо закручен-

ными кверху рогульками усов и темным, как смоль, холеным чубом, он чем-то походил одновременно то на императора Александра III, то на бравого ярмарочного цыгана. На цыгана он смахивал, может быть, еще и потому, что с самой весны до глубокой осени разгуливал по станице только босиком, с обнаженной головой, с полурасстегнутым воротом выгоревшей на солнце, некогда ярко-красной сатиновой рубахи.

И только по редким – годовым – праздникам видывал я братку обутым в шагреневые сапоги, начищенные ваксой до зеркального блеска, и одетым в старомодный войсковой парадный мундир – длиннополый бешмет из тонкого темного сукна, при диагоналевых – мышиного цвета – шароварах с красными лампасами, заправленных в высококозырьковые щегольские голенища.

Касторовая – с багровым околышем и серебристой кокардой – фуражка, откинутая набекрень над вздыбленным чубом, придавала братке еще более моложавый, бравый, гвардейский вид. А натертая осколком каленого кирпича бронзовая медаль, украшавшая левый борт его мундира, казалась мне недоступно высокой, внушающей трепет наградой, будя и тревожа пылкое мое воображение.

Вот таким – при полном параде – и увидел я братку на первом нашем сборе. Такие сборы происходили у нас раз в неделю – по субботам, когда мы – старшеклассники – освобождались от классных занятий в школе, поступая на круглый день в распоряжение командира нашей сотни.

Местом нашего сбора – в погожую осеннюю и зимнюю пору – был плац в древней, обнесенной земляными валами Пресновской крепости, а в непогодь – просторный зал войсковой казармы, предназначенный для гимнастических упражнений на спортивных снарядах и занятий по устной словесности.

Являться на плац в войсковую казарму мы были обязаны к восьми часам утра в присвоенной нам форме. При шашках. Выстроившись по ранжиру, мы ждали – пока в вольных позах – прихода нашего командира. При появлении же его наш правофланговый, долговязый Арся Островский, исполнявший у нас роль отделенного командира, подавал нам свирепую команду.

– Смирно!

И мы тотчас же умирали душой и телом в строю, наторев со временем съедать выпученными глазами грозное наше начальство!..

Между тем, на мгновение задержав свой суровый, в высшей степени подозрительный взгляд на наших одеревеневших лицах, братка, вдруг выпрямившись во весь свой гвардейский рост, оглушал нас громовым басом:

– Здорово, орлы!

– Зравяжалая, господин хорунжий!– радостно рявкали мы в ответ слитными, лающими голосами.

– Молодцы!

– Рады стараться, господин хорунжий!

– Стоять вольно!

И мы, слегка разомкнув, строй, принимали внешне расслабленные позы. Но внутренне по-прежнему были собраны, насторожены.

Хорошо изучив впоследствии пылкий, сбивчивый норов нашего командира, мы в такие минуты – после его похвалы – всегда мысленно трепетали в ожидании почти неминуемого очередного разноса, бранного посрамления, хулы – одного или многих из нас.

А срамил и хулил он нашего брата – под горячую руку – за что попало.

За не тот чуб.

За не ту выправку.

За не так надетую фуражку или папаху.

За не так собранную гимнастерку, под кулаком – на заду.

И даже – порой – за не тот бойкий, веселый взгляд, каким должен был отличаться – по убеждению братки – каждый из нас от всех прочих станичных ребятишек!..

– Ты где стоишь – в строю али на Куендинской ярмарке?! Разевай, сукин сын, ширше рот – за душой полезу!– угрожающе рычал на кого-нибудь из нас братка в пылу гнева.

Впрочем, называть его браткой я надолго зарекся после первого же нашего сбора. Как самый меньший ростом, я замыкал в строю левый фланг. И когда началась перекличка, я, услышав из браткиных уст свою фамилию, бойко – с душевной доверительностью – откликнулся:

– Я, братка!

– Цыц! Замри, варнак!..– так рявкнул он, что у меня, дрогнув в коленках, подкосились ноги.– Заруби себе на носу,– сказал он, подойдя ко мне вплотную, мрачным полушепотом,– што отноне я тебе не братка, а отец-командир. Восподин хорунжий! Понял али тупо?!

– Так точно. Понял, восподин хорунжий!– пролепетал я озябшими от страха губами.

– То-то!.. Сукин ты сын!..

С тех пор я долго еще опасался называть его браткой даже вне строя, когда он захаживал к нам домой – по-свойски.

Однако тут он был совсем другим человеком.

Привычным. Нашенским. Без мундира.

Чаще всего босиком. С непокрытой головой. Распояской. И был добродушным. Покладистым. Кротким. Почти застенчивым. И даже голос был у него теперь совсем иным – не тем, что у господина хорунжего.

Глуше. Ровнее. Мягче.

Доброжелательнее.

Изрядно побаиваясь нашего грозного атамана, мы меж тем – каждый по-своему – любили его. Любили за

бравую – не по годам – осанку и выправку. За лихой, властный голос. За орлиную зоркость гневных, быстролетучих глаз. За старомодный парадный его мундир. За медаль, добытую им – через личную храбрость – на поле битвы...

Однако больше всего, пожалуй, любили мы братку за походные казачьи песни, которым охотно – в часы досуга – обучал он нас. После полевых наших учений в пешем строю на крепостном плацу или же после гимнастических упражнений на различных спортивных снарядах в старой войсковой казарме он, стоя в центре нашего тесного круга, запевал неожиданно высоким, светлым, заливистым голосом одну из любимых своих песен:

Слышишь, бьют тревогу?!
Становись в ряды!
Помоляся богу,
В поле выходи!

И мы, повинуясь властному взмаху его руки, лихо подхватывали с лету слова воинственного припева этой песни:

Гремит слава – трубой.
Мы дралися за Дарьей.
По холмам твоим, Чиназ,
Разнеслась хвала про нас!

Иногда он, полуприкрыв дремучие ресницы, запевал скорбно-протяжным – с надрывом – голосом:

Вот полночь наступает.
Луна горит светло.
Отряд наш выступает
С бивака своего.

А мы, слегка покачиваясь, как в седлах, бережно, неторопливо подхватывали слитными, полурыдающими голосами слова печального припева и – как уходящие в чистое поле всадники – уводили его за собою в дальнюю даль:

Горы Андижана – недруги отцов!
Ферганская долина – кладбище удальцов!

Певали мы и более древние, овеянные пороховым дымом былых сражений наших прапрадедов, родные и близкие нам по духу вековые казачьи песни. Давным-давно исчезли с лица земли – на заброшенном крепостном кладбище – безымянные прапрадедовские могилы, последнее пристанище некогда верных и бдительных стражей былой Пресновской крепости. И никто уже из ныне здравствовавших родовых их потомков не помнил, не знал их имен.

Осели, стали малоприметными поседевшие от ковылей, заросшие таволгой и бессмертником, неприступные в прошлом для неприятеля земляные крепостные валы и обезводевшие рвы. И только несколько тяжких надгробий – чугунных плит – в былой оградке исчезнувшей – невесть когда – крепостной часовни ревниво хранили имена бывших командиров крепостного гарнизона, отлитые церковнославянской вязью.

То были люди знатного рода. Графы. Князья. Гвардейские лейб-гусары. Кирасиры. Кавалергарды. Генералы от инфантерии. Полковники. Штабс-капитаны. Штабс-ротмистры. Есаулы. Поручики.

Но забыты были пресновчанами и эти надписи на прикрытых плакучей травой забвения, прочно вросших в окаменевшую землю плитах. И только современницы этих исчезнувших с лика земли древних прапрадедовских могил и этих начертанных на плитах знатных имен, только они, неподвластные тлению войсковые казачьи песни продолжали жить в народной памяти, тревожа и волнуя наши души, как тревожили и волновали – надо думать – когда-то и их...

И мы любили певать эти дивные, хмелящие нас ароматом седой старины, боевые, походные песни наших далеких предков. Чаще всего мы пели самую любимую мною из них – про старого пушкаря и гарнизонного атамана.

Рано утром весной
На редут крепостной
Раз поднялся пушкарь поседелый.
Дернул сивым усом,
Брякнул сабли концом
И раздул свой фитиль догорелый.
Он у пушки стоит,
Сам – на крепость глядит
Сквозь прозрачные волны тумана.
Замер духом старик –
Как отроду привык,–
Поджидая отца-атамана,
– Чу, не в нас ли палят?!
Не идет ли супостат?!
Не в поход ли идти нас заставляют?!
Мигом стройся в ряды,
Атаман едет сюды!–
Казаки казакам говорили.
Живо шашки – на ремень,
И фуражки – набекрень,
И на площадь бегом побежали.
Прилетел – как буран –
Наш сибирский атаман,
А за ним – есаулы лихие!
Он – на белом коне,
Карабин – на спине.
В тороках – пистолеты двойные!
Он коня осадил.
Черный ус подкрутил.
И сказал нам:– Здорово, ребяты!

Самым же ярким, неповторимым, счастливым и радостным событием в жизни нашей сотни – были летние лагеря. По окончании последнего – четвертого – класса станичного начального училища, мы обязаны были пройти трехнедельные воинские учения – в полевых условиях – в конном строю.

Эти конные полевые учения, невзирая на их нелегкость, увлекали нас, конечно, куда больше, чем маршировка в пешем строю. А бивачная наша жизнь в

белом палаточном городке лагеря, разбитого на высоком увале – в полутора верстах от станицы,– воспринималась нами как некий необыкновенно нарядный, светлый, красочный праздник, и он не мог не запомниться нам на всю жизнь!..

Ровно за неделю до нашего выступления в лагерь – уходили мы туда в так называемую глухую пору в сельской жизни, наступавшую после закончившегося сева и еще пока не начавшегося сенокоса,– на площади, близ вековой нашей станичной церкви, устраивали нам традиционный инспекционно-войсковой смотр. Точнее сказать – не нам, а нашим коням, снаряжению, амуниции.

Такой смотр нашей сотни производил – в присутствии братки и всего станичного начальства – сам атаман 1-го военного отдела Сибирского линейного казачьего войска – есаул Иванов-Ринов.

Для обеспечения колонизации на Западно-Сибирской окраине,– говорится в эпиграфе, открывающем мой роман «Горькая линия»,– русскому правительству в XVIII веке пришлось отгородиться от немирных кочевников искусственно укрепленными линиями. Одна из этих линий пролегла от Жайыка до Иртыша – вдоль цепи горько-соленых озер – и была названа потому Горькой.

Три из древних крепостных станиц, расположенных на этой линии,– Пресновская, Пресногорьковская и Кабаньевская, со всеми их окрестными казачьими поселениями,– входили в подчинение атамана 1-го военного отдела, а из служивых казаков этих станиц и поселений формировался 4-й сибирский – имени Ермака Тимофеева – казачий полк.

В мирное время полк этот стоял в далеком от нас Семиречье – в городе Верном, где и отбывали наши казаки свою пятилетнюю действительную службу. Каждое лето – в начале июня – уходил из нашей станицы в далекий поход очередной наряд всадников

призывного возраста. Свыше трех тысяч верст – через полубезлюдные в ту пору степи нынешнего Центрального Казахстана и кремнистые пустыни Прибалхашья – преодолевали эшелоны в конном строю, походным порядком. И только уже глубокой осенью достигали места назначения, вступая с лихими песнями в заветный город Верный.

Летние лагеря были превосходной школой для нас, рожденных – как нам походя внушали сызмальства старшие – для нелегкой действительной службы в родном полку и для дальних, полных всяческих тягот, невзгод и лишений походов.

Вот отчего во всех казачьих семьях – состоятельных или малоимущих – выделяли на срок наших лагерных сборов лучших в хозяйстве, хорошо объезженных, малостроптивых коней. Те же станичники, у кого таких, годных к строю, коней не имелось, арендовали их на месячный срок из многотысячных конских табунов богатейшего степного князька бая Альтия – главного поставщика строевых лошадей чуть ли не для всего линейного Сибирского казачьего войска.

То были кони степной – так называемой киргизской породы. Неброские на вид, но крепко сбитые, ладные, широкогрудые – в большинстве своем – иноходцы. С короткой, прочной, плотной спиной. С мускулистыми крестцами. С тонко выточенными – в резных сухожилиях – ногами и с такими прочными, точно слитыми из олова, копытами, какие даже во время многотысячеверстных походов никогда не нуждались в ковке. На скачках-бегах – они часто устраивались и зимой и летом в наших станицах – такие кони на дистанции в тридцать верст проходили каждую версту в среднем за полторы минуты.

С малых лет я – как и все мои сверстники казачата – был без ума, без памяти влюблен в лошадей. В степные конские ярмарки. В бега. В казачьи строевые учения в конном строю. В лихие, отважные джигитовки всад-

ников. В мятежные – как вьюги – тройки станичных наших ямщиков.

Не оттого ль, припоминая теперь про всех ушедших иль далеких ныне друзей моих той поры, я невольно связал нашу юность с образом овеянной вьюгой, засыпанной бубенцами ямщицкой тройки?! И пленительному образу этому посвятил я однажды один из редких и поздних моих стихов.

«Каждое младенчество печально,– утверждает Иван Бунин в «Жизни Арсеньева».– Рос я в великой глуши,– пишет он дальше.– Пустынные поля. Зимой безграничное снежное море. Летом – море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и к чему».

О, как понятны, как бесконечно дороги теперь мне эти проникновенные, как откровение, слова.

Ведь знал же и я – в отличие от Игреньки и Терзая – в пору моего младенчества про все это. Про великую полевую тишину. Про зыбкое колыхание отягощенных влагой хлебов и трав. Про нежный полувнятный аромат незабудок и колокольчиков.

И я тогда – в пору своего отрочества – испытывал и тревожную любовь и щемящую душу нежность бог весть к чему и к кому. И меня волновал властный, как звук полковой трубы, зов бескрайнего степного простора. И меня манили в неведомую, загадочную даль блуждавшие в ковылях дороги. И я ощущал притихшей душою невыразимую печаль осенних полей. И я испытывал чувство круглого одиночества – в иную пору...

Между тем все было впереди. Все было где-то там – в дали, овеянной призрачной дымкой, недавно занявшейся заревой моей жизни.

А сейчас – в это раннее вешнее утро – я сидел верхом на Игреньке. В знаменитом дарственном седле дяди Егора. Сидел с притихшей, настороженной душою.

Все пленяло, покоряло, волновало меня в этот неповторимый – трижды благословенный – утренний час. Высокое, бледно-зеленоватое – вслед за солнцевосходом – небо. Блеклые от сухой прошлогодней травы, жухлого ковыля и дымчатой полыни степные дали. Острый, пряный, пьянящий аромат талой, парной, уже пригретой вешним солнцем земли.

И сердце мое трепетало, сжималось от светлой, радостной нежности ко многому из того, что окружало меня в эти – может быть – самые светлые в моей жизни минуты. К старому отцу. К старшим братьям моим – Ивану с Дмитрием. Ко всем нашим трем запряженным в плуг лошадям. К пасшейся на отшибе поджарой нашей кобыле и саврасому ее жеребенку с пепельной гривкой и пушистым трубчатым хвостом. И – конечно же – к Терзаю, мирно лежащему сейчас себе в сторонке и смотрящему на нас с Игренькой счастливыми, завистливыми глазами.

Отец в чистой, застиранной светло-палевой ситцевой рубахе распояской, с обнаженной седой головой стоял на меже. Он бережно держал зажатую в ладонях краюшку кулича, освященного мамой на пасхальной заутрене. И я, уже зная о том – что тут к чему, нетерпеливо поерзывал в седле, выжидал непременного в этом случае родительского благословения на посевную нашу пахоту.

Прошлой весной – при начале сева – я тоже был на пашне. Был-то был, да – в ином качестве. Просто вертелся – вместе с Терзаем – под ногами у старших. Нынче же был я – наравне со всеми нашими – соучастником священного деяния природных пахарей.

Мастеров земли. Творцов хлебородия. Кормильцев немалой нашей семьи, в поте лица добывающих хлеб насущный!

– Ну, в добрый час! С богом, ребята! Поехали!..– молвил наконец отец, осенив себя широким, вольным крестным знамением.

Большой Иван, весело присвистнув, дал тем самым конной нашей запряжке ходу и, приподняв – как бы играючи – плуг за поручни, крякнув, глубоко запустил стальной лемех в парную, ароматную – как опара – родимую землю.

Отец же, осторожно положив в теплую, пахучую борозду кусочек пасхального кулича, ласково прикрыл его взрыхленной плугом землей. Затем молодым, привычно-проворным движением жилистых рук он приподнял с земли весомое, наполненное посевным пшеничным зерном берестяное лукошко и, закрепив его с помощью заплечного жгута на уровне груди,– стал походить теперь на старого солдата-пехотинца с воинским барабаном... И тут, поспешно опередив нашу запряжку, он зашагал в глубь полосы, как бы прокладывая нашей тройке дорогу.

Твердой, уверенной, хозяйской поступью шел он по родной земле. И несуетными – по-царски торжественно-властными были полетные движения правой его руки, которой он щедро одарял из берестяного лукошка золотыми потоками зерна родимую плодотворящую землю!

Чувствуя в эти минуты полную мою слитность со всем этим дивным, озаренным трепетным утренним светом миром, блаженно покачиваясь в седле, я не в силах был оторвать восторженно горящих глаз от шагающего впереди нас отца – красивого, сильного, помолодевшего человека!

Признаюсь. Я и поныне думаю, что это и был, наверное, самый счастливый, неповторимый, трижды благословенный день в моей, не скупой на радости и печали жизни...

Самыми ближними соседями нашими – по смежным пашням – было несколько пресновчан, живших, впрочем, своими домами – зачастую совсем не в соседях ни друг с дружкой, ни с нами – вразброс – в разных краях станицы. И не в ухоженном, парадно-нарядном центре ее – в ряду каменных или бревенчатых, обшитых тесом просторных палат с шатровыми, княжескими крылечками – поместий именитой пресновской знати. А чуть-чуть поодаль от них. В сторонке. Наособицу. На отшибе. В некотором – как бы вроде застенчивом – самоотстранении от таких стержневых, коронных станичных строений. По ту сторону незримой – для стороннего ока – границы, настороженно ограждавшей это внутристаничное – никому тут не подвластное – княжество-государство!

По теплым, укрывшимся от сквозных ветров кривоколенным, окраинным переулкам и закоулочкам красовались – сами себе на поглядку – домовито обжитые деревянные пятистеннички под крутыми дерновыми кровлями. Опрятные – при усердной наружной побелке в канун годовых праздников – саманушки и пластяные мазанки с подрисованными синькой наличниками, с веселой геранью на подоконниках. Ракитовые плетни вокруг оград. Поседевшие от времени, осевшие набок осиновые заплохы. Непременные – при каждом дворе – теремки гостеприимных скворешников на длинновязых, торчмя торчавших жердях над поветями. Широкозахватные приусадебные огороды с полузрячими – в одно оконце – наглухо заросшими лебедой и крапивой землянушками – жаростойкими баньками на задворках...

Тут – по окраинным сторонам древней станицы – и жили из века в век старожилы ее – рядовые коренного, потомственного казачества. И родовые подворья их смыкались с окрестным, настежь распахнутым великим степным простором, с бескрайней целинной округой, отведенной под летние пастбища для общественных

табунов дойных и яловых коров, овечьих отар и прочей домашней скотины. Выгоны соседствовали с имениями этих одностаничников. Они были – рядом. За огородными изгородями. За оградными плетнями. За воротами. Потому-то так пряно и бражно пахло в этих краях в погожие летние вечера пленительным ароматом полевого разнотравья. Парным молоком. Сочной коровьей жвачкой. Теплой – оранжевой от жарких вечерних зорь – подкопытной табунной пылью. Вялым, печальным дымком кизячных костров в далеких – едва различимых в молчаливом степном просторе – кочевнических аулах.

Такими были станичные подворья пашенных наших соседей. Однокашников – в прошлом. Односумов. Однополчан – по прежней сторожевой службе на границе с Китаем, а то и в Действующей армии на любом из театров военных действий с неприятелем... Одностаничников, броских – когда-то там – на вид, на осанку, на выправку стремянных джигитовщиков на смотровых конных учениях – в канун выхода в полк – в присутствии самого Наказного атамана Сибирского линейного казачьего войска!.. И не матери – дома родили их, детей удали и отваги. Гарнизонных трубачей и полковых запевал. Георгиевских кавалеров. Сородичей по оружию. Неробких бранных рубак. Картинных красавцев – грудь колесом, чубы – навылет, сабли – наголо. Столь живописно выглядели они на лакированных заморских карточках, заснятых с них – в пору былых военных кампаний – где-то там. На чужой стороне. В иноземных державах...

Ничего не скажешь, народ был тертый. Степной. Вольнолюбивый. Двужильный. Бывалый. И огни, и воды, и медные трубы – по сказам – прошли в свое время они – как отцы их и деды и прадеды – в маршевых эшелонах генералов от кавалерии. И полковые знамена и штандарты их реяли над горными перевалами под чужестранными небесами Балкан.

Взвивались над хмурыми сопками Маньчжурии. А на памяти старших из братьев нашего поколения еще свежи были воспоминания о сабельной славе знаменитого – по I мировой войне с немцем – Брусиловского прорыва!

Но все это – в прошлом.

Что и говорить, с верховной станичной знатью были наши пашенные напарники – далеконько не ровня. Ни в чем. Ни в именитости. Ни в имуществе. Да и – вообще. Ни в кураже. Ни в риске. Ни в горлохватстве. Ни в матерщине. Ни в осанке. Ни в спеси.

Хлебодобытчики нашего пашенного государства севали от пятка до десяти десятин на двор. В основном, понятно, пшеницы. Поменьше – на две-три загонки– иных прочих злаков в подспорье. Ржи. Ячменя. Проса. Овса. И это – в зависимости не столь от радения, сколько от силы каждого.

Те же – станичные наши князья во князьях – распахивали каждую весну от полусотни, а то и до всех ста с гаком все тех же казенных десятин – на хозяйство. Засевали они широкозахватные свои пашни только отборной, спросовой – через заезжих хлебопромышленников – и на рынках России и далеко за ее пределами знаменитой по тем временам Русской пшеницей. Всякие же прочие злаки, хоть тут и тоже севались, но в расчет пробойными хозяевами не брались. Главное было – в увесистых осенних намолотах сортового, до звона сухого, искрометного – как золотые империалы – пшеничного зерна. И от проливных – в урожайную пору – бражных ливней его захлебывались иные глубокоутробные, неподвластные ни огню, ни воде закрома, упрятанные за кремнистые крепостные стены амбаров. В прок. В неубыток. В надежу!

Да и удельные пашни-то пробивных, разухабистых земляных королей были от нашенских наособицу. В далеком далеке от станицы. На краю света, можно сказать. На отшибе. В глухой, пропахшей дымом

кизячных костров блуждавших окрест казахских кочевий глубинной степи. На арендованных у казны так называемых Землях Кабинета Двора Его Императорского Величества. Так, по крайней мере,– с заглавных букв – титуловались тогда в казенных бумагах примыкавшие к станицам Горькой линии Западно-Сибирские необжитые степи.

Вот на этих-то царедворских землях и императорствовали наши станичные козырные тузы. Немировы. Стрельниковы. Стабровские. Крутиковы. Вронские. Боярские.

Кроме щедрых на урожаи – не утомленных еще накопленным за века плодородием – целинных земель владели там именитые пресновчане безраздельными степными, луговыми и займищными пастбищами. Одичавшими от подножных кормов и воли конскими косяками. Табунами – ходячими тучами – рогатого скота. Отарами осоловевших от жира курдючных баранов. Целыми стадами воловьих, верблюжьих и конских упряжек. Бродившими в степях полчищами джатаков – безлошадных казахских кочевников,– полударовых – за крышу над головой, за кусок хлеба – рабочих рук.

Однако не только одни эти полударовые рабочие руки – при избытке гужевой или ярмольей там тягловой силы в хозяйствах – приумножали из года в год шальные ярмарочные барыши и дивиденды удалых на разгул и разбой атаманов императорских земельных владений. В придачу и к тому, и к другому, и к третьему день и ночь – от зари до зари – чертомелили на их пашнях новомодные – диковинные по тем временам – земледельческие машины. Техника. Так теперь бы сказали.

Все эти хитроумные пахарьские орудия, сеятельные, жатвенные и молотильные машины были ненашенскими. Из-за морей. Одни – из Америки. Другие – германские. С броскими, нарядными фирменными таврами на самом видном месте любого

такого изделия заокеанских заводов Мак-Кормика или – тоже не близкой от наших мест – Германии и какого-то загадочного, малопонятного – Рандруппа!

Это были трехлемешные и пятилемешные пахарные самосады-букаря – на пяти-шестипарной воловьей тяге. Очень картинные внове – с ярко-красочными корпусами пароконные сеялки. Облег-ченные, маловесомые с виду – прицепные к букарям и механическим сеялкам – железнокорпусные бороны–«Зиг-Заги». Это – для пахоты и сева. А для жатвы – машины одна другой подиковинней. Чудо – к чуду. Самосбросы – крылатые, похожие на волшебных птиц машины,– того и гляди, готовые в любую минуту взмыть в небеса и по-орлиному запарить над перекатными волнами шафранного пшеничного моря. И совсем уже дивному диву давались мы – и старый и малый – при виде самовяза. Это чудо тогдашней сельскохозяйст-венной техники, чем-то схожее с парусным кораблем – его я видывал в ту пору, разумеется, только на книжных картинках – ошеломляло всех незримой его рукотворной работой. Машина – при трехпарной конной тяге – не только проворно жала хлеба, но и тут же – на глазах – ловко вязала их в туго подпоясанные шпагатом снопы, попромежуточно сбрасывая их затем считанными десятками с текучей полотняной платформы на бронзовоперстую пшеничную стерню. Но самой большой диковинкой для пресновчан были появившиеся – в канун первой мировой войны – на обширных токах зорких и вертких, как коршунье, степных наших наместников сложные – так называли их тогда – соломотрясные и зерно-очистительные молотилки. Одни – с круговыми конными приводами, другие и того похлеще – с локомобильными двигателями!

Все это было – там. По ту сторону. В малодоступном для всех прочих одностаничников царстве – государстве расторопных, непромашистых пшеничных королей. Наказных атаманов горьколинейных

станиц. Былых предводителей в походных полках летучих казачьих сотен. Неробких рубак. Хвастунов. Матерщинников. Чистоплюев. Усачей. Отставных есаулов.

Пахари же нашего круга ходили в нижних чинах. Это – и по титульным полковым спискам в пору пятилетней их действительной службы на заставах Русско-Китайской границы, и в обыденной будничной жизни их – дома. Ну, а по Сеньке и шапка. Потому-то и на пашнях у них только и было новинок из новомодных орудий земледелия – однолемешный, сменивший прадедовскую соху, железный рандрупповский плуг. Изредка – далеко не у всякого – пароконная сенокосилка, в придачу с механическими железными граблями, приобретенная по долгосрочному кредиту у бойких на ломаный русский язык разъездных коммивояжеров Мак-Кормика. А еще реже – жатвенная лобогрейка.

Лобогрейка!

Хоть и раскаляла она, бывало, до полуобморока крутые лбы иным схожим с кузнечными молотобойцами церковного регента и кузнеца нашего Лавра Тырина проворным ребятам,– вручную, с натурой, наотмашь сбрасывали они деревянными вилами-двойчатками с платформы тяжкие пласты скошенного хлеба, и жаркий пот в три ручья хлестал по их обнаженным, обуглившимся от загара и пыли спинам,– а все же они были счастливы. А все же это была не былая ручная жатва – серпом. И все же. И все же. Это была – машина!

Древние же, громоздкие, малоуклюжие деревянные сохи с насажными железными сошниками были заброшены. Валялись заросшие беленой и крапивой где-нибудь на дальних задворках.

Валялась теперь без всякой нужды в хозяйстве такая же прапрадедовская соха и за нашим двором. На огороде. За – тоже наглухо заросшей угарной полынью

– земляной баней. И ранней весной, когда едва только сходил на нет – и то еще не везде – последний, взявшийся водой снег, здесь – на южной стороне старенькой нашей баньки – жарче иного другого места на родимых задворках – припекало дымящуюся парную землю горячее солнышко. И мы – Тронька, Пашка и я, не считая Терзая,– смерть как любили это самое уютное в мире место – надежное пристанище для нехитрых наших забав и игрищ.

Еще бы!

Ведь это после бесконечной – хоть и тоже трижды прекрасной – сибирской зимы. После бирюльчатого треньканья на губах, после малосвязной ребяческой болтовни, после пылких перепалок и взаимных кулачных потасовок на тесноватой печке,– тут был рай. Царство небесное. Раздолье. Простор. И с непривычки, в охотку, мы, кажется, даже не дышали – пили студеноватый, прозрачный – как родниковая вода – воздух. И томил душу и слегка кружил, хмелил голову аромат отволглого на повети сена, теплой земли, талого снега, вязкой горечи набухших березовых почек...

Тут – в такие погожие дни – к нам то и дело присоединялся еще и дедушка Клим. По маме – мой прадедушка. Рослый – совсем не в нашу породу – старик. С заиндевелой, холеной – по-генеральски наотмашь раздвоенной гребешком – бородой. Степенный. Осанистый. Со строевой выправкой правофлангового казака или властного есаула. Он был участником русско-турецкой кампании. Дрался под знаменами Скобелева на Балканах. Был рублен косой турецкой саблей во время рукопашной каши под Плевной. Брал Шипку. И воротился из похода в Пресновку при полном банте всех трех наградных степеней – Георгиевским кавалером!

Рассказывать про свои былые бранные походы – в отличку от прочих бывалых в ратных делах людей – дедушка недолюбливал. Ссылался на ослабевшую – за давностью годов – память. Но было похоже на то, что

старик опасался стороннего к нему недоверия, и ему было грешно и совестно думать при этом о том, как бы иные – с недоброй подозрительностью – люди не приняли его за выжившего из ума хвастуна...

Дедушка наш был вчистую неграмотным. Но на диво всей станице – вдосталь начитанным. Это он – по слуху. По редкостной от природы памяти. Через громкие чтения зимними вечерами другого деда – Арефия. Соседа нашего. Мы жили с ним – домами с угла на угол – на перекрестке Пожарной улицы и Озерного переулка.

Смолоду наторевший в грамоте и письме почти самоуком, дедушка Арефий выбился потом на действительной службе спервоначалу в полковые каптенармусы, а затем – и в писаря. Впоследствии он даже числился некоторое время письмоводителем в личной канцелярии Семиреченского генерал-губернатора – весьма просвещенного, говорят, по тем временам человека – Герасима Колпаковского.

А недорогими – в броских, яркокрасочных, нарядных корочках – книжечками ежегодно обзаводился наш книговозлюбитель – впрок, про запас – в пору двух наших зимних станичных ярмарок – Никольской и Афанасьевской, именуемых так в честь табельных престольных дней двоих угодников. Снабжали же его этими книжками одни и те же – давние его дружки – тороватые курганские, ирбитские или шадринские книготорговцы. Мужики расторопные. Продувные. Веселые. Говоруны. Прибаутчики. Краснобаи.

Читывал дедушка Арефий новоприобретенные произведения вслух. Даже и тогда, когда находился в опрятной своей горнице – с геранью на подоконниках – один на один – без слушателей. Читывал – с выражением. Чувствительно. В лицах. И все скопом. Подряд. Без выбору. Без разбору.

Тут были и «Жития святых». Это – про Сергия Радонежского. Симеона Столпника. Варвару Велико-

мученицу. Феодосия и Хевронью Печерских. А еще – сочинения графа Салиаса – «Пугачевцы» и «Петербургское действо». Потом – «Похождения разбойника Ивана Чуркина». «Трагедия французской королевы Марии Антуанетты, или Царский каприз». Захватывавшие дух у слушателей приключения знаменитого сыщика Шерлока Холмса. «Невинная девственница в омуте разврата». Письмо Льва Толстого императору Николаю II. А также еще и правоучительные графские сказания – притчи для народа – «Много ли человеку земли нужно?». «Разговор с прохожим». «Свечка». «Сказка про Ивана дурака и двух его братьев».

Попадались под проворную руку дедушки Арефия – в числе этих сочинений – самые разные, спросовые в народе «Песенники». Тут были и «Песни Сибирского казачьего войска». И –«Ухарь-купец». И –«Тройка борзых». И –«Ванька-ключник». И – «Маруся отравилась». А также – не менее расхожие «Письмовники»– образчики различных казенных прошений, шутейных и полюбовных посланий. Поздравительные стихоплетения по случаю Дня ангела родителей. Воспитателей. Попечителей. Благодетелей. И тут же – стихотворная матерщина Ивана Баркова. Это малопристойное, разухабисто-складное творение титулованного санкт-петербургского сочинителя сбывалось не в печатном образе – писанным чьим-то залихватским почерком от руки. И курганские коробейники или шадринские офени всучали этот товар охочим до него грамотеям полутайно. Втридорога. С подмигиванием. Из-под полы...

Кроме всей этой разномастной книжной рухляди водились у дедушки Арефия и книжки особые. Заветные. Береженые. И хранились они у него наособицу. В походном окованном медными планками полковом сундучке. Под надежным замочком. Это – «Конек-Горбунок», «Князь Серебряный». «Жизне-описание Белого генерала Скобелева». Псалтырь. И стихотворения Ивана Никитина.

Ко множеству читанных Арефием сочинений относился дедушка Клим без особого пыла. Так себе. С прохладцей. В одно ухо влетит, в другое – вылетит. Однако к малогромкому – со старческой хрипотцой – голосу, соседа-чтеца прислушивался с неизменной прилежностью и в самых интересных – по его разумению – местах чьего-то там сочинения по-ребячески оживлялся, как бы переживая свою сопричастность к событиям и героям иной книги. Особенно когда заходила речь про разбойничьи подвиги отважного хвата Ивана Чуркина или про сатанинский нюх пронырливого сыщика Шерлока Холмса.

Между тем страницы из заветного арефьинского пятикнижия – не исключая преисполненные темного и грозного смысла слова Псалтыря – дедушка наш готов был и в сотый раз – как бы внове – слушать с непритворной душевной радостью и многое из этих страниц – не раз слушанное за годы – запоминал назубок. Наизусть. Навеки.

Дедушка – по маминой ветви был он для меня уже и прадедушкой – принимал – и это было не в редкость – самое живое участие в ребяческих наших забавах и невольным старческим досугом своим делился, бывало, с нами легко, радостно и охотно. На печке ли – вьюжными зимними вечерами. Раннею ли весною – в погожую пору – на пригретых солнцепеком наших задворках. В огороде. За баней. Возле наглухо заросшей прошлогодней беленой и полынью, давным-давно повергнутой в прах забвения сохи.

Не одно поколение природных пахарей в семейном нашем роду вскормила хлебом насущным эта малоуклюжая с виду, грубо сработанная из вековой березы прадедовскими умельцами, почерневшая от времени – как допотопный пашенный наш чугунок – сошниковая соха. И дедушка Клим, перепахавший ею за век некороткую свою жизнь, может быть, немалые тыщи не сосчитанных им десятин родимой земли,

почитал теперь былую свою напарницу в заветном и светлом – как причастное таинство в дни говения – труде. Опершись знаменосной, простроченной матово-серебряным галуном бородой на черемуховый посошок, часто погружался он в круглом одиночестве в сокровенные – невесть о чем – свои думы. И в самом деле – о чем?

Скорее всего, наверное, об отмерцавшей – как полуугасший, покинутый путником далекий костер в полумглистой вечерней степи – скуповатой на земные радости, не ахти как богатой удачами жизни...

Но как только мы – я, Тронька и Пашка – врывались гурьбой на наши задворки, к насиженному стариковскому месту,– дедушка, словно очнувшись от забытья, мгновенно преображался. Просветлевший, приободрившийся, чудом помолодевший, встречал он нас с таким непритворным изумлением, будто не виделись мы с ним бог знает как долго и свалились вдруг откуда-то как снег на голову.

Заводной, взбалмошный и властолюбивый наш вожак – Пашка, с ходу же затевая с нами – со мной и Тронькой – яростную игру в бабки, лихо ухитрялся – к неописуемому ребяческому восторгу деда – за какие-то там считанные минуты разделать нас под орех, раздев, что называется, до нитки. За три кона мы трижды выкупали у Пашки – по грошу за дюжину – все наши дочиста проигранные ему бабки и снова мгновенно проигрывали, зверски сметенные им с кона маховым броском его увесистого, залитого свинцом битка.

Разделавшись с нами на скорую руку в одну игру, Пашка – без передыху – вовлекал нас в другую. Прицепив к дышлу сохи бечевочные постромки, он впрягал нас в них парой и, поставив соху на попа, вцепившись в рогатые поручни, повелительно прикрикивал:

– А ну, обормоты,– с богом! Поехали!..

И мы – в подражание пароконной упряжке – полошажьи отфыркиваясь, до отказа натянув перекинутые

через наши плечи бечевые постромки, перебирали с наигранным нетерпением упругими – в цыпках – босыми ногами, изображая собой ретивых сытых коней, волочивших сквозь полынную пустошь глубоко запущенную Пашкой в борозду прадедовскую соху.

– А ну, не вихлять туды-суды у меня, обормоты! Не воротить морды в сторону! Ух, и вр-ррежу!.. Не ломать – ужаль вас паук в задницу – борозды!– орал на нас, устрашающе размахивая свистящим в воздухе ракитовым прутиком – заместо кнута,– все больше и больше свирепея без всякой придури, изображавший пахаря Пашка.

И дедушка Клим, подогревая нашу новую – еще более пришедшуюся ему по душе – забаву с заветной его сохой, теперь уже сам – не хуже нашего – загорался, как малолеток, азартной нашей игрой в вешнюю пахоту и, подливая масла в огонь, подстегивал напутственным словом Пашку:

– Валяй, валяй, сынок! Не робей. Приведи господь, паши себе всю жизнь на здоровье. Да поглубже!.. И сохой похрабрей руководствуй. Она ведь, матушка, тоже не без характеру – с норовом! И как иной какой конь седока на спине, так и она своего пахаря – чует. По всему – скрозь. По руководству. По выправке. По силе. По умыслу... А первую борозду на полосе норови проложить прямехонько, штобы – как стрела!.. И потом – лошадушками правь с умом. Построже. Вожжей на ходу не распускай. Воли им, голубушкам, гляди, не давай. Словом – не страми. А вожжой – приструнивай!– строго наставлял дедушка Клим будущего хлебороба, направляя его на путь праведный.

– Я им, обормотам, покажу волю-долю! Оне у меня в борозде – не распляшутся!.. Прямо! Не спотыкайсь! Бороз-зздой!– вопил – в ответ на дедушкины наставления,– все больше и больше сатанея от неподдельной ярости, грозно посвистывая над нашими головами воображаемым своим кнутом, Пашка.

Позднее, вдоволь натешившись очередной нашей игрой в чехарду-езду, во время которой опять-таки больше всего доставалось от долговязого Пашки нам с Тронькой – не мы на нем, а чаще всего он на нас ездил верхом,– мы усаживались – ноги калачиком – возле дедушки. И потом – как всегда – слушали его пересказы читанных ему вслух престарелым станичным книголюбом Арефием сочинений про князя Серебряного. Про сыскные похождения Шерлока Холмса. Про отпетого – сорви-голова – муромского разбойника Ивана Чуркина. Про лихого атамана-казака Черноуса и его киевскую ведьму за Днепром. Про кровопролитное сражение славян с турецкими нехристями на горе Шипке под победоносными знаменами генерала Скобелева.

И тут же, бывало, не раз читывал он нам, разинувшим рты, наизусть, без запинки – страничку за страничкой – озорные – как веселый балалаечный наигрыш при ярмарочной карусели – живые, летучие строчки про Конька-Горбунка. А то еще и – особо любезные стариковскому сердцу,– стихосложения Ивана Саввича Никитина – про неведомого нам бурлака. «Эх, приятель, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой! Нет, послушай-ка ты, что вот я испытал, так узнаешь о жизни тяжелой!»

Но с особой душевной охотой читались нам в такие минуты старым нашим наставником – читал он их вполголоса, с приглушенной молитвенной распевностью – сокровенные стихотворные раздумья все того же любимого им сочинителя – на этот раз – про соху. «Ты, соха ли, наша матушка. Горькой бедности помощница. Неизменная кормилица. Вековечная работница!»

Лицо старика в таких случаях вдруг обретало некое иное, совсем не схожее с привычным его обликом, мало знакомое нам выражение. Всегда неизменно добродушное, нередко скрашенное по-ребячески

кроткой, доверительной улыбкой, оно заслонялось в эти мгновения как бы коснувшейся его легкой тенью. И старик, не сводя горестно прищуренных, подернутых поволокой глаз с маячившей перед нами в пепельно-седой полыни сохи, продолжал – еще более глуховатым, с хрипотцой, голосом – дочитывать нам конечные строки полюбившегося на всю жизнь никитинского стихотворения. «На меже трава зеленая. Полынь дикая качается. Не твоя ли доля горькая в ее соке отзывается? Уж и кем же ты придумана, к делу навеки приставлена? Кормишь малого и старого. Сиротой сама оставлена!»

– Вот так-то, чижики!.. Золотые это, праведные слова. Обездолилась, осиротела она ныне у нас, матушка. Одряхлела вместе с нашим братом – былыми пахарями. Бросовой стала. Никому не нужна...– заключал с горьким вздохом старик, с грустью глядучи на обреченно заброшенную на задворную свалку спутницу трудовой его молодости.

– А у нас тятя прошлогод плуг в городу на ярманке купил. Во плуг – не чета какой-то там сохе – вовсю скрозь железный! Аж со стальным – как зеркало – лемехом. С заморским тавром. Весь – как конь вороной, грива золотая! С колясянкой – на легком ходу. С лакированными валечками для постромочек – я те дам! С пласторезом!– непрошено вторгаясь вдруг в рассудительную стариковскую речь, начинал было – как и почти всегда не совсем к месту – боронить, прихвастывая, вдоль и поперек настырный Пашка.

– А ну-ка замри, конь вороной. Скрозь – железный!..– строго цыкал на заводного сопляка старик, передразнивая ощерившегося в нахальноватой ухмылке Пашку.

– Но и чо тут такова?!– не унимался задетый за живое, въедливый, пылкий – как порох – Пашка.

– А то само. Не вяжись. Помолчи в тряпочку. Я тебя маленько поране на божий свет родился!– еще

посуровее оговаривал его дед.– Не егози. Не пикай. Слушай, што стары люди сказывают. Заруби на курносом носу!.. Вот – к примеру сказать – сам Лев-то Толстой с твоим тятей – два сапога не пара. Твой-ет тятя как и я, всего-навсего – нижний чин. Заурядстанишник. А тама – граф! Их сиятельство! Это тебе – повыше титулом любого генерал-майора от инфантерии!.. Тама барин – дай бог! Столбовой. Наивысшее высокоблагородье. Именитый! А толк в этой самой сохе понимал не хуже нашего брата – извечного хлебороба. Понял ты али – тупо?!

– Ну и потом – чо?!– вылупив на деда надменные – с искоркой – цыганские шары, допытывался несколько озадаченный тут Пашка.

– Потом – то само. Што ему ничо было нипочем, опять же сказать тебе к примеру. Никого не признавал. Ни попов. Ни губернаторов. Ни архимандритов. К тому же – плюс на минус – самого государь-императора на всю нашу Русску империю в письменном виде выстрамил!

– Ух ты, язви его, аж самого царя?!– пуча округлившиеся глаза на деда, выругивался в изумлении позабывший о присутствии старших Пашка.

– Вот так. Страх подумать!.. Самого самодержца всея Руси. Богопомазанника, как говорится. Не робел – понужал в хвост и в гриву!..

– Кто это тебе сказывал?– продолжал тормошить, старика возбужденный сказом его до предела Пашка.

– Не на базаре говорено – перечитано было немало про этого тульского мужика с графским титулом. С печатного слова. В книжках. Кем перечитано, спросите? Да опять же – нами. С кумом Арефьем!.. Граф-то был – понятное дело – родовой. Без придурков. Натуральный. Это – так точно! Только без куражу. Без амбиции. Земляная душа. Обоюдный какой-то. Свойственный!.. И хоть он там, сказывают, тыщи всяких книг сочинил, а земных, житейских делов не чурался. Сам себя – своими руками – обихаживал. Всю

свою одежу – штаны, скажем, рубахи, подштанники – собственноручно шил. И чеботарил. И шорничал. Дратву сучил. Сапоги яловые тачал. Хомуты опойковой кожей обтягивал. Сбрую ворванью смазывал. Крыши деревенским вдовам соломой перекрывал. А на покосе – с косой – любого за пояс затыкал. И потом – босиком на своем веку вдоволь намаршировался!..

– Сапоги тачал, а обуться было не в че?!– не сдержавшись, снова подкидывал деду язвительный вопрос Пашка.

– Не в сапогах суть. Не суйся!.. А главное дело, пахать – хлебом не корми – до страсти любил. И только одной ей – сошкой-матушкой! Пашешь, поговаривал, и ног под собой от счастья не чуешь. И на душе – праздник. И в голове – светло. И кровь в жилах – как смолоду– играт. Весело переливатса. Будоражит тебя. Хмелит. Полируется!.. Вот тебе и на – барин. Знать. Наивысше сословье. Граф. Ваше сиятельство!

Тут, бывало, не в шутку разволновавшись за таким разговором с нами, дедушка вдруг умолкал. Наглухо замыкался. Тотчас же, как бы несколько отдаляясь от нас, прятался в душевные свои потемки.

Умолкал – следом за ним – и Пашка. Хмурился. Сопел. Ерзал – туды-сюды на заднице. Не знал, с какой стороны подъехать теперь к старику, чтобы воротить его к привычному для нас – к доброжелательному, ласковому к нам – расположению. Без такого светоносного дедушкиного настроения было малоуютно всем нам – Пашке, Троньке и мне – сиживать на пригретых весенним солнышком задворках. Вблизи пряной прошлогодней полыни. Возле заветной дедушкиной сохи. На теплой, сухой земле.

Правда, старик быстро приходил в себя. И точно очнувшись от минутного забытья, снова исподволь, как бы размышляя вслух, про себя, доверительно продолжал овеянные воспоминаниями о прожитой жизни, спокойные, рассудительные свои речи.

– Да-аа. Вот так-то, ребятушки!..– размышлял и далее вслух дедушка, искоса поглядывая отуманенными старческими глазами то на нас, присмиревших вокруг него ребятишек, то на обреченную на вечное забвение немудрую свою сошку, надруганно вышвырнутую с пашни своевольными его сыновьями – за полной ее по нынешним временам непригодностью – на задворки. В чертополох. В полынь. В белену.– Да-аа, мои сударики!– продолжал горькую исповедь старик.– Вот и граф-то тот – пробил и его час – отпахался. Отчеботарил. Отогрызался!.. Да и мы – таки же бывалы пахаря и чеботари – так же отчертомелили на своем веку. Отшабашничали. Отстрадовались. И мы – не на ярманку, с ярманки едем!..

– С ярманки? А с какой, дедушка?!– допытывался принимавший все как есть за чистую монету, бесхитростный наш лопух – Тронька.

– С безымянной, внук. С отшумевшей. С дальней!..– отвечал старик – в тон лопуху – с маловеселой усмешкой.– Отбарышничали и мы там на своем веку. Отхарчевничали. Отбражничали. Отторговались – без прибыли. Обменяли молоды свои годы на стариковские – без выгоды. Так себе. Баш на баш!.. И только вот один кум Арефий у нас ишо пока в силе. Никому непокорный. При своем уме. Со своим норовом. Дошлый. Въедливый. Лить не вылить – нашенский Лев Толстой! Только книжек не сочинят. А так – во всем под стать покойному графу из Тульской губерни. Такой же резвый – как и их сиятельство – грамотей на всю нашу Горьку линию. Да и потом, куда ни хвати, на все руки мастер!

– А пономарь-то – ух, я те дам!– с лету подхватывал стариковское славословие в честь Арефия, крутнув с веселым отчаянием наголо стриженной головой, захлебывавшийся от восторга слюной Пашка.– Слыхали, как он во все колокола на нашей колокольне кадрель в нонешнюю пасху наяривал?! С переборами! С поддергом!.. А девки с холостыми ребятами – на

площаде, у качелей – все шесть фигур под его музыку сплясали! Вот вам, Христос воскресе, не вру!– клятвенно крестился, лупя на деда – как на икону – бесстыжие свои белки, Пашка.

– Было дело...– подтверждал кивком дедушка.– Озорничал. И не раз... Выпивши был потому што. За эти его грехи, бывало, перепадало ему на пряники от самого владыки. От архирея всея Омской епархии. Епитимью на ево накладывал. Соборовал нашего пономаря – по всем семерым канонам! Как – протопопа Аввакума!

– А епитимья – это чо тако?!– как с печки тут падал со своим скоропалительным вопросом ничего – как видно – не понимавший на сей раз в таком темном деле даже сам наш всезнающий Пашка.

– Кара така. За грехи. Архирейский приговор – строже некуды!

– Чо – арестански роты?! Али ишо хуже – острог?!

– Возмездие – по духовному артикулу. Девяносто земных поклонов – дважды в каждый у бога день. На коленях. Перед алтарем. У царских врат. От субботы до субботы – скрозь всю великопостну неделю. Один раз – натощак – с утра. Вдругорядь – не в большой сытости – вечером. Навольнодумствовал – лупи, сукин сын, об пол лбом. Кайся. Винись. Набивай шишки!.. Вот это – чо. Не поминальна рисова кашка с изюмом в Родительский день – на Фоминой неделе!

– И он – чо?! Каялся?– вдруг ни с того ни с сего свирепел на наших глазах, наседая на дедушку точно готовый к кулачному бою с ним, осатаневший Пашка.

– Покаялся он тебе – разевай рот пошире! Не на такова ишо грешника владыко нарвался!

– Но и чо?!

– Да ничо...

– А архирей потом чо?!

– И архирей ничо...

– Вот язви те!..

– Это ково?

– Владыку тово...

– За чо?

– А так. За чо надо!.. К хорошему человеку вяжется потому што!

– Вязатца – привязывался. И не единожды. Да ишо как! Один раз едва было не отлучил кума от церквы. Как отлучил святейший Синод – сызнова к слову пришлось– тово жа графа Толстова!

– А графа – за чо?!

– За то само, за што и Арефья. За непокорность. За вольнодумство. За ослушание. А тут ишо – плюс на минус – за ту же саму пасхальну твою кадрель – с переборами!.. Ну, тут мы, правда, всем станишным нашим обчеством – стеной за кума поднялись. Приговор на гербовой бумаге – все как один – с маху подписали!

– Опять рупь двадцать пять – приговор! Кому?! За чо?!– всплескивая ладошками, восклицал в изумлении Пашка.

– Ух жа и бестолочь ты, погляжу на тебя!– корил нетерпеливого выскочку дедушка.

– Толк-то есь, да не втолкан весь!– огрызался Пашка попавшимся тут ему на язык услышанным однажды от старших малопонятным ему присловьем.

– То-то и оно, што не втолкан весь!..– говорил с хитроватой усмешкой дедушка.– Приговор – за Арефья. Мы на поруки, под свою опеку станишного обчества пономаря брали!

– Но и чо?!

– Ничо. Укрепил наши подпися под приговором станишный атаман печатью. И отправилась наша гумага с вершным нарочным – прямым маршем – в Омск! В пакетах с двойной адресью. Один пакет – под сургучом – генерал-губернатору. Другой – владыке!

– А тут чо?!

– А ничо.

– Как ничо?

– Так. Ничо. Потому што и тута владыко на бобах перед нашим пономарем очудился!..

– А это пошто?!

– А пото што генерал-губернатор от инфантерии приговор наш принял в резон. Уважил станишно обчество. И в угоду нам – восподам старикам – владыку утихомирил. Унял. Но а тот потом, сказывали, маленько поерепенился – для куражу перед генералом от инфантерии– да и начисто простил кума!

– То-то, язви ево!..– вполголоса, чтобы не расслышал дед, восклицал тут, почему-то указуя на нас с Тронькой своим черным и острым – как у дьявола – перстом, разом обмякнувший Пашка.

– Ишо бы не то-то!– поддакивал дедушка.– А куды там было деваться владыке, коли пресновский звонарь – всем приходам архирейской епархии на зависть! Цены такому звонарю – на тыщу верст окрест – нету! Как ударит он разом, с размаху во все колокола, земля из-под ног поплывет. Не звон – трубны звуки архангелов!

– Тятя сказывал,– опять ввязывался в разговор Пашка,– будто деда Арефья аж на соборну колокольню пономарить в город Атбасар сманивали. Хороши деньги давали. И златы горы и реки вина, говорит, за это само ему сулили.

– Правду сказывал тятя. Сманивали. И суливали – немало,– подтверждал дедушка.– Да и было за чосулить. Ведь он не одну только твою кадрель с переборами может спьяна во все колокола сыграть. Это уж –так точно. Это он – назло владыке. Из озорства. С полупьяного полудурья... Зато на духовном звоне поднаторел он у нас – похлеще всякой кадрели! Тут он набил руку. Навострился – до страсти. И все самоуком. Талан!.. Хошь, тебе «Достойну яко воис-тину» – как регент по нотам – нараспев отзвонит. Хошь, «Спаси, господи, люди твоя» без запинки отбрякат... Нет уж, отец владыко, нашенского пономаря никому сроду не перепономарить!

– А нашего чеботаря никому не перечеботарить!– подбрасывал тут старику и свою скороговорку озаренный озорной усмешкой настырный Пашка.

– На дворе трава, на траве дрова!– радостно восклицал – как палил из фузеи – встрепенувшийся, словно спросонок, Тронька.

– Из-под топота копыт пыль по полю летит!– не отставал от внезапно вспыхнувшего меж нами словесного состязания в скороговорках даже и я.

И тут, окрыленный жаром нахлынувшего вдруг на него азарта, Пашка, как бы забыв о присутствии дедушки, мигом подключил нас с Тронькой вне всякой связи с предыдущим разговором к иной нашей, уже ведомой нам – по его же науке – потешной игре. Тоже словесной. С нелепыми бойкими прибаутками.

Мы – я и Тронька – так были заранее вымуштрованы в этой игре нашим свирепым наставником – Пашкой, что роли свои знали назубок...

ОТМЕРЦАВШИЕ МАРЕВА

Познал я глас иных желаний.
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.

А. Пушкин

Над степью плыл август – венец сенокосной поры. Старшие братья мои – Иван с Кириллом – дометывали последний наш стог. Обнаженные по пояс, чернокожие от загара, все в поту, в паутах, они расторопно работали деревянными вилами-тройчатками и ловко – одним лихим махом – закидывали в поднебесную высь целые копны медового лугового сена.

А отец стоял во весь рост на юртообразном стогу, с лету подхватывая цепкими грабельцами проворную сыновью подачу, по-хозяйски, домовито охорашивая

при этом, закругляя, верша тучный, похожий на слитый из темно-зеленой меди колокол, красавец-стог.

Я ж, расквитавшись с веселой своей работой – подвозкой волокушами на трехлетнем нашем жеребчике сенных копен к стогам, любовался теперь от нечего делать богатырской хваткой и завидной ловкостью вертких, как дьяволы, моих братьев и по-молодому прыткой подвижностью мастерски вершившего стог отца.

Перевалило за полдень.

Пекло.

Было дымчатым, полумглистым – от жаркого ветра – небо, и по черным, как вороново крыло, троеным парам, по торным скотопрогонным дорогам метались из стороны в сторону с яростной сатанинской спесью упругие траурные жгуты смерчей. И, быть может, от этого задымленного знойным сумраком неба и от этих, похожих на черное пламя беснующихся там и сям смерчей,– от всего этого и веяло в этот день той необъяснимой, подспудной тревогой, какой наполнен был этот сумный августовский полдень.

– Глядите, глядите-ко, вер-рпный!– вдруг панически вскрикнул Иван, поспешно бросая вонзенные в копну тройчатки.

Да. По скотопрогонному тракту, пролегавшему в полуверсте от наших сенокосных паев, мчался на полном карьере всадник в походной казачьей форме. А у острия, устремленной ввысь его черностволой пики пылало жаркое пламя мятежно бушевавшего на ветру флага.

Не отрывая глаз от гонца, и отец и оба брата моих остолбенело молчали. И все – в том числе и я – уже хорошо знали, что означал этот трепетный жаркий флаг на острие грозной казачьей пики. А означать он мог – как это водилось и издревле – только одну роковую беду. Всеобщую мобилизацию в линейных станицах. Войну!

Всего около трех месяцев тому назад – в начале мая 1914 года – проводила наша семья в полк на действительную службу среднего из братьев – Дмитрия. И проводы эти, как говорил отец, заехали нашему дому в копеечку. Только за одного строевого коня отвалено было полста рублей ассигнациями. Деньги по тем временам немалые. Стоимость двух добротных рабочих лошадей.

Что и говорить, хлопотливыми, накладными были для станичных старожилов проводы своих сынов в полк. Иные из малоимущих жителей залазили при этом в такие долги, что порой не вылезали из них за всю пятилетнюю полковую службу сына.

Но одно дело проводить в полк казака в мирное время, другое – отправлять кровного сына на далекие поля кровавых побоищ с поднявшим меч на Россию иноземным врагом!

Оттого-то десять суток кряду, пока готовились к походу попавшие под мобилизацию казаки, и не затихало в станицах бушевавшее, как пожар, народное горе. Стоном стонала земля от горьких рекрутских песен. От воинственных воплей – противу германца – храбрых хмельных рубак. От горестных, повитых печалью, материнских причетов. От пролитых в ночи втихомолку жарких слез молоденьких женок и покидаемых женихами нареченных невест...

И тут – для старшего из своих сыновей – отец, конечно, не поскупился. Не мешкая, запустил с ходу в расход трех из семи наших дойных коров. Дюжину овечек. Годовой запас – про черный день – пшеницы из амбарных сусеков. И все это ушло почти за полцены нагрянувшим, как вороны, со всех сторон тороватым ирбитским барышникам и фартовым, пронырливым, говорливым шадринским прасолам.

Между тем цены на строевых коней в тучных, текучих, как реки, степных табунах тотчас же

взыграли. И за белого крылатого, как лебедь, иноходца с буйным пепельным хвостом и такой же гривой, с ходу облюбованного Иваном, отец заплатил на этот раз втридорога. Не торгуясь.

По мобилизационному приказу Наказного атамана Степного края соединение двух этих полков – перед отправкой на фронт – должно было произойти в уездном городе Кокчетаве Акмолинской губернии.

И вот час пробил. На одиннадцатом дне уже бушующей где-то за тридевять земель войны провожали мы мобилизованных казаков к месту их полковых сборов.

Все тут смешалось в горестный час расставания. Глухой топот конских копыт. И яростное, тревожное ржание приплясывающих под всадниками коней, зачуявших дальнюю дорогу. Бранный перезвон шпор и стремян. И лязганье стальных удил, грызомых нетерпеливыми строевиками. Безутешные материнские слезы. И воинственные походные песни уходящих в глубь целинных степей – в слитном конном строю – ощетиненных пиками эшелонов...

Непривычно тихо и сиротливо стало в нашем доме после покинувших его старших моих братьев. Такой же притихшей, притаившейся, полупустынной выглядела теперь и – вчера еще оживленная, веселая, шумная и многолюдная – древняя наша станица. Умолкли озорные, разговорчивые саратовские гармоники с колокольчиками. Не слышно стало по коротким летним вечерам хороводных девичьих песен. И еще печальнее, казалось, были отныне молчаливые, прикрытые ковыльной проседью степи.

Поддавшись волей-неволей такой всеобщей подавленности и в нашей семье и в станице, затих душою и я. Меня даже не манило в эти дни на ежевечерние наши встречи с Пашкой и Тронькой, и я отсиживался в круглом одиночестве в тихом нашем доме или же в каком-нибудь укромном потайном закутке просторного нашего двора с его деревянными заплотами, амбарами, навесами и завознями.

И вдруг сердце мое озарилось нечаянной радостью. Как-то поутру – дней через пять после проводов мобилизованных казаков – услышал я от отца, что они с мамой решили поехать в город Кокчетав – на последнее, быть может, как говорила с горьким вздохом мама, свидание с Иваном. Но самое главное – они брали с собой и меня!

И тут радостям, счастью, восторгам моим не было и предела. Еще бы! Отправиться вместе с родителями в бог весть какие дальние-предальние края – через глухие, таинственные казахские степи – и потом увидеть где-то там своими глазами некое неведомое, необыкновенное, загадочное чудо, имя которому – город!

Дух перехватывало от этой вдруг свалившейся на меня как снег на голову новости. И я, по-куропашечьи встрепенувшись, полетел на упругих крыльях к закадычным своим дружкам-приятелям – к Пашке с Тронькой. Не терпелось взахлеб похвастаться – на зависть им обоим – таким выпавшим на мою долю счастьем, похожим на сон.

Однако оба они – и Пашка, и Тронька – с разлету огорошили меня еще большей радостью. Оказалось, что и они оба – тоже с их отцами и матерями – едут в город Кокчетав. И тоже для свидания со своими попавшими под мобилизацию старшими братьями – ровесниками нашего Ивана. И едут вместе с нами. Завтра. Чуть свет.

Обо всем этом, оказывается, договорились – по соседскому делу – отцы наши еще в канун нынешнего дня. Я же узнал про такое событие последним...

– Проснулся!– сказал про меня с презрительной усмешкой Пашка.– Мы с Тронькой ишо вчерася вечером все наскрозь знали. Понял? Ух, вррежу!..

Но тут же Пашка, обнажая свои частые, ослепительно светлые зубы, засмеялся уже – миролюбиво, доброжелательно. И легонько толкнул меня в плечо ладошкой.

– Лады, Ваня. Мир на земле. В человецех благоволение. Аминь!..– сказал, шутливо перекрестив меня, Пашка.– А теперя – марш все по домам. Тебе ж ведь тоже надо наспех в дорогу собираться. Не забудь только свою фуражку с кокардой набекрень одеть да сапоги хорошенько ваксой начистить. Не куда-нибудь – в город Кокчетав едешь! А в городу, знашь, все как на полном параде! Тама – не как у нас здеся – по струнке ходют. Левый-правый. Ать-два. Туды-сюды. Туды-сюды... А главное дело, шлыпдают, язви их, не по земле – до тратуварам! Понял?

Нет, я не понял.

Не понял, видать и Тронька, потому что робко спросил:

– А тратувары – это что такое, Паша?

– Деревянны дороги из тесу вдоль улки. Вот это чо!– категорично ответил Паша. И тут же разъяснил:

– Потому што в городу без этих самых тратуваров ног не вытащишь – така тама грязишша!

Посмотрев на нас с Тронькой то ли с сожалением, то ли с напускным презрением своими быстрыми, мерцающими глазами, Пашка затем добавил сквозь зубы:

– Ух и неучи! Ух и олухи, язви вас! Ух, я вам как-нибудь и вррежу!..

– Да мы в городу-то ишо не бывали...– пролепетал я как бы в слабое оправдание своего невежества, попутно имея, конечно, в виду и Троньку.

А между тем оба мы – и я, и Тронька – хорошо знали о том, что город Кокчетав Пашка – так же, как и мы, несчастные,– не то чтобы там наяву, а и во сне-то вряд ли хоть раз видел! Однако же вел он себя перед нами сию минуту так, будто только что воротился вместе с нашими станичными лейб-гвардейцами прямым маршем из Санкт-Петербурга!

– А церквей в Кокчетаве много, Паша?– вдруг спросил ни с того ни с сего Тронька.

– Пять храмов. Один собор. Пятиглавый. Плюс на минус – тюрьма белокаменная. Сорок три ветряка. Парова крупчатошна мельница. Татарска мечеть. Архирей. Семеро кабаков с казенными целовальниками. Пожарна каланча до небес – на тышшу верст скрозь вокруг видно! Прогимназия. А базар в городу – настояшша Куяндинская ярмарка!..– начисто перечеркнул нас с Тронькой крест-накрест пулеметной очередью Пашка.

Тут у нас и совсем языки присохли. И Пашка, воочию убедившись в этом, с миром отпустил нас домой, не преминув напутственно пригрозить вдогонку:

– Да, спокойной ночи, шалопаи!.. Дрыхнуть-дрыхнуть. Да не засыпайте. Почашше вздрагивайте. А то продерете утром шары, а ваших тятей – Митьками звали! Укотим без вас в неизвестну даль спозаранку. По гладенькой дорожке. Со свистом!..

Я, разумеется, был твердо уверен в том, что ни отец, ни мама без меня не уедут, коли уж сами – я ж не напрашивался!– посулились взять меня с собой. Никогда, конечно, не уехал бы без нас с Тронькой и Пашка в такую радостную, как редкий праздник, дорогу. Это я тоже знал назубок.

Однако сон мой был в эту ночь малостойким, чутким на побудку, настороженным, тревожным. Ночевал я – как и всегда в летнюю пору – на любимом привычном месте. Под дерновым навесом. В бесколесном одре вековой дедушкиной телеги. И, проснувшись чуть свет, я увидел во дворе и отца, и маму, занятых каждый своим делом.

Мама – я видел ее через настежь распахнутые створчатые окошки нашей прижавшейся к пятистенному дому земляной избушки – ставила на стол бурно бурлящий, ярко пылающий медью самовар. Отец деловито смазывал стальные оси и колесные втулки стоявшего посреди ограды легкового ходка с продолговатым ракитовым коробком на дрожках.

Ага. Слава богу, вовремя я проснулся. И оглядевшись туманными спросонок глазами вокруг, сразу же убедился в том, что наши действительно собираются нынче в дорогу.

Проворно выпрыгнув из тележного одра, я, еще полусобранный, полусонный, стал переминаться с ноги на ногу возле хлопотавшего вокруг ходка отца, делая вид, что меня шибко завлекает эта смазка вязкой, тягучей мазью шлифованных осей и медных колесных втулок. На самом же деле томило и жгло в сию минуту одно неодолимое желание. Не терпелось узнать, а не передумал ли за ночь отец брать меня с собой в дорогу? Передумал! Об этом было так страшно сейчас думать, что у меня умирало сердце, холодело в груди!..

– Ого, проснулся?– с напускным удивлением воскликнул, заметив меня, отец.

– Ну. Выспался...

– Слава богу... Тогда – не крутись. Беги. Умывайся. Оболокайся. Скоро запрягать. Вот попьем чайку с горячими шанежками, и – благословяся – в дорогу!..

Остолбенев, опешив на какое-то мгновение от новой светлой волны опять нахлынувшего на меня счастья,– значит, все-таки еду!– я ринулся затем со всех ног исполнять отцовские указы.

Пулей – умылся. Пулей – оделся. Еще проворнее – вмиг – обул начищенные с вечера ваксой до зеркаль-ного блеска шагреневые сапоги. И первым из всей нашей семьи красовался за столом, накрытым к завтраку.

Но, как хорошему коню, получившему дорогу, мне не шибко-то пилось и елось в это ранее, на редкость погожее августовское утро. Нет, несмотря ни на что, былая душевная настороженность так и не покидала меня. Потому что я и сейчас еще опасался, как бы все-таки что-нибудь да и не помешало в последнюю минуту этому – первому в моей жизни – столь бесконечно далекому, столь заманчивому, столь увлекательному путешествию!

Но вот чаепитие закончилось. Лошади были запряжены. Степенный мерин гнедой масти – в корню. Шустрый, надменный, пугливый трехлеток Рыжка – в пристяжке. В ракитовом коробке ходка были уже загодя уложены все дорожные припасы. А мы, собравшись всей семьей в горнице, с минуту посидели – перед дальней дорогой – в полном безмолвии. Затем, поднявшись на ноги, троекратно – и тоже молча – перекрестились на передний угол с тускло мерцавшими окладистой медью иконами.

И вот, наконец, распрощавшись – уже посреди двора – с оставшимися домовничать без нас нашими домочадцами, все мы втроем – отец, мама и я – уселись половчее в уютный ходок. И тронулись с места – поехали!..

На выезде из станицы – за земляными валами древней крепости – нас уже поджидали наши спутники. Отцы и матери моих дружков – Троньки с Пашкой. Они тоже отправлялись в путь на таких же легковых дрожках, как и у нас, и тоже запряженных парами лошадей – независимыми, стойкими коренниками и юными, самоуверенными пристяжными...

И вот только теперь, когда привелось мне за жизнь немало поколесить по белому свету, могу я с полным правом утверждать, что самым дивным и самым далеким было это первое в моей жизни путешествие – поездка в неведомый и загадочный город Кокчетав.

А ехали мы не день и не два – целую вечность. И дорога эта была для меня волшебным, радостным открытием иного, нового мира!

Стояла погожая, предвещавшая близкое бабье лето предосенняя золотая пора. И великие, тихие степи текли и текли с утра до вечера навстречу нашим рысистым парным запряжкам. И не было, не было ни конца, ни края этому пленительному царству матово-серебристого, зыбкого ковыльного моря. Царству полынного аромата. Простора. Покоя. Воли. Горлан-

ного орлиного клекота, трубного – на заре – лебяжьего переклика. Печального, тихого звона мечей черноперой осоки и потайного вкрадчивого шороха дремучих камышей по берегам позолотевших от заката озер...

Первую ночевку в этой дороге обрели мы вблизи казахского аула – полутора десятка разношерстных, то черных, словно обуглившихся, то ослепительно белых, как лебединые крылья, колоколообразных войлочных юрт, вполукруг разместившихся на высоком крутояром берегу невеликого, густо заросшего кугой и чаканом озерца.

Я впервые увидел кочевнический аул, и мне пришлась по душе привольная летняя жизнь исконных наших станичных соседей – мирных степных кочевников. Все, решительно все было здесь внове для меня. Все – неожиданно. Ярко. Броско. Необыкновенно. Непривычно. Диковато. Полузагадочно.

Из былых отцовских рассказов я уже знал о том, как он хаживал в свои молодые годы в старших гуртоправах у пресновских скотопромышленников – сопровождал гурты рогатого скота и конские косяки по знаменитым в ту пору на всю Сибирь степным ярмаркам. В Куяндах. В Каркаралах. В Атбасаре. В Баянауле. Вдоль и поперек исколесил он тогда все глубинные, полудикие казахские степи, находя в непогожие дни и ночи приют и кров в любой из юрт встречавшихся на его пути аулов.

Вот отчего теперь – в дни нашего дивного путешествия – почти в каждом встречном ауле находились гостеприимные отцовские тамыры – дружки. По вековому неписаному закону степи они с непритворной охотой привечали и потчевали нас в своих восхитительных – прохладных в зной и теплых в непогодь – уютных юртах.

В отличку от отцов Троньки с Пашкой мой отец очень хорошо разговаривал по-казахски. И это обстоя-

тельство как бы возвышало в глазах аульных жителей и нас с мамой.

Тронька же с Пашкой просто умирали от зависти, наглядно убеждаясь за долгую нашу дорогу в том, каким особым расположением – наравне с моими родителями – одаривали меня подчас гостеприимные хозяева той или иной юрты.

Пашка же – даже и не поймешь как, то ли из уважения, то ли из завистливого презрения ко мне – будто перестал меня замечать и почти не придирался, не вязался ко мне, не грозился походя – как водилось до этой нашей поездки – врезать мне безо всякого к тому повода. Зато он вдоволь отсыпался теперь на малозащищенном Троньке, то и дело привязываясь к нему по каждому пустяку, явно вызывая его на взаимную потасовку, на драку.

В эту первую в дороге нашу ночевку при придорожном ауле угощались мы в белой юрте главы аульного рода – тучного, угрюмого с виду, белобородого аксакала – Торсана.

Внутреннее убранство юрты Торсана огорошило, ошеломило меня – с ходу, с порогу. Да что там – ошеломило! Привело в трепет невиданной и неслыханной мной доселе сказочной роскошью. Каким-то неправдоподобным, праздничным великолепием. Неистовым буйством красок. Нарядными, окованными, сверкающими самоварной медью сундуками. Многоцветными слоями стеганых шелковых одеял на железной кровати с ослепительными никелированными спинками и набалдашниками. Букетами бархатных, расшитых золотыми или серебряными позументами мужских чапанов и женских камзолов. Пышными и яркими – как полные цветов и трав июльские лесные поляны – коврами, украшавшими круглые стены этого, казалось, невесомого, воздушного жилища.

Потчевались мы за дастарханом – оранжевой льняной скатертью, постланной перед нами прямо на покрытом узорным войлоком полу обширной юрты. Сперва мы пили из увесистых фарфоровых пиал крепкий, сдобренный сливками любимый степными жителями кирпичный, плиточный чай вприкуску с колотым сахаром и румяными, круглыми, как грецкие орехи, баурсаками.

Затем – ближе к позднему летнему вечеру было подано огромное, похожее на стиральное корыто, деревянное блюдо с грудой дымящейся, только что сваренной в казане – под открытым небом – ароматной баранины. И я был в восторге оттого, что это необыкновенное степное угощение здесь было дозволено запросто – проворно и расторопно – хватать из дымящегося корыта голыми руками. То был знаменитый бешбармак – коронное национальное блюдо древних кочевников.

Вдосталь насытившись за щедрым дастарханом разными разностями у приветливых аульных хлебосолов, мы – я, Тронька и Пашка – юрко вынырнули, как те сурки из норы, наружу из юрты – на волю.

День меркнул.

Пахло дымом кизячных костров. Кобыльим молоком. Овечьим пометом. Теплой дорожной пылью. Перьями дикой озерной птицы. Коровьей жвачкой. Собаками. Где-то совсем по соседству с аулом били отбой минувшему дню хоронившиеся в ковыльных дебрях перепела.

Неподалеку от царственно белой юрты Торсана мы вдруг заметили двух казашат, играющих на высоком приозерном яру в бабки.

– Хотите, я их в одну секунду сейчас обчищу?! Хотите?– угрожающе спросил нас с Тронькой помрачневший от решимости Пашка.

– Как это так – обчищу?– озадаченно спросил я, не совсем понимая вдруг засвирепевшего Пашку.

– А вот так. Вот этим самым папочком! До нитки враз их обоих на ваших глазах раздену!– почти прорычал Пашка, показывая нам извлеченную из шароварного кармана большую конскую бабку. И тут же добавил: – Не зарьтесь зря-то! Панок – не простой потому што. Он у меня – налитой! Со свинцом внутре. Поняли или тупо?..

– Вот это да-а!..– восхитился я, взвешивая на своей ладошке налитую расплавленным свинцом Пашкину бабку.

– Я с имя – хоть это и ихний аул – шибко шыркатца тута не стану! Мне бара берь, говоря по-ихнему, что к чему!– сказал Пашка, кивнув в сторону увлеченных игрой казашат.– Я чо с имя исделаю сейчас?– продолжал, все более и более ожесточаясь, Пашка.– Я, язви те мать, с десяти шагов ка-ак врр-ррежу вот этим самым папочком – весь их кон вдребезги! А вы тут будьте у меня под рукой. На подхвате. Штобы пулей все ихние сбиты бабки собрать. Все. До единой! А разинете рот, я и перед вами в долгу не буду... Пошли. Айда за мной. Марш!– скомандовал – как отрубил – Пашка.

И мы покорно поплелись за нашим вожаком в сторону тоже уже успевших заметить нас насторожившихся казахских ребятишек. Приблизившись к незнакомцам на два-три шага, мы замерли – как в строю по команде смирно – и какое-то время молча с угрюмой подозрительностью, пытливо, изучающе приглядывались друг к другу.

Один из двух казашат выглядел рыхловатым, не по возрасту раздавшимся вширь оборвышем – увальнем. В драных-передраных чембаришках – овчинных, внутрь шерстью штанишках. В латаной-перелатанной бязевой рубашонке с напрочь оторванным по локоть левым рукавом.

Другой из этих степных дружков-тамыров был одет поопрятнее своего – похоже – почти что погодка. Этот был в застиранной алой сатиновой рубахе. В добротных

– из черного плюша – шароваришках, засученных выше коленок. Этот с виду был поподжаристей, по-подсобранней, порезвее своего дружка, да и из юрты – видать – совсем уже иного достатка... Оба шустроглазых степных парнишки были наголо стрижены. С почти обуглившимися от загара лицами. Босиком.

– Здравья желаю!– рявкнул – как урядник перед строем – Пашка, картинно отдавая при этом честь мальчишкам молодцевато подкинутой к виску ладошкой и бодро пристукнувшими друг об дружку сапожными подборами.

Но в ответ на такое парадное Пашкино приветствие увалень с оторванным по локоть рукавом вдруг разом сразил всех нас троих начисто – бойко и весело выматерившись по-русски!

Пашка – как равно и мы с Тронькой – на секунду оторопел, опешил. Но за словом в карман не полез. В долгу не остался. Он хоть там через пятое на десятое, а по-ихнему толмачил. И потому тут же, с ходу понужнул задиру – и тоже с самой верхней полки – на родном наречии этих невинных детей степи...

Итак – мы были квиты!

Тут мы все снова умолкли. Стояли, переминаясь с ноги на ногу. Посапывали носами. Кряхтели. Прикрякивали. И опять – в высшей степени подозрительно присматривались друг к другу.

Вдруг Пашка, нацелив перст на толстяка, спросил его по-казахски – на сей раз уже иным, доверительным, миролюбивым тоном:

– Сенин атын ким? Короче, как тебя зовут, если спросить по-русски?

– Мен – Сабит!– ткнув себя в грудь пальцем, живо отозвался тот. И тут же, кивнув на дружка в бархатных шароваришках, назвал и его имя:– Ол – Габит!

–Жаксы! Хорошо вас зовут. Складно. Сабит-Габит!..– похвалил их Пашка.– А меня, это значит я – Павел!

Пашка! Белесын ба? Поняли у меня, где середка, где половинка?

Тут Пашка рассмеялся, миролюбиво обнажив свои иссиня-белые, как рафинад, цыганские зубы и с хитрецой подмигнул тоже повеселевшим, заулыбавшимся казахским мальчишкам.

– А эти вот,– показывая пальцем на нас с Тронькой, продолжал Пашка, – еки бала, двое ребятишек – мои дружки. Тамыры – по-вашенски. Один Тронька. Другой – Ванька. Все мы – пресновские казаки. Белесын? Ясно?– заключил свою речь Пашка уже по-русски.

– Бергель куресемис!– вдруг заорал, как с печки упав, назвавшийся Сабитом парнишка.

– Это он чо к чему?– пугливо спросил я Пашку.

– Бороться с нами вяжется, язва!..

– Но и чо потом? Подумашь там, задавало!.. Я же его в один секунд угвоздаю. Замертво. На обои лопатки!– скороговоркой выпалил я, расхрабрившись.

– А ежели в драку полезут?– напомнил осторожный Тронька.

– Но и что? Нас же трое. А трое – не один, хоть телегу, да не отдадим!– возразил я Троньке довольно решительно и агрессивно.

– Жок! Жок! Жок!– с жестокой решимостью заорал на Сабита Пашка.– Никаких тама бергель куресемис!.. Это потом. После. А перво-наперво – оданда асык ойнаик. Сначала давайте сыграем в бабки.

Затем, выяснив на смешанном русско-казахском языке, что у ребятишек было в заначке двадцать пять бабок, Пашка предложил им свои условия игры. Все их наличные двадцать пять бабок должны быть поставлены в кон. А он – Пашка – будет бить по этому кону – не с каких-то там несчастных пяти – как это было положено по правилам извечной детской игры – а аж с пятнадцати шагов! Но ударит он по кону своим, собственным битком. И тут Пашка показал

ребятишкам извлеченный из шароварного кармана свой знаменитый, тайно залитый свинцом биток – обыкновенную с виду бабку, ничем не отличавшуюся на глаз от прочих игорных ее товарок.

Поторговавшись – для куражу – с Пашкой, степные игроки наконец приняли довольно рискованные, но весьма соблазнительные его условия.

А они были таковы. Ежели Пашка с одного удара начисто сметет своим битком всю строевую шеренгу бабок,– мальчишки остаются тогда в разгромном проигрыше и все их богатство переходит в полную собственность победителя. Ежели хоть одна из бабок останется стоять не задетой битком, то в таком случае Пашка почтет себя в проигрыше и сию же секунду безоговорочно выплачивает неустойку – четвертак серебром – по копейке за каждую бабку!

Когда же торг завершился и стороны, ударив по рукам, пришли, так сказать, к обоюдному соглашению,– Пашка тоже поставил на кон обусловленную игрою денежную сумму. Сорвав со своей башки форменную фуражку, он бросил ее наземь – рядом с выстроившимся в шеренгу коном бабок и небрежно выкинул на ее тулью две серебряных монеты – гривенник с пятиалтынным.

И игра занялась.

Парнишка, назвавшийся Сабитом, не спеша, стараясь ступать как можно шире – отмерил от кона пятнадцать обусловленных для боя по кону шагов и воткнул на этом месте жиденький ракитовый прутик.

Все мы – я, Тронька и наши игровые соперники Сабит с Габитом – насторожились. Наглухо замкнулись. Как там говорится,– ушли в себя. Потому что наступал самый драматический момент рискованной нашей игры – удар Пашки!

И он наступил.

Заняв свою оговоренную дистанцию у воткнутого Сабитом в землю жиденького ракитового прутика,

Пашка, прищурив правый глаз, чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону, долго – слишком долго! – присматривался, прицеливался к кону. Издали я все же узрел, приметил, что он, поспешно шевеля увесистыми губами, что-то там нашептывал. И только потом, позднее – после трагической этой игры – он нам с Тронькой признался, что шептал – перед ударом по кону – магические слова одного колдовского заклинания. Однако вещих слов этой черной своей магии так нам – ни за какие деньги – и не открыл...

Итак, Пашка продолжал, испытывая наше терпение, целиться. И вдруг – в эту самую драматическую минуту – я увидел возле Сабита с Габитом еще пятерых их аульных погодков. Когда и откуда они тут появились – неизвестно! Все они словно из-под земли выросли и о чем-то торопливо, заговорщически переговаривались теперь на своем родном языке друг с другом.

Заметил это неожиданное происшествие и Тронька и тут же пророчески мне прокаркал:

– Это – к худу, Ваня. Теперь драки с имя нам не миновать!

– Ладно тебе... Не праздную труса. Мы с ими – и с семерыми – как пить дать – живо управимся! – самонадеянно обнадежил я не ахти какого храброго моего друга.

Но в этот момент я увидел на мгновение озарившееся ослепительно-яростной, полузловещей улыбкой, как будто еще более почерневшее от злобной решимости лицо Пашки. И тут – как теперь бы сказали футбольные комментаторы – последовал удар по воротам!

И удар был феерическим! Мы с Тронькой просто-напросто остолбенели, когда на наших глазах весь дочиста строевой кон бабок – точно взорванный изнутри – взлетел, взбрызнул на воздух и рассыпался в разные стороны по степи.

А пока мы с Тронькой, разинув рты, в отупении глазели на это неправдоподобное зрелище, в отупении

топтались с ноги на ногу на месте, аульные орлята не растерялись. Они тут же – как по команде – ринулись хватать с ходу раскиданные по степи свирепым Пашкиным ударом бабки.

Все мы – и Тронька, и Пашка, и я – не успели опомниться, а Сабит уже вмиг смел с тульи Пашкиной фуражки обе выставленные под залог серебряные монеты, и – айда улепетывать на всех парах в сторону родимого аула.

– Грабют!.. С нами бог, братцы! За мной. В атаку!– взревел не своим голосом Пашка.

Между тем проигрыш – во времени – был теперь уже за нами. И пока мы спохватились, пришли в себя, лихие аульные коршунята, изловчившись, похватав с поля боя дочиста все выбитые из кона бабки, ринулись вразброс – кто куда – по степи, и мы уже не знали, за кем из них сподручней бросаться нам в погоню.

Ближе всех – по беглой моей прикидке – из врассыпную удиравших от нас казашат оказался сцапавший серебро с Пашкиной фуражки, и я увязался за ним вдогонку.

Мне повезло.

Беглец, угодив босой ногой в сурчиную нору, упал, растянувшись плашмя. Вот тут-то я – с разбегу – и оседлал его, прочно сев верхом на его спину. Посылая поверженному ниц беглецу тумака в бока, я вопил, требуя от него возвращения похищенных им Пашкиных денег. Но он, изворачиваясь подо мною, лишь нечленораздельно мычал и матерился по-русски.

Наконец изловчившись, взыграв – как иной норовистый конь – он сбросил меня со спины наземь, а сам, вскочив на ноги, ринулся резкой иноходью к аулу.

Подбежал Пашка. На нем лица не было.

– Что тако, Паша?– испуганно спросил я, хорошо уже зная – что к чему.

– Мой же биток смел у меня из-под самого носа этот их варнак – Габит. Вот чо!..– сказал, задыхаясь от ярости, упавшим голосом Пашка.

Все было кончено. Мы потерпели на этом поле боя полное наше разгромное поражение. Неизмеримо больше всех нас пострадал, разумеется, самолюбивый и гордый наш вожак – Пашка. Мы-то с Тронькой отделались разве посрамленным, легко ранимым нашим самолюбием – только и всего.

А Пашка – горел огнем! Он – по его же затее – вмиг превратился в круглого банкрота, разом лишившись всего наличного его капитала, целого четвертака серебром – гривенника с пятиалтынным. Но самым главным ударом, какой нанесла ему в этой нашей дороге изменчивая судьба,– это была невозвратимая утрата знаменитого его, налитого свинчаткой битка, которому – по единодушному нашему убеждению – никакой там цены в красный базарный день, конечно, не могло быть и не было!..

А теперь, забежав вперед, я только всего и скажу, что это была первая в моей жизни встреча с моими земляками, с моими друзьями, известными казахскими писателями – Габитом Мусреповым и Сабитом Мукановым!..

А наутро – чуть свет – мы, покинув гостеприимный аул и ловко одурачивших нас степных наших сверстников, снова двинулись в неблизкий путь.

И опять ни конца и ни края не было этим дремучим степям. И чем глуше, безлюднее становились безмолвствующие равнины, тем прохладнее и прозрачнее были их придорожные родниковые ручейки. Тем светлей и задумчивей выглядели их скитальческие, застенчиво прикрывшиеся камышом и ракитником речушки. Тем ослепительнее сверкали зеркальной лазурью их безмятежные, тихие озерки.

И чем пустыннее было вокруг под высоким, дышавшим вечным покоем небом, тем суровее и угрюмее взирали на божий мир в одиночестве дремавшие по сарматским и скифским курганам столетние беркуты. Тем таинственнее и печальнее

пересвистывались по вечерам сурчиные орды. Тем все глуше и горше, по-бабьи рыдали над аспидно-черной от грозовых туч озерной водой дурным голосом незримые выпи.

Сидя – между отцом и мамой – в ракитовом коробке нашей парной повозки, я часами прислушивался, хмурясь от яркого солнца, к слабому шороху ястребиных крыл над разомлевшими в жару травами. И сладостно было вдыхать в полудремоте дурманящий аромат полыней, донника, таволжника, богородской травы...

И чем дальше, чем более дичали от орлиного клекота, от чумного волчьего воя в ночи повитые угарным маревом степи,– тем ароматнее, тем хмельнее был во встречных аулах вольнолюбивых кочевников перебродивший в кожаных бурдюках кумыс – томительная брага. Настой из медовых пастбищных трав. На парном весеннем ветру. На расплавленном обручальном золоте утренних и вечерних майских зорь. На предрассветной июньской свежести и ночной прохладе...

Да. Даже вот и теперь, вдосталь наскитавшись по белому свету, вдоволь наплававшись,– как те серые гуси из маловеселой песни, которым пора бы уже потихоньку и ворочаться домой!..– даже и сейчас я считаю, что самым все-таки далеким и самым прекрасным путешествием в моей жизни была эта – ныне похожая уже на полузаспанное, светлое детское сновидение – веселая поездка наша из станицы Пресновской в город Кокчетав?

Я дважды – туда и обратно – перелетал через Атлантический океан. Я побывал во многих заморских странах. В Западной Европе. На Балканах. В Канаде. В Америке. И повидал – и тут и там – немало всяких чудес. Ниагарский водопад, скажем. Или ночной Бродвей Нью-Йорка. Сверкающие зеркальным стеклом, сталью и никелем небоскребы Чикаго. И парадный купол Капитолия в Вашингтоне. Неправдоподобный,

ковыми густо заросшими разномастным древесным ягодником палисадниками, опоясанными аккуратными ракитовыми плетешками. С неслыханно опять-таки просторными – длиною в добрую версту – приусадебными огородами, ломившимися от бахчей, от обилия созревших, увесистых подсолнечных решет, от рослой, щедро унизанной восковыми початками кукурузы.

То были села переселенцев – выходцев с Украины. И по дороге на Кокчетав – за двести пятьдесят проеханных нами верст – повидали мы таких удивительных сел ничуть не менее, чем встречных кочевнических аулов.

Между тем и названия у всех этих схожих, как близнецы, дивных степных поселений были – за малым исключением – вроде как бы одинаковые. И не обычного, мирского, а подчеркнуто духовного, какого-то церковно-славянского происхождения, что ли.

Богдановка. Благовещенка. Рождественка. Архангелка. Крещенка. Святодуховка. Боголюбовка. Троицкое, Борисоглебовка. Раевка. Кирилломефодиевка. Белоцерковка. Сретенка. Спасовка. Вознесенка.

Перепадали – правда, пореже – и такие названия этих, занесенных сюда из далекого Приднепровья и Заднепровья украинских сел. Полтавка. Подол. Гуляй-Поле. Курени. Каховка. Ковали.

А еще более были удивительными и совсем уж для меня в ту пору непонятными названия здешних казачьих станиц. Эти уже на подступах к Кокчетаву – во владениях казачества Второго военного отдела Сибирского войска. Только потом, позднее, узнал я о том, что тут корни этих названий уходили в глубь древних казахских наименований той или иной здешней местности. Словом, названия эти были чисто казахские, и в переводе на русский означали в одном случае, скажем, соленое озеро. В другом – жирную рыбу. В третьем – чистую воду. Айртав. Сындыктав. Зеренда. Арыкбалык. Майбалык.

Жители этих – второотдельских – станиц тоже, в сущности, были переселенцами. Выходцами из центральных губерний России. В отличие от коренного линейного Сибирского казачества они были приписаны к войску лишь в конце минувшего столетия. И потомственные линейные казаки-сибиряки относились к ним с нескрываемым высокомерием, а иные – из особо заносчивых и спесивых – даже с непритворным презрением.

Впрочем, презирать первоотдельцам их второотдельских собратьев по войску было совершенно не за что. Разве ж только из зависти к привлекательному облику их небедных, ревниво содержавшихся в чистоте и порядке молодых станиц. К более собранной, складной, трезвой жизни их обитателей. К их добротным – один к одному – деревянным крестовым домам, крытым то листовым железом, то тесом. И таким же прочным, кондовым надворным постройкам – амбарам, заборам, воротам – тоже бревенчатым и тесовым, срубленным грубо, но намертво – на века!

Станицы мне эти нравились.

Но в полном восторге – за эту дорогу – был я от переселенческих украинских сел. Многим они навсегда покорили тогда меня. Просторными приусадебными оградами. Скрипучими колодезными журавлями посреди широченных, поросших муровым конотопом улиц. Самобытным, дивным, диковинным внутренним убранством хат. С чистыми, вымазанными желтой, как охра, глиной, приятно прохладными в жаркие дни полами. С холщовыми, роскошно вышитыми гарусом рушниками, висящими в передних углах – над божницами и по всем простенкам – то над невеликим зеркальцем, то над какой-нибудь красочной картинкой из знакомого мне уже в ту пору знаменитого сытинского настольного календаря.

Я равнодушным остался к хваленому всеми нашими украинскому борщу, которым потчевали нас в иных

хатах. Зато я впервые в жизни познал сладость жарких, ароматных вареников и не мог насладиться всласть неповторимым вкусом паляниц – огромных, выдобревших на бражной опаре булок этого воистину чудо-хлеба!

Меня пленили праздничные девичьи наряды веселых хохлушек. Их расшитые крестом и гладью белые кофты. Ладные красненькие сапожки с подкованными каблучками. Цветные узкие юбочки – по колено. А главная прелесть была в живой, трепещущей на ветру радуге шелковых лент, пылавших над темными, как ночь, или золотыми пшеничными, вескими косами.

Нравились мне и необыкновенно широкие, словно надутые изнутри – тоже разноцветные – сатиновые шаровары здешних молодых парней – парубков. Их – тоже расшитые по вороту гарусом – белые холщовые рубахи. Щегольские, легкие, вызывающе заломленные на затылки конусообразные барашковые шапки. Мягкие – без каблуков – как степные наши ичиги – сапоги! Чубы, нависшие над тугими бровями. И узорчатые шерстяные самотканые пояса с увесистыми яростными кистями...

Меня буквально заворожил, околдовал здешний говор. Певучий. Ласковый. Со смешинкой. Доверительный. Незлобивый. Язык этот так меня восхитил, что я даже удивлялся тому, что маленькие хохлята разговаривали промеж собою так же бойко и весело, как и большие!

И, конечно же, совсем свели меня с ума впервые услышанные мною в этих селах украинские песни. Меня трогали, задевали отзывчивую, чуткую на побудку душу не только многие полупонятные для меня слова этих крылатых, животрепещущих песен. Волновали, тревожили, окрыляли меня и сами вновь услышанные мною напевы. Подмывали сердце то невыразимой, страдальческой их грустью и полузатаенной печалью, а то – разгульным степным раздольем. Вольной волею. Необузданной удалью. Лихостью!

О певческом даре этого народа говорить не приходится. Я оглушен был басовыми, набатными голосами здешних мужиков богатырского склада – в плечах косые сажени!– и полонен грудными женскими подголосками – такими стремительными, летучими, хрустально звонкими, что их, казалось, можно было услышать где-то в глухой, глубинной степи – не за одну версту от этих селений...

Да и не только казалось. Так оно и было на самом деле. Помню, припоздав в дороге, мы ехали на утомленных наших лошадях шажком по малоторной степной дорожке, с решением наших старших провести эту ночь в одном из лежавших на нашем пути переселенческих сел – Белоградовке.

Стемнело.

Все глуше и глуше, все затаеннее били в набрякших от росы ковылях перепела. Молодой новорожденный месяц, первозданно блистая в пепельно-зеленоватом небе, стоял на рогу – к ведру. Было тихо. И точно покоренные кротостью и великим покоем этого погожего августовского вечера, наши кони, устало ступая, навострив уши, как бы прислушивались к чему-то, и даже колесные втулки, перестукиваясь, разговаривали сию пору, казалось, вполголоса.

Я, лежа в ракитовом коробке на маминых коленях, бездумно глядел на печальное блистание юного месяца в предвкушении сладкого сна под покровом нашей дорожной палатки из самотканого полога.

И вдруг сердце мое, дрогнув, замерло. Остановилось. Остановилось не только оно. Остановилось – мгновение, и оно было прекрасным!.. Мигом отпрянув от маминых колен, я замер, внутренне похолодев от необъяснимого восторга и счастья.

Именно в это – на всю жизнь запомнившееся мне – мгновение и нахлынул на меня откуда-то издалека поток скорбных, как прощальное журавлиное курлыкание, напевных звуков. Было что-то нездешнее,

хатах. Зато я впервые в жизни познал сладость жарких, ароматных вареников и не мог насладиться всласть неповторимым вкусом паляниц – огромных, выдобревших на бражной опаре булок этого воистину чудо-хлеба!

Меня пленили праздничные девичьи наряды веселых хохлушек. Их расшитые крестом и гладью белые кофты. Ладные красненькие сапожки с подкованными каблучками. Цветные узкие юбочки – по колено. А главная прелесть была в живой, трепещущей на ветру радуге шелковых лент, пылавших над темными, как ночь, или золотыми пшеничными, вескими косами.

Нравились мне и необыкновенно широкие, словно надутые изнутри – тоже разноцветные – сатиновые шаровары здешних молодых парней – парубков. Их – тоже расшитые по вороту гарусом – белые холщовые рубахи. Щегольские, легкие, вызывающе заломленные на затылки конусообразные барашковые шапки. Мягкие – без каблуков – как степные наши ичиги – сапоги! Чубы, нависшие над тугими бровями. И узорчатые шерстяные самотканые пояса с увесистыми яростными кистями...

Меня буквально заворожил, околдовал здешний говор. Певучий. Ласковый. Со смешинкой. Доверительный. Незлобивый. Язык этот так меня восхитил, что я даже удивлялся тому, что маленькие хохлята разговаривали промеж собою так же бойко и весело, как и большие!

И, конечно же, совсем свели меня с ума впервые услышанные мною в этих селах украинские песни. Меня трогали, задевали отзывчивую, чуткую на побудку душу не только многие полупонятные для меня слова этих крылатых, животрепещущих песен. Волновали, тревожили, окрыляли меня и сами вновь услышанные мною напевы. Подмывали сердце то невыразимой, страдальческой их грустью и полузатаенной печалью, а то – разгульным степным раздольем. Вольной волею. Необузданной удалью. Лихостью!

О певческом даре этого народа говорить не приходится. Я оглушен был басовыми, набатными голосами здешних мужиков богатырского склада – в плечах косые сажени!– и полонен грудными женскими подголосками – такими стремительными, летучими, хрустально звонкими, что их, казалось, можно было услышать где-то в глухой, глубинной степи – не за одну версту от этих селений...

Да и не только казалось. Так оно и было на самом деле. Помню, припоздав в дороге, мы ехали на утомленных наших лошадях шажком по малоторной степной дорожке, с решением наших старших провести эту ночь в одном из лежавших на нашем пути переселенческих сел – Белоградовке.

Стемнело.

Все глуше и глуше, все затаеннее били в набрякших от росы ковылях перепела. Молодой новорожденный месяц, первозданно блистая в пепельно-зеленоватом небе, стоял на рогу – к ведру. Было тихо. И точно покоренные кротостью и великим покоем этого погожего августовского вечера, наши кони, устало ступая, навострив уши, как бы прислушивались к чему-то, и даже колесные втулки, перестукиваясь, разговаривали сию пору, казалось, вполголоса.

Я, лежа в ракитовом коробке на маминых коленях, бездумно глядел на печальное блистание юного месяца в предвкушении сладкого сна под покровом нашей дорожной палатки из самотканого полога.

И вдруг сердце мое, дрогнув, замерло. Остановилось. Остановилось не только оно. Остановилось – мгновение, и оно было прекрасным!.. Мигом отпрянув от маминых колен, я замер, внутренне похолодев от необъяснимого восторга и счастья.

Именно в это – на всю жизнь запомнившееся мне – мгновение и нахлынул на меня откуда-то издалека поток скорбных, как прощальное журавлиное курлыкание, напевных звуков. Было что-то нездешнее,

ненашенское, неземное в них, и незащищенное отроческое мое сердце горело огнем невесть от чего – от безотчетного восторга или притаившейся где-то возле меня неведомой, темной беды...

Инстинктивно ища надежной защиты у мамы, я прижался щекою к теплой ее груди, и она, почуяв душевное мое смятение, молча гладила меня по голове сухой, горячей ладонью.

Все мы молчали.

Все мы в эти минуты прислушивались к песне, доносившейся до нас – как на крыльях – из окутанной вечерней полумглою притихшей степи.

Я и сейчас слышу эту песню.

Повий, витре, на Вкраину,
Де покынув я дивчину,
Де покынув кари очи,–
Повий, витре, о пивночи!
Миж горами е долына,
В тий долыне е хатына.
В тий хатыни е дивчина,
Дивчинонька-голубонька!
Повий, витре, тышком, нышком
Над румьяным, билым лычком,
Над тим лычком нахылыся,
Чи спыть мыла, подывыся!
Чи спыть мыла, чи збудылась,
Спытай в нэи, с ким любылась,
С ким любылась тай кохалась
И любыты прысягала?
А якшо мэне забула
Тай другого прыгорнула,
То развийся по долыны
И не вэртайся з Украины.

Но вот песня умолкла, медленно угасая, как покинутый путниками придорожный костер в вечерней степи, но еще очень долго она продолжала звучать в

моей притихшей отроческой душе, будя в ней сложное чувство печали, радости и смутной тревоги...

Смирно себе посиживая при надежном обережении – между отцом и мамой – в уютном ракитовом коробке, прикрепленном к жидковатым, выбрирующим на дорожных рытвинах дрожкам,– я поглядывал на окрестный божий мир то широко раскрытыми, то полузаспанными глазами. Поглядывал и не переставал дивиться бесконечно изменчивой, всегда новой, всегда неожиданной, невторичной прелести этого мира.

Прелесть эта таилась почти во всем, что попадалось мне на глаза. В малоторной, сбивчивой, наглухо заросшей проселочной дорожке – бог весть когда-то и кем-то проложенной, и невесть бог – куда. И в этом серебряном бережке промелькнувшего мимо невеликого озерца с мятежными чайками над штилевым его плесом. И в этом печальном, почерневшем от давнего-давнего времени, осевшем набок стожке, должно быть, забытом хозяином сена, и в этих тяжеловесных от утренней росы ветвях прибрежного ракита. И в этом колдовском, яростном свисте вольнолюбивых упругих крыльев стаи диких уток, косо – рывком – перечеркивающих светло-зеленоватое вечернее небо над обнаженной твоей головой...

И вот поутру, когда мы, снявшись с очередного ночного степного бивака, снова тронулись в дальнейший наш путь,– я вдруг во весь голос ахнул. И ахнуть тут было с чего!

А ахнул я – с тревожной радостью, с изумлением, близким к испугу,– увидев вдруг в бесконечной, подернутой легкой утренней дымкой дали великое нерукотворное, неземное чудо. Я увидел огромную, словно сотканную из кинжальных лучей конусообразную, нежно-синеватую световую башню. Словно явясь вдруг – как в иных писаниях и притчах – неким, излучающим тихое иконописное сияние видением, она – величаво, торжественно, державно – как бы парила, плавала в воздухе над разливным ковыльным

морем окрестной степи, под высоким, умиротворяюще кротким и чистым августовским небом.

– Ма-ма-а!.. Ты погляди-ко, погляди вперед. Туда. Это, это што там такое? Это што там светится?– полушепчал я от волнения, указывая простертой рукою на замерцавшее за дальней далью призрачное видение.

– Да это ж, сынок, Синюха! Сопка. Гора такая. Царица урочища Борового!– запросто, буднично произнесла в ответ малопонятные для меня слова мама.

– Не Синюха, а Окжетпес, если назвать тебе ее по-степному, по-казахски. А по-русскому – это такая высокая сопка, што до вершины ее и стреле не долететь из старинного железного лука!– более понятно сказал отец.

И я еще раз ахнул, когда мне тут же сказали, что отсюда – с нашей дороги – до урочища Борового и до его светоносной сопки Синюхи – ни много ни мало – семьдесят с гаком верст!

Если бы знал я в ту пору о семи чудесах света, то восьмым чудом я тотчас же бесспорно назвал бы эту дивную, сотканную из кинжальных лучей световую башню, внезапно воскресшую перед нами в открытой степи, да еще к тому же – с семидесятиверстного расстояния. А позднее, когда, наконец, я увидел воочию и само урочище Боровое во всем его поразительном, почти неправдоподобном первозданном великолепии, я бы назвал и его – уже иным по счету – девятым чудом!

Да это и было чудом. Сказкой. Вымыслом. Незаспанным предутренним сном. Одной из тех пленительных волшебных картин, которые видел я в раннем детстве на осенней Новорыбинской ярмарке. Все здесь было нерукотворным творением природы. Дерзкой игрой творческого ее воображения. Пламенной, пылкой, искрометной ее фантазии. Завидным даром бросающего в оторопь ее вымысла. Раскованной ее волей. Титанической силой. Богатырским размахом. Разгулом. Смелостью. Удалью. Непокорностью никаким

сатанинским силам. Не подвластным ни року, ни недоброму времени, ни безвременью ее мужеством...

Кстати будет сказано, что широко известный ныне в нашей стране курорт Боровое – это воистину окаменевшая легенда. Степной эпос. Кремневая книга. Извечная, древняя тема для импровизаторских сочинений бродячих степных композиторов-домбристов и странствующих по кочевым аулам самобытных поэтов-акынов.

Не один раз слышал я впоследствии из их уст эпические сказания, стихотворные легенды и песни про этот диковинный горный оазис в целинной степи – про урочище Боровое. И в подстрочном, так сказать, прозаическом переводе все они приблизительно звучали вот так.

В день шестой – завершающий день сотворения мира – бог, творец и создатель его, вдруг обнаружил вокруг себя некую груду недорасходованных природных красот мира. И спохватись, он щедро одарил второпях остатками сказочных этих красот и сокровищ – совсем позабытые было им пустынные эти степи...

И вот, наконец, переночевав в дорожных наших палатках на ближних подступах к Кокчетаву – всего в пяти верстах от него,– мы въехали ранним погожим утром в этот заветный, прославленный на все лады Пашкой город.

Проехав от начала до конца всю главную – длиной около версты – городскую улицу, я что-то не заметил ни хваленных Пашкой деревянных мостов-тротуаров. Ни пяти каких-то особенно нарядных церквей-храмов. Ни тем более – пятизлатоглавого, белокаменного собора на городской площади. Площадь эта была такой же пустынной и скучноватой, как и в нашей Пресновке, и украшала ее одна лишь – небогатая с виду, рубленная в лапу церквушка да нарядная, обшитая тесом в елочку каланча.

Главная улица в городе, по которой мы ехали, называлась Потанинской. Оказалось, что названа она

была так в честь знаменитого нашего одностаничника-пресновчанина Григория Николаевича Потанина. Ученого. Путешественника. Отважного исследователя природы и населения Внутренней Азии, а также Алтая и бывшей киргиз-кайсацкой степи – нынешнего Северного Казахстана.

«Всем известно имя Николая Пржевальского, знаменитого русского путешественника,– писал в своей монографии о Григории Николаевиче Потанине, изданной Академией наук в 1947 году, академик Владимир Афанасьевич Обручев.– Но меньше известно,– продолжает он,– широкому кругу советских читателей имя Г.Н. Потанина, изучавшего Внутреннюю Азию в те же годы и совершившего пять путешествий по Монголии, Урянхайскому краю, Китаю и восточной окраине Тибета. А по исследованию природы Монголии и Китая он сделал гораздо больше, чем Пржевальский»,– категорично утверждает В.А. Обручев.

Из этой же обручевской монографии мы узнаем и о том, что в отношении монгольских и тюркских народностей, их быта, обычаев, верований, сказаний, всей их жизни Г.Н. Потанин собрал несравненно больше сведений, чем Н.М. Пржевальский.

И опять-таки в отличие от великого Н.М. Пржевальского знаменитый наш пресновчанин все свои путешествия совершал без военного конвоя, вдвоем со своей женой – Александрой Потаниной, дочерью нижегородского священника Лаврского. Она была одной из тех русских женщин, которые во второй половине XIX века сопровождали своих мужей в далеких их путешествиях, разделяя с ними на равных все труды, невзгоды, опасности, тяготы походной их жизни.

Путешествуя вдвоем с супругой, Григорий Николаевич подолгу жил в иноземных городах, селениях и буддийских монастырях. Входил в доверительно-тесное общение с местным населением, чему много способствовала Александра Викторовна.

Своим присутствием – рядом с мужем – она как бы под-тверждала мирный характер их путешествия и – как женщина – имела доступ в семейную жизнь азиатских народов, наглухо закрытую для стороннего мужчины.

Детские годы прославленного нашего земляка прошли в Пресновке. Отец его, Николай Ильич Потанин, был хорунжим Сибирского казачьего войска и владел в молодости немалым состоянием – тысячными конскими и несметными овечьими отарами. Но впоследствии за некие служебные столкновения с войсковым начальником Николай Ильич попал под суд. Сидел даже одно время в тюрьме. Кончилось все это тем, что он был разжалован в рядовые казаки. А затем и все богатство, унаследованное от родителя, пошло прахом. Он размотал его на взятки судьям. Но – без успеха. И окончательно разорился.

Пяти лет от роду Гриша Потанин лишился матери. Умерла она в то время, когда отец сидел в тюрьме. И воспитанием осиротевшего мальчика занялась двоюродная его сестра, младшая дочь тетки – Лена. Она заменила ему мать. И Гриша полюбил ее так же безотчетно и горячо, как возненавидел в то же время – и с такой же безотчетной, яростной силой – жениха ее, пехотного поручика Спиридона Ваныкина. Возненавидел он – природный сибирский казачонок – пехотного поручика за то, что тот – от невеликого, видно, ума, походя травил ребенка, угрожая ему отнять у него его маму.

Был и такой случай. Однажды Спиридон Ваныкин привязался к мальчику, допрашивая его о том, во что он ценит своих родных – мать, отца, бабушку, тетку. И Гриша, со свойственным детям наитием, почуяв коварство в вопросе поручика, долго соображал о том, как бы это не остаться ему в дураках, и назвал наконец самую высокую – по его убеждению – цену новой матери – в две оловянных рыбки!

Мальчик был твердо уверен, что уж чего там чего, а оловянных рыбок поручику нигде не добыть ни за какие деньги. Однако не миновало и суток, как ненавистный малому казачонку пехотинец вручил ему соблазнительно блестящих рыбок, и тут же, взяв его маму за руку, шутейно повел ее со двора. Протестующе завопив на всю станицу, мальчик по-волчьи вцепился зубами в руку обидчика. А однажды – в приступе черного бешенства – Гриша огрел по спине поручика подвернувшейся под руку палкой. И тем не менее настал день, когда пехотный поручик маму от маленького пресновского казачонка увел...

В те годы наша станица Пресновская была штаб-квартирой пехотного полка и кавалерийской бригады. Командовавший кавалеристами бригадный генерал Морис Эллизен – обрусевший француз на русской службе – питал большое душевное расположение к разжалованному в рядовые казаки разорившемуся отцу маленького Гриши – Николаю Ильичу Потанину. И для того чтобы в какой-то мере выручить его из беды, Эллизен пристроил бывшего хорунжего присматривать за своим большим огородом, а затем поручил ему подрядческий надзор за строительством моей современницы – новой церкви, главный колокол которой так задел и смутил когда-то в отрочестве вспугнутую мою душу...

Пригласив в свой дом казачьего учителя, бригадный генерал взял к себе и маленького Гришу Потанина, чтобы учить его вместе со своими малолетними детьми грамоте. Русскому языку. Арифметике. Географии.

Но кроме, так сказать, чисто школярских, что ли, велись в этом доме добропорядочных Эллизенов и внешкольные, как бы теперь сказали у нас, занятия. Жена Эллизена – широко образованная русская женщина – Мария Павловна Эллизен выписывала из Санкт-Петербурга в Пресновку очень популярный в те времена в передовом русском обществе детский журнал «Зездочку». И тотчас же, как только

приносилась с почты очередная книга этого журнала,– вспоминал потом Григорий Николаевич,– наша полковница Мария Павловна собирала нас – детей – возле своей кровати, на которой любила проводить послеобеденное время, лежа на мягком пуховике, и кто-нибудь из нас – ребятишек – читал тогда вслух стихи и рассказы из этого любимого нами журнала.

Однажды,– вспомнит потом Григорий Николаевич,– Мария Павловна привезла из Омска книжку про Робинзона Крузо. Помню, в тот вечер в доме Эллизенов было много гостей – офицеров пресновского гарнизона и их жен. То было на святках – рождественских праздниках. Людей тьма. И в гостиной. И в зале. И в кухне. Пусто было только в девичьей. Я забрался туда. Зажег свечу. И погрузился в чтение этой книжки. И с первых же ее страниц она пленила, поработила, захватила меня. С необыкновенным душевным волнением читал я ее до тех пор, покуда не пришла в девичью горничная и не погнала меня спать. Вот после этого – памятного мне на всю жизнь – вечера и после этой залпом прочитанной мною книжки и зародилась во мне мечта о дальних странствиях, о путешествиях в иные страны и земли...

В 1846 году Эллизены, покинув Пресновку, уехали в Петербург – определять своих повзрослевших дочерей в аристократический Смольный институт, и Гриша Потанин тяжело пережил эту разлуку. Особенно с Марией Павловной Эллизен, которую всю жизнь потом считал своей духовной матерью.

В этом же году – вскоре после отъезда Эллизенов – отец отвез одиннадцатилетнего Гришу в Омск, где он был зачислен в войсковое казачье училище, преобразованное – три месяца спустя – в Сибирский кадетский корпус. Именно здесь, под сводами этого и ныне украшающего центральную улицу Омска монументального здания минувшего века и произошла знаменательная счастливая встреча двух замечательных – в будущем – деятелей отечественной

культуры – Григория Николаевича Потанина и Чокана Чингисовича Валиханова. Земляков. Талантливейших сыновей своих народов. Подвижников науки. Оба они – в один и тот же год стали воспитанниками этого Сибирского кадетского корпуса.

Но Чокан Валиханов!

Это – давняя любовь и печаль моя. Это особая – с большой буквы – глава в пресновских страницах. И об этом – живой буду – расскажу, как сумею, потом. Где-то там – впереди. После.

Расскажу и о дружбе последнего казахского принца с прославленным нашим пресновчанином – Григорием Николаевичем Потаниным.

Но сперва – про него. Про земляка моего. Про одностаничника пресновчанина – про Потанина.

Опуская некоторые подробности из его героическо-трагической биографии, хочу напомнить о главных, самых значительных ее страницах.

Окончив – вместе со своим сверстником и верным другом Чоканом Валихановым – в 1852 году Омский кадетский корпус, Потанин записался в восьмой сибирский казачий полк, расквартированный в ту пору в Семипалатинске. Выбор этот был для него не случайным. Понаслышавшись от кадетов-одно-кашников – уроженцев так называемой Бийской казачьей линии – о живописных красотах Алтайского края, будущий путешественник преднамеренно избрал этот городок и полк местом своей военной службы.

Ранней весной 1852 года Григорий Николаевич ощутил – как вспоминал он потом – невыразимое счастье в предвкушении дальних странствий. Он получил назначение в казачий отряд, которому было приказано дойти из Семипалатинска до города Копала – это в Семиречье, в семистах верстах отсюда, и затем дальше, в предгорья Тянь-Шаня.

Во время этого первого своего путешествия Григорий Николаевич впервые в жизни – после родных ему пресновских равнин – увидел горы со снежными

вершинами – горы Заилийского Алатау. Скалистые ущелья, нарядные тянь-шаньские ели, бурные горные речки,– все это было неожиданно, ново, увлекательно для пылкого воображения молодого – точнее сказать – юного тогда землепроходца, предопределив дальнейшую жизненную его судьбу.

Но прежде чем достичь Заилийского края, казачий отряд, снявшийся из Семипалатинска, в течение месяца вынужден был задержаться в малоприметном местечке Копал в ожидании генерал-губернатора Западной Сибири Гасфорта. Копал был в то время резиденцией особого порученца Гасфорта – пристава Большой казахской орды майора Перемышльского.

Прибыв, наконец, в Копал и устроив придирчивый смотр экспедиционному отряду, Гасфорт отдал приказ Перемышльскому повести своих казаков в поход с целью занятия Заилийского края.

Преодолев предгорья Джунгарского Алатау, казаки Перемышльского успешно форсировали многоводную, широкую, мутно-глинистую реку Или. На конях они перебрались вплавь. А пушки были перевезены на сооруженном ими пароме.

Миновав безотрадные, пустынные приилийские степи, казаки достигли подножия Тянь-Шаня – величественных и грозных, густо заросших роскошными елями, покрытых вечными снегами гор.

Первый свой бивак, достигнув Заилийского края, сибирские казачьи землепроходцы раскинули на кремнистом берегу реки Алматинки – где-то в центре нынешней Алма-Аты. И тотчас же – неподалеку от этого казачьего военного лагеря – собрались на свое народное вече встревоженные, не шибко, мирно, видать, настроенные к незваным пришельцам заилийские жители – казахи.

Как потом, уже значительно позднее, вспоминал Григорий Николаевич Потанин, это казахское вече было необыкновенно бурным. На нем решался один вопрос – вопрос о замирении или войне с русскими,

вторгшимися в родную страну. Вече раскололось на две непримиримых между собою партии. Одна из этих партий, предводительствуемая баем Таучубеком, настаивала на сражении с русскими, на прогоне их прочь – откуда пришли – за Или. Другая же партия, которую возглавлял столь же влиятельный бай Диканбай, склонялась к миру с русскими.

После трехдневного – можно сказать круглосуточного – спора партия мира взяла верх, и сторонники Таучубека вынуждены были, покинув вече, откочевать затем за ближайший горный хребет – в долину реки Чу.

После пышного пиршества в ставке с замиренными заилийскими аборигенами хана Диканбая, где текли кумысовые реки и клокотали кипящие казаны с бараниной, Перемышльский отвел свой отряд к востоку от Алма-Аты – в долину реки Иссык, где было определено майором место для первой казачьей зимовки. Вот тут-то вскорости расторопные сибиряки соорудили три деревянных дома – один под лазарет, два других – для начальства.

Для рядовых казаков и младших офицеров были вырыты землянки.

Ранней осенью место это выглядело райским. Вокруг были заросли диких яблонь с внушительными по весу, сочными, ароматными плодами,– их тут можно было грести лопатой. А склоны ущелья Иссык были усыпаны абрикосовыми деревьями. И Григорий Потанин, странствуя с утра до вечера по дивным, диким окрестностям лагеря, не мог налюбоваться двумя высокогорными здешними озерами. Альпийскими лугами. Высокими – в пояс – густыми травами. Падающим с гор белой завесой, похожей на дверь в юрту, Иссыкским водопадом. А иссык – это дверь по-казахски.

Но зимовка в Иссыке оказалась неимоверно трудной, причинившей отряду немало тягостных лишений и испытаний. В эту зиму у подножий Тянь-Шаня выпал глубокий – в полтора аршина – снег.

Лошади отряда остались без корма, и половина строевого конского поголовья погибла.

Не в лучшем положении оказались и казаки. Из-за суровой зимы в Прииртышье, да и в Копале, отряд лишился получения продовольствия со своих отдаленных интендантских баз. Перестала ходить даже легкая почта. Уже к концу декабря 1853 года казаки, зимовавшие на Иссыке, остались без соли, мяса и муки. А вместо чая заваривали корни шиповника, вырытые на склонах гор из-под глубокого снега.

К счастью хвативших тут горького до слез казаков, в первых же числах марта наступила ранняя в этом краю весна. Ожили и люди, и боевые их спутники – строевые и обозные кони. И майор Перемышльский поспешил вывести свой отряд из Иссыка снова к берегам горной Алматинки, где с ходу и приступили к строительству Верненской крепости.

И одним из первых строителей этой крепости был – в числе прочих сибирских своих земляков – и Григорий Николаевич Потанин.

Все мы – бывшие пресновские казачата – при-ручались нашими дедами и отцами к топору и к шашке с самого малого детства. Спервоначалу – к игрушечному легковесному топорику, которым, как бы шутейно, ради забавы рубили мы с плеча – шустрые станичные ребятишки – хрупкий худой хворост для пашенных наших костров. А потом, повзрослев, мы уже не чурались и настоящего весомого топора, сноровисто и уверенно орудуя им по любой да хорошей домашней надобности.

Все мы были привычны делать этим топором сами, своими руками. Деревянные рукоятки к тяжелым – как булавы станичных атаманов – пешням. Те же сподручные березовые топорища, отшлифованные до полировочного блеска стекольным осколком. Колесные спицы для домашней телеги на деревянном ходу. Пристяжные вальки для пашенной утвари и для пылких, нагульных свадебных и ямщицких троек...

Ведь недаром же – как сказывали нам, малым детям, наши деды, отцы и матери – и столетняя наша станичная церковь, срубленная в лапу и обшитая разграфленным под кирпич тесом,– была поставлена дивными умельцами одним топором – без гвоздей, долота, стружка и фуганка!

Вот почему и будущий прославленный путешественник – столбовой пресновчанин – был не в отличку от всех нас. Прошедший суровую, строгую школу трудового воспитания у родного – по отцу – дедушки Ильи, маленький Гриша, верный дедушкиной науке, жил потом всю долгую жизнь свою в ладу с топором. Вот потому-то, наверное, с такой завидной ловкостью, мастерством и проворством он – молодой казачий офицер – и зарубил в лапу – на удивление всех нижних чинов – первый венец первого воинского здания в укреплении Верном – штабного управления майора Перемышльского.

Но в укреплении Верном Григорий Николаевич оставался недолго. Тут ему, надо сказать, повезло. Начальнику Копальского гарнизона полковнику Абакумову было поручено – по указанию из Петербурга – отправить в Кульджу предопределенное количество слитков серебра величиною с кусок туалетного мыла. Серебро это слыло за жалованье сотрудникам русского консульства в китайской Кульдже, и доставлялось оно туда время от времени казачьими офицерами в сопровождении небольшого конного конвоя. И молодой Потанин – отроду опаленный пламенной страстью к дальним странствиям – с неприкрытым душевным восторгом воспринял столь высокое поручение. Так, впервые в жизни переступив государственную границу России, будущий землепроходец – на многие и многие годы впредь – связал свою малоуютную жизнь с суровыми маршрутами рискованных и небезопасных скитаний по угрюмым горным дебрям и по угрожающе безмолвным пустыням Внутренней Азии.

Скажу заранее. Незаурядному нашему пресновчанину – с первых же лет военного его обучения и дальнейшей службы – весьма и весьма повезло. Ибо судьбе – или, как прежде говаривали, богу – было угодно свести его со многими замечательными людьми того времени.

Ну, на первых порах – с его однокашником по Омскому кадетскому корпусу Чоканом Валихановым. А позднее – в пору нелегкой, но увлекательной службы его в экспедиционных казачьих полках и отрядах, в годы последующих его путешествий по Монголии, Китаю и восточным окраинам загадочного, запретного для европейцев Тибета,– с такими просвещенными его современниками, каким был – к примеру – тогдашний начальник Копальского гарнизона полковник Абакумов. Именно этому человеку – как вспоминает потом Григорий Николаевич – обязан был он – молодой офицер – первым своим знакомством со знаменитым журналом «Современник», выходившим в ту пору под редакцией Николая Алексеевича Некрасова.

На страницах этого журнала, выписываемого в свой захолустный Копал полковником Абакумовым, впервые познакомился юный пресновский офицер с сочинениями передовых, прогрессивных писателей России. С первыми повестями о детстве и юности, с «Севастопольскими рассказами» графа Л. Толстого. С «Асей» И. Тургенева. С блестящими полеми-ческими статьями Н. Чернышевского, Н. Добролюбова...

И все же. Едва ли не самым, так сказать, везучим событием в долгой, весьма сложной и прямо скажем трагической жизни именитого моего земляка была его встреча, а потом и пылкая юношеская дружба с «последним киргизским царевичем» – сыном последнего хана Западно-Сибирских степей – необычайно одаренным, а позднее и широко образованным, блестящим офицером-степняком на русской службе – Чоканом Валихановым.

Уже в пору пребывания «степного принца» в стенах Омского кадетского корпуса он привлек к себе живейшее внимание тогдашней тамошней администрации, и просвещенные проницательные люди уже и тогда предугадывали в нем будущего путешественника, пытливого исследователя Туркестана, Кашгарии или Китая. И Чокан, заканчивая кадетский корпус, стал всерьез готовить себя к предопределившейся в его сознании будущей его миссии. С юношеской страстью зачитывался он, например, описаниями путешествий Палласа по родной ему – как тогда говорилось – Киргизской степи, по Монголии и Китаю.

Вместе со своим неразлучным другом-однокашником по корпусу Чоканом зачитывался и Потанин описаниями различных путешествий, со страниц которых веяло на иных кадетов дыханием родных степей, ароматом их неярких цветов и трав, милым их сердцу с детства, горьковато-нежным привкусом степной мелколистной полыни...

Омский кадетский корпус был закрытым учебным заведением. Но это не изолировало, так сказать, передовых любознательных его воспитанников от тех или иных связей с внешним миром, от благотворного влияния на них прогрессивной русской интеллигенции. До далеких сибирских городов, а в частности, и до Омска, уже докатывались из глубин России отголоски тамошних революционных потрясений. И у многих кадетов при выходе их из корпуса укрепился в сознании горячий душевный протест против пребывания в крепостнической кабале российского крестьянства.

Но Сибирь, не знавшая крепостного права, испытывала в то время иное социальное бедствие – колониальную политику русского царизма, которая обрекала на вымирание здешние национальности, именовавшиеся тогда «инородцами». И молодой офицер-пресновчанин начал догадываться, например, о том, что огромные конские косяки и тысячные стада

рогатого скота были нажиты дедом его Ильей отнюдь не на скудное его офицерское жалованье.

Конечно же, громадное состояние предприимчивого потанинского деда было приобретено за счет нечестной, полуворовской, хищнической торговли со степными кочевниками и за счет такой же бессовестной эксплуатации так называемых джатаков – в буквальном смысле – безлошадной, неимущей степной бедноты. То были совершенно даровые рабочие руки. За полукаторжный – прямо скажем – их труд зажиточные станичные казаки не платили и расколотого гроша. И чертомелили они только за кусок хлеба да иногда за додаивание уже подоенных хозяйских коров...

В 1864 году – после первого своего путешествия по нынешнему Восточному Казахстану, Монголии и Китаю – Григорий Николаевич, прожив некоторое время в Омске, перебрался затем в Томск.

В отличие от тогдашнего Омска – города военных, Томск почитался сибиряками как город просвещенной интеллигенции. Здесь не было военных учебных заведений. Но было две гимназии – мужская и женская. Плюс – духовная семинария. Издавалась даже еженедельная местная газета, к сотрудничеству в которой Григорий Николаевич привлек своего друга, впоследствии видного путешественника-археолога Н.М. Ядринцева и писателя Шашкова, выступившего в Томске с чтением публичных лекций по истории Сибири. Лекции эти взволновали весь город, в одной из них Шашков под аплодисменты и сочувственные крики всего зала провозгласил, что сибирякам нужен свой университет. В лекциях этих были ярко освещены нравы тогдашнего сибирского чиновничества. Его произвол. Казнокрадство. Или же, говоря старомодным емким словом историка Карамзина,– казнодейство. Взяточничество. Мздоимство. Презрительное отношение к простому трудовому народу.

А между тем идея создания в Сибири своего университета встретила в обеих столицах России – Москве и Санкт-Петербурге и в самой Сибири немало злобных противников. К числу их примыкал и генерал-губернатор Восточной Сибири. Сей сиятельный вельможа безумно боялся, что университет превратится в рассадник так называемого сибирского сепаратизма.

Кстати, автором этого словечка был небезызвестный М.Н. Катков – махровый реакционер-публицист времен царствования двух Александров – II и III. В «Московских ведомостях» он – Катков – напечатал, как теперь бы сказали, целую серию статей, в которых обличал окраины Российской империи в этом самом сепаратизме, то есть в стремлении отделиться от России.

Однако представители «сибирского патриотизма», в числе которых были и члены потанинского кружка, созданного им в Томске, не разобравшись в провокаторском толковании Катковым этого прогрессивного их движения – впоследствии сами – с явным вызовом – стали называть себя «сибирскими сепаратистами». Но ни у одного из этих молодых людей даже и в помыслах не было отделения Сибири от России.

К тому времени – в шестидесятых годах – в Томске, как и в прочих городах Сибири, волны общественного пробуждения, докатившиеся сюда из России, вызывали повышенный интерес к политической жизни и среди здешней молодежи. То тут, то там возникали полулегальные кружки, где читались всякие литературные и политические новинки. Подпольные прокламации. Брошюры. Листовки.

О существовании таких молодежных кружков, возникших в шестидесятых годах в различных городах Сибири, полиция, разумеется, знала и зорко исподтишка наблюдала за ними. Но на особом подозрении был у томской жандармерии потанинский кружок. Ведя за этим кружком неусыпную слежку, полиция, наконец, накрыла всех его участников на

одном из загородных собраний потанинцев и тут же – с ходу – арестовала их.

Вместе с Григорием Николаевичем здесь были схвачены члены его кружка – друзья по Петербургскому университету – Наумов, Ядринцев, Шашков. А затем были арестованы и иркутские «сепаратисты» – Щукин, Колосов и Щапов.

Все арестованные «сепаратисты» были отправлены по этапу в Омск и заключены потом в казематы тамошнего острога – того самого «Мертвого дома», в котором провел четырехгодичное заточение великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, покинувший это мрачное тюремное заведение всего за десятилетие до водворения в него потанинских «сепаратистов».

В конце следствия, длившегося полгода, Потанин вручил следователю письменное признание, в котором утверждал, что был главным агитатором в кружке, ратовавшем не за отделение Сибири от России, а за устранение препятствий, мешавших экономическому и культурному процветанию этого обширного, сказочно богатого, малообжитого края.

И только через три года – все это время потанинские «сепаратисты» провели в Омском остроге – сюда поступил судебный приговор из Московского отделения Сената.

Григорий Николаевич Потанин – главарь и организатор «сепаратского» кружка – был приговорен к 15 годам каторги. Однако, найдя смягчающие обстоятельства, суд сократил срок каторжных работ для Потанина до 5 лет. Все же остальные участники потанинского кружка были отправлены в ссылку и лишены гражданских прав.

Перед отправкой на каторгу в финляндскую крепость – Свеаборг – над Григорием Николаевичем был совершен обряд гражданской казни. В четвертом часу хмурого сентябрьского утра он был доставлен из крепостного каземата в полицейское управление.

Здесь его посадили на нелепую – похожую на степную арбу – деревянную колесницу, а затем доставили на ней под жандармским конвоем к воротам базарной площади, где был сооружен эшафот.

Было холодно. Моросило. Дул мятежный, раскидистый северный ветер. Неуютным, сирым и сумрачным выглядел Омск в этот ранний осенний час. И совсем немного случайных прохожих ошарашенно толпилось, с ужасом взирая на высокий помост эшафота, на котором стоял в сером арестантском халате человек с наголо обритой головой, с подвешенной доской на груди, с грубо намалеванной на ней дегтем надписью – государственный преступник!

Проворный палач с показной нарочитой свирепостью привязал воровинной веревкой руки Григория Николаевича к позорному столбу, а затем закрыл его лицо сорванным с его головы брезентовым капюшоном.

Стояла мертвая тишина. Слышны были только заунывные посвисты сырого студеного ветра. И щуплый, дряхловатый судейский чиновник огласил глуховатым, простуженным, хриплым голосом приговор сенатской комиссии.

После этого мрачного обряда гражданской казни палач – с той же грубой проворностью – отвязал осужденного от столба. Затем Григорий Николаевич снова посажен был на нелепую скрипучую колесницу и доставлен на ней в то же самое полицейское управление.

Здесь в последний раз – перед пятилетней разлукой их – встретился Григорий Николаевич с пятеркой своих друзей по былом кружку, осужденных на тот же срок, что и он, в ссылку, которую суждено им было отбыть в Архангельской и Олонецкой губерниях.

Дав возможность осужденному каторжнику проститься с его друзьями, жандармы доставили его в здание кордегардии, где в комнате караульного офицера ловкий кузнец вмиг заковал на ногах Григория Николаевича весомые кандалы.

Все было кончено.

Свечи былой вольной жизни померкли. И молодой ученый, страстно мечтавший о неведомых странах и дальних странствиях, отправлялся теперь в неблизкое свое путешествие. По терновой дороге, закованный намертво в кандалы!..

Однако спустя два года судьбе было угодно явить к изгнаннику милость, и он получил из Петербурга известие о помиловании. Причиной тому было заступничество П.П. Семенова-Тян-Шанского,– влиятельного ученого, обратившегося с личным ходатайством к шефу жандармов о помиловании Потанина. Шеф не устоял перед авторитетом знаменитого путешественника, и помилование было дано.

Воротясь в Петербург, Григорий Николаевич встретил весьма доверительное, благожелательное, участливое отношение к себе со стороны П.П. Семенова-Тян-Шанского, который – при первой же встрече их – категорично заявил Потанину, что первую же экскурсию в Центральную Азию он оставляет за ним. Здесь же – в квартире Петра Петровича – Григорий Николаевич встретился с другим замечательным путешественником – исследователем Азии – Николаем Михайловичем Пржевальским, только что вернувшимся из первого своего похода во Внутреннюю Монголию. После этого своего путешествия, принесшего отечественной русской науке немало великих открытий, интерес к изучению сопредельных стран Азии возрос необычайно, и Григорий Николаевич – при активном содействии Русского географического общества – стал деятельно готовиться ко второму своему путешествию – исследованию природы и населения северо-западной Монголии.

После этого путешествия, успешно завершенного Г.Н. Потаниным в 1880 году, прославленный мой земляк в течение последующих сорока лет – с 1880 по 1920 годы – совершил еще шесть путешествий. По Монголии, Китаю, северным окраинам Тибета, Большому Хингану

– высокогорному хребту, отделяющему Монголию от Маньчжурии.

По убеждению академика Владимира Афанасьевича Обручева, в будущей истории географических открытий и исследований по Внутренней Азии во второй половине XIX столетия имена трех русских путешественников – Г.Н. Потанина, М.Н. Пржевальского и М.В. Певцова – займут почетное место. Ибо подлинно научное исследование Внутренней Азии началось именно с путешествий этих трех наших соотечественников.

По признанию того же В.А. Обручева, трудно даже сказать, кто из этих трех пионеров географических исследований и открытий сделал за свою жизнь больше. Так, для Северной Монголии, например, и восточной окраины Тибета более других – из них троих – открытий сделал Потанин. Для Китая и Северного Тибета – Пржевальский. Для Джунгарии – Певцов.

Многие из современников, близко знавших Потанина, вспоминая о нем, говорили, что Григорий Николаевич был наделен от природы всеми личными качествами, необходимыми для путешественника. Богатырским – вдоволь закаленным непрерывным трудом, лишениями и невзгодами – здоровьем. Редкостной нетребовательностью. Неприхотливостью. Железной волей. Выносливостью. Совершенным знанием многих тюркских языков и наречий. И, конечно же, самоотверженной, страстной любовью своей к делу, к науке.

Страны Центральной Азии,– как не раз говорил потом Григорий Николаевич,– являлись для него – путешественника – своеобразным музеем, в котором были собраны редчайшие памятники материальной и духовной культуры народов, частично уже исчезнувших. Именно здесь собирал неутомимый пресновчанин свои бесценные – для науки – материалы по народному эпосу, этнографии и редчайшие ботанические и зоологические коллекции.

В 1899 году, спустя шесть лет после кончины Александры Викторовны – верного своего спутника по семи предыдущим путешествиям по Центральной Азии,– шестидесятичетырехлетний Григорий Николаевич совершает – теперь уже в одиночестве – последнее свое путешествие по Монголии. А потом – с 1899 по 1920 годы – до конца дней своей нелегкой, не поскупившейся на невзгоды, лишения и беды жизни великий скиталец почти безвыездно провел в Томске.

В эти годы Григорий Николаевич принимал живейшее участие в общественной и научной жизни Томска. По его личной инициативе здесь и в Красноярске было открыто отделение Географического общества. Благодаря его деятельному участию, в том же Томске было учреждено научное общество по изучению Сибири, объединившее профессоров Томского университета и здешнего Технологического института – единственных в то время высших учебных заведений во всей Сибири.

В 1905 году – в дату семидесятилетия Григория Николаевича – ученый совет Томского технологического института единогласно – при тайной баллотировке – избрал его своим почетным членом. Однако Министерство народного просвещения Российской империи, считая фигуру ученого-путешественника политически неблагонадежной, решительно отказалось утвердить его даже и в этом звании.

Знаменитый – и до конца дней своих полуопальный – земляк мой был организатором первых в Сибири высших женских курсов. Он много писал в газетах Иркутска, Омска, Томска и Красноярска по самым различным вопросам общественной жизни Сибири. И даже на склоне лет своей некороткой жизни удивлял современников кипучей – совсем не стариковской – энергией, активной заинтересованностью, трудолюбием и инициативой.

Нельзя умолчать и еще об одной драме, пережитой Григорием Николаевичем – увы – уже на закате жизни.

Пережив – на многие годы – кончину Александры Викторовны, он, встретившись однажды с сибирской поэтессой Марией Гавриловной Васильевой, по-юношески пылко влюбился в эту женщину, годившуюся ему чуть ли не во внучки... В течение девяти лет – с 1902 по 1911 годы – длилась их активная переписка. И только под осень этого последнего года они, встретившись на Горно-Алтайском курорте Чемал, поженились.

Но новая семейная жизнь счастья на старости лет Потанину не доставила. Спустя шестилетие – в 1917 году – он расстался со своей молодой супругой.

Между тем даже и в эти годы – второй, малоудачной своей семейной жизни – Григорий Николаевич продолжал разработку материалов, собранных им за многие странствия по орбитам Центральной Азии. Воспоминания его об этих путешествиях регулярно печатались в течение пяти лет – с 1913 по 1917 годы – на страницах томской газеты «Сибирская жизнь». Эти потанинские воспоминания охватывали обширный, интереснейший период русской истории второй половины XIX столетия.

Ярко, красочно – с самобытным писательским даром – рассказал Григорий Николаевич в своих воспоминаниях о жизни, о быте, о нравах родного ему Сибирского казачьего войска. О годах учебы своей в Омском кадетском корпусе. О дружбе с Чоканом Валихановым. И о многих иных замечательных людях, с которыми сводила его судьба и на каторге, и в ссылке. И на неторных дорогах и тропах скитальческой его жизни.

Малоотрадным, небезоблачным было и последнее десятилетие потанинской жизни. Именно в эти годы настиг Григория Николаевича тягчайший недуг – катастрофическое ослабление зрения. И кончилось это тем, что он уже не в силах был ни читать, ни писать. Но тут явились к нему на помощь многие из немалочисленных его друзей, став его добровольными секретарями, которым неутомимый пресновчанин

продолжал диктовать свои научные записки и воспоминания.

Однако едва ли не самым верным и бескорыстным потанинским другом, скрасившим как-то последние годы его жизни, была учительница географии томской женской гимназии Наталья Карнова. Восемнадцать лет кряду – с 1902 по 1920 годы – подвижнически служила ученому эта добрая русская женщина.

Сотрудничая с Григорием Николаевичем, Наталья Петровна помогала ему в обработке его воспоминаний и научных материалов, добытых в экспедиционных походах, сама вела дневники. А после кончины ученого она, на основании своих записей, составила био-графию Григория Николаевича, которая ныне хранится вместе с огромным потанинским архивом в библиотечных сейфах старейшего в Сибири Томского университета.

Скончался Г. Потанин 30 июня 1920 года. А последний приют великому скитальцу оказала земля загородного женского монастыря – рядом с гранитными надгробиями двух популярнейших в свое время в Сибири профессоров Томского университета Г.М. Селищева и М.Т. Климентова – страстных патриотов Сибири.

Ныне наша отечественная географическая наука гордится моим земляком-пресновчанином – Григорием Николаевичем Потаниным – этой немеркнущей звездой в ярчайшем созвездии прославленных землепроходцев нашей Родины.

Но вернемся к тому – к такому теперь уже далекому от меня – пригожему августовскому утру 1914 года. В город Кокчетав. На главную его – и тогда и теперь – Потанинскую улицу, шажком – из почтения к ней – миновав в то раннее утро которую, мы – выбравшись за город – увидели вдали – в чистом поле – крылато-белые палаточные городки, так хорошо знакомые нам – станичным друзьям – мне, Пашке и Троньке – по полевым лагерям былых наших Скобелевских сотен.

То были полевые биваки двух Сибирских казачьих полков, дислоцированных – по мобилизационному

распорядку – вблизи Кокчетава. Четвертого – имени Ермака Тимофеева,– сформированного в нашенских Горьколинейных станицах. И – Седьмого – полка так называемых второотдельских казаков, позднее приписанных – как я уже писал – к Сибирскому казачьему войску из приблудных переселенцев глубинных центральных губерний Российской империи.

А на отшибе – верстах в полуторах – от бивачного расположения этих двух полков по-цыгански вольно раскинулся разношерстный табор казачьих семей, прибывших сюда – как и мы, пресновчане,– из дальних и ближних станиц для прощания со своими сыновьями, мужьями и братьями перед уходом их на далекий Западный фронт – в действующую армию.

Едва успели мы – по прибытии на место – распрячь и поставить на легкую выстойку наших лошадей, как тотчас же примчался к нам на своем картинном красавце – чубарке большой наш Иван. По-казачьи лихо, с ходу спешившись с прыткого и нервного своего строевика, он – наспех расцеловавшись с нами – тут же скороговоркой выпалил:

– С прибытием вас. Хорошо что приехали. Вовремя. Самый раз... А то тут привязался ко мне один служивый. Ненашенский. Второотделец. Из Арык-Балыкской станицы. Шустрый. Видать, не из бедных... Набиватся на менову строевиками. Не на баш на баш. С придачей. Да ишо какой – в круглых рублях!..

Ишь ты! Позарился, стало быть?! Да и есть на кого позариться!– само-довольно крякнув, сказал отец, исподволь любовно подглядывая на ивановского красавца – чубарку.

– Оне мне – вместе с его родителем – вот уже пять ден кряду проходу в лагере не дают. Правда, обое – с утра до глухой полночи – в дремучем хмелю. Понужают – не просыхают!.. И до чего дошли?! Сотенный кредитный билет с потретом императрицы Катерины впридачу суют. Ведь это же в нашем хозяйстве – пононешним временам – четыре дойных коровы, тятя!..

– Ух ты, распыхались, володетели!.. Ну, ладно. А у их што там за конь?– воскликнул с непритворным изумлением отец, он явно был задет за живое столь неслыханной и заманчивой – коли поверить тому – придачей!

– Да обнакновеннай строевик. Тоже признатый на полковом их смотру пригодным к походной службе. Шустрый, веселый конь. Чуть разя помельче чубарки. Сивой масти. Белокопытый. В теле...

– А не спьяна оне раскуражились, размахались своей «катериновкой»?!.. Знавали мы издавна этих второотдельских выскочек в казаки! Уж шибко спесивы. Заносчивы и завистливы, язви их мать! Хвастуны. Горлохваты. Матерщинники. Гулеваны!..– даже брезгливо сплюнув при этих словах сквозь зубы в сторону, глуховато пробормотал отец.

И тут – откуда ни возьмись – вдруг, вырвавшись из-за ближней к нашему табору невысоконькой сопки, подкатила с разбегу к нашей палатке богатая, расписная – в розанах – хохлацкая бричка, запряженная парой одномастно-саврасых, упитанных лошадей. В деревянном кузове брички восседал, разгульно правя запальчивыми конями, угрюмо нахохлившийся старик с обнаженной, буйственно взлохмаченной головой. С дремучей веерообразной, перепутанной ветром, прошитой частой проседью бородой. С разметными, грозно сросшимися бровями.

Слева – чуть поодаль от брички – тропотил мелкой иноходью сивый конь под новеньким седлом, с картинно подбоченившимся на нем всадником в полевой казачьей форме.

– Оне!..– торопливо проговорил Иван, косясь на отца, испуганным шепотом.

Подъехав вплотную к нашей палатке, старик – не по возрасту лихо – выпрыгнул из кузова брички наземь и, вытянувшись перед нашим отцом в струнку – по стойке смирно – пробасил:

– Здравия желаю вам, восподин казак первоотдельского войска!

ВСТРЕЧА

На шестые сутки после первой встречи с генерал-майором, Роман выехал из станицы принимать отведенный километров за десять от нее свой эскадрон. Собственно, эскадрона, как такового, строго говоря, еще не было. Было лишь соответствующее по численности этому боевому подразделению количество собранных воедино молодых людей. И люди эти, не получив еще ни коней, ни обмундирования, ни вооружения, были расквартированы в палатках осоавиахимовских лагерей межрайонного кавалерийского клуба. Но, несмотря на все это, они, надо думать, далеки еще были от всего армейского и вряд ли походили пока на лихих кавалеристов из боевых, готовых к отправке на фронт, частей.

Еще накануне выезда в эскадрон Роман, ознакомившись в штабе дивизии со списками личного состава своего подразделения, сделал для себя три основных вывода. Во-первых, значительная часть призванных не только никогда не видала войны, но и не отбывала действительной службы в кадровых частях армии. Сюда относилась преимущественно сельская интеллигенция, призывные годы которой были проведены в техникумах и вузах, – агрономы, землеустроители, зоотехники, учителя. Во-вторых, далеко не одинаков был и возрастной контингент призванных. В-третьих, в эскадроне совсем было не много таких людей, которых знал Роман лично. Все эти три – крайне важных с его точки зрения – обстоятельства

значительно усложнили решение основной, поставленной перед ним задачи. Задача же была такова: в предельно короткий срок надо было суметь превратить этих несколько сот доверенных в его подчинение людей в такую боевую силу, которая была бы способна не только устоять через некоторое время на поле боя перед врагом, но и внушить ему страх.

Роман не мог знать, конечно, сколько дней, недель или месяцев продержится их дивизия в резерве. Но он понимал, что рассчитывать на длительную боевую подготовку в тылу сейчас было, по меньшей мере, безрассудно, сейчас, когда на всем протяжении громадного трехтысячеверстного фронта кипели теперь и днем, и ночью неслыханные по своему ожесточению бои. Стало быть, надо искать какой-то наиболее прямой и верный способ решения поставленной перед ним задачи.

Прямой и верный способ решения!.. В размышлениях над ним Роман провел уже не одну бессонную ночь. Чувствуя всю глубину личной ответственности за судьбу доверенных ему людей, он думал о том, какими путями воспитать из этих избалованных гражданскими вольностями ребят единую, покорную его воле и страшную для врага боевую силу. Многое передумал он, вновь и вновь перечитывая уставы кавалерийской службы. Но, как это часто бывает, почему-то ни разу он не подумал в такие минуты о главном... И вот, как бы совершенно случайно припомнив скупую, но дважды подчеркнутую в разговоре с ним генеральскую фразу о дисциплине, Роман вдруг пришел к простому и строгому заключению о том, что именно только в этом одном суровом и жестком слове и следовало ему искать ключ для решения поставленных перед ним задач. Но одно дело найти верный способ решения задачи, другое дело – решить ее. По личному опыту армейской службы Роман знал, как нелегко иногда дается иному солдату это безоговорочное подчинение воле командира и как

трудно бывает подчас самому командиру быть твердым в своих решениях, оставаться всегда и при всех обстоятельствах верным чести и воинскому долгу, а не подвластным личному чувству или случайным минутным колебаниям собственной души...

Вот с такими тревожными размышлениями о чувстве долга, о Родине, о России и о предстоящем знакомстве с бойцами своего эскадрона и выехал Роман на Султанке во втором часу пополудни в лагеря.

Было жарко. Шафранное солнце томилось над голубой от полдневного зноя степью. Зеленое пламя пшеничных массивов стлалось вдоль тракта. Одуряюще горек был запах желтых полыней. Но сквозь эту сухую и желчную горечь пробивался чуть внятный, сладковатый на привкус аромат цветущего хлеба. На оплодотворенных, утомленно клонящихся колосьях пшеницы сгущалась уже под солнцем молочная завязь зерна. Глухой и пустынной была смягченная байковой пылью степная дорога в этот полуденный, яркий от зноя час. И, как в детстве, пахла эта дорога густым, как осенний мед, ароматным и вязким дегтем, хотя и неведомо было, откуда мог взяться деготь в краю давно забытых прадедовских телег...

Застоявшийся за последние дни в душном и сумрачном стойле Султанка, снова вырвавшись теперь на привычный степной простор и почуяв загудевшую в жилах волю, плохо владел собой. Горячась под сильным и властным своим седоком, он, зло, заламывая уши, капризно выгибал колесом свою тугую атласную шею и подрагивал от напряжения, готовый, как поднятая выстрелом птица, сорваться в любую секунду и ринуться сломя голову в стремительный косой полет. Но Роман, собрав в кулак предельно укороченный повод уздечки, не давал ему ходу. И озорной сорванец, сердясь и бунтуя, все же не в силах был дать полную волю своим приплясывающим на иноходи, нетерпеливо взрывающим дорожную пыль, ногам.

Несмотря на жару, Роман чувствовал себя в седле необычайно собранным, легким в движениях и бодрым, словно он только что выкупался в прохладной северной воде. Ощущение собственной силы и власти над этим, покорным воле его, капризным и вспыльчивым конем возбуждало и радовало Романа. А острый спиртовый запах новой седельной кожи и горький, густой аромат млеющих на солнцепеке придорожных цветов и трав были приятны, как легкое опьянение, отчего даже слегка кружилась голова, точно и в самом деле золотые шмели хмеля начинали шуметь, озоруя в молодой и горячей его крови.

Роман настроен был продумать за эту дорогу в лагерь некоторые сугубо практические вопросы, связанные с его предстоящей деятельностью в эскадроне. И он, действительно, попытался додумать некоторые детали вчерне заготовленного расписания и попутно решить кой-какие хозяйственные дела. Но необычайное возбуждение и беспричинная радость, овладевшие всем его существом, лишали его трезвого и строгого размышления об этих вещах, и он даже испытывал теперь некоторую неловкость за то нечто мальчишеское, озорное и сумасбродное, что так, должно быть, некстати и не к месту вдруг проснулось в нем. В самом деле, в такую ли минуту было думать ему о том, какой, например, под ним чудесный и наверняка уж лучший в дивизии конь, каким, надо полагать, внушительным, видным и бравым выглядит на этом коне он, слегка приподнявшийся на стременах, подвижной и превосходно подтянутый всадник!

Но, как ни осуждал себя Роман за это мелкое, мальчишеское тщеславие, все же оно довлело над ним. И его, как ребенка, радовали в эту минуту и новая, отлично сидящая на нем, точно влитая в него, полевая офицерская форма, и щегольской блеск портупей, и ощутимо отягощавшая ремень кобура с пистолетом, и приятное поскрипывание веско повиснувших с седла

переметных сум. А золотые шмели легкого хмеля продолжали отчаянно гудеть у него в голове, и безотчетная, но физически ощутимая радость с разлету врывалась в крылатое, светлое его сердце и шумела и буйствовала в нем, как растекающееся по жилам искрометное и жаркое вино.

И вот, вместо строгого размышления о строевом расписании, мелькали в голове у Романа бог знает какие непозволительно легкие и непоследовательные, не по возрасту восторженные и беспечные мысли о том, что не имело ни прямого, ни косвенного отношения к вещам, о которых, казалось бы, должен думать был в такую пору обремененный заботами о своем эскадроне боевой командир.

Великое безмятежное небо плыло над знойной степью, и Роман, любуясь его непорочным, безоблачным блеском, радовался голубому его огню. Косые тени орлиных крыльев неслышно скользили по придорожным хлебам и травам, и Романа волновал этот круговой и медлительный, непонятный, как в сновидении, птичий полет. И все это было полно теперь для него каким-то особым значением и смыслом. И все это глубоко трогало, тревожило и радовало его. И никогда еще, кажется, не дышалось столь глубоко и легко Роману. И никогда еще, кажется, не любил он так этой полной тепла, движения и света жизни и не испытывал прежде с такой остротой реальной радости бытия. И от полноты этого большого и сложного, необыкновенно светлого и чистого чувства, которому не было ни имени, ни названия, но которое завладело всем его существом, Роман, – как это только делал он в минуты большого волнения в детстве, – на мгновение прикрыл глаза. Но, смежив веки, он не мог не улыбнуться, вспомнив в это мгновение о Маше, и ясно увидел перед собой промелькнувшее в мимолетном видении ее лицо.

Он не сразу осмыслил и понял, что источником его необычайного, полухмельного душевного просветле-

ния и безотчетной крылатой радости, ярко озарившей все его существо, было это простое, доверительно открытое, промелькнувшее в мимолетном видении девичье лицо. Но он тотчас же почувствовал, что во всем этом знойном сиянии и ярком тревожном блеске июльского полдня, в неповторимом великолепии стремительно взлетающего над его головой высокого безоблачного неба и в овеянной прозрачной дымкой жарких полуденных марев великой окрестной степи, – везде и всюду таилось очарование этого прелестного девичьего облика. И только одно это ощущение незримой близости Маши делало Романа счастливым и могло так взволновать, встревожить и обрадовать его. И вот в голове его, слегка охмелевшей от звенящего шума золотых шмелей, прозвучали в эту минуту прозрачные строки из чьих-то, удивительно созвучных его душевному состоянию, тревожно-светлых и ярких, как этот полдень, стихов:

Простертые в кипучий пламень дня,
Твои живые, трепетные руки,
Вглядись, – опять касаются меня,
Мой милый друг, меж нами нет разлуки.

А между тем живые и трепетные руки Маши никогда на самом деле не касались Романа, и отношения между ними в жизни были несколько иными, чем те, о которых говорилось в этих все же глубоко правдивых и жизненных стихах. Несмотря на довольно частые встречи с Машей, между нею и Романом никогда не возникало даже самых неясных, приближенных хотя бы к полунамеку разговоров о чувстве взаимной близости, хотя оба они за последнее время все настойчивее и прямее искали друг с другом встреч. Но, встречаясь, они были по-прежнему далеки от признаний в невольном тяготении друг к другу и непринужденно строги и даже несколько холодны в обращении одного с другим. Однако все это не мешало

Роману хорошо, тепло и много думать о Маше, как о самом светлом и чистом создании, и его окрыляла и радовала одна лишь мимолетная мысль о том, что есть на этом свете такое необыкновенное создание, при воспоминании о котором светлело на душе.

Теплыми потоками света озарена была душа Романа при мысли о Маше и сейчас. Сдерживая беснующегося под ним Султанку, полусмежив воспаленные знойным блеском глаза, он с упоением стал думать о своей последней, быть может, в жизни встрече с этой необыкновенной девушкой в канун отправки на фронт. И опять, как это было с ним года полтора назад, в ту далекую, похожую на сновидение, вьюжную зимнюю полночь, возник перед встревоженным воображением Романа строгий и цельный облик девушки с трогательными прядками выбившихся из-под платка милых пепельных ее волос, с нежарким румянцем на смуглой и нежной девичьей коже. И снова, как в ту ночную метель в декабре, он и теперь средь июльского знойного полдня ощутил тепло спокойного глубокого и непорочного девичьего дыхания и холодок жестко сомкнутых, невинных и надменных ее губ. Опять и проникновенно и в то же время как будто холодно смотрели на него, затемненные густыми ресницами, неразгаданные и темные, точно подернувшиеся ледком, девичьи глаза.

Он дорого заплатил бы за встречу с нею в такую минуту! Но, не успев подумать об этом, – стремительным броском Султанка вынес его на гребень увала – Роман от изумления и от перехватившего на мгновение его дыхание острого и внезапного, как тревога, душевного трепета привстал во весь рост на стременах и резким рывком поводьев осадил коня. Слегка осев на задние ноги, Султанка сделал свечку, и взвихренная пыль дороги задымилась вокруг проплясавших на месте розовых конских копыт.

Впереди, осторожно спускаясь к дороге с крутого пригорка, шла, ритмично покачиваясь под коро-

мыслом с полными ведрами воды, Маша. Босая, в светленьком смывшемся ситцевом платьице, в небрежно накинутом на голову голубеньком материнском платке, выглядела она издали уже не реальным, а примерещившимся Роману миражем, рожденным жарою этого немилосердно яркого и тревожного от голубого сияния в степи и в небе дня.

Роман, ошеломленный столь внезапным видением, ощутил даже нечто вроде робости, смятения, испуга и, совсем как мальчишка, растерялся, не смея сдвинуться с места и не зная как быть. Султанка, закусив удила, приплясывал на копытах, тщеславно отбивая на месте в совершенстве усвоенный им испанский шаг. А Роман, не сводя посветлевших и сияющих глаз своих с приближающейся к дороге и, видимо, не замечающей его Маши, чувствовал, как у него деревенели упершиеся в стремена ноги, а в осатаневшем от гулкого боя сердце нарастал озноб. Больше всего он почему-то боялся сейчас того, что Маша заметит его, и готов был уже исчезнуть, как привидение, лишь бы не попасться в эту минуту на ее глаза.

Однако минутой позже, когда Маша спустилась с пригорка и вышла на дорогу, Роман, словно опасаясь потерять ее из виду, взял коня в шенкеля, и обрадованный посылом Султанка птицей ринулся вниз с увала, оставляя позади себя тяжело колеблющийся над дорогой пыльный шлейф.

Заслышав дробную иноходь смягченного пылью конского топота, Маша, не оглядываясь назад, свернула с дороги и продолжала, как ни в чем не бывало, идти по колено в цветах и травах придорожной межой. Роман же, не совладав на этот раз от волнения с Султанкой, пролетел на полном карьере мимо изумленно взглянувшей на него девушки далеко вперед и только потом, дав круг по густому и рослому ржаному массиву, развернул озлобленного резким рывком Султанку и, спешившись у самой дороги, решительно направился навстречу Маше, ведя коня на поводу.

– С полными ведрами – к счастью, – проговорила Маша вместо приветствия, издали, улыбаясь Роману и опасливо покосившись на дрогнувшие при том под коромыслом ведра, в которых пошатывалась, готовая выплеснуться наземь, вода.

– Хорошая примета... – ответил, приближаясь к Маше и неясно улыбаясь ей, в свою очередь Роман.

Поравнявшись с девушкой, он почтительно отступил в сторону, а Султанка послушно стал за его спиной. Слегка пригнувшись, Маша бережно опустила переполненные тяжелые ведра на землю и, освободившись от коромысла, выпрямилась, утомленно провела тыльной частью ладони по пылающему от зноя лбу и, тяжко вздохнув, сказала:

– Ох, господи. Это надо – такая жара...

– Жар костей не ломит, – глупо сказал Роман. Тут же почувствовал всю нелепость и неуместность этой, невесть как сорвавшейся с его языка, убогой фразы.

– Что это вы, как старик, философствуете? – удивленно подняв на него свои большие и темные глаза, насмешливо проговорила Маша.

– Что делать! Не молод...

– А еще воевать собрались!

– Воевать – да...

– Не страшно?

– Не скажу. Не испытывал.

– А все же, как вы думаете?

– Думаю, что бесстрашных людей в природе не существует...

– Вот это интересно.

– Что же тут нового?

– А то, что вы сейчас говорите.

– Ничего нового я, кажется, не сказал.

– Для меня это ново.

– Что же тут нового?

– Ваше признание...

– В чем, Маша?

– В трусости.

– В трусости я не признавался. Вы не совсем правильно поняли меня. Одно дело – трусость. Другое дело – чувство страха. Последнее, думается мне, присуще каждому из нас. Но в условиях, скажем, боя от этого чувства солдату надо суметь освободиться.

– А вы уверены, что сумеете?

– Постараюсь...

– Обязаны, в вас верят.

– Кто?

– Народ.

– Слишком общо, Маша. О каком народе вы говорите?

– Могу конкретнее. О нашем. О русском.

– Громко сказано.

– Ничего громкого. Я знаю, что говорю... Вот видите, какого чудесного коня вам старики подарили.

– Коня – да. Превосходный конь...

– И коня. И шашку.

– И шашка отличная. Боевая...

– Сколько вы ею немцев зарубите?

– Затрудняюсь ответить. Но пока буду держаться в седле, постараюсь рубить, не считая.

– Вас не убьют. Вы удержитесь.

– Правда?

– Верьте мне. Я вам говорю...

– Благодарю вас, Машенька.

– Не за что.

– Я буду помнить об этом и верить вам.

– И правильно сделаете, если... сумеете помнить и верить.

– Такое не забывается.

– Далеко не всегда. И не каждым. Вера – это талант: с нею надо родиться.

– Умно сказано.

– Иногда мне это удается...

– Определенно.

– Вот конь у вас божественный – это определенно... Видите, как любят вас и ценят.

– Положительно не могу знать – за что.

– Не скромничайте!

– Это не скромность. Уверяю вас, Машенька. И больше того, я, если хотите, тут даже ни при чем...

– Ах, вот даже как!

– Точно. Ибо в поступке стариков, подаривших мне эту шашку и лошадь, я, прежде всего, увидел глубокую и чистую любовь нашего народа к своей родине, к отечеству нашему, к России. И это взволновало меня.

– Ну, это, в сущности, все равно.

– Нет, это не совсем все равно, Маша.

– Ах, господи! Но ведь коня-то подарили все же вам, а не мне.

– Вам такой конь меньше всего нужен...

– Я люблю лошадей.

– Верю, Машенька... Обещаю – когда закончим мы эту войну и я вернусь восвояси, – немедленно подарить вам вот это свое сокровище. Смотрите, какой он у меня умница. Согласны? – проговорил Роман, улыбаясь, и, полуобернувшись к присмиревшему за его плечами Султанке, ласково пощекотал его между встревоженно взброшенных острых, как мечи, ушей.

– Ну, вы просто, я вижу, не расположены сию секунду к серьезному разговору. Это, наверное, жара на вас действует. И губы-то у вас запеклись. Хотите воды? Холодная. Ключевая, – продолжала Маша полушутя, полусерьезно.

– Воды – да... – поспешно ответил Роман, обрадованный возможностью изменить, наконец, тему возникшего разговора. Пить ему не хотелось. Но он, приподняв с земли ведро, торопливо припал к его закрайкам спекшимися не от жары, а от волнения губами и долго тянул не отрываясь мелкими, скупыми глотками студеную, пахнущую мхами и травами влагу, приятно холодившую в сухом и прогорклом рту.

А Маша, осторожно касаясь ладонью тревожно подрагивающих от ее прикосновения замшевых Султанкиных губ, рассказывала Роману:

– Пятое коромысло несу воды. Одолела нашу действующую армию жажда – не успеваю развертываться... Вон за теми березничками – табор нашей малолетней бригады. Мы с позавчерашнего дня рожь там лобогрейками начали убирать. В бригаде у нас одни школьники. Семиклассники. Малыши. Армия с виду не очень внушительная – один одного невзрачней и меньше. Потому-то правленцы на первых порах и не очень уверовали, видимо, в наши силы. А для того только, чтобы как-нибудь с грехом пополам отвязаться от нас, и лошадей-то подсунули нам не ахти корыстных, да и лобогрейками-то тоже такими уважили, которым давно бы уж по музеям красоваться пора. Вот отчасти от этого всю мы первую нашу упряжку не косили, а мучились. Представьте, и кони-то у нас не тянут. И буксы-то греются. И крылья-то у наших машин не машут. И хлебные горсти с платформы на жниву путем не сбрасываются. А тут еще аспидный зной. Паутов тучи. Лошади в постромках падают. Ад. Солнце – к обеду, а косари наши по-прежнему вокруг да около межи крутятся. Словом, смотрю – беда. Пропали ребята. И лошадей замордовали. И хлеба убранного не видно. И ржи сколь перемяли – страсть. Конец упряжки. Отстрадовались. Что теперь делать? Разбегаться с поля? В станицу стыд глаза показать. Выпрягли. Коней – на выпас. Сами – на межу. Обед приготовила – ложкой никто не дотронулся. Не до еды. Один выход – реветь. Заревели. Я – первая. За мной еще кто-то... Некоторые похрабрее крепятся: морду – в ковыль и сопят.

– Весело, – сказал Роман. Увлеченный рассказом Маши, он забыл даже про ведро с водой, тяжко повиснувшее в правой его руке, и, слушая девушку, то необыкновенно ярко и почти восторженно улыбался, то, сообразно с тоном рассказа, лицо его вдруг обретало необычайно строгий, сосредоточенный и даже суровый вид.

– Дали мы это ревака одну очередь, – продолжала Маша, – надулись, как у тещи на именинах. Сидим

сиднями на самом жару. Пот с нас градом. В башках от зноя звенит. До березников рукой подать, а у нас даже и в тень нет воли убраться. Полная депрессия, словом. Молчим. Сопим, как локомотивы... Вдруг откуда ни возьмись – сам дед Богдан на своем Савраске из-за березников к нам катит. Представляете, знаменитая его – на деревянном ходу – прадедовская телега, которой он больше всего гордится: чистым дегтем от нее хорошо, правда, пахнет... На телеге огромный допотопный осмоленный бат из столетней осины и весь в жестяных заплатах. А в бату – Богдан в облаках сетей, морд, котцов, вентилей и прочей нехитрой рыболовной снасти. Лицо – в седине, как иконописный лик древнего письма самого Саваофа в серебряной ризе. Вот еще, думаю себе на уме, не было печали: не ко времени же тебя сюда занесло. Тут и без тебя впору горе веревкой завязывать – глаза ничему не рады.

– Вот именно... – неопределенно поддакнул Роман, не зная еще толком, что ему сделать – встревожиться или улыбнуться.

– Ну, коли едешь, – катай, думаю, – продолжала, передохнув, Маша. – Теперь уже от его непрошенного визита никуда не денешься. Сижу. Жду. Злая. Даже глаза воспалились. Гляжу – подъезжает... Натянул против нас свои некорыстные – узел к узлу – воровинные вожжи. Остановился. Мы с мальчишками на ноги. Первыми стоя с ним поздоровались: там пусть он будет десять развредный, а все же старик, – такие годы, сообразили мы, уважать надо. А ему это, видимо, пришлось по душе. Он в ответ на наше приветствие даже фуражки своей рукой коснулся и сам слегка из ладьи привстал. Но глаза из-под дремучих и белых как лунь бровей смотрят на нас недоверчиво, хмуро. А как глянул он затем на полосу и увидел нашу работу – вижу, на старике и лица нет. Заходили у нашего деда дремучие брови, как ракитовые кусты в бурю, и в роскошной бороде у него точно ураган загулял. Чую, осатанел старик. Пропали ребята! А картина перед ним предстала,

должна вам признаться, и в самом деле аховая. Там, где с грехом пополам прошли по массиву наши лобогрейки, скошенную ими рожь будто вихрем перекрутило: где с платформы с добрую копну сброшено, а где и навильника, понимаете, нет – ничего в нашей кошенине не разберешь – каша. А тут еще краше: добрая половина колосьев по жниве целехонькой на корню стоит. Режущий-то аппарат у наших машин не косил, а, захлебываясь в густой и высокой ржи, просто-напросто рвал ее сегментами, подминал под зубья, пережевывал. Позднее-то мы раскусили, в чем было дело: рамы правильно, дураки, не сообразили отрегулировать – вот она у нас и заедала. Словом, настрадовали так, что наш старик и дара речи на первых порах лишился, глядя на нашу работу.

– Я думаю! Выпороть не грозился? – молвил Роман, ставя, наконец, на землю ведро с водой и дав теперь уже полную волю давно клокотавшему в горле смеху.

– У-уу, подвернись сгоряча под руку – не постеснялся – выпорол бы. Недаром с кнутом в руках из бата, как угорелый, выскочил. Я и то на всякий случай в оба кругом поглядывала, – продолжала, смеясь и возбужденно сияя глазами, Маша. – Вы понимаете, выскочил он из своей ладьи и дуй – не стой прямо на полосу. Замерли мы на месте. Стоим. Не дышим. Смотрим, что дальше из нашего деда будет. Добежал он до ржи. Встал на жниву. Огляделся вокруг. Хлопнул себя по бедрам. Сплюнул с ожесточением в нашу сторону. А затем прошелся волчком вокруг лобогреек – к нам... Уж кому-кому, а мне, как затейнице этой уборки, перепадет, думаю... Стою – слюны боюсь проглотить. Вытаращила на него свои храбрые глаза – не мигаю. А он, представьте себе, подошел к нам и вместо крика заговорил до того спокойно и тихо, что мы от удивления и рты поразинули. «Ну, – говорит, – покорнейше вас благодарствую, колхозные детушки, за вашу работу. Уважили за родителей. Отмочили.

Старые-то люди по мирному времени старались, ночей не досыпали, торопились, сеяли, господь уродил урожай на славу. А вы добрались вот и весь божий дар на корню нерадением своим погубить решили. Нечего сказать – утешили старших в такое грозное время! Отцы-то ваши вон в поход собираются. От басурмана вас, варнаков, на поле брани идут защищать. Им теперь не до страды, когда держава все христолюбивое русское воинство на бранное дело подняла. Эвон, какое богатство на руки баб да малых детей трудолюбивые люди, идучи в битву, оставили. А вы тут хуже недругов над божеской благодатью кощунствуете. Гнать вас прочь с полосы за такую работу? Кто же станет тогда весь этот океан-море хлеба к рукам прибирать? Ветру пустим на разорение? Черного ворона отборным зерном станем кормить? Отвечайте мне, варнаки. Я вас спрашиваю!» Молчим. Что тут скажешь? Я и ушам своим не верю. Господи, думаю, от Богдана ли все эти золотые и жестокие речи слышу? Его ли это язык звучит?.. Вижу: стоит он перед нами – огромный, прямой, седой. И борода, как шитое позументом знамя, сверкает на солнце. И брови как орлиные крылья – зачем только не гудят? Стоит, полузакрыл свои тяжелые железные веки, ждет наших слов. А у меня от волнения в горле все пересохло. Смотрю на него, как дура, и слова сказать не могу... Вдруг один из мальчишек – от земли его не видать – Савка Ситников – есть у нас такой сорванец отпетый – возьми да и брякни: «Разрешите,– говорит, – мне два слова сказать... Работа наша, товарищи, действительно, можно сказать, позорная, срам смотреть. И критику мы вашу, дедушка, целиком и полностью признаем – принципиальная критика. Только вот беда – в порядке самокритики, скажем – конфузить-то нас готов за такое дело, походя, каждый встречный и поперечный, а вот доглядеть за нами да помочь в беде нашей – тут его нет!» Вот так, например, отрапортовал старику – не в бровь, а в глаз. Ну, думаю, поддел ты опять за живое деда – поднимется обратно сейчас ураган... И что же вы

думаете? Пригляделся к нашему Савке Богдан, подвигал седыми бровями и молвил: «Разумные речи от парня слышу. Храбрый, хозяйственный человек говорит. Хорошо. Если вы во мне понуждаетесь, согласный буду, пожалуй, остаться с вами до вечера. Так уж и быть, присмотрюсь к вам, работники. Может, из вас ишо и выйдет толк...» Ну, мальчишки мои в восторге. Да и я земли под ногами не чую. Сердце во мне поет... Привели мы по приказу Богдана лошадей. Осмотрел он наше тягло. Подогнал по коням хомуты. Примерил всю сбрую. Запрягли. Господи благослови! – тронулись. Ну, на первом кругу, правда, то и дело вставали. К машинам Богдан присматривался: то раму, то крылья заставит подрегулировать, то сам сядет на лобогрейку и покажет, как сподручней и правильней хлебную горсть с платформы на жниву положить. А затем смотрю – совсем другая пошла работа. И лошади у нас дружней потянули. И буксы, понимаете, перестали перегреваться. И на скошенный хлеб любо посмотреть: горсть лежит – колос к колосу, а жнива как под гребень острижена – чистым-чиста! Ах, господи, не труд, а поэзия!

– Д-а-а, золотой старик. Золотой... – с раздумьем проговорил Роман. И он внезапно ощутил вдруг приступ такой мгновенной и острой тоски по тому вдохновенному, тяжкому и горячему труду в страдную пору в поле, о котором так живо и ярко рассказывала Маша, что добродушная и долго не меркнувшая во время рассказа его улыбка, порывисто, как пламя свечи от ветра, тотчас же погасла на его лице.

– Золотой. Золотой... – восторженно подтвердила Маша. – И, вы понимаете, до сих пор он с нами. День-деньской с полосы не уходит. С мальчишками строг, правда. И на похвалу не очень-то щедр. Однако ребятишки, надо сказать, изо всех сил стараются в грязь лицом не ударить. Каждый теперь норовит перед строгим дедом и силу, и ловкость свою проявить.

Она и в самом деле как будто светилась от радости и так, взволнованная, восторженная и яркая, стояла средь дороги перед Романом, что он, словно ослепленный ее сиянием, даже несколько жмурил глаза. Умолкнув после своего затянувшегося рассказа, Маша заметила внезапно погасшую на лице Романа улыбку и, с тревогой приглядываясь к нему, спросила:

– Позвольте, а вы почему такой грустный?

– Грустный? Ну, нет. Наоборот... – ответил Роман. И скупо улыбнувшись при этом, он ощутил прилив такой нежности к Маше, что на мгновение у него потемнело в глазах.

– Ничего не наоборот. Я же чувствую...

– Ничего вы не чувствуете. Ничего... – сказал Роман, беря ее за руки и ощущая при этом, как земля начинает стремительно уходить у него из-под ног.

– Чувствую. Чувствую... – твердила Маша, не понимая и не помня уже, зачем и к чему она это говорит.

– Грустно вот расставаться с вами, Машенька. Это вы не чувствуете?

– Со мною? Ну, это у вас пройдет.

– Нет, это не может пройти, Маша.

– Уверяю вас.

– Не уверяйте в том, во что сами не верите.

– А вы откуда взяли это, что не верю?

– Вижу.

– Ничего вы не видите.

– Вижу, вижу... – глупо повторил Роман, как и Маша, не совсем понимая в эту минуту значение и смысл слов, которые зачем-то он говорил.

С минуту они стояли среди пыльной дороги неподвижно и молча и, как дети, держа друг друга за руки, с тревожным изумлением смотрели один другому в лицо. Присмиревший за плечами Романа Султанка, настороженно взбрасывая свои, похожие на мечи, уши, словно прислушивался к чему-то, ревниво поглядывая на забывшего о нем хозяина и осторожно касаясь изредка мордой его спины.

И вот Роман, сам толком не понимая, как это могло с ним случиться, одним порывистым и резким движением рук привлек к себе Машу. И она, легкая и трепетная, как птица, с разлету упав к нему на руки, зажмурилась, ощутив на своей щеке ожог от жестких и требовательных мужских губ. Какую-то только ли долю секунды, минуты, иль целую вечность полулежала она в кольце сильных и властных Романовых рук, – Маша не знала, не думала, не представляла. Но у нее было такое ощущение, точно она взлетала при взмахе гигантских качелей и тотчас же падала с головокружительной быстротой в голубую, полную звуков и света бездну. С остановившимся от восторга и ужаса сердцем, готовая и умереть, и воскреснуть, она взлетала и падала на светлых крыльях мгновения, и в сердце у нее били колокола...

КРЕМЛЕВСКАЯ ТЕЛЕГРАММА

Рассказ-быль

1

Большая наша республика – Казахстан.

Есть у нас высокие горы, дремучие леса и бурные реки на юге. Есть у нас глубокие озера, березовые рощи и привольные степи на севере. Все это можно увидеть на красивой цветной географической карте в школе. Горы на карте нарисованы коричневой краской, озера и реки – голубой, степи – зеленой. Города на картах рисуются большими кружочками, аулы и села – маленькими.

А вот колхоз «Баян», о котором рассказывается здесь, не найдете ни на какой карте. Его не только маленьким кружочком, а точкой и то не отметили. Это, наверно, потому, что «Баян» – маленькое селение. Таких небольших колхозных сел и аулов очень много в степных просторах нашей республики, и всех их не нарисуешь, даже на самой большой и красивой карте!

Далеко от этого колхоза до Алма-Аты. А еще дальше – до Москвы и до московского Кремля. И не только на географической карте, но и в степи нелегко разыскать заезжему человеку это маленькое селение. Летом его белые глиняные домики прячутся за густой березовый лес. Зимой их заносит до крыши снегом.

Но хоть маленький это был колхоз, а слава о нем прошла однажды по всей стране большая.

И вот как это случилось.

2

Когда началась Великая Отечественная война, в колхозе «Баян» остались одни старики, женщины да дети. Все лучшие – самые сильные и ловкие, самые молодые и храбрые джигиты аула ушли на войну. Ведь война была самой трудной и самой главной работой!

...Джигиты ушли воевать. А в колхозе остались большие поля неубранного хлеба. Лето в тот год стояло жаркое. Рано и дружно поспевала золотая пшеница.

То-то было веселья и радости до войны в страду колхозным ребятам. Очень интересно смотреть, как работают на уборке хлебов умные машины – комбайны. Можно было прокатиться с трактористом на тракторе, с лобогрейщиком – на лобогрейке, с комбайнером – на высокой штурвальной площадке комбайна. Можно было поиграть в прятки среди копен и снопов сжатого хлеба или вдоволь поваляться на золотой шелковистой соломе.

Даже старый Ералла – полевод колхоза – никогда не бранил детей за такие забавы. Он не прогонял ребятишек с колхозной полосы.

– Пусть себе порезвятся, только им и достанется! – говорил добрый и старый дед Ералла о колхозных детях.

И дети резвились, когда работали взрослые и всякие умные уборочные машины.

3

Но как скучно и пусто стало в маленьком колхозе, когда ушли на войну джигиты! А выйдешь в степь – и там не веселее. Хмурым стал старый полевод Ералла. Не весел был и председатель колхоза. Еще бы им быть веселыми, если пшеница созрела, а убирать было ее некому. Машины все были на полном ходу, а мастеровых людей на них не хватало. Задумались колхозники:

– Что будем делать?

Вот тут-то и пришли им на выручку колхозные дети. А случилось это вот как.

4

Самым бойким и смелым среди баянских школьников считался двенадцатилетний Ерекеш. Он был мал ростом, но зато так ловок и силен, что никто его не мог побороть из ребятишек. Это был хороший наездник. На байге его конь всегда приходил первым. И поэтому взрослые люди называли Ерекеша джигитом. А среди школьных сверстников слыл Ерекеш вожаком и затейником во всех самых интересных играх. Ему подчинялись почти все баянские ребятишки: что он им скажет, то они и делали.

Отец и два старших брата Ерекеша ушли на войну. Отец, прощаясь с Ерекешем, сказал ему:

– Пока мы воюем, ты, Ерекешка, будешь тут у нас в доме самым главным хозяином. Помогай матери жить без нас, как сумеешь...

Однажды приходят к Ерекешу товарищи и зовут его играть. А Ерекеш отвечает им:

– Мне теперь не до игр. Я – главный хозяин в доме!

– А что ты будешь делать, главный хозяин? – спросили ребята.

– Што я буду делать, то и вам советую. Приходите завтра пораньше ко мне – все узнаете, – отвечал им Ерекеш.

5

Наутро собрались к Ерекешу школьные товарищи. Их была целая бригада – двенадцать человек.

– Марш за мной! – скомандовал им Ерекеш и повел их, как командир, за собой в поле.

Явились ребята на колхозную полосу ржи. Смотрят – идет уборка. Шесть лобогреек работают. Шесть возле полевого стана без дела стоят. Подошел Ерекеш к старому Ералла и баском спрашивает:

– Дед Ералла, почему у тебя не все лобогрейки косят?

– Потому не все косят, что много мастеровых рук просят. А у меня мастеровых рук нет. Таков мой ответ, – отвечает сердито дед Ералла. Он когда был сердит, то всегда отвечал, как акын, – в рифму.

– Не горюй, дед Ералла. Найдутся мастеровые руки, – сказал Ерекеш и весело подмигнул своим товарищам.

– Ишь ты, какой бойкий! Кто ты такой?! – удивился дед.

– Я – сын лобогрейщика Акимжана. Мой отец на войне. А я – главный хозяин в доме. И я тоже хочу стать лобогрейщиком, – сказал Ерекеш.

– И у нас отцы на войне. И мы тоже хотим быть лобогрейщиками, – заявили дружным хором все товарищи Ерекеша.

– Нас целая бригада, – сказал Ерекеш. – Шесть погонщиков и шесть лобогрейщиков. Посади нас, дед Ералла, на шесть лобогреек. Мы тебе тридцать га хлеба в день свалим.

– Как это так – тридцать га?! – опять удивился дед.

– Старый, а таблицы умножения не знаешь, – упрекнул деда Ерекеш. – Шестью пять сколько будет? Знаешь?

– Знаю. Шестью пять – тридцать, – сказал дед.

– Шесть лобогреек. Каждая по пять га в день убирает. Вот тебе и выходит – тридцать за день, – сосчитал Ерекеш.

– Храбрый ты в арифметике. Посмотрю, каким будешь на деле, – сказал старый Ералла. Потом,

немножко подумав, согласился организовать из ребятишек бригаду лобогрейщиков. А Ерекеша правление колхоза назначило бригадиром.

6

Не сразу пошла хорошо и гладко работа в бригаде молодых лобогрейщиков Ерекеша. То постромки с вальков срывались. То волы в запряжке непослушно себя вели, да и пшеницу с тяжелым колосом не легко было сбрасывать ребятам с платформы рогатиной. И пот с них градом лил. И руки с непривычки в первые дни очень болели.

Но не прошло и недели, как про боевую бригаду молодых лобогрейщиков Ерекеша заговорил весь район. И о них даже в районной газете написали. Так они хорошо работали. У них и в самом деле слово не расходилось с делом. Пообещали они старому Ералла убирать своими лобогрейками по 30 гектаров в день и убирали по 30. Видят остальные баянские школьники – хорошо работают на уборке товарищи Ерекеша. Неловко и остальным ребятишкам стало слоняться без дела. И принялись через несколько дней все баянские ученики за работу. Одни из них хлеб с колхозных токов в государственные амбары возили. Другие – зерно веяли. Третьи – колосья на полосах собирали. И работа пошла веселей и дружнее даже у взрослых. Повеселел, подобрел старый дед Ералла и говорит ребятам:

– Молодцы вы у нас, ребятишки. Настоящие герои тыла.

7

Стояла вторая военная зима.

Красная Армия громила немцев на фронте. А советские люди помогали фронтовикам в разгроме врага трудом в тылу. И не только трудом, а и трудовым рублем. Многие колхозники продавали свой скот, а деньги посылали в Кремль и просили купить на эти деньги боевой самолет для наших летчиков или танк для танкистов.

Много скопилось трудодней у баянских школьников за два года работы на колхозных полях. Перевел колхозный счетовод эти трудодни на деньги – совсем здорово получается. На такой капитал, пожалуй, и настоящую боевую танкетку для Красной Армии купить можно!

Справились школьники у своего учителя – можно ли им купить танкетку? Учитель говорит – можно.

И решили баянские ребята отправить заработок в Москву, в Кремль и попросить купить настоящую боевую танкетку для защитников города Ленинграда. Сказано – сделано.

Через два дня колхозный счетовод перевел весь заработок баянских школьников в Москву, в фонд обороны Родины, а ребята сами написали, как умели, письмо в Кремль и отправили его по почте.

Не прошло и месяца, как вдруг прилетает однажды вечером в колхоз «Баян» нарочный из районного центра. Спешился нарочный со взмыленного коня и вручил пакет директору школы.

Вскрыл директор пакет. А в пакете – телеграмма. Да не простая, а правительственная. Из Москвы. Из Кремля.

Через пять минут сбежались в школу все ученики и их родители. Начал директор читать телеграмму, а у него голос от волнения засекается. Слушают дети и взрослые и ушам не верят. Телеграмма-то была адресована Ерекешу Акимжанову и всем его школьным товарищам. Простыми и всем понятными, теплыми словами благодарили Ерекеша и всех его товарищей за их героический труд в тылу и за их помощь фронту. А еще в телеграмме говорилось о том, что просьба детей колхоза «Баян» будет выполнена. На полученные деньги от баянских ребятишек пообещали им приобрести одну танкетку для воинов Советской Армии.

И это было сделано.

Васька – девятнадцатилетний жигаловский предпоследыш – пожаловал домой поздновато: после вторых петухов. Но явился он почти в одно время с малопоседливым батей – Максимом Максимычем Жигаловым, коренастым стариком с дремучей прибитой проседью бородой и воинственно закрученными кверху рогульками сивыми императорскими усами.

Дело было субботнее. И Васька продавал допоздна глаза в поселковом клубе. Там с вечера шло кино, а потом затеян был отбор записных плясунов для районной олимпиады, и продувные девки, вперекор неробким своим кавалерам, закусив удила, истово отрабатывали набойными каблучками то дробную иноходь, то кружевные, плавные павьи полеты и вихревые рывки в шестифигурной кадрили, в заветном «Казачке», в модной «Польке с комплиментами». В записные плясуны Васька не вышел. Но поглазеть со стороны, как давали жизни под баян или балалайку иные завзятые ухари и бедовые в пляске девки, он был любитель. Вот и засиделся, воротясь в родительский дом, когда уже вторые петухи, спросонок простуженные голоса сверяли. А старик тоже только на каких-нибудь пяток там минут приплелся домой пораньше. Он шлялся точить лясы по соседскому делу к куму Аверкию – человеку мастеровому, коновалу и шорнику первой руки. Кроме Максима Жигалова коротать зимние вечера у Аверкия нередко собирались и некоторые прочие старики-односельцы. Тоже мастеровые: то плотники, как Максим Жигалов, то ведерники, то чеботари. Там, допоздна засиживаясь, любили они разводить тары-бары про международное положение, про планету Марс, про рыбалку, про русского богатыря Ивана Поддубного и про настырного сибирского хлебороба Терентия Мальцева. Боронили и вдоль, и поперек – кто во что горазд.

Вот и сегодня сошлись старый и малый в доме не рано – после полуночи и мирно уселись ужинать. Молча – один на один – хлебали они расписными деревянными ложками из обливного горшка квашеное молоко с накрошенным в него хлебом – проверенное в семье вечернее кушанье.

Смолоду приученный воспринимать всякую позднюю трапезу как венец трудового дня, старик ел не спеша, с пристойной для его возраста степенностью, благоговейно.

Васька же уплетал за обе щеки с проворностью расторопного, не привыкшего давать маху ни в труде, ни в еде, допахавшегося до стола работника. И то, что ел он молча и без особого мешканья, старику было по душе. Он терпеть не мог болтунов и праздных едоков за столом, едва-едва разжевывавших хлеб, как иные сонные коровы – жвачку, хорошо зная по верной этой примете о том, что от таких молодцов не жди проку и в работе.

Быстро ополовинив с отцом горшок, Васька провел сатинетовым рукавом по вишневым губам и, побрякивая по выскобленной столешнице старательно вылизанной ложкой, стал терпеливо выжидать, пока насытится и неторопливый родитель. Подниматься из-за стола прежде стариков – в этом доме было никому не позволено. И Васька, решивший затеять сейчас, когда все в доме замертво спали, доверительно деликатный разговор с отцом, выжидал, пока тот отложит в сторону свою, тоже до блеска вылизанную, ложку и, в знак завершения трапезы, расправит царственным жестом патриаршую свою бороду. И когда такая минута настала, парень с места в карьер вполголоса сказал:

– Знаешь, тятя, мне што-то это само... жениться охота.

– Вот это брякнул, – как выстрелил! – ошарашено устремив на сына по-орлиному сверкнувшие из-под хмурых бровей глаза, негромко сказал старик.

– А што? Я – напрямки...

– Быват, што и прямки на криву выходят!

– А там уж – куды святая вывезет. А таиться от тебя не хочу.

– Это – другой резон, сударь... Значит, приспичило? – слабо вздохнув, не насмешливо, а скорее грустно спросил старик.

– Вроде этого, тятя...

Они помолчали.

Набив трехвершковую самокрутку въедливым – с девятой гряды – самосадом, старик засмолил увесистой косопожкой.

– Откуда принцесса? Из каких кистей выпала?

– Нездешняя. Полусирота. Красноярской станицы. Родной батя под городом Будапештом в сорок пятом погиб. Отчим – завом на конеферме в ихнем колхозе «Заветы Ильича». Мать – птичницей там же. Вот тебе и все кисти!

– Это ладно. В плюс. Не кисейные рукава... А сама?

– Небесной звезды рукой не смахнет. А десять классов прошла. И почти скрозь – с отличием...

– Ух ты, язвило ее в пятки! Прытку свистуху присмотрел. Аж с высшим образованием.

– Допустим, еще не шибко высшее. Ну и не мне – грамотею – чета по части всяких там деликатностей...

– Ага. На французских каблучках, значит, тропотит?

– Не в лаптях же на босу ногу!

Тут, потемнев, старик строго заметил:

– Ну! Ну! Ты на крутых поворотах шибко вкось-то, Василий, не заноси. Не с шоферней-ровней, с отцом разговариваешь!

– А ты не подкусывай, где не надо, тятя! Я не в бирюльки играю. Про законный брак в тайности с тобой говорю... – не без вызова, в упор, посмотрев ястребино-янтарными глазами в хмурые орлиные очи отца, сказал, передернув тугими плечами, Васька.

Васька выпрямился, как в строю, крепко стиснув в руке точеный черешок расписной ложки, и недобрые янтари заиграли в сузившихся его зрачках, будто у коршуненка, готового ринуться на крылатого собрата в драку.

Нашла коса на камень.

Так или приблизительно так одновременно подумали в эту минуту друг про друга отец с сыном. И старик, столь же вспыльчивый, как сухое бересто, сколь и тут же отходчивый, заметно смиряясь первым, спросил с напускной угрюмостью, исподлобья всматриваясь в хмурое лицо сына:

– А годов этой самой полусироте твоей сколько?

– Через пять ден – именинница. Восемнадцать сполна ударит!

– Звонкие лета!.. Ну, и чем же она взяла? Договаривай.

– Интересный вопрос, тятя! А я откудова знаю?! Увидел ее как-то летось у колодца в Красноярской на обратном рейсе со станции. Жарища в ту пору стояла у нас в Прииртышье почище твоей пустыни Сахары! Радиаторы на «ЗИЛах», как сварливые самовары, кипели – то и дело доливать на пути приходилось. Ну вот, я однажды и долил из ее ведра... Ни слов у нас с ней попервинке, ни речей не было. Одни переглядки. А в нутре у меня почему-то в момент похуже, чем в перегретом радиаторе, запалило. Не таюсь. Запалило – с первого взгляда. И сейчас палит. Вот и все тут...

– В нутре-то, может, и палит, да вот уши у тебя, дурака, гляжу я, как лед, холодны!.. Про законный брак брякаешь, а чем девка в отличку от других продчих птах на выданье – ни тяти, ни мамы!

– Ничем она не в отличку. Обнаковенная птица...

– Есть птица – стрепет. Есть – пустельга... Лицом што ли королева?

– С лица не воду пить, – уклончиво ответил Васька.

– Это тоже – резон... А звать-то хоть как?

– Обратно же – так себе. Мария.

– Мария, стало быть. Тоже – ладно. По-русски!.. А по отцу как пишется?

– Чибисова.

– Видал ты свистуху, аж и фамилия птичья!.. Ну, а полететь за тобой далеко готова?

– А хоть на край света!

– Резвая птаха! – одобрительно пробасил старик, блеснув из-под сивых бровей по-молодому озорными глазами. И, чуть помешкав, уже строго добавил:– А лететь за тобой после свадьбы ей придется неблизко. Заранее говорю. Перелет на носу рисковый. Без попутного ветра... Коли крылья у этой птахи твоей упругие, она – под стать жигаловской нашей стае. А жидковатой окажется на поверку, тогда уже пеняйте с ней на самих себя!

– Я што-то не сразу и в толк возьму, про што это ты опять, тятя? – спросил насторожившийся Васька.

Тут старик, расторопно привстав со скамейки, бережно прикрыл наглухо створчатые половинки горничных дверей. Затем, подсев к Ваське вплотную, он заговорил, воровато озираясь в сторону горницы, заговорщически приглушенным до полушепота голосом.

– Дело такое, Василий. Сообщаю это тебе в страшенной тайности. А ты обязан мне клятвенно держать до поры до времени язык за зубами. Понял? Так вот. Слушай. Ден с десяток тому назад мы со старшими твоими братухами в потайной от баб сговор вошли. Это значит, я – запевала. И все четверо наших женатиков: Яков, Арся, Петро и Силантий. А трое наших зятьев – Герасим Кружилин, Матвей Ушаков и Гришка Самарин – тоже все, как один, без перепирок к нам примкнули... Считай, это будет нас уже восьмеро? А теперь вот ишо и ты, девятый! Не приспичь тебе нынче затеять со мной разговор про женитьбу, я бы про этот наш сговор и заикаться не стал. Холостяком-то ты бы пошел куды надо за нами – сам собой... А раз

запросился жениться, тут уж с тобой другой разговор. Против законного браку я перечить не стану. В добрый час, коль охотка пришла. С богом! Только одно тебе лыко в строку: потайного семейного сговора меж мужиками не нарушать! И невесте про эти дела не выбалтывать!

– Про што сговор-то? – нетерпеливо спросил взволнованным шепотом Васька.

– А сговор такой, сынок. Спелись мы потихоньку голос в голос с ребятами – на целину в Казахстан податься. Все – скопом. Всем жигаловским родом. Да ишо с тремя затьями впридачу. Все мужики у нас – народ паровой. Хлеборобы. Мастеровые. И комбайнеры. И шофера. И трактористы. Этим только и место на целине! Ну, и я с топором в руках охулки нашему роду на новых местах не дам. И я ишо другим молодым да ранним плотникам не уважу! Так ведь, Василий?

– Точно. Ты у нас – сила, тятя! И мы за тобой с братухами тоже, как можем, тянемся. Все ж мы – Жигаловы. Обнаковенное дело, – сказал, взволнованно побрякивая золотистой ложкой, растроганный доверительным родительским разговором Васька.

– То-то и оно, што Жигаловы. Тут – первое дело – нам лишь бы от бабки без большого урону сообща всем отбиться. Заранее знаю, што некоторые свистухи вперекор мужикам попрут. Это уж как пить дать!.. Не все, правда, выпрягутся. А которые побесее. Навроде, к примеру, Марфы – поперешной пилы – у Арси. Али Авдотья у Силки... Я уж не говорю про мать – главного генерала от инфантерии в жигаловском бабьем войске. Эта подымется – святых вон из дому!

– Ну, перед святыми-то ты у нас тоже не шибко робешь, тятя! – заметил с усмешкой Васька.

– А кто доводит?! Все – она. Мать! – вспыльчиво проговорил старик, кивая в сторону горницы, где почивала на печной лежанке жигаловская старуха. –

Там норову-то тоже не занимать! Наторела во всем скрозь поперек боронить... Она не она, раз ей за косой десяток вас, дураков, геройскую медаль с грамотой щедрая власть подвалила. В генеральши за многодетство произвели. Видали мы эти медали!.. А я што – в нижних чинах теперь перед ней состою? В рядовых на старости лет марширую?! Ловко девки пляшут! Ничего себе допахался!..

– Пошто – в рядовых-то? Ты ведь тоже не без медалей... – напомнил Васька отцу про боевые заслуги бывалого солдата.

– То и есть, што мои-то медали не в счет, по-бабьему разумению лихой нашей командирши.

– Корить походя мать почетной наградой – это тоже не дело, тятя. Она в герои не за здорово живешь вышла. Нас на ноги подняла! – заступаясь за мать, строго сказалВаська.

– А я в стороне, значит?

– Пошто в стороне? И ты вровень ей. Тебя фронтовыми наградами в эту войну тоже не обделили...

– Так то – фронт. А то семейные с ней поединки по домашности! Сунься-ка, усмири ее, если постромку она заступит... А кому приходится усмирять, как не мне? Я тут – главный ответчик!

– Ну и што потом? Не медали же лить в твою честь за это, тятя, на Монетном дворе в городе Ленинграде! – с озорной насмешливостью сказал Васька, сверкнув ястребиными зрачками.

Упрямо накренив седую косматую голову, старик засопел, как иной строптивый бык перед приступом ярости, и, косо взглянув снизу вверх на разом присмиревшего в переднем углу Ваську, угрюмо проговорил:

– Хорошо, варнак... Посмотрю я на тебя, храбреца, когда женишься. Придет срок, увидим, какие медали начнет отливать в твою честь покорная тебе женушка!..

– Ну, она у меня, тятя, смиреная. Там – тише воды, ниже травы, – как можно примирительнее и мягче сказал Васька, думая в это время о том, как бы ему смирить новую внезапную вспышку отцовского гнева.

– В тихих-то болотах знаешь, кто водится?! – многозначительно спросил старик. И вдруг, сам заметно обмякнув, насторожился, подозрительно косясь на наглухо прикрытые двери горницы.

Васька тоже, сбочив голову, как гусак, к чему-то прислушивался. Но даже и при его собачьем чутье и слухе он не уловил ни единого постороннего звука или шороха. В доме стояла глухая, заполуночная тишина. Однако старик по каким-то одному ему доступным и ведомым признакам догадался, что старуха Ульяна Жигалова не только проснулась, но хуже того – могла с минуты на минуту пожаловать из горницы в кухню. А это не сулило ничего хорошего заговорщически шептавшимся полуношникам. И старик, оробев душой, шепнул Ваське:

– Мать, должно быть, собралась квашню месить. Давай поживей – на боковую!

И тут же, без мешканья, задув в лампешке огонь, Максим Максимыч с воровским проворством и ловкостью взмыл в потемках на печку. Ваську тоже как ветром сдуло. Уцепившись руками за поперечный палатный брус, он в один упругий рывок взлетел под потолок, нырнул в нору, на полати. И не успели оба они – и отец, и сын – не только притвориться спящими, но и сомкнуть глаз, как в распахнутых настежь дверцах горницы показалась старая мать, бережно заслонившая сухонькой узкой ладошкой лепечущее пламя стеаринового огарка, зажатого в левой руке.

Притаившийся на полатях Васька следил сквозь дырявую ситцевую занавеску за каждым неторопливым движением матери. Она была в светлой, не по росту просторной, грубо сшитой бязевой рубахе, заправленной в старенькую, давным-давно вылиняв-

шую ситцевую юбку трудно определимого цвета, в черном репсовом, похожем на татарскую ермолку, полукокошнике на увенчанной бисерной сединой голове. Что-то девичье – чистое и светлое – сберегалось в маленькой, не по годам упругой, подвижной, легкой ее фигуре и в не подвластных ни возрасту, ни усталости, зорко смотревших на божий мир ее глазах, не один, видно, раз до блеска мытых и перемытых в пережитой жизни жаркими, отзывчивыми на горе и радость слезами...

Укрепив свечной огарок на кромке голой столешницы, Ульяна благоговейно перенесла с печного шестка на широкую лавку в кути объемистую – в обхват – квашную ладку и, подоткнув за пояс подол ветхой юбчонки, принялась месить веселкой квашню.

Это была нелегкая для материнских лет работа! Опершись коленкой на проскобленную плаху сосновой лавки, Ульяна с ожесточенным упорством переворачивала густое, вязкое тесто веселкой, делая такие непрерывно-мерные круговые движения сухими, железно-жилистыми руками, как будто вертела тяжелые жернова.

Не впервые видел затаившийся на полатях Васька, как месила квашню в одиночестве старая мать при печальном мерцании свечи вот в такие глухие зимние ночи. Но никогда еще так не сжималось в комок упруго стучавшее его молодое сердце от прилива сыновней нежности к ней и от горько-щемящего чувства жалости к ее незаметно подкравшейся старости, к ее безмолвному, подвижнически-безропотному труду среди гробовой тишины, когда замертво все спали в доме.

О чем она думала в эти минуты, молча работая натруженными за непраздную жизнь руками? О далекой ли зоревой своей молодости, давно отмерцавшей, подобно призрачно текучему мареву в жаркий день над опаленной суховеями степью? О судьбе ли без вести

пропавшего в начале минувшей войны старшего из ее сыновей – Павла, возвращения которого не переставала ждать она все эти годы ни днем, ни ночью? Или томила ее сейчас привычно простая забота о завтрашнем дне, о том, удастся ли нынешняя квашня, хорошо ли продаивают молодые снохи коров и каким бы сладким куском одарить поутру семилетнего внука Ваню?..

С изумлением, с грустью и нежностью глядя с полатей на маленькую, как подросток, старую мать, Васька впервые в жизни задумался о том, как проглядела она свою нещедрую на дары и радости молодость, промелькнувшую на косых птичьих крыльях вот в таком, никому не приметном труде в ночной кути, у печного шестка, и заботах о куске хлеба для проворной в расправе с любым варевом и жаревом жигаловской оравы...

И Ваську заподымало, как в легком хмелю, заговорить с матерью, доверительно открывшись ей сию же минуту в заветном замысле про женитьбу, как он открылся – с места в карьер – отцу.

Между тем Ульяна, покончив с квашней, снова бережно водрузила ее на шесток – в раствор печного цела. Прикрыв холщовым квашенником ладку, она, коротко вздохнув, трижды осенила ее поспешно-мелким крестным знамением. Потом немного постояла в раздумье, подошла к столу и, погасив дуновением старчески вялых губ робкое пламя огарка, неслышно скрылась в темной горнице.

А минуты две-три спустя старик шепотом окликнул с печи сына:

– Василий!

- Ну-у... – слабо промычал в ответ притворно-сонным голосом Васька.

– Ты не нукай, пока не запряг!.. Сватов-то когда засылать, завтра? – категорично спросил старик.

– Какие ишо там такие сваты! Там без ваших свах давно все на свете сосватано... Ты бы лучше с утра пораньше команду по дому подал – бочку браги на сахаре с хмелем заквасить. Это – другое дело!

– Я тебе закваш у, варнак, – сунься-ка только мне девку в дом за руку привести без порядку!– прошипел, угрожающе засопев разлетными ноздрями, старик. – Не тебя первого, дурака, в семействе женю, штоб потакать в дому нынешним вашим собачьим свадьбам!

– Не шуми, тятя! Мать не спит! – попробовал припугнуть шепотком отца Василий.

Тут старик, бешено привскочив на задницу, больно ударился макушкой о потолочину и, еще больше рассвирепев от нечаянного ушиба, выпалил полушепотом в ярости:

– Ты меня, сукин сын, матерью не пужай! Мать – она тоже само... – она без ладу и сговору, как у добрых людей положено, с ветру девку близко в дом не допустит. Извиняй!.. А если уж удержу нет – жениться, то я утрось же снаряжу кума Аверкия с двумя свахами на рысях в твою Красноярскую. Штоб сговор – как сговор. И рукобитье – с амбицией! Понял али – тупо?!

– Ясно. Не возражаю, валяйте. Мне – все едино. С амбицией, так с амбицией! – примирительно сказал полушепотом Васька и счастливо засмеялся впотьмах, припомнив последний свой уговор с Марьей...

– То-то, парень... – прошептал с облегченным вздохом мигом смягчившийся старик.

И оба они – и отец, и сын, премного довольные в душе тем, что обоюдно поладили, в конце концов, миром, тотчас же притихли. Старик, умиротворенно покряхтев и чуток поерзав, половчее примащиваясь на печке, вскорости захрапел, как боевой конь при трубном звуке. А немного погодя начал присвистывать носом в лад ему и Васька.

Скакал казак через долину –
Через Маньчжурские края.
Скакал он – путник одинокий,–
Скакал, припав к луке седла.
– Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Она другого полюбила,
Другому сердце отдала!

Так пелось в старинной казачьей песне. А тут и в жизни все было, как в песне.

Колдовал в облаках неяркий ущербный месяц.

Уходил в жемчужную полумглу широкий пустынный шлях.

Горько пахло сухой прошлогодней полынью. Плыл с окрестных озер приглушенный, тревожный и радостный шум: великая кипела в эту минуту там, в камышах, у птиц работа. Это трудились они, возвратясь из далеких странствий, над строительством надежных и теплых гнезд.

И, как в песне, скакал в этот поздний полночный час казак через долину, через родимые края. Скакал казак. И нетерпеливо, проворно и злобно работал он мягкими, смазанными ворванью поводами, горячил подборами смотровых сапог своего коня. И, едва касаясь земли звонкими, обточенными рашпилем копытами, нес его конь туда, в глубинную степь, где залегли под увалами закутанные в вишневые сады хутора и села переселенцев с далекой Украины.

Скакал казак напрямки, через полынные пустоши, через ковыльную целину, без дороги. И чем ближе был украинский хутор и белая хата с заветной вербой под оконцем, тем сильнее и горше билось под новенькой гимнастеркой молодое горячее сердце казака.

И на окраине хутора, за ветряком, поджидала его, чутко прислушиваясь к ночным шорохам и звукам, дивчина Ксана Руденко. И ростом она была не то чтобы велика, и годами не так уж богата. И ни нарядом, ни говором, ни повадками, – ничем не напоминала она станичных девчат и невест.

В бордовом, по-бабьи повязанном кашемировом платке, в коленкоровой кофте с вышитыми гарусом розами на груди и на пышных буфах, в легких сафьяновых полусапожках на кованых каблучках, – во всем этом непривычном для казачьего ока наряде и ждала наша дивчина припоздавшего в пути казака. И то ли ради воскресного дня, то ли ради него, залетного гостя, надела она на смуглую шею самые что ни на есть лучшие свои, дутые из цветного стекла бусы, а в тяжелую русую косу заплела полдюжины ярчайших, играющих в радугу лент.

Нарядилась так Ксана еще перед самой обедней, с утра. И как только глянула на себя в осколок зеркала, так потом на весь день замерла и притихла. Никогда еще не примечала она за собой такой дивной красоты и такого тревожного в очах блеска, что стало вдруг отчего-то сумно на сердце.

И, может быть, потому, оставшись в прохладной, чисто прибранной хате, впервые за все свои семнадцать лет вдоволь наплакалась она в это пустое, праздное, до боли яркое утро. А потом целый божий день так и не знала Ксана Руденко, куда же ей деться от смутной тревоги, тяготившей ее собственной красоты. И, едва выждав сумерек, пробралась она за хутор к одинокому ветряку и стала поджидать в темноте своего суженого.

Поджидала наша дивчина затерявшегося в чистом поле казака. До боли в очах вглядывалась она в ночной простор степи. Чутко прислушивалась: не гудит ли под кованым конским копытом пустынный шлях, не плывет ли над степью приятный и легкий звон цепного повода недоуздка.

Поджидала дивчина залетного казака и дивилась сама собою. Чудно ей было теперь подумать о том, как совсем еще недавно страшилась тайно выйти она в такую позднюю пору за окраину хутора не то что одна – нет, а даже в кругу девчат.

Ни, не дай боже!

Как же можно шляться в полуночный час вдали от родного хутора, в степи? Как же можно, если слухи ходили: бродили окрест по ночам беглые с действующей армии солдаты, шлялись близ шляха цыганы и конокрады. А то и свои хуторские хлопцы могут насмерть напугать. Да мало ли там какая нечистая сила сторожит одинокую дивчину в глухой степи в такой неурочный час!

Но свела судьба Ксану Руденко с лихим казаком этой весной на шумной станичной ярмарке. И не узнавала после этой встречи наша дивчина сама себя. Ах, зачем только сдуру, нечаянно приветила она его неясной своей улыбкой? И зачем эта великолепная ярмарочная карусель и это полдневное солнце, жарко игравшее в позументном ее убранстве?!

И все это было, как во сне.

Как во сне, было Ксане Руденко и сумно и радостно вдруг очутиться лицом к лицу с этим картинным парнем. И никогда уж теперь не забыть ей ни пышного чуба, ни взбекренившейся касторовой казачьей фуражки, ни тяжелых, будто кованых, его броней, ни тревожной и смутной, как у колдуна, улыбки...

Улыбался Ксане молодой казак.

И Ксана Руденко откровенно улыбалась в ответ казаку. И позабыла она в такой момент обо всем на свете: и про собственную бричку с картошкой, что доверил ей во временный караул отлучившийся по базарным делам отец; и про то, что волы не поены; и про то, что в толпе ярмарочных зевак толкался около карусели хуторской хлопец Микола Чумак и любовался на всю живописную картину.

А когда взыграла на высокий лад тростниковая дуда, и горестно приник головой к плечу слепой скрипач, а веселый лилипут свирепо, с веселым отчаянием забил своим крошечным кулачком по звонкому бубну, – вдруг закачалась, поплыла, закружилась вихрем святая земля, и прикрыла тогда от страха Ксана печальные свои ресницы.

– Ой, мамо, мамо!

Уже не подхватили ли эту нашу дивчину нечистые силы?! Не поднял ли ее над всей ярмаркой, не понес ли под самые облака недобрый и буйный ветер?! Вот он свистит в ее ушах, звенит бирюзовыми ее сережками, рвет и треплет в косе бордовые, поднебесные, фиолетовые и оранжевые ленты. А там, где-то высоко-высоко, вверху над головой заливаются до слез в бахроме и стеклярусе бухарские колокольчики. Поют карусельные сваи и тросы. И то замирает, то снова начинает оглушительно грохотать в крошечных руках карлика трензельный бубен.

И не слышно уже ни скрипки, ни тростниковой дуды. И ничего уже нельзя понять ни в этом волшебном грохоте и свисте, ни в самой себе... И, как на пасхальных качелях, до боли сжимается, замирает, останавливается у Ксаны сердце. И, как на качелях, готова она, дрожа от ужаса и радости, броситься сейчас плашмя на руки к казаку, только бы не сорваться в эту минуту в бездну, только бы не потерять совсем и без того вскружившейся головы...

Но не успела Ксана подумать об этом, как, сама не понимая того, чудом вдруг оказалась с казаком рядом: то ли она бросилась, зажмурив глаза, к нему, то ли он пересел в ее беседку. И, прижавшись плечом к плечу, мчались они теперь сломя головы неведомо куда. Летели сквозь какой-то ликующий вихрь бахромы, позумента и гаруса. И плевала теперь Ксана на то, что на всю эту музыку пялил свои алтынные очи Микола Чумак, поскликав к карусели со всего базара хуторских хлопцев...

Нет, ничего не видела наша дивчина в этот момент, кроме веселого казачьего чуба, хоть и широко открылись большие ее, посиневшие, как вешний степной вечер, глаза. И хоть голосил ей в лицо и вслед что-то непристойное Микола Чумак и горланили, насмехаясь над нею, хлопцы, – ничего не слышала Ксана Руденко, кроме вполголоса сказанных на ухо слов казака:

– Ты откудова будешь такая... а?

– А вам-то що до мэнэ за дило? – шептала в ответ казаку и сама дивилась своей храбрости Ксана.

– Стало быть, интерес при себе какой-то до вашего обличья имею... Откройтесь мне. Не томи. Монпасьей угощу. Вот, пожалуйте... шадринский пряник с изюмом на чистом меду. Получайте. Кушайте за наше с вами добренькое здоровье... – ворковал ей на ухо Агей Чаплыгин.

И, придерживая дивчину одной рукой за крутое, горячее плечо, другой – вытащив из кармана парадных, с лампасами, шаровар огромный медовый пряник и круглую жестяную баночку со слитыми монпансье, все это роскошное ярмарочное угощение решительно сунул в маленькие девичьи руки.

– Потчуйтесь. Не стесняйтесь с меня, дорогая незнакомка. Я ж до вас от всего казачьего сердца... – не унимался Агей и привлекал к себе дивчину все надежнее, все смелее.

А она, машинально приняв даровое лакомство и, из приличия, конечно, даже не дотронувшись до него, кружилась уже ни живой, ни мертвой. И, не смея поднять большие досиня раскаленные глаза на своего расточительного ухажера, скупо, с притворной досадой отвечала на настойчивые его расспросы.

– Ну, признайся ж, дальняя будешь? – все горячее и злее нашептывал в порозовевшее девичье ухо Агей.

– О, якый, кажу я, вы любопытный!

– Очень даже... – почему-то смутившись, признался Агей и зачастил: – Ну, скажи ж мне, за ради бога. Не

таись же. Слышишь? А то ведь сейчас и карусель встанет... Очень дальняя?

– Отсюдова не видать...

– Да я ж не шутейно, барышня, вас пытаю. С хутора, што ли, родом-то будешь али отрубная?

– Ну – с хутора. И шо тут такого?

– С какого хутора-то? Ответь мне сердечно.

– Да шо вы до мэнэ прийсталы! Ну, с Ольговского... – ответила она с напускным раздражением.

– С Ольговского?! – крикнул, на секунду даже отпрянув от Ксаны, Агей и, точно узнав в ней давнишнюю свою подругу, так крепко стиснул ее за плечо, что она даже глухо ахнула и впервые посмотрела на него в упор полным изумления и неизъяснимой радости коротким, тотчас потухшим взглядом.

– С Ольговского?! – повторил Агей и опять зачастил в еще более порозовевшее девичье ухо: – Так ведь – это ж рукой подать! Двадцати пяти верстов от станицы не будет. О, да я ж до тебя каждую субботу на вершной могу катать зажмурясь!

– Эге! Якый вы, козаче, прыткий...

– Ей-богу! – перекрестился на глазах у честной толпы Агей. – Да ты не думай. Конь у меня строевой, огненный... на таком рысаке приза брать вполне возможно. Он только по причине раковин в задних копытах в действующую армию под братенком не ушел... Да ведь я ж на нем как урежу – в один секунд, можно сказать, против твоей хаты – как в песне – по всем правилам полевой службы спешусь... Ну? Согласная ты на такой уговор, хохлушка?

– Ни. Ни. Ни, – испуганно забормотала Ксана.

– Да ты не боись, не пужайся меня. Вот дура... Да ведь нас с вами никто не увидит, барышня. Я ж могу до вас по секрету. Согласно правил военного времени – только ночью...

– Ни. Ни. Ни, – упрямо твердила Ксана. – Ни. Не надо говорить мэнэ такого. Не надо. Не кликай лиха...

Не доводи мэнэ до большой беды, козаче... – почти умоляюще полушептала она. Лицо ее вдруг обрело следы мертвенной бледности, и так нездорово и ярко блеснули глаза, точно мгновенно наполнились они горячими, готовыми вот-вот брызнуть слезами.

И впервые, робко приглядевшись к мелькающим мимо ярким праздничным нарядам, к чужим и знакомым лицам, – только сейчас поняла она, что давным-давно, оказывается, замолкла тростниковая дуда, а слепой скрипач мрачно канифолил смычок, и карлик, потихоньку бранясь про себя, торопливо привязывал к бубну оторвавшийся трензель. Карусель кружилась в странном безмолвии все тяжелее, все медленнее, точно это была какая-то огромная подбитая птица, бессильно размахивающая своими цветными крыльями. И пышный, расточительно украшенный галуном и стеклярусом оранжевый шатер все дремотней, все тише и тише позванивал шеркунцами и бухарскими колокольчиками.

И стало вдруг Ксане так неуютно, так тяжело и скучно на сердце, что, едва удержавшись от беспричинных неожиданных слез, выпрыгнула она на ходу из люльки и, не подняв смущенной головы, нырнула в крикливо яркую ярмарочную толпу и бросилась со всех ног к своей бричке. Непонятный, непривычный страх завладел в этот миг ею. И захотелось ей немедленно вырваться из этой веселой от безделья и праздности толпы, уйти куда-нибудь в степь, на лихой ветровой простор, на волю. Убежать, скрыться куда угодно, только бы не видеть больше темных, с поволокою казачьих глаз, только бы не слышать колдовского, хмельного и властного его голоса...

А он – как назло – разыскал-таки под вечер спрятавшуюся под бричкой нашу дивчину и сказал ей вполголоса мимоходом такое:

– В субботу наведаюсь. Выходи вечерянкой за мельницу. Встренемся там с вами, барышня, вполне секретно...

Ничего не ответила в этот момент казаку Ксана Руденко. Но с какой невыносимой тоской, с каким страхом и болью ждала она субботнего вечера и первой зеленой звезды, что зажигалась в оконце родимой хаты, и первой протяжной песни девчат, уходящих с хлопцами на ночные игрища... И как только потускнели, поблекли розовые от заката закрайки степных озер и прокричала впервые вдали ночная птица, в этот назначенный час, холодея от страха и радости, и пришла к заветному ветряку Ксана Руденко.

Так случилось с месяц тому назад.

С тех пор все субботние вечера и воскресные ночи проводила наша дивчина на окраине хутора вдвоем с казаком и вполне, как он говорил, секретно.

Вот так же вполне секретно встретились они и в сегодняшнюю ночь. Чуть заслышав во мгле дробный топот копыт, замерла Ксана на мельничной лесенке, как неживая.

А всадник, щегольски спешившись перед нею, стремительно окольцевал правой рукой горячую девичью шею, и замерли они, не дыша, в воровском затяжном поцелуе.

Теплые, обнаженные по локоть руки девушки доверительно легли на плечи Агея. Она прижалась головою к прохладной его груди и притихла, точно прислушиваясь к набатному гулу молодого казачьего сердца. А он жадно целовал полуоткрытые ее глаза, остуженные росой виски, влажную косу, целовал и нашептывал в девичье ухо что-то такое, чего не слышал и не понимал сам...

И ничего не слышала и не понимала в такую минуту и Ксана. Как слепая, покорно пошла она вслед за Агеем к его коню.

И Агей, мгновенно вскочив в седло, легко поднял ослабевшую дивчину на уровень своих плеч и, точно полонянку, усадил ее на седло с собой рядом. Маленькая и хрупкая, она полулежала в казачьем седле,

прижавшись пухлой щекой к груди Агея и цепко ухватившись тонкой рукой за его плечо.

И поехали они в мглистую степь.

Конь брел через придорожную пыльную пустошь мерным, дремотным шагом. Кругом было пустынно и тихо. Высоко, стороной, в обход хутора, проходил в необжитых просторах тонкий ущербный месяц. Мягко поскрипывало под нашими седоками новое, приготовленное к дальним походам седло.

И Агей, бережно придерживая обеими руками притаившуюся у него на груди девушку, не отрываясь, смотрел потускневшими от счастья и горечи глазами на мягкий профиль смуглого ее лица, затаенно любовался тяжелой, влажной ее косой и роскошными, шелестящими от одного дыхания лентами, любовался и вполголоса говорил не то дивчине, не то самому себе.

– Вот и мой пробил час. Через девять ден наказной атаман назначил смотр нашему эшелону. А там – зачем не видишь – и в поход. В действующую армию. И тогда расстанемся мы с тобой, моя хохлушка, возможная вещь, что навсегда. Навеки.

– Мабудь, навсегда. Мабудь и навикы... – чуть внятно шептала Ксана Руденко, еще тесней и теплее прижимаясь к его груди.

– А кабы не поход да не сражения, – одевать бы тебе, барышня, газовую фату и роскошное подвенчальное платье... Слышишь?

– Слыйшу. Слыйшу. Говори. Говори, козаче... – просяще шептали девичьи губы.

– ...одевать бы тебе газовую фату, и разные цветы на заколку, и роскошное подвенчальное платье, и шлейф в три аршина, – упоенно продолжал Агей. – И поставили бы нас с тобой рядом под золотые венцы. И понадевали бы нам на головы великолепные короны. И повел бы нас с тобой станишный наш поп Филимон вокруг да около серебряного аналоя. И начались бы у певчих про нас с тобой разные пенья да

песнопенья. И одел бы нам на руки батька червонные кольца. И такая бы разыгралась потом на нашем брачном пиру кадрель, такое бы забушевало в сибирской степе гульбище, такого бы дали сваты наши жару и пару, аж весь бы божий свет закружился в очах у линейного населения! Эх, уж вот задали бы мы бал – черт с печи упал. И подрались бы в пылу и хмелю сваты и сродники наши вполне полюбовно. И песняка бы рванули хохлы со станишниками такого, штобы все какие там ни на есть лампы и «молнии» во всех горницах разом потухли! И началось бы вокруг нашей с вами пары ликование, рыдание и целование. И не расставались бы мы с тобой с того часу, цветок мой лазоревый, вовеки. И дыхнуть бы я на тебя не посмел, на живописный твой стан, на приятное твое обличье... И ничего для меня не значит, что чужих ты, скажем, кровей. Плевал я на всякие суды да пересуды про то, што ты по натуре хохлушка. Нет, не сомневайтесь собой и происхождением своим, дорогая моя полынка! Да я ж вас в собственные метрики запишу. Казачкой станешь. Все устроено будет вполне законно, по артикулу. Оказачитесь вы за мной, барышня, в полной форме... Не томись же со мной. Не пужайся моего сословия. Свыкнешься. Слюбишься...

Так говорил в ту ночь своей возлюбленной дивчине счастливый молодой казак. Так говорил он ей, едучи с ней в седле по глухому пустынному полуночному полю.

Было очень пустынно вокруг. Очень пустынно. И очень тихо. По-прежнему высоко, стороной шел в необжитых просторах тонкий ущербный месяц.

Так говорил Агей Ксане и потом, уже на рассвете, лежа с утомленной от жарких ласк и крепких объятий девушкой на раскинутой близ степного кургана походной попоне. Так говорил он ей, хотя и отлично знал, что не суждено им будет одеть под троицу золотые венцы, не носить роскошные, подбитые алым

бархатом короны и не кружить за станичным попом Филимоном вокруг да около серебряного аналоя.

Нет, не до газовой фаты, не до роскошного подвенчального платья было теперь Ксане Руденко. И не до свадебных пиров и гульбищ было в такую минуту молодому, подтянутому, готовому к далеким и трудным походам казаку. Знали оба они, что подходит к концу короткое, воровски припрятанное от людского ока их счастье. Похищала у них это счастье война. Разлучала их действующая армия. И ни зги, ни просвета не было видно для Агея там, впереди, куда уводила его из родимых мест досрочная мобилизация. Потому-то он вдруг и умолк, не зная, что можно сказать в горький час расставаний своей возлюбленной.

Молчал линейный казак Агей Чаплыгин. Молчала и возлюбленная его Ксана Руденко. И все скупей, все грустней и невнятнее светил издали тонкий ущербный месяц. Шла неслышно на убыль теплая, дивная майская ночь.

А взгрустнувший казак и заплаканная дивчина, тесно прижавшись друг к другу, молча лежали среди тонко позванивающих в предрассветном сумраке ковылей. Лежали они не двигаясь, почти не дыша. И было похоже, что прислушивались они в эту минуту к глухим и неясным пророчествам темной своей судьбы.

Тихо было в степи. Глухо.

Очень тихо.

Очень глухо.

СОДЕРЖАНИЕ

К. Бейбытова. Предисловие.....5

Горькая линия. *Роман.*

Пролог.....8
Часть первая.....36
Часть вторая.....270

Пресновские страницы. *Повести.*

Колокол.....532
Трава в чистом поле.....581
Отмерцавшие марева.....670

Рассказы

Встреча.....722
Кремлевская телеграмма.....739
Сговор.....745
Карусель.....756

Литературно-художественное издание

Серия
"БИБЛИОТЕКА КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"

Иван ШУХОВ
ГОРЬКАЯ ЛИНИЯ

Редактор *А.Кадикенова*
Технический редактор *С. Бейсенова*
Компьютерная верстка *А. Кадикеновой*
Корректор *Г. Мухамадиева*

Разработка суперобложки
дизайнцентра издательства «Аударма»

ISBN 9965-18-277-9

ИБ №288
Подписано в печать 29.10. 2009 г. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура . "NewBaskervilleCTT". Печать офсетная. Усл.-печ. л. - 40,32
Уч.-изд. л. - 35,52 Тираж 3000 экз. Заказ № 1247.

Издательство "Аударма"
010005, г.Астана, ул. Кенесары, 65, блок "А"

ТОО РПИК «Дәуір», 050009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93.
Тел.: 394-39-22, 394-39-34, 394-39-42,
E-mail: rpik-dauir81@mail.ru, rpik-dauir2@mail.ru